

Константин Сомов

Год Колчака

(Главы из романа «Усобица»)

*И не было среди них правды, и встал род на род,
и была у них усобица, и стали воевать друг с другом.
«Повесть временных лет» о 862 годе на Руси*

**Барнаул
2012**

От автора

События предложенной вашему вниманию книги охватывают период с сентября 1918 года по декабрь 1919 года.

В первой ее части «Черный дол» рассказывается о восстании крестьян в Славгородском уезде Алтайской губернии в начале сентября 1918 года против мобилизации молодежи в армию Временного Сибирского правительства, сформированного после свержения большевиков летом того же года в Омске. Итогом восстания стало первое в истории губернии, а затем края, массовое убийство людей, многие из которых не имели к революционной борьбе никакого отношения. Герои повествования – простые русские люди по ряду часто не зависящих от них причин оказываются в гуще этих событий и принимают в них активное участие.

Восстание подавлено. 18 ноября 1918 года в Омске адмирал Колчак принимает на себя полномочия Верховного правителя России. Гражданская война на востоке нашей страны вспыхивает с новой силой, ломая походя множество человеческих судеб, и герои «Черного дола» вновь оказываются на ее передовых рубежах. Все они борются за светлое будущее России. Каждый за свое...

Часть первая

Черный Дол

(Прелюдия)

*Девушка в светлице вышивает ткани,
На канве в узорах копья и кресты.
Девушка рисует мертвых на поляне,
На груди у мертвых – красные цветы.*
С. Есенин

Глава первая

Первый сентябрьский день 1918 года выдался в Кулундинской степи на редкость хорошим. Егор Нефедов отмахал пешком по проселочной дороге без малого десятков верст, но усталости почти не чувствовал. Воздух был свеж, дышалось легко, ступать босыми ногами по дорожной пыли – сапоги болтались за плечом – было просто в удовольствие, тем более что впереди уже белели над рыжим полем белые пятнышки украинских мазанок.

До села Черный Дол, куда он держал путь, оставалось всего-то версты две, но Нефедов решил малость передохнуть. Сошел с дороги, уселся осторожненько на стерню, примял спиной уютную копешку соломы.

Торопиться было особенно некуда. Егор не спеша свернул сигарку потолще и, разогнав ладонью плотное облачко махорочного дыма, закрыл глаза, чтоб не слепило их степное солнце, призадумался.

Ему было двадцать, когда крепко сбитого белоголового бийского паренька призвали в армию и стал он нижним чином Мингрельского пехотного полка. Два года тянул по совести и без особого труда солдатскую ляжку, поскольку военное дело ему неожиданно понравилось и шло, как говорится, в охотку. Три раза стоял в почетном карауле у знамени, сумел стать призовым стрелком, подучиться грамоте. Ну а потом наступил август 1914 года – «Австрийцы надурачили, войну с Россией начали», и отправился ефрейтор Нефедов вместе со своим полком на фронт.

Везло ему редкостно, хоть и попал по собственному желанию в команду разведчиков, или, как их тогда называли, охотников. В суматохе скоротечных траншейных схваток выслужил без единой царапины два солдатских Георгия, но уже весной 17-го под Сморгонью его все же крепко зацепило, попал в госпиталь. Подлечился и, получив законные 45 суток отпуска по ранению, поехал домой в Бийск.

Как и все остальные отпускники, Егор надеялся, что пока будет дома, война закончится, однако получилось

по-другому, и пришлось ему по окончании вольного срока отправляться к уездному воинскому начальству. Таких, как он, скопилось на пересыльном пункте Бийского гарнизона человек четыреста, ехать опять в окопы никто из них не собирался. Еще осенью 16-го пошел по траншеям шепоток, что скоро войне конец, хватит, полили кровушки, Николашке с генералами надо, пусть они и воюют. Даже срок назывался точный: будущей весной, чтоб к пахоте успеть.

И на митинге фронтовиков в Бийске полный георгиевский кавалер фельдфебель Ивкин сказал, как отрезал: «В действующую армию мы не поедem. Три года воевали, вшей кормили, пускай теперь те покормят, кто в тылу отлеживался. Или по домам нас распускайте, или зачисляйте в части местного гарнизона». Так Егор Нефедов стал бойцом стоявшей в Бийске 713-й пешей дружины. Служба была нетяжелая, дисциплина – с фронтовой не сравнить. Отвалявшись в казарме месяца три, попив вдосталь денатурату и проиграв в карты все привезенное с фронта добро, решил ефрейтор навестить семью своего бывшего сослуживца и земляка Николая Ступко. Воевали вместе почти два года, и перед тем как погибнуть в ночном поиске, Микола, будто почувствовал, попросил Егора, если... В общем, чтоб съездил к нему домой в Славгородский уезд – пусть не ждут и не надеются.

Делать Нефедову особо было нечего, от поездки этой его никто не удерживал. Пока воевал, умерла мать, отец еще раньше погиб во время аварии в мастерских, где работал слесарем. Сестру младшую Егору, правда, повидать довелось, но она с мужем и детьми уехала вскоре после его возвращения с фронта в Воронежскую губернию, откуда за десять лет до того перебрались Нефедовы на Алтай. Проездные документы и харчи на дорогу ему выдали без споров. Поехал. Да так в маленькой деревеньке с громким названием Старо-Богатск и остался.

Егор открыл глаза, улыбнулся не по-осеннему светлому, голубому небу. В этой голубизне, изо всех сил трепеща маленькими крыльями, набирал высоту жаворонок и все пел, пел не останавливаясь. Потом рывками, слов-

но сорванный с дерева коричневый лист, опустился – упал в траву и вновь, не жалея всех своих небольших сил, принялся забираться в небо.

«Откуда ты чудной такой, – подумал Егор. – Вроде поздновато тебе уже распевать. Время твое давно вышло, а ты все не унимаешься». В нескольких метрах от Нефедова, только дорогу перейти, непаханным, колышущимся словно белое море ковыльным полем жила степь, без единой зацепки для глаза протянувшаяся к далекому горизонту. Трещали вразнобой насекомые, посвистывали мелкие пичуги, рядом с дорогой высунул голову из норки любопытный суслик и, выпрямившись в серый столбик, принялся глядеть на человека. И все пел и пел над этим простором немудрящую свою песню маленький жаворонок.

Егор поерзал спиной по колючей соломе, уселся поудобнее. Вздохнул, посмотрел лениво в сторону села и принялся ладить новую самокрутку. Однако, свернув ее, прикуривать сразу не стал. Поскольку неожиданно для себя самого задумался вдруг о событиях не столь давних и для него, пожалуй, судьбоносных.

* * *

Судьба наделила Марию Ступко вдовьей долей и яркой южно-украинской красотой. Егора потянуло к ней в ту же секунду, как увидел. Нефедов вообще считал себя человеком по бабьему делу бойким, что во многом соответствовало истине, но тут кроме желания забраться в постель к статной кареглазой вдовушке почти сразу возникло у него еще одно, не обычное для него, желание. Подсобить ей хоть малость, укрепить оставшееся без мужика, а потому разрушающееся хозяйство, в котором кроме разнообразной домашней птицы да коровы-кормилицы имелись маленькие чернявые доверчивые Пашка и Надюха.

Егор хоть и не имел пока своих детей, всегда относился к ребятишкам с довольно чудной для простого мужика трогательностью, и двое маленьких хохлов почувствовали это сразу. Стали ходить за ним словно

привязанные. Так вот и пополнил Егор Нефедов уже двухмиллионную к тому времени армию российских дезертиров, причем ничуть такому обстоятельству не огорчился.

Повечерам Нефедов рассказывал о германской войне, поведал и все, что знал со слов товарищей, о смерти Миколы Ступко, поскольку сам тогда в поиск не ходил. С того времени прошло уже два года, потому восприняла Мария печальный рассказ довольно спокойно. Бабы слезы были давно выплаканы, а дети батьку и не помнили толком. Пришел откуда-то добрый дядька, значит, он батька и есть.

В первый же вечер по прибытии Егор отыскал в ветхом сарайчике пилу, топор, молоток, нашелся там даже рубанок, немного гвоздей да кой-какие доски. Соорудил себе неказистый, да крепкий топчан, на котором и устроился ночевать за печкой. Поближе к детям и подальше от хозяйки. Комната в мазанке была одна, да и та невеликая, а Егор хоть книжек с правилами хорошего тона и не читал, человек по природе своей был деликатный.

– И мне удобно, и вам потом может пригодиться, – пояснил он Марии. – Да и сам, может, когда еще в гости загляну.

– Загляни, – улыбнулась немного захмелевшая от выпитой за ужином рюмки первача солдатка, а у Нефедова от ее улыбки даже уши заалели. Отворочавшись ночь на жестком топчане, решил он к утру никуда не уходить, провести для начала основательную рекогносцировку, составить план боевых действий и непременно наступать.

– Я помогу вам малость по хозяйству, коли ты не против, – хмуровато сказал он свеженькой после крепкого сна Марии, – тут дел невпроворот. Да и обещал я ...

– Хорошо, – без уговоров согласилась женщина.

Еще две ночи проскрипел Егор на самодельном ложе, а когда встал на третью ночь покурить, услышал вдруг тихий женский смех.

– Ну иди сюда, не майся так. Я тебя все жду и жду. Бабы кажут: «Шо, Мария, мужика бо коханого завела?», а я им кажу, шо и сама того не ведаю.

Последние слова она прошептала прямо в лицо склонившемуся над ней Егору и мягко прикрыла вишневыми губами сухие мужские губы. Полетела на пол ночная рубашка, за ней солдатские исподники. Мария сцепила зубы, чтобы не закричать. Сильными пальцами впиалась в Егоровы плечи...

Со стороны Черного Дола донесся частый перестук, будто баба горох просыпала. «Из винтовок бьют, – не открывая глаз легко определил Егор и сунул так и не использованную сигарку в нагрудный карман гимнастерки. – Интересное дело однако...».

Вскоре после винтовочной трескотни из села выкатилось несколько бричек, на большом расстоянии походивших на спичечные коробки. Три окопных года приучили Нефедова ставить знак равенства между словами «непонятно» и «опасно», потому он потянул на лоб фуражку и мягко перевалился на другую сторону копны, став невидимым со стороны дороги. При этом Егор успел смахнуть на себя с копешки изрядный ком соломы и замаскироваться уже по первому разряду.

«Чего боишься-то? – спросил он сам себя. – Войны-то уж нету никакой». – «Стреляют – значит есть», – рассудительно ответил внутренний голос, и крыть тут действительно было нечем, требовалось беречься. Потому Егор уже не осмысливал больше необходимость своих действий, а просто как мог плотнее прижался к земле и стал внимательно наблюдать за приближающимися к копне повозками.

Одного взгляда на сидевшего рядом с возницей первой тачанки человека Егору вполне хватило, чтобы понять – офицер. Тот факт, что на плечах молодого чернявого мужчины не было погон, Нефедова не смутил вовсе: выражение лица, разворот плеч – все выдавало в том привыкшего отдавать приказы человека. Зорким взглядом разведчика Егор сумел даже отложить в памяти и маленькие усики, и твердый кирпичный подбородок, и сизый шрам в расстегнутом вороте гимнастерки.

На рукаве офицера мелькнула бело-зеленая нашивка, такую же Нефедов рассмотрел и на фуражке другого седока, тоже мрачного, цепко сжимающего винтовку парня.

«Такие, значит, в их новой армии знаки различия, – невольно подумал Егор. – Слабовато, конечно, против прежнего».

Кроме офицеров в повозке находились двое крепко побитых деревенских мужиков, время от времени выплевывающих на дорогу сгустки крови. За первой повозкой катилась вторая, третья... Всего их Егор насчитал пять штук, и в каждой пассажиры были одни и те же – хмурый офицер с винтовкой и пара в разной степени побитых крестьян.

Дождавшись, пока кавалькада отъехала на приличное расстояние, Егор извлек из кармана самокрутку, повертел ее задумчиво между пальцами и сунул обратно. Резким движением поднялся на ноги и спорым шагом направился к Черному Долу.

* * *

В селе было непривычно шумно, будто в праздник. За одними заборами слышался бабий плач, за другими громко, до визга ругались. Из распахнутого окна приземистой мазанки доносились залихватские переборы трехрядки. Обогнав Егора, прошел перепоясанный патронташем средних лет мужик с берданкой за плечом. Лицо его было таким угрюмым, что неробкий обычно Нефедов не стал даже спрашивать о том, что же происходит в селе. Хотел было окликнуть мужика уже вдогонку, да махнул рукой.

Домик отца Марии был неподалеку, а чем-чем, но молчаливостью Иван Филиппович никогда не отличался. На Егорово счастье или несчастье Филиппыч оказался дома. Сидел за столом, глядел внимательно на малость недопитую бутылку самогона и, засунув руку в бороду, напевал себе под нос что-то неразборчиво боевое. Притопывал в такт мелодии правой ногой. Левая стояла на полу неподвижно и была деревянной. Та, что досталась тестю при рождении, сгнила в балтийских дюнах. Хоть и годков было Ивану Филипповичу уже за сорок, отдать свою долю за веру, царя и Отечество пришлось ему. Причем в буквальном смысле этого слова.

– А-а, Егорша! – Иван Поляничка своего нового зятя уважал, потому приходу его обрадовался, опять же и компания получалась. – Садись, родимый, выпьем!

– Чего это ты, Филипыч, пить-то надумал? – Нефедов не спеша присел к столу, положил на него запыленную фуражку. – Время-то вроде рабочее.

– Да какая тут может быть работа? Восстание у нас, милый ты мой!

– Восстание?! – Егор даже привстал с лавки. – А я думаю, чего шуму-то в селе столько? Что случилось-то, большевики из России подходят? Я не слыхал ничего.

– Да нет. Большевики пока за Уралом вроде. Наши сами восстали против мобилизации молодежи в армию. У вас ее не объявляли, что ли?

– Объявляли, – недоуменно кивнул головой Нефедов, – двух возрастов. 1898-го и 99-го годов. Приказ вывесили Временного Сибирского правительства: явиться на сборный пункт в Славгород до 4 сентября. Кто не явится в срок – военно-полевой суд. Ну мужики и повезли сыновей, кому выпало. Власть есть власть, против нее не поперешь.

– У вас приказ вывесили, а мы на него наплевали. Сам начальник славгородского гарнизона наезжал с офицерами, – важно поднял вверх коричневый палец Филипыч, – штабс-капитан Киржаев. Давай, говорит, новобранцев, подлецы, а то зачинщиков постреляю. Смотрите, говорит, у меня, смутьяны! Я вам!

– Ну и что? – Егор взял заботливо налитый тестем стакан и выпил не закусывая.

– Да ничего. Наши мужики – не ваши холопы. У нас знаешь хлопцы какие?!

– И какие же? – усмехнувшись поинтересовался Егор.

– А такие, что еще в тыща девятьсот шестом году против царизма выступали. Тут чуть ли не все село донбасские шахтеры, что ты хочешь?

– Откуда ж тут шахтеры?

– Так я тебе не рассказывал разве? – удивился Поляничка. – Сейчас расскажу.

– Давай, только за ради бога не рассусоливай сильно, – попросил уже настрадавшийся от словоохотливости Ивана Филипповича Нефедов.

– Да я в раз. Село это Архангельское, Черный Дол сейчас, раньше на Украине стояло, там такое же есть, многие на шахте работали, в партиях, значит, против царя стояли. И когда у них во время революции, в шестом году, в селе ярмарка была, решили у стражников оружие отнять. Стрельба была – самого начальника жандармов и двух стражников убили. А их за это, полсотни человек, в острог, а затем, считай, всем селом в Сибирь, вот сюда выслали. Я-то здесь позже поселился, но об истории этой не один раз слышал. Так что народ у нас шибко боевой, – хвастливо заявил Филиппыч и вновь потянулся за бутылкой. – Давай, Егорша, еще по одной тяпнем.

– Ты подожди, – удержал его за руку Нефедов, – расскажи, что дальше у вас с золотопогонниками было?

– А чего было-то... Офицеры со штабсом своим уехали, а наши решили сами новобранцев в Славгород не посылать и тех, что через нашу деревню поедут, тоже не пускать.

– И офицеры вам это спустили?!

– Ну-у, – пьяного веселья у Филиппыча заметно побавилось, – сегодня днем они снова прикатили. Мужик один наш, Никита Заровный, в набат ударил, так они ему как всыпали прикладами, другого, Мирона Первашова, наповал застрелили, несколько человек заарестовали и в Славгород в тюрьму увезли. Наши после этого собрали сход, я ходил тоже, и решили, – голос тестя окреп, – ни одного новобранца им не давать, поскольку нам воевать не с кем и незачем и других новобранцев опять же будем останавливать. А самое главное: решено было оборужаться, – Филиппыч посуровел еще больше: – и сегодня же ночью офицерское гнездо в Славгороде разорить, пустить пух по ветру!

– Сегодня ночью, говоришь? Ну-ну, – покрутил головой Егор. – А дальше? Дальше что?

– Дальше пусть у Павла Фисенко голова болит, его сегодня на митинге главным выбрали. Он вообще сыз-

мальства заводилой был, батька его, Иван Данилович, недалеко тут живет, так рассказывал. Хозяин он, правда, Павел этот, не шибко путевый: на Украине жену оставил, тут дом начал строить – бросил, но мужик шибко боевой, спуску никому не даст. А вот Роман Буряк, которого к Фисенке начальником штаба выбрали, тот мужик обстоятельный, так что вместе управятся. Народу уже густо из села на Славгород идти собирается, да и из других местов все подъезжают. Дело пойдет.

– Ага, – Егор поднял стакан, разом выплеснул его содержимое себе в рот, задумчиво пожевал корочку хлеба. – Пойти-то оно пойдет, да вот в какую сторону? Без крепких частей, без оружия в вашей плешивой степи и нескольких дней против регулярного войска не удержаться. Это не у нас в бору.

– Ничего, народ повсеместно подыметя, справимся. А ты что? – Филипыч даже стакан наполнять перестал. – Неужто в стороне решил остаться? Ты ж говорил вроде что революционно настроенный, эсер или даже этот, большевик?

– Да какой я большевик, – Нефедов подцепил на трезубую вилку изрядный ком квашеной капусты из стоящей на столе глубокой глиняной чашки. – Так, сочувствующий.

– Вот и надо посочувствовать, – наслушавшегося громовых речей, к тому же подкрепленных изрядной дозой самогона, Филипыча охватил праведный боевой пыл. Он даже деревяшкой своей по полу от возбуждения пристукнул. – У тебя ж два Егория да две медали, Егорша. Ты б этим офицерам...

– Ну-ну, – Нефедов не особенно весело усмехнулся, – у тебя, Филипыч, до меня вроде бы другой зять был?

– Был, – красной краски в лице тестя заметно поубавилось, и деревяшкой своей он стучать перестал.

– И где ж он?

– Война съела.

– А нога твоя где?

– У нее же, – Филипыч выплеснул в свой стакан

остатки первача из бутылки, выпил. Закурили. Молчали, пока не извели самокрутки до самых пальцев.

– Так, – Егор поплевал на окурочек, крепко вдавил его каблуком в глиняный пол мазанки да еще и ногой сверху притопнул. – Ладно. У тебя оружие какое есть?

– Откуда? – от такого вопроса тесть протрезвел еще больше. – Вилы да топор, вот и все. Хотя стой, – оживился он, – Есть одна штука, хоть и не стрелковая. Штык австрийский, сосед за самогонку притащил. Хороший, знаешь, штык.

– Тащи, – по-военному коротко потребовал Нефедов.

Штык действительно был отличный. Такие среди трофеев ефрейтору Нефедову приходилось видеть нечасто. Но все ж приходилось, потому признал он это оружие сразу – австрийский унтер-офицерский штык-кинжал. Длинный и достаточно широкий, с удобной рукоятью и даже поперечной планкой, чтоб рука при сильном ударе не соскользнула. Надежная вещь. Имелись к штыку и хорошие ножны с петелечкой для ремня.

– Говорит, у ихнего унтера пленного отобрал, – жалостливо оглядывая уходящее добро, заявил Филипыч.

– Не врет, наверное, – Егор деловито нацепил штык на ремень.

Он все еще не расстался с солдатской формой. Почти новые гимнастерка и брюки, выданные щедрым после бутылки денатурата каптером Бийской дружины, армейские сапоги и защитная фуражка без кокарды делали его крепкую фигуру ловкой и подтянутой, а со штыком на боку еще и воинственной.

– Ладно, Филипыч. Достань-ка еще по маленькой на дорожку, да я тронусь, – Егор привычным движением согнал назад складки гимнастерки, хлопнул ладонью по ножнам, присел на лавку. – Ну, наливай да говори, где у ваших штаб. В управе, наверное?

* * *

В большой комнате сельской управы было так же, как и на улице, многолюдно и густо накурено.

– Кто таков? – повернулся к Егору крепколицый уса-
тый мужик в надвинутой на глаза фуражке, и по его власт-
ному голосу Нефедов сразу понял, что это и есть Фисен-
ко. Шагнул вперед, щегольски кинул ладонь к козырьку,
улыбнулся.

– Бывший ефрейтор бывшего Мингрельского пол-
ка, Егорьевский кавалер Нефедов для дальнейшего про-
хождения службы в повстанческой армии прибыл! – В
хате дружно хохотнули. – Тесть у меня тут в Черном Доле,
Поляничка Иван Филиппович.

– А, ну как же, – кивнул головой высокий красноно-
сый мужик – Есть такой, проверенный товарищ. – В доме
вновь рассмеялись.

– Егорьевский, говоришь? – крепколицый, в от-
личие от товарищей, даже не улыбнулся. – На царском
смотре, что ли, заработал?

– В траншеях германских, – продолжая улыбаться,
ответил Егор. – Сходи, может, и тебе отвалят, там ребята
сговорчивые.

– Не ершишь, я там тоже бывал разок. – Голос уса-
того малость помягчел и тут же приобрел прежнюю власт-
ность: – Я Фисенко, Павел.

– Да это я понял уже. На Славгород, говорят,
собрались?

– Собрались. А ты что, с нами? Большевик? Эсер?

– Сочувствующий. В Учредиловку за большевиков
голосовал.

– Главного-то большевика ранили крепко. – Фисен-
ко вытащил из кармана кисет, протянул Егору: – Закури-
вай, что ли, да обиды не держи. – Нефедов ухватил щепот-
ку табачку, принялся вертеть сигарку.

– Прибежал рабочий из Славгорода, – размеренно
говорил Павел, – сообщал, что Ульянова-Ленина не то уби-
ли, не то смертельно задели. Теперь в городе настоящее гу-
ляние идет. Радуются, ждут, когда Ленин помрет. Собрание
созвали, и там Девятизоров, председатель земской управы
уездной, заявил, что Ленин жив не будет, а партия больше-
виков покатила в бездну. Ну, на большевиках и Ленине

даже, хоть он и большая голова, я думаю, революция еще не кончится, и наше дело как было, так и осталось – с кровососами бороться. Для того и поднялись.

– Слушай, – Егор говорил собранно и четко. – Я ведь два года на германской в поиски ходил, мне это дело привычное. Дай мне ребят с десятка побойчее. Бомбы ручные есть?

– Есть немного.

– Их хоть штуки три-четыре надо бы. Винтовки?

– С этим плохо, парень.

– Хоть пару. Да берданок пару. Чтобы хоть немного шуму было. Мы заранее потихоньку въедем в город, будто на базар торопимся, и как вы на окраине начнете, так и мы в центре зашумим. Пугнем их малость, чтоб они не успели подготовиться вас встретить.

– Толково, – Фисенко поправил револьверную кобурку под пиджаком, сунул Егору широкую ладонь. – Ты только вот чего мне скажи, кавалер, с какого рожна ты в нашу бучу решил сунуться? Мы – чтоб детей наших в серые шинелки не одели да под братские пули не сунули. Против власти, что мужика крепче, чем при царском прижиме давит. А тебе-то чего голову под топор совать?

– Так и я вроде не большой барин, такой же мужик – сермяга, как и ты, – усмехнулся Нефедов. – А потом: может, я по войне успел соскучиться, будь она неладна, откуда тебе знать?

В хате вновь захохотали, чуть улыбнулся и сам Фисенко.

– Ладно, балагур, ты покури там пока у входа. Мы тебе все вскорости подготовим и человека своего дадим надежного. На случай чего, – многозначительно прибавил командир повстанцев.

– Это верно, – охотно согласился Нефедов. – За такими шустрыми, как я, пригляд – первое дело, никогда не помешает.

Понемногу разошлись все, кто был в комнате, остались только двое.

– Не знаю сам, почему, – размеренно сказал сидевший за столом плотный лет сорока мужик, – а я на этого парня сильную надежду имею. Ясный он какой-то и ловкий шибко, сразу видать.

– Надеяться надо, как иначе, – согласился Фисенко, – только не зря, наверное, говорят, Роман Григорьевич, на бога надейся, а сам не плошай. А нам тут плошадь нельзя. Если Славгород с ходу не возьмем и они уцепиться успеют, восстанию конец, и тогда уж кровушки мужицкой ой сколько прольется.

– Должны взять. Народу у нас для этого вполне достаточно, около тысячи человек набирается. Разбили всех на пять отрядов, люди со всей округи: с Максимовки, Андреевки, Петровки, Романенко со своими из Высокой Гривы приехал. Их немного, но вооружены получше других. Целый отряд из немцев, считай все подсосновские, многие на турецком фронте побывали, обстрелянные.

– Подожди, – перебил своего начальника штаба командир повстанцев. – А как у нас вообще с оружием? Подсчитали?

– А чего там считать? – невесело усмехнулся Буряк, – много времени не заняло. 24 винтовки, по пять – десять патронов на каждую, полсотни дробовиков, несколько гранат да наши револьверы, вот и все.

– Негусто.

– Вся надежда на неожиданность нападения. Они ж там наверняка думают, что мы после приезда офицера в штаны наклали и от страха трясемся. Не ждут они нас, – Роман помолчал, молчал и Фисенко. – Кроме этого парня боевого пошлем в город с такой же группой Петра Дещенко, он тоже мужик ухватистый, смелый, наведет им шороху. Ну а потом и мы ударим с разных сторон. Побьем их, не сомневайся.

– А мне как командиру сомневаться не положено, – присел к столу Павел, скрутил самокрутку, посмотрел в окно. – Смотри-ка ты, совсем стемнело. Перекурим да и двинем, пожалуй.

Край степи уже обметала узенькая багровая полоса, когда передовой отряд повстанцев во главе с сыном чернопольского старосты Градова сбился вдруг из неровной колонны в большую черно-серую кучу. Забубнили в ней сердито спорящими голосами, а потом кучками по три-четыре человека мужики потянулись назад, к селу. Но тут...

– Хальт! Стий! – на пути у них неожиданно-негаданно встала маленькая, но очень крепкая фигура командира подсосновцев Якова Рема.

Фигурка эта чем-то походила на волнолом, твердо обещающий разметать в мельчайшие брызги любой накат буйного прибора.

– Кто буде отступать, путем эршиссен, стрелять! – путая от злобы и волнения русские, украинские и немецкие слова, закричал он.

Мужики вновь затоптались в нерешительности. Из темноты вывернулась тачанка, спрыгнул на землю Павел Фисенко.

– Отступают, фертерфлюхтер швайне, – подбежал к нему Рем.

– Ладно, не лайся, – Фисенко старался выглядеть спокойным, но голос его тоже подрагивал от волнения.

– Ты що, злякався, чи шо? – обращаясь к Градову, Павел неожиданно для самого себя заговорил на подзабытом украинском. – Тебе кажу, чи кому?

– Передумали мы, – буркнул в сторону Градов.

– Кто передумав? – ощерил зубы Павел. – Кажи за себе, в других свий голос е.

– А ты кто такой, чтоб мне тут? Ну я передумал, мало тебе...

– Передумав, так геть видсеся, – пихнул его ладонью в грудь Фисенко. – Тикай до бабы пид юбку, покуда я наган не достав.

Павел повернулся к землякам:

– Вы що, мужики. Забыли, чи шо? Сняв штаны, так лезь на бабу, а иначе який ты хлопец!

В ночной степи плеснуло хохотом.

– Яков, принимай пока команду, – повернулся к Рему Фисенко, – после сдашь отряд Ивану Киселеву.

– Яволь, слушаюсь, – вытянулся Рем.

– Ну що ты будешь робыть, – с размаху хлопнул себя ладонями по бедрам Павел. – Не може немчура перед высшим начальством на вытяжку не стоять. Я тебе, шо, фельдфебель?

– Та пошелъ ты, хохол, – обиделся Рем.

– Ладно, Яков, я же пошутил, – Фисенко немного успокоился и заговорил уже на чисто русском: – Давай обнимемся, не держи зла. Нам же в бой идти.

Они обнялись, постояли немного молча.

– Ну что, пошли? – отстраняясь от товарища спросил Павел.

– Пора. Форвертс, – кивнул головой Рем.

Глава вторая

Вечером 1 сентября 1918 года к дежурному по славгородской тюрьме подпоручику Игорю Ненашеву зашел его приятель, начальник местного гарнизона штабс-капитан Михаил Киржаев. Ненашев скучал и перед приходом штабс-капитана пытался развлечься тем, что мучил долгими расспросами о взглядах на жизнь бывшего павлодарского стражника, а ныне тюремного надзирателя урядника Жадова.

Студент-филолог, пошедший добровольцем на мировую войну, Игорь по старой университетской привычке очень любил поболтать. Однако собеседник ему в этот раз попался уж очень неудачный, определить его жизненную позицию Ненашеву никак не удавалось, и считавший себя знатоком человеческих душ подпоручик начинал уже не на шутку злиться. Тем более что выпить у него ничего не было, даже дрянной местной самогонки, чай надоел, а от десятка дешевых папирос сильно першило в горле. Поэтому приходу приятеля Ненашев непритворно обрадовался, а выставленная гарнизонным начальником на стол дежурной комнаты бутылка коньяка увеличила эту радость вдвое.

– Ну как тут субчики мои черnodольские, спокойно себя ведут? – усаживаясь на торопливо пододвинутую урядником табуретку поинтересовался Киржаев.

– Да тихо пока сидят, шуму-гаму не слышно было.

– Ты смотри, а ведь в селе у себя какие шумные были, – удивился гость. – И орал на них, и материл, все без толку. Стрелять пришлось, одного точно наповал убило, но и то, как мне показалось, не угомонились они. Опять мобилизованных не пришлют, – штабс-капитан закурил папиросу и еще раз поинтересовался:

– Так, говоришь, тихо сидят?

– Тихо, – подтвердил Ненашев и кивнул Жадову: – Иди служи, Варфоломеич, после договорим.

Жадов, облегченно козырнув, ушел, подпоручик ухватил тонкими пальцами горлышко коньячной бутылки, принялся разглядывать этикетку.

– А тебе не кажется, Миша, что вся эта затея – чистой воды ерунда, если не сказать больше – глупость? – поставив бутылку на стол, спросил после паузы подпоручик.

– Какая затея, о чем ты? – штабс-капитан выпустил изо рта струйку папиросного дыма и с удовольствием вытянул сильные ноги. – Устал, – пожаловался он приятелю.

– Да мобилизация эта.

– Объясни, пожалуйста. Пока тебя не понимаю.

– Все очень просто, друг мой Мишель. Эти бестолковые, бессистемные призывы силы армии не прибавят и случайные толпы тупых, силой загнанных в нее деревенских парней. Это что угодно, но только не воинские части, способные выдержать боевые и походные испытания. Подожди-ка, я тебе попытаюсь дать более-менее четкую формулировку. – Ненашев вытащил из киржаевского портсигара папиросу, не спеша прикурил, изящным движением отщелкнул в сторону затухшую спичку.

– Ну, примерно так, – подпоручик прищурил красивые голубые глаза, вычерчивая папиросой дымные круги в воздухе, заговорил монотонно лекторски, будто за кафедрой стоял. – Кучки одетых в военную форму людей, имеющих в руках ружья, представляют собой только весь-

ма малую часть совокупности тех данных и качеств, которые необходимы для того, чтобы иметь право называть эти части годными для войны и для боя. – Ненашев убрал с лица заузное выражение и уже обычным своим голосом добавил: – К тому же они просто опасны. Мне приезжий офицер рассказывал, что в Томске и других городах таких вот мобилизованных офицеры опасаются больше, чем красноармейцев. Собираются господа командиры по ночам в отдельную казарму, а винтовки и пулеметы охраняют офицерскими караулами.

– Вы еще по камерам пройдите, господин подпоручик, мужичкам о своих мыслях поведайте, – голос Киржаева стал колючим как щетина, штабс-капитан даже кулаком на приятеля по столу пристукнул.

– Не нужно так нервничать, Михаил Петрович. По камерам я, естественно, не пойду и мыслями своими, иметь которые мне никто не запретит, делиться с разбойничками не стану, можете на этот счет пребывать в абсолютном спокойствии, – подпоручик миролюбиво улыбнулся и вновь ухватил со стола коньячную бутылку. – И вообще, Мишель, сколько можно человеку горло разговорами сушить? Не пора ли нам, как говорят господа мужики, опрокинуть по единой?

– Вот тут, господин подпоручик, – в свою очередь улыбнулся Киржаев, – темы для спора я не вижу и охотно поддерживаю вас в благом начинании.

Приятели выпили отличного шустовского коньяку, закусив его хлебом и салом, которое принес офицерам запасливый Жадов.

Киржаев вновь закурил, попыхивая папироской, замычал в нос: «Скажи мне, кудесник, любимец богов...», затем одним твердым движением смял окурок о столешницу.

– Ну хорошо, мобилизация не нужна и даже вредна. А что, по-твоему нужно, чтобы разгромить Троцкого с Лениным и установить в стране нормальную, законную, богом данную власть?

– Это какую же, Мишель, – «невинно» поинтересовался Ненашев, – уж не монархию ли?

– Я бы, конечно, предпочел монархию, – не принял иронии штабс-капитан, – но давай будем считать самым законным восстановление твоего Учредительного собрания. С кем нам это делать? Ведь у большевиков в руках вся индустриальная Россия, военные заводы, запасы боеприпасов и оружия.

– С офицерами-добровольцами и другими волонтерами, желающими бить большевиков. Может быть, даже с наемниками, они, как правило, надежны. Ну и, конечно, с нашими союзниками, с Антантой.

– С союзниками, – усмехнулся Киржаев. – Это перед которыми мы так обделались? Им наши дела под конец, наверное, вообще каким-то абсурдом казались. В 17-м, во время последнего летнего наступления, в котором я, так сказать, имел честь участвовать, и артиллерии у нас было достаточно, и боезапас был, и пошли сначала вроде бы ничего, но стоило немцам начать контратаковать, тут же защитнички Отечества хреновы начали митинговать, не будет ли аннексией, – штаб-капитан издевательски возвысил голос, – дальнейшее продвижение вперед. А потом и вовсе драпанули. Это же надо: от 18 австрийских и германских дивизий побежали 60 наших! – Киржаев болезненно сморщился, бросил на стул фуражку. – Дерьмо. А потом брататься полезли. Те сначала пулеметами товарищей комитетчиков встречали, а потом разобрались что к чему, денатурат да скипидар разбавленный «братьям» потащили. Еще бы, такой подарок те им устроили, одним фронтом меньше. А наши говоруны: «свобода, свобода!». Ну и как они распорядились этой самой «свободой», позвольте спросить?

– Могу ответить, – Ненашев деликатно сдержал зевок. – Видел в Казани в запасном полку летом 17-го. В солдатских казармах сумасшедшая просто карточная игра. Все проигрывали – деньги, хлебные пайки, амуницию, обмундирование. Так что иному особенно азартному на улице не в чем выйти было. Воровство, драка, ну и само собой денатурированный спирт и самогон. Самовольные отлучки, а потом и грабежи в городе. До разбойных убийств до-

ходило. В общем, – пощипал сквозь зубы подпоручик, – человек, как я обнаружил, способен оскотиниваться моментально, и помощь ему в этом со стороны требуется минимальная.

– Так ведь это еще и заразная штука-то, – Киржаев встал со стула, размял широкие литые плечи, – как это господа в Европах не понимают? К ним приползет, все их теплые ватерклозеты и цветники поломают. Так что надо мосье и мистерам обиды забыть, немца добить, благо ему жить немного осталось и к нам высаживать, да не роты, а дивизии. Да не пару броневиков, а сотни! Задавить в зародыше красную гадину, пока она из России дальше не поползла!

Киржаев резко выдохнул и уже спокойнее добавил: – А уж потом мы найдем способ от наших благодетелей избавиться. Дорого, конечно, за это придется заплатить, но все дешевле, чем Россия стоит. Так ведь не пойдут они на это, глупцы, – совсем спокойно, даже равнодушно закончил свой монолог штабс-капитан. – Парламенты их, профсоюзы, либералы и прочая рвань не дадут. Посмотрим, дескать, на дикарский эксперимент. Так что придется одним до конца за Россию страдать.

– Так-то оно так, – глубоко вздохнул Ненашев, – только...

– Что только?

– Понимаешь, Мишель, – крепко провел ладонью по лбу подпоручик, – для меня, как и для тебя, Россия не только нагромождение земель и народов и прочее. Это Отечество моего духа, святыня. Но даже за эту святыню я не хотел бы больше никого убивать и воевать с собственным народом тоже.

– А я того, о чем ты говоришь, чужим не отдавал и своим, что любых немцев хуже, не отдам. И убивать их буду, пока самого не убьют, – ровно сказал Михаил. – Вот вся моя программа, и политическая, и духовная. А про народ и вовсе глупость. Я сам, скажем, чем не народ? Сын ветеринарного фельдшера, далеко не богач и не буржуй, в люди своим горбом пробивался. Окончил реальное училище,

на железной дороге работал, о женитьбе да собственном деле подумывал. Тут война. Пошел, как иначе. Три года – три ранения, пять орденов да погоны офицерские. Сам собой гордился, – усмехнулся Киржаев и, взяв со стола бутылку, разлил по стаканам коньяк. – Понимал, конечно, не совсем дурак, что не все в России как надо устроено и налажено, но полагал, что после победоносного окончания войны устроится и наладится. Только работай. Тут сволочь эта, как чертик из табакерки, и все прахом. И почему так... А ты говоришь... – Михаил взял со стола стакан и, не чокаясь с Ненашевым, выпил.

– В революции, как и в несовершенстве мира в целом, я, видит бог, не виновен, – развел руками подпоручик, – поскольку в его создании никакого участия не принимал.

– Слушай, философ, – прищурился штабс-капитан, – а как ты вообще в армию попал, военное дело ведь для того и создано, чтобы побольше людей убивать? И почему после октября форму не снял, если ты такой нежный? Почему ты сейчас в Сибирской армии, в свою Владимирскую губернию не отбыл, ведь мог бы?

– В России меня большевики в свою армию мобилизуют либо просто по какой-нибудь разрядке в расход пустят, а мне этого не хотелось бы. И потом я сказал, что не хотел бы никого убивать, но не сказал, что не стану этого делать. Не беспокойся, о долге своем помню. А что касается того, как я в армию попал, так скажу тебе честно – от скуки. Ну что у меня было в жизни: муттер-фатер, гимназия, чай, книги, варенье. Потом университет – надежды, терзания, кружки. Тоска. Жизнь началась, когда ей смерть в затылок задышала.

– Аркадий, друг мой, не говори красиво, – рассмеялся Киржаев.

– Это ты правильно сочинение господина Тургенева вспомнил, – тоже улыбнулся подпоручик. – Есть за мной такой грешок, люблю порой щеки надувать. Сам не пойму, как после трехлетней грязи и кровищи привычка такая за мной осталась.

В коньячной бутылке оставалось не более четверти ее содержимого, Киржаев курил, а Ненашев, то усмехаясь, то хмурясь, просматривал последний номер газеты «Сибирская речь», который выпросил на вокзале у железнодорожника-омича.

– А ведь я был, похоже, не прав, когда столь саркастически отзывался о мобилизации, – заявил он вдруг. – Вот послушай, что по этому поводу здесь пишут: «На заседании Совета министров 27 августа управляющий военным министерством А.Н. Гришин-Алмазов с чувством глубокого удовлетворения заявил, что, по сведениям министерства, проходящая в Сибири мобилизация двух молодых годов проходит в большом порядке, как не проходила и при царском режиме. Во многих местах население не только охотно дает новобранцев, но и само предоставляет военным властям списки уклоняющихся».

– Это ж надо, – покрутил головой Ненашев, – как дело идет. Одни мы, убогие, военное министерство огорчаем.

– Оставь, Игорь, – поморщился Киржаев.

– Подожди, тут еще кое-что не менее интересное есть. Вот послушай. Телеграмма в газету из Бийского уезда нашей губернии:

«Исполненные любовью к Родине, с чистым сердцем явились мы в первый день мобилизации и вступили в ряды молодой, но уже славной Сибирской армии. Проникнутые горячей речью заслуженного боевого полковника – начальника гарнизона и напутствием Епископа Бийского Иннокентия, мы, новобранцы первого призыва...».

– Я же просил оставить, – насупился штабс-капитан.

– Еще последнее и все. Извини, но просто утерпеть не могу, чтобы не прочесть. Я совсем немного. Вот: «Мы, крестьяне Бийского уезда, родители призванных новобранцев, отправляем вам наших детей для службы в Сибирской армии. Молим Бога, чтобы он помог вам прогнать

немцев и дать силы нашему правительству сделать Родину счастливой...».

– Достаточно, – хлопнул ладонью по столу Киржаев, – поручи лучше своему церберу, пусть приведет кого-нибудь из тех, кого мы сегодня из деревни привезли. Хочу поближе на наших супротивников поглядеть, там-то в суматохе времени не было, все на одно лицо казались.

Вскоре «цербер» привел из камеры ничем не примечательного арестанта с мятым от бессонницы лицом. Рыжая борода под выгоревшей на солнце армейской фуражкой, такие же рыжие тяжелые сапоги, перешитая из шинели серая куртка – вот и весь мужик. Фуражку арестант тут же снял, сжал в руках, глаза уставил вбок, в стену, так что выражение их офицеры видеть не могли.

– Вот скажи мне, мерзавец, чего ты хочешь? Зачем вам выступать против власти? – Киржаев говорил спокойно, казалось, даже добродушно, будто сына нашкодившего расспрашивал. Спросив, стал терпеливо ждать ответа.

– Чтоб в армию хлопцев не забирали, – после долгого молчания разлепил спекшиеся губы мужик.

– А что ж ты не бунтовал в 14-м году, когда тебя – по одежке вижу, что бывший солдат, – призывали на службу?

– Тогда вроде нужно было.

– Ну а сейчас армия что, по-твоему, совсем не нужна?

– Почему, – поняв, что убивать его вроде бы не собираются, арестант немного осмелел. – Нужна. – И после паузы сказал еле слышно: – Только народная.

– Народная? – голос Киржаева стал каким-то бесцветным, ничего не выражающим, и таким же белым, бесцветным стало в тот же момент лицо стоявшего напротив штабс-капитана мужика. – Народная?! Начиталась, обезьяна тупая, прокламаций! – сорвался на крик начальник гарнизона. – А я, по-твоему, кто?! Я чин горбом, я три года в окопах верой и правдой, три ранения. Вот, вот, вот! – штабс-капитан остервенело ткнул себя пальцем в левую руку, бок и шею. – Ладно, захотелось вам равноправия,

чтоб не было их благородий и так далее. Нате вам учредительное собрание, выбирайте, каких вам надо. Пошли – проголосовали. Этот за первый список, тот за пятый, тот за сто двадцать пятый. Хорошо? А вот шиш, – ощерился Киржаев, – братишечки большевики – вот такие, Игорь, как этот, – он ткнул пальцем в вздрогнувшего арестанта.

– Я не большевик, – заторопился тот, но штабс-капитан его не слушал.

– Посмотрели, видят, что-то маловато им голосов досталось, куда меньше, чем хотелось бы. Что они делают? А вот что, – Киржаев взял со стола бутылку и, выбулькав в стакан весь оставшийся в ней коньяк, одним махом выплеснул его себе в рот. – Раз! – он вытер рукой выступившую в краешке глаза слезу. – И в дамки. Никакой учредилочки нет, и мой голос туда же, в помойку. А если я так не согласен?! – мужик старался, но не мог унять охватившую его дрожь. – Я, боевой офицер, если я не согласен, чтобы об меня ноги вытирали?

Киржаев повернулся к столу, крепко уперся в него руками, постоял немного, сдерживая нервный тик на лице, закурил и вновь обернулся лицом к арестанту.

– Так вот, скотина, если ты не хочешь отвечать на вопрос, зачем вам это все нужно, я на него отвечу сам. Я же местный, жил здесь до войны и видел, как тут мужику живется. Верно, трудновато было начинать в этой степи, но ведь давали же переселенцам скот, многолетние беспроцентные ссуды, инвентарь. И в общем, кто хотел и трудился, начинал жить не так уж плохо. Уверяю тебя в этом, Ненашев, – повернулся он к подпоручику. – Особенно местная немчура. Среди которой, ты можешь себе это представить, тоже большевики завелись! Так в чем же дело? – с приторно-удивленной миной на лице поинтересовался у арестанта Киржаев. – Какого лешего не хватало? На кой хрен им цей совет?.. А чтобы попановать, – улыбочка у капитана враз пропала, и лицо его стало таким, будто не умело улыбаться вовсе. – Попановать захотелось мужичку, самому царем сделаться. И что имеем в результате? Разоренную страну!

Киржаев вернулся на свою табуретку, повернулся к Ненашеву:

– Игорь, кликни своего цербера, пусть самогону принесет. Выпьем, пока ум за разум от таких вот бесед с представителями беднейших слоев населения, – в голосе его слышалась откровенная издевка, – не зашел.

Явившийся на зов Жадов обстановку и настроение Киржаева оценил моментально, и менее чем через минуту на столе появилась бутылка с чистейшим первачом. Офицеры выпили, вновь принялись жевать хлеб с салом, широкие и твердые перья зеленого лука.

– Да если бы, – старательно дожевывая плохо поддающуюся зубам корочку сала и понемногу успокаиваясь, повернулся к арестованному Киржаев. Тот стоял неподвижно, как деревянная кукла, уняв наконец охватившую его дрожь. – Если бы мы победоносно закончили войну вместе с союзниками, а до этого, видит бог, оставалось всего несколько шагов, мы бы получили от Германии и Австрии большие контрибуции, деньги в том числе и для таких дураков, как ты. Россия раздавила бы внутренних смутьянов, да они, вероятно, и сами бы по окончании войны исчезли, продолжилось великое дело Петра Аркадьевича Столыпина и у нас последний нынешний бедняк в самом скором времени жил бы припеваючи. А вы все это псу под хвост пустили, тупые обезьяны, свое же собственное благо туда отправили. И у вас еще хватает наглости называть меня врагом России!!! – штабс-капитан с силой сжал кулаки.

– Я не называл, – удивленно – испуганно возразил арестант, но подвыпивший Киржаев его уже не слушал.

– И вот я тебе, дураку, что еще скажу, – ткнул он пальцем в рыжебородого. – Вот вы, ваша власть, до того, как мы пришли в Славгород, наложили на имущий класс города, по вашей формулировке, чрезвычайный налог в сто тысяч рублей, ограбили моего отца и других уважаемых в городе людей. Какие же вы революционеры после этого, вы просто разбойники с большой дороги.

– Тут ты не прав, Михаил, – после долгого молчания подал из табачного дыма свой голос Ненашев. – Это как раз и есть один из основных признаков революции. Еще во время французских событий, в самом начале XVIII века друзья народа облагали революционными налогами богатых людей и аристократов. Один из комиссаров тогдашних, из города Буржа, кажется, говорил, что разве несправедливо, если алчные спекуляторы и аристократы должны оплачивать издержки войны, которую сами нам и объявили, а другой, тоже не помню имени, сказывал так: «Если у богатого любви к свободе нет, так заберем хоть его состояние».

Киржаев терпеливо дождался, пока его приятель закончит свою тираду, и продолжил, внимательно глядя на мужика. – А теперь, любезный мой, скажи мне, сколько у тебя скота?

– Две лошади и четыре коровы, – после небольшой заминки ответил тот.

– Ну, а если к тебе кто-нибудь пришел и сказал, что для его святого дела нужно забрать у тебя лошадь, две коровы и половину зерна, что бы ты делал? И не ври мне, борода. Я этого не люблю.

– Не отдавал бы, биться стал.

– А я что делаю? – Голос Киржаева звучал торжествующе. – Сражаюсь, как это тебе не покажется странным, в том числе и за тебя, дурака. Потому что, и ты мне верь, если вернутся из-за Урала, не дай бог, красные, они заберут у тебя и лошадь и коров, и не половину, а весь хлеб для своего сраного голодного гегемона – пролетариата. Они в России уже так делают. Потому как ты и такие, как ты, по их меркам – кулаки, живоглоты и кровопийцы. Понял, что я тебе говорю или нет?

Арестант не отвечал, тогда Киржаев вскочил со стула и ухватив мужика за бороду, взметнул его лицо вверх.

– Понял, скотина тупая?

– Пусти, – просипел арестант, – пусти, говорю.

– Ах ты, скотина, – правой рукой штабс-капитан изо всей силы ударил рыжебородого в лицо так, что тот кулем посунулся в угол, а офицер метнулся вслед за ним,

примериваясь сунуть в бок мужику щегольским блестящим сапогом. И тут за рукав штабс-капитана взялись тонкие, но сильные пальцы долгие годы мучившего клавиши пианино Ненашева.

– Остановись, Михаил Петрович, ты же офицер!..

Когда арестованного вытащили из угла и механически переставляющего ноги увели в камеру, Киржаев долго молчал, выкурил почти до мундштука папиросу, а потом коротко сказал:

– Спасибо, Игорь.

– Не за что. Принесешь еще бутылочку такого же знатного коньяка и считай, что в расчете.

– Ты все шутишь, – штабс-капитан прикурил от догорающей папиросы другую, бросил окурочок прямо на пол. – А ведь черт его знает, чем все это кончится.

– Есть еще надежда, – грустно подытожил Ненашев, – что удастся погибнуть до того, как Россия в тартарары провалится.

– Ну разве что так. Черт, – мотнул головой заметно протрезвевший штабс-капитан, – зря не сдержался все же. Нужно было у этого субчика, какие планы у смутьянов попытаться, не задумали ли чего, а я в болтовню ударился, психанул. Ладно, – Киржаев протянул руку поручику. – Я пойду. Думаю, что их сейчас бояться не стоит, у них после прошедших событий полные штаны должны быть, однако и расслабляться не следует. В общем, пока Россия в тартарары не провалилась, ты тут нюх не теряй и не добавляй больше. Это я тебе как начальник гарнизона говорю.

– Слушаюсь, господин штабс-капитан, – покачнувшись, встал из-за стола Ненашев, вытянув руки по швам.

– Брось, Игорь, – поморщился штабс-капитан. – Просто беспокойно у меня на душе. Так что и спать, наверное, домой не пойду, буду ночевать в другом месте.

– Уж не у Катюши ли?

– А вот это, господин поручик, вопрос бестактный, особенно учитывая ваше университетское образование. – Киржаев одернул мундир, поправил револьверную кобуру на ремне, взял со стола фуражку. В общем, бди тут.

– Папиросок своих пару штук оставь, а то у меня от местных изделий уже горло дерет.

Михаил молча выложил на стол три папиросы, убрал в карман брюк портсигар и вышел за дверь, в теплый сентябрьский вечер. Ненашев поудобнее устроился на жестком табурете, привалился спиной к кирпичной кладке стены и не в первый раз с удовольствием подумал, что преобразованный в тюрьму дом купца Дитте, с началом германской войны поменявшего фамилию на Дитин, построен словно крепость. Не то что пуля, не каждый снаряд такой возьмет. Затем подпоручик надвинул поглубже козырек фуражки, пряча глаза от заполнявшего маленькую дежурку яркого света керосиновой лампы-восьмилинейки, и принялся пускать в потолок плотные облачка папиросного дыма.

Глава третья

...Стена гарнизонного штаба озарилась частыми вспышками выстрелов, за спиной Егора раздался жалобный крик, кто-то громко, в голос выругался. Нефедов как бежал, так и сунулся лицом в пыль, обдирая его до крови, но так и не выпустил из рук двух яйцевидных гранат английской системы «Мильс». Из окон штаба потрещало еще малость, и на улицу вновь опустилась тишина, только сзади Егора кто-то беспрерывно стонал да зашуршал по земле брюхом лежащий слева от Нефедова повстанец.

– Лежи, дура, – цыкнул на него Егор. Тот замер и осторожно повернул голову к Нефедову, зашептал громко:

– Что делать-то, командир?

– Ждать. Может, сами уйдут. А нет, вперед рванем.

* * *

В город они вошли, как и собирались, тихо. Точнее, не вошли, а въехали на скрипучих крестьянских телегах, будто к утреннему базару пораньше других места занять. Уже в самом Славгороде приставленный к Егору в помощь

простецкий на вид мужик по фамилии Шерстобитов отозвал Нефедова в сторону.

– Слушай, – с важным видом начал он, – говорю тебе одному. Здесь в городе есть рабочие, какие нам помочь обещали. Только не знают они, что мы уже поднялись. Я возьму человека с собой, схожу на квартиру к двум товарищам, они к нам пришлют тех, кто хорошо знает город, расположение постов, казарм и всякого другого.

– Это было бы хорошо, – обрадовался Егор, – а то у нас будто глаза завязаны. Начали-то в раз, без разведки, а это штука опасная. Давай, друг, топай.

Шерстобитов вернулся через час с небольшим и вид у него был не особенно веселый.

– Ну что? – догадавшись, что дела не получилось, сухо поинтересовался Нефедов.

– Время уходит, скоро светать начнет, нужно начинать. Где твои рабочие?

– Не шуми, – огрызнулся Шерстобитов.

– Говорю, не ко времени мы начали вот и... В общем не помогут они, не успели подготовиться.

– Чтобы штаны надеть и ружье в руки взять, двух минут хватит, – Егор говорил почти беззлобно, так как подобного сообщения от Шерстобитова почему-то и ожидал. – А готовиться... Ну если портки запасные не заготовили, тогда понятно. Как же таким орлам без запасного белья в бой идти.

– Ты... – приставленный ухватил себя за ворот, резко потянул его вниз. – Я сам рад, что ли? Их комитет будет осуществлять надзор за восстанием, контроль значит.

– Шо? – ухмыльнулся незаметно подошедший к ним Мирон Пасько, такой же, как и Егор, старый окопник. – На кой бис нам цей надзор? Нехай за свиньями своими в огороде надзирают. Вони, рабочие те, в германскую от окопов на своих заводах прятались и зараз нороят мужицкими руками все зробиць, а самим потом пановать.

– Все, – твердо сказал Нефедов. – Он плохо различал в темноте лицо Шерстобитова, но по частому дыханию того понял, что мужик с большим трудом сдер-

живает в себе злость и обиду. – Кто-нибудь знает, – повернулся Егор к своему войску, – где у беляков штаб?

– Я вроде знаю, – тихо откликнулся из темноты молодой голос, и Нефедов признал парня, который еще вечером по дороге к городу интересовался у него, страшно ли бросать гранату. – Это, кажись, через улицу отсюда. Мы туда с отцом недавно арбузы возили, они нам еще заплатили небогато. – Ничего, сейчас прибавку к расчету получишь, – чувствуя, как знакомо потянуло – похолодело в паху, попробовал пошутить Егор. Сплюнул в траву, покрепче натянул на голову фуражку, поправил на ремне штык. – За мной.

* * *

Стукнуло одиноко из уже различного в мареве рассвета окна штаба, полыхнуло огнем из другого.

– Жидковато, – подумал Егор и тут же рывком бросил свое тело вперед. Вновь ударили выстрелы, но он уже был укрыт хоть и хлипким, а все деревцем. Повернулся к лежащим в пыли повстанцам.

– Давай разом. Вперед!

– Ура-а! – тонко и одиноко затянул сзади юношеский голос.

Одна пуля свистнула рядом, ушла в полумрак. Вторая досталась догонявшему Егора Мирону Пасько. Согнула его в коромысло, сунула носом в землю. Упав под стенку, Нефедов на мгновение обернулся, увидел, как Мирон посучил в пыли сапогами и затих. Нефедов болезненно скривился, сорвал зубами кольцо с первой бомбы, не поднимая головы, задрал вверх руку и вкатил «англичанку» в разбитое окно. Засеменил на четвереньках к другому, проделал ту же работу и, закрыв руками голову, сунулся всем телом под спасительную стенку. Только бухнуло сдвоенно, и вывалилась в вонючем желтом дыму едва не придавившая его оконная рама, как Нефедов со штыком в руке перемахнул через подоконник и очутился в небольшой комнате. В дыму и пыли смутно просматривалось лежащее в углу человеческое тело в посеченном осколками

офицерском мундире. Рядом с убитым валялись фуражка и короткая драгунская винтовка, с какой Егор не раз хаживал в австрийские и немецкие траншеи. Нефедов подхватил винтовку, передернул для верности затвор и, убедившись, что патрон в стволе есть, осторожно двинулся дальше. В соседней комнате привалился к стене еще один убитый офицер. Нефедов подобрал и его винтовку, в этот раз обычную трехлинейку, переложил из кобуры убитого в свой карман офицерский наган-самовзвод, забрал из ниши у окна две гранаты-бутылки.

Больше в штабе людей не обнаружилось ни живых, ни мертвых. Егор обошел все небольшое здание, сунулся было через другую дверь дальше по улице, да пыхнул ему навстречу из-за ближайшего домика дымок винтовочного выстрела. Нефедов спрятался обратно за дверь, подумал: «Да хрен с вами. Что я, один буду за всех горбить?», вернулся назад, заорал в открытое окно.

– Ну что, долго площадь пузом чистить будете, вояки гороховые? Топайте сюда трофеи делить!

Он кряхтя перелез через подоконник, мешком свалился вниз и, не вставая на ноги, вытащил из кармана любовно расшитый кисет. Принялся вертеть толстенную цигарку. Мужики как умели перевязали раненых, уложили под тощее деревце вытянувшегося солдатиком Мирона Пасько и принялись с большим уважением рассматривать своего командира. Егор наконец-то закурил, опершись о стену встал. Поправил на голове фуражку, сбил ладонью пыль с брюк.

– Кто с трехлинейкой обращаться умеет?

– Я, пожалуй, – тут же откликнулся круглолицый, хитроглазый мужик в выдавшей виды шинели, – два года такую таскал.

– Держи! – перебросил ему винтовку Нефедов. – И запомни: с тебя литр самогону с закуской. Не вздумай жить, все одно отыщу.

Круглолицый поймал за цевье винтовку, осмотрел внимательно затвор и деловито поинтересовался:

– А патроны где ж?

– Слазь за стенку, поищи там, – посоветовал

Нефедов и продолжал, обращаясь к своим бойцам. – Ну а кто так громко «ура» кричал?

Героем оказался долговязый парень, указавший повстанцам дорогу к штабу.

– А-а, – обрадовался с наслаждением дымивший махорочкой командир, – для тебя особая награда. Как тебя звать-величать?

– Прокоп. А фамилия наша будет Снисаренко.

Нефедов подобрал с земли одну из трофейных гранат-бутылок, протянул ее парню.

– Держи, Прокоп. От имени всего трудового люда, ну и от меня тоже, вот тебе первая награда. Давай и дальше воюй как сейчас, с усердием.

Тот покраснел, хмыкнул что-то себе под нос и принялся крепить подарок к крестьянской опояске.

* * *

Фисенко шел по славгородской улице с наганом в руке, то и дело останавливаясь, чтобы выслушать прибывавших от командиров отрядов посыльных.

– Милицию захватили в плен в доме купца Виноградова. Не успели гады разбежаться. Винтовок взяли штук сорок, патроны.

– Хорошо.

– Кокнули Фрея, городского главу. Он, дурень, вышел с утра прогуляться, а тут мы.

Перепугался, но кричит: «Кто такие?! Зачем? Я городской глава Фрей!». Мы говорим: «Тебя-то нам и надо». И кокнули его.

– Правильно.

– И еще там этих, думских, побили по домам, да купчишек-живодеров кой-каких расходовали. Не считали сколько.

– Мало будет – добавим.

– Взяли охвицерскую казарму, побили охвицеров, но не много, бильше ушло. Уж шибко вояки сильные. Киржаева собаку те ж не нашлы, як скризь землю уйшов.

– Плохо.

– Забрали тюрьму. Освободили народу человек сто. Наши мужики, слава богу, все живые.

– Вот это здорово.

Павел свернул за угол, на Столыпинскую и, увидев, как у большого каменного дома кого-то бьют, прибавил шагу. За ним с винтовками на руку поспешали двое чернодольцев, Петр и Никита. У входа в подвал толпа деревенских мужиков человек в двадцать кулаками, ногами, палками, всем, что попало под руку, яростно молотила двоих, едва держащихся на ногах, людей в офицерских шинелях. Фуражка одного из них уже валялась в пыли, а у другого, высокого и плечистого, держалась на голове просто чудом.

– Стой! – властно крикнул Фисенко.

– Что тут такое?

Толпа на мгновение замерла и тут же загомонила в десяток голосов: «Кровопийцы! Гады! Хиба ж так можно...».

– Стой! – еще раз крикнул Павел. – Один говори.

– Офицеры, понимаешь, – вывернулся из-за спин товарищей невысокий бойкий мужичок с палкой в руке. – Мы мимо шли, смотрим винтовка у стены стоит. Думаем: шалишь, надо посмотреть. Вот в подвале этих двух господ офицеров и обнаружили. Теперь им народный самосуд решили устроить, потому как угнетатели.

– Хоть и угнетатели, так не собаки ж бешеные, чтоб палками до смерти бить, – покривил щеку командир повстанцев. – А ну разойдись!

Шинели и куртки раздались в стороны, и перед Фисенко, еле держась на ногах, встали два человека – высокий блондин с пышной шевелюрой и затравленными глазами и коротко стриженный чернявый крепыш, один глаз которого уже успел заплыть, а другой просто сочился ненавистью.

– Офицер? – коротко спросил Фисенко у высокого.

– Офицер.

Павел молча поднял наган и два раза выстрелил ему в грудь. Высокого откинуло к стене, потащило вбок и свернуло на тротуаре в темно-зеленую букву Г.

– Подлец, – смуглое лицо коренастого сморщилось, сравнялось в цвете с белой стеной. – Ну и тебе недолго...

Стукнули еще два выстрела, и чернявый ткнулся головой в сапог своего товарища.

– Ты шо робишь, Павел? – срывающимся голосом спросил в наступившей после выстрелов тишине один из чернодольцев, немолодой уже вислоусый мужик в перетянутой патронташем шинели. – Это ж пленные.

Фисенко туго, будто пересиливая боль, повернул голову к повстанцу.

– Что? – голос командира заставил всех вздрогнуть. – Пленные? Нету пленных в этой войне и не будет. Ни у нас, ни у них.

– Бач який мягкосердий найшовся, – напустился на усатого его напарник.

– Ты чого, Микита, злякався? Це ж паны прокляти. Нелюди вони, их жалеть не трэба.

– Но скотства, – Фисенко медленно словно двумя винтовочными зрачками провел взглядом по толпе, – скотства не потерпим.

* * *

Распустив свое войско, Нефедов отправился искать штаб повстанцев. На широких и пыльных улицах Славгорода толпились, гомонили, матерились, покуривали, выпивали по малости под телегами после пережитых волнений крестьяне. Из разбитого оружейного склада тащили винтовки, иной сразу по две-три, целыми ящиками пихали в сено телег патроны, туда же отправлялась и прочая воинская амуниция. Но вскоре выяснилось, что среди нахлынувших в город людей имеются люди и более практичные, для которых армейское снаряжение да и само восстание было делом не главным. Главным для них было совсем другое. Крик «Помогите! Ну помогите хоть кто-нибудь!»

протрезвил засыпающего на ходу Егора в одно мгновение. Нефедов сорвал с плеча драгунку и ни секунды не раздумывая влетел в открытую дверь мелкой продуктовой лавочки с надписью «Любья и прочия товары» над входом. В лавке полным ходом шел погром. Пока двое парней ломали в углу хрупкую, черноглазую девчонку лет шестнадцати, рвали с нее остатки серенького платья, тискали маленькие груди, двое постарше и постепеннее разборчиво и не спеша набивали за стойкой здоровенные мешки.

– Вы что, охренели, что ли? – опустил ствол винтовки Егор. – Вы что делаете?

– А шо такое? – спокойно поинтересовался один из орудующих за стойкой бородатых мужиков. – Пусть кровопийца своим добром с народом поделится, а девка его хоть собой для крестьянства послужит. Поскольку ноне революция, – и очень довольный гладкой своей речью захохотал.

– А ну отпустите ее!

– Що такое?

Парни отпустили трясущуюся девчонку, повернулись к Егору. У стоящего за стойкой мужика появился в руках топор, и лишь его напарник, самый пожилой из налетчиков, не обращая на происходящее никакого внимания, деловито рылся в вещах.

– Пусти, говорю. – Нефедов передернул затвор драгунки и тут же получил удар в ухо, от которого отлетел в угол и, не удержавшись на ногах, упал.

– Ну що, батька, гарно я ему врезав? – весело поинтересовался заполнивший едва ли не весь дверной проем здоровенный мордатый парень и, довольно оскалясь, потер ладонью похожий на тыковку веснушчатый кулак.

– Молодец, Микола. А ну вреж йому ще раз тай винт забери.

– Зараз, – Микола двинулся было к Егору, но тут в дверях обозначилась новая, в этот раз квадратно-черная фигура.

– Что за бардак на корабле? – властно поинтересовался черный человек.

– Вреж и йому, Микола, щоб мурло куда не трэба не сував.

Микола повернулся врезать и тут же исчез, будто и не было его в лавке, оставив, как напоминание о себе, лишь две торчащие над стойкой огромные подошвы... Егор тем временем вскочил на ноги, подхватил с пола драгунку и, не тратя больше слов, выпалил в ногу одному из насильников. Тот принялся кататься по полу и орать куда громче своей жертвы, остальные бандиты замерли на месте.

– Забирай падаль свою, бросай что награбили и пошли отсюда!

Налетчики гуськом заторопились к двери, и каждому оказавшийся обычным матросом черный человек давал на прощание хорошего пинка. Успокоили как могли девчонку, накинув на нее найденное в лавке пальтишко, закрыли поплотнее дверь и вдвоем, как давние знакомые, вышли на улицу.

– Ты где так кулаками махать научился? – после некоторого молчания спросил Егор у своего спасителя.

Тот сдвинул на давно не стриженный затылок мятую бескозырку с крутящейся на черной ленте золотой надписью «Баянь», почесал небритый квадратный подбородок, форсисто сплюнул в пыль.

– Да был у нас на крейсере один офицер, мичман Краузе, большой специалист по английскому кулачному бою, он у них бокс называется. Вот и меня научил. Он вообще парень неплохой был.

– Почему был-то?

– Да убили его в Кронштадте еще в марте 17-го матросы, не с нашего правда, с другого корабля. Тогда вообще много офицерья побили. Ну те-то, хрен с ними, драконы царские, а этого жалко, – матрос коротко вздохнул и жестко добавил: – Что поделаешь, революция.

– Это я только что слышал, – криво усмехнулся Нефедов и легонько потрогал рукой все еще гудящую голову. – И видел.

– Что ты видел? – возвысил голос его спутник. – Революция без эксцессов не обходится, но процесс этот

временный. Вот разгребемся с контрой, и всю эту шваль мигом под лавку загоним.

– Хорошо бы, – Егор немного призадумался.

– А еще бы неплохо выпить малость. Башку мою чужиную подлечить, тебе поставить за спасение, да и за знакомство. Тебя как звать-то? Меня Егором.

– Владимир Мишуков, – матрос крепко пожал протянутую ему руку. – И неплохо бы еще и пожрать, а то нам в тюрьме по двести грамм черняшки в день давали, по тарелке пшенки-размазни. После такого харча революции шибко не послужишь.

– А как туда попал ?

– Ну это я тебе потом расскажу. Лучше скажи, где ты выпивку с закуской искать собрался? У меня лично в Славгороде зажиточных родственников нету.

– Да у меня тоже, зато должник один есть, мы его сейчас поищем.

Должник отыскался быстро. Сидел в теньке под телегой, уплетал сало с хлебом да лучком, не забывая время от времени опорожнять походную манерку, и травил четверым односельчанам, среди которых гордо восседал и раскрасневшийся от самогона и славы Прокоп, об их недавних подвигах. Увидев Нефедова, он радостно взметнул вверх руки, в каждой из которых было зажато по доброму куску харча, при этом матрос с «Баяна» нервно поскреб себя по небритому подбородку.

– О-о, товарищ командир! Давайте к нам, я как раз про вас кумовьям своим рассказываю. Вот, – указал он пальцем на Егора, – это и есть герой главный. Садитесь, товарищ командир, и ты, парень, – кивком пригласил он Мишукова, – зря не стой. Отведаем, что господь послал.

Егор с Володей, не заставляя себя долго упрашивать, выпили по плошке крепчайшего самогона и взялись как следует за картошку в мундирах, репчатый лук, сало, огурчики.

– А я вот, Егор Никитович, – откуда хитроглазый узнал Егорово отчество, так и осталось для Нефедова неизвестным, – пока по городу бродил, еще один винт добыл

себе. Выменял на самогонку. Только я такого не видал раньше, не русская штука. Вот не знаю, какую себе оставить, а какую, пока в городе, на что-нибудь путное поменять, мануфактуру там или еще что. Вы не подскажите часом?

– Ох и шустрый ты мужик, как я погляжу, – не переставая жевать, усмехнулся Егор, – и на войне ухитрился меняльную лавку открыть.

– Так не какую ж минуту палят, – искренне удивился мужик. – Надо пока тихо и о хозяйстве подумать.

– Ладно, – Нефедов отер руки о гимнастерку. – Давай твою, заграничную. – Он принял в ладони увесистую винтовку, перехватил ее поудобнее, осмотрел со всех сторон. Открыл затвор, заглянул в казенник, а затем и в ствол.

– Это, друг мой, ружьишко хорошее, называется винчестер. Перезаряжать его очень удобно, вот рычаг видишь внизу на скобе? Это и есть затвор. Двинул туда сюда и готово, перезарядил. Такие для России в Америке под наш патрон делали. Так что с боеприпасами у тебя заботы не будет.

– Ты откуда это знаешь-то?

– Да полуротный у нас дока в оружии был и вообще вояка хороший, он и рассказал.

– Сейчас у белых небось служит? – с ехидной улыбкой вторгся в разговор один из земляков хитроглазого.

– Кто?

– Да полуротный ваш.

– А-а, Федор Иванович! Он сейчас, наверное, с господом богом чай пьет. Убило его в поиске под Сморгонью. До своих позиций солдаты на руках несли. Там и схоронили.

– Ты, я смотрю, парень, человек знающий, бывалый, – сказал до того помалкивавший сорокалетний мужик в перешитой из серой шинели куртке и, несмотря на теплое время, бараньей папахе. – Вот скажи, что дальше-то делать? Мы с мужиками порешили брать оружие, – он хлопнул рукой по лежащей рядом с ним в траве новенькой винтовке, – что тут добыли. Забирать своих хлопцев мобилизованных да топать домой. Дел по осени невпроворот, долго воевать нам некогда.

– Да вы что? – рука Егора замерла со стаканом на полпути ко рту. – Ведь дело-то еще только началось. Сейчас разойтись, приедут белые, они, что вас за восстание наградами угощать станут? Сейчас вместе надо быть, оборужаться, фронт держать, людей подымать отовсюду, до полной победы по всей России. Наполовинку не выйдет, вполсилы не получится, точно вам говорю.

– А нам ваша полная победа особливо не требуется, – подал голос сидевший рядом с теплолюбивым повстанцем чернявый, горбоносый и, по всему виду, довольно злой мужик. – Мы хлопцев своих от мобилизации освободили, оружие спрячем до времени и будем Красную армию из-за Урала ждать. С ней-то вернее будет. Ну а придут беляки, так что с нас взять, Ивашка – серая сермяжка, побежали дураки за говорунами. Коль и выпорют – потерпим, велика ли беда.

– Ты что это за разговоры, контра, ведешь? – вскипел Мишуков. – Тебя б за такие разговоры в Питере... знаешь?

– Не в Питере мы, флотский, – хмыкнул горбоносый, – и пока не я, а ты у меня дома и хлеб мой ешь, так что помалкивай.

– Ты б у меня навеки замолчал, – поднялся на ноги моряк, – ну ничего, дай срок...

– Когда еще тот срок будет, – посмотрел на него снизу вверх круглолицый, – а вот тебе шею свернуть, как куренку, и сейчас можно. Поскольку вредный ты для мужика человек.

Дело явно шло к драке, потому Егор поспешно поднялся, взял за рукав товарища.

– Спасибо за хлеб-соль, пора нам поспешать в штаб. А вы, мужики, решайте, конечно, как хотите, но все ж послушайте меня. Нельзя нам сейчас расходиться, побьют нас порознь, ой как побьют, шомполами не отделаетесь. Ну, бывайте.

* * *

– Контры, ну контры, – никак не мог успокоиться Мишуков, – была б тут наша братва...

– Давай присядем, – Егор потянул нового приятеля к хилому заборчику, рядом с которым заманчиво зеленел густой, гладкий как ковер спорыш, – покурим, отдохнем. Расскажешь заодно, как ты в нашей степи оказался. До моря-то отсюда небось больше тыщи верст будет.

– Это точно, – подтвердил Мишуков и, пока Нефедов сворачивал очередную сигарку, сорвал тоненькую былинку, ухватил ее зубами, повалился широкой спиной на траву. – Я тут вообще-то по случаю оказался. Наш матросский отряд на Дон должны были запузырить казачков гонять. Но сорок человек специально отобрали, отправили сюда за хлебом. В Питере-то у братвы животы уже здорово подводит, детишки болеют и вообще... – Володя немного помолчал, выплюнул травинку. – Только мы тут толком даже разобраться что к чему не успели. Чехи восстание как раз подняли, власть советскую в Новониколаевске скovyрнули и поперли повсюду крейсерской скоростью, а к ним тут же всякая сволочь кадетская подгрэбла. В общем из Славгорода нас человек триста уходили, красноармейцы местные, ну и мы, балтийцы. Хотели дойти до железки, а там с Красной гвардией соединиться.

Топали долго. Агитировали по дороге крестьян в наш отряд вступать, но почти никто не согласился. Из тех сел, где не переселенцы, а кержаки живут, и вовсе никто не пошел. Их еще царь от всех налогов и даже от воинской службы освободил, ну и на кой им, куркулям, наша война? Мы, по правде, пошерстили малость толстобрюхих, забрали лошадей, продукты, с паршивой собаки хоть шерсти клок. В других селах мужики нам говорили, что им германская до смерти надоела, а вы, мол, еще одну войну хотите открыть. В общем, – Мишуков сплюнул в сторону, – считай, никто с нами не пошел. Уже недалеко от Волчихи встретили деда одного прямо как из сказки – длинная борода седая, лапти, шляпа чудная, говорит: «Я на китайской войне был, там пленных не убивали, и на германской, внук мне сказывал, тоже нет, а тут сами своих бьют почем зря. Новая власть по всем дорогам ловят красноармейцев, кого стреляют на месте, а кого везут в каменскую тюрьму, хоть

в ней вроде народу и так под завязку». Мишуков перевернулся со спины на бок, лицом к Егору и, немного промолчав, продолжил свое повествование:

– У Волчихи всыпали нам по самые ноздри. Еще б командир хоть один хороший, толковый был, а так что? Дали нам. Большинство побило, кое-кто драпануть успел, ну а у балтийцев не принято корму показывать. Бились сколько могли, там в заварухе мне один прикладом по черепушке и двинул. Попал вместе с тремя братками в ту же каменскую тюрьму. Правда, пробыл там недолго, в Славгороде, оказывается, одна гнида зуб на меня имела и затребовала сюда. Но Бог, или кто он там, все же, наверное, есть, и пока меня в Славгород везли, офицерику этого куда-то услали. А пока я его возвращения и, очевидно, безвременной своей гибели дожидался, вы нагрянули.

– И как оно, в тюрьме-то?

– Да как, тюрьма она и есть тюрьма. Жратвы почти никакой, надзирателей, похоже из бандитов с большой дороги подбирали, одно зверье. Офицеры некоторые не лучше. Ночью припрутся пьяные, построят человек несколько: «Большевик?» – «Нет», все одно получай. Плетками, сапогами, чем попадет. Одной надеждой и живешь. Мы же ждали, что восстание начнется, передал кто-то. Как раз из деревни этой, Черного Дола, братву привезли, они тоже говорили, что мужики должны с якоря сняться. Мне там один парень, Заровный Гордей, рассказывал, что еще в июле у них собирали сходку, где решили сделать восстание, забрать Славгород, а тогда строить свою армию и широким фронтом, – моряк хмыкнул, – во бороды крученые! – наступать на Омск, где находится Временное Сибирское правительство. Решили они, что надо делать все быстро, до зимы, пока Красная армия не ушла далеко. Белым тогда придется против них снять часть войск с Уральского фронта, а когда они фронт ослабят, Красная армия надвинется сюда. Надвинется, ага, – Мишуков яростно плюнул в траву. – С такими вот, как этот мордастый, обязательно надвинется. Ну а тут как раз мобилизация, момент хороший восстание начать, ну они и начали.

– Ясно, – Егор раскинул руки по мягкой мураве, от души с хрустом потянулся.

– Эх, сейчас бы храпануть как следует. Пойдем, что ли, и так тут чуть ни час разлеживаемся. А дело революции, – прищурился он, – тем временем стоит.

– Ладно болтать, – беззлобно откликнулся Мишуков, которому так же, как и Егору, сразу понравился его новый знакомый, – погребли действительно штаб искать.

– Подожди, – сел на траве Егор.

– А как вам из тюрьмы вырваться удалось?

– А-а, – довольно улыбнулся моряк, – тут, можно сказать, имеется немаловажная заслуга бывшего комендора Владимира Мишукова.

– Ну ты не надуйся так, а то лопнешь, – попросил Нефедов, – рассказывай, только быстренько.

– А тут долгого ничего и нету. Вечером, перед стрельбой, смотрю, ребята шебуршатся, сообщил им кто-то, что под утро должен быть налет на тюрьму. Хорошо бы из камер как-то выбраться да своих поддержать, а как? Они полегли все, будто спят, а я подождал часок и царапаюсь тихонько в дверь. Надзиратель видит, что я не тарабанию, и тоже, бандитская рожа, подходит к двери. Спрашивает тихонько, чего мол тебе? В общем наплел я ему, что при штурме Зимнего дворца в Питере нагреб там кучу золотых червонцев и несколько штук на самый крайний случай зашиты у меня в поле бушлата. Прослышал я, что нас вскорости собираются шлепнуть, и загорелось мне по этому делу самогонки дернуть. Слышу, он за дверью аж пританцовывать начал. Но молчит, мается, сердешный, – звать кого в помощь или нет. Коль звать, делиться надо будет, а так все одному. Через время приоткрывается потихоньку дверь, и появляется в проеме здоровенная морда. «Давай, – говорит, – свои червонцы...».

– А дальше?

– Дал, конечно. Точь-в-точь, как Краузе показывал. Орел этот на пол улегся, а мы всем кубрик на волю двинули. Вывернулись в коридор. Сзади меня сопят вовсю, а впереди офицерик, худой да длинный, с наганом в руке

объявляется. Ствол чуть не в лицо мне и огнем из него. Я только головой в сторону дернуть успел, как по ней буд-то железкой шарахнули. Контузило, в общем, пошел в аут.

– Чего?

– Сознание потерял. Очухался, в трюме тихо, а на палубе слышу, палят. Башку потрогал – ничего вроде, встал – ноги держат. Рядом офицерик валяется, еще кто-то, пошарил вокруг, оружия нету. Ну и попер наверх посмотреть, что там делается. Так вот на твою войну с бандюками в лавке и набрел.

– Так ты что, совсем безоружный?

– Ну почему совсем. Ложка целая, нигде не отобрали.

– Так, – Егор встал с травы, вытянулся по стойке смирно, – товарищ Мишуков!

– Я, – поднялся на ноги матрос.

– От имени трудового народа и в знак благодарности, – Нефедов улыбнулся, – в общем, это тебе от меня. На память.

– Спасибо, – Мишуков с удовольствием повертел в руке офицерский револьвер, – вещь хорошая...

* * *

Временный штаб черnodольских повстанцев в Славгороде размещался в просторном одноэтажном доме и охранялся безостановочно лузгающим семечки молодым парнем с охотничьим ружьем под мышкой. Мимо него Егор с Володей прошли без малейшей задержки, вошли в просторную, затянутую махорочным дымом комнату и увидели там несколько человек, внимательно слушающих своего командира. Фисенко стоял, опершись ладонями о стол и говорил чуть ли ни в самое лицо сидевшему напротив до равнодушия невозмутимому Роману Буряку:

– Когда в феврале взяли власть в городе, мы ни одного буржуя не расстреляли. Ну, правда, бывших полицейских, кулаков, жандармов, духовную братию да уголовников избирательных прав лишили. Так и то – народ они, что ли? Вот, смотри, – доказывал Фисенко свою правоту Буряку, который в ней, похоже, и без того ничуть не

сомневался, – у Бефеля ткацкую фабрику реквизировали, так его же на ней работать оставили, зарплату положили хорошую. Ну контрибуцию наложили на буржуев городских, так и правильно. Пусть мироеды для народа, какой грабили, раскошелятся. Не сами, так хоть деньги их свободе послужат. Фисенко оторвал руки от стола, крепко ступая, прошелся по комнате, вновь повернулся к Буряку и сидящему рядом с ним Петру Дещенко, среднего роста худощавому мужику в застиранной добела гимнастерке, перетянутой новенькой офицерской портупеей.

– Нянькались с гадами, все наказание мироедам – денежные штрафы да выселение из города. Ну в тюрьму какого-нибудь уж очень злого гада посадят. И все. А что было, когда чех поднялся и полковник Кабаков в июле в Славгород вошел?! В первый же день больше сорока человек расстреляли! Скольکو народу в Павлодар в тюрьму увезли и сейчас о них ни слуху, ни духу! И я цацкаться с гадами должен, суды им устраивать, когда кровь наших товарищей высохнуть не успела! – Лицо Павла побурело от гнева. – Смотри, аблокаты какие нашлись. Передай, Петро, Миките, – повернулся он к стоящему у окна чернодольцу с винтовкой, – пусть спасибо скажет, что я ему за его заступничество, за господ офицеров пулей рот не запечатал. – Нет! – Фисенко рубанул по воздуху кулаком, – террор! Только террор. – И уже гораздо спокойнее добавил: – Иначе они нас без соли сожрут.

Отодвинув в сторону стоящего в дверях Егора, в комнату неровной, но бодрой походкой вошел высокий, изрядно подвыпивший мужик. Под шинельной курткой гарусный жилет, на голове черный котелок, на ногах, под завязками армейских галифе, лаковые штиблеты, сбоку офицерская шашка на веревочной перевязи. Остальные предметы из гардероба неизвестного, но респектабельного господина – пиджак и заправленные в избитые солдатские сапоги брюки – красовались на приятеле высокого, который вошел, дурашливо опираясь на дорогую трость.

– Здоровы были! – весело гаркнул высокий. – Шо такие смурные?

– Зато ты, Микола, гляжу, больно веселый, – окинул его взглядом Фисенко. – Ты где так выфрантился ?

– Так купчишек погоняли, да этих, антиллигентов поганых, повытрясли из них добро, у народа награбленное. Вот и тебе, как вожаку нашему, презент принесли. – Микола извлек из кармана шинельной куртки дорогие часы-бригет на золотой цепочке.

– Пользуйся. Будешь знать, когда кашу есть, когда команды отдавать.

– Высокий с приятелем довольно заулыбались:

– Не треба, себе оставьте.

– Так то ж трофей, – вмешался в разговор повстанец с тросточкой.

– Трофеи в бою берут, а это... Ладно, топайте отсюда, не мешайте дело справлять. И хватит гулять, узнаю, что кроме мироедов кого в городе затронули, не взыщите.

– Как же не погулять? – удивился Микола.

– Триста лет пили паразиты народную кровь, что ж теперь...

– Угнетенному селянину не попользоваться, – закончил за него Павел. – Знаем, песня знакомая.

– А шо, неправильная песня? – с вызовом спросил товарищ высокого. – Неверная?

– Топайте спать, говорю, – не стал спорить Фисенко. – А то подойдут те самые паразиты и как кутят вас пьяненьких передушат.

– Вполне возможное дело, – хохотнул высокий. – Пошли, Иван, у нас там, кажись, самогонка господская еще осталась.

– А як же, – Иван хлопнул себя по карману пиджака, из которого торчало горлышко дорогого шустовского коньяка, – хоть и вонючая, а шибает крепко.

– Вот шалопаи, – покрутил головой командир повстанцев, когда приятели ушли, – и ведь ничего с ними пока не сделаешь, начнешь давить – уйдут да и все. А вояки-то справные, Микола – егорьевский кавалер.

– Товарищ Фисенко, – подал наконец голос от двери Нефедов, и командир повстанцев недовольно повернулся к нему.

– Чего надо? – Однако тут же помягчел. – А, это ты, парень. Молодец, нечего сказать. В старое время я б тебе прямо тут медаль повесил. – Фисенко крепко пожал Егору руку и тут же увидел другую протянутую к нему ладонь.

– Владимир Мишуков, матрос из питерского продотряда, – бойко отрекомендовался флотский. – Освобожден из местной тюрьмы вашими партизанами, за что им всем от имени Красного Балтийского флота, выражаю благодарность. – Фисенко крепко пожал протянутую ему руку, а Володя тем временем продолжал:

– Террор, дело понятное, нужен. Контру надо, пока она из гниды в вошь не превратилась, давить. Но, товарищ командир, на улицах сейчас кое-где форменный бардак идет. Всякая сволочь примазавшаяся лавочки грабит, руки свои поганые в отношении женщин распускает. Мы вот сейчас с товарищем Нефедовым, – кивнул он в сторону Егора, – от таких бандюков совсем малолетнюю девицу едва спасли.

– Этого не потерпим, будем пресекать, насильников расстреливать, – голос Павла звучал резко и отрывисто.

– Пора порядок революционный наводить. Погуляли хлопцы, пар выпустили и хватит. Семен! – крикнул он в открытую дверь другой комнаты. – Семен!

– Ну чего? – откликнулся недовольный хрипчатый голос. – Хоть немного б вздремнуть дали.

– Некогда дремать. Давай вставай, садись за пишмашинку, вспоминай свое писарское дело.

Когда разлохмаченный Семен вытер кое-как мокрым рушником измятое после недолгого сна лицо и уселся за «Ремингтон», Фисенко повернулся к Буряку: – Давай ты, приказы начальник штаба должен сочинять.

Роман Григорьевич улыбнулся в усы, задумался ненадолго и ровным, четким голосом начал диктовать:

– «Обращение военно-революционного штаба. Стоя всецело на охране тишины и спокойствия, революционный штаб призывает всех исполнять работу и не прекращать ее ни под каким видом. Не верить ложным провокационным слухам. Установить самоохрану. Строго

запрещается движение по городу без пропусков: с восьми часов вечера до пяти часов утра.

Крестьянско-рабочий штаб сентябрь 1918 года».

– Ну здорово, – восхитился все так же стоявший у окна и увлеченно слушающий Романа Петро. – Тебя б, Роман Григорьевич, городским головой надо поставить. Это ж надо, как заворачивает!

– Та не, – улыбнулся смущенный Буряк, – я лучше крестьянствовать буду либо опять на шахту после победы вернусь. – А городским головой кого-нибудь помоложе да пошустрее поставим. Вот такого, – кивнул он в сторону Нефедова. Но тому, похоже, было не до шуток, говорил он твердо и напористо.

– Товарищ Фисенко, можно тебя спросить?

– А чего нельзя-то?

– Тогда давай отойдем в сторонку, там поговорим.

– Зачем в сторонку? – голос Фисенко подтвердел.

– У нас тут сторонки нету, все свои.

– Хорошо, – без спора согласился Нефедов и, глядя прямо в глаза командира повстанцев, спросил:

– Ты твердо веришь, что нам удастся силу собрать, до прихода советской власти продержаться? Мужики-то вон уже по своим хатам потянулись. Я сегодня кое с кем тут разговаривал, так просто не удержать. Винтовку добытую подмышку – и домой.

– Не верил бы твердо, не пошел бы на такое дело, – чтобы все слышали, громко ответил Егору Фисенко.

– Ладно, когда так, только ведь вокруг голая степь, ни лесочка, ни горочки, укрываться в случае чего негде. Что будет, коль разобьют нас, каратели по селам пойдут?

– Попорют мужичков, только и всего, и это им на пользу пойдет, не будут в другой раз по хатам от своего же дела прятаться.

– Ну а кого расшлепают, тому какая польза?

– Погибнуть за революцию, – у обычно не сентиментального Фисенко даже голос дрогнул, – святое дело. Хоть я поповских слов и не признаю.

– Это ты, а другие?

– Что другие? – Павел просто сверлил Нефедова взглядом. – Пусть для своих детей, для внуков постараются. Не мне ж одному, Роману вон, другим нашим, да и тебе самому головы подставлять. И вообще, чего ты разнылся-то, – грубо закончил Фисенко, надеясь, очевидно, этой грубостью поднять Нефедову боевой дух, – словно баба какая.

– Я тебе не баба, и не разнылся, а просто спросить хотел.

– Спросил?

– Да.

– Ну и все на том. Тебя силком никто не держит. Вон дверь, хочешь открывай и топай домой с благодарностью за твои подвиги.

– Ладно, ты не шуткуй, – Егор, несмотря на молодость, себя уважал и спускать насмешек никому не собирался. – Без тебя знаю, куда мне топать.

Фисенко подошел вплотную к Нефедову, посмотрел на него внимательно, будто первый раз увидел, и крепко обхватил Егора за плечи.

– Хороший ты парень, я гляжу. Давай не ершись. Лучшие люди наши – Ермолай Кононов, Минаев, другие мужики уже поехали за помощью в Павлодарскую волость, в Барнаул, в Камень, в Татарку. Отбиваем телеграммы во все концы, надеемся все-таки поднять народ на большое восстание. Наше дело качнуть, а там пойдет пластать от волости к волости до самого Урала. Ну а если все-таки рановато мы начали, – Павел говорил ровно, взвешенно, было видно, что для себя он уже давно все решил, – что ж, наша кровь не первой будет. – Он отпустил наконец Егоровы плечи. – Ты ведь на германской не один раз смерть рядом видел? – Нефедов молча кивнул. – Ну так еще посмотришь. Сам ведь говорил, что по войне соскучился, а как на ней без косой, – и Егор в первый и в последний раз в жизни увидел улыбку командира чернодольских повстанцев.

Заулыбались и многие из тех, кто находился в штабе. Люди здесь собирались сплошь бывалые, повоевавшие, и недавняя привычка к смертельной опасности

сделала ее хоть и очень неприятной для души, но все ж почти обыденной вещью. Решив идти воевать, они шли и воевали.

– Будем делать все, что в наших силах, пустим в ход все возможности, – тихо, словно одному себе, сказал Фисенко и, подняв голову, уже громко: – Объявим мобилизацию всех возрастов в повстанческую армию!

– О, це дило! – воскликнул вслед за ним черномодольский Петро. – Против мобилизации поднялись, а зараз ее сами объявим!

– За свое дело воевать, не за господское, – ожег его взглядом Фисенко. – Пускай все постараются. Всем в новом мире жить, всем для него и горбить.

– Так я ж в шутку, Павел, ты шо? – смешался черномодолец. – Я ж тоже кажу, трэба мобилизацию проводить. Щоб уси, значить, гуртом...

Фисенко посмотрел на него, покрутил головой и вновь повернулся к Егору с Володей:

– Для нас, хлопцы, сейчас самое главное – оружие. Мы вас пошлем по селам собирать его для нашей армии. А чтоб вам проще это было делать, чтобы мужик поохотнее с винтовкой расставался, дадим на менку немного керосину, мануфактуры, гвоздей, другого добра, что в городе на складах захватили. Мануфактуру и прочее добро получите у Ивана Чупахина, – Павел кивнул головой в сторону молодого русобородого мужика. Тот молча протянул руку Егору, затем Володе.

– Везите винтовки, патроны, гранаты, созывайте людей – вооруженных и без оружия. Скажите, чтобы слали своих выборных депутатов на уездный съезд советов в Славгород. Мы его думаем двенадцатого числа провести.

– Вас? – резко поднял голову на минуту задремавший от усталости на своем табурете Яков Рем. – Что? Какой съезд? Сейчас криг, война. Нужны пули, и не слофа. Слофа потом, когда победа. Казак не будет ждать, пока пройдет наш съезд, а потом приходить. Он придет сейчас. Нужно быть готовым, думать только о войне. Съезд потом, успеется.

Немец был заметно взволнован. Роман Буряк встал из-за стола, подошел к товарищу и так же, как перед этим Фисенко Нефедову, положил ему руку на плечо.

– Смелый ты мужик, Яков, а вот политически в своем Подсосново мало подковался. Мы должны показать всем, что действительно народная власть, а не какая-то шайка, как наверняка назовут нас господа. Для этого и нужен съезд. И потом, его делегатов мы всегда можем к военному делу привлечь и за ними, за своими выборными, народ наверняка пойдет.

– Я все понимаю, Роман, – Рем был все так же хмур, – но время на это нет. Сейчас надо думать только о войне.

Буряк махнул молча рукой и вернулся за свой стол, а Фисенко тем временем давал Егору с Володей последние наставления.

– Чтоб знали, штаб наш мы переносим назад в Черный Дол. Перевозим туда пишмашинку и прочие штабные принадлежности. Хватит, погостили в Славгороде. Там из села привезли хлеб и арбузы, возьмите себе в дорогу. Небогатая пайка, но уж какая есть. Сейчас мы еще одну бумагу составим, будете ее по селам раздавать. Семен!

Успевший уже полностью избавиться от сонной хмари Семен с готовностью поднял пальцы над клавишами «Ремингтона».

– «Товарищи крестьяне и рабочие! Сознайте, что только сплоченною силою мы сможем свергнуть ненавистное нам офицерство, чиновничество и прочих прихвостников Временного Сибирского правительства, которое имело своей задачей восстановить старое романовское время, не сознавая, что все их жалкое существование зависит всецело на гроши трудового крестьянства, которого они обдирают податями и разными налогами... Несмотря на все давления со стороны Временного Сибирского правительства, мы видим, что российский крестьянин и рабочий решили твердо, до последней капли крови, отстаивать завоеванную ими свободу. Шлите вооруженных и безоружных людей с вашими выборными для устройства крестьянско-рабочей власти».

Глава четвертая

В этом доме Михаила Киржаева ждали всегда. Он знал это точно, потому ходил в дом хлеботорговца Степана Ильича Олизко с удовольствием и надеждой. Последнее целиком относилось к единственной дочери вдовца-хлеботорговца Екатерине Степановне. Кате, Катеньке...

Екатерина Олизко была девицей двадцати лет, окончила в свое время Бийскую женскую гимназию. Отличительными чертами ее были: чудесные карие глаза, статная фигура, высокая грудь и большая любовь к художественной литературе. Несмотря на гремящие катаклизмы 17-го и 18-го годов, средств к существованию в семье пока хватало с избытком, и жизнь Катина текла безбедно и ровно, хоть порой и скучновато. Происходило это, очевидно, еще и потому, что очень уж разборчивая барышня никак не могла выбрать себе спутника жизни.

Сорокапятилетний Степан Ильич был человеком аккуратным во всех отношениях – от костюма и коротко подстриженной русой бороды до деловых контактов. Благодаря этому качеству, торговой хватке, трудолюбию и умению ладить с каждым – хоть с городским головой, хоть с простым грузчиком – имел он хороший достаток и почти не имел недругов. В 1918 году это граничило с чудом. Хотя рабочих Степан Ильич при расчетах никогда не обижал и даже слова грубого никому из них не сказал, от клейма мироеда и кровопийцы такие мелочи в то время не спасали. Лопатой не машешь, руки не в мозолях – значит буржуй.

Советская власть изрядно пощипала хлеботорговца Олизко. Его обложили огромным налогом, изъяли в банке половину семейного вклада, однако большой трагедии в этом он для себя не увидел. Многоопытный, хорошо ученый жизнью Степан Ильич хранил на банковском счету лишь небольшую толику от своих накоплений. Основной его капитал еще в 16-м году превратился из многоцветных бумажек в увесистые монетки, изготовленные из востребованного при любой власти металла. Хранились эти сбережения в надежном месте, и при разумном ведении до-

машинного хозяйства остаток их должны были увидеть еще и Катины правнуки.

– Когда же я внуков-то увижу, Катюша? – неоднократно интересовался у дочери Олизко, пока раздраженная Екатерина Степановна на ответила ему фразой, под которой сочла бы за честь подписаться каждая настоящему современная эмансипированная женщина:

– Если вы ставите вопрос столь остро, то через девять месяцев.

После такого ответа Степан Ильич свой вопрос с повестки дня снял вовсе. Была, правда, надежда, что проблему с внуками решат вечерние чаепития с участием учителя славгородской мужской школы Сергея Сергеевича Уфимцева, спокойного 30-летнего мужчины с небольшим достатком, хорошей репутацией и обостренным чувством справедливости. Но вот это-то чувство и испортило все дело, позволив, вошедшим в Славгород офицерам полковника Кабакова записать в июле 1918 года Уфимцева в большевики и отправить его в Павлодарскую тюрьму.

Катя долго переживала, плакала, как положено, в девичью подушку, даже ругала, за неимением других объектов, отца. Ругала за его беспринципность, аполитичность, за отсутствие свойственного каждому христианину желания вступить за ближнего своего. Она даже не догадывалась, что вместо камеры павлодарской тюрьмы Сергею Сергеевичу было отведено место в сырой яме за городом, и избавили его от ранней могилы ровно десять золотых николаевских червонцев из тайных запасов «беспринципного» Степана Ильича.

Упрекая отца в аполитичности, сама Катя, по сути, политикой никогда не интересовалась, хотя о страдальце – народе, как и всякая просвещенная барышня, порой вспоминала, желала ему добра и освобождения от мук тирании. Обычно за вечерним чаем. По большому же счету ей хотелось тишины, книг, прогулок по аллеям и настоящего друга рядом, способного, так сказать, понять и разделить порывы одухотворенной души. Благо заботы о хлебе насущном разрешались любящим отцом.

Черноволоксы штабс-капитан, с литыми плечами и жестким даже в присутствии дам взглядом, под категорию такого друга не попадал никоим образом и тем не менее завоевал Катину сердце в один момент, появившись душным летним вечером у них в доме по какой-то служебной необходимости. Сурово выглядел этот офицер, и на Екатерину Олизко посмотрел тоже неласково, но вспоминала она его весь следующий день, а вечером – надо же – вновь увидела воочию. Причем штабс-капитан был не только недавно подстрижен, идеально выбрит и чрезмерно наодеколонен, но и принес с собой со вкусом подобранный букет цветов, который довольно неуклюже сунул хозяйке. И так же неумело поцеловал ей руку.

– Я вообще-то к вашему батюшке, – объяснился с удивленной и обрадованной Екатериной Степановной штабс-капитан, – требуется уточнить кое-какие вопросы.

Уточнять потребовалось довольно долго, причем кое-что пришлось отложить до следующего вечера. Вслед за ними возникли новые, требующие обязательного присутствия начальника Славгородского гарнизона в доме хлеботорговца Олизко. Но вот дальше душевных застольных разговоров, охов, ахов и коротких поцелуев дело так и не пошло. Мешали не свойственные двадцатому веку книжные принципы века девятнадцатого, коих Екатерина Олизко, демонстрировавшая свою «эмансипированность» исключительно в отношениях с отцом, придерживалась твердо.

И хоть понимала Катя, что время ее медленно уходит и вероятность окончания жизни в качестве старой девы возрастает с каждым годом, пересилить свой страх не могла. Все по-прежнему ограничивалось серьезными разговорами и несерьезными поцелуями. Не обиженного вниманием женщин Киржаева такой ход дела устраивал не особенно, но на удивление самому себе он не оставил походов в дом Олизко и ухаживаний за Катей. Еще на подходе к дому хлеботорговца Киржаев приостановился на минутку, вынул из кармана часы, чиркнул спичкой и узнал, что время для визита было уж очень не подходя-

щее. Михаил Петрович затоптался на месте и начал было разрабатывать новые варианты ночлега, когда обнаружил, что в одном из больших окон дома Олизко горит свет. «Зайду, – решил штабс-капитан, – скажу, свет увидел и зашел. Если что, извинюсь и уйду, всего и дел». Он резко повернулся на каблучке и сделал первый шаг к обычно гостеприимному жилищу.

* * *

– Так вот, дорогие хозяева, – не отличающийся многословием Киржаев в этот вечер разговорился особенно, сначала в караулке у Ненашева, а потом и в доме хлеботорговца, где действительно еще не спали и приняли его весьма радушно. Впрочем, сама обстановка Катиной комнаты, где хозяева решили почаевничать, словно призывала к долговому, рассудительному разговору. Большой стол, яркая лампа под матовым уютных форм стеклом, такие же уютные кресла, наконец горячий самовар в центре стола, рядом с начатой бутылочкой отменного шустовского коньяка и немудренными, по позднему времени, но все ж отличными закусками. Правда, из шустовской бутылочки Михаил Петрович разрешил употребить себе лишь маленькую стопку, поскольку компания была не ненашевская и приходилось ей соответствовать.

– Такие вот сложились дела. Мужик упирается, власти подчиняться не хочет, и волей-неволей приходится идти на строгие меры. Как я для себя полагаю, – Киржаев побарабанил пальцами по столу, – а я в здешних краях не чужой, для его же, мужика, пользы. Перебесится, вылечится от большевистской заразы. Мы ему тут поможем, – при этих словах Степан Ильич поймал в глазах Киржаева уже виденный им как-то мертвенный блеск и едва удержался, чтобы не вздрогнуть, – и пойдет дело на лад. Не сразу, но пойдет. Выберем, как триста лет назад, себе царя вместо убиенного...

– Ну, не знаю, – поморщилась Екатерина Степановна, – по-моему, каждый народ со временем вырастает из той формы правления, что годилась ему раньше, и вырастая,

пытается сбросить старую одежду и заменить ее на новую.

– Это на какую же? – мягко поинтересовался штабс-капитан. – На разбойничий зипун с кистенем в кармане? Я, конечно, говорю это абсолютно серьезно, – Киржаев даже руку к груди приложил, – весьма необразован по сравнению с вами, Екатерина Степановна, но тоже читал не только «Полевой устав» и «Наставление по фортификационным работам». Заглядывал, хоть и не часто, и в творения господ Соловьевых и Костомаровых. Вот последний, помоему, и писал о «равенстве» Стеньки Разина, когда полный грабеж был дозволен, пьянство, богохульство. Братьями всех величал и те «братья» перед ним на коленках ползали, еще в большую кабалу, дураки, попали. А нынешние «портные» еще почище будут. Ну да мы, бог даст, им самим саваны сошьем.

– Какой вы суровый, я бы даже сказала жестокий человек, – вздрогнула от его слов Катя и нервно поставила чашку на блюдце.

– Жестокий? – усмехнулся невесело Киржаев. – Это у меня, Екатерина Степановна, качество приобретенное. До весны 17-го не был я ни суровым, ни жестоким. Даже три года окопов таким не сделали. Ну, тютей, правда, тоже с детства не ходил, за себя мог постоять при необходимости. Порой даже мягкосердечие проявлял. У меня на фронте в шестнадцатом году солдатик один хотел украсть часы, я его за этим делом прихватил. Молоденький хлопчик, призывали недавно, а нужно под военно-полевой суд отдавать. То есть штрафной батальон и почти верная смерть. Не отдать – значит слабинку свою показать солдатне, а это, знаете, чревато, да и честь офицерская не позволяет такое спускать. Однако упросили меня старые служаки унтер-офицеры да фельдфебель мой Прокопыч – не отдал я этого воришку под трибунал. От роты целая депутация приходила потом, – усмехнулся Киржаев, – меня за душевную доброту благодарить.

Немногим позже я наш батальон из полуокружения вывел. Вышло так, что одних старших офицеров побило,

другие, пардон, обделались и пришлось мне. Генерал, начальник дивизии, орден вручил, а солдатики сообща серебряный портсигар мне в подарок купили и надпись на нем сделали: «Их благородию, господину подпоручику от нижних чинов...», ну и что-то еще там.

– А где этот портсигар? – живо поинтересовалась Катя. – Что-то я у вас такого не видела.

– Портсигар? – Киржаев взял с тумбочки книжку, полистал ее механически, не глядя на страницы, положил назад. – Портсигар этот, Катюша, у меня спустя год другие российские солдаты отобрали. На одной маленькой, грязной станции, куда меня по делам службы занесло.

– Просто так взяли и отобрали?

– Ну, скажем, не просто так. Сначала они захотели, чтобы я снял погоны, поскольку их вид для революционных защитников отечества более чем неприятен. Я этого делать не захотел, тогда один из них, явно тыловая рожа, в новенькой, окопов не видевшей шинели, попробовал это сделать сам... Я, не сдержавшись, по этой самой роже двинул. После чего меня избил толпой как бродячую собаку, жаль, что не до потери сознания, сорвали погоны, награды, забрали оружие и личные вещи. В том числе и тот портсигар.

– Почему вы сказали: «жаль, что не до потери сознания»? – после долгой паузы тихо спросила девушка.

– Потому что, проделав все это, они стали надо мной в кружок и, прошу простить, стали на меня мочиться, кто сколько мог. Я же был в сознании и как не умер тогда от стыда и унижения, по сей день не знаю.

В комнате вновь стало тихо.

– Но суровым и жестоким, как вы, Екатерина Степановна, меня охарактеризовали, я стал не тогда, а спустя целый год после этих событий. Повалился в госпитале, куда попал благодаря неизвестным мне добрым людям, назад в часть не поехал, поскольку это не имело уже практически никакого смысла. Фронта не стало. Домой ехать тоже не захотел, отправился в Новониколаевск к приятелю и жил там растительной жизнью, работал где придется вплоть до

двадцать пятого мая нынешнего года, когда и родился новый Миша Киржаев.

Впрочем, еще за несколько дней до этого приятель познакомил меня с подпоручиком Лукиным, который руководил в городе подпольной офицерской организацией. Я спросил: «Что от меня требуется?», он ответил: «Ждать и быть готовым к выступлению». Ждать, по счастью, пришлось недолго. Вскоре железнодорожникам удалось перехватить телеграмму Троцкого в сибирские Совдепы с требованием разоружить всех чехов, которые направляются во Владивосток, а затем на Западный фронт против немцев. Кто винтовку не сдаст, расстреливать на месте, остальных под охрану. Такое, видать, требование берлинские хозяева своим московским холуям выставили, но оно-то большевизм в Сибири и погубило. От железнодорожников эта телеграмма попала к Гайде, который командовал чехами, что находились в Новониколаевске. Те поднялись моментально, а к ним присоединились и мы, офицеры, правда, в очень небольшом количестве. Недовольных большевиками в городе было множество, но вместо того чтобы взять в руки винтовки, они выжидали, чья возьмет. Взяла наша. Главной силой у большевиков были ладскнехты, старые наши враги мадьяры да немцы, которых чехи люто ненавидели, да и наши не меньше. Группа, где я был, забросала гранатами казарму их поганого интеротряда, поскольку охрана у них была никакая. Тех, кто повыскакивал, перекололи штыками, двоих – я... С тех пор и стал другим человеком, таким, какого знаете.

Штабс-капитан затушил папироску в пепельнице, налил себе полную стопку коньяка, выпил не закусывая:

– Устал я весьма, потому, очевидно, несколько не сдержан и более чем болтлив. – Он повернул голову к Олизко: – Я хотел попросить вас, Степан Ильич, хоть мне и неловко это делать, дать мне приют на эту ночь. Откажете – не обижусь.

– Да что вы, Михаил Петрович, ночуйте, конечно. Тем более, что и мы с таким защитником куда спокойнее спать будем. Верно, Катюша? – повернулся он к дочери.

Та смахнула со столешницы отсутствующие там крошки, поправила дрогнувшей рукой идеально застеленную скатерть, взялась за самовар.

– Да, папа, конечно. Я Михаилу Петровичу в твоём кабинете постелю.

Киржаев сунул револьвер под подушку и сразу же уснул, не успев даже представить себя в постели такой близкой сейчас Екатерины Степановны. Видать, действительно устал крепко, да и коньяк с самогоном свое дело сделали. Ночные часы бегут быстро. Оконный проем стал понемногу перекрашиваться из цвета черного в серый, затем в светло-серый, а когда выбелился совсем, ударил первый выстрел.

Штабс-капитан слетел с постели с револьвером в руке и крохотной надеждой в душе на чье-то пьяное баловство с оружием. Минула короткая, напряженная тишина, и застучало-заухало за окном, будто молотобойцы в кузнице старались. «Дождались!» – молнией полыхнуло в голове. Киржаев бросил оружие на измятую простыню, принялся торопливо натягивать брюки, сунул руки в рукава мундира. Уже в полном снаряжении, с револьвером наизготовку направился к выходу. В дверь дома застучали несколько рук и ног. Офицер, стараясь не шуметь, бросился к окну. И тут на его плечо легла чуть подрагивающая ладонь.

– Катя, – сонным голосом засипел Олизко и потянул штабс-капитана за собой. – Посмотри, дочка, кто там пришел.

Громко кашляя, Степан Ильич быстро отодвинул в сторону половичок, снял неприметную постороннему взгляду крышку подпола.

* * *

– Ну что, спаситель вы мой? – Киржаев сидел на том же стуле и за тем же столом, что и предыдущим вечером, и, забыв о приличиях, жадно хлебал наваристые щи. Не принявший за весь длинный подпольный день и крошки хлеба

молодой желудок властно требовал пищи. – Долго они вас терзали?

– Да уж, порылись на славу, – усмехнулся Олизко, – взяли два ружья, патроны, кинжал, что мне один кавказец заезжий подарил, ну и вещички само собой, какие больше приглянулись. Ну да это не беда, главное – живые остались, а значит, еще наживем. Вас, Михаил Петрович, все поминали. Исчез, говорят, куда-то гад, да ничего, все равно отыщем.

– Ну-ну, – Киржаев покосился на зашторенное окно, положил на стол ложку, щелкнул портсигаром.

– Что еще говорили?

– Один хвастался, что на подходе к городу встретили вашего отца, он куда-то коней в поводу вел. Увидел их и вроде бы схватился за наган. Так этот его так ударил, что извините, Михаил Петрович, его словами говорю, все зубы выбил. Хорошо, говорит, углядели его, а то бы предупредил сынка, и офицеры всех нас из пулеметов перестреляли.

Киржаев слушал не перебивая, а когда Степан Ильич замолчал, спросил размеренно и спокойно:

– А куда они отца упрятали, соколик этот не говорил?

– Нет, этого не говорил.

– Так, – штабс-капитан два раза подряд крепко затынулся, положил руку с папиросой на стол.

– Вы, Степан Ильич, постарайтесь, пожалуйста, не забыть, как этот говорун выглядит, а через недельку, – Киржаев с силой вдавил окурок в пепельницу, – я вас о нем поподробнее распрошу.

– Через недельку, говорите?

– Вот именно. По вашим словам, оружия у них не густо?

– Из тех, что ко мне врывались, винтовку видел только у одного, и еще один был с берданкой, у остальных дубье. Но их много в городе, очень много.

– Численность, уважаемый Степан Ильич, в современной войне практически никакого значения не имеет,

важна огневая мощь и выучка. У этих господ, – Киржаев криво усмехнулся, – ни того, ни другого нет, а вот у тех, кто здесь появится в скором времени, имеется в достатке.

– О ком вы говорите? – заинтересовалась до этого грустно глядевшая на штабс-капитана Катя.

– Неподалеку от нас в Семиречье действует большой отряд атамана Анненкова, который, по некоторым сведениям, уже успокоил несколько подобных волнений, причем весьма крепкой рукой. Надеюсь, что по получении известий о начале восстания его пришлют к нам. Видите ли, – штабс-капитан встал, намереваясь прогуляться по комнате, но, поглядев в сторону зашторенного окна, вновь опустился на стул. – Мы, честно признаться, свалили дурака и позволили этим бандитам захватить гарнизон врасплох, и за это с меня спрос. Но тем не менее кое-какие меры на случай подобной ситуации были все же приняты. Группа офицеров во главе с поручиком Ореховым должна была воспользоваться паровозом из железнодорожного депо, добраться до станции Татарская и сообщить о бунте. И поскольку Орехов и его люди боевые, испытанные во многих делах, я уверен, что им это удалось.

– А кто этот атаман Анненков? Я про такого не слышала никогда, – поинтересовалась Катя.

– О, Борис Владимирович – человек выдающийся, – голос штабс-капитана зазвучал уважительно, – хотелось бы послужить под его командованием. Мне приходилось разговаривать с одним из его офицеров, так он рассказывал, что их атаман потомок декабриста Анненкова. Во время мировой войны командовал отрядом из нескольких казачьих полков, действовавших в тылу неприятеля. Ну как гусары Дениса Давыдова в 1812 году. Уже тогда его бойцы и командиры носили на рукаве нашивку с черепом и костями и значок с надписью «С нами Бог». Он, как и ваш покорный слуга, монархист, большевиков не принял на понюх. Создал нынешней весной отряд численностью более тысячи человек и всыпал с ним как следует красным лапотникам Блюхера и Каширина. Недавно в соседнем Павлодарском уезде успешно подавил такое же, как у нас,

большевистское выступление. Правда, кое-что из рассказа за этого офицера мне не очень понравилось.

Киржаев взял со стола портсигар, закурил новую папиросу, несколько секунд прислушивался к звукам за окном. Затем придвинул к себе лежащий на столе револьвер и продолжил:

– Обращаются у них друг другу «брат» и на ты независимо от званий, а офицером можно стать, только начав службу с рядового. Вообще система подчинения такая, – штабс-капитан вновь усмехнулся, – на небе бог, на земле атаман. Но в целом суровая дисциплина, отличная боевая подготовка – таких частей у Сибирского правительства пока немного.

– А я вот слышал от знакомого, что у них пьянство царит поголовное, игра картежная и сам Анненков в этих делах первый, – подал голос изрядно осунувшийся за день Степан Ильич.

– Большевистская пропаганда, – отрезал штабс-капитан, – я точно знаю, что сам атаман вообще не пьет, не курит, презирает азартные игры и даже, – Киржаев, чуть улыбнувшись, взглянул на Катю, – не замечен в любовных похождениях. Вообще у них в отряде употребление спиртного запрещено категорически. Там за это штрафы какие-то положены, вплоть до отчисления из отряда. У них вроде бы даже матом ругаться нельзя.

Степан Ильич недоверчиво хмыкнул.

– По крайней мере, так говорят. Но это, конечно, не главное. Главное, что это очень боеспособная часть с твердым решительным командованием, способная в короткий срок и основательно навести здесь порядок. Так, чтобы не повадно было затевать в будущем своих дел никаким смутьянам.

– Так что ж, и расстреливать будут? – с испугом спросила Катя.

– Будут, Екатерина Степановна, – твердо качнул подбородком Киржаев, – обязательно будут. – Но, увидев, что Екатерина вконец расстроена, сменил гнев на милость. – Только главных смутьянов, конечно. Мужичков выпорют для их же пользы, а людям сторонним и вовсе бояться не-

чего. У нас, слава богу, законная власть, а не большевистский вертеп. – Он встал из-за стола, четким движением сунул револьвер в кобуру, одернул мундир.

– Ну, мне, пожалуй, пора. Теперь, как говорится, до лучших времен. Уже стемнело, можно двигаться.

– Куда же вы пойдете? – приподнялся из-за стола Олизко. – На улицах патрули, вывесили приказ штаба повстанцев, что хождение по городу от восьми вечера до пяти утра без пропусков запрещено.

– Ишь ты, – искренне удивился Киржаев, – порядочек, оказывается, у босяков, даже комендантский час ввели. Ну ничего, товарищи, – он вновь недобро скривился, – мы вам свой порядочек организуем, и очень скоро. До пяти, значит, комендантский час? – повернулся он к Олизко, тот молча кивнул.

– Тогда я около пяти утра и пойду. Придется все же задержаться у вас до этого времени. Если в пять выйду, – ни к кому не обращаясь, задумчиво произнес штабс-капитан, – у меня до рассвета не меньше часа будет, за этот час я должен успеть из города выбраться. Ну а там как судьба. Постараюсь двигаться вдоль железной дороги, добраться до наших.

– В таком вот виде думаете добираться? – Олизко ткнул пальцем в офицерский мундир. – Тогда, скажу я вам, это путешествие недолгим будет. Давайте я вам выберу что-нибудь, у меня где-то рабочая одежда должна быть. Вам вообще, Михаил Петрович, в случае чего лучше за рабочего себя выдавать, поскольку на мужика вы совсем не похожи. Ну, а за железнодорожника еще сможете сойти. Те и одеты почище, и язык покультурнее. Хотя лучше б всего вам с ними вовсе не разговаривать и в глаза не глядеть. Вы извините меня, – Олизко внимательно посмотрел на штабс-капитана, – но очень уж у вас, Михаил Петрович, взгляд сейчас нехороший. Словно у волка, честное слово.

– Что ж, спасибо и за помощь, и за совет, Степан Ильич, – Киржаев крепко пожал влажную от волнения ладонь Катиного отца. – Думаю, что отплачу вам еще добром за добро.

– Ты мне больно делаешь. Отпусти меня. – В Катиной комнате было темно, разговаривали они тихо, боясь разбудить сомлевающего все же на диване в своем кабинете Степана Ильича. Даже из железных объятий Киржаева Екатерина Степановна умудрилась вывернуться без большого шума. Нарушил тишину голос деревянной кукушки, бодро выскокившей в ночь из своего уютного домика на часах.

– Уже три, – вздохнул Киржаев, – время уходит. Эх, Катя, Катя, я же не побаловаться решил. Я тебя люблю и хочу, чтобы ты была моею. Что же в этом плохого, постыдного?

Екатерина Степановна запахла длинный халат, сложила руки на коленях:

– Я тебя тоже люблю, Миша, и согласна на все, только боюсь. Давай подождем до лучшего времени, чтобы были церковь, свадьба.

– Церковь, свадьба... – офицер убрал руку с девичьей талии, отыскал в кармане рабочей спецовки папиросы, закурил. – У меня ведь, Катя, – Киржаев пыхнул дымком, усмехнулся сквозь зубы, – не то что завтра, у меня и сегодня может не закончиться. Знаешь, как те, кто сейчас в городе, меня «любят»? Они меня руками и зубами бы рвали, чтобы каждому по кусочку хватило, – штабс-капитан замолчал, глубоко затянулся горьким дымом.

– Потуши папиросу, – попросила его Катя.

...Дом был большой, и короткий девичий стон Степана Ильича не разбудил, тем более что был он единственным и больше не повторялся. Киржаев ушел, как и планировал около пяти утра, пообещав обязательно вернуться. Тихо захлопнулась дверь, для Екатерины Олизко началось время ожидания и надежды.

Глава пятая

Степь да степь кругом. По одну сторону пыльного проселка зеленые кляксы березовых колков на желтых пшеничных полях, по другую – разнотравье непаханой

земли, резкий аромат от плантаций неприхотливой кашки, разноцветные россыпи полевых цветов. Солнце палило, как в июле, и Егор с Володей разулись, разделись до исподнего. Мишуков даже тельняшку снял, попросил у Нефедова иголку с ниткой и пока тот сонно правил выхолощенной купеческой кобылой, принялся чинить давно выслужившую свой срок полосатую рубаху. Егор усмехнулся.

– Будто и войны никакой не было никогда. Тишь, покой, портняжка свой. И чего я не пошел в портные? Хорошо им. Без штанов ни одна власть не обойдется. Сидел бы дома, шил тем и другим, жил припеваючи.

– А если без шуток, – матрос откусил нитку у узелка, протянул иголку Нефедову. – Чего ты действительно дома не сидел, полез в эту кашу? Я партийный, тут понятно, а ты? Ты ж личность, похоже, безыдейная – обычный авантюрист.

– Вот за личность и вантюриста, уж не знаю кто это такой, но похоже гад, и по ряшке мог бы дать, невзирая на фигуру, – недобро прищурился Егор.

– Да ладно, сбавь обороты, это ж я так, шучу. А авантюрист – это просто рискованный человек.

– Не умеешь шутковать, так не берись, – долго сердиться Нефедов не умел, улыбнулся, вынул из кармана солдатских штанов махорочный кисет.

– А чего в кашу эту меня потянуло... – он помолчал, сворачивая сигарку. – На германской был у нас в батальоне один молоденький прапорщик. Чудной парень, на обычное благородие никаким боком не похожий. Не из кадровых, добровольцем воевать отправился. Он до того как на позиции попал, науке о разных землях и странах обучался и нас с Миколой Ступко, на чьей вдове я нынче женат, все расспрашивал: откуда мы, да какая у нас местность, какие урожаи.

Ну, Микола рассказал ему, что степь у них, ну тут вот, тяжелая, сухая, ветры пыльные дуют, если работать не разгибаясь будешь, так пудов сорок зерна с десятины соберешь. Прапорщик подумал и говорит: «А знаешь, солдат, ведь с вашей степи можно урожай в три, в четыре

раза больше собирать. Там, как на Украине, яблоки и груши могли бы цвести». Микола смотрит на него, как на деревенского дурачка, а тот смеется. «У вас солнца там, как редко где бывает. Надо только воду из ближайшей большой реки подвести и все зацветет». – «Так это ж деньжищи какие требуются на такое дело, – Микола ему, – где ж их взять?» – «Ну, это я не знаю, – отвечает прапорщик, – я так, вообще говорю». На том разговор и кончился. А потом мне уже Микола говорит: «Дождешься от правительства, от господ. У нас ни снарядов, ни сухарей, ни сапогов нету, а у них бабы в дорогущих камушках ходят. К нам в госпиталь приходили графини да княгини с подарками, так я потом спросил у сестры милосердной, сколько один камушек, как у них на шеях, может стоять? Она говорит, да как твоя деревня, а то и больше». Плюнул вот так Микола, – Егор поплевал на окурочек, бросил его на дорогу. – Надо, говорит, свое правительство делать, мужицкое, тогда и вода у нас в степи будет и все остальное.

Вскоре убило дружка моего, и прапорщика тоже, а вот разговор тот мне в память запал. Но если по совести, и за мужицкое правительство воевать у меня желания маловато, прямо сказать, совсем нету. Я знаешь, сколько той войны навидался? Тебе, на корабле сидючи, такой и представить не можно было. Но что теперь сделаешь, народ поднялся, в стороне не останешься. Я ж мужик, а не барин, значит мужика до конца держаться должен. – Он глубоко вздохнул. – Вроде ясно, а на душе все одно тяжело. Своих убивать, как нынче в городе, дело оказывается не шибко простое. Хмарь на душе.

– Это за офицеров, за контру злую?!

– Так все одно русские, – коротко вздохнул Егор, – ладно, притерплюсь небось, – он повыше приподнялся в повозке, приложил ладонь козырьком ко лбу. – Вот и первый наш сборный пункт, деревня Веселуха. Давай-ка, Володя, одевайся по всей форме, сейчас мужиков агитировать будем.

У самого въезда в село Нефедов натянул вожжи, и кобыла послушно остановилась.

– Вот что, – задумчиво сказал Егор. – Сделаем так. Ты в деревне вообще ничего не говори, поскольку наших мужиков не знаешь и говорить с ними не умеешь.

– Так что ж мне делать? – недоуменно спросил матрос.

– Стой в сторонке, грудь колесом, бескозырочку на затылок, – усмехнулся Егор, – сейчас еще гранаты тебе на пояс нацепим, наган за него засунь. Пусть смотрят, какие у нас бойцы, хоть с самим чертом можно идти воевать.

Однако идти воевать, ни с чертом, ни с белыми в хмурой Веселухе желающих не нашлось. Талдычили все о том же: война надоела, дел много, нам что белые, что красные – все одно, и на пламенные призывы Нефедова не реагировали вовсе. Желающих поменять оружие на мануфактуру и керосин тоже не нашлось. Но когда удрученные неудачей товарищи уже собирались уезжать из села, к Егору подошел пожилой мужик в добротном пиджаке и широкополой войлочной шляпе на нечесаной голове и громким голосом спросил:

– Бумаги, какой на закрутки, газетки, может, не найдется случаев, товарищ? А я тебе взамен табачку насыплю.

Насыпая в кисет Егора добротного табаку-самосада взамен лоскута старой газеты шепнул: «В ложке за деревней».

Вскоре в упомянутом ложке открылся настоящий сельский базар. После долгой торговли кум Петро и кум Иван получили ситец и керосин, а Егор и Володя – две русские винтовки, берданку и две сотни патронов. Еще одну винтовку немногим позже принес в ложок их приятель Игнат.

– Кого боитесь-то так? – поинтересовался Нефедов. – Своих односельчан, что ли?

– А то кого же, – невесело усмехнулся один из кумовьев, – случись, появятся казаки, так пьянь да рвань сельская наши души им за бутылку самосидки отдадут.

В следующем селе арсенал в повозке пополнился незначительно, но тут местные мужики согласились и выборных на крестьянский съезд в Славгород отправить, и в

повстанцы несколько человек послать, причем некоторых при оружии. Главный же сюрприз ждал приятелей уже на выезде из села, когда они, не особенно надеясь на удачу, подъехали к стоящей на отшибе совсем уж маленькой мазанке. Из низеньких дверей навстречу им вышел такой же, как и его жилище, маломерный дедок в испятнанной заплатами теплой кацавейке и сползающей на глаза солдатской папахе.

– Зброя е, диду? – весело поинтересовался у него Нефедов. – Меняем на гас тай мануфактуру з цукером.

– Трохи е, – неожиданно для приятелей ответил дед. – Оружье в мэнэ гарное.

– Ну тащи сюда твое оружие. Винт или берданка, чего у тебя там?

– Ни. В мэнэ не винт и не берданка.

– А что? – в качестве магарыча кум Петро из Веселухи сунул в повозку бутылку крепчайшего самогона, и Егора уже целый час не покидало хорошее настроение. – Бабушкина прялка?

– Кулемет.

– Чего? – разом соскочили с повозки приятели. – Какой еще пулемет?

– Да хибя ж я знаю, який вин? Мабуть хранцузкий. Название ще, – усмехнулся дед, – больно антиресное. Шопа что ли?

– Ну тащи давай свою шопу, – рассмеялся Егор.

* * *

– Штука дорогая, – убеждал приятелей внезапно заговоривший на чистом русском языке дедок. – Эта, как ее, быстрострелковая. Племянник Митька с румынского фронту приволок. Я за нее полпуда сала отвалил да еще поил Митьку целый месяц, покуда он из деревни куда-то не пропал. Так что задешево не отдам.

– Как? – повернулся матрос к Егору. – Действительно стоящая вещь?

– Больно много дал дед, – Нефедов повертел небрежно в руках тяжелый длинноносый пулемет, – система

уже устаревшая – французский ручной пулемет «шоша», а никакая тебе не шопа. Машинка ничего, но не такая уж быстрострелковая. Английский «льюис», к примеру, получше будет. Скорострельность у него повыше, да и убойная сила тоже. Американский «кольт» опять же, «шварцлозе»... В общем, штука ситцу и пять литров керосину, больше и не проси.

Ошарашенный мудреными словами дед согласился отдать пулемет без торга и даже не запросил дополнительной платы за два полностью снаряженных диска.

– Хо-хо, – сказал Егор, как только они выехали за село, – хо-хо-хо. Вот это диду, вот это племянничек. Чтоб за тыщи километров по крышам вагонов, по теплушкам пулемет в село дотащить, а тут его пропить... Такой истории я еще не слышал. Эта штука, – он любовно вытащил «шош» из соломы, и пристроив его на коленях, принялся детально рассматривать, – похоже, в образцовом состоянии и послужит нам как следует.

– А ты с таким обращаться умеешь? – поинтересовался Володя.

– Я все умею, – молодецки-хвастливо заявил Егор и, поймав насмешливый взгляд приятеля, добавил: – приходилось. Какое-то время ехали молча, потом Егор принялся задумчиво посвистывать и наконец решительно повернулся к матросу:

– Слушай, Володя, дело мы, считай, сделали, так?

– Ну в какой-то степени, – настороженно согласился Мишуков, – хотя кой-какое добро осталось, может, еще попробовать поменять. Да и агитацию сворачивать еще рано.

– А мы ее и не будем сворачивать, – успокоил его Нефедов, – так только, небольшой отдых себе сделаем. Он ведь и революционным бойцам требуется. Верно?

– Какой еще отдых?

– Я хотел по дороге домой заехать, своих повидать, передать кое-что да посмотреть, как они.

– Ну, это можно, – немного подумав, согласился Володя. – Если недолго.

– Значит, завтра с утра и поедем.

– А почему не сейчас?

– Да зачем на ночь-то глядя? Тут хуторок недалеко, у меня там знакомая хорошая ешь, хозяйственная, накормит от пуза, напоит, в баньке помоемся, на сеновале поспим. Знаешь, сено там какое душистое? Эх, красота!

– Шустрый ты, как я посмотрю, малый, – покачал головой матрос. – Ладно, поехали, уговорил.

* * *

Первый раз Егор увидел Варю Оникко случайно, когда заехал напоить коня в незнакомый ему маленький хуторок в степи. Выменяв на продукты у рабочих железно-дорожных мастерских кое-какой слесарный инструмент, он колесил по деревням, выполняя нехитрые заказы по слесарному делу и тем добывая пропитание своей семье. В ответ на вопрос: «Есть тут кто-нибудь?» из добротного деревянного дома вышла черноволосая девушка в простеньком, ладно сидящем на ней сарафане. Так ладно, что Егор, давший себе после встречи с Марьей зарок на баб больше не смотреть, тут же о нем забыл.

Он напоил коня, не торопясь в несколько приемов напился сам, успев за это время хорошо разглядеть кареглазую и смуглолицую хохлушку и, возвращая девушке ковш, бодренько выпалил первое, что пришло на ум: «Эх, водичка ледяная, а яблонька налитая». Та прыснула от смеха так, что вздрогнула под сарафаном ничем не стесненная полная грудь, поймала мужской взгляд и, покраснев, быстро пошла к дому, только босые пятки бронзово замелькали.

Егор посмотрел ей вслед и, не особенно надеясь на удачу, крикнул: «Ну что, яблонька, в гости-то заезжать?». Ответом ему было молчание. Нефедов дождал еще, покосился на вышедшего из хлева невысокого худощавого парня с вилами в руках и, заметив его злобный взгляд, подумал: «Ну тебя-то я при надобности соплей перешибу, и вилы не помогут». Уселся на телегу, только собрался сказать «Но-о!», как из открывшегося окна донеслось напевно: «Ну заезжай, коли бильше робить нечего». Егор улыб-

нулся, хлопнул вожжами и выехал со двора. Парень с силой воткнул вилы в землю и плюнул ему в след.

Заехал Егор на заветный хутор через несколько дней, возвращаясь из города в свое село. Ему опять пришлось долго ждать во дворе, и опять встретился он с недобрый взглядом худого парня. Нефедов резину тянуть не стал, спрыгнул с телеги и меланхолично посвистывая направился прямо к конкуренту. Остановился рядом, громко спросил: «Ну что, как дела? Хозяйство, смотрю, крепкое у вас, – и гораздо тише добавил: – Ты на меня не зыркай так, не просверлишь. А я тебе, коль будешь под ногами мешаться, башку враз сверну. – Заметив, что парень сжал руки в кулаки, усмехнулся: – Не сомневайся. Мне это дело привычное.

– Ты шо тут моего Матвея пытаешь? – раздался сзади знакомый напевный голос. – Шо тебе треба? Бач, ходит во двори як хозяин.

В расшитой украинским узором кофточке, длинной юбке и полусапожках на небольшом каблучке девушка выглядела еще привлекательней, чем в первый раз, и всегда бойкий Егор неожиданно для самого себя разволновался и напрочь забыл все заготовленные им для этой встречи слова.

– Ну шо мовчишь? – деланно нахмурила густые брови девушка. – Що приехав?

– Да я, вот, – Егор полез в карман, вытащил маленькую в узорчатой резьбе шкатулочку, которую, хоронясь, чтоб не заметила Мария, делал в бане несколько последних вечеров, – подарок тебе привез.

– Мэни? – у девушки на глазах неожиданно выступили слезы.

– Ты чего? – испугался Нефедов. – Это подарок, я без всякого там...

– Та ни, – она вытерла уголком платочка предательскую влагу, шмыгнула носом. – Просто мэни никто николи ничего не дарив.

– Теперь будут, – с облегчением вздохнул Егор. – Да ты шкатулочку-то открой, посмотри, что там.

– Ой, який гарний перстенечек!
– Носи на здоров'є. Як тебе звать-то?
– Варвара, – девушка нацепила подарок на смуглий пальчик и принялась вертеть его перед глазами.
– А меня Егор. Чем отдариваться-то будешь, Варя?
– А що тэбэ трэба?
– Я не жадный, – улыбнулся Нефедов, – дай поцелую тебя разок и считай, что в расчете.
– Бач, швыдкий якої?! – возмутилась девушка, но назвать это возмущение абсолютно искренним было бы затруднительно. – Чого захотив!
– Да ты не бойся, я как брат тебя поцелую. – Варя молча тискала в руках шкатулочку. – Ну так как?
– Тай, бис с тобой, – девушка шагнула к Егору, закрыла глаза, подняла навстречу поцелую напряженное округлое личико. Егор ткнулся ртом в плотно сжатые Варькины губы, и она тут же отскочила в сторону. Однако уходить в дом в этот раз не торопилась. Стояла молча, смотрела на Егора своими влажно-карими глазами и чуть заметно улыбалась.
– Варя, ты меня извини, я припозднился малость, можно у вас на сеновале заночую? Курить не буду и вообще я тихий, спокойный.
– Це я вже бачила, – лукаво прищурилась девушка, вздохнула, махнув рукой: – Ночуй.

* * *

От легкого прикосновения к щеке Егор проснулся мгновенно, но по окопной привычке глаза не открыл. Лежал, прислушиваясь к каждому шороху, и, только почувствовав совсем рядом тихое, явно не мужское дыхание, поднял к лицу руку, и она коснулась маленькой, крепкой ладони крестьянской девушки.

– Ты чего, Варвара? – по-прежнему не открывая глаз спросил Нефедов. – Утро уже, что ли?

– Та ни, ще ничь. Так пришла, на гарного мужика побачить, своего-то немає.

– Ну дивись, раз такое дело, – охотно согласился

Егор, чувствуя, как его понемногу охватывает знакомая мелкая дрожь.

Варя придвинулась еще ближе к нему, опять погладила рукой по щеке.

– Ты мэнэ поцеловать хотив, а я вбигла. Целуй зараз, не сбегу.

Егор открыл глаза, приподнялся на сене. Обнял девушку рукой за шею, смял губами полные губы. Она не отстранилась. Наоборот, сама обняла его обеими руками, закрыла глаза. Тогда, продолжая ковать железо, пока оно горячо, Нефедов скользнул по ее телу свободной рукой и в его ладонь, словно созревшая дынька, легла тугая Варькина грудь. Продолжить поцелуй им помешало только отсутствие воздуха. Чуть отдышавшись, Егор вновь потянулся к девушке, но она вдруг мягко его отстранила.

– Почекай, – настороженно прошептала Варя, – встала на колени спиной к Нефедову и, выгнув спину, стала смотреть в маленькое, мутноватое стекло окошка. – Навроди бродит хто во двори... Та ни, – через время облегченно вздохнула она, – мабуть, показалось.

Варька еще не договорила, когда Нефедов, выдохнув, словно перед выстрелом, воздух, провел руками по ее бедрам, вздымая вверх мягкую ткань ночной рубашки. Ладони его остановились только на крепких, прохладных округлостях, замерли, подрагивая.

– Що, злякався? – тихо спросил девичий голос, и больше Егор уже ни о чем не думал, все мысли прогнал без следа вековечный основной инстинкт. Через несколько мгновений Варька охнула, задышала часто и отрывисто, а еще через минуту упала ничком в мягкое душистое сено. Егор рухнул рядом...

* * *

От стены сеновала отделился невысокий, худощавый парень и тихо ступая пошел к дровяному сараю, где он обычно ночевал летом. Катящихся по лицу слез Матвей даже не замечал.

– Слушай, Варюша, – покашляв в кулак, спросил Егор, – а муж-то у тебя есть?

– Нема. Я ж казала.

– А был?

– Конечно, був. Ты шо? – Варя перевернулась набок, приподнялась на локте. – За гулящую девку мэнэ принимаешь, що тильки народившись подолом вертит?! – в голосе ее послышались слезы. – Муж мий Прокоп на германской згинув. Вин хочь и не шибко мэни любый був, а усе жалко.

– Да что ты, Варюша? – придвинулся к ней Егор, обнял за вздрагивающие плечи. – Я так и думал. Вдова, думаю, солдатка, измаялась, иструдилась, вот и потянулась к мужику. Ничего тут постыдного нету. Просто шибко уж молоденькая ты, вот я и подумал...

– Шо я, девка гулящая? – Варя немного успокоилась, вытерла слезы. – Я до себе два года никого не подпускала, а думаешь, мало було охотников? Вон Матвей, работничек, що батя наняв и сейчас на мэни як кот на сметану дивится. Вин пока лето даже в сарае ночует, хоть дом родительский рядом. Тильки б поближе к мэни быть, – похвасталась девушка.

– Я не про то, – опять смутился Егор, – просто...

– У нас дивка коли до двадцати рокив без сватов досидится, то ее вже старухой считают. – Варька сама придвинулась к Егору, легла рядом, положив голову на мужскую руку. – Так бывае, коли вона шибко страшна або голь яка, биднота. А я-то дивка файная, на мэнэ уси парубки заглядывались. Шо, не так?

– Так, так, красивая ты дивчина, – поторопился подтвердить Нефедов.

– Ну и хозяйство у батька тож не из последних. Вот мэнэ в шестнадцать рокив замуж и виддали. Тильки я и году с Прокопом не прожила, як його на войну забрали, а потом, почти сразу, бумажка прийшла маленька, що, – голос девушки дрогнул, – за царя и Отечество. Ось я, така молоденька, вже два года солдаткой и живу. Так жила б, коли б ты голову не задурил.

– Ясно, – Егор ухватил девушку за руку, мягко потянул по сену к себе, – сейчас мы посмотрим, что тут за вдовушки живут. Сейчас мы...

Шепот его был оборван Варькиным поцелуем.

* * *

Гостеприимная и очень довольная приезду Егора Варвара встретила гостей по первому разряду. Пока на печи жарилась огромная сковорода картошки, на столе появились соленые огурчики, квашеная капуста, нарезанный большими ломтями хлеб, толстый кусок сала с добротной мясной прослойкой, вяленые карасики и само собой объемистая бутылка с прозрачным, как девичья слеза, самогоном-первачом. Выпили по первой, с трудом усадили за стол летающую по хозяйству и смотревшую на Егора с нескрываемой радостью Варьку. Выпили еще и, не выдержав наконец быстрых переглядываний-перешептываний Егора и хозяйки, матрос решительно поднялся со скамьи:

– Пойду во двор, подышу.

– А картошечка как же, остынет ведь?

– Ничего, я и такую съем.

Володя открыл дверь, усмехнулся мысленно в адрес тихой возни за его спиной и вышел на крыльцо. В бричке с оружием спиной к Мишукову ворошил сено худощавый невысокий парень. Матрос подошел тихонько, хлопнул «шпиона» по плечу, так что тот присел, охнув от боли и неожиданности.

– Здорово, браток! Ты кто такой будешь? Что тут делаешь?

– Я это, Матвей, фамилия Захлюпин, батрачу тут у хозяйки, – заторопился с ответом Матвей, испуганно пряча глаза.

– Пролетарий, значит, – Мишуков взял его за плечо, тряхнул легонько. – Тогда чего такой пугливый? А ну смотри на меня. Пролетарий храбрым должен быть. Обижают тебя тут?

– Нет, такого нема, – Матвей поднял глаза на матроса. – Хозяйка хорошая. И кормят, и платят как надо.

– Хороших хозяев не бывает, – наставительно заявил матрос, – пока еще терпим таких вот, но со временем и слово это забудут. Будут все жить в равенстве и братстве без всяких хозяев, а кто не согласен, того под ногу. Согласен?

– Ага, – кивнул Матвей.

– Тогда бери ружье, если есть, а если нету, поищем тебе оружие и топай записывайся в повстанческую армию. Слышал, что восстание против кровососов началось?

Батрак кивнул головой.

– Ну, так и что?

– Здоровье у меня не годное, – закашлял в кулак Матвей, – меня и на германскую не взяли, грудь слабая.

– На германскую не взяли его, – посуровел Мишуков, – так то за империалистов нужно было пострадать, а тут за свое народное, батрацкое дело. Не шибко здоровей тебя люди сейчас на смертельную борьбу поднимаются, а ты что? – Матрос возвысил голос.

Захлюпин вздрогнул, но на вопрос так и не ответил. Мял повлажневшими пальцами полы заношенной кацавейки и упорно молчал.

– Ладно, если так, – сплюнул Мишуков, – тогда топай полным ходом с моих глаз, и если еще раз тебя возле этой телеги увижу, навечно якорь бросишь. Повторить надо? Вижу, что не требуется. Давай отчаливай.

* * *

Не желающий оставлять без присмотра революционное добро, матрос улегся спать прямо в телеге. Варя принесла ему кожух, ночь была теплая, за здоровье «морского волка» беспокоиться не приходилось. Мишуков захрапел почти сразу, как прилег, ровно и мощно, словно корабельный дизель. Матвей, опасаясь матросского гнева, ушел ночевать к родственникам, и Егор с Варькой впервые со времени их знакомства смогли без боязни и оглядки побыть вдвоем, поговорить и просто посмотреть внимательнее в глаза любимому человеку. Сблизившись очень быстро, они почти ничего не знали друг о друге, кроме

того что он очень нужен ей, а она ему, и теперь торопились наверстать упущенное.

– Как так вышло, что ты одна живешь, хоть и вдова? Ушла бы к родителям обратно, все б спокойнее и легче было, – шепотом расспрашивал Нефедов, перебирая закинутой за Варькину шею рукой ее густые черные волосы.

– А тебе плохо, що я одна? – поинтересовалась девушка, и Егор понял по голосу, что она улыбается.

– Мне-то хорошо, но все ж таки чудно как-то.

– Мать в мэне померла, Прокопа родители назад на Украину уехали, а мий батька женився на молодой. Не люблю я його и не любила николи. Може потому, що и мать моя не любила. Ведь вин ее за бутылку горилки высватав.

– Это как? – поразился Егор.

– Батька ее сидев в кабаке и выпить на що было в його немае, а мий батька Микола, вин с богатой семьи був, на маму мою все заглядав. Ну и каже, отдашь, Петро Иванович, за мэне свою дочь, поставлю тебе горилки. Тот и согласився.

– И неужто так и отдали?

– Виддали. Дид упертый был хохол, его даже поп не сумел отговорить. Я казав, значит усе.

– Да-а, – протянул Егор и потянулся за кисетом, – чего только ни бывает.

– Потому я хоть и без мужа осталась, а к йому не пийшла. Та вин тильки доволен остався. Захлюпина вот цего наняв, а тот и во сне бачит, как на мэни жениться. Щоб и мэни помять, а главное хозяйство к рукам прибрать.

– Ну а ты что? Сама ж говорила, ребенка хочешь.

– От этого хлюпика? – Варька звонко расхохоталась и тут же прикрыла ладошкой рот. Повернулась на бок, крепко обняла Егора поперек груди. – Ох ты и дурной.

Она помолчала, положила голову Нефедову на грудь, сказала еле слышно:

– Вот, бог даст, рожу от тэбэ такого ж гарного хлопчика, як его батька, и буду не одна.

– А мужика тогда где себе найдешь? – пошевелил ее волосы Егор.

– Ты ж взяв за себя бабу с двумя детками, а в мэне твий буде, так що я тебе у ее отобью.

Нефедов в темноте широко открыл глаза, поскольку подобной осведомленности не ожидал, однако промолчал, не пошевелился даже.

– Вона с мужем скільки рокив жила, теперь тебя прибрала, хватит с нее. Ще трохи подожду, пусть уж ей, и отобью, – девушка вовсе не убеждала Егора, просто была абсолютно уверена в том, что говорит. – Я и к бабке ходила, погадать, та казала, що быть нам вместе.

– А не казалатебе бабка, сколько мне жить осталось? – вздохнул Егор. – Меня ж, дурака, каждый день ухлопать могут. Знаешь, что сейчас вокруг делается? – Нефедов вытер слезы с девичьей щеки. – А вообще все эти хохляцкие гадания – ерунда одна. Вот у нас в Воронежской губернии, откуда я родом, знаешь, как девушки на суженого гадают?

– Ну и як? – шмыгнула носом Варька.

– Вот слушай. Нужно ночью пойти на гумно, а оно далеко от избы стоит и не всякая девка на то решится, но если решится, должна она идти к гумну задом и не оглядываться.

– На що? – прыснула Варька.

– Можно же на домового наткнуться или на другую нечисть, а так они мимо пройдут тебя и не заметят. Вот дошла девка до гумна, лицом к нему поворачивается и зубами вырывает стебель с колосом, какой попадется, и уж тогда бежит в избу без оглядки. А там смотрят, что ей за муж достался. Есть ли колос на стебле, какой он, маленький или большой, полон зерен или пустой. Потому и судят, выйдет ли девка замуж в этом году, женится ее муж в первый раз или во второй, богатый он или бедный и вообще какая у них семья будет, хорошая или нет.

– Тэбэ не убьют, – убежденно сказала Варька и потянула Егора к себе.

– Это почему? – мягко удержал ее Нефедов.

– Не за що тебя, такого гарного, убивать.

– А, вон как. Тогда согласен, – Егор крепко прижал девушку к себе, – согласен, пускай не убивают.

За хутор выехали, только начало светать. Матрос долго зевал, рискуя вывихнуть челюсть, пробежался малость рядом с телегой, разминая затекшие мышцы, покрутил руками, поплескал в лицо холодной водой из фляжки. Посмотрел на дремлющего с вожжами в руках Егора и решительно забрал у него управление. Нефедов вожжи отдал без спора, нащупал спиной в телеге свободное от оружия место, блаженно закрыл глаза. Давно желавший высказаться по поводу «несознательности» Нефедова матрос все же не утерпел.

– Странный ты парень, Егор, если не сказать несознательный, – хлопнул вожжами он. – Н-но! Женщину с двумя детьми замуж взял, сам мне об этом говорил, революционный боец, серьезным человеком должен быть, а ты на девок время переводишь дорогое.

– Смотрю я на тебя, Володя, – протяжно зевнул Нефедов, – ну какой ты к черту матрос? Видимость одна. Только что здоровый как бык, да кулаками махать наловчился, и все на том. Куражу флотского и осьмушки нету. Я ж видал морячков, для них выпить-закусить, в пьяном виде пофорсить, контру какую за мощну потрясти да на распыл пустить – первое дело. Опять же на крепкое словцо мастера и баб мимо никогда не пропустят. Ты, наверное, белой вороной среди своих был?

– Это точно, – улыбнулся Володя, – надо мной даже в продотряде всегда подшучивали, хоть в него и отбирали тех, кто посознательней.

– А отчего ты такой? – с интересом спросил Егор. – Самому-то с собой не скучно?

– От книжек, наверное.

– Каких книжек?

– У нас семья хорошая была, – сказал после паузы Володя, – батя, мать, братьев двое, оба постарше меня. Отец с братьями на заводе работали, мамаша по хозяйству управлялась, корова у нас имелась, огород. Батя зарабатывал неплохо, он кузнец знатный был. В общем, не бедствовали. Отец читать-писать с трудом умел, братья мои

от него недалеко ушли, и решили они хоть меня в грамотные люди вывести. Начальную школу прошел, реальное почти закончил. Батя хотел даже после реального училища в университет меня определить, очень уж ему хотелось, чтобы хоть один из Мишуковых не в рабочей робе, а в господском сюртуке ходил, – усмехнулся Володя. – Потянем как-нибудь твоё обучение, говорил. Классовая безграмотность, что с него взять. Ну, а тут война подоспела. Митьку старшего во флот взяли, Сережку в артиллеристы...

Мишуков замолчал, долго смотрел на дорогу.

– Ну и чего дальше, книжки-то где тут? – не выдержал Нефедов.

– На заводе заказов военных много стало, а машины изношенные, на новые-то хозяину жалко тратить. Аварии стали часто случаться. Вот батя в одну и попал, руки лишился. Хозяин и не вспомнил, сколько барыша ему Иван Кузьмич своим паровым молотом выбил. Дали отцу на заводе какие-то копейки, когда он из больницы выпи-сался, и все на том. Беда одна не ходит. Митя наш всегда гордость имел. Не дал офицеру себя ударить, оттолкнул, да еще послал по матушке. Осудили, сгинул в штрафном батальоне без весточки. Сережа вскоре пришел газами трав-ленный. Два инвалида в доме, какая уж тут учеба. Устро-ился я учеником наборщика в типографию, а вскоре и сам наборщиком стал. Там-то и приучился книжки читать, в реальном я до них небольшим охотником был, учебники и все. Да что там приучился, – улыбнулся своим воспомина-ниям матрос, – заболел просто. Про сыщиков, приключе-ния, любовь коварную, моря и страны дальние, стихи само собой. По улице шел и то читал, бывало. Как-то силь-но увлекся и здоровенную шишку на лбу себе о фонарный столб набил.

А потом наборщик, который меня специальности обучал, самые правильные и нужные книжки мне принес – как сделать, чтобы не было ни войн, ни людей голодных, чтоб сильный о слабого ноги вытирать не посмел. «Мани-фест коммунистической партии» первым я прочел, ну а по-том и до других вещей добрался. Ленина читал, товарищей

его большевиков, они мне больше других партийцев – эсеров, анархистов и прочих – по душе пришлись. Все просто, ясно, главное с пути не сворачивать, себя не жалеть, обязательно будет то, за что еще французские революционеры боролись, – свобода, равенство и братство. Такое дело полной отдачи требует. Потому я водку-самогон пью редко, больше для аппетита, контру за мощну мне щупать противно. Девок и солдаток пригожих стараюсь не замечать.

– Да как же их можно не заметить? – изумился Егор. – Да и потом, какой от баб и девок вред революционному делу? Его ж в угрюмом состоянии и не сделаешь хорошо. А коль у мужика подружка славная да справная есть, он знаешь, какой боевой становится? Горы свернет. Может, ты больной по этому делу, так у меня бабка-знахарка есть знакомая...

– Да хватит тебе, – начал злиться Мишуков, – никакой я не больной.

– Тогда давай тебе любушку найдем, сейчас знаешь, сколько молодых баб без мужиков маются?

– Да отстань ты со своими бабами! – не на шутку рассердился матрос.

– Ну и дурак, – подытожил Нефедов. – Глядишь, убьют не сегодня-завтра, так и порадоваться не успеешь. А я баб люблю, только красивых, конечно. Я и Варьку взял бы в жены, пусть было б две, как у этих, нерусских. Я и для обеих смог бы расстараться. Что ж, что не по-божески, а если у меня сердце к двум сразу прикипело, что делать?

– Студить, – усмехнулся Мишуков, – с помощью шомполов. Ведь это, пойми ты, недостойное революционного бойца дело. По-другому нужно учиться жить, чище, светлее. Ведь приедешь домой, к жене небось тоже полезешь? – скрывая под грубостью смущение, спросил он.

– Ну вообще-то ты мне не теща, чтоб такие вопросы задавать и не поп в церкви, – не стал идти на ссору Егор, – но я тебе все ж отвечу. Конечно, полезу, Володя, не обижать же мне ее. Она ведь у меня хорошая.

Матрос сплюнул на дорогу, сдвинул на затылок бескозырку, долго молчал. Затем, решив, очевидно,

получить сразу все ответы на мучавшие его вопросы, вновь повернулся к Нефедову.

– Вот ты говорил, что в Учредилку за нас, большевиков, голосовал, теперь тоже за нас, или другую партию повеселее выбрал?

– Голосовать голосовал, – зевнул Егор, – ребята тогда пошли, ну и я за компанию. Вы получше других показались, а главное – против войны выступили. Как за тех, кто меня в окопы не гонит, не проголосовать? А партию я никакую не выбирал и выбирать не собираюсь. Без них прожить, что ли, нельзя?

– В классовом обществе беспартийных не существует, – твердо заявил матрос, – мировоззрение человека всегда определяется его партийностью. Иначе это и не человек по сути, а так, приспособленец, жвачное животное.

– Ух ты грамотный какой, – в растяжку сказал Нефедов, – теперь вижу, что ты и вправду книжек начитался. А самая правильная партия, конечно, ваша?

– Конечно.

– Ну, а эсеры скажем, анархисты? Они ведь тоже за народное дело воюют. Летом нынешним через наше село красные проходили, так там не только большевики имелись. Я с ними разговаривал, так что точно знаю. Фисенко вроде тоже эсер.

– Эсер попутчик до поры до времени, он еще свою мелкобуржуазную физиономию покажет. Анархисты, максималисты и прочие – это накипь просто, ее со временем смахнем. Так что истинно народная, рабочая партия сейчас одна – наша большевистская. Без нее ни правды, ни жизни не будет, – взволнованно рубанул рукой воздух матрос.

– Жизни без хлеба не будет, – вздохнул Егор, – а его мужики растят. «Животные» те самые. Их, правда, и царские держиморды за людей не считали, и ваши, значит, не собираются?

– Как ты можешь нас с царскими сатрапами сравнивать? – побагровел Мишуков. – Я же о другом совсем говорил.

– Каком другом?

– А ну тебя, – Володя надвинул бескозырку на глаза, повернулся спиной к Нефедову, – слова только зря переводить.

* * *

В село въехали ближе к вечеру. На широкой улице было пустынно. Лишь копались возле мазанок ребятишки, играя в свои незатейливые игры, поглядывали из-за заборов на приезжих любопытные старухи да катал от скуки пыльные облачка легкий степной ветерок. Все способные к труду гнули спину в поле. Тележные колеса остановились почти на краю села у небольшой, ничем не отличающейся от соседних, украинской мазанки. Вокруг ни плетня, ни забора, рядом с хатой низенький сарайчик для скота, огород, несколько молоденьких тополей. Все как у всех. Завидев остановившуюся у дома телегу, побежали навстречу Егору Паша с Наденькой.

– Батя, батя приехал! – ухватились одна за одну, другой за другую руки Егора. – Батя, ты где так долго? Гостинцы привез?

– А как же! – Матрос поглядел на Нефедова и с большим удивлением заметил блеснувшую в уголке его глаза слезу. – Конечно, привез.

Он подхватил детей, покружил вокруг себя, забросил крепкими руками на плечи.

– Пойдем в хату, будем подарки делить. Где мамка-то?

– Здесь, где ей быть, – не особенно приветливо встретила мужа вышедшая из дома Мария и, увидев матроса, смутилась собственной строгости, – здравствуйте.

– Добрый день, – снял бескозырку Мишуков, – вот в гости хозяин ваш пригласил. Извините, если не ко времени.

– Да гостям-то мы всегда рады, – улыбнулась женщина и тут же вновь придала лицу строгое выражение, – только хозяина у нас видать, нема. Стильки дел по хозяйству, а вин все где-то по степу мотается.

– Справим дела, – Егор опустил детей на землю, – побегайте пока. Все справим. С чего тебе начать?

Удивленная Мария невольно растопила льдинки в черных глазах, махнула рукой в сторону огорода:

– Погреб начала копать под картоплю, разве ж это бабье дело?

– Погреб? – Нефедов был настроен по-боевому. – Да это мы враз. Погоди-ка, – он вернулся к телеге, запустил руку в сено и вынул небольшую металлическую «бутылочку». – Пошли, показывай, где твой погреб.

– А лопаты как же?

– Лопат не потребуется.

Озадаченный Мишуков ухватил было приятеля за рукав:

– Да ты что, сдурел?

– Оставь, – тихо попросил Егор, и флотский послушно отпустил его руку. Нефедов все так же деловито осмотрел отрытую женой небольшую ямку, отошел от нее на несколько шагов:

– Возьми детей и отойдите за хату.

– На шо? – не утерпела Мария.

– Делай что говорю.

Когда дым от взрыва рассеялся, Егор поднялся с земли, отряхнул брюки и гимнастерку и весело посмотрел на опасливо выглядывающую из-за мазанки жену.

– Видала, как дела делаются? Потом как надо подравниваете, – одернул ремень, выбил о колено запылившуюся фуражку. – Ну, веди в хату, пока мы с товарищем Мишуковым с голоду не померли.

Хата Егора была куда беднее Вариной, да и угощение против вчерашнего выглядело небогато. Мария выставила на стол чугун картошки в мундирах, чашку с квашеной капустой, порезала хлеб, обтерев фартуком, утвердила в центре стола штоф с мутноватой жидкостью. Поставила две толстого стекла стопки и, малость подумав, прибавила к ним третью. Егор тем временем наделил детей подарками. Каждому досталось по куску сахара, Пашке кроме того складной нож. Взяв его, мальчишка не смог вымол-

вить и слова, ткнулся головой в грудь Нефедову и вылетел во двор хвастаться редкостной в маленьком селе штуковиной перед соседскими пацанами. Для Надюхи Егор припас красивый костяной гребень, уже давненько купленный им в Славгороде и бережно хранимый в кармане для подходящего случая. Запасливым мужиком бывал Нефедов, когда дело касалось этих вот чернявых ребятишек.

Засиделись до позднего вечера. Выпила стопочку Мария, «оскоромился» и Мишуков, съевший единолично почти всю капусту с картошкой. Егор же к еде почти не притрагивался, был непривычно молчалив и, взглянув в очередной раз на то и дело забегающих в мазанку ребятишек, вновь тянул руку к бутылке. Мария ему не препятствовала, смотрела на мужа грустными глазами и на вопросы Мишукова о политической ситуации в деревне не отвечала. Уже потянуло в окно холодком сумерек, Мария успела подоить корову, загнать с улицы и дать нагоняй расшалившимся детям, когда, подперев рукой разлохмаченную голову, Нефедов подозрительно пошмыгал носом и запел:

*Мы из дома трое вышли,
Трое первых на селе,
И остались в Перемышле
Двое гнить в чужой земле.*

*Брала русская бригада
Галицийские поля,
И достались мне в награду
Два кленовых костыля.*

Пел он негромко, словно бы для себя одного, но выходило хорошо, сильно. У матроса даже скулы затвердели.

*Я вернусь в село родное
Всем не любый и чужой...
Печь не ставлю, дом не строю.
Жизнь такая – только вой.*

*Этой жизнью колыхаюсь,
Как завеска на окне,
Кости ноют, ноги ломит,
Будто вновь они при мне.*

По щекам Марьи медленно покатались слезы, и она не стесняясь вытерла их ладошкой.

*Так живу один на свете,
Всем не нужный и ничей.
Вы скажите, кто ответит
За погибших тех людей?*

Егор крепко отер ладонью размякшее от самогона лицо, плеснул в стакан мутноватой жидкости:

За погибших тех людей...

Так и не выпив, поставил посудину обратно на стол.

– Гасу совсем нема, – в наступившей тишине сказала Мария, – вже ничего не видно, трэба свет зажечь, а гасу нема.

– Керосину? – поднял на нее глаза Нефедов и из размякшего, слабого на вид мужика вмиг стал таким же, каким был днем на «рытье» погребя, собранным и решительным. – Это дело мы враз решим. У нас керосин еще остался, Володя? Надо малость для хозяйственных нужд отлить. Я как-то об этом сам и не подумал.

– Это ж не наш керосин, Егор, – попробовал противиться флотский. – Это для другого, для общего дела.

– Семья народного героя – это другое дело? – возмущенно взметнул вверх брови Егор. – И потом, ты слышал, что мне Фисенко про медаль говорил? Вот. Ну и считай, что это вместо нее. Да и если б не я, – Нефедов взял со стола бутылку, наполнил доверху матросскую стопку, – ты бы за один «шош» в два раза больше добра отдал, потому как ни говорить, ни торговаться с мужиком не умеешь. А раз так, –

Егор поднял свою стопку, – давай за это выпьем, – дождался, пока матрос переправил в рот самогон, и добавил: – И еще немного ситца на платья моим девахам, старой и малой, отрежем. И не хмурься так, Володя, революционное дело от этого не пострадает, ты уж мне поверь.

– Ладно, – не стал спорить матрос, – давай только будем спать ложиться, чтоб завтра пораньше выехать. И так на день задержались, а он ведь может все решить.

– Вряд ли, – задумчиво поскреб небритый подбородок Егор, – рановато еще казачкам появляться, как я думаю. Их разведка, может, и совалась уже, а главные силы вряд ли. Тут знаешь, какую экспедицию нужно собрать? Ведь все-таки много против них народу поднялось, – он принялся скручивать сигарку, – вот сколько в бой пойдет?.. Купчишек бить да милицию по ночам гонять – это одно дело, а вот на регулярные части с артиллерией и пулеметами в открытый бой идти, да еще в голой степи, – другое... Это и мужики, видать, понимают, то-то мы с тобой их так «много» наагитировали.

– Ладно, не паникуй, – нахмурился подавленный его доводами матрос, – революция все одно победит. И гибель одних...

– Победит, победит, – не дал договорить ему Нефедов, заметив, с какой настороженностью и боязнью прислушивается к их разговору хозяйка дома, – вот мы приедем, и дело пойдет. Куда вот только ехать-то?

– Митяй Киреев, что за три хаты от нас живет, – все так же настороженно глядя на Егора сказала Мария, – на рыбалку ездил вчера к Бурле, так казав, шо еле ноги от речки унес. Мужики хотели рельсы у станции разобрать во впадине, тут поезд подошел, стрелять по ним начал. Кого вбили, а кого с собой офицеры забрали и уехали назад.

– Разведка, – легонько стукнул по столу Нефедов, – значит, через два-три дня и сами гости заявятся. Где вот только Фисенко встречать их собирается?

– Митяй еще казав, – вновь подала голос Мария, – шо встречал мужиков черnodольских с зброей, они казали, шо в Гусиную Лягу идут. Там у железки восстанцы окопы роют.

– Ну, туда значит и поедем, – подытожил Нефедов и внимательно посмотрел на матроса, тот молча кивнул головой. – И давайте спать. Завтра действительно поторавливаться надо будет.

Ночью, когда Мишуков уже традиционно храпел на сложенных в телеге винтовках, заставляя настороженно прислушиваться к непривычным звукам окрестных собак, Егор приобнял тихо лежащую рядом жену, мягко скользнул рукой под ее ночную рубаху. Но не достигла еще та рука искомого, как Мария ясно и твердо прошептала:

– Отвяжись, поросля.

– Чего ты? – удивился Нефедов.

– Да ничего. Девку себе завел молодую, подарки ей возишь, вот ее и люби.

– Врут, – от неожиданности Егора бросило в жар. «Хорошо хоть морды моей красной не видно в темноте», – облегченно подумал он и подпустил в голос обидчивых и возмущенных ноток: – вот же врут, балаболки. Какая еще девка? Война на дворе.

– Да что тебе, кобелю, война... – Маша горько вздохнула и вдруг сама обняла мужа. – Так и я ж говорю, что война. Мне, может, самой тебя мало видеть осталось, так ты еще и на другую время тратишь. Вот я до нее, потаскухи, доберусь.

– Чего ты меня хоронить-то вздумала? – уже опомнившись от шока, деланно-сердито пробубнил Егор. – Девку еще какую-то выдумала. А война... Да мало ли я был на той войне? Три года, считай, вшей в окопах кормил, под германскими «чемоданами» лежал, в штыковой бывать случалось – и ничего же. По сей день живой.

– Шо ж песню пел такую жалостливую, и черный этот страхи всякие казав?

– Да это ж солдатская песня. Они, считай, все жалостливые. Выпил малость, вот и вспомнилось. Не бойся, – он уже уверенно, не ожидая отпора, обнял жену. – Я от тебя никуда не уйду.

– А вдруг побьют вас, – Маша коснулась лица Егора шершавой натруженной ладонью, всхлипнула. – Ты ж казав, шо могут.

– Ну побегаю маленько, попрячусь, дело по старой памяти привычное, и вернусь. – Егор притянул жену к себе, мягко касаясь губами, поцеловал несколько раз в щеки, в глаза, в лоб, – у мужика судьба солдатская, а баб с детьми они не тронут. Русские все ж таки...

Глава шестая

Заседание Временного Сибирского правительства, проходившее 6 сентября 1918 года в Омске, затянулось надолго. Обсуждались методы ликвидации Славгородского восстания. После упорных дебатов, во время которых входящие в состав правительства эсеры предлагали разрешить конфликт мирным путем, победу одержали сторонники «твердой руки». Так в истории черномодольско-славгородского восстания появилась самая страшная фигура – двадцатисемилетний атаман Борис Анненков. В тот же день им и начальником его штаба Николаем Денисовым был сформирован эшелон. В вагоны погрузились две стрелковые роты, сотня сибирских казаков, эскадрон кирасир и гусаров – всего 537 карателей. Пыхнул дымом паровоз, потащил состав в сторону Славгорода. В полдень 8 сентября 1918 года застучало, загремело на все лады у станции Бурла. С подошедшего из Карасука длинного эшелона по мелким, без особого усердия вырытым окопам повстанцев густо сыпали свинцом станковые пулеметы. Заставив сжаться непривычные к таким звукам сердца, чихнула французская мортирка, прошуршал в осеннем воздухе первый снаряд. Взметнул вместе со столбом воды грязь и ил со дна неглубокой речки. Под прикрытием орудийно-пулеметного огня навстречу редким вспышкам выстрелов побежали, щетинясь штыками, анненковские пехотинцы, с визгом да молодецким присвистом понеслась конница. Шансов выстоять у восставших не было.

* * *

– Слышишь?! – возбужденно ухватил за плечо Егора матрос. – Стреляют! Да часто-то как...

– Слышу, – хмуро подтвердил Нефедов, – это у Бурлы. Пулеметы и артиллерия даже. Из мортир вроде бьют, – он крепче надвинул на лоб фуражку и хлестнул лошадей кнутом. – А ну давай, ласковая!

– Туда поедем?

– Нет. Туда нам уже не успеть. Видишь, и дымы потянулись. Наверняка уже гуляют гады, хаты палят. Давай к Гусиной Ляге, туда ближе, и Фисенко там должен быть.

* * *

Павел Фисенко сунул пальцы за ремень, согнал за спину складки гимнастерки. Поправил кобуру на ремне, фуражку, не спеша пошел по неровной линии повстанческих окопов. Мужики, настороженно прислушиваясь к глухой канонаде, готовили к бою свое нехитрое оружие – винтовки да берданы. Пересчитывали в который раз патроны. Многие не впервые за последний час крутили сигарки.

– Ты что такой кислый, Ерошка? – поинтересовался Павел, переступая через ноги сидевшего на дне окопа коренастого рыжего парня. – Что-то я тебя на селе таким тихим не видел никогда.

Парень поднял к командиру круглое, словно блин, веснушчатое лицо, шмыгнул носом.

– Так заскучаешь тут, Павел Иванович, слышите, как грохочет? Мужики-фронтовики говорят, не иначе из мортир бьют. А мне чем, вот этим их бить? – Ерошка показал глазами на странно выглядевшие в солдатском окопе крестьянские вилы.

– Ими только сено хорошо кидать.

– Можно и этим. Коль поближе с ними сойдемся, они тебе не хуже штыка послужат. А вообще, хлопцы! – возвысил голос Фисенко, заставив повернуться к нему сразу несколько торчащих над бруствером окопа голов. – Шибко не робейте, страх в себе держите, не давайте ему верх взять, а то и сами пропадете и товарищей погубите. Фронтовики есть?

– Есть, – спокойно отозвался знакомый голос.

– А, это ты, Гордей, – Павел протянул руку Затрунному, – здорово. Это хорошо, что ты здесь, – Фисенко обвел взглядом стоявших неподалеку мужиков и парней. – Кто не обстрелянный еще, Гордея и других окопников держитесь. Как они, так и вы. Дай мне табачку, что ли, Гордей, свой-то я весь пожег, – и, приглушив голос, поинтересовался:

– Как у вас тут настрой, в штаны многие уже поналожили?

– Держи, командир, – Затрунный протянул Павлу объемистый красочно расшитый кисет, подождал, пока Фисенко скрутит сигарку, и убрал его обратно в карман.

– Хватает и наложивших. Народ-то в большинстве необстрелянный, а тут вон как громыхает. Мне вроде дело привычное, так и то знобит немного. Патронов опять же мало, при хорошем бое на полчаса не хватает.

– Патроны берегите як глаз, – Павел кивнул на прощание земляку, прошел несколько шагов по окопу, успокаивающе похлопывая по плечам повстанцев. Подошел к открытому по всем воинским правилам пулеметному гнезду. У единственного пулемета отряда, захваченного в славгородском бою «максима», притулился высокий, давно не бритый мужик с патронной лентой через плечо. Рядом с ним – белеющий свежим подворотничком в расстегнутом вороте гимнастерки, привычно аккуратный и подтянутый Петр Дещенко.

– Ну шо, Петро, – Павел сунул в нагрудной карман так и не зажженную сигарку, – какова обстановка?

– Да такая ж, какая и была, – Дещенко оторвал взгляд от степи, повернулся к командиру. – В строю сто тринадцать человек. Оружия на всех – сорок винтовок, двенадцать берданок, один пулемет и несколько гранат. Скоро, по всему видать, должны появиться гости. Стрельба у Бурлы стихает, а вместо нее, видишь, дымы появились. Уже палят, гады, наше добро. Сам слышишь, из орудий бьют, сила подошла немалая, нам против нее не упереться. Но и из окопов вылазить до ночи нельзя, вокруг голая степь, догонят, вмиг порубают.

– Понятное дело, – поморщился Фисенко, – нам до ночи нужно удержаться, к Толкуново будем уходить, там хоть колков побольше, Укроемся на первое время и опять в бор, как летом, когда чех поднялся. Помнишь? Дещенко молча кивнул.

– Конечно, не шибко ладно у нас вышло, не сумели мужика расшевелить, не клюнул его, видать, по-настоящему жареный петух в задницу, – после паузы сказал Павел, – ну ничего, клюнет еще. За господами не заржавеет. Хорошо хоть мобилизацию их малость порушили, кой-кого из буржуйского отродья на тот свет отправили. Получится еще. Курочка по зернышку...

– Казаки! – срываясь на визг, заорал кто-то слева, и Павел с Петром мгновенно развернулись в ту сторону. Небритый пулеметчик поправил ленту, крутнул маховичком затвора. От железной дороги к повстанческим окопам катилось серое облако пыли с мелькающими в нем всадниками.

– Человек тридцать, – быстро определил глазастый хозяин «максима».

– Разъезд, видать, – Павел вынул из кармана платок, медленно вытер выступивший на лбу пот, – а ну пугни их, пулеметчик.

– Добро, – жилистые пальцы впились в рукоятки «максима», над степью пронеслась скупая очередь. Выбила из седла одного из казаков, обожгла бок покотившейся по земле лошади.

Не ожидавшие столь «радушного» приема анненковцы разом повернули коней вспять. Скоро об их появлении напоминала только медленно оседающая пыль. Так же медленно снял Павел фуражку, провел растопыренной ладонью по короткому ежику волос, вернул головной убор на прежнее место. Сказал, ни к кому не обращаясь:

– Вот и началось...

Сзади зашуршала земля и, едва не сбив с ног повернувшегося на шум Дещенко, в окоп спрыгнул Егор Нефедов.

– Здоровы были. Чего пуляете?

– Патроны привез? – не отвечая на приветствие, озабоченно спросил Павел.

– Неласково встречаете, – усмехнулся Егор, – привез, правда, не очень много. Винтовок несколько штук, – он сделал небольшую паузу, – и пулемет впридачу.

– Какой пулемет?

– Ну какие пулеметы бывают? Французский, «шош». – Нефедов был невозмутим.

– Ох ты и молодец, ох и молодец! – Павел крепко обнял Нефедова. – Спасибо тебе, друг. От всех спасибо. Возьмите в окопе лопаты и быстро вон к тому озерку. Соорудите укрытие, какое успеете, и будете с той стороны нас прикрывать. Постараемся продержаться до ночи, а там будем уходить. Бейтесь, хлопцы, до последней возможности, иначе нам всем каюк.

* * *

– Вон они, – Егор выпрямился в неглубоком окопе, приложил к мокрому лбу ладонь, – идут.

– Где? – матрос перестал безостановочно кидать землю, выпрямился, опершись на лопату.

– Вон, от железки пыль движется. Конные и пехота вроде, на телегах. Так, пулемет на бруствер, диски... Где третий диск?!

– Я его, – матрос покраснел, – в телеге, в камышах оставил. Я телегу в сухом камыше у озера спрятал, ну и диск в суматохе один там забыл. Сбегать?

– Да куда сейчас бегать-то, – вздохнул Егор, – теперь как бы совсем не отбежаться...

* * *

Прижимая к земле мужицкие головы, безостановочно рокотали пулеметы карателей. Пылали копны свежескошенной пшеницы, и в затянувшем степь дыму таялись маленькие фигурки приближающихся к окопам анненковцев. Охватывая позицию повстанцев с обоих флангов, мчалась конница. Ближе к железной дороге, не выдержав страшного напряжения, густого огня и казачье-

го визга, уже вылезали из окопов одиночные серые фигурки. Бросая немудреное вооружение, бежали к железнодорожной насыпи. С десятков передовых казаков проскочили сквозь редкие вспышки выстрелов, устремились вслед убежавшим, и пешие фигурки стали одна за другой ложиться и замирать на земле. «Максим» повстанцев работал безостановочно. Огонь пулемета отбросил накапывающуюся за передовым отрядом лавину казаков, заставил их свернуть к железной дороге, оттуда каратели ударили в ничем не прикрытый фланг обороняющихся. Фисенко уже бежал по окопу в ту сторону. Двинул по дороге в челюсть воющего на одной ноте белоглазого трясущего человека: «Пропали, пропали, мужики! Конец нам!», выскочил на бруствер, стреляя из нагана в надвигающихся казаков. Кричал, разрывая рот: «Огонь! Огонь!».

Но уже по всей линии обороны катилась, нарастая, паника. Все больше и больше ничего не соображающих, движимых одним лишь желанием выжить повстанцев выбирались из укрытия и бежали кто в степь, кто к железнодорожной насыпи навстречу казачьим шашкам. Павел опустил наган, оглянулся на мгновение назад и вновь повернулся лицом к быстро приближавшимся анненковцам. Казалось, что все их пулеметы и винтовки направлены лишь на него. Но ярость пересилила в нем страх. Он нагнулся и выдернул за дуло из окопа пустую без единого патрона трехлинейку.

– Вперед! Души гадов! – просипел командир чернородольских повстанцев и, выставив штык, побежал по теплой земле навстречу врагам. Вслед за ним выбрались из окопов человек двадцать бывших фронтовиков. Пошли умирать. Гордей выстрелил в подскакавшего близко казака, ругнувшись промаху, увернулся от тускло блеснувшей над головой шашки. Выбросил вверх наудачу тонкое жало штыка. Вторым ударом пригвоздил к земле сползшего с коня подхорунжего. Бросив винтовку, схватился за кобурку убитого.

– Ну быстрее же, быстрее ты, – ругал он в голос тугую застежку. Ухватил наконец рукоятку нагана и тут же сунулся разрубленной надвое головой в землю, рядом с уби-

тым им казаком. Уже раненный, Фисенко продолжал сражаться. Ловко орудуя винтовкой, отбивался от нескольких спешившихся казаков, сразу угадавших в нем командира, которого не мешало бы взять живым на радость любимому атаману. Павел сбил прикладом одного, пропорол штыком бок другому и упал, сраженный сразу несколькими пулями. Из пулеметного окопа еще отстреливался от подступивших почти вплотную карателей Петр Дещенко. Рядом с ним сражались самые упорные из повстанцев, те, кому довелось ненадолго пережить своего командира. Бой кончился. Началось избиение.

* * *

Пулемет лениво, будто шелуху семечек сплевывал, выстучал последнюю очередь и уже впустую щелкнул затвором.

– Шабаш, – отвалился от «шоша» Егор, – патроны вышли.

– Наши бегут, – матрос стоял в окопе в полный рост, с болью и страхом смотрел на покрытое конными и пешими людьми поле, – все бегут.

– И нам пора, пока не порубали, – Нефедов ловко выпрыгнул наверх из неглубокого окопчика, – давай шустрее.

– А пулемет?

– Да он же пустой, железка просто. Давай быстрей! – Егор сорвался на крик. – Скачут!

– Ну уж нет, – матрос взвалил на плечо «шош» и что было мочи рванул по полю вслед за оглядывавшимся на бегу товарищем. Бежали, как и сговаривались на такой случай, к недалекому озерцу, в спасительные камыши. Благо уже начинало смеркаться, а значит, возможность выжить в этот раз у них была, хоть и не особенно большая. Неторопливо скакавший впереди своих казак аккуратно, словно лозу на учениях, рубил разбегавшихся повстанцев. Двое других анненковцев с упоением секли тех, кто пытался метнуться в сторону, упасть, укрыться за любым самым маленьким холмиком. Но не было им спасения в широкой степи.

– А-а! Не надо! Не на... – заорал, поворачиваясь к наскочившему карателю кто-то высокий и серый и, словно деревянная кукла, упал на стерню.

Оторвавшись от своих, трое казаков гнали бегущих к камышам, вконец обезумевших крестьян, умело выполняя привычную им работу. И вот перед ними замелькали метрах в ста только две спины, черная и серая. Егор сунул на бегу руку за пазуху, вытащил что-то, смахнул с головы фуражку.

– Стой! – задыхаясь, заорал он Володе. – Бросай пулемет. Руки в гору!

– Что?! – лицо флотского перекосило яростью.

– Делай что говорю. Ну делай же!

Егор резко остановился, повернулся лицом к быстро приближающимся казакам, смахнул на землю драгунку, вскинул вверх руки. В правой – судорожно смятый картуз.

– Мы сдаемся, сдаемся! – высоким заячьим голосом закричал он. – Не убивайте!

Матрос бросил пулемет, брезгливо сплюнул. Молча скрестил руки за спиной – там, где под бушлатом торчал за ремнем наган.

– Конец вам, краснодранцы! – весело крикнул передний казак и перевел коня с легкой рыси на шаг. – Сейчас вам кишки на шашки мотать будем.

Догнавшие его станичники засмеялись над удачной «шуткой», Егор резко махнул правой рукой, и под копыта лошадям полетела ставшая необъяснимо тяжелой нефедовская фуражка. Английская граната «мильс» – вещь небольшая, но убойная. «Веселый» казак лежал неподвижно у сраженной взрывом лошади. Другая лошадь с диким, закладывающим уши визгом елозила крупом по земле и из-под нее никак не мог выбраться нелепо махающий шашкой контуженный казак. В него часто стрелял из револьвера и так же часто мазал Мишуков. Третий анненковец был абсолютно цел и, здраво оценив обстановку, уже разворачивал коня вспять.

– Своих, сука, приведет. – Егору стало еще страшнее, чем несколько секунд назад, когда их нагоняли эти трое. – Эх, где мои призовые медали? – Нефедов припал на одно колено, подхватил с земли винтовку, привычным движением вдавил в плечо приклад. До расплывающегося в вечерней мути казака было уже метров сто. «Только с первого выстрела, больше не успею». Егор медленно выдохнул, мягко – «будто палец в мед опускаешь», – мелькнуло в голове давнее наставление фельдфебеля из таежников – надавил на спусковой крючок и сразу понял, что попал. Мишуков поднял с земли «шош», взвалил его на плечо. Друзья пригнулись и тяжело побежали к сереющим неподалеку камышам.

Глава седьмая

Буряк вынул из кармана револьвер, откинул барабан, долго смотрел на желтые кругляшки патронов: «Полный. Надавил на собачку – и в Могилевской губернии». Защелкнул наган, медленно подняв руку, приставил ствол к виску. «Сможешь?» – спросил он сам себя. И сам себе ответил: «Смогу». – «Давай тогда, чего тянуть». Покрывшись испариной, Роман начал давить на спусковой крючок и вдруг отнял палец от теплого металла револьверной скобы:

«Нет, Рома, нет. Лучше б, конечно, так, да нельзя. Дети-то как людям в глаза смотреть будут? Скажут им – завел ваш батя своих товарищей в яму, на муки палачам отдал, а сам пулю в лоб пустил, легкой смертью умер. Нет, так не пойдет».

Буряк медленно опустил руку, бросил на стол тяжело стукнувший о доски наган. Он знал точно – жить осталось недолго, и вся не такая уж короткая сорокалетняя жизнь виделась ему теперь разноцветными малярскими мазками. Светло-зеленым голодного и веселого детства, коричневым – крестьянской работы на пашне, черным – шахты, хмарно-серым – окопов германской. Он положил на столтяжелые влажные ладони, посмотрел внимательно на предательски подрагивающие пальцы и что

было сил, до отдавшейся в голове резкой боли, вдавил их в доски столешницы. Сзади стукнула дверь.

– Настя, это ты? – протолкнув в горло сухой комок, оглянулся Буряк.

– Я, – вошедшая в хату хозяйка еще недавно была статной розовощекой женщиной и всегда выглядела моложе своих сорока лет. Теперь же и походкой и обвислым серым рыхлым лицом она больше напоминала старуху.

– Я, Рома, собрала тебе кое-что. Хлебца, луковиц, пару картошек, рубашку чистую, – слезы враз хлынули из ее глаз, перехватили на миг дыхание.

– Ну зачем ты пришел, зачем? Схоронился бы как-нибудь, переждал, а потом уж. Убьют ведь, они никого не жалеют, а уж тебя...

– Ну ладно, Настасья, – Буряк быстро встал со скамейки, обхватил ладонями вздрагивающие плечи жены, – ладно тебе. Чего теперь-то? Нельзя мне теперь по-другому. – Усадил ее на табурет, присел рядом.

– Ты вот что, расскажи мне, что было-то тут, когда эти пришли.

– Зачем тебе, Роман? Ведь казнить будешь, я-то уж тебя знаю.

Буряк накрыл ладонью безвольную женскую руку.

– Надо мне, Настя. Пока немного времени есть, расскажи, – он сдвинул с ее лба туго завязанный платок, провел легонько ладонью по густым русым волосам, стер со щек жены влажные солоноватые полоски. Настя рязвязала платок, сжала его в загоревших на степном солнце руках.

– Они утром раненько в село въехали, все верхом, да много. Скачут по улице, кричат: «Выходи, кто есть!». А люди-то, считай все, еще с вечера из села ушли, кто в Максимовку, кто в Старо-Богатское, кто еще дальше.

– А ты что же не ушла? – заранее зная, каким будет ответ, спросил Роман.

– Чувствовала, что ты объявишься, вот и не ушла. Ребятишек соседи вместе со своими увезли в Максимовку к знакомым, спасибо им, а я в хате осталась. Потом, когда стрелять начали, в сарае у Марфы Дьячко пряталась. Она

шибко боялась, что хату ее спалят и тоже осталась. «Может, вымолю, говорит, чтоб не спалили, или расплачусь, чем затребуют. Лучше уж так, чем без добра оставаться».

– В кого стреляли-то? – невольно улыбнулся женской логике Буряк.

– Я не видела, Роман, в сарае была, а выйти мне Марфа не дала. «Узнают, – говорит, – чья ты жена, убьют под горячую руку». А она видела из окошка, что палили в Алешу Бойко. Он у управы сельской как раз оказался.

– В карауле, видать, стоял, – Роман упер локоть в стол, закрыл глаза ладонью, – наверное, его очередь была.

– Так он стрельнул и то ли убил одного, то ли поранил, только свалился тот из седла. Тогда они тоже стрелять начали, а когда Алеша упал, саблями его посекли. Потом по дворам, ироды, стали шарить. На краю села несколько хат подожгли, но, слава богу, дальше не разгорелось. Да они не сильно и хотели, чтоб село сгорело. Что тогда грабить? Все с дворов потащили – и баранов, и свиней, и птицу. У нас из хаты и со двора, считай, все выгребли. На огороде даже тыквы, арбузы и капусту саблями порубили – тешились так, видать. – Настя вновь всплакнула, прижала к лицу сжатый в ком платок. – Небогато мы нажили за жизнь добра, а все жалко.

– Да что ты, Настюха, о чем убиваешься? Добро это – дело наживное. С людьми-то как? Женщина высморкалась в подол, вытерла слезы, вздохнула:

– Так я про то и говорю, Рома. На том конце деревни тоже стрельба была, и оттуда, говорят, казаки привезли Олло Григория, саблями порубленного, в крови всего, и у сельской управы бросили. А Митрия Скрипку, Устима сына, ну который, помнишь, хворал все, того сама видела. Они из села не уехали. Устим мне еще загодя сказал: «Это вам бояться надо и бечь, а мы против власти не выступали, нам ни к чему. Нас не тронут». Под вечер казаки все из села уехали, пошла я нашу хату поглядеть. Иду через Скрипкин двор, смотрю – у них двери нараспашку. Я в сени заглянула, – Настасья прижала пальцы к задрожавшим быстро губам, сбилась вдруг на шепот, – там Митрий лежит

раздетый, без исподнего даже, весь саблями или штыками истыканный-изрубленный. Рот у него открытый, и мухи по нему черные ползают... Уходи, Рома, Христом Богом тебя прошу! – Настя сорвалась на крик и, уткнувшись головой в лежавшие на столе руки, зарыдала.

Роман молча гладил ее ладонью по спине, и постепенно рыдания смолкли. Тихо стало в доме Буряков. Сидели обнявшись, пока не посерело за окном утыканное частыми светлячками звезд небо. Роман тяжело поднялся с лавки, поцеловал в последний раз мягкие, солоноватые от стекающих на них слез губы:

– Пора, Настя. Иди к детям в Максимовку. Люди хорошие на свете еще не перевелись, помогут. И прости, если обидел тебя когда.

– Ты, ты-то как, Рома? Может, вместе пойдем, а? – умоляюще спросила она.

– Нет. И не мучай ты меня, иди, пока совсем не рассвело.

На пороге она обернулась. Потянулась к мужу испуганными, тлевыми последней надеждой глазами:

– Роман!

– Иди, Настя, – потянул ворот рубахи Буряк, – иди, говорю.

Ушла она, и остался Роман Буряк один. Он распахнул окно, широко открыв рот, долго дышал холодом утреннего воздуха. Присев к столу, вынул кисет. Затянулся крепким самосадам, подумал: «Выпить бы сейчас для храбрости, да нечего и незачем. Будут потом брехать, что мы людей под шашки сунули, а сами за их спинами самосидку со страху хлебали».

Часа два просидел одну за другой вертевший сигарки Роман. Уже высоко поднялось ленивое осеннее солнце, когда застучали по тихой безлюдной улице копыта. По-хозяйски затопали по крыльцу сапоги. «Ну вот и все», – Буряк вздохнул, затушил о столешницу сигарку, встал за столом, стараясь унять дрожь в коленях.

Хлопнула коротко дверь, с винтовками наизготовку ввалились двое в кудлатых папахах.

– Руки кверху, кидай оружие!

Влез в открытое окно, чутко сторожа каждое движение, длинный ствол маузера. Роман поднял руки. Сухощавый, шустрый как мышь казачок проворно схватил со стола наган, сгреб в карман патроны. Привычно быстро обшарил одежду стоящего неподвижно Буряка.

– Больше ничего нету, брат Иван.

– Давай к атаману его, – приказал голос из окна. Рослый широкогрудый казак шагнул вперед, пихнул Романа прикладом в бок.

– Шагай, комиссар.

Следом за ними, прихватив с гвоздика у двери потертую кожанку Буряка, вышел из хаты сухощавый казачок.

Роман ожидал увидеть в сельуправе громадного седоусого казака со зловещим взглядом. За столом же сидел молодой человек в черной, ладно подогнанной форме, с черной полоской усов над тонкими губами, с которых, казалось, никогда не сходила надменно-брезгливая усмешка. Венчал образ печально знаменитого атамана словно по ошибке приклеенный к виску казачий чуб и тускло блестящий на груди офицерский «Георгий». Анненков пил из глиняной кружки молоко и дразнил привязанную к ножке стола маленькую обезьянку-мартышку. Тыкал ей пальцем в лохматый бок и ловко отдергивал руку, когда озлобленный зверек пытался ее укусить. При этом он разговаривал с облаченным в парадную ризу деревенским попом Лисицким.

– Да, батюшка, именно огнем и мечом, до последнего зловердного семени...

– Но ведь перед вами не вооруженный до зубов иноземный неприятель, – лицо священника было покрыто красными пятнами, руки дрожали, – а ваши соотечественники, мирные крестьяне-землепашцы.

– Ваши мирные землепашцы несколько дней назад убили в Славгороде десятки людей, разбили и разграбили воинский склад, лавки и магазины, словно дикие псы растерзали городского главу, – в отличие от Лисицкого, Анненков все больше бледнел, – пытались сорвать

мобилизацию! Они государственные преступники, страшное зло для цивилизованного общества. Не так давно, – продолжил атаман уже обычным ровным голосом, – мы умирjali подобные волнения в Верхне-Троицке, это не так далеко отсюда, в соседней губернии, и вот третьего дня в наш штаб поступила телеграмма из этого поселения. Послушайте, если это вас не затрудит.

Анненков вынул из кармана сложенный вчетверо листок бумаги, развернул его: – «Благодарные граждане Верхне-Троицка шлют привет Сибирскому казачьему войсковому кругу, в частности доблестному атаману Анненкову и вверенному ему отряду, освободившему наш край от большевизма. Вместе с тем принимаем горячо к сердцу утрату доблестных героев, павших при освобождении города от большевистской банды. Вечная память героям, павшим в бою. Вечная слава героям-богатырям, возвратившимся в свой родной край. Городской голова Ломов».

– Вот так, господин Лисицкий, – атаман положил листок на стол рядом с глиняной кружкой, – благодарят нас люди. Так что не нужно, уважаемый, излишне драматизировать ситуацию и наряжать атамана Анненкова в одежды ветхозаветного палача царя Ирода. Право, не стоит. Они, – Анненков резко мотнул подбородком в сторону окошка, – не хотят служить. Прекрасно. Мы их попросту заставим это сделать, как делали, делают и будут делать это во всех государствах мира с начала времен. И не просто заставим, а еще и воспитаем, выкуем из них настоящих солдат. Не таких, конечно, лихих, как мои казаки, но для службы вполне пригодных. Дайте только срок.

– А пока этот срок не пришел...

– Абсолютно верно. Огнем и мечом.

– Но ведь страдают невинные люди, – возвысил голос священник.

– Невинных в этом селе нет, кроме вас, разумеется. А если даже и попадется какой, ему верная дорога в рай, как мученику. Смутное время, ничего не поделаешь. Впрочем, разговор наш несколько затянулся, а время требует заниматься делом. Принесли?

– Да, – священник вынул сложенный вчетверо листок бумаги, медленным движением руки положил его на край стола, – вот, здесь указаны все смутьяны. Только прошу вас, не трогайте никого кроме них и не жгите села.

– Хорошо, хорошо, – махнул рукой атаман, – обещал – значит, обещание выполню. Но контрибуцию на деревню наложим, и немалую. Это тоже могу обещать. Жители села должны выплатить 500 тысяч рублей, предоставить нам 50 голов скота, 10 лошадей с упряжью, 150 возов сена и 1000 пудов овса. Само собой будет конфисковано все имущество главных смутьянов. И все, – атаман поднял руку, не давая Лисицкому возразить, – дискутировать не будем. Идите к своей заблудшей пастве и посоветуйте ей, настоятельно посоветуйте, с расчетом не задерживаться, дабы избежать серьезных неприятностей.

Когда поп вышел, высокий казак ловко кинул ладонь к папахе.

– Вот, привели, брат-атаман. Сказывают, один из главных этот у них был.

– Сейчас посмотрим, – атаман отпихнул ногой вцепившуюся в носок сапога мартышку, кивнул солдату-денщику: – Унеси.

Развернул подготовленный священником список, мельком взглянул на него и, наконец-то, поднял глаза на Романа. Буряк готовил себя к самым страшным испытаниям и все же невольно вздрогнул. Такие глаза он уже видел, и было это в детстве, когда маленький Рома подшиб камнем налетевшего на цыплят степного коршуна-кобчика. Взгляд хищной птицы, как и взгляд смотревшего на него сейчас человека, не выражал никаких чувств. Он лишь оценивал силы противника, просчитывая возможность и силу смертельного удара.

– Как звать-то, бандитская морда?

– Я не бандитская морда, – Роман, свесив плетьюми руки, стоял посредине комнаты и, до скрипа сжимая зубы, всеми силами старался унять охватившую его дрожь.

– А кто же вы такой? – удивленно поднял брови атаман.

– Борец за народное дело. Фамилия Буряк.

– Ну-у, – протянул Анненков, – борец, значит, – атаман заглянул в бумажку. – Тогда вас не Роман Григорьевич Буряк должны звать, а Степан Тимофеевич Разин, и по должности вы не начальник повстанческого штаба, а великий народный герой. По сути, впрочем, такая же бандитская морда, – уже без тени смешливости добавил он и, быстро поднявшись со стула, оказался высоким и стремительным.

– Впрочем, хватит экскурсов в историю. Говори быстро, если легко умереть хочешь, где остальные зачинщики этого безобразия? Кто еще прячется поблизости?!

– Нету таких. Я один виноватый, с меня одного спрашивайте.

– Не скажешь – замучаем, убьем. Дети сиротами останутся. Как без отца расти будут? А скажешь – в тюрьму отправим, под суд пойдешь. Все же шанс жизнь сохранить. Дороже-то ее ничего нет.

– Мои дети без отца останутся, так хоть у других отцы будут живые, – тихо, будто для себя одного сказал Роман.

– Ничего, – Анненков хлопнул ладонью по лежавшей на столе бумаге, – вот это нам поможет и до других отцов добраться.

Буряк неожиданно сделал шаг вперед, упал на колени.

– Простите, ваше благородие, по глупости я. Я покажу, покажу, – он зашаркал на коленях к столу, и когда Анненков брезгливо отодвинулся, быстрым неожиданным для атамана и казаков движением схватил с него список и так же быстро пихнул его в рот. Упал, что было силы вжался лицом в глинобитный пол, судорожно двигая кадыком. Ухватилась за его волосы крепкая рука, рванула вверх голову, загуляли по всему телу кованые каблуки, один из тяжелых ударов пришелся в лицо, и последний бумажный лоскут Буряк проглотил вместе с собственной кровью.

– Ах ты ж, Муций Сцевола какой, – атаман рассви-репел не на шутку. – А ну в повозку его, в Славгороде до-

говорим. А потом отдать казакам, кто помоложе. Пусть, – Анненков почти кричал, – учатся головы рубить!

Ухватив лежащего ничком Буряка, казаки проворно потянули его к двери, когда тот напряг вдруг волочившиеся по полу ноги, поднял залитое кровью лицо. Пробулькал непослушным, кашляющим голосом: «Погоди».

– Чего тебе, большак, – наклонился к нему конвоир, – чего годить-то?

– Погоди, говорю, – уже твердо сказал Роман. Кряхтя от пронизывающей все тело боли, выпрямился, шагнул к плавающей перед глазами двери. – Сам дойду.

* * *

...Серым сентябрьским утром по железнодорожному полотну у депо станции Славгород среди иссеченных шашками многочисленных трупов бродила кутавшаяся в серый платок женщина. Она сумела вымолить разрешение разыскать и забрать того, кто ей нужен, если сумеет, конечно. Только по пуговицам на черной от спекшейся крови рубашке узнала она своего мужа – Романа Григорьевича Буряка.

* * *

Ближе в полудню 10 сентября 1918 года Степан Ильич и Катя Олизко приделались понаряднее и вышли на улицу. Встречать освободившего Славгород от повстанцев атамана Анненкова. Катерина очень надеялась увидеть среди героев-офицеров самого геройского и любимого Мишу Киржаева, потому и потащила за собой не особенно того желавшего отца.

Чем ближе подходили они к площади, где находилась городская больница, тем тяжелее становилось на душе у отца с дочерью, словно вдыхаемый ими воздух был отравлен страхом и безнадежностью. До площади оставалось совсем недалеко, когда навстречу им попался бегущий человек, небольшого роста крестьянин в украинской свитке с белым, как стена мазанки, трясущимся лицом. За ним еще один такой же, потом еще и еще.

Следующий же встреченный ими человек никуда не торопился. Он лежал у фонарного столба, разметав в стороны руки и ноги, с задранной к самому горлу праздничной рубашкой. Вместо лица у него был разваленный надвое сочно-красный арбуз, а на голом, худом животе подрагивало нечто студенисто-серое и очень страшное.

– Что это, папа, что?! – Катю затрясло.

Она торопливо вынула платок, прижала его к губам, сдерживая приступ рвоты. Заставив их прижаться к забору, мимо не спеша проехали двое казаков, один из которых с интересом поглядел на Катю и, увидев, что одета она не по-крестьянски богато, сожалеюще крикнул. Другой, вытирая покрытую рыжими пятнами шапку, усмехнулся:

– Не по тебе, Митюха, товар. За такой атаман и без башки может оставить. Что, барышня, – склонился он с коня к Екатерине, – большевичками убиенными интересуетесь? Раскололи башку комиссару, а мозги ему просушить выгащили, глядишь, поумнеют.

Оба казака рассмеялись над удачной шуткой и, увидев мелькнувшую в конце улицы серую фигуру, стегнули нагайками лошадей.

– Пойдем домой, Катя, – Степан Ильич решительно взял дочь за рукав.

– Нет, – голос Екатерины Олизко был тихим, но твердым, – я хочу увидеть Михаила. Пойдем дальше, на площадь. Нас же не трогают.

– Но ведь тебе плохо, я же вижу.

– Ничего, потерплю.

На площади было шумно. Десятка два конных казаков, оцепив стоящую у больницы испуганную кучку крестьян, в свое удовольствие секли их нагайками, выстраивая в подобие колонны. Слышались крики боли и возмущения: «За що бьешь! Мы к дохтуру на прием! Мы не восставали!».

– Ты что делаешь, служивый? – ухватил за стремя казачьего жеребца коренастый бородатый мужик в серой солдатской шинели. – По какому закону? Бога побойся!

– Ишь грамотный, варнак, – злобно ощерился такой же бородатый и крепкий казачина. – Вот наш закон!

Свистнула коротко острая, как бритва, сталь, мужик выпустил стрелы и без звука рухнул на мостовую.

– Руби их, братцы, это все бандюки большевистские!

Через минуту у здания больницы остались лежать десятка полтора еще подрагивающих в конвульсиях тел, а анненковцы, не вкладывая шашек в ножны, понеслись высматривать новую добычу. Степан Ильич с трудом удерживал на ногах отяжелевшую, находящуюся в полуобморочном состоянии Катю. Медленно ступая на ватных ногах, повлек ее назад. Домой! Домой от этого кошмара! Когда же наконец он закончится?

Но до окончания славгородской трагедии было еще далеко. Мимо отца с дочерью другие казаки гнали в сторону озера Секачи большую толпу мужиков. Там с самого утра потрескивали вразнобой винтовочные выстрелы, звук которых изредка заглушали ружейные залпы да четкие строчки «максима». Неподалеку от своего дома измученные Степан Ильич и Катя повстречали троих степенного вида крестьян в начищенных сапогах, парадных пиджаках и картузах. Мужики шли не спеша, тихонько переговариваясь, и на далекую винтовочную стукотню не обращали, похоже, никакого внимания.

– Извините, уважаемые, – обратился Степан Ильич к ним, – позвольте узнать, куда вы направляетесь?

– На съезд крестьянский, делегаты мы с Батаевки, – ответил старший из крестьян.

– А вы что, господа, – Степан Ильич немного пришел в себя, – не слышите стрельбы, не знаете, что в городе творится?!

– Господ нынче вроде нету, – усмехнулся мужик помоложе, отличавшийся от своих товарищей солдатской фуражкой и отсутствием бороды, – и ты нас не смущай. Мало чего стрельба идет, время-то военное, а в Славгороде, мы знаем, военно-революционный штаб, и съезд здесь крестьянский проходить будет. Вот на него и идем. Пошли, мужики, – повернулся он к товарищам, – нечего

тут слушать всяких господ, – последнее слово было сказано протяжно-презрительно, но это обстоятельство Степана Ильича ничуть не смутило. Он ухватил за рукав старшего из делегатов и прерывистым от злости и бессилия голосом зашипел:

– Какой штаб?! В городе казаки, каратели, рубят людей, трупы везде, таких вот дураков же, как вы. Куда? Зачем? Быстрее отсюда. Ко мне. Спрячу, спасу, – Степан Ильич говорил все быстрее и быстрее и все тянул и тянул пожилого мужика за рукав. Тот, не пытаясь избавиться от чудного господина, все больше серел лицом. Поскучнели и его попутчики.

– Это правда, – Екатерина Степановна смотрела на мужиков умоляюще и тоже ухватила одного из них за полу выходного пиджака, – папа правду говорит. Вас убьют здесь. Пойдемте с нами. Быстрее, быстрее! – Она сорвалась на крик, и вместе с ним из глаз девушки хлынули слезы. – Ну быстрее же! Хватит, хватит, хватит! – почти в истерике кричала она, и, окончательно поняв, что дела вокруг действительно очень плохи, мужики молча пошли за незнакомыми людьми.

Только успели селяне спуститься в подпол, легла сверху толстая дорожка, покачнулась на тонконогом столике ваза с осенними цветами, как в дверь застучали так же тяжело и властно, как и несколько дней назад. Вошедший первым бравый черноусый анненковец с большим медным кольцом в ухе и в сбитой на затылок форменной фуражке отодвинул в сторону стволом карабина застывшего у порога Степана Ильича. Приметил мгновенно у тонконового столика высокую и ладную женскую фигуру, довольно улыбнулся. Повернул голову назад к двери.

– Заходи, станичники, посмотри, какая тут краля!

Увидев еще двоих бородатых, легких в движениях казаков с винтовками в руках и шашками на боку, Катя вновь побледнела.

– Кто такие, а? – повернулся к хозяину чернявый

и пихнул Олизко стволом карабина в живот, после чего Степан Ильич тоже побледнел. – Какого сословия?

Блеснули на пороге щегольские кавалерийские сапоги, и Екатерина быстро шагнула навстречу офицеру.

– Господин поручик, я невеста начальника Славгородского гарнизона штабс-капитана Киржаева, Екатерина Олизко. Скажите, что вам угодно? Зачем вы пришли?

– Прошу простить, мадемуазель, – поручик небрежно бросил ладонь к козырьку фуражки. – Обычная проверка. Ищем большевиков-повстанцев. Нам нужно осмотреть дом.

– В этом нет необходимости, – голос Кати стал тверже, лицо порозовело, – кроме меня и отца здесь никого нет.

– Что ж, – не стал спорить офицер, – в таком случае прошу простить за беспокойство.

– Пойдите, поручик. Скажите, что ж это происходит на улицах? Это же настоящее зверство!

– Не нужно так волноваться, барышня. Идет обычное наведение порядка, воевать без крови, видите ли, нигде еще не научились.

– Но ведь это бесчеловечно!

Офицер отвел взгляд от лица девушки, внимательно и цепко посмотрел на цветочную вазу и сказал с нескрываемой брезгливостью:

– Сначала некоторые слезно пишут и говорят о несчастном мужичке. Потом, когда мужичок, наслушавшись такого, хватает их же за горло, бегут за помощью к военным. Когда те приходят наводить порядок, опять пускают в ход слезы и слюни: «Ах, какое зверство!».

– Но...

– Все, – жестко оборвал девушку поручик, – дискутировать с вами у меня нет ни времени, ни желания. За мной, братцы!

Последним выходил казак с кольцом. По дороге к выходу он ловко ухватил со стола портсигар Степана Ильича, с добродушной улыбкой шепнул хозяину: «Возьму в благодарность за службу. Ага?» – заговорщицки подмигнул и исчез за дверью.

Крестьянские делегаты ушли под утро. Попрошались, поблагодарили за спасение и, как и штабс-капитан Киржаев, растворились в вязкой предутренней мгле. Их Катя со Степаном Ильичом тоже никогда больше не увидели.

Глава восьмая

В середине сентября уже холодно по вечерам в Кулундинской степи. Часто налетает откуда-то издалека разогнавшийся по бескрайней глади порывистый удалой ветер, и старая солдатская гимнастерка – не лучшая защита от его холодных, колючих крыльев. Немного спасал приятелей бушлат Мишукова, который Егор с Василием каждые пять минут перетягивали каждый на себя. Сделать это в очередной раз Нефедову не удалось. Несмотря на все уверения о необходимости равенства и братства, Мишуков даже во сне крепко удерживал свою собственность. Егор проснулся, поежился от холода, прислушался.

Вокруг было тихо, только шелестели под ветром березовые листья небольшого степного колка, уже третий день служившего укрытием для двоих более удачливых, чем их товарищи, повстанцев. Небо над степью сменило синий сарафан на опушенное розовым закатом серо-белое вечернее платье, а его – на антрацитово-черную, искрящуюся звездными блесками ночную рубашку. Стало еще холоднее. Вновь задремавший Нефедов помотал головой, прогоняя последние остатки сна. Вылез из брички, потер ладонью размякшее лицо, сплюнул в траву, вынул из кармана кисет, бережно насыпал на бумажку щепоть махорки. Изладил сигарку, прикурил и, пару раз коротко затянувшись, аккуратно затушил ее об приклад драгунки. Табак нужно было экономить, поскольку каких-либо поступлений его в ближайшее время не предвиделось. Принялся расталкивать Владимира. Несмотря на все недавние события – бой, кровь, избиение обезумевших повстанцев на

глазах приятелей, Мишуков спал очень крепко, пробудиться ему удалось не сразу.

– Чего случилось? – забубнил он со сна, нашаривая рукой наган. – Контра? Где?

– Тихо, тихо ты, – успокоил Егор. – Все пока спокойно. Просыпайся давай, ехать пора.

Позавтракаем сейчас водичкой ключевой, поскольку другого провианта нету, и в дорогу.

– Куда это? – матрос совсем проснулся, соскочил с брички и несколько раз присел, разминая затекшие ноги, – в какую дорогу?

– Ну весь свой век отсиживаться тут мы не сможем, в этих краях нам покуда проживать не стоит.

– И куда же мы сейчас тронемся?

– Для начала заедем к Варю, – Егор принялся копать в бричке, что-то перетряхивая и утрясая, – надо, наконец, пожрать как следует, харчей взять с собой, вообще подготовиться. Ну чего ты пыхтишь, ровно паровоз? – резко повернулся он к напарнику. – Что тебе опять не так?!

– Борьба идет не на жизнь, на смерть, людей мучают, бьют нещадно, – матрос говорил все громче и громче, – а он все о своем, потаскуху свою забыть не может. Уходить нужно прямо сейчас, туда, где Красная армия, или туда, где лес, к партизанам. Эх ты, – Мишуков сплюнул в траву и повернулся спиной к товарищу.

– Ты больше так Варю не называй, – тихо и очень серьезно попросил Егор, – у тебя башка и сердце чугунные, на всю катушку революционные, тебе не понять.

– Чего-о?

– Того, что ты кроме всего просто еще и дундук. Ну куда ты попрыешься во всей своей флотской красе? До какой Красной армии, каких партизан? Твоя дорожка до первого казачьего разъезда, где тебе глупую башку и развоят. Дурак и есть дурак, – покачал головой Нефедов, – даром, что матрос. Я-то думал, на флот таких тупых не берут.

– Ладно тебе, разболтался тут, – обидчиво, но уже незло отозвался флотский и через небольшую паузу привычно-деловито спросил: – Ну и какой же план у тебя имеется?

– Про план я тебе по дороге расскажу. Давай соберайся, двинем, пока время темное.

Дорога в темноте больше угадывалась, чем виделась, потому приятели ехали потихоньку, благо время пока терпело, и так же тихонько переговаривались.

– Случай чего, свернем в степь, а там нас в такой тьме и сам черт не увидит, – убеждал Егор Мишукова, а заодно и самого себя. Жаль только курить нельзя, – с сожалением вздохнул он, – огонек далеко будет видать... А я в ладошку, – вновь успокоил себя Нефедов, – в ладошку его спрячу. Тпр-р-у! – он резко натянул вожжи и дернул за рукав флотского.

– Смотри!

– Что такое?! – встрепенулся, словно петух на плетне, задремавший Мишуков и выхватил из-за пояса револьвер: – Что там?

– Видишь, лежит что-то на дороге? Вроде человек.

– А ну пойдем посмотрим.

Товарищи прыгнули с брички и, часто оглядываясь по сторонам, приблизились к темнеющему впереди силуэту. Егор нагнулся к нему, затем присел.

– Мертвый, – посмотрел повнимательнее, напрягая в темноте глаза, протянул руку к телу, ощупал лицо покойного. – Боже ж ты мой, – голос Нефедова дрогнул, он несколько раз торопливо перекрестился, – боже ж ты мой...

– Что там? – не убирая за пояс револьвер, присел рядом матрос. – Чего это ты бога вдруг вспомнил?

– У него уши отрезаны и нос, – уже выровнявшимся голосом сказал Егор. – И глаза, похоже, выколоты.

– Ох ты, – Мишуков ухватился свободной рукой за ворот бушлата, закричал, – во подлюки что делают.

– А вон подальше еще один лежит, – поднялся в рост Нефедов, – и еще.

Все пятеро найденных ими мертвецов, один из которых, судя по небольшой, тощенькой фигуре, был совсем молоденьким парнишкой, оказались изуродованными так, что и мать родная их вряд ли признала бы.

– Да что же это за изуверы такие? – Егор все сыпал

и сыпал табак на дорогу, мимо приготовленного для сигарки клочка бумаги, наконец попал, принялся неуклюже вертеть самокрутку. – Ну стрельнул ты в человека, штыком пырнул или шашкой рубанул, раз убить его решил, и все. А так-то зачем? Зачем так-то? Ну суки! – Нефедова затрясло, он бросил на дорогу так и не зажженную сигарку. – Сволочи, твари, я вас... – голос его осип, – я вас... Сколько смогу столько и убью, – вдруг тихо и почти спокойно закончил он.

Обычно знающий ответы на все вопросы Мишуков в этот раз не сказал ничего ни о мировой контре, ни о кровавых слугах капитала. Он молча смотрел на дорогу, потом поднял глаза на Егора. Тот подобрал с земли брошенную сгоряча самокрутку, прикурил, прикрыв ладонями огонек от ветра, глубоко затянулся махорочным дымком.

– Дай и мне курнуть, – неожиданно попросил моряк, – попробую.

Вдохнув густой, едкий дым, он долго и хрипло кашлял, потом вытер рукавом бушлата обильно выступившие на глазах слезы и, будто извиняясь, сказал Егору:

– Я ведь это, впервые в жизни попробовал.

– Все оно впервые, – Нефедов забрал самокрутку у приятеля, добил ее в несколько быстрых затяжек, вмял сапогом окурок в землю. – Давай хоть с дороги уберем мужиков да землей малость присыпем. По-людски их похоронить у нас с тобой времени нету.

Когда грустное дело было сделано, Егор с Володей медленно влезли на бречку и тихонько покатали по дороге. За два часа, что пришлось пылить им до Варькиного хуторка, они не сказали друг другу ни слова. Когда в посевшем перед рассветом небе появились знакомые крыши, матрос положил Егору руку на ладонь.

– Я туда не пойду. Буду тебя с бречкой в колке ждать.

– А чего не пойдешь-то? – удивился Нефедов.

– Да так, не пойду и все.

– Завидно небось? – страшная картина, какую и забыть нельзя, все еще стояла перед глазами Егора, но молодость и веселый характер уже брали понемногу свое.

– Не говори ерунды, – сухо ответил матрос, – и учти, ждать тебя буду, пока солнце подымеется, считай два часа. Потом уеду. У меня дела есть поважнее, чем по бабам шастать.

– Ну, это понятно, – согласился Егор, – значит, так и порешим.

* * *

– Все горьить кругом, – торопливо собирая еду на стол, рассказывала Варька и все растирала да растирала по смуглым щекам крупные как фасолины слезы, и гладила, гладила ладошкой изможденное, давно не бритое Егорово лицо. – Баб с детишками, що з Черного Долю сбежали, ще пускають у другие деревни, а мужиков ни. Боятся, що за тех мужиков и их село запалят. А в цем Черном Доли що було, – всплеснула руками Варька, – що надумали, злыдни. Пошли казаки по хатам и кажут бабам, готовьте по своим мужикам поминки – тащите нам курей, гусей, варите борщ, будем их поминать. Казаки ездят по селам с красным флагом, будто вони ваши, и спрашивают про повстанцев. Який пьяница им и покаже, або стариков порют, щоб те казали. Кто и со зла какого на людей указываете. А в вашем Старо-Богатском, – Варька перестала возиться у стола, присела рядом с Егором, – кажуть, якого-сь командира вбылы, Коваленко, чи как його, забула.

– Не уберегся, значит, Федор, – Нефедов перекрестился. – Царство ему небесное. Хороший мужик был.

– Вони його на полях найшлы, где вин прятался. Видать, выдав хтось. Привезли в Старо-Богатское, жинку за косу з хаты вытащилы, тай малых выгнали, тай заставили усих бачить. Стрельнули казаки, вин упав, а вони на коний сели, песню заспывалы тай поихалы. Страх божий, що робыться, – девушка вновь погладила Егора по щеке и, крепко обхватив его рукой за шею, прижала голову Нефедова к своей груди, – як я за тебе боюся, ты б знав. Ночью уснуть не могу.

Егор посидел немного молча, потом осторожно освободился из объятий.

– Писню заспивали, – тихо повторил он последние слова девушки и крепко потер лицо ладонью, махнул головой, – ты вот что, Варюша, дай мне самогонки, если у тебя есть.

– Е! Самогонка е! – вновь засуетилась, с любовью и тревогой поглядывая на Егора девушка. – Сидай за стол, тебе ж и поснидать трэба. Зараз бульба готова буде.

– Это точно. Жрать охота, спасу нет, – охотно согласился Нефедов и пересел за стол. Прислонил к подоконнику готовую к бою винтовку.

– Давай быстренько мне выпить да собери в мешок жратвы сколь не жалко, – поймав обиженный взгляд девушки, Егор невольно усмехнулся. – Да шуткую я. И туда же одежонку положи для меня и для Володи. Помнишь, что в прошлый раз собрать просил?

– А як же, – Варя улыбнулась, поставила на стол бутылку самогона и быстро скрылась в другой комнате. – Ты выпей пока, а я тут быстро усе соберу.

– Хорошо, – Егор опрокинул в рот стакан первача, отдышался и жадно принялся за хлеб с салом и квашеную капусту, не забывая при этом время от времени поглядывать в окно на дорогу. Однако первый гость появился с другой стороны.

– А ты откуда про все страсти эти знаешь? Сорока на хвосте принесла? – выпив еще полстакана самогона, крикнул Нефедов возившейся за стеной подружке.

– Нет. Это я ей рассказал.

Егор медленно перевел взгляд на входную дверь, в проеме которой с необычным для него вызывающим видом стоял Матвей Захлюпин.

– А-а, старый знакомый, – облегченно вздохнул Егор, но руку с винтовочного ложа убирать пока не торопился, – ты один?

– Один пока.

– Пока, значит, – недобро усмехнулся Нефедов. – Смотрю, бойкий ты чего-то, хлопчик, стал. Ты вспоминай, как время будет, что я тебе насчет башки-то говорил.

– Я помню, – не скрывая злобы в голосе заявил Матвей. – Я все помню.

– Вот и помни себе, – Нефедов совсем успокоился, – хорошо помни.

Прервав разговор, из соседней комнаты вышла Варвара с довольно объемистой торбой в руках.

– Вы шо тут? – быстро взглянув на Егора с Матвеем, настороженно спросила она. – Шо такое, Матвей?

– Ходят тут, – глядя в стену, будто бы сам себе, забубнил Захлюпин, – Знают, что добрых людей могут под шашки и нагайки подвести, так все одно ходят. Тут своим несладко живется, так еще и чужие прутся.

– Який ты, Матвей, буркотливый, – топнула сапожком успевшая принарядиться хозяйка. – И хто ж это тебе тут чужой? – уперла она руки в бока. – Егор? Так вин же мий коханий. Я за його замуж скоро пойду, – она быстро села на колени к Нефедову, любовно обняла его за шею, – не знав?

Слова Вари вмиг смахнули с лица работника густой коричневый загар, выбелили его, как баба холстину. Матвей молча повернулся и, хлопнув дверью, вышел на улицу. Егор еще немного выпил, наелся до отвала горячей картошки и, прищурившись, посмотрел на стоящую рядом Варю.

– Слушай Варюша, я ведь тут у тебя не больше часа сижу?

– Та ни, – девушка посмотрела на ходики, – ще мало буде.

– Тогда успеем, – потянулся ладным телом Егор, – наверняка успеем.

– Чого успеем? – недоуменно посмотрела на него Варька и тут же, несмотря на природную смуглость, покрылась румянцем. – Вот бис! Йому – бигты трэба, а вин шо задумав.

– Так ты что, против, что ли? – притворно удивился Егор. – Ну тогда до скорого, пойду я!

– От бис! – опять восхищенно повторила Варька, положила свои маленькие ладошки ему затылок, притянула Егорову голову к своей груди.

– Вот гадство, – торопливо наматывая портянки, ругался Егор, – угораздило же меня задремать, Володя уже умотал, видать. Плохо дело. А где Матвей твой, а? – Нефедов даже гимнастерку надевать перестал. – Столько времени прошло, а он и не заглянул. А ведь наверняка бы захотел нам помешать, если б тут, на дворе был.

– Так ведь он, злыдень, за казаками побиг, – охнула, догадавшись, Варя. – Думал, що як тебе не станет, йому и хозяйство мое и я сама достанусь. Ну уж ни, трясца твоей матери, ничего в тэбэ не выйdet. Бечь тебе трэба, Егор, поспешай шибче.

– А ты, ты как?

– Та меня може не тронут. На мэнэ он ничего не скаже. И потом, куды мени от хозяйства. Бежи, дай боже пронесет.

Егор бежал, задыхаясь, по свежескошенному полю к колку, где оставил Володю с бричкой. Пляшущие вверх-вниз березки впереди становились все больше, но и конский топот за его спиной все громче и сильнее. Он стучал уже не в ушах, бил молотом где-то в середине головы Егора, раскалывая ее на части, и Нефедов понял: не успеть. «Эх, Володя, не дождался ты меня. Сам, сам я виноват... Варя, Маша... Эх развалят сейчас башку-то...». Егор споткнулся на бегу, упал, ободрав едва зажившее лицо о торчащие из земли, остатки скошенных колосьев, подумал: «Все. Вставать не буду». Но именно это падение спасло ему жизнь. Выпущенная неопытной рукой пулеметная очередь прошла прямо над головой Нефедова, ожгла бок ближайшей к нему казачьей лошади. Та заржала болезненно, метнулась в сторону так, что хозяин ее с трудом удержался в седле. В треугольнике разросшейся на два ствола толстой березы вновь запульсировал желтый огонек, но оборотистые казаки уже успели пустить коней вспячь, и морячок опять не попал.

– Вот черт! – пожаловался он едва доковылявшему до березы Нефедову, когда тот, бросив на землю драгунку,

с маху упал в траву. – Целился я вроде точно, все делал, как ты показывал. А надо ж, ни хрена не попал. Ты что молчишь, не задело тебя часом?

– Не грусти, – Егор сел в траву, долго скручивал подрагивающими пальцами сигарку, так и не скрутив, отбросил далеко в сторону. – Я тебя еще малость подучу, будешь заправским пулеметчиком. А сейчас давай мешок мой подберем, я его в поле обронил, и надо быстренько сматывать, пока новые гости не появились.

* * *

В таком же точно небольшом степном колке просидели они без шороха и звука весь оставшийся день. Вечером, когда стало смеркаться, зарыли, завернув в тряпку, «шош», драгунку, наган, оставшиеся патроны. Выпрягли лошадь из брички, выгнали ее в степь, чему она вовсе не противилась. Затем Егор вытащил из повозки собранный Варей мешок, вынул из него мятую офицерскую шинель без погон, офицерские же брюки, гимнастерку и фуражку. Все хоть и поношенное, но довольно крепкое и чистое. Окинул взглядом фигуру приятеля.

– Подойдет. Офицерик, видать тоже крепкий парень был. Варьке, коль случай будет, спасибо скажешь, а может, и подарочек какой сделаешь. Она ему как дите обрадуется. Матрос подавленно молчал.

– Ладно, – стал серьезным Егор, – запоминай теперь. Ты прапорщик Мингрельского полка Шаповалов Иван. В полку командовал полуротой в батальоне князя Кавторадзе. Под Сморгонью попал к немцам в плен. Бежал. Сам ты из Питера, но поскольку там красные, а их ты не любишь, идешь ты к своему сослуживцу в Барнаул, а когда подлечишься, думаешь вернуться в армию, красных бить. Документы у тебя забрали повстанцы, хотели и самого убить, да потом пожалели, все-таки из плена человек идет. Морда у тебя, можно сказать, барская, на офицерскую вполне похожа. Так что, может быть, и пронесет, доберешься до Барнаула. А там тебе лучше знать, куда идти, сам говорил. Да и вообще, в большом городе укрыться проще. Это тебе не в степи.

– Насчет морды барской это зря, – дослушав до конца инструкцию, обидчиво сказал Мишуков.

– Да нет, братишка. Не зря. Сейчас тебе такая морда в самый раз будет. Что-то вроде пароля для казачков.

– Мудрено больно.

– Эх, Володя, сейчас и не такие истории случаются, – невесело улыбнулся Егор и вновь нагнул над мешком, – харчи разделим пополам, махорку я себе возьму всю, тебе без надобности.

– Ну а ты куда сам-то? – неожиданно дрогнувшим голосом спросил матрос.

– В Камень попробую пробраться. Там у меня сослуживец живет, я ему на фронте помог разок, думаю, он про то не забыл. Пережду, пока тут поутихнет. Остановят, скажу: слесарь, мол, хожу по селам, потребную работу делаю. Инструмент кой-какой Варька мне в мешок сунула, справка из сельуправы имеется. Так что, может, и повезет кому из нас, хотя мало в то верится.

– А ты что, сюда вернуться думаешь? – удивленно поинтересовался Мишуков.

– А то как же! – ответно удивился Егор. – Надо же будет посмотреть, как тут бабы мои все это переживут, помочь, если надо чего будет. Болит ведь сердце за обеих, такая вот петрушка. Да и поквитаться кое с кем надо, – прищурился Нефедов, – должок одному шустрому хлопчику вернуть.

* * *

Они постояли молча пару минут на ночной развилке проселочных дорог. Егор покурил в рукав, растер сапогом самокрутку. Обнялись. Пошли, все дальше и дальше удаляясь друг от друга, каждый навстречу своей судьбе.

Часть вторая

Год Колчака

Война – ужасная вещь. А война гражданская и того хуже.
Все божеские и человеческие законы перестают действовать.

Царит свобода произвола и ненависть.

Сергей Мамонтов,
участник Гражданской войны в России в 1919–1920 годах

23 декабря 1919 года у расположенной на транссибирской магистрали неподалеку от Щегловска¹ станции Топки пришедший с Алтая партизанский отряд Григория Рогова перерезал железную дорогу и занял оборону на пути отступавших к Иркутску частей колчаковского генерала Сахарова.

С ночи ударил крепкий мороз, и занявшие уже за светом свои позиции роговцы хоть и были одеты в большинстве своем по-зимнему и зарылись в глубокий снег, словно куропатки, долго лежать на месте не могли. В стылой тишине посвистывали порой пули передовой офицерской заставы, но молодых партизан это особенно не пугало. Они то и дело выбирались из своих сугробов и бежали к соседям поиграть в «печку», потолкать-потискать друг друга в объятиях и хоть немного согреться.

– В цепь, – сипели на них взводные, в большинстве своем побывавшие еще на германской войне старые солдаты, – не видишь, дура, к офицерам орудья подвозят. Сейчас так долбанут, что в штанах жарче, чем в бане, станет.

Егор Нефедов и его недавний приятель, он же второй номер пулеметного расчета «льюиса» шестнадцатилетний Матвейка Пузырев, укрылись от пуль и ветерка за стволом упавшего сухого дерева. Рядом, нацелившись широким «самоварным» дулом в сторону противника, стоял готовый к бою пулемет. Нефедов механически жевал сухарь, а трясущийся от мороза Матвейка обламывал с дерева ветки и подбрасывал их в горевший между пулеметчиками крохотный, ничуть их не согревающий костерок. Матвей Пузырев и два его старших брата Иван и Никодим в отряде Рогова появились недавно, перед походом мужицкого войска из алтайского села Сорокино² на восставший против Колчака Кузнецк³.

Когда загуляли между роговскими бойцами разговоры о богатых городских «трофеях», в отряд потянулось

¹ Ныне город Кемерово.

² Ныне город Заринск Алтайского края.

³ Ныне город Новокузнецк Кемеровской области.

немало добровольцев. Ивана и Никодима, как более старших и крепких, да к тому же вооруженных винтовкой и берданой, определили в стрелки, а Матвей пошел проситься в пулеметную команду.

Начальник ее, Иван Дрожжин, его появлению обрадовался не особенно и, едва взглянув на паренька, заявил: «Дохлаый ты какой-то, опять же пулемета не знаешь, зачем мне обуза лишняя?».

– Я, дяденька, и кашу есть когда-то не умел. Вот увидите, и тут научусь, одолею.

– Пулеметная команда – дело особое, – сдерживая улыбку, строго сказал Иван. – Серьезное.

– Так мне и надо, чтоб серьезное, – деловито заявил на это парнишка. – Пулеметчиком хочу стать, уразуметь чтобы до тонкости.

– На кой оно тебе? – мрачно спросил стоявший рядом с Дрожжиным Егор Нефедов.

– Так год подойдет – в солдаты забреют, там, говорят, не сахар, а я уже не абы как, нужному делу обучен. Никодим говорит – там таковским легче, – шмыгнув носом, рассудительно сказал Матвей. – Вы, дяденька, не смотрите, что я мелкий, зато смысленый, все говорят. Механику всякую понимаю. Надо – так жатку, а то молотилку могу помочь починить. У нас рабочий с города ее ладил, так я все высмотрел, как он делал. Теперь и сам смогу.

– Да-а... – уважительно протянул Дрожжин. – С прицелом живешь, молодец. Давай возьмем, а, Егор? Смысленый парень, жаль такого упустить. Помощник тебе не помешает, надо ж диски кому-то таскать.

Нефедов внимательно посмотрел на него, поскреб ногтями по давно не бритому подбородку, махнул рукой Матвею: – Иди вон к тем саням. – Поглядел вслед расторопно шагающему пареньку, тихо сказал: – Просил я тебя по дружбе, Иван, помощника мне не давать, да еще такого. А ты... Смотри, если что, твой грех будет...

Матвейка оказался парнишкой безотказным, расторопным, к любой работе пригодным и, несмотря на врожденную крестьянскую расчетливость и хозяйствен-

ность, совсем не жадным. Рядом с сумкой с двумя запасными дисками и сотней рассыпных патронов к «льюису» возил он в кошевке мешок с изрядным запасом добротного свиного сала и сухарей, и не было случая, чтобы «колдовал» он над своими сокровищами в одиночку.

Первый кусок Пузырев всегда уважительно предлагал пулеметчику. Случалось, шкалик самогонки, а то и казенки мог от братьев притащить. Егор по давней солдатской привычке от угощения никогда не отказывался. Вот и нынче утром не познавший еще вкуса спиртного Пузырев добыл для старшего товарища граммов двести бодрящей жидкости. Пулеметчики умудрились сварить на костерке подмерзшей картохи. Матвей развязал заветный мешок, и стало у Егора Нефедова тепло на душе. Еще бы войны никакой не ожидалось, и было бы вовсе хорошо.

Но война была уже рядом.

Высунувшись в очередной раз из-за укрытия – за оставшимися лишь на обратной стороне ствола не обломанными ветками, парнишка вдруг открыл от удивления рот и повернул голову к Нефедову: – Глянь, Егор. Косари, что ли, идут? Это зимой-то по снегу, в мороз? Во чудеса!

Пулеметчик осторожно поднял голову над бревном. В двух верстах от партизанских позиций огромной темно-зеленой массой жался к земле бор. Между ним и роговцами ослепительно, до рези в глазах белела снежная равнина, по которой к партизанским позициям медленно приближались неровные цепочки маленьких фигурок: черных, желтых, зеленых, и перед каждой поблескивала на солнце тоненькая полоска – винтовочный штык.

– Это, братуха, не косари, – вздохнул Нефедов, – это беляки к нам в гости идут. Давай ставить пулемет поудобнее, сейчас начнется.

– Чудно, однако, – вздохнул паренек.

– Чего тебе чудно? – удивился Егор.

– Да вот белые. Идут тыщи здоровых мужиков, и каждый меня хочет убить. А я никому из них ничего худого не сделал. Как это?

– Это ты чудной, – невольно улыбнулся Нефедов и тут же повел плечами от донимавшего его перед каждой переделкой холодного озноба. – Не убей они нас, мы их на тот свет отправим. Война.

– Все одно чудно, – шмыгнул носом Матвей. – И страшно еще, хоть до ветру беги. Сбегаю, а?

– Да замолчи ты, – цыкнул на него Нефедов. – Невтерпеж будет – в штаны пускай, тут не зазорно.

* * *

Натянувшие на себя сразу по паре шинелей либо обряженные в тяжелые длиннополые тулупы офицеры передового отряда из пригретых мест в санях выбирались крайне не охотно. Не было у них никакого желания топтать пешком по снежной степи, стрелять в красных и укрываться от ответных пуль. К тому же существовала реальная опасность уцелев в перепалке и вернувшись назад, обнаружить свое законное место занятым и сражаться теперь уже за него, поскольку остаться на дороге означало неминуемо погибнуть. Желających помочь ближнему, посадив его в свои сани, среди отступающих не было, ибо набилось в те сани народу, как сельдей в бочку. Но и двигаться дальше, не сбив вражеский заслон, тоже было нельзя.

Потому кряхтя и вспоминая поминутно всех святых, оставляли колчаковцы верных товарищей охранять транспортные средства, сбрасывали с плеч тяжелую одежду, щелкая затворами, проверяли винтовки, сбивались в кучки, чтобы покурить, а то и пропустить стаканчик перед атакой.

– Глотните самогону, ротмистр, – протянул бутылку Михаилу Киржаеву, смельчак и забулдыга, вечный подпоручик Самохвалов. – Такая знаете, прелесть, греет не хуже шустовского коньячку.

– А вот мне один знакомый доктор говорил, – вклинился в разговор прапорщик Лозовой, недавний гимназист, а потому человек всезнающий, – что водка на морозе ничуть не греет. Другое дело чай.

– Вот и пей свой чай, – презрительно хохотнул Самохвалов, – а спать ляжешь, вместо бабы куклу под бок положи.

– Я попросил бы вас, – обмороженное лицо Лозового порозовело, – вести себя подобающе офицеру и...

– Все, господа, хватит, – закашлял простужено командир авангарда Смолин, – на правом фланге наши уже пошли, рассыпайтесь в цепь и вперед. Пора, сейчас артиллерия заработает.

* * *

Это был один из немногих по-настоящему сильных боев за всю историю роговского отряда. Не ночной налет на ошалевший от полной внезапности полусонный колчаковский гарнизон из полусотни новобранцев с пьяницей унтером во главе, не удар из засады по заблудившемуся обозу, а настоящее сражение с наступающими в боевом строю многократно обстрелянными людьми. Правда, в этот раз у Рогова тоже была не сотня-другая людей, к Топкам пришли около двух тысяч в большинстве своем побывавших не в одном бою партизан, имеющих на вооружении десятки пулеметов, но сравниться по боевым качествам с наступавшими на них профессиональными вояками они, конечно, не могли.

Егор с силой ударил правой рукой по стволу дерева, затем еще и еще раз. Сбросил в снег рукавицу, часто задышал теплым воздухом на ладонь, сжимая и разжимая пальцы. Рассыпанные в ровные строчки фигурки врагов понемногу увеличивались в размерах. Нефедов услышал, как участилось дыхание лежащего рядом напарника, но взгляда от передовой цепи колчаковцев не оторвал, подумал еще: «Второй справа желтенький какой-то, наверное, полушубок новый, небось еще и хороший, барнаульский», и после этого стал думать только о том, как бы не заело на морозе пулемет. Воевать по такому холоду пулеметчиком Егору еще не приходилось, потому как поведет себя «льюис», не закапризничает ли в смертельно опасный для расчета момент, Нефедов мог только догадываться.

Облаченный в желтый, действительно барнаульский полушубок ротмистр Михаил Киржаев партизана Нефедова пока не видел вовсе. Он мерно месил ногами снег,

приближаясь понемногу к трещавшим редкими выстрелами партизанским позициям, лениво прикидывал, что красные, похоже, решили зацепиться здесь крепко, а значит дело может дойти и до штыков. Впрочем, такая перспектива ротмистра особенно не пугала. За последние два месяца, устав до предела физически, истощив душу тягостными мыслями, он вообще перестал бояться чего бы то ни было и даже о возможности близкой смерти думал вполне равнодушно – придет так придет.

Обогнув ленивые цепи, вынеслись рысью из бодро-зеленого сосняка четыре упряжки полевой батареи. Встали, замерев, ко всему привычные артиллерийские лошади, забегали расторопно вокруг орудий деловитые номера, и не успели партизаны подивиться на хорошую работу да малость поумерить пыл противника винтовочным и пулеметным огнем, как батарея дала первый залп.

Над позициями роговцев расцвели дымно-трескучими цветами четыре шрапнельных разрыва, зашлепали по сугробам сыпанувшие из белых «цветков» шрапнельные пули, замерло на вздохе сердце, и вдавившему лицу в снег Нефедову показалось, будто слышит он, как шипит вокруг, остывая после дьявольской работы, раскаленный металл.

Поднял голову, смахнул ладонью с лица снежное крошево, повернулся к напарнику и наперекор перехватившей дыхание волне страха сказал почти весело:

– Гляди, Матвейка, прямо фейерверк тебе.

Однако Матвея уже не интересовали никакие фейерверки. Упавшая с неба смерть пробила ему шрапнельной пулей голову, разлила по снегу быстро застывающую на морозе молодую кровь.

Вновь засвистало в воздухе страшным, памятным Егору еще с германской войны свистом. Нефедов вжал голову в плечи, зажмурился, но большой пользы ему это не принесло. Стукнуло тупо в спину, в серых ватных хлопьях уходящего сознания замелькали лица Вари, Маши, Оксаны, ребятишек. Промелькнул вдруг и он сам. Шел куда-то ясным осенним днем по проселочной дороге. Куда? Зачем? И все, пустота.

Минутой позже партизанская пуля нашла штабс-капитана Киржаева, вышибла его из цепи, оставив позади наступающих офицеров еще одну распластанную на снегу фигурку.

* * *

То затухая, то вновь разгораясь частой трескотней выстрелов, бой шел около суток. Затем не привыкшие к упорной борьбе партизаны дрогнули и отошли с позиций, потеряв около ста человек только убитыми. Для роговцев такие потери были огромными, потому задерживать Сахарова на новом рубеже они даже не пытались. Колчаковские сани вновь потянулись на восток. Впереди у них был сибирский «Ледяной поход», и пройти его до конца было суждено далеко не всем.

Глава первая

Счетовод маслодельного кооператива Степан Аниподистович Рыбкин всем благам на свете предпочитал тишину и покой, потому неожиданному появлению в конце сентября 1918 года в своем доме бывшего сослуживца по Мингрельскому полку обрадовался не особенно. Но добро он помнил, и тот день, когда Егор Нефедов вытащил его из обваленного взрывом блиндажа и почти две версты вел, а точнее волок под обстрелом до полкового лазарета, не забыл тоже. Потому на вопрос Егора: «Я у тебя поживу сколько-то?» ответил кратко: «Живи».

Семья у Степана Рыбкина была небольшая: жена Вера да две дочери-погодки, Маняше одиннадцать, Настюхе двенадцать, однако жил он довольно размахисто. За глухим плаха к плахе забором дом пятистенок под железной крышей, баня, надворные постройки и множество домашней птицы. Скотину Рыбкины не держали, поскольку Степан Аниподистович был человек не мужицкого пошиба, образованный и запах скотский не любил. Работу свою знал он досконально, местом дорожил, жил всегда бережливо, да еще и выпивал редко. Чтоб при таком раскладе

в Сибири хорошего хозяйства не занять, совсем уж дураком надо родиться, а Степана от такой напасти бог миловал. На войну, правда, умудрился попасть, хоть возможность имел от этого дела избавиться. Так и там не пропал: поскольку писарей в атаки офицеры посылать жалуют – убьют ненароком, а где потом человека грамотного, да еще с хорошим почерком найдешь. Не самому ж их благородию пальцы чернилами мазать – похоронки по разным губерниям отписывать.

Однако хоть был Степан, считай, все время рядом с офицерами, холуем их и доносчиком на своих братьев серошинельных не стал, сообщал мужикам, когда господа что худое против их задумывали, письмо домой отписать сослуживцу малограмотному всегда помогал. Когда за табачок, а когда и так, без всякой для себя выгоды. Не то чтобы от природы очень уж он добрый был, а просто пословицу помнил: «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Пословица эта и в тихое, мирное время, случается, сбавывает, а уж под огнем ее и вовсе забывать не резон. Степан так и делал. Потому, наверно, и живой с войны вернулся. А может быть, и повезло просто.

Кроме угла в своем доме, нашел Степан Егору и работу, помог устроиться кочегаром на мельницу, потому нахлебником своим хозяевам Нефедов не стал. Мог и с хозяином о том, что в мире происходит побеседовать, и для хозяйки скамеечку либо другую полезную для дома вещь соорудить. А похожие, словно близняшки, белобрысые долговязые и голубоглазые Маня с Настей и вовсе к постояльцу привязались, считай, каждый день ждали, когда он с работы придет да какую-нибудь историю либо сказку расскажет. Степан посмотрел раз, как Егор мишку косолапого и лису Патрикеевну изображает, и подумал: «Хорошо, девки у нас еще малые, не на выданье, а то бы точно обеим голову задурил».

В начале ноября к Рыбкиным приехали гости из деревни – тесть Степана Иван Опанасович Бачило и шустрая, говорливая, никогда не унывающая теща Прасковья Афанасьевна. Каждый год после окончания всех полевых ра-

бот ездили они попроведать двух вышедших замуж дочерей да кое-кого из прочей родни. Привозили своим горожанам много разной еды, а для торговли на базаре – овес, зипунное шерстяное полотно, отбеленный холст, другие плоды немудреного да тяжелого крестьянского труда.

Уехавшая из родительского дома сразу после свадьбы Вера Рыбкина по отцу с матерью очень скучала, каждого их приезда ждала с большим нетерпением, и хоть не сообщали они, когда это случится, день тот всегда угадывала точно. У нее и банька к их прибытию всегда была натоплена, и калачи с пирогами в русской печи, часа своего ожидая, томились, и бражка сладкая, как раз в самую пору выбродившая, в холодке стояла. Гуляли обычно Бачило в гостях дня два-три, после чего, накупив в каменных лавках подарков своей деревенской родне, с песней отбывали до дому, до хаты.

Однако в нынешнем, тысяча девятьсот восемнадцатом, году встреча прошла без песен, да и вообще была не особенно веселой. После недавних летних событий, когда занявшие город белые расстреляли в Гнилом Логу нескольких совдеповцев, а куда больше, по словам людей знающих, отправили в «вагоне смерти» на Дальний Восток, Камень так и не смог вернуться к присущей ему размеренной рабочей жизни. Правда, пока в нем еще были и работа, и хлеб, много хлеба, но вот о том, что будет завтра, не знал, похоже, никто.

– Да, выпало нам на долю времечко, какого триста лет со времен смуты великой русским людям не выпадало, – рассуждал за столом подвыпивший Степан, – тогда власть и землю друг у друга рвали, и сейчас то же самое. Красные, белые, чехи, поляки – всем мужик должен. То хлеба, то подводу, то лошадь, а то и вовсе дите под ружье отдать. Каждая власть за свободу выступает и каждая же на хлебороба уздечку покрепче накинуть норовит.

Бачило дохлебал щи, положил на стол ложку, потянул из кармана длиннополого добротного пиджака махорочный кисет. Стал вертеть сигарку. Делал он это без спешки, но не тратя лишних движений, как выполнял

всегда хоть самую пустяковую, хоть очень серьезную работу. Цигарка у него вышла ровная, гладкая, будто на фабрике катаная. Бачило посмотрел на нее, хмыкнул довольно и уже начинающую сесть черную бороду, закурил.

– Сказать по совести, власть советская много хорошего поначалу мужику сделала. Такого, что враз не забудешь. Все недоимки отменила – раз, – Иван Опанасович загнул на правой руке мизинец, – от платежей казне избавила – два. Хлебушек вот только наш ей задарма потребовался. Обещали поначалу мануфактурой за него рассчитаться, а потянули за здорово живешь. Кому такое понравится? Вот и не вступился за нее, считай, никто.

Обещал себе Егор ни в какие разговоры о политике не ввязываться, крепко обещал, да все ж не выдержал. Подвел характер в который уже раз.

– Так ведь голод же в России, – упреков взгляд в хлебную крошку на столе, тихо сказал он. – Рабочие да бабы их с детьми без хлеба сидят. Тут сам бог велел делиться. Вернули б – небось отработали. И потом, хлеба у мужика много, еще с германской остался, я знаю. Так, может, не гноить зерно, не переводить другой раз на сивуху, а людям, что в беде, отправить. А то один с голодухи помирает, а у другого и душа не заболит.

– И почему это власть потом должна рассчитываться, когда у нее все было – и деньги и мануфактура? – спокойно спросил Бачило. – И почему она, нас не спрашивая, твердую цену на хлебец поставила, решила без мужика, сколько зерно, им выращенное, стоит? Выгрести хлебушек стала, да еще расстрелами страшать тех, кто сразу не отдавал. Ты, парень, как я думаю, сам хлеб не растил и цены ему настоящей не знаешь, потому так легко его и раздавать берешься. А поделиться с голодными никто не отказывался, и сейчас не отказывается, только надо по-людски к этому делу подходить, не из-под винтовки, в общем. Что до самосидки, то тут, конечно, правда твоя, хоть и сам ты, как я погляжу, не шибко от нее нос воротить. На нее много зерна переводится. Так и то, живем последнее время как в потемках, не зная, что с нами завтра будет. Душа у мужика,

понятное дело, не на месте, как тут не выпить, не потешить ее малость.

– Давайте тогда и выпьем, и потешим, – вздохнул Рыбкин. Взял со стола литровый штоф с первачом и налил всем по полной. За столом к тому времени остались одни мужики, Вера с Прасковьей Афанасьевной давно ушли в другую комнату судачить о своем, куда более важном для них. Степан, проследив за тем, чтобы гости выпили до дна и не забыли закусить, мелкими глотками осушил свой стакан, аппетитно похрустел соленым огурчиком, вытер руки о расшитый украинский рушник и взял с прибитой над столом аккуратной полочки такую же аккуратную стопочку газет:

– Раз про самосидку заговорили, я вам по этому поводу кое-что прочитаю.

– Вот читать любитель, – усмехнулся Иван Опанасович, однако по глазам его было видно, что к увлечению зятя он относится одобрительно и считает его весьма полезным. – Шибко грамотный он у нас, чуть что, сразу за газету або за книжку. Ну читай, читай, не хмурься. Не видишь, я шуткую.

– Газетка эта, «Алтайский крестьянин», очень даже полезная, – серьезно посмотрел на тестя не терпевший неуважительного отношения к печатному слову Степан. – Тут каждый может для себя много интересного, и даже по хозяйству полезного, найти. Где то, что я хотел-то? Ага, слушайте. Называется «Торжество самогонки в селе Поспелиха Змеиногорского уезда». Газетка уже старенькая, еще начала года, но весьма интересная. Она и при Временном правительстве выходила, и при большевиках, и сейчас выходит – Рыбкин откашлялся, четко выговаривая каждое слово, принялся читать:

«21 января 1918 года было у нас сельское народное собрание, где было зачитано воззвание от змеиногорского уездного комиссара о прекращении курения самосидки, каковой в Поспелихе с осени река течет, более чем нынешний Алей, и пьянство со всеми последствиями наводит ужас на сознательных граждан. В последнее время часто

происходят ссоры, драки и нередко грабежи; а самое главное – это уничтожение хлеба в таком количестве, что со-вестно и говорить. Уже сколько раз возбуждался вопрос об искоренении этого пагубного и убийственного зелья. 21 января затронутый вопрос не был заглушен. Председатель народного собрания не желал, чтобы заведенная у него закваска пропала бесполезно. К тому же тут присутствовал старший сельский милиционер – первый специалист по выработке самосидки и ее крупный производитель».

– Вот бисовы же сыны, – перебил зятя внимательно слушавший чтение Иван Опанасович, – и у нас милиционер первый на деревне самогонщик. И такой, знаешь, специалист, такого первача, как у него, ни у кого не найдешь. Он и сам выпить не дурак, да еще и до баб-солдаток большой охотник. Как-то...

– Не перебивайте, батя, потом о своем милиционере расскажете.

– Хорошо, хорошо, – охотно согласился Бачило. – Давай дальше.

Степан продолжал:

– «Когда коснулись этого вопроса, сразу поднялся шум, гам, в котором невозможно было расслышать, кто кричит: «У меня не докончена свадьба», другой кричит: «У меня заведенная закваска, что я, виноват, что ли, что я не успел выгнать? По-вашему, чтоб я вылил на пол шесть пудов муки! Нет, я не согласен». Третий кричит: «Я привез на сто рублей из чужой деревни, и что же, я должен все это вылить? Я не желаю, чтоб мое добро какой-нибудь буржуй за пять рублей насильно отобрал, я лучше перегоню на самосидку и получу за пуд-то 30 рублей. Что хотите делайте, а мы на это не согласны».

Приступили к голосованию поднятием рук, но самогонщики прибегли к нахальству. Желающие прекратить выгонку подняли руки, а также подняли и не желающие, но последние, подняв руки, кричали из всей силы: «Гнать, гнать!» – и тем самым не дали сделать подсчет рук. Иные говорили, что самогонщикам вовсе не следует продавать хлеба. Но большинство находили, что без самогонки

не обойтись, много-де свадеб, да и вообще, мол, тогда и горе забудешь, когда выпьешь».

Степан отложил в сторонку газеты, протянул руку к бутылке:

– Видите, батя, все точно по-вашему: выпьешь так и горе забудешь.

– Я про то, что выпить не грех. Главное – ума при этом не пропивать и добро на ветер не пускать, как те, что по шесть пудов хлеба на самогонку переводят, когда народ голодает.

– Недавно вот собирали кооператоров в уездной управе и читали там им бумагу от Временного Сибирского правительства о том, что оно принимает все меры для заготовок продовольствия для голодающей России. – Обглядывая куриную ножку, продолжил беседу Степан Аниподистович. – Мешает, мол, отсутствие денежных знаков, чтобы платить за закупки, потому как большевики расхитили все денежки, когда от чехов бежали, а отправка того продовольствия, что есть, задерживается потому, что советская власть ведет войну на железке. Они же готовы с большевиками договориться, чтоб хлеб в Россию в обмен на товары разные отправлять.

– Для красного словца сказано, – перебил зятя Иван Опанасович. – Как они через войну хлеб туда отправят? К нам на днях в деревню Прокоп Харитонов из германского плена вернулся. Через всю Расею где проехал, а где и прошел. По нему давно уж панихиду отслужили, выпили на помин души, а он, оказывается, на такого же, как он, только немецкого крестьянина задарма спину гнул. Но, видать, хоть работал и задарма, кормежка была хорошая, потому как морда у него стала как тарелка круглая, а была как огурец. Здоровый весь, только вместо одного глаза стекляшка. Немцы, когда его в плен брали, настоящий глаз прикладом невзначай выбили, а потом стеклянный за германский же счет вставили. Но добре сделано, одно слово за граница, пожалуй, даже покрасившее, чем у Прокопа настоящий. Прокоп тот не журится, говорит: «Я врагов народных и одним глазом увижу, а как увижу...».

– Ну ладно, батя, – вежливо остановил разговорившегося тестя Степан. – Про чудесный глаз этот потом как-нибудь доскажете. Что он про дела-то в России рассказывает, Прокоп ваш?

– Да ничего хорошего, – недовольно взглянул на зятя Бачило. – От Москвы до самого Урала идут бои красных с белыми и чеховскими войсками. В России страшный голод, тыщи людей мрут без еды, поели уже весь скот, собак с кошками – и тех поели. Да к голоду в придачу тиф людей косит. Верховодят всем у красных больше евреи, главный их, Ленин, издал вроде приказ своим войскам во что бы то ни стало взять Урал и выгнать белых из Сибири. Красные мужиков в свою армию мобилизуют и белые то же самое, красные хлебушек задарма гребут-реквизируют, и белые от них шибко не отстают. Друг друга не жалеют ровно звери какие, губят народ почему зря. Большевики и просто кто придется, попов и интеллигенцию всякую, под корень уничтожают, белые – большевиков. Много, говорит Прокоп, страху я на войне повидал, но такого не приходилось.

Степан с Егором молча слушали рассказ Ивана Опанасовича, и даже Прасковья Афанасьевна с Верой, до того оживленно судачившие, примолкли, прислушиваясь в открытую дверь к тому, что говорит Бачило, и стараясь не пропустить ни слова.

– Кругом неразбериха, – продолжал Иван Опанасович, – нигде никакого порядка, люди злые, как псы, все ругаются, сквернословят, солдаты стреляют друг в друга. Словом, ни бога, ни царя, одна свобода. Красную армию ведет какой-то бывший полковник, поляк, по фамилии, вроде Тухачинский, а по красным фронтам ездит с агитацией главный из евреев – Троцкий. К лету, говорят красные, будем за Уралом и всех кадетов из Сибири железной метелкой выметем, буржуйам и кулачью кишки выпустим.

– Хорошо бы, коли так выйдет, – вздохнул Егор, – большевики германскую войну прикончили и эту прикончат. А когда мир наступит в России, так и голод из нее уйдет. Хозяином будет тот, кто работает. И очень даже просто.

– Ну прямо как на митинге сыпет, – резко сплюнул под стол Степан. – Это они обещают только, твои большевики. Как говорится, мягко стелят, а вот как почивать придется, это, товарищ Нефедов, большой вопрос. Им голодных в России кормить времени нету, им надо пожар мировой революции раздуть. Пока их власть тут была, я к тем, кто ими верховодил, внимательно прислушивался и очень хорошо понял, что от них сибирскому мужику никакого добра не будет. Это они только купца Винокурова успели контрибуцией обложить, попросту говоря, ограбить, а коли вернуться, многих черед придет. Я сам шесть лет как с России приехал, и потом там бывал, и знаю, как расейский мужик живет, в иных волостях голытьба на голытьбе. По их меркам под кулака чуть ли ни каждый сибирский хлебороб подойдет. Вот с него-то они и потянут на свою идею, – пристукнул кулаком по столу Рыбкин. – И очень даже просто. Чего им чужое жалеть, когда своего нет. У тебя вот тоже на сегодняшний день ни кола ни двора не имеется, потому и поешь их песню. А вот, дай бог, обзаведешься добром, сразу другую затынешь.

– У фабричного с мужиком завсегда песенки разные будут, – махнул рукой Бачило, – мужику земляца мать, а тому – машина. Крестьянин Бога почитает, от его помощи урожая хорошего ждет, а пролетарий – этот от железки бездушной. Где она стоит, там ему и родина.

Егор поморщился, но промолчал.

Хозяйка давно уже уложила спать детей в дальней комнате. Утомленная долгим днем и дорогой, примостилась рядом с внучками на разостланной прямо на полу перине и Прасковья Афанасьевна. Вера завела в ведерной деревянной посудине дрожжевое тесто на хлеб, уже два раза поднималась перемешать его, а мужики все не могли закончить свой непростой разговор. Горела на столе пятилинейная лампа – на керосине любящий читать Степан не экономил, плавал в воздухе махорочный дым, а вместе с ним безответный вопрос: «Что дальше-то?».

– Ну, нынешняя власть тоже не больно-то хороша, – примирительно заговорил Бачило. – Эти таких богачей,

как Винокуров, Хомутов или Чагин, не трогают, напротив, к ним они с большим почтением, а вот мужика не шибко-то жалуют. Недоимки, что еще с четырнадцатого года у мужиков остались, теперь уже не в цареву, а в свою казну требуют. Старые налоги и подати в казну тоже восстановили. Хочешь – отдавай, не хочешь выпорют, после все одно отдашь. Видано ль дело, взрослого мужика как парнишку сопливого при всем народе по голому задку хлестать. Ра-сейским оно, может, и ничего, а мы от такого дела давно поотвыкли и привыкать не будем, – при этих словах в глазах Ивана Опанасовича блеснул недобрый огонек. – Взялись полушубки, валенки, другие теплые вещи для своей армии, на хрен бы она нам нужна была, по селам собирать, лошадей для нее же сдавать требуют, да только пока никто не торопится. В волость милиции на подкрепление взвод солдат с прапорщиком прислали. Живут весело. Вечеринки с попойками устраивают, баб гулящих да солдаток со всего села к себе тащат. А главное, – Бачило закашлялся, вытер выступившие на глаза слезы, – главное – опять молодежь на войну гребут, будто мало германская народу выкосила. Так там хоть с немцем-супостатом воевать требовали, а тут со своим братом кацапом да хохлом. Вон в Славгороде и местностях, что к нему близко, говорят, воспротивились мужики мобилизации, восстание даже подняли, так их какой-то Анненков – атаман со своим войском, считай, всех под корень вырубил.

– Да может, это и слухи еще, может, это большевики и придумали, чтобы народ новой властью пострадать? Кто-то знает, кто видел? – засыпал тестя вопросами возбужденный непростым разговором, не меньше чем крепчайшим самогоном, Степан.

– Я, – тихо сказал Егор, – я знаю, я видел.

– Да что ты видел-то? – не унимался Рыбкин.

– Людей видел мертвых, которым казачки уши да носы пообрезали, глаза выкололи да прямо на дороге проселочной и бросили. А казачков тех это Временное Сибирское правительство и послало, больше-то некому.

– Значит, правда, – раздельно вымолвил Иван Опанасович, повел из стороны в сторону шеей, расстегнул пуговицу на косоворотке и в очередной раз полез в карман за табаком. – Вот, значит, чего от них ждать.

– Насыпьте и мне на закрутку, коли не жалко, – попросил Нефедов.

Молча покурили. Степан Рыбкин взял со стола штоф, принялся разливать самогон по стаканам.

– Чего ждать, чего ждать, – он поставил бутылку на стол, достал из кармана чистый носовой платок, вытер неожиданно повлажневшие руки. – А от кого сейчас чего хорошего ждать, от какой власти? Я вон у конторщика брал книжку почитать о французской революции, что сто с лишним лет тому назад была. Кровавая это штука – революция, в ней добрых не бывает, хоть у тех, хоть у этих. Вот и они там тоже реки крови пролили, огромное число французских граждан загубили, а покончили тем, что опять короля править страной поставили. Может, и у нас так будет, на круги своя все вернется.

– Ну, они, может, и посадили, а мы без своего точно управимся, – твердо сказал Егор. – Хватит ему, полил кровушки людской на своей войне. И без него, и без слуг его обойдемся, что по сей день над людьми измываются, все им горя людского мало.

– Ладно, – хлопнул ладонью по столу Иван Опанасович, – покалякали и хватит. Как оно там дальше выйдет, все одно без нас решать будут: комиссары – по-своему, генералы – по-своему. Только паны-то, хоть одни, хоть другие, соберут, коль их дело не выйдет, чемоданы да поедут в теплые края. А нам куда от земли, хозяйства? Потому жить нам между собой надо по совести, хоть какая там власть от бога выйдет. Штука вроде не шибко мудреная, да вот что-то не каждый ее понимает. Так что давайте за то и выпьем, чтоб, значит, друг друга понимать, – Бачило поднял свой стакан. – Да и спать пойдем, а то у нас что-то разговор не шибко веселый получается.

Спать мужики тоже улеглись на полу, плечо в плечо, укрывшись рядом. Егор со Степаном по краям, Иван

Опанасович посередине. Приснились Нефедову Маша, Варя, мать его Авдотья Ильинична, безвременно умершая, ехали они куда-то все вместе нарядные и веселые. А еще матрос Мишуков приснился. Сидел Володя летним днем на берегу речки в одних подштанниках, ел спелую вишню. Протянул он и Егору свой кулечек, и показалось тому, будто крупные ягоды эти не соком а кровью налиты, чуть надави – во все стороны брызнет. Испугался Егор, шатнулся от матроса назад, рукой замахал и... проснулся.

Варя с Прасковьей Афанасьевной на столе у русской печи раскатывали большие лепешки из подошедшего теста на калачи да пироги с рыбой, картошкой и грибами. Переговаривались потихоньку, обсуждая, какие гостинцы надо будет прикупить Прасковье Афанасьевне деревенской родне и близким знакомым, сетовали, что против довоенного времени выбор товара в каменных лавках стал поскуднее и, пожалуй, многое из того, что Афанасьевне наказали купить в городе ее подружки и соседки, приобрести не удастся.

Егор попросил у хозяйки огуречного рассола, умылся холодной водой, вспомнил хорошенько ночной разговор и решил из дома Степана уйти. В то, что Рыбкин может донести о его сочувствии большевикам, он не верил, но уйти все же решил при первом удобном случае.

И случай этот не заставил себя долго ждать.

* * *

Заработок Нефедова был небольшим, правда, на хлеб с табаком да когда-никогда на бутылочку вполне хватало. Но для того чтобы снять угол, все же требовался заработок. Однако искать его Егору особенно не требовалось. На купеческой мельнице, где работал он кочегаром, часто требовались люди для разгрузки барж с дровами. Работа эта была довольно тяжелой, желающим получить лишнюю копейку каменцам приходилось таскать на двух полках-носилках или просто на плечах бревна двухаршинной длины и складывать их в большие поленницы. Даже Нефедову, парню от природы крепкому и выносливому,

поначалу было трудновато, а между тем среди трудившихся на разгрузке деревянных барж было немало женщин.

Среди них цепкий взгляд Егора сразу же выделил нескольких, разумеется, самых привлекательных. Но особенно понравилась ему одна – легкая в движениях годов тридцати хохлушка. Смуглое овальное личико с маленьким вздернутым кверху носиком, черные южные глаза, легко угадывающаяся даже под длинной серой юбкой и неуклюжей ватной кофтой ладная фигура. «Да это же Варька, – охнул про себя Егор, увидев ее в первый раз. – К тридцати годкам, как состарится, она точь-в-точь как эта бабенка будет. Хотя что значит «состарится», – усмехнулся он, незаметно посмотрев на чернявую еще раз. – Такие, как они, и в пятьдесят, наверное, для многих лакомым кусочком останутся».

Подумав так, Егор два раза длинно вздохнул и торопливо присел на бревно, чтобы немного успокоиться самому. «Да, – вздохнул он в третий раз, – есть же на свете такие вещи, что только безглазый и не увидит. А люди мимо проходят, не видят ничего».

Однако зоркие глаза имелись не у одного Егора Нефедова, и потому, наверное, подымаясь с бревна, поймал он на себе пристальный взгляд приглянувшейся ему женщины. Подумал, не давая разгораться убогой надежде, что это, вероятно, случайность, но когда взглянул еще раз туда, где работали женщины, будто ожегся о черные угольки глаз. Себя Нефедов знал очень хорошо, потому понял сразу: «Все, капут пареньку».

Стал Егор бриться каждое утро, сапоги в починку сносил, да и чистить их больше не забывал, одежду подлатал, как мог привел в порядок. Правда с теплой одеждой было у него плоховато, но тут вновь выручил Степан – уговорил Егора взять у него перешитую из шинели теплую войлочную куртку да такую же серую солдатскую папаху с белым овальным пятнышком от сорванной кокарды. Так и то – октябрь на дворе, зима, можно сказать, уже не завтра, а прямо после обеда начнется.

Форма Нефедову шла, знал он это еще со срочной службы, потому шансы свои на победу оценивал довольно высоко, но вот сделать первый шаг к этой самой победе все никак не решался. Ведь, несмотря на всю свою общительность и даже некоторую боевитость, был Егор по отношению к женщинам необычно для рабочего парня деликатен, и сделать первый шаг, просто предложить познакомиться было для него делом совсем не простым. И его стремительное знакомство, а затем такое же стремительное сближение с Варей Онопко оставалось для самого Егора удивительным и загадочным. Повторить еще раз свой летний опыт он, прямо скажем, побаивался. А вдруг просто показалось ему, что поглянул он этой черноглазой бабенке? Подойдешь, а она посмеется только да еще, глядишь, и другим бабам расскажет, как к ней заезжий ферт со знакомством подсыпался. «Может, она вовсе замужем, – мучал себя думками Нефедов. – А мужик, скажем, в отъезде или вовсе хворый. Нет, ну его лучше к бису, это дело». Но так легко «это дело» к «бису» не отправлялось, и теперь практически каждое утро просыпался он в полной «боевой готовности», которую остужал холодной водой да напряженной работой.

Очень скоро ему удалось скопить достаточно денег, чтобы уйти из дома Степана и снять свой угол, но неожиданно вышло так, что угол этот Егору не потребовался. Уже ударили первые морозы, работы по разгрузке дров не стало, и Егор после своей смены стал все чаще задерживаться в кочегарке, где по зимнему времени собирались порой мужики посудачить о том о сем, вспомнить былое, распить иногда бутылочку-другую. Одемократившийся после 17-го года хозяин этому особо не препятствовал и даже разрешил Нефедову там ночевать, тем более что шумагама, а тем более скандала или драки в кочегарке никогда не случалось.

В один из стылых уже предзимних вечеров, когда смена Егора подходила к концу, собралось их в кочегарке трое. Все бывшие фронтовики, в досталь наевшиеся войны империалистической, а потому готовые от новой, в этот

раз именуемой гражданской, бежать хоть на край света. Самой популярной политической программой в стенах кочегарки была следующая – какая власть в армию не призывает, воевать не гонит, та самая подходящая и есть. Однако о такой замечательной власти недавним окопникам приходилось только мечтать.

– Гребут беляки в свою армию молодых ребят ровно метелкой, а вот фронтовикам оружие давать пока опасаются, – говорил, попыхивая сигаркой напарник Нефедова бывший драгунский виц-унтер-офицер Иван Некрасов. – Оно, по-ихнему, и правильно. Сопляки – те как тесто: попадут к хорошим унтерам старой закалки, те из них для любой власти бессловесную скотинку-защитницу выкуют. А с фронтовиками разговор другой, у них винтовки в любое время могут в обратную сторону повернуться. На кой это белякам да Антанте ихней? Но, думаю, – он еще раз глубоко затянулся и бросил окурок в жарко дышащую топку кочегарки, – погребут они в скором времени и нас. Войну-то их новый командующий, Колчак вроде, с большевиками расейскими задумал нешуточную, на нее мяса человеческого много потребуется. Оно тоже понятно, они ему покоя в Сибири не дадут, да и ему наших краев мало – Москву подавай. Так что, – хлопнул он по плечу сидящего рядом Егора, – готовься, Егорша, по-новой амуничку одевать. Это вон Тимохе хорошо, он-то до конца дней отвоевался.

– Да, – вдохнул потерявший в Карпатах правую руку Тимофей Лепота и почесал уцелевшей левой длинный сизеватого оттенка нос. – Все никак люди не навоюются, не опротивит им это дело. Хотя помню, когда германская началась, я шибко и не огорчился, пойду, думаю, в солдаты, хоть погляжу, как в Европах люди живут. Говорили-то, что через месяц в Берлине будем. А там пива хоть залейся и немки сдобные – втроем не обхватишь. Чем не жисть, – Тимофей расстегнул уцелевшей рукой шитую из шерстяного зипунного полотна куртку, сдвинул на затылок старенькую заячью шапку. – Да и у нас тут, по окопным меркам, тоже неплохо. Тихо, тепло, даже выпить малость есть. Давай, Иван, наливай, пока наша самосидка не прокисла.

Выпив, Тимофей с видимым удовольствием сморщился, потряс головой и, занюхав сначала кусочком очищенной луковицы, а затем корочкой хлеба, вернулся к воспоминаниям:

– Хорошо день помню, когда в Камне войну объявили. Жара была, духота, лето в четырнадцатом году вообще засушливое выдалось И вот зазвонили в селе – городом-то Камень, говорят, через год после того объявили, – колокола. Сначала на старой церкви, а потом и на недавно построенной. Там звонарь бухал в них так, будто пьяным напился, не поймешь, зачем звонит и для чего, лупит все через пень-колоду. Гудки на мельницах загудели и на заводе металлическом. Народ на площадь быстро сбегался, поскольку такого шума в нашем селении до того не наблюдалось. Вышел поп из церкви – тишина стоит, шептуна пусти – и то слышно будет. Ну что, говорит, напал на Расею немец, надо идти защищать царя и Отечество от коварного врага. Пошли, куда деваться. Но опять же и в охотку многие, такие же, как и я, дураки.

Лепота сплюнул на пол, принялся одной рукой ладить самокрутку.

– Дай сюда, не майся, – забрал у него кисет с махоркой Иван. Ловко, привычными движениями изладил цигарку, выкатил кочергой уголек из топки, оперся рукой о стол и, изогнувшись в кошачьем движении, прикурил самокрутку у самого пола.

– На, Тимоха, кури.

– Здорово! – восхищенно хлопнул себя рукой по колену Лепота.

– Кавалерия, что ты хочешь, – довольно ответил раскрасневшийся Некрасов.

Тимофей затянулся пару раз махорочным дымком, в очередной раз сплюнул на пол:

– Приятель у меня был тогда в Камне, писарь личный самого купца Чагина. Пишет мне на войну: купцы на поставках для фронта растут-богатеют как опара на дрожжах. У людей горе, там мать без сына осталась, тут жена без мужа, а они знай себе кутежи один больше другого за-

катывают. Водки, коньяку, закусок всяких навалом. До того дошли, что потаскух местных да со стороны завезенных в ваннах с шампанским купают.

А я ему, соответственно, отвечаю, что у нас на фронте тоже ничего дела. Правда, снарядов маловато – мы германцу один, он нам десяток – и с патронами такая же петрушка, зато прислали для всех штампованные иконки на шею, и о душе теперь можно не заботиться. Как вышибет ее немецким снарядом, так и полетит она прямым ходом к богу в рай. Пару деньков прошло, как письмишко я то отправил, слышу, кличут к ротному, поручику Кармановскому. Поручик этот давненько уже нами к тому времени командовал, его не то что других наших ротных, долго почему-то не убивало и не ранило.

В общем, солдат своих он всех знал и меня тоже. Ну, пошел, конечно, доложил о прибытии. Богдан Казимирович сидят, чай пьют и книжечку почитывают. Посмотрел на меня долго так сквозь свои стеклышки, словно дохтур на козьявку диковинную. Он на всех нас так смотрел, – пояснил Тимофей. – Но вот чтобы солдату по морде дать, это у него редко случалось и то по делу, врать не буду. Посмотрел, значит, и говорит: «Вижу я, Лепота, что ты шибко грамотный солдат и такие письма складные пишешь, что если тебе, скажем, в зубы сейчас дать, то ума уже больше у тебя не прибавится. Поскольку некуда ему, наверное, уже прибавляться». – «Так точно, – отвечаю, – ваше благородие. Пожалуй, что уже и некуда». – «В таком случае, – говорит, – пошел вон отсюда, да смотри не забудь, что воспитательную работу среди тебя я провел».

Смеялись все, в том числе и сам Тимофей. Когда отсмеялись, Некрасов взял со стола бутылку и, побулькав оставшейся в ней жидкостью, огорченно сказал:

– Да, негусто у нас боевого припасу осталось. – И тут же улыбнулся: – Ничего, гроши есть, докупим. Хуже, когда и деньги есть, а купить негде. При таком раскладе иной раз шибко интересные штуки получают. Я ведь тоже германскую с первых дней ломал, а вот запомнил больше

всего, как мы на нее провожались. Поскольку такое дело и захочешь, так не забудешь.

– Расскажи, – попросил охочий до интересных историй Егор.

– А чо, расскажу, время имеется, – Иван уселся поудобнее, почесал голову, начал свое повествование. – Призвали меня еще до войны, как только мобилизацию объявили, и отправили в Барнаул на медицинское обследование. Дело это там было бестолково налажено, и скопилось в городе мобилизованных тыщ двадцать, наверное. Да еще родни и друзей столько понаехало солдатиков на войну провожать, что в центре Барнаула между телегами было не протолкнуться. Чуть не неделю на улице прожили, начали уже дуреть от безделья, а тут еще вся выпивка, как вот сейчас, закончилась. Ехать в окопы на трезвую голову совсем дело грустное, кинулись по лавкам, а в них нет ничего. Власти городские запретили спиртным торговать, – звучно хлопнул себя ладонями по ляжкам Некрасов, – ну натурально олухи! Надо ж было подумать, что мужики не на ярмарку, а, считай, на смерть едут и при таком случае могут от обиды не только барнаульского голову, но и самого царя-батюшку по матушке послать, сами взять, что им потребно.

Считай, тут же и началось. Стали мы громить винные лавки, водку дармовую без меры пить да городских бить. Разгулялись не на шутку. Один большущий винный склад, помню, как на войне, штурмом брали. Полиция солдат на подмогу вызвала, так их капитана так в толпе помяли, что он кричит солдатам: «Пойдем отсюда, ребята, с этими нам не справиться!».

Захватили склад, а там спирту в бочках – хоть залейся. Умные-то люди посуду с собой имели, а мы с землячком одним Васькой Филоновым как на грех с пустыми руками. Но сообразили быстро, снимали сапоги да в каждый литра по три, наверное, спиртяги залили. Свое добро оно всегда в горло пролезет.

Выбрались наверх из подвала, а там сельчане наши – дядька Васькин Степан Алексеич да кумовья его Иван и

Митрофан. Руками машут, орут: «Вот это по-нашему, помолодецки, такие-то хлопцы и немца враз в гроб загонят! Ура!». Тут дядька Митрофан как махнет с сивой головы шапку о землю: «Эх! Одни за Расею воевать идут, а другие дома на перинках жировать будут да жареные котлеты есть. Где ж она, правда-то? Пошли красного петуха хоть одним кровососам подпустим. Тут как раз недалеко. Вам все одно на войну топать, потому бояться нечего». Пошли мы с Васькой за ними, нам тогда все равно было чем заняться, лишь бы дело было веселое.

Мужики по дороге наш спирт встречным-поперечным прямо в руки да картузы наливают: «Топай с нами! Пей за Расею-матушку!». А нам с Васькой за нее и не жалко. К лавке маслодельной нас уже человек двадцать подошло, кумовья орут: «Бей – жги!». Я крепко тогда пьяный был, но рассмотрел, что они-то трое тверезые совсем, хоть и шатаются, и бутыль керосину у них с собой будто по случаю. Ну запалили лавку, мешать никто не пробовал, побоялись, видать.

Потом уже, когда с фронта пришел, дознался я у Василия – он еще раньше газами травленный из окопов вернулся, что у дядьки его и кумовьев тех долги были перед кооперативом маслодельным, вот они и решили лавку под шумок подпалить, где их закладные хранились. В тот день в Барнауле много пожаров было, в складе, где мы спирт в сапоги наливали, несколько человек в огне погибли. Так что среди большого дыму наш маленький легко потерялся.

Иван замолчал, принялся разливать по стаканам остатки самогона.

– Ну а дальше-то что? – спросил нешуточно увлекшийся рассказом Егор. Тимофей слушал молча, ковырял в зубах отщипнутой от полешка щепочкой.

– Дальше ничего хитрого. Пошел слух, что казачки едут из Новониколаевска нас усмирять, и все сразу успокоилось, – хохотнул Иван. – Ну а тут и пароходы с поездами стали в Барнаул за мобилизованными прибывать, и поехали мы в окопы на защиту царя и Отечества.

Некрасов поднял стакан, посмотрел с улыбкой на товарищей:

– Ну что? Выпьем за то, что живыми остались?

Егор с Тимофеем тоже подняли свои стаканы, но тут за спиной Нефедова с тихим скрипом открылась дверь кочегарки. Егор повернулся и увидел в узкой прорези закрывающего почти все лицо платка знакомо обжигающие черные глаза. Нефедов привстал с табуретки со стаканом в руке и довольно глупой улыбкой на лице, но женщина быстро отступила назад и захлопнула за собой дверь.

Бывший ефрейтор действовал по-фронтальному решительно:

– Я сейчас, – бросил он ничего не понявшим товарищам, сорвал с гвоздя куртку и, на ходу цепляя на голову папаху, выскочил за дверь.

– погоди! – крикнул он вслед быстро теряющейся в полумраке женской фигуре. – Да погоди же!

Догнал ее в несколько прыжков, цепко схватив за рукав, остановил:

– Не уходи, – от волнения Нефедов даже взмок малость, – я и так по тебе который день маюсь, а уйдешь, сейчас совсем изойду.

Женщина резко повернулась к Егору, но глаз не подняла.

– Ладно, только теперь сам приходи, – голос ее был немного грубее Вариного, но такой же певучий. – Знаешь, где хата моя?

– Да успел уж разведать, – признался Егор.

– Ну вот и приходи.

Вернувшись в кочегарку, ефрейтор быстро проводил не потребовавших никаких объяснений товарищей, стараясь не суетиться, стал готовиться к свиданию. Нагрел воды, тщательно побрился, надел давно заготовленную к этому моменту выстиранную и даже выглаженную гимнастерку. Прикрепил к ней добытые из тряпочки наградные кресты. Больше ему пофасонить было нечем, но, судя по всему, особо это и не требовалось. Покурил на дорожку, подпоясал ремнем куртку. Пошел.

Домик у хохлушки был совсем небольшой, в одну комнату, половину которой занимала большая русская печь. С вершины ее на Егора смотрели сразу две пары уже знакомых Нефедову черных глаз. Только размерами они были немного поменьше. Заметив, что обнаружены, глаза эти моментально нырнули в темноту, из которой тут же донесли быстрый шепот и короткие сдавленные смешки. Впрочем, в тот момент ефрейтору было не до них.

– Проходите до хаты, Егор, шо у двери стоять? – сказала ему из глубины комнаты сидевшая за небогато накрытым столом хозяйка. Егор впервые увидел ее без грубой рабочей одежды, простоволосую, в простеньком, уже довольно ношеном, но очень идущем ей светлом платье. Длинная коса змеей струилась по смуглой открытой шее, спускалась к тонкому пояску платья, словно черная река, между двух аккуратных полукруглых холмиков.

При взгляде на них у Нефедова перехватило дыхание. Он закашлялся, покраснел, принялся мять в руках ко всякому обращению приученную солдатскую папаху. «Сколько баб уже в жизни было, и каждый раз будто у пациента беспорточного сердечко прыгает да морда соком наливается», – злился на себя он.

Помогла хозяйка. Подошла, взяла из рук шапку, приняла торопливо сдернутую Егором куртку, проводила гостя к столу. Сама села напротив и, подперев маленькой ладошкой подбородок, посмотрела напускно-строго:

– Расскажить хоть, звидки к нам в Камень прийшлы?

– А как, простите, вас звать-величать? – принимая правила игры, деловито поинтересовался уже выровнявший дыхание Нефедов.

– Оксана Карповна.

– Я, Оксана Карповна, солдат фронтовой, живу без крыши над головой, шинелкой накрываюсь, росой умываюсь. Есть хлебушек – поем, а нет – так и дымком махорочным сыт буду. Лечу как бабочка на свет да на тепло, где лучше обогреют, там и присяду. У вас, как я погляжу, и печка большая, и топите вы ее хорошо, значит место по всем статьям подходящее.

Смешливая, как и все украинки, Оксана по-детски прыснула в кулачок и тут же вновь напустила на лицо строгое выражение:

– Надолго ли к нам прибыли?

– Да выходит, пожалуй, что и надолго, – перестал балагурить Егор. – Туда, где раньше был, мне дорожка пока заказана.

– А вы, – смуглое лицо Оксаны неожиданно покрылось румянцем, взгляд уперся в черное ночное окно, – вы не хотели бы на это время жениться?

– Я вообще-то... Если на время... – не ожидавший столь стремительного оборота дела, Нефедов был немало удивлен и растерян. – На ком надо-то?

– Да на мне! – звонко крикнула Оксана Карповна и даже ногой под столом притопнула. – Пид землю я должна вид стыда провалиться, шоб тебе, кацап противный, це объяснить?

– Вот теперь понятно, – кивнул головой Егор, – а то кацап. – Он пришел в себя и теперь просто любовался разгорячившейся и оттого ставшей еще желаннее хохлушкой. – Только так ведь дела не делаются. Вы сначала баньку мне истопите, чарку налейте, вечерять за стол посадите, а уж тогда и о таком серьезном деле можно было б посудачить.

– Баня в огороде стоит, только шо топлена, – улыбнулась Оксана. – Иди, коли хочеш, а я позже приду, погляжу, не трэба ли тебе чого. Смотри не злякайся, як увидишь.

– Да мы пострашнее штуки видали, – бойко ответил Нефедов и тут же понял, что в этот раз брякнул глупость. Быстренько поднялся с лавки и пошел к двери.

Баня оказалась неожиданно добротной. Небольшой предбанничек с десятком веников на стене и довольно просторная парилка-мыльня Егору понравились. Он уважительно покачал головой, снял с головы папаху, положил на лавку в предбаннике куртку, стянул сапоги. Разделся до подштанников, а дальше все ж таки не решился. Хоть и был он уверен, что все будет, и гуляла по всему телу давно знакомая и в то же время словно впервые ощущаемая им дрожь, кальсоны Нефедов снимать не стал, по-

сколько без них всегда чувствовал себя каким-то беспомощным. До поры до времени, конечно.

Егор, сам не зная зачем, бросил пару полешек на пухнувшие жаром угли в печи, прошел в парную. Прикрыл за собой неплотно дверь, уселся на широкий полок, стал ждать ее. И она пришла.

Нефедов услышал, как Оксана стукнула дверью, а затем нескончаемо долго доносился к нему из предбанника дразнящий воображение легкий шорох. Открылась дверь парилки. В белой нижней рубашке, босая и просто-волосая женщина была до того соблазнительна, что Егор еле сдержал себя, дабы не соскочить с полка и не повалить ее на пол.

Она мгновенно почувствовала это и победно улыбнулась:

– Ты чего не моешься-то, навреди хотив?

Нефедов молчал.

– Ну подвинься тогда, рядом сяду.

Она опустила на полку, повернувшись к мужчине, провела рукой по его голове, взъерошила волосы:

– Шо роблю-то, а?.. Зовсим баба с глузду зъихала. Столько одна была, думаешь, мало хотели? А нынче уси ночи очей не смыкаю, думаю, да коли ж вин прийде мени обнимет, к себе прижмет, – она сжала между пальцами белокурые волосы ефрейтора, с тоской и вызовом взглянула ему в глаза: – Когда обнимешь-то, москаль проклятуций?

Овладев женщиной, Егор успел сделать лишь несколько движений, как Оксану ударило крупной дрожью. Она обхватила его за спину и так впиалась ногтями в кожу, что Нефедов даже вскрикнул от боли. Ее напряженное, как туго натянутая струна, тело несколько раз содрогнулось, а затем словно расплылось по полку, стало мягким и податливым.

– Ох, – вздохнула женщина, – думала, шо помру.

– Что так? – забеспокоился Нефедов. – Не так что-то?

– А як воно должно быть, если баба три года пид мужиком не була? – все еще неровно дыша, но уже с улыбкой спросила Оксана и вновь потянулась к Егору.

– Так, может, хватит тебе пока? – невольно отстранился он. – Может, вредно?

– Я тебе дам хватит, – женщина ласково провела руками по его груди. – Бач який хитрый кацап. Согласився на мэни жениться, так сполняй, шо мужу положено.

– Да я согласен, – улыбнулся довольный собой Егор, – как говорится, с нашим удовольствием.

– Я знаешь, сколько ждала, сколько мечтала мужику голову на руку положить, – шептала Егору на ухо Оксана. – До того, як на пристань пишла, у купца Винокурова працювала. Хоромы у Андрияна Ильича после гулянок убирала тай гостям прислуживала. Знаешь, сколько раз сманивали, деньги сулили, пока с того места не ушла, хоть и платили хорошо и детей трэба було кормить.

– Мужик твой на войне погиб? – привычно спросил Егор.

– Та ни, – вздохнула хохлушка. – Если б там згинув, я б побогаче жила. Солдатки с детьми карбованцев по двадцать, а то и бильше вид казны за мужиков загибших в месяц получали, а пуд муки один карбованец стоив, товару в лавках полно було. Та ще и муку им давали, крупу, соль, масло постное. Якие солдатки як купчихи разоделись, плюшевые саки купили, полусапожки. – Оксана опять вздохнула, потом рассмеялась. – Гуляти стали якие вовсю. В мэни соседка була молодая, файная, мужики шо с фронту пришли та парубки, усе к ний в гости похаживали. И одного мужика баба, страшна така, – поморщилась Оксана, – прибежала и шумит: «Ты, Маруська, поблядуха. В тэбе пив Камня перебувало». Та ей каже: «Це так. Потому я файная и мэни усе любят. А ты побач на себя, кому ты потребна?».

– Слушай, ты говоришь, мужика у тебя три года не было, а чоловік твой еще до германской помер. Как же так? – озаренный, уязвившей самолюбие догадкой спросил Нефедов.

– Вот же счетовод бисов, – голос женщины дрогнул. – Ну на шо воно тебе потребно було?

Егор молчал.

– Ну був купчик один, давно вже, як я у Винокурова працювала. Файний, як тот кочет. Долго мени вговаривал, ну и пиддалась. Два раза тильки и було, – повернулась она к Нефедову, заглядывая ему в глаза. – Вин даже на тебя чуток похож був, тильки похлипче. И усе.

– Что все?

– Ну не було бильше ничего. Вин хотев, та я видтолкнула, а потом и вовсе вид Винокурова с праці ушла. Та шо я перед тобой ответ должна держать, чи шо? – Она обняла Егора, поцеловала его в шею. – Був бы ты об то время рядом, я б тильки тэбэ целовала тай обнимала.

– Я в то время с винтовкой обнимался, – усмехнулся Нефедов. – Ты прости, что я тебя об этом спросил, по глупости вышло. И давай спать.

...Егор опять бежал по стерне, и опять прыгали впереди вверх-вниз верхушки берез, стучало вперевой с накаtywавшимся сзади казачьим галопом обезумевшее сердце. Нефедов вновь упал, обдирая лицо о бодыльки свежескошенной пшеницы. Все, конец. Он поднял голову и увидел, как по полю навстречу ему идет Варя Онипко, одетая в длинную кавалерийскую шинель, полы которой путаются между ее смуглых ног.

«Куда, дура, срубят ведь!» – хотел крикнуть он, но сумел только словно рыба широко открыть рот: «Стой, Варюха. Стой!» – зорал он уже в голос и проснулся.

– Ты шо? – взметнулась рядом шальная от сна Оксана. – Шо ты, чего злякався?

– Так, привиделось, – Нефедов вытер тыльной стороной ладони пот со лба, погладил Оксану по густым антрацитово-черным волосам. – Спи давай.

Откусив за завтраком кусок лепешки, Егор жевал его долго и задумчиво, а затем мрачно поинтересовался:

– Из какой муки ты такие вкусные печешь?

– Мука дюже гарная, – в тон ему ответила Оксана. – Мы завсегда из такой лепешки печем. Тут тэбэ и лебеда, и просо, и карлык. Усе е. Ще чего хочешь?

– Давай, – согласился Егор, – посмотрим, что у тебя еще есть.

Женщина зацепила ухватом и подала из печи на стол горячий полуведерный чугунок с отварной картошкой. Молча поставила перед Нефедовым щербатую глиняную чашку, положила рядом плохо и грубо выструганную, некрашеную деревянную ложку. Утвердила рядом крынку с молоком.

– Ничего, – сказал ефрейтор, – жить можно. Но можно жить и лучше. Я постараюсь.

Оксана отвернулась к печи, стала сморкаться в платок.

– Ладно, – потянул ее за рукав Нефедов. – Садись за стол и детей с печки зови, а то и тут слышно, как у них в брюхе урчит.

Поселиться в этой хате, как у себя дома, голоду мешали корова да небольшой огород. Но будто наперекор неласковой судьбе, дети Оксаны – двое мальчиков-погодков Михась и Грицько, восьми и девяти лет отроду и десятилетняя долговязая глазастая Полинка – были, как и их мама, людьми жизнелюбивыми и неунывающими. Впрочем, во время «официального» знакомства с Нефедовым держались все трое не по-детски серьезно, глядели на незнакомца с определенным подозрением, словно раздумывая, что за мужик к ним в хату заявился, не обидит ли их мамку, не сопрет ли чего из добра, какого и так кот наплакал.

Егора их неприветливые взгляды особенно не смущали, однако с переселением на новое место жительства решил он пока не спешить. Узнав об этом, Оксана Карповна поначалу расшумелась, заявив, что он может «очей своих и вовек сюда не казать», а потом и расплакалась. Но Нефедов показал характер и сделал все, как и собирался, тем более что определенный опыт общения с маленькими хохлами у него уже имелся.

Здесь все было очень просто. Требовалось только относиться к этой мелюзге так же уважительно, как и к взрослым, разговаривать с ними редко, но степенно и об-

стоятельно, не оставляя в стороне самые серьезные темы. А главное, чтобы они видели: когда этот дядя у них в хате, мама улыбается. Ну и, конечно, гостинцы требовались. Дети ведь как женщины: им сколько подарков ни делай – все мало будет.

Стал ефрейтор заглядывать к Прищепам считай каждый день – не считая ночей, но всегда не надолго. Здорвался и, ни слова больше не говоря, раздавал таким же молчаливым ребятишкам то леденцы, то комочки сахара, а то и мятные пряники. Как-то раз выдал всем по медному пятаку и тут же услышал строгий голос Полины Прищепы:

– Це зря. Не трэба нам.

– Как же не трэба? – расширил глаза Нефедов. – А мороженое на що будете куповать?

– Що воно таке, морожено твое? – спросил в ответ Гришка.

– Это, Гриша, штука очень хорошая. Ты ледышку на язык пробовал?

Мальчуган молча кивнул.

– Эта штука на нее похожая, только мягкая, как снег, и сладкая. Знатная, хлопчики, штука – мороженое. Его на главной улице мужик один продает, сам его и делает. Такое кругленькое, гарное и в бумажке, чтоб руками не запачкать.

– Я бачила такое, – вступила в разговор Полина, – тильки не пробовала николи.

– Ну а тепер поешь. Сходи вместе с братиками, а то мне недосуг. На работу могу припоздать, мне ж тепер за двоих працювать надо. Коль турнут меня оттуда, мамке вашей подарок не смогу сделать, а мне шибко охота ей презент представить. Что вот только ей больше поглянется, не знаю.

– Полботинки на каблуках, – мечтательно сказала девочка. – Я маленька совсем була, помню, вона носила таки. Як обуе, такая файная становится, уси очей отвести не могут.

– Будут твоей маме такие ботинки, – твердо качнул подбородком Егор.

– Такая штука недешево стоит, – выслушав Нефедова и осмотрев тайком снятую ефрейтором с оксаниного чобота мерку, заявил мрачного вида сапожник и поскреб ногтями побитую оспой корявую щеку. – Даже и не знаю, сколько с тебя взять. У тебя какие деньги имеются, керенки, царские или уже новыми обзавелся?

– Да вот все, какие есть, – Егор порывлся в карманах, протянул мастеру несколько смятых бумажек.

– Да тут и половины цены не будет, – ухмыльнулся тот, пересчитав деньги, и протянул их обратно. – За такие и браться не буду. Приходи, когда разбогатеешь.

Егор вышел на улицу, скрутил сигарку, а когда докурил ее, вновь решительно открыл дверь сапожницкой халупы.

– Разбогател уже? – удивился корявый.

– Считаю, что так, – Нефедов сунул руку в карман, достал небольшой тряпичный сверток, развернул его. – Смотри. Этот крест я в пятнадцатом году получил, их тогда еще из серебра делали, а уж потом при Сашке Керенском стали из самоваров клепать. Хватит его тебе для расчета?

– Дай-ка, – сапожник внимательно осмотрел награду, протянул крест обратно. – За что получил-то?

– Нам когда первым в батальоне их вручали, полуротный выучить заставил, чтоб, значит, детям и внукам рассказать, – Егор подпустил твердости в голос, принялся чеканить: «Знак такой приобретается только в поле сражения и награждаются им только те из нижних воинских чинов, которые выкажут свою отменную храбрость в борьбе с неприятелем». Вот так-то.

– И как же ты ее выказывал?

– Да, считай, никак, повезло просто. Сидел в кустах по надобности недалеко от траншей немецких, а фельдфебель ихний то ли заплутал, прямо на меня вышел. Ну я его до наших окопов проводил. Всего и делов. Ну так как, берешь?

– Нет, – покачал головой сапожник. – Так не сговоримся, «Георгия» твоего я не возьму. – Егор сунул крест в

карман и молча повернулся к выходу. – А заказ возьму, – уже в спину ему добавил мастер, – должок за тобой будет. За обувкой, значаца, приходи через деньков пять-шесть.

* * *

Прийти за заказом Егору не удалось. Уже вечером следующего дня в кочегарку к Нефедову ввалились два вооруженных винтовками колчаковских милиционера, за спинами которых едва различался невысокого роста яснолицый мужичок в высоких сапогах и потертом городском пальто.

– Этот? – повернув к нему голову, коротко спросил один из стражей нового порядка.

– Он, – быстро ответил яснолицый, – этот самый и есть. Смутьян, большевик, зараза такая... – Он попробовал было угрожающе надвинуться на Егора, но споткнулся об многообещающую улыбку Нефедова, поежился и уже малость потише добавил: Преступник, значит.

– Пошли, – цепко ухватил Егора за рукав один из милиционеров, и в лицо бывшему ефрейтору пахнуло крепким сивушным духом. – Да не рыпайся, а то враз башку снесу.

Рыпаться действительно было опасно. Нефедов решил не торопить события и действовать только, когда совсем уж подопрет. Не говоря ни слова, шагнул к выходу.

– Привели, господин поручик, – доложил сидящему за столом крепышу с пышными усами и ленивым до равнодушия взглядом старший из милиционеров. Тот кивнул головой:

– Свободны. – Вынул из нагрудного кармана расческу, причесал аккуратно усы, покрутил меланхолично пуговицу на мундире с боевыми «Анной» и «Владимиром» и, словно что-то вспомнив, взглянул наконец на Егора. – Кто таков?

Егор строевым шагом подошел к столу, щелкнув каблуками сапог, четко откозырял:

– Ваше благородие, ефрейтор Мингрельского полка, георгиевский кавалер Нефедов по вашему приказанию

прибыл! Вот солдатская книжка с записью о демобилизации, – расстегнув нагрудный карман гимнастерки, он достал документ, мысленно похвалив себя – не зря писаря в дружине попросил запись сделать – глядишь, поможет. – Я, ваше благородие, не какой-нибудь там, отличия за воинскую службу имею.

Поручик взглянул на него с видимым удовольствием, но тут же затвердел лицом:

– Георгиевский кавалер? А люди говорят – большевик, оружие для смутьянов собирал.

– Какие люди, ваше благородие?

Пышноусый приподнялся за столом и крикнул через плечо вытянувшегося по стойке смирно Нефедова:

– Мирошниченко, давай сюда этого!

– Он. Как есть он, – сгибаясь к столу, сыпал скороговоркой ясноглазый. – С ним еще флотский был. Они аккурат в начале вересня, сентября то есть, у нас в Веселухе появились. Я, как писарем, значит обязан доглядать. Против власти агитировал, оружие для бунтовщиков собирал в обмен на мануфактуру, да наши мужики не позарились. Забыл уже, сволочь такая? – быстро повернулся он к Егору: – Тут быстро вспомнишь. Я тебя на базаре-то сразу признал.

– Ты меня не сволочи, – чувствуя, как ухнуло в пятки сердце, спокойно ответил Нефедов, – глядишь, и вьюном пойдешь за напраслину. Ты память-то свою, видать, всю пропил, вон зенки-то мутные, как у крола. С утра самосидкой несет. Кому верите, ваше благородие, такая пьянь за бутылку отца родного оговорит. Я в этой Веселухе, верно, был, и этого вроде помню, он за работу слесарную тогда со мной не рассчитался, так я ему малость по-солдатски за то отсыпал. Вот и решил, видать, посчитаться. Ты где был, шура, когда мы в Карпатах за царя и Отечество голы клали?!

– Тихо, тихо, – хлопнул ладонью по столу начальник. – Уймись оба. Ты чего делал в Веселухе той и чего в Камне сейчас? Отвечай быстро!

– Я, ваше благородие, сам бийский, в дружине там

после отпуска по ранению был, а потом в Славгородский уезд поехал бабу дружка погибшего повидать-утешить.

– Утешил? – понятливо усмехнулся начальник.

– А то как же! – подбоченился Егор. – Прилипла ко мне, как банный лист к заднице, а на кой мне такое добро, да еще с мальцами. Вот я и сбежал от нее в Камень к дружку фронтному. Говорили, тут бабы послаще, вот решил сам поглядеть.

– И когда это было? – прищурился пышноусый.

– Так Троицу отгуляли, а вскорости после этого я сюда и отправился. – Без заминки отрапортовал Нефедов. – Лето только в силу входить начало, погодка была...

– Да врет он, врет, – вновь зачастил писарь, но уже без былой уверенности. – Я ж помню...

– А ну стой! – прикрикнул на него колчаковец и опять повернулся к Нефедову. – Кто может подтвердить, что ты уже летом в Камне был и не выезжал отсюда?

– Так полчанин мой, Рыбкин Степан Аниподистович, я у него тогда и поселился. Мы с ним и в Карпатах, и в генерала Брусилова наступлении вместе были.

– Степан Аниподистович? – потер подбородок поручик. – Тот, что в маслокооперативе счетоводом?

– Так точно!

– Степан Аниподистович – человек уважаемый, почтенный. Если тут не соврал, глядишь, и выкрутишься. Но смотри, мы ведь за ним пошлем, спросим.

– Посылайте, коль нужда есть. А выкручиваться мне нечего. Я правду говорю и против власти законной никогда не ходил. Так что бояться мне нечего.

Егор улыбнулся, но кто бы знал, чего ему стоила эта улыбка. Еще по приходу в Камень, при первой же встрече Степан Рыбкин твердо пообещал Нефедову: если потребуется, он подтвердит, что Егор поселился в его доме вскоре после Троицы. Но обещание это было дано в сентябре, с тех пор прошло более полугодя, за это время колчаковская власть крепко показала, что со своими врагами и теми, кто им пособляет, она шутики не шутит. Так что сдержит ли свое слово Рыбкин сейчас, станет ли, рискуя благополу-

чием, свободой, а возможно, и жизнью спасти в общем то чуждого ему по духу человека, Нефедов не знал. Надеялся лишь, что помнит Степан, как два долгих года они рядышком под смертью ходили, как Егору дважды Рыбкина от косой уберечь случилось. Вспомнит и уберезет от нее Нефедова в этот раз...

– Добрый день, Иван Аверьянович! – степенно поздоровался Рыбкин с пышноусым. – Чего это я вам понадобился? Намедни-то встречались.

– Ничего серьезного, Степан Аниподистович. Маленькая формальность. – Поручик указал на стоящего в углу Нефедова. – Вы этого человека знаете?

– Само собой. Это мой однополчанин Нефедов Егор. Он в прошлом году у меня на квартире жил, а потом зазнобу нашел и съехал.

– А с какого точно времени он у вас жил, не помните?

– С лета. Пришел, попросился, как говорится, на постой, я и не отказал. Как отказать? Мы в окопах-то друг за дружку держались, иначе пропадешь. Грех такое забывать.

– И все ж припомните. Точно с лета или позже, по осени уже, он у вас появился?

У Егора в одно мгновение высушило горло, взмокла и страшно зачесалась под шапкой голова. «Опять, – чиркнуло пулей в голове. – Опять как в степи тогда, на самом краешке. Ой, мля-я... Да говори ж ты скорей, не мучай!»

– С месяц после Троицы прошло, никак не больше, как он и объявился. – После короткой паузы сказал Степан.

– Точно, не путаете?

– Я с ценными бумагами да большими деньгами дело имею. – Твердо и веско ответил Рыбкин. – Мне путать не полагается. Так в чем дело-то, может, скажете?

– Да уже ни в чем, – улыбнулся поручик. – Я же говорю, недоразумение. Можете идти, и спасибо за помощь.

Когда дверь за Рыбкиным закрылась, пышноусый быстро повернулся к Егору, посмотрел на него долгим оценивающим взглядом:

– Интересный ты, однако, типчик, ефрейтор Нефедов. Очень уж боевой. Я вот думаю-гадаю, куда тебе теперь дорожка выпадет. То ли в тюрьму славгородскую, где тебя, птаха перелетного, ошпилют да до конца выпотрошат, то ли... – Поручик замолчал.

– Так куда еще-то, ваше благородие, – дрогнул голос Нефедова. – Не томите безвинного человека, слугу Отечества бывшего.

– Вот именно, что бывшего, – живо подхватил милицейский начальник, – а ведь Отечеству и ныне служить требуется, да только желающих пока негусто. Ты вот как, готов опять амуничку надеть?

– Так я как прикажут, – развел руками Егор.

– А считай, что уже приказали, – твердо посмотрел на него поручик. – Давай по-простому, без лишних для тебя неприятностей договоримся. Сейчас добровольцев в полк голубых улан набирают, так из губернии к нам в уезд бумагу прислали, требуют оказать содействие. Начальство тербит чуть не каждый день – давай, Колосов, добровольцев и все тут. Пойдешь в уланы?

– Да какой из меня кавалерист, я отродясь в седле не сидел.

– Хорошо, – легко согласился поручик. – Можно в отряд особого назначения, таковой в Барнауле для борьбы со смутьянами и врагами правительства формируется. Унтер-офицеры и георгиевские кавалеры могут на старшие должности с хорошим окладом рассчитывать.

– Оклад, конечно, хорошо, – покачал головой Нефедов, понимая, что на данный момент судьба его уже решена, и теперь остается только немного побрыкаться, дабы не попасть в совсем уж кровавое дерьмо. – Только мне бы лучше в пехоту, там дело привычное, а тут как бы не оплошать.

– Хорошо, – опять согласился поручик. – В пехоту так в пехоту. Топай на квартиру, собирай сидор, и чтобы через два часа был здесь. Отправим в уезд на сборный пункт. У нас как раз партия набирается.

– Так быстро?! – изумился Нефедов.

– А как ты хотел? Служба ждать не будет. Да смотри,

не подводи благодетеля своего Степана Аниподистовича, – внимательно посмотрел на него поручик. – Если где заплутаешь, с него спросим. Не бери греха на душу, солдатик.

* * *

Рыбкин ждал Егора на курящейся весенним паром апрельской проталине в нескольких шагах от милицейского участка.

– Теперь я тебе ничего не должен? – без предисловий спросил он у Нефедова.

– Не было на тебе долга, – ответил тот и, вздохнув, вытер о шинельную куртку вспотевшие ладони. – И нету.

– По тебе, может, и не было, а по мне был, – сухо отрезал Степан. – А раз теперь нету, то ты меня больше не тревожь. Понял?

– Как не понять, – невольно усмехнулся Егор. – Не бойся, больше не потревожу.

Рыбкин надвинул на глаза шапку, упрятал руки в карманы длиннополого подбитого ватой пиджака и, не сказав больше ни слова, повернулся к Нефедову спиной.

– погоди, – окликнул уходящего сослуживца Егор, и когда тот остановился и повернулся к нему посеревшим лицом, попросил: – Сделай напоследок еще одно доброе дело. Подскажи, у кого кресты мои наградные можно заложить? Деньги очень нужны.

Степан молча посмотрел на Нефедова, покривил щеку:

– Спроси на базаре москательную лавку Николая Брянцева. Скажи, я отправил. И все на том.

Егор покатал носком сапога подвернувшийся под ногу камешек, сильным ударом отправил его кувыркаться по начавшему зеленеть проулку и, забыв от пережитого волнения закурить, отправился на причал.

* * *

На Обь у каменского причала можно смотреть сколько угодно, никогда не надоедает. На какое-то, пусть и короткое, время вид не подверженной никаким челове-

ческим страстям, а потому божественно спокойной и величавой реки может согреть и успокоить даже самую выхоложенную и мающуюся душу. Однако в этот раз созерцание плавно текущей весенней воды Егору не помогло, уж больно тоскливо было у него на сердце. Влюбляясь по-настоящему, а по-другому Егор просто не умел, он готов был сделать для любимой все, что в его силах. Достать с неба звезду не обещался, прочитавшему от силы пару книжек простому рабочему парню такие слова и в голову бы не пришли, но вот голодных глаз в доме, где он жил, Нефедов видеть не мог. Потому сумел сделать так, что уже через месяц-другой, после того как он поселился у Прищеп, Оксана и ее дети вновь научились улыбаться. Ему было очень хорошо и просто идти рядом с ней по улице, и резать крупными ломтями хлеб за столом, глядя на сидевшую напротив всегда желанную женщину, и дарить ей немудреные подарки, и проводить вместе долгие, не затронутые сном зимние ночи. И теперь вновь нужно было уходить...

«Везде-то я постоялец, – уныло думал Егор, – только пригреюсь малость – давай опять в дорожку собирайся. Везет же дураку, такие бабы хорошие попадают. И Машу, и Варю, и Оксану всех ведь люблю, а жениться опять с винтовкой придется. На хрен бы мне винтовка эта, и армия их, и вся эта война. Мало мне ее досталось?..».

За спиной раздался легкий топот быстрых ног, Егор провел ладонью по лицу и отвернулся от реки навстречу Оксане. Безошибочным женским чутьем беду она почуяла сразу.

– Шо прийшов? – с тревогой в голосе спросила женщина, ухватила Егора за полу куртки, словно привязывая его к себе. – Беда какая, чи шо?

– Ухожу я. – Нефедов не любил прелюдий в трудных разговорах, потому суть выдавал сразу. – В солдаты опять забривают.

– Вернешься хоть? – требовательно и жалко, заглядывая ему в лицо, спросила она.

Егор молчал.

– Так як же? – уже шмыгая носом, вновь задала свой вопрос женщина.

- Не знаю. Тут бы живым для начала остаться.
- Мэни тебя ждать? Ну кажи, шо знову мовчиш?
- Не знаю. Как тебе сердце подскажет, так и делай.

И все, прощай. Прости, если что не так было.

Нефедов сунул руку за отворот шинельной куртки и неуверенно протянул Оксане небольшой бумажный сверток.

– Тут вот деньги. Сходи к сапожнику, что у входа на базар сидит. Он тебе полуботинки должен сшить, я просил. Это от души. Не обижай, не отказывай.

Еще до встречи с Оксаной Егор пообещал себе быть сухим и суровым, не давая женщине зряшной надежды. Но, будучи парнем крепким, все ж не сдержался. Провел ладонью по влажной женской щеке:

– Лапушка ты моя... – резко отвел руку, подкинул на плече собранную в дорогу котомку и зашагал прочь, не оглядываясь.

Глава вторая

За три года германской войны рядом со смертью Михаил Киржаев оказывался не единожды. От более близкого знакомства с ней уберегали Михаила каждый раз его товарищи, собственные сила и сноровка, оружие, а то и попросту солдатская удача. Но вот то, что он остался жив в начале сентября 1918 года, Киржаев сам для себя объяснял только чудом и ничем больше. Чудом, какое может случиться с человеком лишь единственный раз в жизни.

...Исчезли последние ночные тени, осеннее утро полностью вступило в свои права. Солнце долизывало с рельсов и шпал последние капельки холодной влаги, вылетели охотничать за сусликами да мышами-полевками молоденькие кобчики, забелели вновь стройными стволами березки в редких степных колках, словно охорашиваясь после короткого сна. Вокруг было по-настоящему хорошо, но штабс-капитана Киржаева все эти прелести ни в малой степени не занимали. Подняв воротник куртки, с руками в карманах и надвинутой чуть ли не на самые уши

железнодорожной фуражке, он уже который час безостановочно шагал по шпалам, удаляясь от охваченного восстанием Славгорода.

*Как ныне собирается вещей Олег
Отмстить неразумным хазарам –
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.*

Уже в который раз, то бурча себе под нос, то, разнося криком на всю окрестную степь, твердил он слова этой песни, а отбурчавшись и откричавшись, многозначительно добавлял: «Отмстим, отмстим. Поплачете еще кровавой слезой». Что он имел ввиду, произнося эти грозные слова, Михаил и сам не знал. Но нацеленные на действие, они его к действию и побуждали. Потому до предела уставший Михаил замедлил шаг, лишь увидев вдалеке на рельсах мешковатую человеческую фигуру. Киржаев привычным жестом потянулся к револьверу и тут же вспомнил, что оставил его в доме у Олизко. Однако делать было нечего. Пришлось двигаться навстречу возможной опасности невооруженным.

Страхи штабс-капитана оказались напрасными. Показавшаяся ему вначале мешковатой фигура на деле оказалась стройной и статной и принадлежала хоть и донельзя зарезанной, все же весьма привлекательной молодой женщине с растрепанными волосами, в хорошем платье, изящных и дорогих туфельках. Киржаев, желая подбодрить перепуганную даму, бросил руки по швам:

– Позвольте представиться, Михаил Киржаев. Могу ли вам чем-нибудь служить, мадам?

– Анастасия Пуговкина, – удивившись и обрадовавшись почти одновременно, ответила она. – Жена адвоката Пуговкина. У нас практика в Славгороде, хорошие клиенты... Была, – добавила мадам Пуговкина после паузы и тут же бурно разрыдалась.

Когда Анастасия немного успокоилась, выяснилось, что они с Киржаевым друзья по несчастью. На дом,

где она проживала с мужем, напали повстанцы. Хозяина дома, чиновника городской управы и Николая Пуговкина, убили сразу как буржуев-кровососов. Причем Пуговкину повезло больше – его просто застрелили. На чиновника же то ли пулю тратить пожалели, то ли бородка клинышком да пенсне делали вид его более барским, а значит и более раздражающим мужиков, но хозяина дома сначала избили выломанными из забора кольями, а потом чуть живого удавили его же подушкой.

Всю эту картину Анастасия наблюдала из подвального окна дома напротив. Там она пряталась уходящей прислуги Пуговкиных – солдатской вдовы Матрены, по-бабьи пожалевшей свою нежадную и незлобивую хозяйку. Однако укрывать барыню долго прислуга поостереглась и, приняв от Анастасии в знак благодарности обручальное кольцо и дорогой перстень, проводила ее за город. Как и Киржаев, женщина долго шла по шпалам, пока совсем не выбилась из сил и не упала духом.

– Теперь-то я спасена. Спасена, – без усталости твердила она. – Вы ведь меня не оставите, верно? Вы большой, сильный. Вы, наверное, офицер? Скажите правду.

Ответить ей Михаил не успел. Утомленные дорогой и увлеченные разговором, они даже не заметили пятерки приближающихся к ним всадников. Впрочем, даже если и заметили бы, это мало смогло бы им помочь – ни бежать, ни прятаться в голой степи не имело никакого смысла. Киржаев инстинктивно закрыл женщину плечом и тут же облегченно вздохнул, разглядев казачью форму.

Командовал разъездом анненковцев траченный оспой рябой хорунжий с похожими на две медные пуговицы пустыми глазами, быстро и деловито ощупавшими и Киржаева, и Анастасию.

– Ладная бабенка, – не тратя времени на долгие разговоры, довольно улыбнулся казак. – Поедешь с нами. Бери ее, Мирон.

Чубатый Мирон тронул коня, ловко перегнувшись в седле, ухватил за талию онемевшую от неожиданности и страха женщину и так же ловко бросил ее тело перед собой, поперек лошадиной шеи.

Киржаев шагнул вперед и взял под уздцы лошадь хорунжего. Он знал, чем рискует, но удержаться не мог. Кроме того теплилась в штабс-капитане и крохотная надежда, что казаки все же опомнятся, не дадут себе переступить последней черты. Служивые ведь все-таки, присягу давали...

– Прекратите произвол, хорунжий, иначе вам придется за это ответить. Я начальник славгородского гарнизона штабс-капитан Киржаев, и в ближайшее время доложу в Омске о вашем самоуправстве высшему командованию.

– Дура, – почти ласково ответил ему рябой. – Ты сейчас не перед командованием, ты перед Господом Богом будешь ответ держать.

Он слегка привстал в стременах. Сверкнула на утреннем солнце выхваченная молниеносным, многократно отработанным движением шашка и опустилась на голову Михаила Киржаева. Михаил упал навзничь, ударившись головой о землю, отчего кровь густо хлынула из раны на его лицо.

* * *

Твердой веры в Бога у Киржаева не было с малых лет. Почему, он и сам себе толком объяснить не мог. И отец, и рано ушедшая из жизни мама, и бабушка, которая по сути и растила Мишу, учила его уму-разуму, поскольку у занятого работой Петра Киржаева времени для воспитания сына не оставалось, – все они были людьми набожными. Верили в Иисуса Христа, Страшный суд, существование рая и ада. Правда, отец Миши – ветеринарный врач-самоучка, а по-простому – коновал, мечтавший вывести в люди действительно любимого, хоть и видевшего мало отцовской ласки сына, – лошадям времени уделял куда больше, чем церкви, посещая ее в основном по главным православным праздникам. Тогда он обычно закупал целый пук свечей, дабы поставить их практически перед каждой имеющейся в храме иконой, вспоминал имена родных, чтоб помянули их в молитвах святые отцы – кого за упокой, кого за здравие, и с чувством выполненного

долга и спокойной душой шел трудиться дальше до следующего церковного праздника. В обычной жизни о боге он вспоминал редко – в основном когда прихварывал Миша.

Заменившая маленькому Киржаеву маму бабушка Надежда Ефимовна делала это куда чаще, стараясь воспитывать внука в покорности судьбе и непротивлении злу.

– Захотят тебя ударить, а ты убеги, – поучала она Мишу.

– А коль ударят все ж? – хмуро интересовался мальчик. – Что, и в отместку не дать?

– Нет. Это зло. Убеги опять же и все, – стояла на своем бабушка. – А лучше – не связывайся ни с кем, живи тихо. Тогда в рай после смерти попадешь. В раю хорошо... – мечтательно вздыхала она и, расчувствовавшись, пихала мальчику в ладонь пирожок, вареное яичко либо лампасечку. Так Надежда Ефимовна называла липучие, обожаемые Мишей Киржаевым конфеты монпасе.

Позволять безнаказанно мутузить себя по физиологии Михаилу не хотелось. Даже с перспективой попадания в рай после смерти, до которой, на его взгляд, было так неизмеримо далеко, что она и вовсе могла не прийти. Тем более как в действительности обстоит дело на небе, Киржаев не знал, а вот как примерно выглядит ад, ему повидать довелось, правда позже, уже став юношей. Произошло это летом 1915 года у польской реки Бзур во время газовой атаки немцев на наши позиции, унесшей десять тысяч жизней русских солдат.

Тогда молоденький, почти не траченный войной прапорщик Миша Киржаев был послан вместе со своим взводом из ближайшего тыла на передовую, где по множившимся с каждой минутой один другого страшнее слухам творилось черт знает что. Может быть, конец света, а может быть, даже глубокий прорыв немецких войск.

Михаил трусил вместе с мокрыми от пота солдатами к нашим позициям, с трудом удерживая в себе желание сесть у дороги прямо в пыль, и дальше будь что будет – суд, тюрьма, разжалование, штрафная часть. Главное, что прямо сейчас пропадет спазмами сдавливающий живот ужас,

исходящий от желтой, будто густой гуашью покрытой земли. От сотен, а может быть, и тысяч мертвых воробьев на проселке и вокруг его. От валяющихся у своих коновязей на брошенной полубатарее лошадей с бьющей из ноздрей и рта кровавой пеной. Некоторые из них еще бились в судорогах, другие уже издохли. От десятков бегущих, бредущих, ползущих навстречу людей с искаженными животным ужасом лицами. Многих из этих людей рвало чистой алой кровью. Да не рвало, а попросту выворачивало наизнанку. Кое-кто со стоном ложился у дороги и больше уже не вставал. Другие с мутным взором вытаращенных, как при базедовой болезни глаз, брели дальше в тыл.

В окопах было еще хуже. Мертвецы лежали поодиночке, большими и малыми бесформенными кучами, но не было ни страшных ран на них, ни оторванных рук и ног, ни студенистых луж крови. Уже успевшему повидать, как убивает война, Михаилу это показалось особенно жутким. «Будто куклы тряпичные, только большие», – успел подумать он и тут же согнулся в приступе сильнейшей рвоты.

– Немедленно намочите из фляги платок и прижмите его ко рту! – крикнул ему сидевший неподалеку у пулемета с обвисшей, расстрелянной до последнего патрона лентой вислоусый штабс-капитан с большими залысинами на не прикрытой фуражкой голове. Глаза его, как и у встреченных Михаилом на дороге солдат, были неестественно выпучены, но взгляд их при этом оставался осмысленным и твердым. – Газ еще не рассеялся толком, отравитесь к черту. Я, как видите, успел-таки хватануть.

Фамилия у штабс-капитана оказалась обычная – Молчанов, а вот имя довольно редкое – Викторин. Командир саперной роты 53-го Сибирского стрелкового полка, он в тот день потерял три четверти своих людей, однако сумел вновь превратить в солдат тех, кто остался жив после газовой атаки, и встретить вместе с ними губительным огнем поднявшуюся из своих окопов немецкую пехоту, отбросить ее назад.

Киржаев хорошо запомнил и того человека, и тот день. Спустя, наверное, месяц он впервые в жизни убил

безоружного. Выстрелил торопливо в голову бросившему винтовку германцу. Боялся, что тот успеет поднять руки и убивать его тогда будет совсем уж подлым делом.

А еще через месяц с небольшим Михаила Киржаева в первый раз ранило, причем тяжело. Потерявшего много крови молодого офицера доставили в полевой госпиталь, где Киржаев, когда пришел в себя, узнал, что дела его плохи и шансов отметить свой двадцать третий день рождения у него немного. Но, как говорится, на все воля божья.

Обессиленный, он отнесся к этому известию почти с полным равнодушием и уж точно без всякого страха. Обидно, правда, было. Жалко все же покидать мир в двадцать с небольшим лет. Всплакнул бесшумно прапорщик и опять окунулся в вязкую дремотную пелену, поплыл по ней, беспросветной, неизвестно куда. И то ли в яви, то ли в полубытьи увидел на белом потолке госпитальной палаты огромный, расплывчатый на близком расстоянии человеческий лик. Глаза угадывались строгие, нос, губы шевелятся.

– Понял теперь, кто ты есть? – услышал Михаил. – Пыль на дороге. Дуну – и нет тебя.

Вот тогда не желающий после событий на Бзуре слушать даже упоминаний о боге, Михаил Киржаев начал вновь потихоньку, не прилюдно молиться.

«Не дай меня в трату, господи. Не дай меня в трату... – тихонько шептал он в ночной тишине госпитальной палаты и почти всегда вспоминал при этом бросившего винтовку и все равно убитого им немца. Вспоминал и клялся сам себе, что не сделает такого больше никогда. – Не дай меня в трату, господи...».

– У него веки дрожат, – голос был тихим, и Михаил скорее угадал, чем толком расслышал сказанное. Он медленно и трудно сглотнул, «ваты» в ушах сразу же стало поменьше, а незнакомый мягкий баритон зазвучал громче и отчетливей: – Похоже, в себя приходит.

– Так мыслимое дело, больше месяца без памяти пролежать, – посочувствовал Киржаеву так же незнакомый ему юношеский тенорок.

– Вам бы, господин флаг-офицер, приложились вот так шашкой по черепу, вопрос: сколько б вы без памяти были.

– У нас шашками не машут, – хохотнул тенорок. – Мы общаемся с противником в основном посредством тяжелой артиллерии. Вообще-то, врача бы надо позвать.

– Ну вот и не скальте зубы, зовите, – деланно-строго отозвался баритон. – Кто тут старший по чину да и по возрасту, я или вы?

Заскрипели пружины кровати, кто-то охнул, коротко и невнятно выругался. Прошуршали по полу тапочки, застучали костыли. Хлопнула дверь.

* * *

Михаил медленно и осторожно открыл глаза. Белый потолок, побеленные стены, серый казенный халат склонившегося над ним мужчины сказали ему все. Госпиталь.

– Тэк-с, очнулся значит, – констатировал вошедший в палату клинобородый господин в белом халате, похожий на долговязую любопытную птицу. Он ткнул пальцем в дужку золотого пенсне на длинном носу и быстрым движением ухватил Киржаева за запястье. – И что тут у нас наблюдается? Можете не отвечать, справимся сами. Пока лежим, говорим мало, не ходим совсем. Задача ясна?

Михаил кивнул.

– Тогда выполняйте, – врач легонько похлопал его по руке. – Случай, конечно, редкий, но не извольте беспокоиться, господин штабс-капитан, поставим вас на ноги. Зимой полежите, а весной или летом будете в большевистскую Москву на белом коне въезжать. Засим поправляйтесь.

Еще несколько минут Киржаев лежал не двигаясь. Затем медленно повернул голову туда, где звучали голоса. Невидимый молоточек остро стукнул ему в висок, боль ушла в шею и спряталась там.

– С возвращением на белый свет, господин штабс-капитан, – приветствовал его с расположенной напротив койки коренастый мужчина средних лет с короткой щеточкой английских усиков под породистым немецким

носом. – Разрешите представиться, подполковник Мейбом Федор Федорович. Командир батальона десятого Казанского полка. А это герой взятия Казани и спасения золотого запаса России волжский альбатрос гардемарин Трофимов, – кивнул он в сторону вошедшего в палату высокого худощавого юноши, который благодаря отличной, несколько щегольской флотской выправке и в госпитальном халате выглядел как в парадном мундире. Даже костыли под мышками и толстое полено забинтованной выше колена правой ноги этого впечатления не заглушевывали. – Хороший парень, только, хоть и артиллерист, в шахматы не умеет играть вовсе.

– Откуда вы знаете, что я штабс-капитан?

– Так как же тут не знать, если в вашем железнодорожном кителе офицерское удостоверение нашли с вашим именем и чином. Или оно не ваше?

– Так я его, значит, в тужурку из кителя машинально переложил. Ох, какой же я дурак-то... Какой дурак... – Он полежал немного и собравшись с силами попросил: – Скажите, где я, как сюда попал и какое сегодня число?

– Вы в военном госпитале в Новониколаевске. Привезли вас железнодорожники, главврач говорил, что подобрали они вас у чугулки где-то неподалеку от Славгорода. Их паровоз перегоняли в Новониколаевск и таким образом вы оказались здесь. По документам, которые вам хорошую службу сослужили, хоть вы себя и ругаете, что их не выложили, определили, кто вы. Тем более, что в госпитале оказался человек, поручик Пашаев, он в вас признал сослуживца по германской войне.

– Пашаев, Пашаев... – поморщился Михаил. – Нет, не вспомню. Увидеть бы.

– Уже не увидите. Гангрена. Преставился ваш однополчанин уж неделю как. Что же касается числа, то сегодня по старому стилю двадцатое октября, а какое по большевистскому календарю, и знать не хочу.

– Двадцатое октября, – изумился Киржаев. – А кто, что сейчас в Славгороде? Мне встать надо. Почему я лежу? – Он рывком оторвал голову от подушки, и белые стены госпиталя тут же растаяли во тьме.

Лишь через несколько дней он вновь пришел в себя, и теперь уже сознание его надолго не покидало. Госпиталь жил хорошо знакомой Михаилу обычной размеренной жизнью. Утром, еще до света, в коридоре начинали колоть сахар, и тихие удары эти первое время колоколом отдавались в голове Киржаева. Потом по палатам разносили хлеб и кипяток, а из палат мочу. В коридорах остро пахло гноем, мазью и лекарствами. Сновали по ним врачи, медсестры и сиделки, курили в уборной шедшие на поправку раненые и сумевшие обмануть смерть выздоравливающие тифозные. Из-за недостатка места в одном кишкообразном отделении размещали через символическую перегородку и тех, и других. По ночам звенели по коридору колесики кровати – везли в мертвецкую очередного умершего от ран либо болезни. Пожилой сторож с огромным багровым грибом-рожей на левой щеке укладывал покойника до утра на отгороженной ширмой площадке у уборной, и выходявший ночью по нужде из палаты Михаил с трудом сдерживал болезненное желание за ширму эту заглянуть, увидеть – кто там.

Подполковник Сергеев из соседней палаты, чей надрывный кашель которую ночь мешал ему спать? Угостивший его в уборной хорошей папиросой прапорщик Штольц, жалующийся на гноящуюся рану и дрянное, по его мнению, лечение? Подпоручик Строевой? Кто?

Желание это было для него самого и удивительным, и пугающим. Ведь кого-кого, а покойников за последние годы он видел достаточно. Впрочем, обычно это были убитые, а не умершие. Их распластанные исковерканные тела были лишь частью военного пейзажа, не более того. Больной ты или здоровый, молодой или старый – значения не имело. Обычно выбирающую себе очередную поживу старуху с косой здесь эти детали не интересовали. Мела не глядя, всех, кто подворачивался. Повезло – живи пока. Нет – отправляйся к тем, кто опередил тебя на день или минуту.

Здесь же выбор ее был более определенным, хотя и далеко не всегда объяснимым. Ждали, что придет

к одному – приходила к другому. И каждому думалось – ну кого теперь, кого? Меня нельзя. Мне рано. Я вылечусь, на черном хлебе и воде буду сидеть, никакого греха самого малого на душу не возьму. Меня нельзя. А кого можно? Кто следующий?

* * *

Спустя несколько дней после того, как он пришел в себя, Киржаев попробовал начать ходить, с удивлением и страхом обнаружив, что это еще недавно такое легкое и даже приятное дело выполнять ему стало довольно затруднительно. После многодневной неподвижности мышцы ног ослабели совершенно и слушаться Михаила не хотели. При каждом шаге ноги подгибались в коленях, уже после нескольких метров пути он чувствовал, как они перестают его слушаться вовсе, а все тело охватывает ватная слабость. Присев необдуманно за оброненной вещью, он долго не мог подняться и сделал это только с третьей попытки, давшей ему с большим трудом. Однако записываться в инвалиды штабс-капитан не собирался.

Он стал заставлять себя ходить каждый день не менее получаса. И каждый раз подолгу отдыхал после этого на кровати. Из госпитального коридора он вскоре перебрался на улицу. Стал месить казенными галошами слякотную осеннюю аллею возле госпитального корпуса. Еще через несколько дней галоши пришлось сменить на такие же казенные валенки. К госпиталю вплотную подступила сибирская зима, вместе с ее приходом к Михаилу понемногу стали возвращаться его прежние сила и выносливость. Молодой крепкий организм в который уже раз отвоевывал свое.

Гораздо дольше донимали Киржаева головные боли. Почти каждую ночь он видел во сне резкую, узкую и длинную белую вспышку, и каждый раз просыпался от собственного крика и мгновенно заполняющей всю черепную коробку острой, раскалывающей голову боли. Часто приходилось мучиться от нее и днем. Боль всегда возникала неожиданно и так же неожиданно отступала. Время

между приступами проходило в заполненном страхом выматывающем ожидании ее очередного возвращения...

Чаще Михаилу удавалось достойно выдержать удар, но бывало и так, особенно ночью, когда не раз раненый боевой штабс-капитан попросту скулил, визжал, а то и срывался на тонкий отчаянный крик. Тогда просыпались соседи по палате, прибежала привыкшая ко всему сестра милосердия и, глядя на искаженное болью лицо молодого мужчины, в который уже раз предлагала сделать ему укол морфия. И каждый раз – о кто бы знал чего ему это стоило! – Киржаев отрицательно мотал головой, а затем прятал ее под подушку.

Еще в 16-м, когда после тяжелого ранения ему пришлось провести несколько месяцев в таком же госпитале, он едва не стал морфинистом. По счастью, хватило сил пережить после нескольких блаженных уколов все нарастающее влечение к этому чуду.

Михаил хорошо помнил, как бился на соседней койке в диком припадке восемнадцатилетний прапорщик, возлюбленный такой же молоденькой и такой же слабой и безвольной сестры милосердия, регулярно приносившей ему морфий. Юноша мечтал только о нем и, глядя с ненавистью на заменившую его Галю пожилую сиделку с широким, никаких чувств не выражающим лицом, выкашливал иссохшим ртом одно единственное слово:

– Морфию, морфию, морфию...

И все же вновь, хоть и медленно, не сразу, Михаил понемногу пошел на поправку. Крепкий организм и присутствующая штабс-капитану немалая выдержка стали шаг за шагом перебарывать болезнь. А может, ей самой прискучило мучить Мишу Киржаева, и она решила переключиться на кого-нибудь другого, тем более что покалеченного войной человеческого материала у нее было предостаточно.

Но еще долго Михаил просыпался в холодном поту по ночам. Уже не от боли, а от не прошедшего страха ее ожидания. Он вставал, шел к столику дежурной сестры и устроившись за ним, под аккомпанемент несущихся из палат криков сражавшихся и во сне офицеров: «Скорей,

скорей. За кустиком, за кустиком пулемет!», «Осторожно, канава!», «Опомнитесь, опомнитесь не давай!» – писал очередное письмо Кате. Он отправил их уже шесть штук и лишь спустя месяц получил наконец короткий ответ на свое первое послание: «Адресат выбыл». Как выбыл? Куда? Почему? Зачем? Ни на один из этих вопросов Михаил не мог найти более-менее вразумительного ответа, сколько ни обшаркивал тапочками длинный больничный коридор, теряясь в догадках и предположениях. Чаще всего мерещилось ему в мыслях самое худшее.

Отправил письмо Игорю Ненашеву и через некоторое время получил все тот же ответ из славгородского почтамта: «Адресат выбыл». Военный комендант города оказался многословнее, в его ответе на запрос Киржаева о местонахождении поручика Ненашева было сказано: «Выбыл из состава гарнизона. Нынешнее местонахождение неизвестно».

Оставалось только ждать выписки из госпиталя, чтобы отправиться в Славгород и уже на месте узнать, куда уехала Катя и что произошло с Игорем. Но до выписки штабс-капитану Киржаеву было еще далеко.

* * *

Много говорили о войне. И о еще не оконченной, но явно доживающей последние дни германской, и о только-только разгорающейся по-настоящему гражданской. Мейбому и Ершову довелось принять в ней активное участие на Волге, третий сосед Киржаева по палате прапорщик военного времени Вырубов был ранен в одном из жестоких августовских боев чехов и белых с отрядами анархистов, красных венгров и китайцев на Байкале.

Самодельная разрывная пуля с надпиленным сердечником «дум-дум», страшное изобретение еще англо-бурской войны самого начала нового века, попала офицеру под скулу и вышла через лицо, оставив на нем незаживающее гноящееся отверстие, свищ. Стоило Вырубову проголодаться или почуять табачный дымок, из отверстия в щеке у него рефлекторно начинала течь слюна, и обма-

тывающие все его лицо бинты требовалось отжимать или заменять. Частенько это делали сами соседи прапорщика по палате, заменяя уставших ухаживать за ним сестер милосердия.

– Страшное дело, – сказал как-то Мейбом, когда Вырубова пригласили в смотровую комнату. – Не скрою, боюсь так же пострадать, а еще больше боюсь зрения лишиться. Уж лучше руку или ногу. Я в 15-м году лежал в госпитале в Киеве, так там целая палата слепых была. Сколько потом повидал – и забылось почти, а вот то – нет. Как вспомню... Зябко становится.

– А где вам воевать довелось, Федор Федорович? – поинтересовался Киржаев.

– В великую войну участвовал в Брусиловском прорыве на Луцком направлении. Был ранен, произведен в штабс-капитаны. В 17-м стал капитаном, заместителем командира полка. Позже пошел добровольно в ударный батальон. Временному правительству присягать не пожелал и был посажен в Луцке на гауптвахту. Уже в октябре отпустили. Поехал в Казань к брату, да вскоре пришлось мне и оттуда бежать. Вступил в партизанский отряд поручика Ватягина и с ним шестого августа 18-го брал Казань. Памятный был день, что и говорить. Был рядовым в офицерской роте, позже командовал батальоном из татар-добровольцев. После оставления Казани в сентябре стал командиром батальона в первом Казанском полку. Там и ранило. Отправили сюда, в Новониколаевск.

– Трофимов мне говорил, что вы под Казанью едва самого Троцкого в плен не взяли? – улыбнулся Михаил. – Прямо как наши казачки в 1812 году Наполеона. Правда?

– Ну, Троцкий, конечно, не Наполеон, хоть все ж таки и военный министр, пусть и большевистский, а Трофимов и вовсе болтун, – тоже усмехнулся подполковник. – Но вот случай такой действительно был. Рядом была гадина, да руки у нас не дотянулись.

Я тогда воевал в офицерской роте, и под Свияжском мы с помощью первого чешского полка полковника Швеца разбили латышскую бригаду Вацетиса. Но в целом

для наших войск обстановка тогда сложилась неудачно. Пришлось отходить, задерживая противника на каждой удобной позиции. Наконец, перейдя в контратаку, в штывковой схватке опрокинули кронштадтскую матросскую группу с латышским личным конвоем Троцкого. Противник бежал к станции Свияжск. Будь у нас кавалерия, то товарищ Троцкий, находившийся среди своих бегунов, попал бы в наши руки. Было обидно, что он скрылся на наших глазах. И было больно слушать, когда из наших рядов раздались крики «Кавалерию, кавалерию!» – все знали, что ее у нас не было.

– Да хватит обо мне, – махнул рукой он. – В конце концов я профессиональный военный, отец в прошлом офицер еще в русско-турецкой кампании участвовал. Это мое дело – как с внешними, так и с внутренними врагами государства воевать, которому мой предок-швед еще при Петре первом присягал. Другое дело Вырубов или вот Трофимов, – кивнул он на пустую койку отправившегося приударить за новенькой сестрой милосердия гардемарина. – Один из студентов в прапорщики махнул Отечество защищать, когда от него уже одни лоскутья остались, другой только-только свое мореходное училище окончил. Дети, по сути, кстати, не намного младше вас. Но вы-то боевой офицер, испытавший на себе все ужасы германской, а они... И вот пошли воевать за честь Родины. Других не нашлось. Другие... – Мейбом болезненно сморщился. – Сидят по своим норам, пока их большевики из теплых постелей не повытаскивали, и посмеиваются, сволочь такая, над этими ребятами – куда полезли мальчишки, глупцы. А по мне они герои. По-другому и не назовешь.

Пихнув дверь костылем, в палату проковылял Трофимов и, улыбнувшись, взглянул на офицеров:

– О чем мы тут беседуем, не обо мне часом?

– Конечно, о вас, гардемарин, ждем повествования о славной победе над мадемуазель Люси, или об этом говорить еще рано?

– Пожалуй, что и рановато, – охотно согласился Трофимов. – Но курс уже проложен и корабль с него не

свернет. Несмотря на все перипетии гражданской войны, любовь не победить не может.

Тяжело ворочая искалеченным языком, с большими паузами между фразами рассказывал о своей уже закончившейся для него войне, прапорщик Олег Вырубов. Он был одним из самых молодых членов антибольшевистского подполья в Нижнеудинске. В ночь на 29 мая при содействии чехов семьдесят белых боевиков свергли в городе советскую власть и вместе с чехами же вступили в бои с наступавшими на город войсками Центросибири под командованием Лаврова. Белые сумели продержаться до подхода подкреплений из Западной Сибири, подходили значительные силы и к красным.

В те дни и позже на стороне первых сражались полки, носящие названия Новониколаевского, Томского, Барнаульского, была создана Иркутская дивизия. С другой стороны были Барнаульский, Томский, Канский, Омский красногвардейские отряды. Обе стороны активно использовали штывки иностранцев. Основной ударной силой белых в первый период боев были чехи, красных – венгры.

Кроме них в интернациональных отрядах в роли обычных наемников воевали китайцы и корейцы. О китайцах Вырубов рассказывал, что, по словам попавших в плен красногвардейцев, их «братья по классу» рассматривают нынешнюю войну в России просто как способ заработать. Выгнали со строительства железной дороги, будем «трудиться» здесь. При довольно равнодушном отношении к собственной жизни разница небольшая. Однако при всем при том к деньгам они относятся очень серьезно. Когда в одном из боев погибло сразу около сотни китайцев, их собратья стали требовать у комиссара выплатить положенное жалованье и за них. И никакие доводы не смогли их переубедить.

– Они и к нам бы точно так же пошли служить, только мы их не брали, – говорил Вырубов. – Был у них такой Шен Чен-Хо, жулик – пробу негде ставить. Ему денег давали, а он поедет и с какого-нибудь завода, лесорубок или шахты приведет человек двести китайцев. Надувал их, все

деньги себе брал, жалованье им не давал. Торговал просто этими китайцами, а они ему на слово верили. Пробовал и к нашему командиру с таким предложением подкатиться, да тот его за малым не расстрелял. Больше не показывался.

– Но, – просипел после паузы прапорщик, – надо им должное отдать. Воевали стойко. Но против наших им, конечно, не выдержать было. – Глаза Вырубова увлажнились. – Помню, как полки наши в Иркутск вступали. Кого в рядах только нет: офицеры, студенты, технологи, юнкера, гимназисты, учителя, чиновники недавние и вообще сплошь интеллигенция. Лучшие русские люди. Всякий офицер – солдат, всякий солдат – офицер. Богатыри...

Все лето в Забайкалье шли тяжелые бои, и в итоге победу в них одержали намного уступавшие в числе и технической оснащенности красным, но более организованные, дисциплинированные и искусные в военном деле отряды белых и чехов. Благодаря превосходству в тактике боя и планировании операций и потери их были несравнимо меньшими, при том, что они наступали, а красные оборонялись.

Олег вспоминал, как им удалось захватить в плен в каком-то монастыре целый отряд красногвардейцев. Часть их была одета в поповские рясы, другие – в какие-то хламиды, все были пьяны, балаганили, горели большие церковные свечи, и при их огне шла игра в карты. Кроме большого количества бутылей с водкой было у них и немало бочонков с медом, и у пьяных стариков-бородачей из числа красногвардейцев бороды торчали гвоздем – хватаясь за бороды перепачканными медом руками, они склеивали их. Большинство из этих «воинов» попросту не могли держать в руках оружие.

Вспоминая об эпизоде в монастыре, Воропаев даже выдал что-то вроде утробного смешка, но тут же замолчал и вернулся к своему повествованию не скоро. Позже он рассказал, что его самого ранило уже в конце августа в одном из самых сильных забайкальских сражений лета 1918 года. Произошло это на подступах к станции Посоль-

ская, когда из пытавшихся пробиться через нее трех тысяч красных успеха смогли достичь лишь не более 450 интернационалистов, читинских рабочих и анархистов.

Эта крупная победа досталась белым немалой ценой. У них было много убитых и раненых. Олег говорил, что уже в иркутском госпитале, куда он первоначально попал после ранения, услышал и, пытаясь обмануть разламывающую голову боль, повторял и повторял затем про себя, раскачиваясь из стороны в сторону: «Доставлены пять прапорщиков и семь добровольцев первого Барнаульского полка, раненых в бою под Посольской... Доставлены пять прапорщиков...».

– Жаль, мало нас, боевых, нашлось, а то б как волна от Иркутска до Москвы докатились, – закончил свой рассказ Вырубов. – Мало кто решился за поруганную большевиками отчизну пострадать, даже из господ боевых офицеров, тех, кто германскую войну прошел. Генерал Пепеляев, командир Средне-Сибирского корпуса, в конце июля даже приказ издал о том, что находятся офицеры, которые наводняют тыловые штабы и попросту просиживают в них штаны по разным освобожденным от большевиков городам Сибири, и приказал начальникам гарнизонов всех их отправить на фронт, а штабы расформировать. Не помню, правда, чтоб к нам много таких прибывало...

– Насчет штабов – это точно, – кивнул головой гардемарин Трофимов. – Мы, когда чехи Самару заняли, начинали волжскую боевую флотилию создавать, командиром стал мичман Мейер, начальником штаба мичман Ершов. Так поначалу весь штаб ее, можно сказать, из одного меня состоял. Все имущество, вооружение и документация – мой карабин, полевая сумка с бумагами и печатью флотилии. Приказы карандашом писал и сам же доставлял кому требуется. Пропуск, когда надо командиру в штаб армии, выписывал и печатью скреплял. Меня Мейер с Ершовым флаг-офицером звали. Потом уже лейтенанты, капитаны разных рангов и даже адмирал Старк появились, большо-о-й штаб организовали. Как же противника без правильной организации побеждать?

– Так вы, значит, уважаемый гардемарин, не кто иной, как штабная крыса, – разочаровано протянул Мейбом, незаметно от Трофимова подмигнув Киржаеву. – А я-то думал...

– Еще чего?! – вспыхнул Трофимов. – Я в бою всегда на флагманском корабле старшим сигнальщиком ходил. Там и ранило, да еще и контузило. Снаряд с большевистской миноноски прямо под борт ухнул. Так что вы эти ваши шуточки оставьте.

– Хорошо, хорошо, – поднял руки вверх Мейбом. – Обещаю впредь в отношении вас вести себя только самым серьезным образом.

Трофимов рассмеялся первым и тут же вновь нахмурился.

– Вообще прав Вырубов, мало боевых. Каждый день у большевиков под страхом смерти живут, а придем мы – мало кто винтовку брать торопится. В Сызрани хоронили двух наших юнкеров, погибли в бою. Большая толпа собралась, и Мейрер к ним после погребения с речью обратился. Призывал присоединиться к Народной армии и общими усилиями сбросить большевистское иго. Стоят, молчат, а на рожах тупых так и написано: «Пой, малец, пой, но нас не проведешь. Еще неизвестно, чья верх возьмет. Мы уж подождем». Когда разошлись все, трое юношей, ну вот как я, подошли, словно стеснялись чего, попросили в армию их записать.

В Казани того хлеще. Все на красных жалуются, когда уходили, множество офицеров и интеллигенции расстреляли, еще в соборе семнадцать гробов стоят, а волонтеров, считай, нет. Все та же песня – «дай бог, меня не тронут».

– И это притом, что в Казани в то время находилась Академия генерального штаба, которую большевики вывезли из Петрограда сначала в Екатеринбург, а потом в Казань, – вступил в разговор подполковник. – При бегстве красных академию они вывезти не успели, и она вроде бы как попала к нам в плен. Четыре профессора, занимающих на Великой войне должности командира полка,

около двухсот молодых офицеров обучающихся, все тоже из бывших на войне. Было бы совершенно естественным, чтобы академия приступила к формированию, например, своей собственной дивизии на усиление Народной армии и чехов. В людском материале в Казани недостатка не было. Дивизия бы получилась отборная, с исключительным командным составом. Вместо этого по предложению начальника академии генерала Андгорского было принято решение вернуться в Екатеринбург и приступить там к научным занятиям по ускоренной подготовке штабных офицеров. К семьям, как просто и доверительно сказал мне тогда один из профессоров. Малодушие и надежда на авось в который раз взяли верх.

– А вот я где-то читал, что в Англии женщины мужчинам в штатском белые перышки вручают, своего рода знак трусости. Почему, мол, не на фронте? Вот бы и нам тоже такую штуку ввести, – улыбнулся гардемарин. – Как по-вашему, господа, подействовало бы?

– Да наших кретинов, подлецов эдаких хоть всех перьями, как северо-американских индейцев, облепи, – махнул рукой Мейбом, – ни до совести, ни до разума не достанешь...

– Печально все это, – поскреб небритый подбородок Киржаев. – Спасаемся пока только дисциплиной да выучкой. Бьем своих большевиков, как говорится, не числом, а умением. Но хватит ли нас, чтоб московских побить?

– В том-то и дело, господин Киржаев, что не знаю как другие, а я уже чувствую за этой бесформенной полупьяной толпой организующую силу. И силу крепнущую. Господин Троцкий, которого мы едва не поймали, и господин Ленин времени зря не теряют. В чем-в чем, а в упорстве им не откажешь, – вздохнул Мейбом. – Все же оттеснили они нас к Уралу, хотя это и не глобальная неудача. За нами вся Сибирь и Дальний Восток, необозримые пространства, огромные запасы продовольствия, людские резервы. К сожалению, их пока не клонул крепко в задницу большевистский петух, но в том случае, если мы изначально начнем побеждать, воевать они будут неплохо. В общем, шансы у нас достаточно хорошие.

И потом, вы заметили, господа, нынешняя война какую-то нервность, порой лихорадку просто в людях породила. Чудовищные скачки от безумного отчаянного порыва к безоглядному страху и так же обратно. Тактика сошла на самый примитивный уровень, с Великой войной никакого сравнения даже делать нельзя. Так что все в значительной степени может зависеть от одного удачного удара. Все решит будущий девятнадцатый год...

* * *

Однако и уходящий 1918-й принес под занавес еще несколько знаменательных событий как российского, так и общемирового масштаба.

В ночь с 4 на 5 октября 1918 года президенту Соединенных Штатов была отправлена следующая телеграмма: «Германское правительство просит президента Соединенных Штатов предпринять шаги к восстановлению мира, уведомить все воюющие державы об этой просьбе и пригласить их делегировать уполномоченных для начала переговоров. Германское правительство принимает в качестве базиса мирных переговоров программу, изложенную президентом Соединенных Штатов в его послании конгрессу 8 января 1918 года... Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, германское правительство просит о немедленном заключении перемирия на суше, на воде, и в воздухе».

10 ноября кайзер Вильгельм бежал в Голландию, в тот же день в вагоне французского маршала Фоша германские уполномоченные подписали все условия, выдвинутые им представителями Антанты. Первая мировая война была окончена.

В Париже, Лондоне, Вашингтоне, Нью-Йорке, Риме – всюду, как только приходила потрясающая весть, громадные толпы собирались на улицах, и до поздней ночи шли бурные манифестации.

Пришедшее с некоторой задержкой сообщение об этом событии вызвало немало волнений и горячих споров и в офицерском отделении госпиталя в Новониколаевске.

Кроме находящихся в забытьи тяжелораненых и больных сыпным тифом в обсуждении этих событий и самое главное – последствий, которые они могли бы вызвать, приняли участие практически все находящиеся в то время на лечении офицеры. Затуманивались мысли о болезненных перевязках, уколах, ноющих ранах, долгом отсутствии писем от родных. Боль душевная была так сильна, что зачастую пересиливала боль физическую. Еще недавно тихие, почти домашние беседы достигали митингового накала, когда в порыве страстей голоса рвались к небесам, а руки – к отсутствующим револьверным кобурам. Сами собой сложились две примерно равные партии – одни были убеждены в том, что Антанта немедленно начнет массированный поход против большевиков и введет в Россию свои дивизии, другие считали, что ничего подобного не произойдет и вполне обоснованно считающие нас предателями союзники никакой помощи гибнущей стране не окажут.

– Теперь большевики остались один на один со всем цивилизованным миром, и он сотрет их в порошок, причем моментально. Можете не сомневаться, уважаемый! – почти кричал молоденький прапорщик Вавилов, тыча в собеседника загипсованной по самое плечо левой рукой. – Они должны понимать, что предали их не мы, не Россия, а большевики. Именно они подписали Брестский мир. Да они нам просто обязаны помочь, как благородные люди. Ведь на какие жертвы пошли мы в 14-м году, спасая Париж от тевтонов? А затем в 15-м и 16-м, когда немецкие войска на себя оттягивали. Нет, господа, не возражайте мне. Англичане и французы – это высококультурные нации и помогут нам обязательно.

– Культура и политика вещи разные, и в последней такое слово, как благодарность вообще не используется, – отодвигаясь подальше от загипсованной руки прапорщика, рассудительно отвечал ему лишь недавно пошедший на поправку после возвратного тифа в прошлом приват-доцент по кафедре истории русского права в Киевском университете, а затем пехотный подпоручик Владимир Песоцкий. – Конечно, с точки зрения непосредственной

опасности большевизма как разлагающего общества фактора они будут обязаны каким-то образом оградить свои страны от его проникновения. Создадут, скажем, пограничные кордоны из дружественных им стран-сателлитов – в Украине и Прибалтике, обеспечат их вооружением, инструкторами. Да ко всему прочему они сейчас при всей своей действительно огромной мощи просто не в состоянии это сделать. Их солдаты устали от войны точно так же, как и наши, бросившие фронт еще в 17-м. И, может быть, вы слышали, что и у французов тогда едва не произошло то же самое. Были крупные беспорядки в их частях. Некоторые полки даже пытались двинуться на Париж, но, в отличие от нас, это выступление было энергично подавлено их премьер-министром Клемансо. В частях были введены военно-полевые суды, зачинщиков мятежей расстреляли, только в Париже арестовали больше тысячи человек, в том числе несколько министров.

И вот этих солдат послать в Россию бороться с большевиками? Да они тут же своих офицеров переколят и с братишками самогон пить усядутся по случаю отсутствия красного вина.

– Не смешно.

– Да и мне не особенно весело, но факт, что тут делаешь. Кстати сказать. Будь у них и абсолютно дисциплинированные солдаты, а у англичан, по крайней мере, они есть, они и таких усмирять большевиков не пошлют.

Во-первых, потому, что надеются, что большевизм исчезнет сам по себе либо переродится в подобную им социал-демократическую систему, а во-вторых, большевики ведь для нас с вами варвары, узурпаторы и тому подобное, а для них – это партия социалистов-революционеров, осуществляющая смелый эксперимент в отсталой стране. Что в этом плохого? Пойди на таких войной, в палате лордов, может быть, и поддержат, а вот всякие там тредюнионы – вряд ли. Такая буча начнется, что и министерских постов можно будет лишиться. А зачем? Из-за какой-то там северной разновидности папуасов?

– Ну хорошо, – встал с койки и вышел из палаты к Песоцкому и Вавилову уже давно и внимательно слушав-

ший разговор в коридоре Мейбом. Вслед за ним поднялся со своего места и Киржаев. – Хорошо. Но ведь тот, кто в такой тяжелой ситуации спасет Россию от разбойников, на долгие годы станет ее первым другом и партнером, всегда сможет рассчитывать на ее поддержку, на выгодные условия в закупке нашего хлеба, масла, леса и разных других остро необходимых Европе материалов. Будь это Англия, Франция, Америка, да та же Германия. Наладили бы и с ней отношения. В конце концов мы могли бы просто заплатить им за это, и заплатить неплохо. Разве это не было бы разумной и выгодной политикой со стороны Запада?

– Это верно. На сделки они горазды, – подтвердил голос тяжелораненого офицера из другой палаты. – Простите, господа, встать и подойти к вам не могу, но и удержаться от замечания – тоже. Хочу сказать, что на сделки они, особенно такая торгашеская нация, как англичане, и особенно американцы, конечно, горазды. Только зачем им с нами договариваться – с большевиками-то это попроще станет. От немцев они в 17-м откупились и точно так же от англичанки с лягушатниками-французами откупятся. Им русской земли не жалко. Англичане уж сколько зубы на наш Кавказ да Туркестан точат. Французам небось Севастополь подойдет. В Крымскую войну не достался, так теперь заберут. Япошкам и Америке – Приморье. В общем, Россия большая, на всех хватит. А большевики будут в Москве княжить, как Иван Калита в четырнадцатом веке. И будет у нас опять не Россия, а Московия.

– Так, а мы с вами на что? – поинтересовался сразу у всех Михаил. – Самим нам неужели с этим отребьем не справиться? Ведь били их уже и опять побьем, возможности для этого пока не исчерпаны. Не зря ведь говорят: побежден тот, кто считает себя побежденным.

– Так-то оно так, только вот одно но, – поморщился бывший приват-доцент. – Как военный человек вы, господин штабс-капитан, знаете, что победа возможна только при наличии четкой единой цели и едином командовании. И где это у нас? Хоть то, хоть другое? А учитывая, что в нашем нынешнем Сибирском правительстве людей,

относящихся к большевикам с пониманием, хоть отбавляй, победа наша и вовсе становится делом проблематичным. Но и ужиться с большевиками таким, как мы с вами, будет, конечно, трудно, если вообще возможно. Так что не знаю, как вы, господа, – вздохнул Песоцкий, – а я все больше подумываю о возможности эмиграции. И уехать хочу как можно дальше – в Австралию, допустим, либо в Новую Зеландию. Там народу мало, а земли много. Революции не будет. В Европе же и Америке вы никогда не будете уверены, что коммунизм за вами не последует. Они слишком перенаселены.

– Ну уж нет, – упрямо мотнул головой Киржаев. – Ни в какую Новую Зеландию я лично не поеду. В родном краю – сокол, в чужом – ворона. А что касается большевиков, так мы с ними еще потягаемся. Дай бог и у нас вожди не хуже, а лучше Ленина с Троцким найдутся.

* * *

Спустя всего несколько дней слова Михаила Киржаева получили подтверждение. Офицерские палаты вновь «замитинговали», и повод для этого был для русских офицеров ничуть не меньшим, чем весть о капитуляции Германии.

Не один раз перечитывалось вслух это сообщение, и недостатка в желающих его послушать не наблюдалось:

– «Ввиду тяжелого положения государства и необходимости сосредоточить всю полноту верховной власти в одних руках Совет министров постановил передать временно осуществление верховной государственной власти адмиралу Колчаку, присвоив ему наименование Верховного правителя». – Трофимов закончил читать и скользнул взглядом по газетной полосе. – А вот еще. Так, так...

– Чего там – так-так? – возвысил голос Мейбом. – Читайте, гардемарин. Не испытывайте нашего терпения.

– Уже читаю, господин подполковник. Так-так... «Всероссийское Временное правительство распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу Колчаку. Приняв крест этой власти в

исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройтва государственной жизни, объявляю, что я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание бое-способной армии, победу над большевизмом и установле-ние законности и правопорядка, дабы народ мог беспре-пятственно избрать себе образ правления, который он по-желает, и осуществить великие идеи свободы, ныне про-возглашенные по всему миру. Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к труду и жертвам! Верховный правитель адмирал Колчак. 18 ноября 1918 года. Город Омск».

– А кто, собственно, этот Колчак? – после паузы спросил Киржаев. – Я лично, господа, почти ничего об этом человеке не знаю кроме того, что он в войну отличил-ся на Балтике и Черном море. Подскажите, гардемарин, это ваша епархия.

– Да, это действительно так, – обычно улыбающее-ся лицо Трофимова в этот раз было сосредоточенным и выглядело старше обычного. – Адмирал Колчак действи-тельно отличился в боях на Балтике и Черном море. Он ми-нер мирового класса, каких по пальцам посчитать во всей Европе и Америке. Воевал с японцами, участвовал в по-лярных экспедициях, можно сказать, человек-легенда. Но не это сейчас главное...

– А что?

– Я знаю, что после большевистского переворота он уехал из России, слышал, что вступил в английскую армию, но потом вернулся на родину. В газетах недавно писали, что Сибирское временное правительство передало свои полномочия уфимской Директории, которая еще в октя-бре перебралась в Омск. Буквально в последние дни Ди-ректория добилась упразднения всех местнических прави-тельств на территориях, свободных от большевиков, здесь, на Востоке. Образовалось наконец-то единое правитель-ство с представителями партий демократической и социа-листической ориентации, и Колчак в нем занял пост воен-ного и морского министра. И вот такой оборот... Так-так...

– Что так-так?! – опять не выдержал Мейбом. – Что вам, судя по тону, господин гардемарин, в этом событии не по душе? Ведь наконец-то у нас вождь появился.

– Мне не нравится то, что он по сути узурпатор и к тому же, что очевидно, иностранный ставленник, – сухо и раздельно ответил Трофимов. – Это наше дело, внутреннее, сами разберемся. А их только к нашему пирогу пусти, объедков потом не найдешь. Я лично пошел воевать против диктатуры, которую представляют большевики, но во все не за другую диктатуру, а за революционные завоевания народа, погранные Лениным и Троцким. Разницу, надеюсь, понимаете. И попрошу вас, господин подполковник, впредь голос на меня не повышать.

В палате наступила долгая тишина.

– На флоте он, возможно, и полубог, – сказал наконец Киржаев. – Но, как я понимаю, ни в управлении гражданскими делами на такой огромной территории, как Сибирь и Дальний Восток, ни самое главное – в командовании сухопутными войсками у него нет никакого опыта и...

– Все это, конечно же, так, – перебил его подполковник, старательно не глядевший в сторону Трофимова. – Но поймите же вы все, что это не главное. Теперь у нас есть вождь, без всякого сомнения, хороший организатор, человек военный, а значит привыкший к порядку и умеющий твердо идти к намеченной цели, не охая при каждой мало-мальской неудаче, не вступая по этому поводу в длительные дебаты с самыми разнообразными болтунами самой разной партийной принадлежности. Проще говоря, практик, а не болтун. И потом, – он повернулся к Трофимову, – прошу вас извинить меня, гардемарин, если я был в отношении вас несколько несдержан, но вы ведь сами читали обращение Колчака. И там, не помню дословно, говорится, что он ставит себе целью создание боеспособной армии для уничтожения большевиков, а потом народ – пусть сам выбирает, кто и в какой форме должен им управлять. Что же тут плохого? Или, может быть, вы, военный человек, скажете мне, что без единоначалия возможна хоть одна стратегическая победа. А? И если уж совсем на

прямоту – то да, я лично считаю, что настало время перестать баловаться в демократию, отобрать у населения эту опасную игрушку. Да, будут недовольства интеллигенции по поводу отсутствия свободы, выступления рабочих и деревенских голодранцев по поводу отсутствия хлеба. Надо перетерпеть, не в первый раз. Надо бороться, и все понемногу уляжется, вернется на круги своя. Появится в достатке хлеб, и очень скоро вся нынешняя словесная и декретная шелуха забудется, как дурной сон.

– Кстати, господа, обратите внимание на дату – это ведь не что иное, как счастливое историческое совпадение, – вступил в становившийся все более напряженным разговор уже некоторое время стоящий в дверях подпоручик Песоцкий. – 18 же ноября 1799 года, по революционному календарю 18 брюмера, Наполеон сверг Совет пятисот и с этого дня начал править Францией единолично. Буквально через месяц была готова новая конституция, за которую проголосовали абсолютное большинство французов. В какие-нибудь полгода справился с разбоем, применив жестокие меры. Захваченных разбойников убивали на месте, казнили и тех, кто дает пристанище шайкам или перекупает у них награбленные вещи, или вообще находится с ними в сношениях. Были посланы отряды, которые беспощадно справлялись не только с бандитами и их помощниками, но и с полицейскими, виновными в попустительстве или в слабости и бездействии власти.

А потом он взялся и за мятежную Вандею с ее прекрасно организованной и вооруженной англичанами армией шуанов. Но уже и с кнутом, и с пряником. С одной стороны – усилил действующую против них армию, с другой – обещал амнистию тем, кто немедленно сложит оружие, и, наконец, лично, хоть и не особенно удачно, встретился со знаменитым предводителем шуанов Жоржем Кадудалем. В итоге всего за год добился умиротворения этой мятежной провинции.

– А вот с испанскими крестьянами, с повстанцами-герильерами не справился, – повернул лицо от стены Вырубов и, туго ворочая языком, продолжил: – Они на смерть

без страха шли, и сотни тысяч французских гренадеров с ними ничего поделаться не смогли. И чем вообще для Франции буонопартово правление закончилось? Полным военным поражением, чудовищными жертвами, разорением и унижением страны.

– Испанские герильеры головы на алтарь отечества клали, – стукнул кулаком по спинке кровати Мейбом. – А у большевиков вместо Отечества притон воровской, а вместо алтаря портрет немецкого жида Карла Маркса.

– И Колчак наверняка не Наполеон, – заметил Трофимов. – Буонопарты раз в триста лет рождаются, и до России очередь, похоже, не дошла.

– Поживем – увидим, – буркнул Мейбом. – Но я думаю, господа, что при всем при том мы, боевые офицеры, должны сохранить наше братство. Нас не так много здесь, за Уралом, чтобы идти в разные стороны. Хочу сказать, что мои монархические идеи не разделяет не только присутствующий здесь господин Трофимов, но и двое из трех моих братьев. Тем не менее Григорий сейчас воюет с красными в драгунском полку, воюют с ними Борис и Эрнест, несмотря на свою гуманную профессию врача. Думаю, они не перестанут делать этого и узнав о том, что у нас, наконец-то, появился вождь, наше боевое знамя. И если единой политической цели у нас нет, то пусть хоть географическая останется – Москва. Возьмем ее, тогда и с остальным все как-нибудь образуется.

* * *

Воспользовавшись уходом с фронта чехословацких частей, которым после капитуляции Австро-Венгрии 4 ноября 1918 года просто не имело смысла воевать с кем бы то ни было в России, войска Красной армии на Восточном фронте начали наступать. Однако военная удача в эти дни вела себя как дама капризная и переменчивая, улыбаясь поочередно то белым, то красным. 7 ноября большевики заняли мятежный Ижевск. Вскоре после этого – Белебей, но затем после упорных боев вновь отдали его белым. Ранним утром 29 ноября колчаковцы, сосредоточив свои

силы, начали наступление. 21 декабря ими был взят Кунгур. 24 декабря белые ворвались в Пермь, произвели сильный переполох, захватили обозы 29-й стрелковой дивизии и ее артиллерию в количестве 33 орудий, и, открыв из них огонь, еще более увеличили всеобщее смятение. Ими было взято в плен 20 тысяч красноармейцев, и всех их по приказу генерала Пепеляева отпустили по домам. Поскольку взятие Перми пришлось как раз на 128-ю годовщину взятия крепости Измаил Суворовым, солдаты прозвали своего генерала «Сибирским Суворовым».

Затем наступил черед красных. 31 декабря 1918 года ими была занята Уфа, отбит Белебей. 22 января они вошли в Оренбург, а 24 января штурмом овладели Уральском. Главная заслуга во взятии этого города принадлежала 25-й дивизии, которой командовал ставший уже легендарным Василий Чапаев. Войска красного восточного фронта подходили к естественному барьеру – Уральскому хребту, который один только отделял от них жизненные и политические центры «Колчакии», и преодоление ими этой преграды создавало для этих центров уже прямую угрозу.

* * *

Киржаев закончил бриться, аккуратно обтер мокрым полотенцем лицо и вновь взглянул в зеркало. Черные шальные глаза на иссушенном, посеревшем лице, две глубокие морщины у рта, бритый наголо череп. Медленно провел пальцами по багровому шраму, сползающему со лба к переносице, а затем через щеку к шее. Взглянул привычно на другой след войны – сизый, будто выцветший от времени шрам на шее – память о Карпатах.

«Одну отметину австрияки мне поставили, другую – свои же казачки, – с острой, незнакомой ему прежде жалостью к самому себе подумал Михаил. – Прямо как в сказке про аленький цветочек. Зверь лесной, чудо морское и дочь купеческая, красавица писаная. Только вот с меня заклятье сатанинское никто уж не снимет и принца молодого, красавца писаного, ни при каких обстоятельствах из меня не получится».

– То, что головные боли вас больше не беспокоят, не означает, что они наверняка не возобновятся в будущем, – сказал ему несколько дней назад, быстро и цепко ощупывая длинными пальцами череп Михаила, строгий доктор с любопытными птичьими глазами. – И когда это может произойти – через месяц, год, три года – вам не скажет никто. Вообще с таким ранением вас, уважаемый, следовало бы стопроцентно комиссовать. Как смотрите на такое предложение?

– Пока отрицательно, – ответил ему Киржаев и честно добавил, что если голова опять начнет болеть, как раньше – в строю, он, конечно, не выдержит, но пока воевать вроде бы можно.

– Смотрите, мобилизации вы не подлежите и мы вас на войну не гоним. – Птичеглазый закончил осмотр и пошел к раковине мыть руки. – Вам-то самому она еще не надоела? Дома не заждались?

Когда он ушел, Киржаев подумал об отце. Делал он это редко, поскольку, возвращаясь мыслями в Славгород, обычно видел в них Катю и только ее.

«Один из них хвастался, как вашему отцу все зубы выбил», – вспомнил он слова Олизко и помрачнел больше обычного: «Не знает ведь тоже ничего про меня. Думает, наверное, что погиб сынок. Если, конечно, сам жив, писем-то и от него нет... Эх, ладно, нечего душу зря травить. Отлежусь еще немного, оформлю отпуск, поеду в Славгород. Там на месте ясно станет, как дальше жить...».

– Простите за назойливость, Трофимов, – повернулся он к примостившемуся у тумбочки с пером и бумагой гардемарину, – пока Федора Федоровича нет, хотел спросить вас, какая кошка между вами пробежала? Не разговариваете последнее время, друг друга стараетесь не замечать. Вы же оба офицеры, честные порядочные люди, кровь за общее дело пролили. Что случилось?

– Да ну его, – отмахнулся гардемарин. – Типичный солдафон ваш Мейбом.

Он немного помолчал, словно собираясь с мыслями:

– Понимаете, как человек Федор Федорович мне

просто нравится. Он действительно хороший порядочный человек и офицер настоящий, каких поискать, я об этом здесь от других волжан слышал. Но консерватор господин подполковник до мозга костей. Не может, а точнее – не хочет понять, впрочем, как и множество других, что России, какой она была до 17-го года, больше никогда не будет. Ни-ког-да. Не вернуть этого никакими силами. Нужно жить в новом мире, по его законам, более гибким, нежели прежние. А у них весь мир все так же в два цвета окрашен, черное-белое, полутонов не признают. И аргумент их правоты один – сила. А ведь есть и другие пути.

– А вы что же, считаете, что можно вести какие-либо переговоры с большевиками? Вы это имеете ввиду? – изумился Михаил.

– А почему бы и нет? – спокойно ответил Трофимов. – Переговоры можно вести с кем угодно, а большевики ведь не марсиане какие-нибудь – наши с вами соотечественники. С ними нельзя было вступить в переговоры, пока мы были слабы – с такими никто не будет разговаривать. Другое дело теперь, когда мы обладаем реальной силой и территорией.

– И о чем же с ними можно теперь говорить? – начал закипать Киржаев. – О коалиционном правительстве? Новых выборах в Учредительное собрание?

– Вполне допускаю. Это в любом случае лучше, чем продолжать братоубийственную войну. На определенном этапе без этого было не обойтись – теперь можно поискать другие, мирные пути для установления в России приемлемого для ее большинства правления.

– Послушать вас, Трофимов, так вы не морское училище, а философский факультет окончили. Слова как грибы на нитку цепляете, и все-то ровно у вас выходит. Не боитесь про переговоры с большевиками говорить, очень ведь многим такие ваши слова не понравятся?

– Нет, не боюсь, и ничего предосудительного в своих словах не вижу. Что же касается грибов и ниток, так я из профессорской семьи. Бывает и такое, знаете ли. Художественная литература – Вольтер, Руссо. Поневоле вольнодумством заразишься.

– Все бы вам шутить, Николай. А я вот какую штуку расскажу. Вчера от одного офицера в курилке слышал. Незадолго до того, как наши взяли Екатеринбург, в городе Камышлове, что неподалеку, чекисты вывели на площадь заложников: директора местной гимназии Максимова, бывшего члена Государственной думы Васильева, других уважаемых людей и устроили форменный аукцион. Предложили родственникам заложников их выкупить. Одних в десятки тысяч оценили, других в сотни рублей. Каждому человеку свою цену определили. Торговались как на базаре, обещая, коль не заплатят, расстрелять. Но обошлось – купили всех... И вот с этими разбойниками вы предлагаете о чем-то договариваться?

– Позвольте вопросом на вопрос: почему вам ничуть не показалась странной и унижительной встреча Наполеона с предводителем шуанов Кадудалем, тогда как мое только лишь предположение о возможности переговоров с большевиками кажется вызывающим, а то и предательским?

– Как-то не думал над этим, – растерялся Михаил. – Да ну вас в самом деле, вас не переговоришь. Скажите вот лучше, что вы там кропаете – письмо своей девушке?

– Почти угадали, – рассмеялся Трофимов. – Действительно девушке, только не совсем моей. Я, знаете, в Сарапуле, когда мы его отбили у большевиков, познакомился с одной очень хорошенькой подавальщицей в чайной и уж сам не знаю зачем выпросил у нее адресок. А тут вот увидел в «Ниве» еще за 15-й год одно стихотворение в форме письма и решил его ей послать в шутку. Как вам покажется? – гардемарин расправил плечи, вскинул подбородок и, выбросив вперед руку с зажатым в ней листком, принялся декламировать:

*В тылу, в окопах и атаке,
В вихре славных дней борьбы,
В жестокой рукопашной драке
Средь пушек и ружей пальбы.*

*Когда готовлюсь выйти к бою,
Всегда стоишь ты предо мною.
Я, видишь, здоров и невредим,
Чего тебе всегда желаю.*

*Бывает, иногда скучаю
По любящим очам твоим.
И знаешь, друг, моя тоска
Бывает очень велика.*

*Тебе я верен навсегда,
В разлуке мы, да не беда!
Судьба друзей двух различает,
Но крепко их сердца сплетает.*

*Обрадуй весточкой желанной,
Обрадуй, милый ангел мой,
Настанет часик долгожданный,
Когда вернуся я домой.*

– Ну как? – закончив читать, поинтересовался Трофимов.

– Не поручик Лермонтов, конечно, но подавальщице в чайной наверняка должно понравиться. Только вот дойдет ли письмецо, в Сарапуле-то сейчас большевики, почтовое сообщение нарушено.

– Не знаю, говорят, некоторые письма доходят. Попрошу сестричку отнести на почту, а там уж как бог даст.

– А вдруг дойдет, – усмехнулся Михаил. – Не боитесь девушку в напрасные ожидания ввергнуть? Там же и «любящие очи», и «милый ангел мой». Еще чего доброго ждать вас примется.

– Пусть ждет, – по лицу гардемарина скользнула необычная для него печальная тень. – Говорят, что когда ждут тебя, больше шансов в живых остаться.

– Так что же, вас кроме этой мало вам знакомой девушки и ждать некому? Ну а дома отец, мама – они разве не ждут?

– Дома точно не ждут. Отец с мачехой еще до большевистского переворота отбыли за границу, и где они там обосновались, не знаю, поскольку весточек от них не получал.

– А вы что же с ними не поехали? – с проскользнувшей в голосе желчью спросил Киржаев. – Там ведь милая вашему сердцу социал-демократия правит, дышали бы воздухом свободы в кругу цивилизованных людей.

– Может быть, и поеду когда, – будто не замечая насмешки, спокойно ответил Трофимов. – Только не сейчас. Стране моей, знаете ли, плохо, не хочется ее одну в такое время оставлять.

Михаил взглянул на аккуратно подстриженный затылок опустившего голову моряка и подумал, что такого парня он был бы не против иметь в числе своих друзей. Но судьба, как это часто бывает, распорядилась иначе.

* * *

В первых числах нового 1919 года из госпиталя выписали прапорщика Вырубова. Неоднократные визиты подполковника Мейбома к начальнику госпиталя принесли свои плоды. Им удалось разыскать адрес молодой жены Вырубова в Нижнеудинске и послать ей письмо, от чего сам прапорщик отказывался наотрез, несмотря ни на какие уговоры и не объясняя причин. Которые, впрочем, и без всяких объяснений были понятны любому...

Молоденькая, курносая, заплаканная, очень хорошенькая и очень твердая в своем решении женщина ни в чем не упрекнула своего мужа, как и не стала слушать его несвязной речи о том, что теперь, после всего случившегося, ей нужно забыть о нем и устраивать свою жизнь с кем-нибудь другим. Она просто поцеловала прапорщика в обмотанное застиранными бинтами лицо и увезла домой. А на его койке обосновался новый постоялец – раненный и обмороженный в одном из жестоких январских боев под Уфой, круглолицый, чуть полноватый, но очень быстрый в движениях подпоручик Евстафьев.

По просьбе своих соседей по палате, двое из которых – Трофимов и Мейбом – готовились к выписке, а потому особенно интересовались тем, что происходит на фронте, он поведал о зимних боях последних дней 18-го и начала 19-го годов, в которых ему довелось участвовать. Человек, не знакомый с фронтовыми буднями, из рассказов подпоручика наверняка вынес бы заключение, что война – очень интересное, завлекательное и попросту комическое дело, и остается только удивляться, как это сам рассказчик оказался на больничной койке с пулей в плече и обмороженными ногами.

– Потери были больше от морозов, чем от боев, и у нас, и у красных, – говорил набившимся в палату офицером подпоручик. – Во втором батальоне нашего 32-го Прикамского полка был случай, когда у многих ноги примерзли к подошвам ботинок. Все, что требовалось, мы тогда сделали, но обмороженными потеряли едва не половину батальона. Приходилось теплое обмундирование добывать самыми иезуитскими способами. Как-то нас вывели ненадолго в резерв, а на смену поставили 43-й Уральский полк. Это было днем, а ночью красные лыжники появились около деревни, где стояли уральцы, обстреляли ее, и весь этот полк кинулся бежать в тыл, бросая валенки и полушубки. Прикамцы заняли околицу деревни и прогнали красных, капитан Турков-первый сообщил в донесении, что атаку отбил, взял много полушубков и валенок и теперь полк оденет.

Подождав, пока офицеры отсмеялись, Евстафьев продолжал:

– Вообще воевали мы, конечно, самым кустарным способом, тактика была примитивная, подготовка офицеров к службе на новых должностях практически никакая – ни стажа, ни опыта, один напор. О солдатской маске в ее большинстве и говорить не приходится. На Рождество красные ночью атаковали Бирск – это в ста верстах от Уфы. В городе загорелся винный склад, который охранял магометанский батальон, и батальон этот, не глядя на заветы Корана, весь перепился. Мороз был крепкий, многие

из них попросту замерзли. Потеряли мы там около пятисот человек, из них только около ста убитыми, остальные или пьяными в плен попали, или замерзли.

От мобилизованных крестьян вообще вреда оказалось больше, чем пользы. Прислали их нам сразу восемьсот человек, и тут же пошла среди них агитация, чтобы офицеров бить, воевать не надо и так далее. Как-то ночью большевики выбили нас из окопов. Позже положение восстановили, но ни одного мобилизованного в полку не осталось – все перешли к красным. Не жалко было их, жалко винтовок. Других мобилизованных наш командир подполковник Молчанов попросту по домам распустил, сказал, что если красные их к себе заберут, результат такой же будет. Уж больно у них душок плохой.

– Простите, – перебил его Киржаев, – вы упомянули подполковника Молчанова. Его случайно не Викторин Михайлович зовут? Он в Великую войну инженерной ротой в третьей Сибирской дивизии командовал?

– Вроде бы да, хотя точно и не знаю... – сморщил лоб подпоручик.

– Про газовую атаку на Бзуре он ничего не рассказывал?

– Ну как же. Рассказывал.

– Значит, это он, – вздохнул Киржаев. – Повезло вам, подпоручик, с командиром. Ничего он не рассказывал, что с ним после февраля случилось?

– В самых общих чертах. В конце кампании эвакуировал в тыл корпусное имущество, на какой-то станции прихватили их немцы. Они с товарищем сколько могли отстреливались, потом Молчанова гранатой ранило, попал в плен. Когда большевики Брестский мир подписали, он уже немного подлечился и от тевтонов улизнул. Отправился к брату в Елабужский уезд, есть у нас такой в Поволжье. Это знаете где?

– То ли не знаем, – махнул рукой Мейбом. – Рассказывайте дальше.

– Так, дальше. Прибыл на место, там красные подразверстку затеяли собирать, а крестьяне против них

самооборону налаживать. Вот волостной сход и попросил Викторина Михайловича такой отряд возглавить. Он рассказывал, что выглядела их Алпашская дружина словно войско Стеньки Разина – самопалы с раструбами на концах, кривые сабли, берданы... На полторы сотни человек шесть винтовок да несколько охотничьих ружей, зато злости на новую «народную» власть без краев. Разгромили продотряд – захватили два пулемета и два десятка винтовок, и пошло-поехало. Стал командовать всеми крестьянскими силами уезда, а когда за Каму нас оттеснили, я тогда уже в этом отряде воевал, стали уходить к Колчаку. Потом зима, бои, из отряда стали мы 32-м Прикамским полком, а господин подполковник его командиром. Вот и все.

– Да-а, – протянул Киржаев, – хоть здоровье мое сейчас и оставляет желать лучшего, а к такому, как Молчанов, я бы хоть сейчас под командование поехал.

– Так в чем же дело? – улыбнулся подпоручик. – Вас ведь пока из госпиталя не выгоняют, да и на фронте серьезных дел нет. Подождите, пока я немного поправлюсь, вместе и поедем. Все интересное весной начнется. Нас ждут большие сраженья и победоносное наступление.

– Думаете, стоит? – пошутил Киржаев, у которого после услышанного от подпоручика заметно улучшилось настроение. – А некоторые вот считают, что с большевиками договориться можно, миром все решить, жить по-братски в одной стране. Они армию развалили, похабный Брестский мир подписали, предали нашу державу, а мы с ними по-братски. Как вы на это смотрите?

– Мириться я с большевиками не собираюсь, и Брестский мир для меня тоже похабный, но вот что касается развала армии, то тут куда больше наши либералы постарались. Неужто вы забыли о приказе номер один марта 17-го о демократизации армии?

– Такое забудешь, – вздохнул Мейбом. – Солдатам и офицерам равные гражданские права, оружие в распоряжение солдатских комитетов. После такого приказа ни одна армия в мире боеспособной бы не осталась. А в мае Керенский добавил свою декларацию прав солдата, оставив

офицеров совсем без прав и вовсе армию похоронил. Офицеры, о присутствующих не говорят, стали ходить как гуси ощипанные – своего солдата больше немца бояться.

– То-то и оно, – приподнялся на койке Евстафьев. – Я благодаря своему характеру два раза из-за этого сволоченного приказа пострадал, мог вообще без головы остаться. Сразу после училища прапорщиком попал в запасную бригаду в Москву, так судьба выпала. В первый же день службы прихожу в казарму. На дворе восьмой час, подъем по расписанию в семь, но все солдаты поголовно спят. Нашел наконец дневального, приказал ему позвать взводного командира.

Тот приходит заспанный, зевает, расстегнутый до пупа. Заставил его привести себя в порядок и спрашиваю, сделали ли перекличку. Нет, говорит, солдаты еще спят. После училища для меня это было просто чудовищно слышать. Смотрю, некоторые начали просыпаться. Приказываю встать – никакого результата. Один смотрит на меня с верхних нар и лениво так говорит:

– Молодой еще. Думает, слушать его будем...

Тут у меня как полыхнуло внутри... Ах ты ж! Вырвал у дневального метлу, да по физиономии этой наглой как смазал от души. А потом и другому, и третьему. Эффект был поразительный. Вскочил весь барак словно по команде. Быстро оделись, побежали строиться. Провели кое-как перекличку и снова поразительное дело. Почти шестьдесят офицеров в бригаде на то время было, и ни один на построение не пришел. Зато потом началось...

– Что вы сделали?! Вы ударили солдата!

– Так он ведь надо мной откровенно насмеялся...

– Вы не правы, у нас революция, нужно быть потише. Вы подводите других.

А другие эти, – у Евстафьева даже слезинки на глазах выступили, – попросту руку мне боялись подать, так собственных солдат страшились, а потом и вовсе на фронт меня отправили, чему ничуть не огорчился. Только и на фронте такая же катавасия началась, в ноябре 17-го опять бежать пришлось, теперь уж домой, в Елабугу. Летом к Молчанову в отряд вступил.

– Если уж до конца быть объективными, нужно признать, что к развалу армии сами офицеры руку приложили. Не все, конечно, но и таких хватало, – заметил после недолгой паузы привычно облокотившийся на дверной косяк подпоручик Песоцкий. – Во время летнего наступления 16-го года наша 11 армия заняла среди прочих местечко Радзивилл, это на самой границе с Австро-Венгрией. Хорошо помню все, что там увидел, потому что лишь незадолго до этого прибыл на передовую, и впечатления были особенно яркими. Не могу вам о них не поведать.

В городке уже не было ни одного жителя. Почти на каждом дворе летал пух из вспоротых подушек и перин. Ни в одной квартире не остались не вскрытыми сундуки и шкафы. Мебель, посуда – все ломалось, коверкалось. Обшивку мебели – плюш, бархат, кожу – сдирали: одни на портянки, другие на одеяла, третьи просто так, озорства ради.

Офицерство всех батальонов занялось ревизией оставленного жителями местечка имущества. Когда я зашел уже к знакомому мне командиру батальона Савицкому, застал его в шикарном особняке сидящим на корточках около большого комода за разборкой дамского белья.

– Зачем вам это, Николай Федорович? – спросил я.

– В хозяйстве всякая вещь сгодится.

Во втором батальоне подполковник Приезжев, считавшийся интеллигентным офицером, нагрузил вещами несколько повозок и давал инструкции своим денщикам, как с этими повозками добраться до Тулы. С легкой руки офицеров и солдаты стали набивать свои вещевые мешки всяким барахлом. Да что там офицеры и солдаты! Было видно, что пережитое в Радзивиллове не дает покоя Песоцкому и теперь, хотя после тех событий прошло более двух лет, и были они для бывшего приват-доцента годами непростыми, впрочем, как и для всех собравшихся в палате офицеров. Полковой священник отец Николай обходил наиболее зажиточные дома под предлогом поиска книг для полковой библиотеки, оставшейся в Туле. Попутно с книгами забирал гравюры и картины. Все это грузил на повозки и отправлял в обоз, а оттуда в Тулу.

Так что стоит ли теперь, господа, спорить о том, кто развратил и развалил русскую армию – либералы, большевики или просто война? Это уже неважно, важно то, что большевики новую создают и уже не только из разного рода оборванцев, но людей, военное дело знающих. Буквально вчера заходил ко мне один старый знакомый. Служит теперь при штабе Верховного в Омске. А у нас был проездом. Так вот он говорил, что большевистский Реввоенсовет издал приказ о призыве на военную службу бывших офицеров младше пятидесяти лет, штаб-офицеров младше пятидесяти пяти и генералов до шестидесяти лет.

– И что вы думаете, они станут им преданно служить? А как же присяга?

– Большинство станут, причем многие действительно преданно. Здесь много составляющих – страх за оставшиеся в заложниках у большевиков семьи, очень немаловажное в наше время наличие продуктового пайка, и наконец, главное, чем люди оправдывают все свои преступные поступки во все времена и народы. Я, дескать, человек маленький, большой политики не понимаю, мне что Романов, что Керенский, что Ленин – одно и то же. Что прикажут, то и буду делать, не я это придумал, не я и виноват. Вспомните смутное время, ведь при лже-Дмитрии было абсолютно то же самое.

– Ну тогда без союзников нам действительно не обойтись, даже если дорого платить за то придется. Э-эх... – покачал головой Мейбом. – Куда ни кинь, всюду клин.

– Это вы о каких союзниках? – поинтересовался Евстафьев. – Если о таких, как французы, то можете на них особенно не рассчитывать. Где-нибудь в родной и теплой Шампани они будут, конечно, воевать, и, уверен, неплохо, но только не у нас. Говорю исходя из личной практики.

– Это где вы ее, интересно, приобрели? – усмехнулся Киржаев. – Неужто под Уфой?

– Напрасно улыбаетесь, господин штабс-капитан, именно там и получил. Незадолго до моего ранения к нам в полк под Бирск прибыло две роты французов. Смотрим,

движется обоз из розвальней, на которых сидят союзники, одетые в тулупы. Подъезжают. Тулупы снимаются и показываются в легких одеждах французы. Строятся. Начинается представление «наций» друг другу, затем прохождение церемониальным маршем поочередно, то мы, то они. Наконец наши становятся вольно, а французы демонстрируют показное наступление. Сзади меня стоят солдаты и говорят: «Да ежели бы они так наступали на красных, то ничего бы от них не осталось». – «Смотри, как трясутся, бедняги, померзнут ведь совсем на нашем морозе. Что тут с них толку».

– И что дальше? – поинтересовался поручик Песоцкий.

– Да, собственно, ничего, – развел руками Евстафьев. – Пару раз потом выпивали еще с их офицерами, и все на этом. Ребята хорошие, но только и того.

– Ну и ладно, – хлопнул ладонью по кровати Мейбом. – Пора спать, господа, утро вечера мудренее. Как старший по чину собрание закрываю. Тем более что говори, не говори – изменить мы ничего не в состоянии. Вот винтовки в руки возьмем... Ладно, давайте действительно отдыхать.

* * *

Расхожее выражение «заживает как на собаке» как нельзя лучше подходило к процессу выздоровления подпоручика Евстафьева. Киржаев еще с прежних своих пребывания в госпитале понял, что молодые-неженатые выздоравливают куда быстрее даже своих сверстников, обремененных семьями и детьми. Мысли о том, как живут-выживают самые родные тебе, зачастую беззащитные перед жестокостями времени люди, их не посещают, радостных событий – улыбнулась хорошенькая сестра милосердия, удалось побывать в «самоходе» и т.д. – случается достаточно, потому и на поправку идут они быстро. А уж такие сильные и жизнелюбивые натуры, как Сергей Евстафьев, тем более.

Два из трех обмороженных пальцев на левой ноге подпоручика удалось сохранить. Черный же, как обугленный прут, абсолютно омертвевший мизинец Евстафьев попросту отломил и на глазах изумленных обитателей палаты выбросил в помойное ведро. После чего самостоятельно поковылял на перевязку. Пулю из плеча ему извлекли, и к середине февраля он уже владел рукой так же уверенно, как и не пострадавшей. Тогда-то подпоручик и вернулся к давнему разговору с Михаилом Киржаевым, в своей привычной манере взяв быка за рога.

– Ну что, Мишель, не передумал к Молчанову ехать? – спросил он Киржаева в курилке.

– Нет, я согласен. Меня здесь задерживать не будут.

– Это хорошо. Но вот меня врач вряд ли отпустит, говорит, еще не меньше трех недель нужно лечить. А я нутром чувствую – на фронте скоро самое главное начнется, надо не опоздать. Что ты по этому поводу думаешь?

Киржаев в ответ только пожал плечами.

– Да убегу и все тут, – резко махнул раненой рукой Сергей и тут же сморщился от боли. – Я практически здоров, а местная атмосфера дурно действует на мой характер. Нужно бежать.

– Как мальчишки-скауты в Северную Америку индейцам помогать или за золотом, точно уж и не помню, – улыбнулся Михаил. – Помнишь у Чехова – Монтигомо Ястребиный Коготь, револьверы, порох...

– Слушай, Киржаев, – изобразил на лице сострадательную мину подпоручик. – Тебе сколько лет, бледнолицый брат мой?

– Двадцать четыре.

– То-то и чувствуется, что старик уже. Никакой романтики в душе не осталось.

– А тебе сколько? – рассмеялся Михаил.

– Мне двадцать. Но шутки в сторону. Готов или нет?

– Готов.

– Тогда на днях двинем.

Глава третья

В 1918 году зима пришла в Барнаул уже в начале ноября, а ближе к концу месяца в городе стояли тридцатиградусные морозы, частенько дул резкий порывистый ветер, быстро отбивая желание у редких прохожих подолгу прогуливаться по улице. Однако плечистый человек возле добротного одноэтажного дома с начищенной медной табличкой «Присяжный поверенный Арсений Петрович Сухотский» стоял уже больше часа и покидать свой пост, похоже, не собирался. Притоптывая по снегу истертыми подошвами давно отслуживших свой срок разбитых солдатских сапог, он то и дело хлопал себя по плечам, прикрытым от мороза таким же заношенным, как и сапоги, тулупчиком, приседал, подпрыгивал, всячески пытаясь хоть немного согреться. Помогало мало – ему казалось, что замерзают не только руки, ноги, плечи, живот, но и ногти на руках и зрачки в глазах. Но другого выхода, кроме как продолжать ждать, у него не было, и он ждал, рискуя серьезно обморозиться либо замерзнуть совсем.

Впрочем, ему, кажется, начинало везти. По снегу закрипели уверенные шаги, и возле дома появилась еще одна фигура, в этот раз в длинной енотовой шубе и такой же дорогой бобровой шапке. Их владелец, полноватый, быстрый в движениях господин средних лет шел, поигрывая толстой коричневой тростью, в которой, похоже, совсем не нуждался. Увидев человека у дома, он остановился и быстро сунул свободную руку в карман.

– Не бойтесь, господин Сухотский, – просипел плечистый. – Я вам ничего дурного не сделаю.

– Кто вы такой и что вам угодно? – голос человека в енотовой шубе звучал напористо, руки из кармана он не вынимал.

– Хочу передать привет от вашего знакомого по Олонецкой губернии Александра Дмитриевича Цюрупы. Помните такого?

– Цюрупа, Цюрупа... Этого человека я действительно помню, но он ведь сейчас...

– Да. Нарком продовольствия в советском правительстве.

– Так, а вы, значит, не знаю, как вас звать-величать...

– Моя фамилия Мишуков, и обо мне вы все правильно поняли. Что теперь? Прогоните или выдавать побежите?

– Ни то, ни другое, – вынув руку из кармана, облегченно вздохнул Сухотский. – Видите ли, власть в последние годы заимела привычку довольно часто меняться и иметь хороших знакомых в разных лагерях дело теперь совсем не лишнее, тем более если оно тебе недорого стоит. В крайнем случае можно объяснить такое знакомство природной доверчивостью и, при наличии опять же хороших связей, серьезных последствий можно не бояться.

– Холодно, – заметил Володя. – Очень.

– Да-а... – сдвинув пальцем шапку на лоб, протянул присяжный поверенный. – Это намек на то, что вас требуется пригласить в дом? Впрочем, что я в самом деле. Вы же совсем промерзли. Прошу вас, заходите.

Сухотский зазвенел ключами. «Быстрее, ну быстрее же», – просто молил его про себя Мишуков.

Дверь открылась, и Володя шагнул в такое долгожданное тепло.

* * *

– Ну и как там поживает мой бывший сосед по олонецкой ссылке? Все такой же весельчак и живчик? – поинтересовался хозяин дома, когда его гость, приняв предварительно две стопки водки, отогрелся у печи и они уселись за приготовленный Сухотским самовар. – Да-а... Ни много ни мало большевистский нарком, а тогда в бабки любил играть. Кто бы мог подумать. Хотя... Он ведь дотошный был, упорный, цифры просто обожал, как сам говаривал, «за их стальную логику, боевую силу и красоту». Смотри ты, не забыл еще. Да-а. Тогда это был веселый, на вид абсолютно беззаботный человек. А как сейчас?

– Когда я с ним разговаривал, на беззаботного человека он не походил, – припомнил Володя и словно вновь, как тогда в декабре 1917-го, услышал голос человека с

умными глазами и гладко зачесанными назад волосами: «Нам, товарищи матросы, нужен хлеб. Вы наши лучшие силы, на вас вся надежда. В Алтайской губернии имеются его огромные запасы, их нужно взять и вывезти во что бы то ни стало. Надо сказать прямо – без хлеба убедить рабочего, что наша власть – это его власть, будет просто невозможно, и сражаться за нее с оружием в руках он не станет. Дадим ему хлеб, сохраним наши первые завоевания, а там, глядишь, и на ноги твердо встанем. Если нет – будет нам, говоря по-флотски, амба...». Но видно, что человек живой. Не нытик. Глаза голубые, волосы назад зачесаны.

– Он их и тогда так же зачесывал, – улыбнулся Сухотский. – Хорошо. Убедили вы меня, что вы добрый знакомый Александра Дмитриевича, теперь хотелось бы узнать, в какой помощи вы нуждаетесь.

– Для начала, пока не осмотрюсь, хотел бы пожить несколько дней у вас, – прямо сказал Володя. – Если не стесню, конечно.

– Четкий вопрос, который требует такого же четкого ответа. И ответ будет утвердительным. Как я вам уже говорил, по нынешним временам не лишнее дело иметь хороших знакомых в разных лагерях.

– Зачем вы все время стараетесь казаться хуже, чем вы есть, Арсений Петрович? Александр Дмитриевич говорил, что вы...

– Был, – не дал ему закончить Сухотский. – Когда мы с Александром Дмитриевичем состояли еще в одной знакомой вам партии под названием РСДРП, был. Потом от нее откололись большевики, а потом и я. И от нее, и от какой бы то ни было политической деятельности в целом. Она, правда, от меня «не откололась». К примеру сказать, во время пребывания в нашем городе вашей власти мне приходилось топить печь и готовить обед самому, хорошо хоть, что я в отличие от своих коллег по цеху умею это делать. Теперь этими занятиями, как и прежде, занялись приходящие кухарка и истопник, а я вернулся к своему обычному и, заметьте, прибыльному делу. Кстати, для всего мира это вполне обычно, и лозунгов об отмене

такого порядка вещей, к тому же подкрепленного наличием винтовки в руках, их выдвигающих, пока не наблюдается. Сапоги тачает сапожник, пироги печет пирожник. Юрист, то есть я, обеспечивает им правовое поле деятельности, пользуясь за это плодами их труда. Что вы по этому поводу думаете?

– Любой труд нужен, – Мишуков поерзал неловко в кресле. – А хороших спецов и советская власть найдет как обиходить, особенно тех, что без жен. Я вам не напачкаю тут? Одежка моя, по правде сказать, давненько не стирана.

– Не беспокойтесь. Но если начистоту, то лучше вот о чем скажите. Насекомыми во время своих странствий не обзавелись?

– Вроде нет, – смутился Володя. – Мне бы в баню, если можно.

– Бани у меня нет, а воды сейчас нагреем, в ванне, как белый человек помоешься. Белье чистое вам дам и отказа не приму. Я ведь хоть и барин для вас, да отец мой из крепостных вышел. Я первый грамотный в роду, всего самому добиваться приходилось. Что вы по этому поводу думаете?

– Пока ничего. Спросить вот только хочу, если можно?

– Спрашивайте.

– За что вы в ссылку попали?

– Да глупости и пустяки. Читал запрещенные книжки, главным образом потому, что они были запрещены, хотелось чувствовать себя хоть немного причастным к переустройству мира. Ходил в кружок, ну а когда пригласили в известное заведение и попросили назвать моих товарищей по этому кружку, пообещав за это меня отпустить с дальнейшим продолжением сотрудничества, вспылал, начал дерзить, а затем даже дал пощечину одному из «сатрапов». Она, собственно, и решила все дело. А формулировка была следующей: «По делу о социальной пропаганде». Некоторое время ушло на знакомство с тюремным бытом, потом два года в Олонецкой губернии и практически полное «выздоровление». По счастью, удалось позже продол-

жить обучение в университете, заняться полезным делом и забыть, по крайней мере, почти забыть, такое грязное слово, как политика. И все на этом, – добавил он довольно резко, увидев, что Володя, похоже, намерен вступить с ним в полемику. – Давайте мойтесь хорошенько. Дам бритву, и будьте добры, избавьтесь от всего вашего волосяного покрова для вашей же пользы. Вша – это по нынешним временам тиф, а тиф шутить не любит. От него даже медики умирают. Совсем недавно в городской больнице сестра милосердия от сыпняка скончалась.

– А вы откуда знаете?

– Мой добрый знакомый доктор Поляков рассказывал третьего дня. Вот познакомлю вас с ним, еще и не то узнаете, а пока давайте вам ванну нагреем. Как говорится, от слов к делу.

* * *

– Вы мне не расскажете, какая сейчас обстановка в городе? – поинтересовался Володя после купания и парикмахерских процедур и поплотнее запахнул на своем изрядно исхудавшем мускулистом теле махровый халат присяжного поверенного. – А то я за последнее время совсем от жизни отстал, далеко от центров приходилось находиться.

– Может быть, вам все-таки сейчас лучше спать лечь, а рассказы мои на потом оставить? – предложил в свою очередь Арсений Павлович. – Вид у вас довольно утомленный.

– Ничего, выплусь еще. Давайте рассказывайте.

– Ну что я вам могу сказать... Город живет обычной жизнью с некоторыми погрешностями на гражданскую войну. В синема крутят грандиозный боевик «Кира Зубова» с неподражаемой Верой Холодной. О том, – голос адвоката зазвучал величаво-напыщенно, – как всколыхнулась Русь сермяжная и грудью встала на святое дело. Не ваше, разумеется.

Кроме того вниманию уважаемой публики предлагаются картины «Золотые когти», «Яд измены» и сверх программы, исключительно для взрослых, как выражаются

некоторые, картинки «с салом». «Бесстыдница», «Не ходи же ты раздетая», «В чужой постели». В общем, полный набор на самый изысканный вкус. Гастролирует уральский цирк, в коем объявлена решительная борьба до окончательного результата двух классических техников французской борьбы – Циклопа и Тома Кеннеди.

– Что еще интересного в нашем богом забытом городишке, – присяжный поверенный сделал паузу, налил себе рюмку коньяку из пузатой бутылочки, и тут только Володя заметил, что он навеселе. Очевидно, вернулся с какой-то вечеринки. – На рынке есть практически все. Даже сейчас можно купить персики, сливы, виноград и, кстати сказать, не так уж дорого. Сам я на базар не хожу, но, по словам моей кухарки, сливы, к примеру, стоят лишь в два раза дороже моркови. Хороших зданий после жуткого пожара в мае почти не осталось, большинство из них занято под разнообразные военные формирования. Полно иностранных солдат – чехов, сербов, поляков. Видел даже итальянцев, причем так до конца и не понял, кто больше страдает от нынешних наших морозов – они или их мулы. Кто только додумался притащить этих несчастных животных в Сибирь? В то же время, как пишут в газетах, – Сухотский взял со стола сигару, – пока мулы едут в Сибирь, наши с вами соотечественники отправляются в Америку и вообще за границу. Вас боятся, надо полагать. Не верят, что большевики не вернуться. Как юрист не мог не обратить внимания на предполагаемое изменение закона об эмиграции применительно к переживаемому моменту. Передают, что со всех отъезжающих за границу русских будет теперь взыскиваться так называемый эмиграционный налог.

Сухотский выпустил изо рта густую струю ароматного дыма, с удовольствием потянулся:

– Если верить тем же газетам, в расположенной неподалеку от Барнаула Косихе – бесшабашное пьянство, дикий необузданный разгул, разврат, ссоры, драки, убийства, что, впрочем, в полной мере присуще и нашему городку, а вот в Омск же прибыли дочери крупнейшего, хоть и усопшего специалиста по таким делам Гришки Распути-

на. Однако что я вас мучаю своей балаганной болтовней, времени у вас будет много, сами почитаете. А сейчас, я думаю, вы были бы не прочь перекусить и лечь спать. Верно?

– Так и есть, – легко согласился Володя. – Только скажите прежде, хотя бы в нескольких словах: что здесь произошло после свержения Советов. Товарищи наши сильно пострадали?

– Мои – нет, – усмехнулся Сухотский и тут же согнал улыбку с лица. – А вот вашим поначалу под горячую руку досталось. Расстреляли первым делом всех воевавших за красных мадьяр, кто к тому времени живой остался. На кладбище прилюдно убили их командира, отца-основателя барнаульской Красной гвардии Николая Малюкова. Этого я несколько знал, и почему он большевик, не мог понять никогда. Весельчак, бабник, выпивоха, как говорится, душа общества. А погиб, рассказывали, – герой позавидует, очень достойно себя на расстреле вел. Перед смертью имя свое написал карандашом на деревянном кресте. Сказал: «Я готов». Потом на этом же кресте написали, что всех большевиков ожидает такая участь: собакам собачья смерть. Последовал ответ: «И вам тоже будет». Вскоре весь крест такими надписями исписали. Затем крест сломали. Кто-то поставил новый, в этот раз кирпичный, и вновь его весь надписями покрыли. Просто гражданская война на кладбище.

Позже лишились голов главные наши большевики Цаплин с Казаковым и Присягиным, остальные ваши товарищи в большинстве своем уцелели. Некого Лолия Решетникова по сути спас от офицеров мой хороший знакомый, член городской Думы, кстати, меньшевик Поспелов. Позже Решетникова оправдали по суду и отпустили подобру-поздорову. Так же следственная комиссия освободила членов Совдепа Соколова и Фофанова, мелком знакомого мне председателя союза печатников Ильиных, других каких-то. Большинство устроились на службу – в кооперацию, профсоюзы. Работают. Ведут себя тихо. Пока, по крайней мере. Что молчите?

– Понять вас пытаюсь, – честно признался Володя. Этот человек нравился ему все больше, и говорить с ним хотелось откровенно, конечно, до известных пределов. – Большевики, как вы говорите, печку вас топить заставили, дрова колоть, а вы, ну не только вы лично, но и Пospelов вот этот, нам помогаете. Чудно.

– Ну, мало ли чудес на свете, тем более в такой загадочной стране, как наша. Вот, к примеру, в Барнауле живет замечательная женщина – Серафима Тараканова. Она лидер меньшевиков города, ее младшая сестра эсерка, а брат Евграф и вовсе большевик. И ничего, друг друга пока не передушили. И потом бескомпромиссность, неприятие чужого мнения и ставка исключительно на силу свойственны, как показали последние события, именно большевикам, фактически узурпировавшим власть и объявившим монополию на все революционные завоевания. Подождите, – он поднял руку, увидев, что Мишуков хочет его перебить, – подождите. Позвольте уж мне высказаться до конца и, как говорится, поставить все точки над и.

В том, что большевики узурпировали в октябре 17-го власть, нет сомнения ни у одного здравомыслящего человека, да и не может быть, поскольку именно о таком методе действий ваш Ленин писал еще в девятьсот втором году в своей работе «Что делать?». Он там попросту сравнивает свою будущую, без не согласных с ним в РСДРП, партию с элитарной военной организацией, члены которой – профессиональные солдаты революции – должны стать во главе мобилизованного ими народа. Он так и пишет – «мобилизованной армии». В его партии все должны быть и всемерно доверяющими друг другу товарищами, и в то же время для избавления от ставшего негодим товарища возможно применение любых средств. Доверие, единомыслие, безразличие к средствам в достижении цели, страх – вот сила большевизма, и сила огромная.

Сухотский говорил ровно и четко, как говорят о давно обдуманном и сформулированном, и Мишуков, хотя и был очень недоволен этим монологом, прервать Сухот-

ского не решался. Да и обстоятельства, в которых он находился, этому не особенно способствовали.

– Если бы власть в стране, к чему все и шло, взяла партия, набравшая наибольшее количество голосов на выборах в Учредительное собрание, то есть правые эсеры и центристы, они бы в самом скором времени стали бы делать то, что стали делать большевики: пытаться воссоздать в России властные структуры и прекратить разрушительный хаос, начавшийся в стране в феврале 17-го, и который по своей слабости и безволию не могло остановить Временное правительство Керенского.

Но власть взяли большевики именно потому, что оказались сильнее, настойчивее, целеустремленнее других. Нет, не количественнее, но именно качественнее, как некий спаянный круговой порукой орден, способный одних, вот как вас, направить, других заставить. Именно поэтому они держатся по сей день и, вероятно, удержатся до появления подобной им силы. И это, вероятнее всего, тоже будет диктатура. Расхлюпились мы, раскисли, подгнили за последнее время, а России такое состояние противопоказано. И если история намерена ее сохранить, без «подморозки», как определил этот процесс почти сорок лет назад наш действительно выдающийся философ Константин Леонтьев, никак не обойдется...

Сухотский замолчал и вновь потянулся за коньяком. Воспользовавшись паузой, Мишуков поинтересовался:

– Так вы что, все работы Владимира Ильича прочли? А я вот только статьи его в газетах читал, да и то две или три.

– Все труды господина Ульянова я, конечно, не читал. Для того чтобы узнать вкус супа, нет необходимости съесть всю тарелку, достаточно и пары ложек. Но несколько его трудов, в том числе и упоминаемый, в былые времена прочел. Они показались мне небезынтересными. Стиль, на мой взгляд, суховат, Каутский, к примеру, пишет живее и натуралистичнее, но в целом, в особенности «Что делать?», не лишено интереса. Очень последователен

в своих утверждениях господин Ульянов и, как в последнее время стало понятно, и в достижении своих целей тоже.

– Но ведь цели-то как раз те, о которых все человечество веками мечтало! – не сдержался Мишуков. – Свобода, равенство, братство. Уничтожение эксплуатации человека человеком. Как в Манифесте Российской социал-демократической рабочей партии записано. Я эти слова сразу запомнил, заучивать не пришлось. Вот: «На своих крепких плечах русский рабочий класс должен вынести и вынесет дело завоевания политической свободы. Это необходимый, но лишь первый шаг к осуществлению великой исторической миссии пролетариата – к созданию такого общественного строя, в котором не будет места эксплуатации человека человеком». Здорово, правда?

– Звучит громко, – согласился присяжный поверенный. – Только это, молодой человек, не цели, а лозунги. – Цель же у любой серьезной партии всегда одна-единственная – достижение власти. Система же власти у данной партии, без всякого сомнения, деспотическая. Тут ничего нового. Вот организатор всего этого – человек действительно незаурядный. Таких революционеров в России за все время ее существования было немного – Иван Грозный, Петр Первый. Больше сразу никого и не припомню.

– Царь-революционер?! – изумился Володя. – Это как?

– Да вот так, – рассмеялся его изумлению Сухотский. – В продолжении тридцати лет он пребывал в состоянии восстания против своего народа. Воевал со всеми национальными привычками и обычаями, все поставил вверх дном, даже нашу святую православную церковь. А вы что же, считаете, что он был реформатором? Но истинный реформатор считается с прошлым, различает возможное от невозможного, смягчает переходы, подготавливает будущее. Разве он так действовал? Он разрушал во имя свирепой радости разрушения, для грубого удовольствия сваливать препятствия, для насилия над совестью, для уничтожения всех самых естественных и законных чувств... Когда теперешние анархисты мечтают о

разрушении социального строя для коренной перестройки его, они, сами того не ведая, вдохновляются Петром Великим; они, как он, так же страстно ненавидят прошлое; они, как и он, считают возможным переродить народную душу при помощи указов и казней...

Впрочем, достаточно для одного вечера, пожалуй. Время за полночь, и вам, мой друг, давно пора отдыхать, да и мне тоже. У меня с утра важная встреча, не настолько, конечно, как отмена эксплуатации человека человеком, но все же. Мне ведь нужно и самому кушать, и кухарку с истопником содержать, да и о вас, прошу простить, тоже нужно будет позаботиться. Так что давайте возьмем на вооружение украденный французской революцией христианский постулат о братстве, и на основе его будем строить наши отношения. По крайней мере, пока вы вновь не станете сильным и не перестанете нуждаться в моей помощи.

– Что ж я – совсем свинья, по-вашему? – обиделся Володя. – Добро помню.

– Качество, достойное христианина, но никак не члена атеистической партии диктатуры пролетариата. Умение забывать добро для любого уважающего себя политика является обязательным, большевистского вождя или римского центуриона – значения не имеет.

– Послушать вас, так ни партии, ни вождей народных не было и быть не может. А Спартак, Емельян Пугачев, Степан Разин?

– Ну, разговор о разного рода бандитах и самозванцах, я думаю, можно оставить на потом, время у нас будет. А сейчас давайте все-таки спать. Хорошо?

– Хорошо, – улыбнулся Володя. – Тем более что крыть мне тут нечем. Но Степан Разин – не бандит, это вы зря...

* * *

...Но ему не спалось. Сколько раз мечтал, шагая на стылом ветру под дождем, а затем и снегом, как окажется он все-таки когда-нибудь в тихом доме с жарко

натопленной печью. Уляжется вольно на полу или на полатах, а то и – верх мечтаний! – в такой вот мягкой постели и будет спать, спать, спать... И на тебе. Не мог уснуть, сколько ни старался. Зайцы, которых пробовал считать в уме, разбегались, барашки через жердочку прыгать не хотели. Не спалось и все тут.

«Успокойся, – твердил он сам себе. – До Барнаула добрался, буржуй этот и вправду человек вроде бы порядочный, чудной только. Глядишь, и дальше поможет». – «Все они одним миром мазаны, господа эти, – сбивал с заманчивых рассуждений пессимистичный внутренний голос. – Поможет, как же. До беляковского цугундера добратся он поможет». – «Брось, – отвечал голосу Мишуков. – Человек-то, похоже, хороший. Я вот таких в жизни и не видел еще. Много чего интересного говорит». – «Интересного, – ехидничал голос. – Контру он говорит. И сам наверняка контра. Все они...». – «Да, так-то оно так, только куда деваться, опять на мороз? А дальше что?» – «И то верно, – мрачно согласился его внутренний собеседник», – и замолк.

Володя заложил руки за голову, глубоко вздохнул, вспомнил, как выменивал почти новую офицерскую шинель и мундир на свое нынешнее тряпье, получив в придачу сумку книгоноши, и широко улыбнулся. Теперь этот случай представлялся ему в какой-то мере даже смешным, но вот тогда было точно не до смеха.

Расставшись с Нефедовым, он сразу же двинулся туда, где, по его представлениям, находился Барнаул. Поначалу забрал в сторону, затем вспомнил поговорку про язык, который до Киева доведет, и, воспользовавшись ею, понемногу начал сокращать расстояние между собой и центром Алтайской губернии. Первые несколько ночей он провел в колках, но наступил октябрь, начались заморозки, и волей-неволей пришлось тянуться к жилью, а значит и опасности.

Во время первой же своей ночевки в одном из переселенческих украинских сел ему пришлось делить место на полу с другим странником – до самых глаз заросшим бо-

родой патлатым мужиком с черными от въевшейся в них грязи руками и пытливыми глазами-щупальцами. Перед этим гостеприимный хозяин дал им на ужин по изрядному куску хлеба, не пожалел и кипятку. Мужичок медленно отламывал черной рукой крохотные кусочки от своей порции, прятал их в бороду, швыркал кипятком и все время внимательно смотрел на Володю.

– Дырку во мне протрешь, – не выдержал наконец флотский.

Патлатый спрятал в бороду очередную порцию хлеба, добавил кипяточку и тихо сказал:

– Как ни крути, парень, а не похож ты на ваше благородие. Ничего в тебе от них нету, ни от ранешних, настоящих бар, ни от тех, что война наделала. Слышал небось частушку, – и бородатый тоненьким голосом пропел:

*Раньше был я дворник,
Звать меня Володя,
А теперь я прапорщик –
Ваше благородие...*

Допев частушку и в одиночестве над ней посмеявшись, поскольку хозяева и их дети уже уснули, а Мишукову веселиться было не с руки, он раздумчиво сказал:

– Кто ж ты такой, чего прячешься? Все думаю и никак понять не могу. Ты и шинелку-то, кажись, никогда не носил, а? Так откуда ж у тебя справа такая? Может, на мою махнешь? Оно, конечно, можешь и отказаться. Только в твоей одеже тебе быстро каюк будет. Казачки мимо не пропустят. Тебе б бороденку, одежу, как у меня, тогда другое дело, и дошагаешь куда тебе требуется. Я, брат, точно знаю. Ну так что, махнем? А я тебе еще суму с книжками дам – про Бову Королевича, Еруслана Лазаревича. Там еще игрушки кой-какие, крестики нательные, соски. Пойдешь по селам, вроде книгоноша-торговец. Спросят – мычи, контуженный, мол. С германской пришел, слабый и на работу, и по женскому делу, так баба из дому погнала. У нас убогоньких любят, подадут и приветят. До самого Питера

доберешься, коль нужда такая есть. А? – усмехнулся мужичок и хитро подмигнул Мишукову. Тот кивнул, соглашаясь.

Так от села к селу, нигде больше чем на ночь не задерживаясь, и двигался Владимир Мишуков к намеченной цели. Не раз вспоминал он о ранней весне 18-го, когда судьба привела его на Алтай. В том марте он и еще тринадцать моряков были направлены сюда для сбора хлеба для голодающего Питера. Флотских снабдили деньгами и мануфактурой для обмена на продовольствие, а уже перед самым отъездом в Сибирь их командир Антонов побывал на коротком приеме у самого Ленина. Володя к вождю революции не попал, хотя и очень мечтал об этом, но вот к наркому продовольствия республики, в то время Александру Шлихтеру, Антонов его с собой взял. Там-то и познакомился Мишуков со сменившим вскоре Шлихтера на посту наркома Александром Цюрупой.

Через день, побывав в Смольном, чтобы попроситься перед отъездом с работавшим там своим товарищем по крейсеру «Баян», он встретился в коридоре с Цюрупой. Тому, похоже, еще при первой встрече понравился серьезный и довольно образованный морячок, и, увидев Володю, он непритворно обрадовался.

– Товарищ Мишуков! А у меня к вам дело.

– Какое, товарищ Цюрупа?

Цюрупа отвел Володю к окну, поинтересовался:

– Не курите?

Тот отрицательно помотал головой.

– И правильно делаете. А дело вот какое. Несколько дней назад повстречал своего знакомого по подпольной работе еще при Романове. Он поведал, что один из наших товарищей по ссылке в Олонецкой губернии, некто Сухотский Арсений Петрович, сейчас вроде бы проживает в центре Алтайской губернии, Барнауле. Я его хорошо помню, замечательный человек, но, по словам моего знакомого, совсем отошел от политики, занимается исключительно юридической практикой и ничем больше не интересуется. Всяко бывает в жизни, вдруг да случится вам его повидать. Передайте ему тогда от меня большой при-

вет и скажите еще вот что: советской власти очень нужны образованные, а главное – порядочные люди, способные для блага терпящей испытания Родины забыть на какое-то время о личной свободе. Он поймет, о чем я говорю. И давайте я вам выпишу мандат, думаю, лишним это не будет.

На половине пути к городу Володе повезло, удалось наняться в работники в небольшой, но очень аккуратной немецкой деревеньке. Хозяин, переселенец из Поволжья, оказался человеком степенным, неторопливым. Однако, работая рядом с ним, Володя к вечеру просто валится с ног от усталости, узнав не понаслышке, что такое крестьянский труд и как достается тот самый хлеб, за которым военмор Мишуков приехал на Алтай.

Кормил его немец сытно, с расчетом не обманул, да кроме того довез за несколько десятков километров до большого села Павловское, куда ему требовалось по своим делам. Оттуда до Барнаула было не более пятидесяти верст. Повезло ему и в самом городе. Выйдя поначалу на пепелище майского пожара 17-го года, он затем добрался до одной из уцелевших после этой напасти улиц и, зайдя в трактир немного погреться, услышал, как двое подержанного вида господ упомянули в разговоре фамилию Сухотский. Мишуков даже задохнулся от радости, не раздумывая купил на последние деньги шкалик водки и, смиренно попросив разрешения, подсел к нужным ему людям. Спустя полчаса, расспрашивая по пути дорогу, он уже шагал по нужному адресу.

* * *

На другой день Володя спал почти до полудня. Он слышал сквозь сон, как собрался в соседней комнате и ушел по своим делам Сухотский, как принес дрова и раскочегарил как следует печку истопник, а затем загремела посудой кухарка, но, пробудившись на несколько мгновений, тут же вновь погружался в блаженный сон.

– Вы, что ли, родственник хозяина будете? – спросила Мишукова, когда он наконец встал с постели и умылся, дородная женщина средних лет, ловко кромсавшая ножом изрядный кусок мяса на кухонном столике.

– А кто ж еще? – вопросом на вопрос ответил Мишуков.

– Ага, – кивнула она, продолжая орудовать ножом. – Значит, завтрак, батюшка мой, ты уже проспал, а обед скоро будет. Арсений Петрович подойдет, вместе за стол и сядете.

– А чего это я «батюшка»? – с некоторой обидой поинтересовался Мишуков. – Я еще молодой совсем.

– Бороду сбреешь – будешь молодой, а пока чистый батюшка, – парировала кухарка. – Тебя как звать величать-то?

– Владимир.

– А меня Настасья Карповна. Сказано Арсением Петровичем кормить и обихаживать тебя по первому разряду, так что пока обед не подошел, выпей-ка ты чаю да скушай моего пирога с рыбой. Такогого ты никогда не едал, точно говорю.

Потом Володя лежал на кровати, обедал с куда-то спешащим и потому малоразговорчивым Сухотским. Затем почти до самого вечера читал сложенные стопкой на столе присяжного поверенного газеты, из которых кроме прочего узнал, что:

«За открытую торговлю самогоном арестованы и заключены под стражу при каталажной камере следующие лица: Ал. Демидов, Ан. Демидова и Г.Быков. Мирошниченко Анна за пребывание в Красной гвардии и Григорий Петров за то же самое».

«Состоится «Зібрання членів товариства Українська Громада в Барнаулі, Гоголевска, 58», а также вечер смеха и забавы «Козы, козочки и козлы».

«Принимаются заказы на изготовление чучел птиц».

«Казенные и частные общественные организации лишены возможности в нынешнюю зиму производить заготовку дров в крупном масштабе ввиду отсутствия у них мелких разменных денег, необходимых для расчета с рабочими».

«По полученным с фронта сведениям, печатание бумажных денег в советской России идет в колоссальном

масштабе. В Петрограде и Пензе день и ночь работают 1400 рабочих. В Петрограде вырабатывается 100 мил. в день, в Пензе до 200 мил.».

«Акушерка и оспопрививательница Попова принимает по адресу: Сузунская, 87».

«В Японии значительно урезаны заработки рабочих, особенно на судостроительных верфях, железнодорожных и родственных заводах. В Голландии в 4-5 раз выросли цены на продукты питания, во Франции закрываются фабрики и заводы».

«По постановлению городской Думы Бердская улица переименована в Офицерскую».

«В Народном доме драматический кружок воинской части дает концерт в пользу военнопленных, возвратившихся из Германии и Австро-Венгрии. Состоится детский спектакль в пользу «Дня пролетарского ребенка».

«Зарплата рабочих составляет в среднем 250-300 рублей, при том что мясо скотское стоит на рынке 67 рублей пуд, а свиное – 75. Мука простого размола – 13 рублей за пуд, картофель – 9 рублей».

«Во живут, – подумал с тоской Володя. – Это ж на 250 рублей обожраться можно. С такого харча против власти выступать мало кто захочет, пусть и буржуйской».

Правда, из другой газеты он выяснил, что продукты-то есть и недорого, а вот мелких денег нет, поскольку все их разворовали большевики. Зарплату задерживают по полтора-два месяца и выдают, как правило, пятитысячными купюрами. Одну на несколько человек. А потому «...Правительство, ощущая крайнюю нужду в деньгах, обращается к населению не держать деньги по углам, а вкладывать в кредитные учреждения. Все мелкие кредитные билеты находятся на руках у населения, а нужда в таковых громадная».

Вот это уже лучше, оценил сообщение Володя, авось еще прижмет, так и зашевелятся пролетарии.

Прочитал о том, что предлагается разделить всех арестованных большевиков на три категории и поступить с ними следующим образом.

Первая. Злостные большевики-коммунисты подлежат эвакуации в тюрьмы на принудительные работы.

Вторая. Насильственно мобилизованные, индифферентные к тому или иному государственному порядку подлежат размещению в концентрационных лагерях, пустующих заводах и привлекаются для всех тыловых работ.

Третья. Насильственно мобилизованные, симпатизирующие восстанавливаемому в Сибири государственному порядку, должны направляться в запасные части фронта; из последней категории добровольно изъявившие желание поступить в наши ряды зачисляются в действующие части.

Володя подумал: «Ничего, гады гладкие, наша возьмет, вы у нас принудительными работами не отделаетесь. Скупиться не станем, по девять граммов каждому вырешим. Ну а с мобилизованных какой спрос – по домам их, да и весь разговор. Индифферентных – на завод, в этом беляки правы. Там, за станком, они сразу, какое им государство нужно, поймут. И насчет зачисления в действующие части толково, сами те «симпатизирующие» вскоре к нам прибегут и винтовочки свои принесут, что тоже не лишнее».

После чего он бросил ворох газет на пол и вновь уснул. Спать теперь он хотел постоянно – сказывались долгое нервное напряжение и вкусная обильная пища.

* * *

На следующее утро Мишуков заболел. Его сильно знобило, поднялась высокая температура, болела, просто разламывалась голова. Ближе к обеду начал донимать сухой, будто раздиравший грудь кашель, потом появилась и мокрота какого-то ржавого цвета. Пришедшему вечером по приглашению Сухотского доктору Полякову много времени для установления диагноза не потребовалось. Спрятан в небольшой, но объемистый баул стетоскоп, он отправился к умывальнику.

– Ну что, Сергей Николаевич, это опасно? – поинтересовался у него хозяин дома.

– Любая болезнь в той или иной мере опасна, тем более такая, как воспаление легких, – доктор вытер полотенцем руки, поправил на носу очки. – Промерз, устал, перенервничал, плюс, конечно, вирус и все.

– Что все? – прокашлявшись, спросил Мишуков. – В смысле...

– В смысле – хороший уход и питание, банки, горчичники, лекарства, какие я пропишу, а в аптеке приготовят, и при вашем организме через две-три недели должны выздороветь. Кстати, – повернулся он к Сухотскому, – когда ваша кухарка пойдет в аптеку, пусть возьмет с собой баночки, пузырьки – любую аптечную посуду на обмен. Там без этого лекарства теперь выдавать не будут.

– Дожились, – пробурчал он, усаживаясь за стол и пододвигая к себе стакан с горячим чаем. – Посуды аптечной нет. Впрочем, это что. По слухам, а это, как я не раз уже убеждался, источник по нынешним временам довольно надежный, очень скоро начнут призывать в армию всех фельдшеров, медицинских, ротных, аптечных и лекарских помощников, как служивших на военной службе, так и в глаза оной не выдавших. В том же «Алтайском луче» прочел недавно, что бийские врачи сообщили в местное земство, что если им не дадут деньги на содержание больниц, таковые придется закрыть. И это при нашем сегодняшнем уровне медицины, когда те же фельдшеры и в городе напересчет, а уж про село и говорить не приходится. Когда тиф... А! – обрывая самого себя, махнул он рукой. – Не хочу сейчас об этом говорить, да и некогда. У меня сегодня еще три вызова.

– Так приходите на будущей неделе, заодно и гостя моего посмотрите. Я Черных позову – поужинаем, в карты сыграем, побеседуем. Как оно вам?

– Годится.

– Ну вот, в следующий четверг к вечеру и приходите. Будем надеяться, что к тому времени и наш больной на поправку пойдет.

Несколько дней у Мишукова держалась высокая температура, не утихал кашель. Переселившись на это

время в дом Сухотского, Настасья Карповна ухаживала за ним с присущим большинству русских женщин терпением и заботой. Говоря попросту – все время была рядом. Поила куриным бульоном, горячим чаем и микстурами, ставила банки и горчичники, делала укусовые компрессы на ноги, днем и ночью не забывала укрывать Володю сброшенным им в жару одеялом. Матрос пошел на поправку.

Вскоре после этого, в указанный присяжным поверенным четверг, в его доме собралось небольшое общество. Сам хозяин, уже известный Володе доктор Поляков и не последний из служащих Алтайского союза кооператоров некто Черных, который показался Володе обыкновенным малограмотным купчиком из тех, что благодаря природной сметке и нахрапу умеют подешевле купить – подороже продать, при случае не гнушаясь откровенным обманом клиента. В отличие от одетых в хорошие пиджачные пары, светлые рубашки с галстуками, гладко выбритых Сухотского и Полякова, Иван Анисимович носил длинный сюртук, русскую рубашку-косоворотку. К тому же он являлся владельцем окладистой бороды, которая будучи трехцветной, вероятно, должна была приносить хозяину счастье. В ней кроме черных курчавились еще и рыжие, и седые пряди. Держался он уверенно, двигался не спеша – так же, как и говорил, и очень скоро Мишуков понял, что первое его впечатление было обманчивым – Черных оказался весьма образованным и, похоже, таким же, как и его приятели, порядочным человеком.

Был приглашен за стол и все еще слабый, но не пожелавший остаться в кровати Володя. В карты с гостями и хозяином он не играл, коньяк не пил, предпочитая горячий чай с лимоном, к какому пристрастился в доме Сухотского и очень его уважал. В завязавшейся вскоре оживленной беседе он тоже почти не участвовал, но прислушивался ко всему сказанному за столом весьма внимательно. Поскольку хоть и определился, он по собственному мнению, в своих взглядах твердо и менять их был не намерен ни при каких обстоятельствах, на все новое был человеком жадным. Да и в обстановке на занятой белыми территории

требовалось разобраться поосновательней. Без хорошей разведки – какая война...

Разговор, как и следовало ожидать, зашел о политике, в частности о том, что происходит в Сибири после недавнего прихода к власти адмирала Колчака, о союзниках, ценах, прессе... О том, что большевизм оказался столь сильной и заразной болезнью, что даже с возможным свержением его в Москве с помощью вооруженной силы мира и спокойствия на русской земле ожидать в скором времени не приходится.

– Газеты пишут о том, что наше правительство никак не может определиться, на кого ему лучше поставить – японцев или американцев, причем симпатии авторов явно на стороне вторых. Вот буквально вчера появилась статья Нилова с очень выразительным заголовком «Накануне оккупации». – Сухотский потряс над столом свернутой в трубку свежей газетой. – Этот господин приходит к выводу, что вопрос о судьбе сибирских железных дорог близится к своему разрешению. Японские финансовые тузы ищут применения своих капиталов из полученных во время войны сокровищ. Отсиделись в сторонке, а под конец к Антанте примкнули и все, тоже победители. Как говорится, сыт, пьян и нос в табаке. Северный Китай уже их, теперь такую же политику эксплуатации хотят и на Сибирь перенести.

– Что касается железных дорог, то их хоть с японцами, хоть с американцами, хоть с самим чертом еще долго на прежний уровень выводить придется, – вступил в разговор Черных. – Тут самая главная беда – уголь, точнее его отсутствие. На днях Кулундинское управление железной дороги сообщило, что из-за истощения запасов угля и слабого его поступления товарно-пассажирские поезда будут с января отправляться через день. А угля нет, потому что в шахтах работать не хотят из-за отсутствия хлеба, которого в нашей только губернии накоплено не мерено. Обычный российский бедлам, что тут еще скажешь.

На Дальнем Востоке лежат сельхозмашины и запасные части к ним, закупленные крестьянскими

кооперативами, а доставить их в Сибирь нельзя. Ну нет возможности такие чудовищные взятки давать железнодорожникам, какие спекулятивные фирмы дают, чтобы свой товар провезти. И все это у нашего председателя совета министров господина Вологодского называется очень красиво – «свободная торговля».

Также за взятки берутся и государственные субсидии, которых выдано уже 350 миллионов рублей. И все на ту же железную дорогу, крупным промышленникам и банкам. На сельское хозяйство пошли сущие копейки, на операцию и того меньше – 1 миллион 500 тысяч рублей. Ушлые дельцы берут ссуды, закупают на них товары, припрятывают, а потом мелкими партиями по вздутым ценам выбрасывают на рынок, и эта воистину наглая, не имеющая никакого отношения к настоящему предпринимательству спекуляция тоже, надо полагать, и есть та самая «свободная торговля».

– Спекуляция в самых худших формах и еще раз спекуляция. Вот моя оценка нынешнего направления нашей экономики. И в крупном, и в мелком. – Черных возмущенно пошевелил усами, сунул указательный палец за ставший ему тесным глухой ворот рубахи. – Не хватает разменных денег, рабочим при их жаловании в 250-300 рублей выдают деньги пятитысячными купюрами на несколько человек сразу, и тут же находятся доброты, способные разменять ее, разумеется, отдав хозяевам вместо пяти уже четыре с половиной тысячи. Вот тебе, не сходя с места, заработная плата рабочего за два месяца. Неплохо, правда? А можно и еще лучше. Недавно правление кредитного товарищества в селе Зеркальном обратилось в лесничество с просьбой разменять пятитысячную бумажку. Лесничий любезно согласился, вытребовав себе одну небольшую услугу: отпустить ему сто пудов муки по цене 17-го года, то есть по пять рублей тридцать пять копеек за пуд. И это при том, что само товарищество нынче принимает муку у мужиков по восемь-девять рублей за пуд. И пришлось на это согласиться, поскольку нужно рассчитывать за муку с мужиками, которые по месяцу-два ждут, когда появятся мелкие деньги.

– Я читал в газете, что эта проблема решаема, – заметил Сухотский. – Печатные станки работают в ударном режиме, и новых денег появляется все больше и больше. Со мной, кстати, не так давно по одному делу рассчитывались уже ими.

– Рассчитывались по прежней договоренности? – поинтересовался Черных.

– Конечно, как же еще?

– А так, что вам, дорогой мой, следовало прибавки попросить. Старые деньги ныне дороже стоят. Их или припрятывают, или выменивают на новые, с приплатой, конечно. Обратите внимание – «керенки»-то с рынка исчезли. А куда? Уехали на восток к океану, туда, где сейчас главные денежные дела с американкой да япошками делаются. Вот. – Кооператор вынул из кармана сюртука бумажник, а из него листок бумаги. – Вырезал из газеты «Заря», а зачем, и сам не знаю. Наверное, чтоб еще больше душу себе травить. Потратьте немного времени, послушайте. Оно того стоит. Это обзор печати за последнее время в экономическом плане.

«Голос Сибири»: «Со времени освобождения от большевистского господства ничего, решительно ничего не сделано для возрождения и восстановления нашей фабрично-заводской промышленности, для творческого использования наших величайших экономических возможностей».

«Новая Сибирь»: «Часть наших торгово-промышленных кругов занялась неприкрытой спекуляцией, использованием всякой возможности легкой наживы, не требующей созидательного труда. Вместо разрешения экономических проблем биржевые комитеты и иные ассоциации капитала занимаются деланием политики, созданием различных политических комбинаций, могущих направить государственную жизнь по старым путям». И еще, последнее оттуда же: «Творческие задачи торгово-промышленного класса, выраженные девизом: «Государственность и независимость», далеко не осуществляются. «Девизы» начинают пороться по всем швам.

Доказательство этому то, что наши предприниматели то-ропятся сбыть предприятия иностранцам».

Вот так-то.

– Это события, как говорится в общесибирском масштабе, а как идут дела у наших кооператоров, да и у вас лично? – поинтересовался Сухотский. – Вы ведь, насколько я знаю, кроме работы в союзе кооператоров, являетесь и пайщиком нескольких предприятий в Барнауле.

– Не нескольких, а только двух, и в значительно меньшем объеме, чем мне бы того хотелось, – улыбнулся Черных. – А дело что, дело идет. На бывшем винокуренном заводе мыловаренное производство налаживаем. Мыла-то в городе сейчас днем с огнем не найдешь, а оно – продукт полезный и необходимый. Это вам и доктор подтвердит. Верно, Сергей Николаевич?

Занятый своими мыслями и потому потерявший нить разговора Поляков поднял голову и, посмотрев на кооператора ничего не выражающим взглядом, согласно кивнул. Иван Анисимович между тем продолжал:

– Уже сварили первую партию – 100 пудов, комиссия определила первым сортом. Можно б радоваться, да сырья, сала то есть, не хватает для нормальной работы. Мастер говорит, что можно попробовать варить из растительных масел с добавлением сала, но что получится, пока не знаем.

Оборудование для жестяночной мастерской купили, пресс для изготовления штампованной посуды. 60 тысяч целковых за него отдали, но дело того стоит. Знаете небось, что частники из горелого железа, какое на пожарах собирают, ведра делают и по 18 рублей продают?

Сухотский, уже пожалевший, что «посадил» Ивана Анисимовича на его любимого «конька», так же, как и доктор, молча кивнул.

– Сделали первые двести ведер из старого железа, а в продажу пустить не можем! – Увлечись рассказом о любимом деле, Черных при этих словах даже хлопнул себя обеими руками по коленям. – Проволоки нет для изготовления дужек! Наконец приобрели новую жесть и проволо-

ку тоже, теперь будет мастерская день и ночь работать. Будем кроме ведер делать бидоны, масленки, трубы самоварные. Ведра, заметьте, из новой жести, пустим в продажу по 14 рублей за штуку. Со временем сможем изготавливать самостоятельно даже луженые молочные фляги, а это знаете... Ручаюсь, что такого предприятия нет ни в одном кооперативе Сибири, а может быть...

– Погодите минутку, – прервал его присяжный поверенный. – Позвольте, пока не забыл задать вам еще один давно мучающий меня вопрос. Вот скажите: вы как областник всегда были приверженцем идеи о самостоятельности Сибири. Как считаете, если сейчас нам не тратить силы и средства, которых без того не так много, и не идти на Москву, а занять в Уральских хребтах – как естественной природной крепости – прочную оборону, да и жить самим по себе. Пусть в России остается все как есть, это их дело, а нам и Сибири хватит. Со временем все лучшие русские люди к нам соберутся. Вот это будет держава, а?

– Чувствую я, что вы, Арсений Петрович, не всерьез меня спрашиваете, а больше чтобы не дать мне о настоящем деле рассказать, да из присущей вам привычки поддеть, – улыбнулся раскрасневшийся от собственного выступления Черных. – Но все ж отвечу серьезно и основательно, поскольку такие речи уже слышал и над ними думал. Никогда и никто из сибирских областников, с самого момента зарождения нашего движения в 1865 году, не говорил о Сибири как суверенном, независимом от России государстве. Ни Ядринцев, ни Потанин, ни кто-либо другой. При том, что Сибирь находилась в унии с Россией только вследствие ее покорения и принятием Иваном Грозным титула царя Сибирского. После отречения Николая Второго она фактически получила право на выход из Российской империи. Наш лозунг был и остался прежним – автономия. И в декларации Временного Сибирского правительства о государственной самостоятельности Сибири прямо говорится о том, что оно направит все свои усилия к воссозданию российской государственности, а характер дальнейших отношений между Сибирью и европейской

Россией будет определен всесибирским и всероссийскими Учредительными собраниями.

Разумеется, мы никогда не пойдем на то, чтобы богатства Сибири почти даром увозились за границу, там перерабатывались, а затем в виде фабричных изделий продавались у нас же по высоким ценам, как это имело место в недавнем прошлом. Предпринимателям не нужно будет уезжать за тысячу верст от своих губерний, и фактически жить вдалеке от своего дела и семьи, чтобы проводить в центральных канцеляриях свои хозяйственные проекты. И держатели денежных фондов будут в Сибири, и богатство, здесь собираемое, будет тут же оставаться и распределяться. И, как абсолютно верно говорит наш иркутский единомышленник, занимающий сейчас в правительстве пост министра снабжения, Иван Иннокентьевич Серебряков, выход здесь в общей для Сибири областной думе, с соответствующими исполнительными органами и выделением сибирских финансов из общегосударственных.

Но говорить об этом сейчас, когда большевики проливают в европейской части страны реки крови... Уверен, что вы сказали это лишь в шутку. У нас, сибиряков, всегда было не в чести оставлять в беде близких, уверен, что и сейчас нет. Другое дело, если с помощью божьей нашей армии удастся выгнать Троцкого с Лениным из первопрестольной. Тогда сибиряки как победители вправе будут требовать преференций, и новое российское правительство не сможет к ним не прислушаться. Только так.

Если же вернуться к тому, с чего мы начинали, к делам, то хотел бы поделиться одной новостью, уж не знаю, насколько она верна. В наших кругах говорят, что в самом скором времени в сибирских городах будет работать специальная комиссия из Северной Америки и наших представителей земств и городских управ. Речь идет об очень серьезном кредитовании на развитие банковской системы Сибири, а также предоставления помощи сельскому хозяйству. Предполагается, что только на снабжение наших крестьян сельхозмашинами, орудиями, учебными

пособиями, медикаментами и прочим американцы намерены выделить 600 миллионов рублей.

– А потом все это добро по новой отберут, – вступил наконец в разговор долго отмалчивающийся Поляков.

– Это как? – растерялся кооператор.

– Ну, не так, как наши большевики, которые прошлой весной с вас, капиталистов барнаульских, единовременный налог в миллион рублей постановили собрать. И когда вы со сдачей его задержались, взяли еще два, а тех, кто особенно «забывчивый» оказался, арестовали и имущество конфисковали. Теперь тех, у кого добро имеется, грабить будут по-простому, по-русски – с мордобоем, топором, самогонкой. Весело будут грабить.

– И кто же эти мерзости будет делать, позвольте поинтересоваться? – с любопытством взглянул на него Сухотский.

– Отвечу. Но для начала хочу сказать вам, господа, что я, может быть, совсем неважный политик и экономист, но врач, как говорят, хороший. И вот что я вам скажу как врач. Нынешнее состояние нашего организма, то бишь зауральского царства Александра Четвертого, как уже именуют Колчака, только кажется относительно стабильным. Рецидива можно ожидать в самом ближайшем времени. И не в виде чужеродного вторжения из-за Урала, но в лопнувшей гнойной опухоли, находящейся в самом теле.

Грабить и бунтовать будут те самые крестьяне, для которых и предназначено все это, пока мифическое, американское добро. Знаете ли вы, что среди пришедших с германской войны крестьян очень много людей с надломленной психикой, что, впрочем, немудрено. С полей да покосов, от природной благодати зашвырни человека в окоп, в ледяную воду по пояс, а сверху на него снарядами, бомбами с аэропланов, газами его сердечного, всей той гадоштью, что человеческий гений выдумал. Каково будет человеку, каким он из такого ада вернется?.. Вопрос, понятное дело, риторический.

И люди эти, душевнобольные нервные люди, попали не в госпитали, а вернулись домой. Многие к тому же,

кроме болезни душевной, принесли с собой и галантную, то бишь сифилис. Последний по возможности лечим ртутными препаратами, а вот с нервными хуже. Уж очень их много. Совсем недавно наше земское собрание обсуждало необходимость постройки губернской лечебницы для душевнобольных, и поскольку такая необходимость очевидна, есть уже проект и смета на создание лечебницы на сто мест. Однако этого мало, и когда она еще появится...

Пока зима, они сидят по хатам и отыгрываются на своих бабах. Придет весна, вся эта привыкшая к вседозволенности масса дезертиров, которые ненавидят все и вся и в особенности тех, кто ратовал за войну до победного конца, а теперь хочет отправить их на войну другую, начнет сколачиваться в банды. Одни в идейные формирования, другие в не обремененные лозунгами шайки. И все, естественно, для того, чтобы пограбить, а при удачном раскладе и вовсе избавиться от власти, каковую мужик сегодня, по моему личному убеждению, ненавидит в любом ее проявлении. Вслед за деревенскими люмпенами потянутся вскоре и мужики позажиточнее. Им просто зависть не даст дома усидеть. Как же – ты добро десятки лет наживал, а другому на дармовщинку достается. Надо не опоздать. А если еще учесть, что у нас в Сибири каторжанская прослойка ох какая богатая, то и вовсе жутко становится.

Доктор пыхнул раз-другой сигарой, развеял рукой дым и, пристально взглянув на внимательно слушавшего эту речь Володю, продолжил:

– Без всякого сомнения, найдутся и лидеры. Людей, не боящихся ни бога, ни черта, а тем более какую-то там колчаковскую милицию, и к тому же наделенных природными задатками вожаков, в сибирском селе тоже хватает.

Ведь кто в массе своей проживает в нашей Алтайской губернии, по которой я, поверьте на слово, поездил немало? В абсолютном большинстве своем это недавние переселенцы, сиречь авантюристы, своего рода майнридовские пионеры Техаса. Люди по самой сути своей склонные к рискованным предприятиям.

Эти качества подтверждаются прежде всего самим фактом их переселения сюда. Порой просто пешком, с топором на одном плече и сохой на другом, за тысячи километров, в чужую, страшную для великоросского и украинского крестьянина Сибирь. Кто пришел на Алтай за землей несколько лет назад из Воронежской, Тульской, Харьковской, Таврической и прочих губерний, бросив родные, привычные места? Разумеется самые смелые, сильные и просто отчаянные. Таких в смутные времена стоит бояться любой власти, и они еще заставят ее это делать.

Доктор резким движением ткнул недокуренную им сигару в пепельницу и энергично раздавил ее в ней. Потянулся за коньяком. Взяв в руку рюмку, Поляков посмотрел сквозь нее на освещавшую круглый стол с закусками лампу и вздохнул:

– Такого наговорил вам, господа, что самому не по себе стало. Давайте лучше выпьем. – И после того как все, включая и Володю, последовали его совету, добавил: – И ведь действительно боюсь, что мои нынешние рассуждения в скором времени станут реалиями. Благодатная почва для этого уже подготовлена и во многом благодаря самой власти. Нужно что-то менять, и менять кардинально, иначе летальный исход нашего нынешнего сибирского царства практически неизбежен.

«Меняйте не меняйте, все равно вашему Колчаку каюк придет, – сквозь охватившую его сладостную дремоту подумал Володя. – Умные вроде люди, а не понимаете, что класс ваш вчерашний и дело ваше прошлое, хоть сколько вы пурхайтесь».

– Давно хочу поделиться с вами кое-какими мыслями, господа, – медленно сказал Сухотский, сцепив под подбородком пальцы рук. – Не так давно перечитывал я «Дневник писателя» Достоевского и обнаружил, что мысли, которые меня занимают, появились у Федора Михайловича еще сорок лет назад. Он пишет о том, что большевики того времени, Нечаев и нечаевцы, представлялись обществу исключительно как «идиотические фанатики»,

мошенники и монстры, то есть так же, как большинство из нас определяет сегодня московских правителей.

– А как же их еще определять, если они таковыми и являются? – шевельнул усами Черных. – Самые что ни на есть монстры и мошенники.

– Если бы все было так просто, Иван Анисимович, думаю, от них бы уже следа не осталось. Позвольте, я вам прочту, очень поделиться хочется. – Сухотский встал из-за стола, подошел к высокой этажерке и взял с нее топорщившуюся закладками книгу.

– Вот этот момент, послушайте: «Монстров» и «мошенников» между нами, петрашевцами, не было ни одного. Не думаю, чтобы кто-нибудь стал опровергать это заявление мое. Что были из нас люди образованные – против этого тоже, вероятно, не будут спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его».

Сухотский перевернул страницу:

– Смотрим далее: «Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и главное – общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества.

Все эти убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейства; о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к Отечеству как к тормозу во всеобщем развитии, и проч., и проч. – все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши

сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае, тема казалась величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий – а это-то и соблазняло. Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда зараженных, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, – те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться.

Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем! Это и не у нас одних, а на всем свете так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шатости в основных общественных убеждениях. Но у нас это более чем где-нибудь возможно, и именно в наше время, и эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, не мерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, – вот в чем наша современная беда!».

Арсений Петрович закрыл книгу и вернулся к столу:

– Вот вы говорите, доктор, что мужик будет против любой власти бунтовать. Так ведь не он в ней первый усомнился, весь склад жизни, святыни народа гнилостными назвал. Не он, а как раз мы с вами, то бишь интеллигенция. Она организатор всех революций и всех переворотов на белом свете, хоть в Англии или Франции, хоть в Испании или Мексике. Теперь вот в очередной раз занялась этим в России. Отец и мать, поводырь любой революции практически всегда – буржуазия и интеллигенция. Так было и у нас в феврале. Но потом произошло необычное и страшное – в полную силу заявили о себе большевики. И тут же все мы стали говорить о них как об исчадьях ада, отбросах общества, уголовниках и так далее. То есть уродах уже по сути своей с колыбели.

Но вот вопрос: кто стоит во главе этих уродов, руководит ими, является их идейным вдохновителем? Ответ прост – представители той же интеллигенции. Я не знаком лично с господами Лениным и Троцким, но среди прочих более мелких руководителей большевистской Московии мне лично знакомы по меньшей мере два человека, один из которых – нынешний большевистский нарком продовольствия Цюрупа.

Знакомство это произошло, как говорится, во времена моей мятежной молодости, но не думаю, что за прошедшее время они превратились из образованных и порядочных в общечеловеческом понятии людей в звероподобных монстров, движимых только жаждой крови и какой-то личной корыстью. Думаю, что и кроме них в большевистском руководстве имеются такие же люди.

И в своих мыслях я не одинок. Даже газетчики, которым обычно вовсе не свойственно задумываться над глубинным смыслом происходящих событий, и те пишут, что если белые своими силами не могут уничтожить большевиков и ищут помощи у иностранцев, значит большевизм все-таки – не кучка разбойников, а широкое движение народных масс, принявшее лишь уродливые формы. Это подать, неслыханная подать за нашу культурную, экономическую, политическую отсталость. Ведь представить себе появление большевизма в странах с прочными демократическими традициями попросту невозможно. А наши патриотические чувства? Прочел в «Сибирской жизни» очень точное наблюдение одного из журналистов. Задавшись вопросом, почему иностранцы очень часто относятся к нам с пренебрежением, он пишет, что причина в отсутствии самоуважения у русских. Они знают о нас немного, но наше отношение к своей же стране им, конечно, известно.

Сухотский потарабанил пальцами по столу, затем легонько стукнул по нему всей ладонью:

– Ну да прочь тоска, давайте пить чай, коль коньяк надоел.

Пили чай, ели изготовленные Настасьей Карповной чудесные маленькие пирожки с луком и яйцами, ливером и вареньем. Черных рассказал несколько действительно смешных анекдотов, а Поляков – занимательных случаев из своей богатой докторской практики. Володя по-прежнему отмалчивался, разумно полагая, что высказанные им по поводу услышанного мысли этим господам вряд ли понравятся. Быть безрассудно смелым он себе позволить пока не мог. Да и просто Сухотского не хотелось обижать. Тот же всю оставшуюся часть вечера просидел в задумчивости, невпопад отвечая на задаваемые ему вопросы. Заметив это, Поляков и Черных стали собираться по домам.

– Простите, господа, что своей задумчивостью несколько смазал концовку этого замечательного вечера, но, как сами знаете, мыслям своим мы не хозяева, – сказал Сухотский уже с налитой по русскому обычаю «на дорожку» рюмкой в руке. – Вот чем я хотел бы еще, друзья мои, с вами поделиться. Вы не обращали внимания, что, уже начиная с германской войны, а уж после февраля 17-го и тем более, самые вопиющие поступки и позорные дела стали объяснять и успокаивать самих себя ничего не значащими словами вроде «такое время», «революционные интересы», «по тактическим соображениям». И то же самое, что без «такого времени» было просто убийством, предательством, подлостью, теперь сходит за обыкновенное дело.

Вы знаете, я всегда был материалистом и соответственно безбожником. Но времена сейчас таковы, что без стержня в душе, каковым для русского человека уже сотни лет является православная вера, оскотиниться очень просто. А мне, как, уверен, и вам, этого не хотелось бы. И вот, представьте себе, все чаще посещает меня мысль, которая, думаю, свойственна многим и наверняка кем-нибудь достаточно четко сформулирована. Я думаю теперь, что никакие самые справедливейшие учреждения и самый правильный строй жизни не изменят человека, если что-то не изменится в его душе – не раскроется душа, и искра божия не взблеснет в ней.

А если искра эта взблеснет в душе человеческой, не надо и головы ломать ни о справедливейших учреждениях, ни о правильном строе жизни, потому что с раскрытой душой само собой не может быть среди людей несправедливости и неправильности. Давайте выпьем за эту искру.

Сухотский, Поляков и Черных дружно сдвинули рюмки.

«Надо же, в поповщину Арсений Петрович ударился, – с досадой подумал Володя. – Умный же человек – и такое мракобесие. Про искру это уж совсем того. Искру самим нужно зажигать, никакого бога не дожидаясь. Попы его придумали, за его счет кормятся, вот пусть они на него и надеются. А мы не искру, мы пожар мировой разожжем! Во сказанул! – довольный собой улыбнулся он. – Прямо как на митинге. Кругло у меня получилось. Знай Балтику!».

* * *

– Загостился я у вас, – сказал Володя Сухотскому за завтраком. – Поживу, если вы не против, еще денька три-четыре, окрепну маленько и, как говорится, пора и честь знать. Стесняю я вас, да и постоялец небезопасный – человек пришлый, документов никаких...

– Вот именно что никаких, – Арсений Петрович протянул руку за чайником и, остановив ее на половине пути, опустил ладонь на скатерть. Привычно потарабанил пальцами по столешнице, потом взглянул в глаза Мишукову: – Понимаете, Володя, какая штука... То что я дал вам приют в своем доме, накладывает на меня определенную ответственность за вашу дальнейшую судьбу. Но зато я и вправе спросить, что вы намерены делать дальше: остаться в Барнауле и жить как простой обыватель, попытаться найти дорожку к своим товарищам по партии или вовсе пробраться по другую сторону Урала, обиходно говоря в Совдепию?

– Не знаю я, – после продолжительной паузы ответил Володя. – Нужно с чего-то начинать, а я даже на улицу без документов выйти опасаясь.

– Строгого контроля в этом отношении в городе пока нет, и видеть патрули, которые проверяли бы до-

кументы, мне лично не приходилось. Но без нужды лучше, конечно, не рисковать. Я вот тут подумал, – присяжный поверенный взял наконец со стола чайник и, долив в свой стакан кипятку, принялся позвякивать по стеклу ложечкой. – Не начать ли вам, мин херц, пока поправляетесь, брать уроки немецкого языка?

– Что? – поперхнулся куском калача Мишуков. – Вы что, смеетесь надо мной, что ли?

– Почему смеюсь? Вовсе я над вами не смеюсь. Но скажите, разве не хочется вам Европу посмотреть, в больших событиях поучаствовать? В Германии сейчас, как вы сами знаете, очень беспокойно. Она, возможно, стоит на самом пороге переворота, подобного нашему октябрьскому, и тогда местным большевикам русские специалисты с опытом и знанием языка очень даже потребуются.

– Точно смеетесь, – Володя поставил стакан с недопитым чаем на стол, отодвинул от себя тарелку с калачами. – Не можете помочь, так и скажите, обижаться мне тут нечего, а насмехаться зачем?

– Ну виноват, виноват, – поднял руки вверх Сухотский. – Действительно хотел над вами немного подшутить, но, видать, не получилось. Хотя говорят, что в каждой шутке есть доля правды, а в этой тем более. Дело тут вот в чем. У меня есть одна знакомая дама, не особенно скрывающая свои левые убеждения. Она несколько месяцев назад приехала к нам из Новониколаевска после смерти мужа, служит в земстве, зовут ее Ольга Наумовна Линник.

– И что с того? – недоуменно поинтересовался Володя. – Мне-то с нее какой прок?

– Дойдем и до прока, не перебивайте, пожалуйста. Так вот, недавно побывал у меня один знакомый коллега из Новониколаевска, случайно увидел эту даму и сказал мне, что ее муж занимал там какой-то не последний пост при большевиках и был убит во время выступления чехов. Я об этом распространяться, естественно, не стал, а вам сообщаю вот почему. Думаю, если вы с ней познакомитесь и найдете общий язык, она сведет вас и с оставшимися в Барнауле большевиками. Если же это попробую напрямую

сделать я, по вашим понятиям, недорезанный буржуй... Не надо морщиться, именно таковым вы меня и считаете. Такой шаг может только все испортить. Линник – другое дело. Получится – хорошо. Нет – будем думать над другим вариантом.

– Я вас буржуем недорезанным не считаю, – буркнул Мишуков. – Это вы зря. И скажите, наконец, причем тут немецкий язык?

– Тут все просто. Она делает переводы с немецкого, на почве чего мы с ней и познакомились. Я знаю этот язык, но весьма поверхностно. Без специалиста было не обойтись – предложили обратиться к ней. Кроме того, она дает и уроки немецкого. Вот ваш шанс. Что вы по этому поводу думаете?

– Ничего, – пожал плечами Володя, – я вообще с женщинами как-то мало общался... Но деваться некуда. Давайте попробуем.

– Тут еще немаловажно и то, что она еврейка. Это очень могло бы вам помочь, если соберетесь вернуться в свой Питер или Москву.

– А это при чем? – насупился Мишуков. – Не думал о вас, вы ж университет окончили, образованный человек, и такое...

– Знаете что, мой юный друг, давайте хотя бы сейчас не будем фарисейски закрывать глаза на действительность, – оборвал его Сухотский. – Среди моих знакомых, людей мною уважаемых, иудеев немало, но это вовсе не значит, что я должен закрывать глаза на факт их многочисленного, если не поголовного присутствия в ряду приверженцев вашей идеи. И объяснение этому весьма простое. Притесняемая нация хочет изменить свое положение в стране проживания, сделав его по возможности доминирующим. И потом, большинство национальных революций осуществлялось при активной помощи, а то и под руководством инородцев. Нагляднейший пример – корсиканец Наполеон Бонапарт. Да что далеко ходить – главной военной силой большевиков в Барнауле были вооруженные ими пленные мадьяры. Напротив – их недавние

сослуживцы по австро-венгерской армии – чехи. Такие вот парадоксы в истории бывают. А объяснение этому тоже простое. Революция – это прежде всего ломка. А чужое ломать не жалко, не свое же. Как поется в вашем гимне: «до основанья», а затем не наше дело. Ваша страна – вы и стройте.

Но мы с вами отошли от дела. А дело в том, что евреи в абсолютной массе своей сегодня большевики, к тому же часто занимающие высокие посты, и отношение к ним в вашей среде особенно доверительное. Что вам на данный момент и требуется. Сумеете найти с ней общий язык, доказать Ольге Наумовне, что вы свой, – она вам наверняка поможет.

– Не знаю даже, – с сомнением пожал плечами Володя. – Насчет женщин я не силен. В том смысле, что опыта общения с ними у меня, считай, и нет. Стыдно сказать, робею я как-то перед ними, а почему – и сам не знаю.

– И это говорит военный моряк. О-о...

– Да бросьте вы! – покраснел Мишуков. – Раз военмор, так обязательно бабник, что ли? Я же не отказываюсь, – после паузы добавил он, – попробую. Деваться-то все равно некуда.

* * *

Это была смуглая молодая женщина с короткими вьющимися на кончиках черными волосами и такими же черными любопытными глазами. Крупноватый нос мешал лицу стать кукольно хорошеньким, зато делал его более ярким и выразительным. И это Володя оценил сразу. Под черным шерстяным платьем угадывалась довольно ладная крепкая фигура.

Обратил он внимание и на полную грудь своей учительницы, и сколько потом ни старался не глядеть на нее, выходило это у него очень плохо. Самым досадным было то, что она это тоже заметила. Иначе с чего бы так насмешливо и, как казалось Мишукову, презрительно улыбалась.

– Майн наме Володя, – попугайски твердил он. – Их бин... Что-то не получается у меня.

– Не у всех сразу получается, – опять улыбалась она, хозяйским взглядом рассматривая Володю и заставляя его

в очередной раз краснеть. – Изучение языков – дело непростое. Здесь главное терпение и усердие. Ну-ка попробуйте еще раз.

После чая он провожал ее у дверей и даже подал Ольге пальто, нуклюже и ненужно поправив его затем на женских плечах, на мгновение задержав на них свои ладони. Попрощался с улыбкой, которую, едва закрылась дверь, счел неуместной и гадливой, и долго тер ладонями щеки, словно пытаясь согнать ее следы.

Ждать нового прихода Ольги Линник он стал тут же, и два последующих дня для него не были заполнены ничем, кроме ожидания и предчувствия новой встречи. Он не замечал насмешливых взглядов пытавшегося завязать с ним беседу присяжного поверенного, недоуменно-озабоченных глаз подающей на стол обед Настасьи Карповны. Мишуков был занят. Он ждал. И дождался.

Урок уже заканчивался, когда она очень буднично попросила Володю проводить ее домой.

– С детства боюсь темноты, – улыбнулась неловко, – а с вами мне не страшно будет. Хорошо?

Соглашаться путешествовать по Барнаулу, пусть и потемну, без документов было неразумно, но Мишуков, конечно, согласился. Впрочем, в тот момент патрулей и налетчиков он боялся несравненно меньше, чем того, что может произойти между ним и этой женщиной. Он и желал, и страшился этого одновременно. Однако страх этот был таким сладостным, что не только не мог заставить повернуть назад, но будто бы подталкивал его, заставляя торопливо надевать подаренное адвокатом пальто, а затем так же торопливо искать ключ от входной двери. Будь дома Сухотский, он, наверное, удержал бы Мишукова от столь неразумного шага, но присяжный поверенный как раз отсутствовал. Да и потом, кто знает, стал бы он это делать...

Среди кристально белого снега встречались большие черные пятна на местах дотла выгоревших домов, одна из улиц была уничтожена едва ли не полностью, и приходилось только удивляться разборчивости огненной

стихии, пощадившей одни и испепелившей другие строения. Даже сейчас, когда после постигшего Барнаул несчастья прошло почти полтора года, воздух города, казалось, так и не утратил горького-тяжелого запаха сгоревшего крова, прошедшей, но не ставшей от этого меньше беды.

«Досталось городу», – подумал Мишуков и припомнил, как в одной из предложенных ему Сухотским старых газет прочел статью под заголовком «Гибель Барнаула». В ней рассказывалось о том, что во время майского пожара 1917 года в городе было уничтожено огнем более семисот усадеб. Пожар унес множество жизней и оставил без крова тысячи людей. Но уже скоро появились оптимисты, которые посчитали, что на месте пепелища барнаульцам вполне по силам создать город-сад. В центре большая круглая площадь, от нее, словно солнечные лучи, девять утопающих летом в зелени бульваров...

– А вот и мой дом, – сказала Ольга, – зайдете погреться? У меня отдельный вход, так что хозяевам не помешаете.

В тот же момент Володю перестали интересовать какие бы то ни было пожары, а вдыхаемый им морозный воздух стал просто обжигающим. Он молча кивнул.

В комнате все было строго и как-то безлично, будто здесь жил редко в ней бывающий деловой, абсолютно не думающий о домашнем уюте человек. У окна стоял небольшой, закапанный чернилами стол, рядом – железная кровать с шишечками, покрытая стеганым одеялом. На стуле – женское платье, длинный темный халат, на столике будильник. Привыкшего на флоте к почти идеальному порядку, внедренному в плоть и кровь с помощью кондукторских и боцманских зуботычин, Мишукова особенно поразили валяющиеся на полу окурки. На столе стояла лампа с обгоревшим бумажным абажуром, лежали растрепанные книги.

– Как вы только сумели такую комнату найти? В городе, говорят, от беженцев не протолкнешься, да еще пожар скольких людей жилья лишил, в одной конуре по несколько человек живут, а тут вон как просторно.

– И вполне хватит места для двоих, – отметила она, заставив Мишукова мгновенно покраснеть. – Я, Володенька, много чего умею, но об этом потом. Давай целуй меня быстренько, я уже заждалась.

– Как это?

– Ну, для начала в губы. И не будь ханжой. Отбрось свое пуританское воспитание, если у тебя такое есть, и не будем больше тратить слов.

– Так ты что, влюбилась в меня, что ли? – недоуменно спросил Мишуков. – Так сразу?

Ольга улыбнулась:

– Видишь ли, чтобы влюбиться, нужно время, затем любовь сама начинает требовать времени. Для революционера это непозволительная роскошь. Когда тебе хочется пить, ты выпиваешь стакан воды, точно так нужно поступать и здесь. Мне хочется быть с тобой, и я не намерена отказывать себе в этом. Сойтись, дать друг другу что имеешь, и разойтись когда нужно, без всяких сантиментов. Все просто, и хватит об этом. На штурм, мой альбатрос. И давай уж я сама поцелую, от тебя, похоже, этого не скоро дождешься...

Она глубоко вздохнула, мягким ласкающим движением закинула руки ему на шею. Володя почувствовал на своих губах ее полные губы, затем она скользнула ему в рот быстрым язычком, и Мишуков понял, что сопротивляться желаниям этой женщины он больше не будет. Не прошедшая еще после болезни слабость отступила мгновенно. Он легко поднял Ольгу на руки и, чувствуя, как ее пальцы скользнули за воротник его рубахи, задохнулся от болезненно острого желания.

– У тебя что, никогда не было женщины? – спросила Ольга полчасика спустя.

– Была, – буркнул Володя, поворачиваясь к ней спиной, – плохо помню, пьяный был.

– Ничего не помнишь? – Ольга прижалась грудью к его спине, потерлась щекой о его шею.

– Помню, гадко мне потом было, – повернулся к ней Мишуков. – Сильно гадко.

– А со мной как?

– С тобой пока не знаю. Не понял еще. Дышится вот как-то легче, словно нарыв какой выпустили.

– Это хорошо, очень хорошо, – довольно улыбнулась она и принялась поглаживать Мишукова ладошкой по груди. – Ты такой красивый, просто греческий бог. У тебя такие сильные руки. У меня никогда не было такого мужчины.

– А какие были? – спросил уязвленный наличием предшественников и обрадованный своими преимуществами перед ними Володя.

– Ну какая тебе, право, разница? – Она легонько ущипнула Мишукова за грудь, затем быстро поцеловала его несколько раз в губы и шею. – Кто, сколько. Были – и нет их, а значит и не было никогда. А мы с тобой есть, сейчас, в эту минуту. И это самое главное. Поцелуй меня в грудь, Володенька. Тебе же нравится?

– Да, – прошептал Володя и через несколько мгновений вновь услышал тихий, лишающий его всякого рассудка стон.

...Он рассказал ей все. О том, как уезжал с товарищами из голодного, набитого серым расквашенным снегом Питера в самом начале весны нынешнего, почти прошедшего года, о продуваемом насквозь степном городке под названием Славгород, своих путешествиях за хлебом по кулундинским просторам, скользком и липком страхе, пронизывающем все твое естество при посвисте уже миновавших тебя пуль, о накатывающем, словно балтийский прибой, мерном и безжалостном стуке конских копыт за спиной. О бескрайнем снежном поле и тонкой нити почти занесенной бураном дороги, по которой идет к далекому городу одинокий, замерзающий на ходу человек. Идет, не зная, что встретит здесь свою по-настоящему первую и самую желанную женщину.

– Страшно и красиво, – сказала Ольга и перегнулась через Володю, чтобы взять с тумбочки папиросу. Чиркнула спичкой и, потянув на грудь одеяло, спросила: – И что ты думаешь делать дальше?

– Не знаю, – пожал плечами Мишуков. – Если честно, вся надежда на тебя. Сухотский сказал, что ты могла бы познакомить меня с товарищами. Без тебя не знаю что и делать.

– И вы с этим адвокатишкой решили, что ты должен меня для пользы дела соблазнить. Так?

– Глупости, – покраснел Володя, – я и делать-то этого не умею.

– Не наговаривай на себя, – усмехнулась она, – все правильно. Без меня ты чего доброго и вправду пропадешь, а я тебе помогу. Но, – женщина затушила папиросу о спинку кровати и бросила ее на пол, – не просто так. Понимаешь, о чем я?

– Не понимаю, – сухо ответил Мишуков. – У меня и нет ничего.

– Какой ты все-таки теленочек, Володенька, – ласково сказала она. – То, что мне нужно, у тебя с избытком имеется, и я свое сейчас возьму, – проговорила Ольга уже сквозь зубы и заскользила по его груди своими твердыми коричневыми сосками. – Мое, мое, мое, заберу все, никому ничего не оставлю...

– Я поговорю с одним человеком в губернской управе, – деловито говорила она, – надевая платье и охорашиваясь. – Он помог мне и поможет тебе.

– Точно? – с сомнением спросил Мишуков.

– Поможет, – твердо сказала Ольга. – И потому, что я попрошу, и потому, что наших здесь мало. Люди, можно сказать, наперечет. Очень многие товарищи как, прошу прощения, летом в штаны напрудили, так никак их высушить не могут. Хорошо, конечно, если бы у тебя был хоть какой-нибудь документ, хоть какая-то бумажка. Им сейчас веры больше, чем людям. Впрочем, как и всегда.

– Есть у меня одна бумага. Товарищ Цюрупа перед нашим отъездом из Петрограда дал. Сухотский говорит, прочел в газете, что Александр Дмитриевич теперь в Москве – нарком продовольствия республики.

– Покажи, – оживилась женщина.

– Дай ножницы или ножик острый, – Володя осторожно отпорол шов на поясе своих брюк, вынул гильзу от крупнокалиберной французской винтовки «Гра». Постукав доньшком о ладонь, извлек из нее сложенный вчетверо листочек бумаги: – Вот мой единственный документ. С лета в ней ношу, как из Славгорода от чеха уходили, спрятал. Трое штанов сменил, а все ж сохранил.

* * *

Новый, 1919-й, год Володя, встречал вместе с Ольгой Линник. В ясный морозный день в небольшом, жарко натопленном доме собрались несколько мужчин и женщин, решивших отметить этот праздник. Большинство из них перебрались в Барнаул недавно из Томска и Новониколаевска, где им после падения советской власти оставаться было небезопасно. В углу, словно дань уходящему старому времени, стояла украшенная разноцветными бумажными гирляндами и старыми ватными ангелочками елка, на столе – дымящиеся пирожки с рисом и яйцами, винегрет, большой темно-красный запеченный окорок с привязанной к нему кокетливой бумажной манжеткой, несколько бутылок вина и украшение праздника – изобретение 1918 года, салат со странным названием «шуба». На вопрос Володи Ольга пояснила, что рецепт этого салата неведомо какими путями добрался недавно из советской России в Барнаул, а шуба означает не что иное, как «Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема». Красный цвет свеклы символизирует знамя революции, а входящие в состав сельдь и картофель являются классической пролетарской закуской.

– По-простому – селедка под шубой, – улыбнулась она, явно довольная тем, что ее спутник является объектом внимания сразу нескольких из присутствующих на празднике дам.

Подошел невысокий парень лет тридцати с большеватым для его худого лица носом, резко ткнул руку, окинул Мишукова быстрым, оценивающе подозрительным взглядом. Отрекомендовался, немного заикаясь: Анатолий.

Постоял немного рядом с ними, коротко отвечая на пустяшные вопросы и все так же внимательно изучая Мишукова, и отошел, очевидно, сделав для себя выводы. Другой, среднего роста крепыш с высоким лбом, широким утиным носом и веселыми глазами представился по фамилии: Терещенко. Были там еще несколько совершенно не запомнившихся Мишукову мужчин, а также, по мнению Мишукова, значительно уступавших Ольге во всех отношениях женщин. Именно по этой причине они тоже не сохранились в его памяти.

Ольга почти сразу отозвала в сторону Терещенко и принялась с ним о чем-то разговаривать, а затем судя по резким взмахам рук и в чем-то убеждать. Подойти к ним поближе Мишукову было неловко. Препятствием к этому служил и изрядно подпитой мужчина, настойчиво предлагающий Володе выпить еще по одной, затем идти «душить гадов». «По одной не помешает, – убеждал он Мишукова, – а потом вперед. Всех гадов передавим». От необходимости давить-душить зловредных гадов Володю избавила Ольга, точнее подошедший вместе с ней Терещенко.

– Слушай, Николаев, – устало-презрительно сказал он подвыпившему мужчине, – шел бы ты проспался, а?

– А ты чего мне указываешь? – насупился тот. – Ты чего? Мы сейчас не в Томске и ты не предсовета, чтобы мне указывать. Ты теперь по одежке протягивай ножки.

– Смотри, как бы тебе свои не протянуть, – тихо сказал Терещенко, и собеседник его на глазах протрезвел.

– Ладно, – буркнул он и отправился к вешалке за своим пальто, – пойду посплю малость. – И, повернувшись к Терещенко, многозначительно добавил: – Потом поговорим.

Тот, не обращая на это внимания, уже изучал цепким взглядом Володю.

– С Балтики, говоришь? – наконец спросил он. – И документ имеется?

– Найдем, если надо, – в унисон ему коротко ответил Мишуков.

– Ну приходи тогда. Посмотрим, подумаем. Адресок записать или так запомнишь?

– Запомню, – улыбнулся Володя, – и приду.

На квартире у Терещенко Володя побывал через пару дней. Он уже немного привык путешествовать по Барнаулу без документов, хотя и понимал, что это может добром не кончиться. Но выхода не было, приходилось рисковать.

Проходя через разместившийся на одном из барнаульских пустырей небольшой базарчик, Мишуков невольно задержал шаг. Худенькая сестра милосердия с выглядывающим из-под платка красным крестиком на белоснежной косынке меняла лакированные туфли на сахарин, пожилая дама предлагала шляпу с павлиньим пером, мужчина с бородкой «гвоздем» выменивал офицерские бриджи на жареную курицу. Горластые бабы в тулупах и валенках нахваливали свой товар – битую птицу, масло, яйца, сало и прочая, прочая, прочая... Видимую конкуренцию им в плане саморекламы представляли разместившиеся неподалеку польские легионеры в добротных шинелях и четырехугольных фуражках-конфедератках. Перед ними на пестрых домотканых ковриках стояли полуведерные и ведерные самовары, поношенные и совсем новые сапоги, калоши. Лежали брюки и гимнастерки, платки и шали, рубашки и кальсоны.

Вислоусый, изрядно подвыпивший жолнеж, держа в одной руке кашемировую женскую юбку, а в другой зеленый шелковый платок, мешал в одну кучу польские, украинские и русские слова

– Проше, проше пана! – заорал он почти в лицо низкорослому деревенскому мужичку в пошитых из рядна штанах и заношенной кацавейке так, что тот шархнул в сторону. – Пусть пан купит для свой пани. Пани будет еше красче. Не дорого, почти за так! – и весьма довольный собой захохотал.

– Награбили по селам, а теперь нам же продают, – сказал с нескрываемой злобой мужской голос за Володиной спиной. – Из грязи в князи. Были пленными у нас, кланялись, теперь ровно хозяева, сволота такая.

Мишуков повернулся, чтобы посмотреть на говорившего, но того на месте уже не оказалось. Вместо него он увидел между рыночными рядами трех желтолицых раскосых солдат в меховых шапках, ботинках с обмотками и винтовками на ремне.

«Упаси бог попасть в китайскую комендатуру, – вспомнил он напутствие очень недовольного его прогулками Сухотского. – Говорят, что невредимым оттуда еще никто не выходил».

Китайцы шли неспешно и размеренно. Дождаться, пока они подойдут поближе, Мишуков не стал. Инстинктивным движением надвинул на глаза шапку и, незаметно для самого себя убыстряя шаг, двинулся от греха подальше.

* * *

Если бы Мишукову сказали, что этот парень в недавнем прошлом был городским главой в Томске – на новый лад председателем горисполкома – он бы, наверное, не поверил. Очень уж молод был этот человек, представившийся Володе на праздновании Нового года как Терещенко, тогда как на самом деле фамилия его была Тиунов. Тиунов Виктор Фотиевич – бывший солдат Томского гарнизона, а затем видный советский работник.

Однако подумав немного, матрос, пожалуй, сомневаться бы перестал. Сильный характер, ум и природная сметка чувствовались здесь сразу, а что касается молодости, то в те годы она была не редкостью среди лидеров всех уровней как одной, так и другой противоборствующих сторон.

Володя вновь распорол потайной карманчик штанов и выудил оттуда уже демонстрировавшуюся им Ольге Линник длинную гильзу от французской винтовки. Осторожно извлек из нее свернутый в трубочку прямоугольник тонкого красноватого картона. Бережно его развернул. – Это я еще летом, когда от чехов из Славгорода уходили, спрятал, – похвастался он. – Вот партбилет мой, а вот еще один документ. Хватит тебе?

– Мандат, – врястяжку прочел Тиунов-Терещенко. – «Сим удостоверяется, что военмор Владимир Мишуков направляется в составе продотряда в Алтайскую губернию для получения излишков хлеба голодающим Петрограда. Всем органам советской власти на местах необходимо оказывать указанному товарищу любое необходимое содействие.

Товарищ наркома продовольствия республики А. Цюрупа.

12 февраля 1918 года».

– Всем органам советской власти оказывать содействие. Понял? – толкнул локтем в бок Тиунова Володя и тут же смутился: – Извини, это я от радости, что своих наконец нашел. А ты ведь хоть и в подполье, но все советская власть. Так что давай оказывай.

– Документы, конечно, хорошие, – поскреб ногтями гладко выбритый подбородок Терещенко. – Конечно, если они твои и ты сам за это время кем был, тем и остался. Ну да сейчас не проверишь.

– А ты на деле попробуй.

– Так ничего другого и не остается. Если ты из колчаковского контроля, то мы у них по-всякому на крючке, и если тебя даже в расход списать, все равно на нем останемся, только увязнем сильнее. Ладно. Ольга сказала, вы с ней хотите за линию фронта перебраться. Считаешь, что тут революции никакой пользы принести нельзя?

– Не знаю. Не решил пока, – пожал плечами Мишуков. – От мужиков, как я убедился, толку мало. Если и поднимаются, так только за свое, от хаты на версту не отойдут. Ну а как в городе, не знаю.

– Пока не очень хорошо, – цыкнул зубом подпольщик, – но об этом после. Расскажи пока, как ты к Сухотскому попал.

– Да вот с помощью Цюрупы и попал. Он мне сказал, что в Барнауле его товарищ по ссылке должен жить. Коли будет случай, можно его повидать. Попросил передать привет и сказать, что советской власти честные и порядочные люди нужны более, чем какой-нибудь другой, и

о России она думает побольше прочих. Ну а тут такой случай выпал, что и тыкаться-то было больше некуда. Вот я, считай, от самого Славгорода до этого Сухотского пешком и добирался. Хорошо хоть не зря.

– Передал, что просили?

– Передал.

– И что Сухотский?

– Ничего, улыбнулся только.

– И ничего не сказал?

– Почему, сказал: «Хм-хм».

– Интересная личность, – усмехнулся Терещенко. –

С одной стороны – перерожденец, отошел от революции. К тому же либерал, самая большая слякоть, какая есть. Нас узурпаторами называют, душителями демократии, а сами тираны, каких поискать. Кто с ними не согласен – либо свободе враг, либо тупой. Понаслушался я их, было время. Свобода по-ихнему – это воля капиталистам-кровососам давить работяг до предела, спекулировать чужим трудом. На народ глядят как на дерьмо – для них только те люди, что в Парижах живут, ну и они сами, конечно, избранные же. Говорю слякоть, балласт в чистом виде, таких, как с Колчаками управимся, в первую очередь вычистить надо будет, чтоб не мешали делом заниматься. А Сухотский вроде бы и такой, а вроде и нет. Я недавно в Барнауле, но не раз уже слышал, что он людям, нам сочувствующим, помог. Вот и с тобой тоже.

– Он человек порядочный, – убежденно сказал Володя. – Просто политики сторонится, хочет в стороне от всего остаться.

– Так у баррикады всего две стороны, и каждый либо на той, либо на другой. Третьего не дано. Пока не приперло – еще туда-сюда, а припрет – выберешь, никуда не денешься, коль ты не жвачное животное, а человеком себя считаешь. Большинству-то пока лишь бы брюхо набить, до сознания не скоро еще достучимся, им что белые, что красные – хороший хозяин тот, при ком кормушка полная, с таким и в клетке можно жить, и по морде получать. Главное – брюхо сытое, остальное пустяки. Ничего, научим их еще людьми быть. Не самих, так детей их научим.

– Это когда еще будет, да будет ли, – в свою очередь усмехнулся Володя. – Давай лучше скажи, как сегодня дела тут обстоят. На что нацеливаетесь? Как местной контре палки в колеса до прихода наших вставлять собираетесь? Или так вас шуганули, что теперь сиднем будете сидеть?

– Есть такие, что и не против, – нахмурился Терещенко. – А ты то чего геройского совершил, чтоб других судить?

– Я пока те, что не против, по домам борщ хлеба-ли, с казаками Анненкова воевал, со зверьем, какое поискать, и, коль к своим выберусь, опять винтовку попрошу. Товарищ Энгельс знаешь, что про революцию писал? Что на ней как на войне. Коль нужно, надо все на карту ставить, пусть и шансов немного. Нельзя покориться ярму, не обнажив меча!

– Ладно. Не кипятись, морячок. Знаем ваших, народ грамотный, да горячий. Петушок не клюнет, все в героев рядятся, от хорошей пайки не отказываются, а вот когда припечет...

Когда чехи с беляками переворот устроили и в Сибири, как они думают, крепко обосновались, некоторые из наших, прямо скажем, в пораженческие настроения впали. В Сибири, дескать, нет достаточного количества рабочих, которые прошли школу революционной борьбы. Республика находится в кольце фронтов и, возможно, Советы не будут вести наступательной политики на Восточном фронте, будут только сдерживать наступление врага, а посему подпольным большевистским организациям стоит, наверное, частично отступить. Надо, мол, установить единый фронт с эсерами и меньшевиками, войти в органы земского и городского управления, усиливать свои позиции в профсоюзах и так далее.

Есть кто и дальше пошел. Эти говорят, что мы сделать все равно ничего не сможем, только ценные для революции кадры – то есть их самих – погубим. Надо ждать Красную армию, а до того всячески беречь себя любимых.

– Вот сволота! – не выдержал Мишуков.

– А кто ж еще, – охотно согласился Терещенко. – Хорошо, что среди рабочих мы пока поддержку имеем. Когда в железнодорожных мастерских узнали о расстреле Присягина, Цаплина, Казакова и Фомина, лучших наших товарищей и вожаков, никто к работе не приступил. Собрали митинг в паровозном цехе и выставили требования: прекратить расстрелы, немедленно освободить всех политических заключенных, восстановить свободные профсоюзы и восьмичасовой рабочий день. Правда, властям забастовку удалось сорвать, но народ все равно накален. Я видел нашу томскую газету «Заря», так они сами пишут, что в толще рабочих вера в советскую власть не разрушена и большинство их настроено большевистски.

Ну для поддержки такого настроения буржуи и сами вовсю стараются – цены на все как на дрожжах растут, а зарплата на месте стоит, сверхурочно людей без оплаты заставляют работать. Зато в земстве да разных коммерческих учреждениях дело совсем другое. Кроме своих со всех краев России «политических эмигрантов» густо напозло. И всем оклады хорошие, да и повышают их еще все время. Я в губернском земстве мелкая сошка, но хорошо знаком, можно сказать, в приятельских отношениях с одним из членов управы – Дещенко. Кого ж там только ни пригрели из «беженцев-интеллигентов», и у всех оклады не меньше полутора тыщ. С рабочими заработками не сравнишь. Так рабочему каждая копейка непосильным трудом достается, каждая по десять раз отработана... – Тиунов ненадолго замолчал, потом продолжил: – Я, знаешь, парнишкой два года в батраках был, хорошо знаю, как гроши достаются, и всю эту лощеную сволочь, трутней этих, просто ненавижу. И с классовой точки зрения, и просто по-человечески. Ну ладно с этим. Общую картинку нарисовал, теперь давай подумаем, что нам с тобой делать. Ты твердо решил за Урал пробираться?

– Чего о том говорить, пока документов надежных нету, – махнул рукой Володя. – Будут бумаги хорошие – другое дело, а пока вам помогу, чем сумею.

– А чем сумеешь-то? Чего ты знаешь, кроме своего корабля?

– Это вот ты зря, – ответил Володя. – Если хочешь знать, я до службы почти два года наборщиком в типографии работал. Как это тебе?

– Точно наборщиком?

– А то кем? – он протянул к Терещенко руки с потемневшими ладонями и пальцами. – Знаешь, что это? Это свинцовая пыль и краска типографская. Въедается так, что за всю жизнь потом не отмоешь.

– А вот это уже серьезный документ, браток, – сказал Терещенко. – Получше наркомовского мандата будет. Эх родной ты мой! Теперь мы тебя на всю катушку используем. Будешь вместе с одним студентом подпольную типографию нам налаживать. Мы пока листовки на гектографе делаем, но получается не очень хорошо, да и много их на этой машинке не сделаешь.

– А документы как же?

– И документы сам себе изобразишь, Гдалиий поможет.

– Кто-кто?

– Да студента нашего так чудно зовут, медика. Гдалиий Шергов. С ним работать будешь.

* * *

– Все это хорошо, – сказала Ольга Линник, когда Володя поведал ей о своем разговоре с Терещенко. – Только все равно нужно будет быстрее делать надежные документы и отправляться нам с тобой в Москву.

– Что так?

– А то, что, может быть, и правы те товарищи, которые говорят, что наши и не станут на Сибирь пока наступать. Сил у республики действительно маловато. Пока. И главное дело сейчас не на Востоке, а на Западе. Германия на пороховой бочке, революция в любой момент может начаться, а там и дальше по Европе пойдет. Лев Давидович учит, что революционный пожар вот-вот готов вспыхнуть в истощенных войной империалистических центрах. Революция в отсталой России – это только толчок, а там...Мы еще проживем в Соединенных Штатах Европы.

– Кто это Лев Давидович? – поинтересовался Мишуков.

– Как это кто? – изумилась она. – Ну ты и темнота, а еще матрос. Наш вождь, создатель Красной армии Лев Давидович Троцкий. Такие имена в сердце носить надо.

– Ну ладно, ладно, – буркнул Володя и ткнулся губами ей в щеку. – Сказала бы просто «Троцкий», я бы понял. Я же не знал, что его Лев Давидович зовут.

– Вот знай теперь, – она потеряла маленькую ладошкой густую шевелюру Мишукова. – Эх, Володенька, зря мы с тобой, наверное, перестали немецким заниматься, на другое занятие его поменяли, – улыбнулась женщина, обнимая матроса. – Тоже, конечно, дело хорошее, но и главного, для чего жизнь дана, забывать никак нельзя. А главное у нас с тобой – мировая революция. Повезло нам родиться: весь старый мир трещит по швам – нужно помочь ему рассыпаться. Другие будут новый строить, наше дело этот взорвать. А Сибирь эта – захолустье и больше нечего, – зевнула она и, повернувшись набок, положила Мишукову руку на грудь. – Купеческое да мужицкое дремотное царство. Медведи. Получится на Западе – вся эта Колчакия, как спелый орех, сама к нашим ногам упадет. С немецкими рабочими, с их силой и оружием такую можно будет революционную армию создать – никто в мире не устоит.

– Но здесь-то я тоже нужен, – попробовал возразить матрос. – Пригодился бы.

– Я говорю: в Москву, – твердо ответила она, и Володя не в первый уже раз подумал, что внутри этой такой мягкой и податливой под его ласками женщины скрыт стальной стержень, согнуть который попросту невозможно. Разве что сломать. – Тут и без тебя управятся, – уже мягче сказала Ольга. – Поможешь им немного, подучишь – и в Москву. Там большие, серьезные люди, есть и знакомые хорошие – помогут в действительно большое дело свою долю внести.

Гдалий Шергов оказался высоким худым парнем с потертыми дужками старомодного пенсне на крупном, южного образца носу. На первый взгляд он производил впечатление человека весьма медлительного и даже ленивого, но это только казалось. Любознательный ум и природная интуиция помогали ему быстро познавать практически любое дело, за какое бы он ни брался, будь то изучение хирургии и фармакологии либо наука смывки паспортов, изготовление печатей и штампов и печатание текстов на гектографе. Он быстро обучил Мишукова технике смывания старых паспортов, изготовлению поддельных свидетельств об освобождении от воинской повинности, другим весьма полезным для живущего на нелегальном положении человека вещам.

Володя в свою очередь помог Шергову освоить основы типографского дела. Шрифт и кассу, а также другие необходимые для работы материалы принес Терещенко, и в ответ на вопрос, как ему это удалось, сказал, что большого труда не составило, помогли рабочие типографии кредитного союза. Не мудрствуя лукаво разместили подпольную типографию прямо по месту работы Терещенко – в подвале здания губернской земской управы. В скором времени отпечатанные в ней листовки можно было увидеть в разных местах Барнаула на заборах и столбах. Поздно вечером и рано утром у них обычно толпились кучки любопытных, читая и пересказывая друг другу прочитанное. Довольный таким оборотом дела Терещенко как-то в разговоре с Володей обмолвился, что такая массовая расклейка листовок стала возможной только потому, что ею занимались те, кто, по сути, должен был ловить расклейщиков – сочувствующие большевикам колчаковские милиционеры.

Все складывалось более чем хорошо, и именно это обстоятельство особенно тревожило Ольгу Линник, заставляя ее торопить Мишукова с отъездом. Столь «удобная» деятельность большевистского подполья в городе, по

ее мнению, была возможной только потому, что в отделении военного контроля, то бишь колчаковской контрразведке, пока работали одни дилетанты. И стоило новой власти найти хорошо знакомых с этой службой людей, как обстановка могла перемениться кардинально.

Наконец к середине февраля 1919 года паспорта новоявленных супругов Цыбулько были готовы. На такой фамилии настояла Ольга, внешне очень похожая на гарную украинскую жинку и решившая при необходимости себя за такую выдавать. Кроме освобождения от воинской повинности по душевному заболеванию вследствие тяжелой контузии, полученной на австро-венгерском фронте, имелось у Володи выписанное доктором Поляковым направление в петроградский психоневрологический институт профессора Бехтерева для установления точного диагноза болезни с последующим ее лечением.

– Может, передумаешь? – спросил его Терещенко, когда Володя пришел сообщить ему о своем решении ехать на днях вместе с Ольгой за Урал.

– Нет. Не передумаю, – мотнул головой Мишуков. – Ты на меня зла не держи, все, что нужно, я Шергову рассказал-показал, больше ему от меня помощь не требуется. А вот от самого меня тут толку мало, надо ехать в центр, там мне настоящее дело найдут.

– А тут что, не настоящее? – вдруг словно ребенок обиделся Терещенко. – Правда, с восстанием во всей Сибири не получилось у нас сразу, силенок не хватило. Недавно приезжали товарищи из областного комитета, Сируль и Рабинович. Был разговор, упрекали нас за выжидательную позицию в вопросе о вооруженном восстании. Но я считаю, что поднимать нынче восстание в городе равносильно самоубийству. Задавят моментально. Другое дело мужик, на него нужно опору делать, партизанское движение налаживать, на правильный путь всех бунтарей выводить. Вот смотри, что кадеты в своей «Сибирской речи» пишут, – он взял со стола сложенную вчетверо газету, ткнул пальцем в заметку. – Вот: «... Межведомственная комиссия (при Министерстве финансов), изыскивая новые

объекты обложения, дабы пополнить скудные средства государственного казначейства, высказалась за обложение подходным налогом имеющегося у крестьянского населения зернового хлеба, кроме того, комиссия высказалась за обложение подходным налогом и денежных средств крестьян». Это вот, – потряс газетой Терещенко, – посильнее сотни наших прокламаций будет. По сути – прямой призыв мужика к восстанию против нынешней власти. Плюс мобилизация. От нее даже интеллигенция и та бежит, а что уж о крестьянине говорить.

– Знаю, повидал, – кивнул головой Володя.

– А раз знаешь, должен понимать, что к весне нужно ждать мощных крестьянских выступлений, и наше дело – этот момент на всю катушку использовать. Мы уже подготовили первую группу людей для отправки в повстанческие районы Причумышья. Но мало, мало у нас большевиков и сочувствующих, для такого дела подходящих. Ты вот уезжать собрался, – с явным упреком бросил он Мишукову.

– Да пойми ты, я-то как раз и есть не подходящий, – начал злиться матрос. – Пробовал уже. Прямо скажем, не очень хорошо получилось. К мужику особый подход нужен, а я на него, видать, не мастак.

– Большевик всему научиться должен, – гнул свое Терещенко.

– Да не дави ты на меня, все равно ничего не выдавишь, – хлопнул шапкой по столу Володя и, желая смягчить обстановку, предложил: – К партизанам такого надо посылать, как ваш Анатолий. Я его пару раз-то и видел, но взгляд запомнил. Такой спуску никому не даст, надо – и шлепнет, не задумается.

– Этот такой, – подтвердил Тиунов, – проверено уже. Тут один наш бывший товарищ, некто Коваленко, решил партийные деньги прикарманить, так Толя ему быстро объяснил, что он не прав. Сразу гроши отдал как миленький. Тесно Анатолию в подполье. Его душа живого дела, простора требует. Он вообще предлагал всему барнаульскому подполью город оставить и идти в партизаны, еле объяснили, что это по меньшей мере неразумно. Он

парень грамотный, понял. Погоди, придет тепло, думаю, о нем еще в этой губернии колчаки узнают. Конечно, одной твердостью с мужиком контакта не наладишь, тут дипломатия требуется, по крайней мере по первому времени, но ничего, по ходу будем учиться, другого выхода-то все равно нет. Так что ты подумай еще...

– Уже подумал. Стрелять из берданок я уже пробовал, мое дело – из пушек палить. Пушек-то у вас нету.

– Пушек нет.

– Вот и поеду туда, где они есть. И все, не бычься, буду совсем уезжать – зайду попрощаться. Бывай пока.

– Что значит «зайду попрощаться»? – с напускной строгостью поинтересовался Терещенко. – Ты еще должен мандат получить от нашей подпольной организации, доклад о проделанной работе. Ты что, как частное лицо, что ли, барином в Москву поедешь? Ты будешь нашим посланцем и представителем, со всеми вытекающими. А вот теперь бывай.

* * *

Спасли Мишукова лишь нетерпение да малый опыт в таких делах молодых офицеров, волею судьбы вынужденных переквалифицироваться из пехотинцев и артиллеристов в контрразведчики. Уже войдя во двор дома, где жил Терещенко, он решил не заходить сразу в маленькую и темную комнатку товарища, а подышать немного морозным февральским воздухом. Остановился в нескольких шагах от входа и принялся рассматривать выполненные каким-то умельцем деревянные узоры на козырьке дома. От этого занятия его оторвал хлопнувший дверью молодой человек с короткими щегольскими усиками в сидевшем на нем, как хорошо пошитая шинель, черном пальто и такой же черной шапке. Он остановился и, внимательно разглядывая матроса, принялся закуривать, делая вид, что ему это плохо удается.

«Плохо дело, – понял Мишуков, – кажись, амба». Он виновато улыбнулся усатому и направился было к выходу из двора, но молодой человек был тут как тут. В спину

Володи неприятно ткнулось револьверное дуло, тихий голос властно потребовал:

– Не шевелись.

В контрразведке его провели в кабинет какого-то начальника, офицера немногим старше того, что тыкал в Мишукова револьвером. Тот сидел на краешке стола и живо спорил с одним из своих сослуживцев, пытаясь убедить его в том, что необдуманными репрессиями можно только возбудить население и привлечь его на сторону большевиков. Собеседник его с таким утверждением не соглашался и в свою очередь запальчиво говорил о необходимости выжечь всю большевистскую заразу каленым железом. А если при этом и пострадает какое-то количество невинных, так что ж, не нами придумано – лес рубят, щепки летят.

– Какая же это щепочка – человеческая судьба? – возражал ему начальник, и Мишуков невольно подумал, что с такими взглядами он на своем нынешнем месте недолго задержится.

– Вот привели, – сопровождающий Володю солдат пихнул его прикладом винтовки к столу. – Задержан во дворе дома Терещенко.

– Вы давайте поаккуратнее с задержанными, – сделал ему замечание начальник и перевел взгляд на Мишукова. – Тэк-с, и что вы делали во дворе дома арестованного нами большевика? Потрудитесь не врать. – И, не дав Володе рта открыть, подсыпал еще вопросов: – Кто таков? Откуда? Где служите? Из мещан?

Хорошо сшитое добротное пальто присяжного поверенного Сухотского было Володе тесновато, это порой раздражало его так, что, освободившись от этой одежды, он злобно швырял ее в угол, но сейчас и это пальто, и хорошая стрижка, и, как выражался Егор Нефедов, барская физиономия моряка работали в его пользу.

– Я служу делопроизводителем в земстве, – стараясь говорить как можно спокойнее, начал он. – Вот мой паспорт. Беженец из Петербурга, бывший прапорщик. Освобожден от военной службы по причине контузии.

– Где получили контузию? – быстро спросил второй офицер.

– В Карпатах, – ответил Мишуков, – нас только доставили на позиции вместе с новым пополнением, и, представляете, в первый же день... – Мишуков сморщился и полез за платком. – Извините, нервное...

– Что там представлять. Знаю. – Офицер повернулся к товарищу: – Привезут десятка полтора таких вот свежеиспеченных прапоров из гимназистов, а то и сапожников, на позиции, а через месяц двое-трое в строю остается. Остальные кто в госпитале, кого подчистую.

Тот кивнул головой и вновь обратился к Володе:

– Так что все-таки делали во дворе дома, где вас задержали?

– Прочел объявление в газете, что там берут в стирку белье. Ну и зашел узнать, когда можно занести узелок.

– Думаю не врет, тем более, что это легко можно будет проверить, – повернулся начальник к своему товарищу. – Вот видите, совершенно порядочный человек был задержан, хорошо, что не избит. Так люди и делаются большевиками. Вы свободны, – вновь взглянул он на Мишукова. – Можете идти.

– Но меня же не выпустят без пропуска, – не веря собственному счастью проговорил Мишуков.

– Да, действительно, – офицер взял со стола бумагу, написал на ней – будто разрешение на дальнейшую жизнь выдал – одно-единственное слово «пропустить», поставил печать и расписался.

* * *

– Ведь могут подумать, что это я, – обхватил голову Мишуков, – я Терещенко контрразведке выдал. Вот же черт!

– Могут, – подтвердила Ольга. – Ты человек пришлый, раньше тебя никто не знал. Мало ли за кого себя можешь выдать. Втерся в доверие и человека загубил.

– Но ты-то мне веришь? – схватил ее за руки Мишуков так, что женщина сморщилась от боли.

– Я верю, Володенька. Еще и потому, что знаю, наверное, кто действительно Терещенко выдал. Это Николаев. Помнишь, который к тебе на праздновании Нового года пьяный цеплялся?

– Тот, что набрался до чертиков? Помню. Так какой из него шпион, обычный пьяница.

– Он и не шпион. Он просто сволочь, – с ненавистью сказала Ольга. – Он тоже томич, как и Терещенко. Они друг друга хорошо знают. Николаев даже жил у него одно время. По-моему, он левый эсер. Здесь ничего толком не делал, стал волочиться за женщинами, за мной тоже пробовал приударить, да не вышло.

– А как же «стакан воды»? – не удержался чтобы не связвить Володя.

– Я тухлую воду не пью, – спокойно парировала женщина. – И не напрашивайся на ссору, сейчас не до этого. Этот Николаев сошелся с Клеппер, ее мужа, как и моего, расстреляли в Новониколаевске во время выступления чехов. Ты про это знаешь.

Володя кивнул.

– Ее сюда тоже Терещенко перевез и даже на работу устроил. Он вообще мужчина настоящий и на баб не такой падкий, как некоторые. Ну, не кукусь, – Ольга взъерошила волосы низко опустившему голову Мишукову. – Это я чтоб тебя отвлечь немного. Так вот этот Николаев с ней сошелся и запил чего-то сильно. Уехал затем куда-то, говорили, устроился на работу по хлебозаготовкам, потом вроде бы крупно растратился. И теперь вот, видать, решил денежки другим способом зарабатывать. От слабости до предательства дорожка недалекая.

– Так мне-то что делать? – поднял голову Мишуков. – Надо же как-то объясниться перед товарищами. Я же не предатель, не враг. Надо же...

– Бежать надо отсюда. Вот что надо, – вздохнула Ольга. – И бежать немедленно. Если это Николаев, то он теперь всех, кого знает, на кого думает, кого просто вместе видел, всех, чтобы себе очки у них заработать, начнет

выдавать. Уезжать надо из города, как решили. А оправдываться потом станешь, если такая нужда возникнет.

Ехать решили в тот же день на любом идущем в западном направлении поезде. Но как ни спешили, не попрощаться с Сухотским Володя просто не мог. На его счастье Арсений Петрович оказался дома.

– Времени у меня немного совсем, – извинился перед ним Мишуков. – Уезжаю. Хотел поблагодарить за все, что вы для меня сделали, и сказать все-таки, что всю жизнь в думах не проведешь. Надо вам выбирать, прислоняться к кому-то. Думаю, самая вам дорога к нам. Не зря об этом и Цюрупа говорил.

– А чем вы лучше других?

– За нами правда. За нее лучшие люди России сейчас свои жизни отдают. Вон на столе газетка у вас. Почитайте, как в Перми беяки председателя Уральского Совета, комиссара народного просвещения и других постреляли. В вашей же газетке пишут. Не больно на сердце?

– Больно, Володя, – вздохнул Сухотский. – Но, не только от этого. Заходил ко мне не так давно знакомый офицер из третьего Барнаульского полка, который тоже во взятии Перми участие принимал. Был здесь по служебной надобности, так рассказывал – и я ему верю, человек честный, что в городе, о котором вы сейчас упомянули, после бегства большевиков весь семинарский сад был завален трупами расстрелянных там чека «буржуев», священников и офицеров, жители бродили среди трупов, разыскивая своих родных и близких. Это вам как? Что тут с сердцем делать?.. Страшные такие две буквы – ЧК, чрезвычайная комиссия значит. А народ их знаете, как себе понимает? Человеку капут. Вот так.

– Не народ, а...

– Ну, что замолчали? Не народ, а такие отбросы и враги, как я. Правильно?

– Да ну вас, Арсений Петрович, – натужно выдохнул Володя. – Зашел, хотел попрощаться по-хорошему, а вы...

– А я? Ладно, Володя, оставим это и пойдете я

вас провожу... Спасибо, что зашли, право слово, – сказал Сухотский уже на крыльце, и Мишуков впервые увидел, каким серьезным и печальным может быть его лицо. – Трудная и непростая жизнь сейчас, особенно на той дороге, что вы себе выбрали. Постарайтесь все-таки и на ней обойтись без откровенных подлостей.

– Это как? – сощурился Мишуков.

– Просто. Не ходи никогда против совести, – присяжный поверенный неожиданно перешел на ты, легонько взяв Володю за плечо. – Даже если этого так называемая партийная дисциплина потребует. Можешь мне не верить, вижу, что не веришь, но знай – пожалеешь потом. Если, конечно, хотя бы до моих лет доживешь.

– Опять вы со своими поповскими штучками, – нахмурился Мишуков, освобождаясь от руки Сухотского.

– Какие есть. Засим желаю здравствовать, – он протянул Володе ладонь. После рукопожатия молча повернулся и ушел в дом. Больше они не встречались.

* * *

От Барнаула до Челябинска Владимиру с Ольгой удалось добраться меньше чем за неделю, что по тем временам тоже было своего рода чудом. Состав еле тащился от одной станции к другой. Паровоз на остановках отцепляли то для пополнения запасов воды, то для загрузки дров. Движимые желанием ехать хоть немного быстрее пассажиры обычно помогали машинисту и кочегару. Кое-какие деньги у «супругов» Цыбулько имелись, потому на узловых станциях Володя выскакивал на перрон в поисках снеди и кипятка, а Ольга тем временем стойко оберегала его место от многочисленных желающих им завладеть. На вокзалах толпились тысячи пассажиров. Женщины с грудными и малолетними детьми, старики с домашним скарбом, спасаясь от холода, заполняли все мало-мальски теплые помещения.

Люди спали прямо на грязном, засыпанном окурками, заплеванном полу. Не в силах бороться с дремотой, просто падали с сидений или своих баулов на пол и тут же

засыпали. Повсюду шныряли мелкие воришки, появлялись иногда и «деловые» люди, но больше всего мелькало по вокзалам и перронам бродяг разного пола и возраста, одинаково запущенных и отвратных.

Мишуков долго вспоминал увиденную им на одном из вокзалов старуху. Она пристроилась на краю сиденья с выломанной спинкой. Мишукова поначалу удивило, почему при таком большом количестве народа на станции вокруг нее существовало какое-то отчуждение. Загадка разъяснилась быстро. Когда матрос оказался неподалеку от старухи, та крепко хлопнула себя обеими руками по запакощенному донельзя зимнему пальто, густо осыпав окружающее ее пространство разлетевшимися с одежды клопами. Володя сплюнул и побежал искать кипяток.

Кроме этого, на пути к Челябинску с ними произошел еще один случай, смешной и печальный одновременно. Чем ближе к фронту продвигался поезд, тем меньше в нем оставалось пассажиров, ехать стало посвободнее. В купе, в котором путешествовали Мишуков с Ольгой, на какой-то станции вошли трое офицеров. Двоим места нашлись, третий остался стоять в проходе. В углу купе похозяйски разместился какой-то железнодорожник с яркой желто-голубой «украинской» ленточкой в петлице. На плохо ему знакомой «ридной мове» он оживленно разглагольствовал о «самостийной неньке Украине». Новоявленный «пан» успел серьезно всем надоест, когда оставшийся без места поручик вдруг заявил ему:

– Вот что, пане добродию, вылезайте-ка из своего угла – я хочу сидеть. Дорога-то ведь наша русская, да и Урал тоже, ему в Украину не попасть.

– Как? Какое вы имеете право? – обнаружил хорошее знание русского языка желто-голубой железнодорожник, но это обстоятельство ничем ему не помогло, разве что вызвало бурный смех большинства слышавших этот разговор пассажиров.

– А такое, пане добродию, что я русский, значит здесь дома, у себя, хозяин, – надвинулся на него офицер. – Вот поезжайте на Украину, там и посидите. И хватит разговоров, вылезай давай.

Сконфуженный железнодорожник вышел из купе и сошел с поезда на следующей станции. Вскоре покинули купе и офицеры.

– Какой отвратительный шовинист, – сказала долго сдерживающая свое негодование Ольга.

– Да? – удивился Мишуков. – А мне их благородие даже понравился. Вражина, конечно, но этого с ленточкой ловко прижучил.

– И ты тоже шовинист, – окрестила Мишукова женщина и тут же сменила гнев на милость: – Но я тебя перевоспитаю.

– Я не против, – усмехнулся Володя. – Вот в Москву приедем – и начинай перевоспитывай.

Однако до Москвы было еще далековато, Челябинск оказался для их поезда конечной станцией. На вокзале Володя узнал у извозчиков, что вся территория от Челябинска до занимаемой красными Уфы объявлена прифронтовой. Дальше нужно было двигаться на санях по проселочным дорогам. Там же на вокзале нашли мужичка, приехавшего на городской базар из дальней деревни и, после распродажи своего товара решившего еще подзаработать извозом. Ехать ему требовалось в сторону Уфы, романовские, то бишь царские, деньги его вполне устраивали, потому с ведущей все хозяйственные дела «семейной пары» Ольгой сговорились они быстро. Поехали, да так и ехали дальше на перекладных, меняя порой на ночевках лошадей, сани и извозчиков.

У застав или при встрече с разъездом белых переговоры всегда вела Ольга, мгновенно перевоплощаясь из строгой учительницы в бойкую хохляцкую жинку, потешавшую своим говором, а если требовалось, жалобя частыми причитаниями казаков и солдат. Если старшим был офицер, он случалось, просматривал их документы и сожалеющее посмотрев на Мишукова махал рукой: «Проезжайте».

– Ты где так говорить научилась, не в Славгороде часом? – как-то в шутку спросил Мишуков. – Я там такой говор не раз слышал.

– На родине своей, на Житомирщине. Местечко Червонное, невжели николись не слышали? Вид Бердичева верст двадцать не будэ, – в свою очередь пошутила она.

– Не слышал, – подтвердил Володя, – что за местечко-то, расскажи?

– Обычное еврейское местечко, только что побольше других. Там винокуренный завод Терещенко, был до революции в России такой богач, самый большой сахарозаводчик в стране. Там же и дворец его, парк огромный, все на широкую ногу. В местечке, понятно, живут евреи, а еще русские, украинцы, поляки. Всяких увидишь, всякую речь послушаешь и научишься.

– Как же тебя с теплого юга в холодную Сибирь забросило? – удивился Мишуков.

– Люди там живут небогато, – словно не услышав его вопроса, продолжала вспоминать Ольга. – Обычное дело – на обед крупник из перловки с картошкой, а бывает – и один черный хлеб. Ты знаешь, что если его черствым-черствым кушать, то меньше надо, чтобы наестся?

Мишуков промолчал.

– Мы-то все ж получше других жили. Папа в магазине у Кельмана работал, хотел очень, чтобы я образование получила. Скопил денег, чтобы я в Житомире в частной гимназии могла учиться, потом покреститься заставил, чтоб из черты оседлости можно было выехать, а потом в Томск отправил. Там евреев немного, мне проще было в университет поступить. Да и дальняя родня у нас там живет, помогли. Там и замуж вышла, сама не поняла как. Вместе книжки читали о свободе и революции, а потом и жить вместе стали. Потом Новониколаевск, революция, исполком, чехи, смерть Самуила... Вот и вся история.

– На мою похожа, – вздохнул Володя. – Тоже батя из кожи лез, чтобы я грамотным стал. Как-то они с маманей там сейчас... Ты-то своих давно видела?

– Давно. И писем от них уже больше года не получала. С тех пор, как на Украину немцы пришли и Житомир заняли. Хватит про это, лучше потом как-нибудь поговорим.

Сплошной линии фронта, как это было на Первой мировой, гражданская война не имела. Ее основные сражения, как правило, шли в полосе железных дорог, у больших городов и рек, служивших естественными преградами для наступающей стороны. В феврале 19-го на Восточном фронте, который большевистская сторона именovala также колчаковским, и красные и белые сидели по зимнему времени в деревнях, время от времени совершая вылазки либо подвергаясь им. В одной из последних контролируемых белыми деревень Ольга встретила бойкого разговорчивого мужичка, приехавшего по хозяйственным делам к своему куму и собиравшегося теперь назад, на красную сторону. Обрадованная женщина легко согласилась на запрошенную возчиком сумму, чем, похоже, весьма огорчила незадачливого предпринимателя, тут же решившего, что запросил он непомерно мало. Однако очень скоро он успокоился и всю долгую дорогу раздражал находящиеся в сильном нервном напряжении Ольгу и Владимира разговорами на самые разнообразные темы.

На вопрос, какая власть у них сейчас в деревне, возчик бойко отвечал:

– У нас властей, как в колоде мастей. Был ревком, да ушел пешком. Тут третьего дня галахи явились с черным флагом. Кто чего понахватал, то на себя и напялил. Один с попа ризу снял, рубашку из нее пошил, другой помещицкой шубой хвастает. «Мы дети ученого князя... Власти не признаем». Вот трепалы. Где это видано, чтобы князь власти не признавал?

– Был такой князь, – посмеиваясь разъясняла вознице Ольга, – Кропоткин его фамилия. Анархист. В тюрьмах сидел...

– Так без власти как жить будешь? Без властей, что лошадь без возжей. Разнесет! Какую нам власть надо, спрашиваешь? А такую, чтоб нас защищала. Крестьянского сословия людей на власть сажать надо, чтоб понимали душу народа, чтоб от своего корня не отрешились. И с землей тогда порядок был бы.

– Да отдали же вам землю, – удивилась Ольга. – Ленин уж давно декрет подписал.

– Декрет – не землемер. Ее, землю-то, делить надо. А это – морока, смертоубийство. Пахать время подошло, а у нас село на село с кольями. Они свое, а мы свое. И пошло. Семей пять поминаньями наделили, семерых в больницу свезли. Мужик только с виду смиренный, а потревожь – разнесет.

– А сыны у тебя есть? – поинтересовалась женщина. – Они-то за какую власть стоят?

– Старший в городе на заводе, а младший при хозяйстве. Говорит, без разбору в драку соваться не буду, у меня не кочан, а голова. Вон наши ребята записались в красноармейцы, а теперь ходят голышами, закусывают кукишами. Пойду, говорит, в такое войско, где форма справная будет да чтоб седло с расшивкой.

– Хозяйственный.

– Это есть, – с гордостью подтвердил мужик, – он у меня такой, замена отцу будет. Эх, когда ж вся эта кутерьма уляжется, не знаешь, молодка? Вот и я не знаю. Орут, долгами, недоимками пугают. Говорят, Думу будут созывать, а кто говорит – Совет. А нам что? Вот у меня две лошади да две коровы, на кой ляд мне она, Уфа эта? От города вся беда и есть. Каждый день, почитай, как престольный праздник, – вздохнул он. – Как кого принесет леший из города – звонят в колокола, созывают народ. Поставят стол на площади и пошли языками чесать. А потом солдаты по дворам ходят, хлеб силком отбирают. Эх, что там, – он поднес рукавицу глазам, посмотрел вдаль. – Вишь ты, село показалось. Там аккурат застава, а за ней уже власть другая, пропади они обе пропадом. Бумаги-то в порядке у вас? – забеспокоился он. – А то как бы до греха не дошло.

До «греха» действительно едва не дошло. Уже в конце пересекающей всю деревню главной улицы их встретили трое – пожилой мужик в добротной шубе с казенной бляхой – староста, краснолицый, с большим измученным долгой выпивкой носом прапорщик из недавно мобилизованных Колчаком в армию офицеров военного времени и

вечный служака пышноусый рослый фельдфебель с винтовкой за плечом.

– А ну стой! – махнул он рукой вознице, затем повернулся к прапорщику: – Проверить бы надо, ваш бродь.

– Хо-ро-шо, – согласился тот. – Будем проверять... Так что, баба, муж твой тоже прапор, как и я? – спросил он у Ольги и, не дав ей ответить, повернулся к Володе: – Где тебя шибануло-то, приятель?

Мишуков внутренне напрягся, отчетливо вспомнил сказанное ему доктором Поляковым, когда тот, недовольно морщась, передал ему направление в психоневрологический институт:

– Запомните на всякий случай, вы не умалишенный, вы попросту искалеченный войной, больной душой человек, нуждающийся в грамотном лечении. Плохо слышите, очень слабы, заикаетесь, вялость и медлительность, равнодушие ко всему, что вас окружает – вот как это выглядит. Выкатывать глаза, трясти головой, как изображают умалишенных попрошайки на базаре, не надо. Попадете на знающего человека, обман ваш раскроется очень быстро, лучше, конечно, чтоб он вам вообще не встретился.

– П-п-простите. Я не хочу об эт-т-том всп-п-поминать, – медленно сказал Мишуков и спрятал лицо в ладони. – Ч-ч-чемоданом в первый же д-д-день накрыло. М-м-не п-п-лохо будет сейчас. – Он обхватил руками голову и болезненно замычал.

– Не трогайте его, добродию, – обеспокоилась Ольга. – Я вам кажу що трэба. Вин тяжелым снарядом контуженный, «чомодан», як вин каже. Коли гроза большая, так пид стол ховається. Вин за Отечество пострадавший, здоровья лишившийся. Ни по хозяйству толку не мае, ни по другому делу, – порозовела она. – Лечить трэба, а дохтура, кажуть, не розумеєм, визить у Москву.

– Так брось его, да ився недолга, – усмехнулся фельдфебель. – Мало ль мужиков здоровых. Я вот тебе часом не подойду? А то давай, договоримся.

– Ни, – коротко ответила Ольга, неприязненно посмотрев на бравого фельдфебеля. – Вин мой любый, мой

коханий, я з ним в церкву венчатся ходила. Клялася богу, що на усю жизнь з ним, и в гори, и в радости. А ты, мабуть, кобель и бильш ничего.

– Подозрительный все же типчик, господин прапорщик, – фельдфебель пошевелил усами, подкинул на плече винтовку. – Может, задержим до подробного выяснения? Опять же баба на жидовку похожа, может комиссарша какая. К своим краснозадым в Москву пробираются, а?

– Ах ты ж, лайдак! – задохнулась женщина. – Видказала йому баба, так вин вон шо удумав. Бач премудрый який! – Она рывком выскочила из саней, оперев руки в бока, встала перед фельдфебелем грозная и красивая одновременно. – Жидовка каже. Да щоб ты дерьма наився, байстрюк. Щоб тебе подняло та гепнуло. Бач сам який боров дебелый, голобля така. А мий чоловик зовсим не гожий, виморенний. Був бы вин здоровый, показав бы тоби, кацап проклятуший, змеюка така. Ты що не виднючий зовсим, – наседала она на неловко отсупавшего от напористой бабы вояку. – Яка я тоби жидовка? Балакун! Бис анафимский. Пан офицер, – женщина схватила за рукав шинели пьяно улыбавшегося прапорщика, с мольбой взглянула на старосту, – не мучайте чоловика. Нам ехать трэба. Не держить нас. Усе документи в порядке, вы ж сами бачили.

– Отпусти ты их, Прокопъич, – повернулся к офицеру староста. – Пускай их едут. Грех большой больного человека забижать. А коль и шпиены, – улыбнулся он, – так вы, по всему видать, раньше их до Москвы доберетесь. Докладать им будет некому. Разве что комиссарам на столбах развешанным. – Все трое дружно рассмеялись, и прапорщик благосклонно махнул рукой возчику: – Пошел!

Они отъехали от села версты две, когда Мишуков тронул возчика за плечо, попросив остановиться. Все это время Ольга отрешенно молчала, и когда Володя притянул ее к себе, так же молча ткнулась ему лицом в грудь.

– Ну-ну, – жалостливо сказал матрос, – такая смелая была, на флоте и то таких не много найдется.

– Ага. Смелая, – она ухватила Володю за отвороты пальто и беззвучно заплакала. Он молча гладил ее по ватной спине пальто и улыбался.

* * *

По красной территории ехали так же, как и по белой. Тащились по заснеженным полям из села в село на перекладных, благо кое-какие деньги у хозяйственной Ольги еще имелись. На ночевки останавливались в крестьянских избах, где на жарких и пыльных полатах, в кучах тряпья и овчинных полушубков спала приютившая их очередная семья. Впрочем, о бескорыстном гостеприимстве говорить, как правило, не приходилось. Хозяин семейства, как и его предшественник в предыдущем селе, всячески старался сорвать с путешественников хотя бы пару лишних рублей. Торгуясь, он традиционно-задумчиво почесывал грязную лохматую голову, спину или грудь и прерывал это занятие только для того, чтобы в очередной раз высморгаться в подол рубахи либо, поступив более «цивилизованно», ударить соплю оземь. В каждом селе, как и раньше в поезде и на вокзалах, встречались Владимиру с Ольгой десятки и сотни тифозных больных, обычно деливших кров с людьми пока здоровыми. Рядом с ними металась они в болезненном жару, тут же обычно и умирали, зачастую успев заразить других страшной болезнью. Уберечься от нее было практически невозможно. Кто станет следующим в бесконечном списке тифозных, решал только случай, и только он.

Большинство крестьян ждали скорого прихода Колчака и почти поголовно ворчали на большевиков, однако выступать против них открыто никто не собирался. Да и бурчание прекращалось, стоило зайти в дом кому-нибудь из соседей. Поначалу помалкивали и при Ольге с Володей, и лишь слова возчика, что люди, видать, хорошие да господский вид супругов Цыбулько понемногу развязывали крестьянам языки. Психология была простой. Пусть идет все, как идет. Будет новая власть, и к ней привыкнем, она без нас не обойдется. Будет крепкой – будем слушаться. А как иначе?..

Много сетовали на потянувшуюся за большевиками молодежь, что уж и за своими родителями начинает следить; случись – отца с матерью не пожалеет, волостно-му комиссару доложит – выдаст, случаи бывали.

Особой темой были карательные отряды большевиков. По словам одного из хозяев, солдаты, поступающие в них, принимают присягу, расписываясь кровью, что не будут жалеть родную мать и отца.

– Придет Колчак, такого не будет, – убежденно говорил хозяин. – Таких-то антихристов, как эти, ни у кого больше нету. Может, и станут чего брать, как без этого, и им жить надо, но по закону. Не догола, значит, чтобы мужика обобрать. Порядок будет и хлеб, а крестьянину больше и не надо.

– И за этих вот, – сказала Ольга, когда они с Володей остались вдвоем, – лучшие люди шли в петлю и на каторгу, сегодня сил и самой жизни не жалеют. И для кого, для этих неблагодарных рабов, фактически дикарей?

– Зря ты так, – поморщился Мишуков. – За то и не жалеют, чтобы эти дикари, которых помещичей плеткой воспитывали, людьми смогли стать.

– Думаешь, смогут? – скептически поинтересовалась женщина.

– Смогут. Рабочий класс поможет. Сыны-то их вон, уже в нашу сторону смотрят, а как победим, и вовсе в одном строю зашагают. Построим школы, дети их, внуки дикарей этих, учиться будут и еще родителей своих, бабок с дедами успеют уму-разуму научить. Чтоб мамка с батей настоящий свет увидели, а не рюмку да церковь. От безграмотности ведь все, не зря же буржуи да попы столько лет народ в темноте держали, охмуряли всякими сказками.

– Идеалист, – прижалась к нему Ольга и тихонько добавила: – Хорошо, что я тебя встретила...

– Что-что? – переспросил Володя: – Чего ты там под нос себе шепчешь?

– Это несущественно, – ответила женщина и улыбнулась своим мыслям.

На вокзале в Уфе они узнали о начавшемся наступлении белых. От одного к другому передавались и множились сообщения о том, что колчаки и не идут, а бегут ровно, поскольку имеют паровые лыжи, специальные снегоходные самокаты и американские скорострелковые пулеметы. Красные сдаются поголовно, и сам адмирал не сегодня-завтра будет в Уфе. Там же на вокзале между «супругами» возник первый, но очень бурный «семейный» конфликт.

– Да пойми ты, что я должен сейчас пойти в военкомат. Поступить по-другому просто предательство! – срываясь на крик, убеждал Ольгу Мишуков. – Как ты этого не понимаешь?

– Да, не понимаю! Потому что, в отличие от тебя, стараюсь хоть немного думать своей головой. Вот придешь ты в свой военкомат, а дальше? В лучшем случае дадут винтовку и пошлют простым бойцом на фронт. А там ты еще больной, без силенок совсем, и сам погибнешь сразу, и товарищей своих под гибель подведешь! – Володя молчал. – Так это в лучшем случае, поскольку до этого скорее всего не дойдет. Документов нужных нет, одежда хорошая, физиономия тоже на пролетарскую не похожа. Кто это? Шпион. При нынешней суматохе с тобой и возиться-то никто не будет, шлепнут без всяких эквивоков на месте. А я тогда как?.. Ты что, бросить меня хочешь?.. Володенька, – прильнула она к нему, – ну послушай ты меня. Едем дальше до Москвы, как собирались. Там я тебя удерживать не стану. Хочешь в армию – помогут люди попасть в крепкую боевую часть, где действительно сможешь пользу нашему делу принести, а если и погибнуть, то не за так. Или в Германию вместе поедем на баррикады. Хорошо? И не спорь со мной, а то тут точно застрянем. Видишь, сколько людей на вокзале, и всем сейчас на запад нужно.

В вагон, идущий на запад, попасть удалось с большим трудом. Ольге пришлось даже пустить в ход свой неприкосновенный денежный запас, достав из-под подкладки

пальто золотой николаевский червонец. Этот желтенький кружок произвел воистину магическое впечатление на выуженного Ольгой из закулисья вокзала сонного железнодорожника, мгновенно превратив его в энергичного и деятельного человека. Через полчаса и Ольга с Владимиром, и их немудреные пожитки были в битком набитом купе уходящего на Казань «курьерского».

Спутниками их оказались несколько выехавших в срочные командировки советских служащих, по непонятным причинам прихвативших с собой в этот раз жен и детей. Прямо на полу купе теснилось один на другом немалое количество чемоданов и баулов, явно свидетельствующих о том, что хозяева их – люди серьезные и в любую поездку собираются обстоятельно. Все молчали, говорить было не о чем, и лишь среди ночи вдруг раздался душераздирающий крик одного из пассажиров.

Его сразу подхватили еще несколько голосов, и в первую минуту переместившиеся из тяжелого сна в явь Володя с Ольгой не сразу поняли, что же приключилось. Несколько суматошно зажженных свечей осветили следующую картину.

Несколько пассажиров, вцепившись в одежду и волосы малорослого, но очень верткого человека, с немалым ожесточением лупили его по чему придется.

– Верну, все верну, – сплевывая с разбитых губ кровь, гнусавил пойманный с поличным вор. – Убьете, гады!

Добавив ему еще, пассажиры принялись обшаривать, а затем и попросту рвать немудреную одежду ночного гостя в поисках своих кошельков, часов и документов. Тщетно!

– Обмотки! – радостно сообразил один из них.

Размотав обмотки, обнаружили девять похищенных в разных концах вагона кошельков. Потерпевшие принялись торопливо пересчитывать вернувшиеся к ним деньги. Все оказалось на месте, можно было приступать к судилищу. Вор предлагал сделать с ним все что угодно, только не передавать в транспортное ЧК. Судьи ненадолго

призадумались, а злоумышленник тем временем изогнулся, словно рыбка на песке, и ловко выскользнул из кольца схвативших его рук. Затем, перепрыгивая через чемоданы, бросился к выходу и покинул поезд на полном ходу.

Вытягивая насколько возможно шеи из выдвигной вагонной двери, самые любопытные успели разглядеть в тусклом свете зарождающегося утра, как вор, перевернувшись через голову, свалился под пологий откос полотна. Встал как ни в чем не бывало, покрутил головой, словно проверяя ее сохранность, и спокойно двинулся в обратную движению поезда сторону.

– Ну и парень! Ну и молодец! – не поскупились на хвалебные эпитеты недавние потерпевшие.

«Молодец» пошел назад в Уфу, а остальные пассажиры продолжили свой путь до Казани, где Владимира Мишукова сняли с поезда в жестоком тифозном жару.

* * *

Сначала Володя почувствовал какой-то резкий непонятный запах. Потом загудело в ушах ноющим колокольным звоном. Бу-у-ум, бу-у-ум, бу-у-ум... И снова запах. Мишукова начало подташнивать, он поморщился, открыл глаза и тут же, тихо охнув, закрыл их снова. Резануло, будто кто под веки горсть песка сыпанул. Володя поднял руку к лицу и почувствовал, что она мокрая от пота. Он с трудом повернул голову, и тут же в шее что-то хрустнуло, застучало в темя тупыми болезненными молоточками.

– Надо, Володя, – сказал матрос сам себе и открыл глаза. В поле зрения обнаружили две кровати, а на них бритоголовые, с сизыми лицами люди.

Мишуков с трудом провернул во рту сухой дряблый язык, вытолкнул из гортани по буквам:

– П-и-ть.

– Сейчас, – прозвучал рядом дрогнувший от волнения мягкий голос и тут же стал напористо знакомым: – Пей, не торопись.

Это была она и не она. Вместо смуглого овала вытянутое серое лицо, на голове непривычный, глухо

повязанный серый платок, в карих глазах чужие красные прожилки, но все тот же ровный, холодноватый блеск.

Впрочем, едва Мишуков поймал ее взгляд, как тот тут же потеплел, а на его ладонь легли ее горячие подрагивающие пальцы:

– Очнулся наконец, – сказала она, – слава богу.

– Не слышал раньше, чтоб ты его поминала, – чувствуя, как все сильнее и сильнее болит голова, тихо сказал Мишуков.

– Помянешь тут, – вздохнула женщина, – считай, три недели на краю могилы был.

– Тиф?

– А что же еще...

Мишукову стало страшно. Он зябко поежился и с трудом закрылся с головой невыносимо тяжелым серым солдатским одеялом.

– Володя, – позвала она.

– Что?

– Выходи, кушать будем. Для начала немного.

Володя выбрался из-под одеяла, взял трясущейся рукой ложку и не заметил, как в один миг проглотил порцию жидкой пшенной каши. По всему телу медленно разлилось блаженное тепло, есть захотелось еще больше.

– На, – понимающе протянула ему тоненький ломтик черного хлеба Ольга. Володя сунул его в рот и принялся сосать, как редко виданный им в детстве леденец, получая при этом не меньшее удовольствие.

– Где мы? – спросил, откинув голову на подушку.

– В Казани, в больнице. Сначала ты свалился, а потом и я. Только я уже на поправку пошла, а тебе до этого еще далеко. Врачи удивляются, как ты выжить смог. От воспаления легких не отошел, а тут еще тиф.

– Где ж мы с тобой нашли-то его?

– Меньше разговаривай, – строго сказала ставшая уже совсем обычной Ольга. – Где? Там же, где и все. Может, в поезде, может, на вокзале, в избе какой. Переползла вошь с больного, пока спал, – и готово. Хватит болтать, тебе говорю.

– Уфу они взяли?

– Взяли.

Володя немного помолчал:

– Сколько мне тут еще лежать? – спросил он. – Пока придут беляки да как ту вошь раздавят?

– Успокойся. – Ольга вытерла полотенцем пот с его лба, погладила ладонью по небритой щеке. – Навоюешься еще. Я переговорила с комиссаром товарищем Нойманом, как только ты немного окрепнешь, он поместит нас в специальный вагон. Так что доберемся до Москвы быстро и даже с удобствами.

– Что ж сама в спецвагоне не поехала, ты ведь поправилась уже? Чего со мной время теряешь? – неожиданно для самого себя спросил Мишуков, и у него еще сильнее пересохло во рту, словно на небо наждачную бумагу постелили. – Я ж тебе теперь вроде без надобности?

– Дурачок ты, – улыбнулась она, – и вопрос у тебя глупый. Вот поправишься, я тебе на него отвечу, не рад будешь.

– Значит, я вода не тухлая, – резюмировал Мишуков и попробовал приподняться на койке, чтобы обнять Ольгу, – иди-ка ко мне.

– Лежи, дурачок, – она легонько коснулась пальцами его влажной от пота груди и тихо сказала: – Их либе дих.

– Что, что?

– Ничего. – Ольга провела ладонью по остриженной наголе голове матроса. – Выучишь немецкий – узнаешь. А пока тебе нужно лежать, молчать и хорошо кушать. Понял?

Уговаривать Мишукова не пришлось. Все дни, как только начал спускать ноги с кровати, матрос ощущал сильнейший голод. Казалось, не было такой силы, которая могла бы приглушить его. Кроме пшенной каши Ольга пыталась погасить его купленной на базаре, уже на последние деньги, отварной картошкой, но и это помогало мало. В мечтах Володя все время видел огромную буханку ржаного хлеба и, как верх блаженства, одну, но очень крупную копченую балтийскую селедку...

Через несколько дней, когда Мишуков немного окреп и начал ходить, не опираясь на стену, они уехали в Москву.

Глава четвертая

Родила Варя Оникко перед покосом. Подоила двух оставшихся в хозяйстве коров, задала корму свиньям и птице и, уже возвращаясь в хату, вскрикнула жалобно от сильного толчка в круглившемся под просторным сарафаном животе, ухватила рукой за плетень: начались схватки.

На крик прибежал Матвей, готовивший под небольшим навесом у амбара инструмент к покосу. Он уже сделал для Вари легкие, удобные грабельки, приготовил двух-и трехрожковые деревянные вилы и как раз отбивал косу-литовку, когда услышал невольный зов своей хозяйки и поспешил ей на помощь.

Впрочем, толчок от него в таком деле было немного, и Матвей это прекрасно понимал. Потому помог только Варю подняться, отвел ее в дом, уложил на постель, быстро запряг лошадь и, встав в телегу во весь рост, погнал кобылу в Старо-Богатск за бабкой-повитухой.

Вернулся он с многоопытной в таких делах Макарихой как раз вовремя. Бабка совсем не по-старчески приказала ему греть воду, готовить чистые тряпки, а потом и вовсе прогнала из хаты до времени. Время это прошло быстро, и родила Варя легко.

– Хлопчик! – довольно сказала бабка и, выглянув во двор, позвала Захлюпина: – Иди на сынка подивись, на опору батькову.

При этих словах лицо Матвея на несколько секунд превратилось в сморщенную грушу. Ничего не ответив, он сумел подавить в себе сильнейшее желание повернуться и уйти со двора. Вместо этого натужно улыбнулся и пошел к хате.

Макариха, подняв повыше еще покрытого пленкой, красного, как буряк, мальчика, свободной рукой легонько хлопнула ему по попке. Тот помалкивал.

– Бач, упрямый який, – подивилась бабка и хлопнула еще разок, уже посильнее. Пацан заорал так, что Матвей даже присел от неожиданности.

– Генералом будет, – убежденно сказала повитуха, – голос дуже важливий.

* * *

Понесла Варя во время последней близости с Егором в тихий и ясный день сентября 1918 года. Уже через несколько минут после этого, после ухода, а точнее сказать – бегства Нефедова в ограду влетели на запыленных конях казаки. Она стояла у хаты, привычным жестом деревенской женщины скрестив руки под грудью, вдавливала изо всей силы в тело побелевшие кончики пальцев и молчала. Служивые, рассыпавшись по подворью, деловито выбивали сапогами двери в хату и пристройки, ловко рубили головы курам и уткам, привычно набивали хозяйским добром хозяйские же мешки. Наиболее охочие до женской любви уже похаживали кругами вокруг Вари и пытавшегося допросить ее низкорослого и широкоплечего подхорунжего, приглядывались к качеству нового «товара». Она молчала и когда этот «товар» стали пробовать на ощупь, но, услышав захлопавшие в степи выстрелы, мешком опустилась на землю и протяжно на одной ноте завывла.

– Ой, как распечалилась-то, а! – шутовски хлопнул себя руками по ляжкам один из анненковцев. – Надо бы пожалеть бабу. А, брат сотник?

– Да вы что?! – метнулся к офицеру вбежавший во двор Матвей. – Ваше благородие, вы ж защитники наши, благодетели. – Он задыхался от долгого бега, был до дрожи в коленях испуган, но все же выталкивал из себя, как ему казалось, самые нужные в этот момент слова. – То краснюк над ней издевался, насильничал, теперь свои же. Бога-то побойтесь, не надо так-то.

– Да что они могут, те краснюки со своими обрезками? – хохотнул молодой рыжеватый казак в расстегнутой на мускулистой груди гимнастерке и сбитой на затылок фуражке. Минуту назад он точным ударом отсек пашкой голову самому крупному в онипковском хозяйстве петуху и теперь, засучив рукава, быстро и ловко его ощипывал, намереваясь изжарить прямо в хозяйском дворе. – Только

бабу до слез довести. Вот если казачий припас в дело пустить, она сразу веселая делается – плясать побежит.

Сбивая в кровь чашечки, Матвей с маху упал на колени:

– Ваше превосходительство, пожалейте бога ради... Казаки дружно захохотали.

– Дослужился-таки ты, Платоныч! – крикнул подхорунжему рыжеватый. – Мужик тебя в генералы произвел!

– Ладно, ладно, – довольно усмехнулся сотник, – отставить, брат Перцов. Мы ж с тобой не бандиты, а защитники угнетаемого большевиками народа. Понял или нет?

– Эт понятно, – Перцов дощипал петуха, принялся насаживать его на взятый здесь же на дворе железный шкворень. – Защитники, знамо дело, хто ж еще.

– Мы ж понимаем... – не останавливаясь, бормотал словно в бреду Матвей. – Нам и не жалко ничего. Мы ж понимаем, вы люди служивые. Вам питание хорошее и прочее все... Что вам нужно, то и берите... Это ж понятно...

Сотник внимательно посмотрел на него, затем бросил короткий быстрый взгляд на Варю и зычно заорал на весь двор:

– Кончай барахольничать, станичники! По коням! Пока шашки не заржавели. Потехе время, да службе час.

– Вот те на, – досадливо сплюнул в пыль молодой казак. – Ни тебе бабы, ни петуха. Ты чего, Платоныч?

– Отставить разговоры! – рыкнул на него офицер. – На конь!

Перцов опять сплюнул, одним движением вскочил на ноги, пнул со злости любовно ощипанного им петуха и побежал к своему жеребцу.

Варя глубоко вздохнула, сползая мешком по плетню, потеряла сознание. Захлюпин бросился к ней.

* * *

Очнулась Варя только через двое суток у себя в хате. Она лежала на кровати, ноги прикрыты одеялом, на табуретке рядом крынка с колодезной водой. «Матвей, больше некому», – равнодушно подумала женщина. Выпила до по-

следней капли воду, поднялась, на ватных ногах вышла во двор. Горе горем, а за хозяйством надо доглядать. Впитанное с молоком матери беспокойство о хозяйстве, похоже, не оставляло ее и в забытьи. Потому перед тем, как пойти в степь, где перед ее обмороком стучали выстрелы, она оглядела свое подворье и нашла его почти в полном порядке. В стойле мерно жевали сено коровы, имелся овес у не угнанных казаками рабочих лошадей. Даже уцелевшая от казачьих шашек птица, и та выглядела сытой и довольной. «Матвейка, проклятуший, – подумала она. – Небось мое добро уже своим считает». Умылась из стоящего на колодезном срубе ведра и пошла за ворота.

Она шла по стерне, опустив глаза, цепляя носками праздничных сапожек еще теплую осеннюю землю.

– Ты где, Егор? Где лежишь? – шептала она. – Где они тебя?

Потом она решила, что казаки, наверное, увезли тело Нефедова с собой. Зачем оно могло им понадобиться, Варя не задумывалась. Она была уверена, что все произошло именно так. И все тут.

– Убили и с собой увезли, – безостановочно стучало у нее в голове. – Убили и с собой увезли.

Эти слова повторялись вновь и вновь, тарабанили в виски, как дождевые капли о доньшко ведра. Варя прижимала руки к голове, стараясь заглушить монотонно произносящий эту фразу голос. Не помогало. «Убили и с собой увезли» повторялось вновь и вновь. И наконец она поверила. Казаки убили Егора и увезли его с собой. Нет его и никогда больше не будет.

Совсем выбившись из сил, она села на стерню и повела взглядом вокруг себя. Слева от нее бодро зеленел небольшой околок, все остальное обозримое пространство поделили между собой серо-желтая степь и прозрачно-голубой купол неба. Шуршал лениво осенний ветер, и Варя казалось, что вместе с зернышками из оставшихся на поле колосков выдувает он из ее сердца последние остатки тепла. Она сидела так, пока не начало смеркаться. Потом встала и пошла домой.

Приметивший ее из-за плетня онипковского подворья Матвей бросил окурок, вздохнул, вышел на ведущую к деревне дорогу.

* * *

Всю осень и зиму Варвара жила одна. Гости на ее хуторок не заглядывали, даже отца своего она не видела уже год, что, впрочем, ее не особенно огорчало. По сути они уже давно стали чужими людьми, и оба к этому успели привыкнуть. Хлеб был убран, сено на корм скоту запасено в достатке. До весны ее хозяйство могло существовать без посторонней помощи, а о том, что будет дальше, Варя не знала и боялась даже задумываться.

В начале октября она поняла, что беременна. Первой мыслью было вытравить ребеночка, что, вероятно, большого труда бы не составило. Здоровье у нее было крепкое, а признанный специалист по избавлению местных женщин от последствий маленьких радостей в лице бабки Макарихи жил недалеко и брал за свои услуги недорого. Однако слышала Варвара от баб, что если от первого ребеночка избавиться, второго и вовсе может бог не дать. Но не эта мысль стала главной причиной твердого решения рожать. Просто она знала, что теперь в ней живет плоть и кровь Егора Нефедова, а значит, продолжает жить на земле и он сам.

С первого дня, с той самой минуты, Варя знала, что у нее родится мальчик. Не то чтобы надеялась или даже была в этом уверена, а просто знала – будет сын. Его сын. Такой же светловолосый, крепкий, улыбчивый, такой же ласковый. Одна среди степи, она думала об этом бесконечными зимними ночами, глядя на огонек керосиновой лампы, каждый раз жалея о том, что не попросила у Егора его карточку в военной форме, о которой он упоминал в один из нечастых приездов к ней. Думала, прислушиваясь к зловещим шорохам, а порой и волчьему вою за окном, и то плакала, то улыбалась.

Не раз, выходя в зимнее утро из хаты, замечала она следы валенок, крестившие цепочками ее двор от загород-

ки к пригону, оттуда к сараю и опять к загородке. Каким-то образом перемещалось из сметанных в зиму копен под навес хлева сено, причем именно тогда, когда его запас там подходил к концу. Сам собой убирался снег и выправлялся завалившийся было плетень, убирался навоз. А когда Варя, прихворнув несколько дней, вовсе не выходила из дому, таким же волшебным образом прознала об этом лекариха-Макариха, словно повеленьем божьим перелетевшая несколько заснеженных верст от Старо-Богатска до вариного хуторка и постучавшаяся ветренным утром в дверь ее хаты. Имя автора всех этих «чудес» Варя знала прекрасно, как знала и то, что без проклятущего Матвейки даже зиму пережить было бы ей совсем не просто, а уж по весне, когда пахать время подойдет, без мужика вообще никакого дела не будет. А значит, не будет и хлеба...

Все это Варя понимала, и все чаще приходила к мысли, что ради живущего в ней маленького человечка ей нужно будет хоть на время забыть слово ненависть, простить то, что прощать нельзя, смириться и согласиться даже с тем, на что она раньше и под страхом смерти не пошла бы. Потому и открыла дверь на стук Захлюпина ранним весенним утром, когда уже дышала завораживающим хлеборобов запахом освободившаяся от снежного плена земля. И на его хмурое «Пахать надо» ответила просто: «Надо». И словом этим будто тучу с его напряженного лица согнала. Он быстро спрятал взгляд, повернулся и все ускоряя шаг двинулся к сараю, где хранились плуг, бороны и прочий необходимый для пахоты инвентарь. Говорить было больше нечего – надо было работать.

При всех своих недостатках, главным из которых была необычная и непонятная всем любовь к чужой, а потом и брюхатой от другого мужика бабе, которую никто из мужиков и даже баб ничем кроме болезни не считал, Матвей Захлюпин был человеком хозяйственным и крестьянином настоящим, как говорится, от бога. Любую самую тяжелую работу делал он в охотку, с любовью, и она его будто тоже любила, всегда в руках спорилась. Случалось, не появлялся он на подворье у Варвары день-два, но когда

появлялся, то дела там шли так быстро, будто не один человек, а целая артель трудилась.

Отклепал и наточил лемех у плуга, сплел взамен старой новую тягу из прочных веревок, подогнал хомуты, сменил барашки у борон, вместо негодных зубьев вставил новые. Прерывал работу только на обед, да и на него тратил не больше четверти часа. В самый канун выхода в поле, когда все подготовительные работы были уже закончены, Варя приготовила хороший ужин. Нажарила большую сковороду баранины с картошкой, напекла пирогов с мясом, луком и яйцами, приготовила и большой творожный пирог-вертуту на десерт, до которого Матвей – она это знала – был большой охотник. Достала из старых запасов бутылку «казенки». Матвей вообще плохо жаловал спиртное, что общественным мнением признавалось как еще один признак его чудачества, однако в этот раз выпил подряд три пузатеньких стаканчика и изрядно захмелел. Раскраснелся жарко, неожиданно для Вари, да, наверное, и для самого себя сделался разговорчивым.

– В селе-то что делается, а? – впервые за долгое время посмотрев в глаза Варваре, начал он. – Свадьбы одна за другой.

– Кто женится-то?

– Так солдаты, что с войны поприходили да из плена германского вернулись, а вслед за ними и парни совсем молодые, сопляки считай. Девочек-то на выданье сколько хочешь, а куда завтра жизнь повернет, никто нынче не знает. Надо поспешать да хоть попить-погулять, помиловаться, пока бог дает, – он пьяно мазнул взглядом по круглым Варькиным плечам, перевел взгляд пониже, заставив ее покраснеть лишь чуть меньше самого Матвея.

«Трэба кофту побольшее шить, – мелькнуло в ее голове, – эта тесна зовсим. Ишь як выпялился, шоб тоби повылазило».

– Да что те девки, – продолжал Матвей, не спуская глаз с Вари. – Вот на тебя б невестино платье надеть, этоб картинка была, глаз не оторвать.

– Ото ж, – натужно улыбнулась она, – в подвенечном платье та с пузом. Вот бы батюшка у церкви подивився.

– Ну, батюшка наш всякое видел, – рассудительно заметил Захлюпин. – А что пуза касается, так можно и подождать, пока дите народится, а потом уж и в церкву идти.

– Можешь не ждать, – не сумев сдержать себя, резко сказала Варвара, – все одно не дождешься.

Сказала и в то же мгновение сильно пожалела о вырвавшихся у нее словах. Совсем оттолкнуть от себя Матвея ей сейчас было никак нельзя. Говорила ведь себе не один раз, что не будет его злить, и вот опять характер чертов сильнее разума оказался.

– Ладно, – после долгого молчания неожиданно миролюбиво сказал Матвей. – Человек по-одному думает, судьба по-другому ложится. Поживем, увидим, как оно будет.

И на эти его слова имелся у Вари Оникко заранее готовый ответ, но в этот раз она благородно оставила его при себе. Пьяный, да зоркий Матвей это понял и оценил. Хватил еще стопку, степенно, не спеша закусил, не оставив без внимания ни одного блюда.

– Да-а-а, – протянул он, – все у нас пока имеется, голоду не знаем. И хлебушек, и мясо, и водочка. А вот в России, говорят, люди уже кошек едят. Кто знает, может, и у нас до того дойдет. – Он опять внимательно посмотрел на Варю, но та, будто не замечая этого взгляда, пристально изучала занавеску на уже начавшем сереть окне.

– Соли вот только нет, керосину опять же, но без этого и прожить можно. Жили ж как-то люди в прежние времена, – между тем глубокомысленно рассуждал Захлюпин. – С города едут масло скупают, спички опять же. Приказчик в лавке по шестьсот целковых за ящик серников должен брать, а городским, считай, по тыще продал. Хорошо, я с ним знакомство вожу, – самодовольно улыбнулся Матвей, – так мне по семьсот целковых два ящичка уступил. Так что теперь серники у нас есть. Молоко в городе не берут на завод, ничего, на своем сепараторе пропустим. А то и телятам отдадим, на землю выльем, – с тяжелой злобой добавил он. – Пусть они в своем городе поганом без молока посидят. Приехали сволочи с погонами – давай

шинели, давай вещи теплые. Лошадей, телеги, упряжь давай, налог давай. В армию свою опять гребут, еще призыв объявили, да только хрен вам, хворый я, колченогий. Думал всегда – наказал меня господь, а вышло – уберег...

– Слухай, Матвей, – оборвав затянувшийся монолог Захлюпина, твердо сказала Варя. – Это так, шо мэни без тоби шибко важко було б прожить, та ще брюхатой. С дитем тож не сахарно будэ. Я тебе обязанная, це так, и можэ получишь ты, чого тебе потрібно, но пока мэни не тревож и про свадьбы бильш разговоров не веди. У меня на сердце на тэбэ е камень тяжкий, ты казакив привел, шо Егора вбыли.

– А не я, так и тебя б убили, только б сначала позабавились всей сотней, – мрачно заметил он.

– Це так, – согласно кивнула женщина, – я це тож помню. Но ты мэни все одно до поры не трож, не заводи речей.

Матвей не спеша вытер рушником рот, взял со стола фуражку и, задержавшись на мгновение в дверях, сказал только:

– Ничего, мы подождем.

* * *

Крестили Алексея Нефедова ближе к осени, вместе с дюжиной народившихся за весну и лето 1919 года новых жителей села Старо-Богатское и близлежащих к нему хуторков. Лишь к тому времени приехал наконец-то в село священник из Славгорода. Окунул маленьких рабов божьих по очереди в купель, и стали они по обычаю крестными братьями и сестрами, говоря по-простому – однокупельниками. Отпустил батюшка сельским жителям их немудреные грехи, что накопились за время его отсутствия, да и отбыл восвояси. Занесли среди прочих имя Алексея Нефедова в церковную книгу, и стало в России на одного законного ее жителя больше.

Крестины отмечали втроем: Варвара, Матвей и мирно сопевший в подвешенной на крюк люльке Лешка. В этот раз Варя выпивала наравне с мужиком, и когда

тот, опьянев, начал запальчиво говорить, слушала его не перебивая:

– Сколько уж ровно собака какая тебе служу. По-смешищем на селе стал. Думала, за хозяйством твоим гонюсь, тебя под себя и его тоже, так теперь-то хозяйства уж и нет хорошего, без меня уж давно бы рассыпалось, – одну за другой выкладывал наболевшие обиды Матвей. – Дите чужое кормлю, как мне оно? А я ведь хочу, чтоб ты мне нашего принесла и потом еще. Любви, говоришь, нету? А я тебе не любовь, я тебе все, что только есть, под ноги кинул. Не хочешь? Вот скажи сейчас – не хочешь? Уйду, не приду больше. Голову в петлю суну, а не приду. Узнаешь тогда, увидишь тогда, как без этой собаки жить. Сама заскулишь по-собачьи.

– Пойдем почивать, Матвей, – тихо сказала Варя и стала расстегивать кофточку. – Поздно вже, з утра дел гора.

Потом в постели, когда сопел на ней наконец-то добившийся своего Матвей Захлюпин, она молча смотрела в ночную тьму и думала, что самый лучший месяц в году, конечно, вересень, по-русски – сентябрь.

Глава пятая

Узнав о том, что поступивший добровольцем в колчаковскую армию имеет право самостоятельно выбирать место своей службы, Егор Нефедов немало удивился и тут же спросил:

– А в Камень можно?

Пожилой писарь перебрал не спеша сложенные стопочкой бумаги на столе, нашел нужный листок и, мельком взглянув на напряженное лицо Нефедова, равнодушно бросил:

– Нет. Запроса не поступало. Куда еще?

– Теперь все равно! – махнул рукой ефрейтор. – Пиши, где лес да горы хоть какие имеются, а то мне по степи надоело шляться.

Вот так и попал он в небольшое таежное поселение Салаир Кузнецкого уезда Томской губернии, расположенное неподалеку от границы губернии Алтайской. Место было глухое, хотя в былые времена и знаменитое.

В конце XVIII века на реке Сайраир было открыто месторождение серебра. Построенный там рудник, а затем и сереброплавильный завод называли Салаирским, а поселок при нем Салаир. В начале века XIX в этих местах кроме серебра нашли еще и золото. Началась салаирская «золотая лихорадка». Каждую весну сюда направлялись все новые и новые партии поисковиков, работавшие до глубокой осени. Однажды к Пасхе императору Александру I преподнесли золотое яичко весом в несколько фунтов – в честь получения первой партии золота из Алтайского горного округа (куда входил и Салаирский рудник). Салаир процветал. В 60-е годы XIX века в поселке проживали около трех с половиной тысяч человек – вдвое больше, чем в уездном Кузнецке.

Но все хорошее когда-нибудь кончается. Золото выгребли, добыча руды и производство серебра на заводе неуклонно падали, и в самый канун нового XX века горные работы в Салаире были прекращены. В новые бурные времена некогда крупнейший поселок вступил как обыкновенное село, с присущими ему крестьянскими трудами и заботами.

Теперь главной его достопримечательностью была построенная уже в новом веке каменная красавица церковь, со стрельчатыми окнами и высоченной колокольной. Возводили ее каменных дел мастера, жители алтайского села Жуланиха. За строительством надзирал знатный мастер Рогов. Со всей округи возами люди везли куриные яйца, щедро добавляли их в раствор из глины. И выходили из этого месива удивительной прочности кирпичи.

Неподалеку от церкви гордо возвышался памятник Александру II. Монументы отменившему крепостное право в России царю-освободителю сооружать по всем городам и весям стали в 1911 году, к 50-летию этого события. Делали их из металла, гипса, а то и из дерева, как го-

ворится, по средствам. Салаирцы здесь оказались впереди России всей: и памятник свой поставили на несколько лет раньше других, и изготовлен он был из бронзы. Да еще в немалую величину и с большим портретным сходством.

Летом 1919 года перед тусклым неживым взглядом бронзового императора были все те же невысокие горы, густая зелень вековой тайги, августовское разноцветье и разнотравье. Будь не бронзовой статуей, а человеком из плоти и крови, бывший самодержец всероссийский мог бы по-настоящему насладиться тишиной и покоем на действительно заслуженном отдыхе. За срок его правления для страны и народа было сделано немало. Одно снятие крепостного ярма с мужицкой шеи дорогого стоило.

Огорчить самодержца могло, пожалуй, то обстоятельство, что дела у его тезки, признанного ведущими странами мира Верховным правителем России Александра Колчака, шли уже далеко не так хорошо, как намечалось несколько месяцев назад. Начавшееся в марте и протекавшее поначалу довольно успешно наступление войск Александра четвертого, как то ли в шутку, то ли в насмешку именовали порой в Сибири адмирала, быстро захлебнулось. Уже в начале июня красные в упорных боях вернули себе Уфу, и от полного разгрома колчаковцев спасло только начавшееся на юге наступление генерала Деникина. Еще в феврале правительство Ленина решило использовать партию эсеров для борьбы с Колчаком и Деникиным.

В том же месяце партия социалистов-революционеров была легализована, а в июне на ее совете, где присутствовал единственный представитель Сибири, не имеющий права решающего голоса, было принято решение: «...Прекратить в данный момент вооруженную борьбу против большевистской власти и заменить ее обычной политической борьбой, перенося центр своей борьбы на территорию Колчака, Деникина и др., подрывая их дело изнутри и борясь в передовых рядах восставшего против политической и социальной реставрации народа всеми теми методами, которые партия применяла против самодержавия».

Впрочем, о том, что происходило за Уралом, несущие службу в небольшом салаирском гарнизоне колчаковские солдаты ничего толком не знали, газет в глаза не видели, а офицеры если слышали о каких-то событиях, делиться этим с своими подчиненными не спешили. Примерно таким же было их представление о том, чем занимается правительство в Омске и чего оно по большому счету хочет добиться, каковы его задачи и планы. В ответ на вопросы только отмахивались, чем убедили солдат в том, что «господа-офицера» и сами ничего толком не знают. И это, кстати, было совсем недалеко от истины, особенно если учесть, что двое из трех офицеров гарнизона были такими же мобилизованными, как и большинство их подчиненных.

Добровольцев среди солдат было немного, человек десять из шестидесяти. Брала в них практически любого россиянина мужского пола, достигшего 17 лет, по контракту от полугода до двух лет. Семьям их выделялось пособие, им самим – единовременное пособие при поступлении на службу и увольнении с нее при выслуге не менее двух лет – одна тысяча и пять тысяч рублей соответственно. Деньги для мужика по тому времени немалые, да и по службе добровольцы получали усиленное довольствие.

Так что корысть, конечно же, была одной из причин, толкнувших молодых и не очень жителей «Сибирского царства» надеть колчаковскую форму. А она у добровольцев в Салаире была действительно хорошая: добротные френчи английского сукна с карманами на груди, со светлыми пуговицами, ремни кожаные. К ботинкам выдавались суконные желтовато-темно-зеленые обмотки, суконные брюки галифе. По летнему времени носили они фуражки, но к зиме, поговаривали, должны были выдать английские шапки. Мобилизованным солдатам полагалась обычная, к тому же часто уже побывавшая в употреблении армейская справа, и винтовки им выдавали старого образца.

Но совсем не деньги и английские френчи приводили людей в добровольцы, главная причина крылась в другом.

Еще в самом начале своей службы в Салаире Нефедов спросил как-то напрямик семнадцатилетнего пухлогубого Васю Митрохина, как и он сам, носившего английские ботинки:

– Ты чего в армию пошел чуть не от мамкиной титьки? Раньше тебя до двадцати лет никто б не тронул, а сейчас чего сам поперся? Власть, что ли, новую так любишь?

Митрохин перестал жевать, что он делал при малейшей возможности, вынул изо рта сухарик и широко, добродушно улыбнулся:

– Да что она – девка, что ли, власть та, чтоб ее любить? Мне она без разницы какая ни есть.

– Так с чего тогда? Денег захотел? – не унимался Егор.

– Чего, чего? – Митрохин посмотрел по сторонам и, склонившись к уху ефрейтора, по-мальчишески доверительно сообщил: – Парней в деревне, их не спросясь, мобилизовали да против большевиков на войну отправили. Кой-кого и нету уже – бумага пришла. А мне на кой такая балясина, а? Вот и пошел в добровольцы. Тут спокойнее будет.

– Ага, спокойнее, – покачал головой Нефедов. – А пошлют бунт какой искоренять, своих же мужиков пороть да стрелять, тогда что?

– Пойду, куда денешься, – вздохнул Васька. – Не пойди, опять же на войну пошлют, а то и еще куда хуже. – Он опять посмотрел по сторонам и еще доверительнее шепнул: – А лучше того, если припрет, самим в тайгу податься, время лихое пересидеть. Вся эта каша кончится ж когда-нибудь, а?..

– Кончится, – успокоил его Егор, – только ты никому больше, как мне вот сейчас, таких штук не говори, понял?

– Так чего ж непонятного, – Василий сунул сухарь обратно в рот и принялся деловито жевать. – Что ж, я не вижу, кому можно, кому нет?

– Давай топай, ясновидящий, – улыбнулся Нефедов.

Васька Митрохин в пулеметном расчете «гочкинса» Егора Нефедова числился подносчиком патронов, поскольку крестьянскому труду был обучен хорошо, а в военном пока не преуспел, да и не очень-то к тому стремился. В село Белово Кузнецкого уезда он прибыл вместе с родителями из Самарской губернии десять лет назад. Отец его, безземельный крестьянин, кормивший семью с помощью батрацкой лямки да случайных заработков, в 1904-м попал на японскую войну. На фронте познакомился и сдружился с солдатами-сибиряками, забритыми в армию из здешних мест, и, наслушавшись от них рассказов о вольных землях, заболел Сибирью.

– Ехали наши, слышь, в двадцать семей на санях, – рассказывал Вася, увлеченно дергая Егора за рукав френча.– Лошади свои, скарб весь собрали. Тронулись, только снег лег, а добрались уже по весне, на телеги пересаживались. Больше всего разбоя боялись, ружья в телегах прятали – знамо дело, Сибирь – земля разбойничья. Батя мой не то что я, мужик-отчаюга, – восхищенно поднимал голос Василий. – В японскую крест получил и в обозе был старшим. Вот раз надо было за ночлег расплатиться. Хозяин, здоровенный бугай, бородача до пуза, зовет его в избу. Батя чует, что-то не то... – Митрохин сделал паузу, принялся не спеша доставать из кармана вышитый кисет.

– Ну говори, не набивай себе цену-то сильно, – усмехнулся Нефедов.

– А я и говорю. Остановился кержак около дверей и показывает, заходи. Батя отказывается – ехать, мол, надо. Тот насупился: «Ну, давай деньги за постой». Отец ему мелочь протягивает, деньги все, общие-то, у него под рубахой на груди в мешочке зашитые. Мужик этот понял, видать, что батя настороже, и говорит со злостью: «Ты, видно, мужик бывалый», – повернулся и ушел. После узнали наши, что у того кержака под половицей провал открывался скрытым рычагом. Раз – и человек в подвал с острыми кольями падает. Говорили, в том дворе много людей пропало.

– В наших краях всегда много злодеев жило, и сейчас хватает. Жизнь тут суровая, народу много каторжного и душегубов, мучителей разных, – вступил в разговор первый номер пулеметного расчета Степан Филатьев, которого в салаирском гарнизоне побаивались практически все, включая офицеров.

Крутой лоб Степана словно нависал над его маленькими, сверлящими собеседника глазами, что вместе с сутулой фигурой и длинными, едва не до колен ручищами делало пулеметчика похожим на орангутанга. Конечно, большинство его сослуживцев о такой животине и слышать не слыхивали, но вот в силе и безжалостности Филатьева никто не сомневался. Как-то на утреннем разводе один из офицеров – недавний гимназист, розовощекий прапорщик Будкеев, посетовал на облаивающую его маленькую приبلудную собачку, прицепилась, мол. «Разрешите?» – хмуро спросил из строя Филатьев. Прапорщик, не понимая о чем он, кивнул головой. Пулеметчик вышел вперед, вынимая на ходу тоненький ремешок из солдатских штанов, одним движением изловил не ожидающую опасности собачонку и так же споро и деловито удушил ее тем самым ремешком. Бросил вытянувшееся тельце в траву и так же хмуро взглянул на абсолютно ошалевшего прапорщика: «Разрешите встать в строй?».

– Я сам на Локтевском сереброплавильном заводе родился, дед и отец там работали, – продолжал между тем Степан. – Отец мой, Григорий Иванович, дожил до глубоких лет и был человек с положением: полторы тысячи розог носил на спине. Драли у нас тогда на Ивановой сопке, и многих задрали. Был такой пристав Пишкин. Бежал как-то мимо пишкиного дому рабочий один, Иван, шапку не снял. В окно увидели детишки.

– Папа, рабочий шапку не снимает!

Началось тут. Лозы целый воз доставили. Много ее тогда об народ истрепывалось, надо было запас иметь. Стали драть. Пишка кричит: «Крепче, крепче!». Иван этот был мужик дряхленький уже, не выдержал и помер. Его на большом камне драли – так этот камень стал красный от

крови, и теперь такой, сам видел. С той поры у нас один другому так и говорил, если поспорят: «Ах, ты... Пишкин ты, а не человек!».

– Так это при старом режиме было, – усмехнулся Егор. – Сейчас-то господа потише стали, с мужиком им хочешь не хочешь – считаться надо, чтоб он, в шинелку одетый, власть их от большевиков берег, не дал ей под откос сковырнуться.

Степан внимательно посмотрел на Нефедова, поскреб пальцами в начинающей сесть шевелюре:

– Смотри ты, куда тебя загнуло, – задумчиво сказал он. – Ну об том ладно пока, вот скажи лучше, ты правда думаешь, что господа разные главные злодеи и есть, они жизнь мужику заедают?

Ефрейтор молчал.

– А я тебе скажу, что мужик какой куда больше их-него злодеем быть может. Вот послушай еще, не байку скажу, чистую правду. Дядя мой, матери брат, Гусельников Петр, был у Фрезе, управляющего, первейшим кучером. Без него Фрезе не ездил никуда. Кони были – не кони, звери. Никто кроме дяди не мог с ними совладать.

Раз Фрезе из Барнаула приехал. Хватился – нету книги и кушака. Послал за Петром.

– Петруха, где книга и кушак?

Тот ему:

– Не могу знать.

– Как не можешь знать? Ты потерял или себе взял.

Повинись.

Дядя свое:

– Я не виноват.

Были тогда свечи макальны – намаканы в сале. Свечи зажгли. Фрезе говорит:

– Коль не повинись, буду тебя драть, пока не сгорит свеча.

Свои люди побежали к дядиным родителям:

– Ой, батюшки, Петруху дерут, пока свеча не сгорит.

Бабка причитает, богу молится-крутится... Дед мой как раз по сено уехал.

Время идет. Петра все дерут.

Вот приехал дед, а из конторы уж два раза прибежали. Иди, мол, сына дерут.

– Да у меня сено не сметано.

Стал сено метать. А в конторе свеча горит. Сало капает... Фрезе злится, усы кусает.

– Петруха, повинись!

– Не виноват.

– Дайте ему еще!

Бабка деда просит:

– Иди ты, Христа ради, в контору, задерут Петруху.

А он отвечает:

– Дай сперва поесть.

Вот наелся, тогда уж пошел. Свечи немного осталось, Фрезе усы жует:

– Повинись, Петр!

– Не виноват.

– Крепче ему! А тебе чего, старый пес?

– Вы с моего быка кожу снимаете, так я пришел мясо подобрать.

Дядя услышал про быка, вскочил да схватил управляющего за грудки. Шинелка у Фрезе была внакидку. Он вывернулся, шинелка у дяди в руках осталась.

Сослали дядю еле живого в тайгу на самый далекий прииск. Поехал опять Фрезе в Барнаул. Остановился в гостинице. Хозяин говорит:

– Оставили вы в прошлый раз кушак и книгу. Извольте получить.

Вернулся управляющий обратно, дядю вызывает и дает ему за свое мучительство десять рублей. Только я вот думаю, – после паузы добавил он, – что главным-то мучителем дяди не Фрезе оказался, а батя его родной, дед мой значит. Вот кого надо было за грудки хватать, а того лучше кайлом в лоб и в омут, собаку старую.

– Чего ж ты так-то людей не любишь, Филатьев? – не отрывая взгляда от своей самокрутки, спросил Егор. – Чем они тебе так насолили?

– С германской еще, после окопов, не стало во мне ни страха, ни радости, – спокойно ответил Степан. –

Мертвый я будто. Ходят люди, поют, кричат. А у меня душа ровно ссохшись. Оторвало меня от людей, от всего отшибло. И не надо мне ни жены, ни детей, ни дому. Сколько жил там, как с войны вернулся, все боялся кого-нибудь пришибить. В добровольцы вот подался. Ни смерти не жду, ни бою не боюсь...

– С чего ж это с тобой так приключилось?

Филатьев долго молчал, потом посмотрел на ефрейтора пустыми холодными глазами:

– Обмокла кровью душа... И пошли думки разные... И допреж такое думалось, да знал я, что ввек на такое не пойду... А теперь нет во мне добра к людям. Зол на весь белый свет...

В том, что Филатьев мужик не только злой, но еще и решительный, Егор имел возможность убедиться.

Новая служба протекала довольно ровно и очень напоминала Егору его пребывание в бийской пешей дружине. То же безделье с редкими перерывами на занятия строевой или стрельбу, караульная служба. Те же замусоленные сотнями рук карты, выпивки и тоска. Конечно, можно было б познакомиться с какой-нибудь из скучающих без мужского внимания местных молодежи, но Егор уже так устал не по своей воле уходить от приглянувшихся ему женщин, что ни себя, ни какую-нибудь живущую в ожидании ласки хорошую, да одинокую бабу зря печалить ему не хотелось. А как объект разового пользования он женщин никогда не рассматривал. Скуку и монотонность казарменной жизни скрашивали разве что длинные разговоры да редкие происшествия, виновником которых дважды бывал Степан Филатьев. Впрочем, задел первому положил все же не он, а сам Нефедов.

Обычно солдатам к первому блюду, супу или щам, выдавали по куску мяса. Но потом это мясо стало выдаваться накрошенным прямо в суп и каждый раз становилось его там все меньше и меньше. Егор, получая как-то бачок с супом на семь человек, увидел в нем одну баланду без признаков мяса. Повернулся к стоявшему рядом Филатьеву и, чувствуя, как все больше охватывает его тягучая злоба, с усмешкой сказал:

– Помнишь, Степан, как на германской говорили – у солдата четыре внутренних врага: офицер, интендант, каптер и вошь. Не знаешь, какой из них тут окопался?

Филатьев, не говоря ни слова, с силой вырвал из рук Нефедова бачок с баландой и выплеснул его содержимое прямо в лицо повару. Поднялся крик, прибежал еще больше порозовевший, испуганный и озлобленный прапорщик Будкеев. В ответ на его ругань Филатьев все так же молчал, а когда прапорщик повернулся, чтобы уйти, коротко и зло сплюнул на пол. Будкеев, заметив это, дернул плечом, но ничего не сказал. Мясо вновь стали давать порционно.

Филатьев же разноса, устроенного ему Будкеевым, не забыл и очень скоро нашел возможность с прапорщиком поквитаться. Воспылавший неожиданным рвением к воинской службе недавний гимназист по ночам частенько устраивал обходы постов и караулов, проверяя, как солдаты несут службу. Нервный и трусоватый, он радовался любой возможности показать случайно доставшуюся ему власть – с большим удовольствием сыпал площадной руганью в адрес провинившихся, а потом даже и ударил, как сумел, задремавшего на посту солдата – молоденького и безропотного крестьянского парня. Уверовав после этого в свою силу, прапорщик решил пойти дальше и найти возможность наказать за какое-нибудь нарушение устава теперь уже Степана Филатьева, которого он побаивался и потому очень хотел поставить «на свое место».

Несколько ночей подряд, когда Филатьев находился в карауле, он тайно наблюдал за ним, надеясь, что тот уснет на посту или вместо того чтобы нести караульную службу, отправится в поселок за самогонкой. Степан неизменно и довольно быстро примечал крадущегося «яко тать в нощи» прапорщика, действительно мешавшего и поспать часок, и за самосидкой сбегать. В один из ночных обходов поселка Филатьев вновь почувствовал крадущегося за ними офицера.

– Обмотка, зараза, развязалась, – сказал он досадливо напарнику. – Иди дальше, сейчас поправлю, догоню.

Он присел, делая вид, что возится с обмоткой, и не успел внимательно наблюдавший за ним прапорщик ничего понять, как Филатьев исчез, словно растворился разом в густой кисельной темноте короткой летней ночи. Боязливо озираясь по сторонам, Будкеев медленно приблизился к тому месту, где совсем недавно сидел на корточках пулеметчик, наклонился, словно хотел проверить, не оставил ли тот чего на траве, и свалился носом в росу от быстрого и точного удара прикладом по затылку.

– Шпиена красного поймал! – радостно сказал Филатьев подбежавшему на шум напарнику. – Форму нацепил, гадюка, думал обмануть. Беги быстрее за поручиком Шелобановым. Будем красного петушка потрошить, – и довольно захохотал.

– Не признал, ей-бо, не признал я господина прапорщика, – горячо убеждал он Шелобанова, пока у незадачливого «чингачгука» вынимали изо рта кляп, развязывали стянутые его же ремнем руки. Будкеев тупо мотал головой, пытаясь сообразить, что же с ним произошло, а Степан стоял на своем: – Мне уж раньше показалось, кто-то за нами приглядывает. Ладно, думаю, я тебя прищучу. Ну вот и... – Филатьев сокрушенно вздохнул. – Кто ж знать-то мог, что это господин прапорщик. Думал – благодарность от начальства заработать, награду какую...

– Награду?! Да, что ж ты потом-то, когда прикладом его приголубил, когда вязал и рот затыкал, не поглядел хорошо на личность?

– Так не до того было, господин поручик, – развел руками пулеметчик. – Вдруг, думаю, еще большевики набегут. Ну и укрылся опять, занял оборону – все, как устав учит.

Шелобанов, единственный в салаирском гарнизоне офицер-окопник, посмотрел на Филатьева с немалым подозрением, усмехнулся в усы, однако ничего не сказал, только рукой махнул – ступай, мол, дальше без тебя обойдемся.

После этих событий солдаты гарнизона стали относиться к Степану Филатьеву с еще большим уважением,

сопряженным с такой же немалой опаской. Многие смотрели так же и на Егора Нефедова, правда, уже без огонька страха в глазах. Сами же они хоть и были в одном пулеметном расчете и почти все время проводили вместе, ни друзьями, ни даже товарищами пока не стали. Словно два знающих свою силу шатуна медведя, не имеющих пока причины его помериться, Степан с Егором все еще приглядывались один к другому. Ни один из них не мог до конца определить для себя, кто перед ним – надежный товарищ, которому можно довериться всегда и во всем, с кем един и в делах, и в мыслях, или чужой, того хуже – враг.

* * *

В это время в шестидесяти верстах от Салаира, в алтайском селе Жуланиха жарко митинговали партизаны отряда Григория Рогова. Накануне им, вместе с пришедшими из Барнаула вооруженными рабочими и дезертирами из охраны моста через Обь, удалось разгромить в селе Пещерка сильную дружину «Святого креста», организованную в большинстве своем из зажиточных крестьян местным священником Закурдаевым. Все дело решила военная хитрость, а попросту говоря, обман.

У партизан имелось немало комплектов английского обмундирования – принесли с собой, а точнее – на себе, дезертировавшие из колчаковской армии крестьянские парни. Благодаря этому один из дезертировавших железнодорожников недавний унтер-офицер Булгаков стал поручиком. Для солидности бывший унтер даже нацепил на нос «трофейное» пенсне, но поскольку в нем дальше этого самого носа ничего не видел, да к тому же буржуйская игрушка все время с него слетала, раздосадованный Булгаков ахнул ее о землю, да еще и плюнул вдобавок. Кадровый солдат Иван Дрожжин надел погоны фельдфебеля, человек двадцать взялись изображать нижних чинов.

Они спокойно въехали в Пещерку, нашли старосту и приказали ему собрать дружину на площади с оружием. На подходивших вразнобой дружинников тут же набрасывался с руганью «фельдфебель» Дрожжин.

– Дисциплины не знаешь, мешок с трухой, дышло тебе в печенку! – орал он. – Рожка заспана, а винтовка небось не чищена.

Под предлогом осмотра оружия «проверяющие» отوبرали его у дружинников, а потом начался суд. Создали комиссию из партизан и местных крестьян. Одних, наказав не выступать больше против народа, отпустили, других, волей собравшихся на площади пещерцев, тут же порубили шашками. Патроны были дороже их жизнью.

Теперь пришедший из Кузнецкого уезда лесник Леонтий Жуланов принес весть о том, что в Салаире разместился отряд колчаковцев человек в сто, не больше. Командует поручик Шелобанов, кроме винтовок имеются два пулемета. Солдаты пьянствуют, офицеры тоже, караульная служба ведется плохо – можно их хорошенько тряхануть. Предложение было более чем заманчивым, занять пулеметы партизанам хотелось давно. Но только вот...

– Может, он подсланный, этот Левонтий? – кричали одни. – Может, за деньги проданся. Пойдем, а там ловушка. Из тех пулеметов нас и порежут.

– А хоть и не ловушка, чего нам от своих домов за столько верст киселя хлебать тащиться, нешто в поле дел нету? – не менее горячо вопрошали другие.

– У меня баба хворает, на кого хозяйство оставить, а? – тряс за рукав барнаульца изрядно подвыпивший мужичок в новеньких сапогах одного из зарубленных в Пещерке дружинников. – Это ты на заводе железо свое пошуровал и свободен, а тут хозяйство. От германской на своих заводах прятались, когда мужик в окопах был, теперь давай за мужика.

– А ну тихо, граждане, – ровно и веско прозвучал голос вышедшего в круг крепкого сорокалетнего мужика с пышными фельдфебельскими усами. Стянутая потертым солдатским ремнем куртка, наган в старенькой кобуре, сбитые сапоги и даже войлочная шляпа сидели на нем с той аккуратностью и даже некоторым щегольством, какие даются только долгими годами военной службы.

– Тихо, говорю, – повторил он и откашлялся. – Неволить никого не станем. У кого баба в хвори или сам медвежьей болезнью страдает, может сидеть дома, о своих геройских подвигах дедам да бабкам врать. Выступаем враз всем отрядом.

Это был партизанский командир Григорий Рогов.

Уже в юности он отличался немалой физической силой, удальством и изобретательностью. Как-то приехавший в Жуланыху лесничий обнаружил у дворов самовольно заготовленный мужиками неклеименый лес. Худо бы пришлось многим жуланам, как именовали жителей этого села их соседи, если бы не Григорий сотоварищи. Парни хорошенько напоили государеву слугу, стащили у него казенное клеймо и сами проклеямили весь завезенный в село лес. А когда лесничий немного проспался, похмелили и убедили в том, что лес и был клейменный, а его просто по пьяному делу бес попутал.

Очень примечательна была и женитьба Рогова. За одну из самых видных – к тому же с хорошим приданым – девок на селе, Александру Соколову, сватался парень из не менее зажиточной семьи по имени Иван, а женился на ней Григорий. Богатства у него особенного не было, так он удальством взял, благо в Сибири оно всегда высоко ценилось.

Однажды во время ярмарки никто не мог снять с высокого столба ценный приз – добротный новенький пиджак. Пробовали многие, и Иван в том числе, но добраться до заветной цели не удавалось. Подъехал на бричке Григорий Рогов. Соскочил с нее, разулся, разделся до кальсон, натер песком грудь, живот и ладони и... снял-таки себе обнову. Одевшись, подкатил лихо к девкам:

– Ну, Шурена, – так он и звал ее всю оставшуюся жизнь, – садись. Покатаю!

Потом была свадьба, а за ней вскоре и русско-японская война. Призванный в царскую армию Григорий сражался с «япощками» под Мукденом и Сыпингаем. Вернувшись домой с солдатскими наградами, вновь стал

крестьянствовать, к тому же работал сидельцем в винной лавке. Рождались дети, вошла в размеренное русло жизнь, но пришел 1914 год и вместе с ним новая война. В этот раз германская.

Правда, тут Рогову повезло, поехал он не на Запад в окопы, а по прежнему месту службы на Дальний Восток. Вернулся домой в сентябре 17-го фельдфебелем и членом крестьянской партии социалистов-революционеров, более известных как эсеры.

Как человека в своих краях приметного и уважаемого крестьяне избрали его членом управы Алтайского губернского земельного комитета.

Главными задачами самого Рогова и всех работающих в губземкоме эсеров были подготовка и проведение земельной реформы в стране. Предполагалось, что земля будет делиться подушно, с учетом ее качества, и распределяться только среди тех, кто ее действительно обрабатывает. Пахотная земля не подлежала продаже, а в том случае, если владелец участка вдруг перестанет его обрабатывать, должно было землю эту у него изъять и передать другому, рачительному хозяину.

Трудился на новом поприще Григорий Федорович в охотку, к тому же и жалованье ему шло пусть и небольшое, но как-никак триста целковых в месяц. И все было бы неплохо, да наложила Москва на эсеровский проект большевистский запрет: не пойдет, мол, не время. «Главной» революционной партии становилось тесновато в Советах вместе с другими революционерами, подходило время от них избавляться.

Тогда Рогов и его товарищи решили с советской властью дел больше не иметь, в Красную гвардию не вступать и завоеваний Октября, коль то потребуется, не отстаивать. И когда пошли в июне 1918 года легионы восставших чехов вместе с присоединившимися к ним отрядами белогвардейцев в наступление на Барнаул, Григория Федоровича среди защитников города не было, проливал он пот на своей пашне в Жуланихе. А дальше началось самое интересное.

«Расплевавшийся» с большевиками Рогов новой властью был в их же ряды и зачислен, следуя простой логике: работал при Советах, значит большевик. Кроме того, как весьма приметную личность – член губземкома все-таки – его заодно записали и в главари жуланыхинских «смутьянов», со времен Временного правительства не желающих признавать никакой твердой власти. Чего только ни бывает в жизни, особенно в годы потрясений...

Когда в мятежную, продолжающую жить по собственным законам Жуланиху двинули из Барнаула карательный отряд, дабы образумить и наставить на путь истинный несговорчивых мужиков, Рогов избежал ареста случайно. Работал вместе с Шуреной на пашне, когда услышал неподалеку винтовочный – слух старого солдата не мог обмануть – выстрел и понял: это за ним. Не медля ушел в тайгу. Позже узнал: «спас» его молоденький солдат-белогвардеец, пальнул от избытка чувств в замеченную им на дереве галку. Началась партизанская жизнь.

Теперь за спиной у Григория Федоровича было немало удачных операций по «экспроприации экспроприаторов». В партизанской среде его ценили за степенность, рассудительность и немалое мужество, однако с недавних пор ему приходилось делиться своей властью с городскими.

Будь на митинге матрос Мишуков, он бы сразу признал в вожаке барнаульцев знакомого ему по встрече нового, 1919-го, года «Анатолия», о котором Тиунов говорил, что его скоро беляки по всей губернии узнают. Настоящее имя его было Матвей Ворожцов. В среде большевиков Томска весной 1918 года недавний столяр-маляр, участник событий в Москве в октябре 1917 года, он был человеком известным и пост занимал немалый – член Совдепа, комиссар Красной гвардии.

В этот город Матвей приехал вместе с родителями из Вятской деревни Кучурощина еще подростком. Семья их жила бедновато, но пока отца Матвея не забрали на «японскую», все ж терпимо. Солдат с войны не

вернулся, и Ворожцову пришлось стать в семье старшим, кормить мать и сестру. Был он простым, однако смысленным рабочим, учился в воскресной школе, посещал политические кружки, участвовал в томской демонстрации девятьсот пятого года.

С юных лет Матвея в рабочей среде, теперь уже и не узнаешь почему, прозвали Толей, позже Анатолием. Он много читал, чаще запрещенные книги. Начитанность и общая культура, наверное, и помогли ему избежать окопов германской. Уже из строевого батальона грамотного крепкого парня направили по разрядке в Московскую авиашколу.

И вновь Томск. Ставший в январе 1918 года большевиком, энергичный и жесткий Ворожцов, как и многие его товарищи, не признавал полтонов. В самом конце мая большевикам удалось раскрыть тайную офицерскую организацию, занимающуюся подготовкой восстания в городе. После истязаний ее руководители были расстреляны, а их тела сброшены в реку Томь. Однако, несмотря на это, на рассвете 29 мая штаб Красной гвардии, губисполком и тюрьма были атакованы бывшими офицерами, и утром 30 мая, не оказав, в отличие от своих барнаульских коллег, никакого сопротивления врагу, красные из Томска бежали. Бросив оружие, многих партийных и советских работников, своих единомышленников... Анатолий спасся и, пробравшись в Барнаул, стал работать в большевистском подполье, откуда летом 1919 года был направлен в отряд Рогова.

В тайгу он шел с барнаульскими рабочими и солдатами-железнодорожниками, но по дороге отстал от своих, был ранен разгромленными теперь пещерскими дружинниками, однако сумел уйти от преследования и уцелеть. Теперь Ворожцов стремился как можно быстрее «набирать очки» на ниве партизанской борьбы и шел к этой цели со свойственной ему бескомпромиссностью, то есть напролом.

– Мы не для того тут собрались, чтобы самогон пить и баб щупать, да попов с пьяными милиционерами резать, –

выкатывал он одно за другим, словно шарики от подшипника, тяжелые слова, – советскую власть этим не восстановишь. Воевать так воевать, крови не бояться. Наши все пойдут.

– Тебе парень, видать, своя жизнь копейка, да и чужая полушки не стоит, – выступил вперед немолодой уже мужик. Крепко упершись в пол подошвами солдатских сапог, он изучающее посмотрел на Анатолия и продолжил: – Вот порежут нас там из пулеметов, что бабам нашим скажешь? Как оправдаешься?

– Коль сам живой останусь, скажу, что эти жизни за дело революции были отданы, за лучшее будущее детей ваших.

– Да какое же это лучшее будущее без батьки? – невесело усмехнулся партизан. – В батраках, что ли?

– Не будет через год, ну, может, два, никаких батраков, а детей, что без отцов останутся, советская власть на ноги поставит, в люди выведет. И хватит на этом. Хватит здесь демагогию разводить, слякоть всякую проповедовать.

Под весом мудреных слов мужик на несколько мгновений растерялся, однако тут же вновь открыл рот, намереваясь продолжить полемику. Помешал ему властный голос Григория Рогова:

– Все, граждане, поговорили. Как решили, так и делаем. Давай по коням!

Рогов с молодых лет был отличным наездником, крепко сидя в седле, он то и дело оглядывался на ходу, стараясь заметить, много ли отстающих. Передовая группа ехала молча, некоторые партизаны, как и их командир, то и дело поглядывали назад. За полем пошла тайга, и разглядеть в ее зарослях, сколько именно всадников держится сзади, было трудно, но когда прискакали в обезлюдевший старательский поселок Тягун, все стало ясно. Из трехсот партизан отряда осталось человек шестьдесят, не больше, не было и многих командиров недавно созданных рот и взводов – Соколова, Леонова и других. На солнышке пригорка снова избрали низовое командование,

Рогова – командиром роты, взводными – Дениса Поташова и других бывших фронтовиков. Запаса продуктов тоже не имелось ни у кого, и взять их уже было негде. Решили идти без провианта.

Леонтий Жуланов по прозвищу Жулан проводником оказался отменным, казалось, он знает в тайге не только все человеческие, но и медвежьи тропы. Порой партизанам приходилось пробираться через густой бурелом и горы валежника, То один, то другой отжимали отяжелевшие от пота, липнувшие к телу рубахи. Стараясь хоть как-то удалить голод, высматривали по сторонам кусты дикой малины, и коль везло, ели ее горстями, не слезая с коней. Ночью сгустилась непроглядная тьма, стало не видно даже едущего впереди товарища. По команде Рогова партизаны спешили и, не разводя огня, полегли где кто стоял под начавшим моросить мелким дождем. Устали сильно, но почти никто не спал, говорили вполголоса, а чаще молчали, думая, чем для них обернется следующий день.

Он, однако, оказался как две капли воды похожим на первый. Тот же тяжелый переход по тайге, мокрые от пота рубахи, малина да черемуха вместо хлеба и щей. На третий день тайга стала редеть, протянулись по ней широкие солнечные дорожки, ожили разнообразные пичуги, и несмотря на ожидание скорого боя на душе у многих партизан стало немного веселее. Да и двигаться стало легче, и уже к середине третьего дня похода роговцы подъехали к Салаиру.

Остановились в тайге. Каждый взвод для пущей значимости решили именовать батальоном. Выслали вперед пешую разведку, чтобы установить точное расположение колчаковского отряда и выяснить, где расставлены посты белых. Часть партизан отправилась на расположенную неподалеку пасеку чтобы добыть там хлеба и сухарей, но не нашла ничего кроме меда. Навалились на него. К вечеру разведка доложила – отряд белых разместился в школе, вроде бы ничего пока не подозревают. На ночь выставляют пять постов и посылают конный патруль. Партизаны стали готовиться к бою.

Офицеры в Салаире, так же, как и их подчиненные, коротали бесконечное свободное время в таких же бесконечных разговорах, нередко переходящих в шумные споры, что было неудивительно, потому что были они людьми очень разными – и по возрасту, и по роду занятий, и по социальному происхождению, да и просто по характеру и жизненной судьбе.

Шелобанов – кадровый офицер, прошедший почти всю германскую, как и многие из офицеров-окопников, равнодушный и к своей, и к чужой жизни, смотрящий на мир с изрядной долей цинизма, не лишнего, впрочем, своеобразного юмора.

Будкеев – недавний гимназист, как принято говорить, из приличной семьи, только– только начинающий осматриваться в жизни, с романтическими устремлениями и тайными мечтами о большом полноценном развороте. Все преимущества своей даже самой небольшой власти над другими он сумел оценить моментально, а оценив, полюбить и начать мечтать о большем. Среди прочих любовей была у прапорщика страсть рассуждать о вещах ему малоизвестных и к тому же малодоступных, причем делать это будучи абсолютно убежденным в своей правоте и никчемности человека, ему оппонирующего.

Радыгин – прапорщик военного времени, в прошлом старший приказчик большого галантерейного магазина в Новониколаевске, имевший хороший доход, но по каким-то причинам не сумевший откупиться от призыва и потому озлобленный на весь белый свет, и в особенности на прапорщика Будкеева, сопляка и ничтожество, желающего везде и всюду свою якобы образованность показать.

Посланный Радыгиным за водкой и закуской Василий Митрохин по неизвестным причинам задерживался, что заставляло уже успевших слегка «зарядиться» офицеров немало нервничать.

– Наш народ не воин, а пахарь, – глубокомысленно вещал прапорщик Будкеев, – потому...

– Знаем мы эту сказку, – бесцеремонно оборвал его Радыгин. – Народ-пахарь! Да разве наш мужик умеет пахать? Дайте немецкому мужику нашу русскую землю – чего он не натворит на ней! Вот он тогда точно весь свет прокормит. Мужик наш к земле жаден, а как работать на ней не знает, не умеет... У нас все так: солдат гибель, а армии нет, «пахарей» ваших миллионы, а хлеба – опять нет. Каждые пять лет – недороды, голодный тиф и холера.

– Мужик пока темен, не образован, – с деланным сожалением посмотрел на Радыгина гимназист-прапорщик. – Нужно обучить его грамоте, привить интерес к знаниям, и тогда...

– Да полно вам, – с обычной язвительностью вновь оборвал его прапорщик-приказчик. – Вы знаете, для чего русскому человеку грамотность?.. Чтоб вывески на кабаках да трактирах читать. Только и всего! Это Гоголь выдумал про Петрушку, будто ему сам процесс чтения нравился. Никогда он, подлец, в книжку не заглядывает и ничем, кроме трактирных вывесок, не интересуется. Вот вы думаете, что России школы и больницы нужны да всякие свободы, а я вам говорю: кабак ей нужен. И пускай вся земля провалится, лишь бы кабак цел остался. Да где он, в самом деле, Митрохин этот, шляется? Всю морду подлецу побыю!

Шелобанов от души расхохотался такой метаморфозе и успокаивающе похлопал Радыгина по плечу:

– Ладно тебе, Матвейч, не кипятись. Хватит о мужике вашем. Лучше я вам что-нибудь смешное расскажу.

Радыгин с Будкеевым охотно согласились. Много повидавшему и много пострадавшему поручику действительно было что вспомнить: и страшное, и тягостное, и действительно комическое, да и рассказчик он был неплохой. Вот и в этот теплый и тихий вечер 23 августа 1919 года Шелобанов вспоминал о былом, о событиях весны 1917 года. И поскольку пережитые им тогда страх и унижение были уже далеко в прошлом, выглядели те события в его рассказе очень даже смешно.

– Что касается родины, то был у нас в роте солдат по фамилии Убейконь, – не спеша закурив папиросу, на-

чал свой рассказ поручик. – Попал он в плен к немцам, но почти сразу умудрился как-то бежать и пробраться назад, в наши окопы. Рассказывал о немцах с восторгом:

– Как живут, черти! Окопы у них бетонные, как в горницах: чисто, тепло, светло. Пишша – что тебе в ресторантах. У каждого солдата своя миска, две тарелки, серебряная ложка. Вилка, нож. Во флягах дорогие вина. Выпьешь один глоток – кровь по жилам так и заиграет. Чай не пьют вовсе, только один кофий да какаву. Кофий нальет в стакан, а на дне кусков пять сахарау лежит. Станешь пить какаву с сахаром – боишься, чтоб язык не проглотить. И где нам против немца сдюжить? Никогда не сдюжить. Солдат у него сыт, одет, обут, вымыт, и думы у солдата хорошие. У нас что? Никакого порядка нету, народ только мают.

– Что ж ты удрал от такой хорошей жизни? – шутят над ним солдаты. – Служил бы немецкому царю. Вот дуралей!

Он глаза таращит:

– Да как же это можно? Чать я семейный. Баба у меня в деревне, ребятишки, надел на три души имею. Какой это порядок, если каждый мужик будет самовольно переходить из одного государства в другое? Они, немцы, – сюды, а мы – туды. Все перепутается, за десять лет не разберешь.

Подождав, пока прапорщики отсмеются, Шелобалин продолжил:

– Тут вскоре народу была дадена слобода, и начался бардак. Этот Убейконь Алексей после плена определился в мои денщики, даже и не помню сейчас, как это у него вышло. Очень он своим положением был доволен, но тут 11-я рота постановляет отобрать у своих офицеров денщиков, мотивируя это тем, что солдат – звание гордое и холуем он быть не может. Денщики, конечно, стали упираться. Погрозили им лишить пайка, жалования и всякими другими мерами воздействия. Васька ротного сдрейфил, ушел, прапорщика Пузырева денщик тоже. А мой Алеха уперся. И вот приходит к нему депутация – так, мол, и так, пожалуйста, стрелок Убейконь, во взвод, винтовочку в руки, дневальство и прочие удовольствия.

Уперся мой Алеха. «Свободный, говорит, я гражданин, как хочу, так и живу». А те ему постановление в нос. Он опять нет. Тогда взяла эта самая депутация его на руки и торжественно понесла в первый взвод. Он ничего, не брыкается, а только ругательски ругается. Вся рота собралась, хохот кругом, в общем развлечение – первый сорт.

Спустили его на землю, он еще разок выругался и прямым трактом к себе обратно. Заготовала рота и опять за ним, опять принесли уж чуть ли не всей ротой, а он опять домой. Плюнули и отступились. Вот что значит свободная личность, – закончил свой рассказ поручик и взглянул на часы. – И где действительно этот Митрохин, уж раза три должен был обернуться! – он потянулся на стуле, достал из портсигара новую папироску:

– Да, – промолвил свозь клуб дыма. – Сейчас смешно, а было-то не до смеха. Война, господа, вообще очень невеселое дело. Знаете стишок, прапорщик, про сегодня и завтра? – повернулся он к Будкееву.

– Нет.

– Вот послушайте:

Сегодня я пил шампанское, встречая Новый год...

А завтра меня, быть может, убьют!..

Сегодня я выиграл две тысячи рублей...

А завтра меня, быть может, убьют...

Сегодня мне отдалась сестра милосердия...

А завтра меня, быть может, убьют...

– Нравится?

– Не очень, – скривился Будкеев.

– Что поделаешь, такова действительность. Потому можете себя поздравить с тем, что находитесь здесь, в тихом, хоть и очень скучном месте, а не на фронте.

– Тихом и спокойном, – пробурчал Радыгин. – Это как в вашем стишке – сегодня. А завтра? Вы слышали, господа, о Новоселове? Этот анархист из бывших фронтовиков, ефрейтор, кажется, сколотил крупную шайку и успевает орудовать и в Кузбассе, и у соседей, в Алтайской губернии.

– У них там сейчас свой Новоселов имеется, – заметил поручик, – некто Рогов. Личность такая, что о нем даже газеты пишут. Но что газеты, – он снял висящую на спинке стула полевую сумку, вынул из нее несколько листов. – Недавно, как вам известно, побывал я в Барнауле у товарища и хочу с вами поделиться, – Шелобанов перебрал бумаги, остановился на одной. – Вот. По знакомству получил возможность взять копию донесения управляющего Алтайской губернией в департамент милиции министерства внутренних дел. Почти свежая бумажка, за 30 июля. Думаю, что особого секрета здесь нет, добывал я ее не шпионским образом, от одного из составителей, так что слушайте:

«Из донесения управляющего Алтайской губернией в департамент милиции министерства внутренних дел правительства Колчака о начале восстания в Причумышье и мерах по его подавлению. 30 июля 1919 года.

Сообщаю Вашему превосходительству, что расследованием событий, имевших место в Мариинской волости Барнаульского уезда, в феврале месяце с.г., установлено следующее:

Крестьянин села Жуланихи Мариинской волости Георгий Рогов, бывший сиделец винной лавки, был близок к Барнаульскому Совдепу и сумел воспользоваться тем обстоятельством, что после восстановления законной власти в уезде, на местах не было органа, наблюдающего за действиями волостных управ, и что Мариинская волость, расположенная на краю тайги в 140 верстах от Барнаула, ускользала от наблюдения управления уездом, Рогов уверил население, что земское самоуправление – одно и то же, что Совдеп, и что недалек тот час, когда советская власть будет полностью опять восстановлена. Пропаганда Рогова безусловно имела успех в Мариинской волости, т.к. население, видя безнаказанность его, уверилось в том, что советские деятели могут вернуться к власти. Сознывая, что правительство может обратить внимание на его пропаганду, Рогов умело стал вербовать себе сообщников между преступным элементом населения окружающих сел».

Поручик прервал чтение, внимательно посмотрел на офицеров:

– А Жуланиха эта, господа, если кто не знает, расположена по отношению к нам куда ближе, чем к Барнаулу, всего-то полсотни верст с небольшим, два хороших перехода. Подумайте, к чему это я. Однако продолжу:

«Результатами агитации Рогова явилось то, что многие молодые люди, подлежащие призыву на военную службу, совершенно не явились, а некоторые из явившихся дезертировали из воинских частей даже с казенным оружием и присоединились к шайке Рогова; население Мариинской волости не только не выдает их, но всячески скрывает, боясь мести со стороны Рогова и его соучастников. Во главе шайки, кроме Рогова, стоят: дезертир, сын жуланихинского ямщика Никита Соколов и дезертир Федор Шмырев. Численность шайки точному учету не поддается, но, очевидно, в ней не менее 200 человек.

Шайкой Рогова совершены следующие преступления: покушение на ограбление Мариинской волостной земской управы, неудавшееся потому, что член управы, ночевавший там, под выстрелами разбойников убежал, и они не могли вскрыть несгораемый шкаф. Ограбление на земской квартире десятника Барнаульской уездной земской управы Багаева. Убийство и ограбление в дер. Мишиха семьи Шкаринковых, где грабители взяли 30000 руб. Убийство милиционера Дяденькина и объездчика Жданова и масса вымогательств денег у зажиточных мужиков под угрозой убийства.

Рогов, являясь безусловно инициатором перечисленных грабежей и убийств, в совершении их сам не участвовал, что дает повод предполагать, что план его был поставить всех членов шайки в необходимость в дальнейшем бороться против правительства, дабы не подвергнуть себя заслуженной каре. Щедро награждая своих сообщников воинскими чинами, Рогов создавал из них свой штаб для будущего выступления, вербуя рядовых бойцов за советскую власть...».

Далее говорится о том, что в село был направлен отряд для наведения порядка, но захватить главарей им не удалось, ушли в чернь-тайгу. Население им в большинстве своем сочувствует и как может помогает, потому изловить их крайне тяжело. Деятельность свою Рогов этот и его разбойнички, конечно, не прекратили и не прекратят, они теперь во вкус вошли. Тем более, что в этой же бумаге говорится. – Поручик пробежал глазами по листку, остановился на нужном месте: – Вот. «...После этого начались аресты самих разбойников и их родственников, укрывавших их и так или иначе замешанных в делах шайки.

Для того чтобы воочию показать на месте, чем караются такие преступления, какие были в Жуланыхе, капитан Бухалов, согласно приказаний моих и уполномоченного командующего войсками округа по Барнаульскому району, решил предать главарей шайки военно-полевому суду на месте, для чего начальником милиции 2-го района Якубовским было произведено быстрым темпом дознание, с достаточной полнотой выяснившее виновность главарей шайки Шмырева, Соколова, Олимтева, Печенкина и Самошкина»... Которых, конечно же, шлепнули и тем самым дорожку назад Рогову и его сотоварищам закрыли. Теперь это волки, и резать скотинку, а при случае и охотников, они будут до тех пор, пока их в капкан не поймают или не пристрелят...

Поручик немного помолчал, потом, словно что-то прикидывая, пошевелил задумчиво пальцами перед носом:

– Да-а. Два, максимум три перехода, не больше, – с неожиданным, чуть ли не радостным оживлением заявил он.

– Ну-ну. Не пугайте, господин поручик, – поморщился Радыгин. – Что нам, собственно, бояться этого сброда? У нас шестьдесят солдат, два пулемета. Раскатаем босяков под метелочку.

– У нас пока шестьдесят солдат, – назидательно поднял палец Шелобанов. – Во что они превратятся после первого выстрела противника – уверенно сказать, конечно, нельзя, но предположить можно. Сначала в стадо баранов,

а потом в зверье, готовое резать своих же командиров. Вы этого, господа, по счастью вашему, не видели еще, а вот я навидался достаточно. Вот если б им за баб своих или, хлеще того – за пашни пришлось бы воевать – тогда да. А наше дело для них того не стоит, чтоб за него голову в пекло совать. Думаю, что и большевистское точно так же. Желающие безоружных пострелять, уверен, найдутся, а воевать по-настоящему... Сильно сомневаюсь.

Так что, господа офицеры, как говорится, коней не расседлывать, спать вполглаза. Так-то оно надежнее будет.

* * *

В казарме пулеметным расчетам «максима» и «гочкиса» были выделены отдельные комнатки по углам второго этажа здания, и жили они и посвободнее, и повольнее других солдат. Офицеры отличали пулеметчиков, поглядывая на них с большим уважением, чем на прочую серую скотинку, как-никак это были специалисты, обеспечивающие подразделению его главную огневую мощь. Итог боя, а вместе с тем и судьбу одной из противоборствующих сторон в то время очень часто решал именно пулемет – отсюда рождалось и особое отношение к тем, кто его обслуживал.

Степан Филатьев лежал на нарах и тщетно пытался сбить плевками с табурета винтовочную гильзу. После очередной безуспешной попытки он с хрустом потянулся, почесал крепко под мышками и еще раз плюнул. В этот раз на пол.

– Эх, живем, как святые. Вшей давим да бога славим. Где ж этот чертов Васька? За смертью его посылать. Эдак-то и на слюну изойдешь, пока его самосидки дождешься.

– Вот он я, – словно в ответ на его вопрос появился в дверном проеме Вася Митрохин в сбитой на затылок запыленной фуражке и искрами испуга в черных хитроватых глазах. – Щас самосидку да сало носил офицерам, так вполуха разговор их, того, услышал. Так, знаете что...

– Ухи-то у тебя для таких делов как раз подходящие, – с усмешкой перебил его Филатьев. – В такие лопухи,

коль нужда будет, можно воду дождевую собирать, если тебя, допустим, на бок положить.

Васька покраснел, сорвал с головы фуражку, закинул ее на свои нары и плюхнулся следом сам.

– Да ну вас, – пробубнил обиженно. – Ничего рассказывать не буду. Попросите еще небось.

– Нужен ты, – опять усмехнулся Степан. – Сам минутки не вытянешь, вот как тот пулемет затрещишь. Скажи лучше, офицерам-то ты самосидку отнес, а наша где? Кто тут кочетом скакал – у меня, мол, день ангела, товарищей своих не забуду, поднесу и выпить, и закусить. Слово было? Было. Давай теперь делом отвечай.

– И дело будет, – уселся на нарах не умевший копить обиды Васька. Да и Степана он немало побаивался, а потому долго показывать ему свою гордость не хотел. – Я целую четверть расстарался добыл. Ну и закуска само собой имеется. Сальцо, огурчики, хлебушек опять же.

– Это откуда? – удивился Егор, посмотрев на парнишку с немалым уважением. Поощрительно покашлял и Степан.

– А так вот, – довольно подбоченился Митрохин. – Купил, пока хозяева отвернулись. Тут недалеко припрятал, попозже принесу.

– Ладно, – согласился Степан, – только сильно не тяни, мне что-то шибко выпить сегодня охота. Маятно на душе. Бабу с малыми во сне видел. На германской не снились, а тут на тебе. С чего б оно... – Лицо пулеметчика расплылось в грустной улыбке, он задумчиво поскреб ногтями шею, вздохнул и почти тут же превратился в обычного Степана Филатьева, человека жесткого и к сантиментам не расположенного. – Давай рассказывай, чего там офицерья языками трепали.

– Про анархистов каких-то, что по соседству озоруют, – Васька посмотрел на обгрызенный до мяса ноготь и вздохнул, почвы для излюбленного занятия практически не осталось. – Купцов щиплют, лесничих бьют, до милиции и то вроде добираются.

– Анархисты, – презрительно протянул Филатьев. – Это кто ж такие, а?

– Партия такая, – вступил в разговор Нефедов, – у нас был один из таковских на позициях. Говорил, что какая власть ни будь, все равно плохой окажется, потому как она несет насилие народу. Надо жить без всякой власти, всяк сам по себе и делай что хочешь.

– Оно и видать, что они так живут, – хохотнул Филатьев. – Захотели – купчишку под ножик, попа за бороду, бабу на сеновал. Чего так-то не жить! Так-то и без власти можно. Эх-ма, – со злостью протянул он и принялся ладить самокрутку. – Коль жизнь свою как копейку на ребро поставил, лиходеем стал, нечего в петрушкин кафтан обряжаться, пыль людям в глаза пускать. Защитники народные, мля, за свободу борцы. За жратву жирную да само сидку они борцы. Сла-а-бода. Разбойник – так и говори, что разбойник. Кого в наших краях этим подивишь. Их тут во все времена хватало.

Степан уселся на нары, принялся ладить самокрутку. Изладив, с видимым удовольствием закурил и, выпустив тонкую струйку дыма, продолжил:

– Вот был, скажем, такой Криволуцкий. Удалой, бесстрашный, молва шла – свинец его не берет. Закуют – ногой тряхнет – кандалы долой. Конь у него, Мухторка, в попоне ходил из поповской ризы. Не конь, искра. Раз шагнет – и за Алеем. Криволуцкий этот уже немолодой был, седой совсем. Его в наших краях отцом звали. Везде ему наварено, напечено. Отец. Бедных не трогал, нет. А богатым: «Отворяй ящик» – и все. Деньги не копил, больше бедным раздавал. Ему грабеж так, он силу выказывал. – Филатьев с сожалением посмотрел на искуренную почти до самых пальцев сигарку, но, увлеченный собственным рассказом, ладить новую не спешил.

– Чудил он бывало, не каждый обрадуется. Раз ходит в дом. Хозяин с хозяйкой за столом сидят. Криволуцкий говорит:

– Ну, Авдотья, собирайся. Поедем.

Она мужа бросила и за ним. Хозяин слова не сказал, из-за стола не вышел.

А то поехал он раз в Покровку – покровские-то

горшки делали, на базаре продавали. На разломе попадаете ему мужик с горшками. Полный воз горшков.

– Выставляй горшки. Бей их палкой!

– Да ты что, батюшка?!

– Бей! В деревне скажешь – Криволицкий велел!

И дает мужику за разбитые горшки сто рублей.

А они и все-то пятерку не стоили. Тоже, вишь, себя показывал, куражился. Да-а. Своей смертью и помер, поймать не могли. А еще говорили, будто старый солдат застрелил его медной пуговкой. – Степан зевнул, вопросительно посмотрел на мечтательно закатившего глаза Ваську:

– Ты чего здесь-то еще, а?

– Да погоди ты, Степан, куда спешить? Времени у нас как вошек, хоть занимай кому. Расскажи еще про разбойников. Ну хоть одну сказку, и я сразу живой ногой за самосидкой. Скажи, больно уж у тебя складно выходит.

Филатьев довольно улыбнулся, пошарил ладонью в пышной шевелюре, припоминая что-то, потом милостиво махнул рукой:

– Ладно. Только сразу беги, как расскажу. А то осерчаю. Ну слушайте, что ли. В Гурьевском заводе был такой Сорока – разбойник. Тот с шестом прыгал, с костылем. Вот была на него облава, взяли Сороку в кольцо. Он в дупло заскочил, повесился вниз головой. Три дня висел в дупле, так и не нашли. Потом вылез, туды глядит, сюды глядит – нет никого. Уперся шестиком и в завод запрыгнул. Сестра здесь жила, так он прямо на крышу ей прыгнул. Положил на трубу деньги, камешком придавил. Утром она пошла по воду, смотрит – на трубе деньги лежат. Обрадовалась, понятное дело. – Степан с хрустом потянулся, рывком уселся на нарах. Почесал рукой крепкую грудь в вырезе гимнастерки, вновь зевнул:

– В старину, кто шибко прыгал, про того говорили: «Вот, однако, Сорока будет». А ежели мальчишка бойкий, вроде как наш Васька, то сорочонок. Слышал ай нет, сорочонок?

– А чем он кончил-то, поймали или как? – живо заинтересовался тот.

– Да чем разбойнички кончают? Дело известное. Убил его Кадилов Михайла. Сорока возьмет у казны и везет Кадилову-пасечнику прятать. Он его медовухой поил. Напоил шибко, убил сонного, камни привязал к ногам и шее, спустил в прорубь. Сорока для бедных, говорят, копил, а все Кадилову досталось. Еще больше разбогател, стал жеребцов вороных держать, по тысяче пудов меду возил с пасеки в Томск – ямщиков нанимал. А бедным не досталось, – весело закончил свой рассказ Степан и уже с нешуточной свирепостью взглянул на Василия. Тот с печальным вздохом поднялся с нар, нахлобучил на голову фуражку:

– И все-то у тебя плохо кончается, хоть бы раз присочинил чего – дескать, женился Сорока на красавице, уехал за сине море.

– Как в жизни есть, так и кончается, – усмехнулся Филатьев. – Топай давай.

Васька загремел сапогами по ступенькам.

В ожидании посланца долго молча курили, думая каждый о своем. Потом Егор перевернулся со спины на бок, изучающе, словно в первый раз видел, посмотрел на первого номера «гочкиса»:

– Слушай, Степан, – после продолжительной паузы наконец спросил он. – А вот придут анархисты те самые, будешь с ними воевать?

– Так раз оружие есть, чего б и не повоевать? – не удивился такому вопросу словно ожидавший его Степан. – Я к этому делу уже приохотился. Да и спесь с них сбить хорошо было б, тоже разбойнички нашлись.

– Так ведь они такие ж мужики, как и мы с тобой. Чего нам с ними воевать, жизнь свою за господ на карту ставить?

– А я, может, сам из мужиков в господу хочу выйти, чтоб не мне, а я в зубы мог дать, когда пожелаю, – ровно ответил Степан, не поворачивая лица к Нефедову. – По нынешним временам офицерские погоны выслужить – дело очень возможное, была б охотка. И пока заваруха, в свое удовольствие можно пожить и на мягких перинах спать.

Капиталов у меня никаких, заводов-дворцов нету, только винтовкой и могу себе сладкую жизнь добыть. А то с чего б я в добровольцы пошел...

– Ну, а коль большевики верх возьмут?

– Тоже беды большой не будет, – опять не задержался с ответом пулеметчик. – Это благородным прятаться потребуется, а я везде своим буду. Да и власть ихняя без душегубов тоже не обойдется. Со мной-то все понятно, – он приподнялся на локте и наконец-то внимательно посмотрел Егору в лицо. – А вот о тебе, Егор Нефедов, я что-то никак не пойму. Ты-то чего сам в армию пошел? Тебе по всему не здесь место.

– Да кто его знает, где мне место... – непритворно вздохнул ефрейтор. – Я и сам пока про то не ведаю. Вот ты, если б довелось, чего бы выбрал на жительство – тюрьму или казарму?

– В казарме получше, опять же место привычное.

– Ну вот и я так решил.

– А сбечь отсюда не надумал еще? – в упор, словно наган к груди приставил, спросил Филатьев.

– Нет, – спокойно ответил Егор, – некуда и незачем.

– И то хорошо.

Степан без фуражки, в одной нательной рубашке цепко держал короткопалой рукой за погон своего главного безропотного слушателя Ваську Митрохина, отдельно и зло выдавливая из себя тяжелые слова:

– Делай добро, сторицей вернется. Брехня. Ни хрена не вернется. Делал раньше по дурости, когда душа помягче была – шиш чего в ответ получил. Вся жизнь обман. Все врут, каждый себе выгадывает. Попы врут, господа врут, купцы врут, большаки эти, эсеры, анархисты тоже врут. Для народа. Как же. Пыль только пустить в глаза, до верхушки добраться, а там тоже под себя грести будут. Таков уж он, человек, есть. К себе только может грести. От себя грабарки не работают.

Васька, пьяно покачиваясь, расплескивал из стакана самогонку, пытался заваливаться набок, но твердая,

как оглобля, рука пулеметчика надежно удерживала его в прежнем положении. Егор, имевший привычку при крепкой выпивке хорошо закусывать, жевал хлеб с салом.

– Попы про царствие небесное гундосят, – продолжал Филатьев. – Как у господина на небушке хорошо да сладко будет тем, кто уверовал да не грешил, а сами смерти боятся. Чего б им-то бояться, они ж праведники? А того, что не верят они ни в какое божье царство и в боженку тоже, тут пожить хотят. Не верят, а людям про него врут, чтоб те деньги им несли, грехи свои откупали. Божьей милостью торгуют, а кто того Бога видел? Вот и выходит чистый обман, похлеще чем у купцов. Те хоть рванину вместо новины всучивают, а эти и без того обходятся. Всяк только о себе и печется, а найдется, кто о других по-думает – в глаза похвалят, а за глаза дураком нарекут.

Степан крепко стукнул свободной рукой по столу. Отпустил митрохинский погон, отчего Васька кулем повалился на нары, блаженно при этом улыбнувшись. Филатьев потянулся теперь к погону ефрейтора, но мазнул ладонью мимо, поскольку в последний момент нужного объекта на месте не оказалось. Пулеметчик уважительно взглянул на Нефедова, потянулся рукой к изрядно опустевшей бутылке:

– Думал я поначалу, у благородных по-другому. – Он наполнил стаканы, взял свой в правую руку, а левой схватил из большой глиняной миски изрядный ком квашеной капусты. Капая рассолом на английское сукно, выпил самогон, принялся усердно шевелить челюстями. – В пятнадцатом году ехал я в лошадином красном вагоне на фронт. Тридцать лет уже охламону было, а туда ж, мечтал, как геройствовать буду за Отечество, крестов мне навесят. Сестра милосердная, красавица девка, какую на картинке видел, перевяжет, коль ранят, а там...

Егор усмехнулся.

– Во-во, – Степан вытер мокрый рот ладонью, откинулся спиной к стене. – Ты, видать, тогда про то же самое думал. Медсестер, само собой, в траншеях не оказалось, и когда ранило меня впервой, обмотал я свою разбитую

ступню чем попало да и пополз назад. Думал только, чтоб другая пуля не догнала. А в дивизионном лазарете и сестричек увидел – сытых, в белом, у каждой полна пазуха... Как раз в этот день случилась в лазарете «история», отравилась одна сестра. Говорили, будто обесчестил ее офицер и наградил нехорошей болезнью. У господ это «сестрит» называлось. Вечером фельдшер нам в палате рассказывал:

– С жиру бесятся, ну и с тоски которые. Заскучаешь тоже: то пьянка с чиновниками и офицерами, то с врачами. Сначала одно вино, потом и кокаин, морфий. Если которая книг и журналов начитавшись, приедет сюда за «подвигом», то замутит ее скоро от грязи, на новенькую все кидаются. А станет чуждаться – заключают. Ну, сбежит или покатится вниз. Эта вот и скатилась.

Шлюхи все больше на фронт тянутся, интендантам, офицерам карманы вытряхивают, в казну руки запускают. С тех пор я больше об ангелах-сестричках, спасающих на поле брани героев-солдатиков, не мечтал. Бабы – злое семя. И благородные, и наши деревенские не лучше. Слышал я историю про то, как мужику на германской руки-ноги оторвало. Привезли из лазарета обрубок этот к его бабе, а она его на тележку и к дому воинского начальника. Вывалила муженька на дорогу и кричит: «Целого мужика брали, целого и вертайте, а такого не надобно!».

Васька заворочался на своих нарах, потом сел и, отерев ладонью лицо, стал пить из чашки капустный рассол. Напившись, с пьяной печалью посмотрел на Филатьева:

– Знаешь, Степан, тебя послушать, так только удавиться человеку остается. Аж душа у меня от твоих слов зашла, будто снегу в нее сыпанули. Как же без Бога жить, без радости? На кой она, жизнь такая? Мало ли чего тяжело, много Христос терпел и нам велел.

– Ты Христа сюда не плети, – раскрасневшийся Степан побагровел еще больше. – Он, коль был, для души порядка по земле ходил. Наше дело не небесное, на нас грехи как вши сидят. Коль силенка есть – другого удавить, если на пути встанет. Вот это да. Один закон – другого нету. Остальное все для красного словца, народ дурить.

На кой та церковь с Христом твоим – вот на это самое. В пятнадцатом году между Гродно и Липском, только на позиции нас привезли, видал я Алексеевский наследника цесаревича пехотный полк, – пулеметчик налил себе в стакан самогону, залпом выпил, поперхнувшись крепчайшим первачом, закашлялся. – Весь он до последнего солдата лежал на поле, – продолжал он сквозь выступившие на глазах слезы. – Вещевые мешки зеленые, какие им перед наступлением выдали, как кочки на болоте. Куда ни погляди – одно болото кругом. Вот я тогда впервой и подумал: а есть он, раз такое делать дозволяется? Если есть, чего ж дозволяет, не накажет, не сожжет в пепел всех царей да генералов и наших, и ихних. А раз нету его, значит и жалеть никого нечего, и думать надо о себе только, пока живой.

– Эдак-то все друг друга передушат, а последний, кому выпадет, точно с тоски удавится, – неожиданно усмехнулся Егор и потянулся за четвертью: – Скучно ему будет одному-то, а, Степан?

– Да ну тебя, – устало отмахнулся тот. – Сам-то не одну душу на небо отправил, а тоже... Наливай, что ли, всем да запевай. А то точно заскучаем. Давно уж тебя не слушали.

*Во густых хлебах яма черная,
Во сырой земле гробова доска...
За бугром лежу, да за насыпью.
Эх ты лютая невтерпеж тоска...*

– тихо, без надрыва в голосе затянул Нефедов.

*Уж как первая моя думушка –
Ты чужа земля, австрияцкая,*

– поддержал его Степан.

*Во густых лесах, во глубоком рву
Ты черна земля-яма братская.*

*Тяжче грому бьют пушки медные...
Во глубоком рву ясны оченьки,
А вторая, ох, дума-думушка –
Ты развеи тоску, темна ноченька.*

Не знающий слов Васька только мычал, заливаясь пьяными слезами.

*Градом-тучею пули стелются
По-над кручею над карпатскою.
Не сказать вовек, не поведаю
Третью думушку я солдатскую.*

*Во глубоком рву наточу я штык,
Во глухи леса уйду-скроюся
Да тому ль дружку-штыку вострому
Я спокаюся и откроюся!..*

Когда песня закончилась, Степан поднялся со своего места, не снимая сапог и ремня, рухнул на нары, отвернулся лицом к стене.

* * *

В чуткой предрассветной тишине долго спорили, бубнили приглушенными голосами, над которыми нет-нет взлетала неудержимая звонкая матерщина. Вопрос был далеко не пустяшным – кому оставаться с лошадьми в кустах, а кому идти на штурм казармы. Наконец в спор властно вмешался Рогов, и все разрешилось. Коноводы, облегченно вздохнув, улеглись обратно в высокую траву, остальные, рассыпавшись в жиденькую цепь, двинулись навстречу опасности.

Денис Поташов шел слегка пригнувшись, напряженно вглядываясь в предрассветную темноту. Глухо стучало сердце, каждый кустик казался замаскированным вражеским пулеметом. Резанет – и все. Услышав сбобку шорох, Денис, словно заяц, с места прыгнул в сторону, вскинул винтовку.

– Тихо ты, – испуганно прошелестел знакомый голос односельчанина, – не пальни сдуру.

Поташов облегченно вздохнул:

– Чего тебе, Михаил?

– Не слышишь, в селе шум какой-то, вроде как «ура» кричат. Не на нас ли выступать собираются, а?

Денис прислушался и невольно расплылся в улыбке, он вообще был легким на смех:

– Поют там, Миша, загуляли небось.

– Вот сволочи, – ругнулся тот и, взявшись за живот, глухо замычал: – Обожрался, понимаешь, с голодухи меду на пасеке. Брюхо пучит, спасу нет. Добро на волю просится.

– Пускай в неволе покуда посидит, – вновь прыснул беззвучным смехом Денис, – после дела облегчишься.

– Хорошо тебе...

– Тихо, – оборвал его Поташов и даже рот ладошкой соседу прикрыл, – едут.

Впереди послышались голоса. По извилистой тропинке, вяло переругиваясь между собой, ехали верхами трое колчаковцев. Обрывая спор, один из них пьяно затынул песню, двое других подтянули. Вскоре негромкий стук копыт и неровные голоса песенников размыла, а затем и вовсе заглушила темнота.

Партизаны двинулись дальше, но вскоре наткнулись на новое препятствие. У стоявших на окраине Салаира казенных амбаров, не обращая никакого внимания на уже различимую в предрассветном мареве партизанскую цепь, ходил маленький старичок сторож с такой же, как и сам, маленькой облезлой собачкой. Он деловито стучал в свою колотушку, абсолютно не интересуясь окружающей действительностью, и точно так же вела себя его собачка. Она даже не твякнула, когда подошедший к старичку сзади Поташов взял его руками за ватные плечи, завел в стоящую неподалеку сторожевую будку и, поставив словно куклу носом к стене, предупредил:

– Стой тихо, дед, а то худо будет.

Это происшествие и вовсе развеселило Дениса, к зданию школы, где ночевали солдаты салаирского гарни-

зона, он подходил почти без страха. Осторожно пробираясь вдоль заборов, роговцы приблизились к врагу практически вплотную. В одном из окон, очевидно, на столе дневального ярко горела керосиновая лампа. Во дворах с нарастающей силой принялись брехать разбуженные незваными гостями собаки, послышался какой-то шум и внутри самой школы.

«Сейчас начнется, – мелькнуло в голове у Дениса, – не дай в трату, Господи...».

– Вперед! – зычно заорал у самой стены Иван Дрожжин и тут же метнул в окно казармы одну из двух имевшихся у партизан гранат. Следом полетела вторая. Внутри здания глухо охнул взрыв, стукнуло несколько выстрелов, но они не остановили самых смелых из партизан. Выламываемые рамы, ударили в окна приклады, Денис вскинул винтовку и, быстро работая затвором, выпустил в темноту помещения все пять патронов обоймы.

– Не стреляйте, сдаемся! – заметались внутри школы рвущиеся от ужаса голоса. – Сдаемся!

Поташов облегченно вздохнул и тут же присел, осыпанный свалившимися ему на голову и плечи осколками стекла, отшатнулся от стены. Подняв голову, увидел четко различимый на фоне посветлевшего неба пулеметный ствол и содрогнулся от сдавившей живот и грудь острой спазматической боли. Замычал, глуша ее и страх, поднял с натугой пудово оттягивающую руки винтовку. Но стрелять ему было уже нечем...

* * *

Пол второго этажа толкнуло снизу ударом взрыва. Нефедов свалился с нар и оказался по соседству с запутавшимся в шинели, истошно вопившим Васькой. Разлохмаченный, с мятым от пьяного сна лицом метнулся с постели Филатьев. Бросился рывком к окну, охнул глухо и сразу будто повеселел:

– Ах, вот вы как. Ну сейчас.

Он подскочил к стоящему в углу комнаты «гочкису», ухватив за треногу, и легко оторвав от пола полудо-

рапудовый пулемет, в два прыжка вернулся с ним к окну. Осыпав стекло, высунулось наружу осиное жало ствола, двинулось из стороны в сторону, словно выбирая первую жертву. Замерло.

– Пулемет! – истошно заорали под окнами. – Хана нам!

Мужики инстинктивно шарахнулись от стен, подставляя себя под смертельный огонь.

– Ленту! – припадочно сипел Степан. – Ленту давай!

Егор, двигаясь словно во сне, с пулеметной лентой в руках присел около Филатьева. Взглянул в окно и увидел перекошенное злостью и страхом лицо молодого, светлородого парня, бессмысленно щелкающего затвором разряженной винтовки. Рядом с ним толпились другие, похожие на черnodольских знакомцев Егора, мужики. Нефедову показалось, что он даже запах их пота и махорки чувствует. Рядом таким же потом и махоркой дышал Филатьев.

– Ленту! – опять злобно просипел он, и сомнений у Нефедова больше не осталось. Он схватил со стола четверть с остатками самогона и с маху опустил ее на голову Степана. Тот ткнулся головой в замок «гочкиса», стал медленно сползать вниз, глухо ударился всем телом о доски пола.

* * *

Рогов снял с головы старую соломенную шляпу, шумно вздохнув, отер платком вспотевшую лысину. Посмотрел довольно по сторонам. Из здания школы, большинство в одном нижнем белье, выходили дрожащие от утреннего холода и страха колчаковские солдаты. Егор с Васькой появились последними, держа под руки с трудом переставляющего ноги Степана Филатьева. Голова у пулеметчика была черной от сочившейся крови, глаза замутились, но все же шел он сам, ступая с каждым шагом все крепче.

– Это ж чем его так? – поинтересовался кривоногий, невысокого роста партизан с мутными, будто пленкой

прикрытыми глазами, носивший странную кличку Тим-Фрол. – Пулей, что ли?

– Нет. Бутылкой, – быстро ответил Васька. – Степан стрелнуть в вас хотел с пулемета, а Егор, – он мотнул головой в сторону Нефедова, – его бутылкой.

– Смотри ты, какой герой, спаситель наш, – насмешливо протянул кривоногий, окинув ефрейтора цепким взглядом. – Ну что, раз дело начал, надо его и кончить. На, – протянул он Нефедову тяжелую самодельную саблю, – смарай его.

– Как это? – спросил еще не пришедший в себя после пережитого Егор.

– Как-как? – коротко хохотнул Тим-Фрол. – Тяпни по башке ему, да и вся недолга.

– Нет, – ни секунды не раздумывая сказал Егор. – Не буду.

– Это чего ж так? – еще «веселее» поинтересовался партизан, помахивая перед собой грубо кованной металлической полосой, более похожей на железную дубинку, чем на саблю.

– Я не кат, – стараясь не смотреть ему в глаза, ответил Егор и закашлялся, стараясь протолкнуть внутрь себя плотно застрявший в горле комок.

– А кто ж ты?

– Солдат.

– Геро-о-й, – уже с нескрываемой злобой и презрением процедил мутноглазый. – Что ж, твое дело. Не хочешь ты его, я тебя смараю. – Он отступил на шаг назад, примерился...

– А ну стой, Фрол, – послышался сзади ровный голос Рогова. – Чего раздухарился, мало уже народу на тот свет отправил?

Тим-Фрол шумно дыша, опустил свое страшное оружие.

– Ты, значит, его? – взглянул партизанский вожак на Нефедова.

Тот молча кивнул.

– Чего ж ты своего-то?

Нефедов молчал.

– Ладно, потом разберемся, – махнул рукой Рогов и перевел взгляд на Филатьева, – отпустите его.

Егор с Васькой отошли в сторону.

– Ну что ж, милоч, с тобой делать, а? – спросил партизанский вожак у пулеметчика так, будто с братом родным или дружкой закадычным о чем-то сговаривался. Договорятся – хорошо, нет – каждому своя дорожка.

– Ваше дело, – глухо ответил Филатьев. Он еще покачивался, но все же стоял на ногах уже довольно крепко.

– Может, к нам пойдешь?

– Совладали, так что ж, – глухо, не поднимая головы, ответил пулеметчик, – возьмешь – пойдю.

– А если домой отпущу, пахать опять будешь?

– Нет, – после недолгого молчания сказал Степан, – плуг больше не по мне. Теперь тот только человек, у кого винтовка. Остальные под ним ходят.

– Может, возьмем его, Гриша? – неожиданно вступился за Филатьева Тим-Фрол. – Вишь, смелый какой, да злой, выдать. Таковский-то лишним не будет.

Рогов молчал, словно вспоминал что-то.

– Возьмите меня, – выступил вперед Васька, – я ж тут только чтоб от фронта укрыться, на что мне эти господа. Я уж лучше с вами.

– Давай возьмем, Григорий, – подошел сбоку Анатолий. – Молодой совсем парнишка, поймет за кем правда, и мы поможем.

– Возьмем, – согласился Рогов, – и этого вот тоже, – кивнул он на Егора. – Этот точно не подведет. Кто с нами – оставайтесь! – крикнул он, повернувшись к группе недавних колчаковцев. – Остальные можете идти по домам. Нам ваши жизни не нужны.

– А с этим как? – Фрол указал саблей на Степана.

– Этого смарать, – равнодушно бросил Григорий, – у нас своих душегубов хватает. Он повернулся к Анатолию и взял его за рукав. – Давай отойдем, Ивана с Денисом надо кликнуть, посоветоваться, как дальше действовать.

Тим-Фрол шагнул к стоявшему неподвижно Степану и, звучно хыкнув, с маху ударил его саблей по голове. Тот упал на колени, сунувшись лицом в пыль, глухо замычал. Опираясь на подламывающиеся руки, попытался подняться. Палач, по-волчьи оскалась, ударил его еще и еще. Вытер саблю о гимнастерку убитого, отошел в сторону и, нарвав пучок травы, принялся очищать забрызганные кровью сапоги.

Вокруг царили шум и суматоха. Партизаны надевали поверх изношенных, оборванных в тайге одежек новенькие английские кители и шинели, свысока поглядывая на их недавних хозяев, сгрудившихся в углу двора в боязливую кучку. Тащили из зияющего выломанными окнами здания патронные ящики и охапки винтовок, на ходу распахивая по карманам маслянистые обоймы. Оживленно переговаривались друг с другом, обсуждая подробности бескровного для них сражения.

К Рогову и другим командирам подбежал, широко улыбаясь, Елизар Мосолов. В руке два ремня с кобурами наганов, под мышкой кожаная куртка, на голове новенькая офицерская фуражка.

– Ты чего как солнышко красное сияешь, ваше благородие? – тоже улыбнулся Григорий. – Где столько добра добыл?

– Да тут недалеко, в земской избе, – задыхаясь от бега, сообщил Елизар. – Солдатик один указал, офицеры где квартируют. Мы туда, а их уж и след простыл. Так быстро пятки смазывали, что и оружие кой-какое побросали, и вещички хорошие прихватить забыли. Вот, – протянул он Рогову кожанку. – Ты ж наш атаман, должен по-атамански выглядеть. Надевай, не сомневайся, от души.

Рогов, довольно улыбаясь, надел поверх гимнастерки новенькую, плотно облегающую его коренастую фигуру куртку, по-мужицки бережно провел ладонью по мягкой коже:

– Хороша обновка, что тут скажешь. С меня, понятное дело магарыч.

– Ты ж не пьешь, Григорий Федорович, – удивился Мосолов.

– Я-то не пью, а тебя мне б с чего не угостить, верно?

– Верно, – не стал спорить Мосолов.

– А где воинство-то наше? – кинул взглядом по сторонам Григорий. – Что-то тут народу негусто.

– У церкви, считай, все, – партизан оторвал от околыша офицерской фуражки кокарду, бросил ее в пыль, а фуражку тут же нацепил на голову. – Одни купчишек местных трясут, другие царя хотят свалить.

– Так его же свалили еще в семнадцатом, – не понял юмора строгий Анатолий.

– То Николашку, а это Алексашку, – рассмеялся Елизар. – Памятник ему тут у церкви стоит. Наши у местных мужиков веревки нашли и вместе с ними сдернуть его пробуют. Только пока не выходит, крепко стоит, зараза. Пойдемте, мужики, сами поглядите.

– Эту церкву дядя мой строил, подрядчиком был, – задрал вверх голову щурился на солнце Рогов, с видимым удовольствием оглядывая красивый, как игрушка, салаирский храм. – Вот ведь не люблю попов, а церква иная загляденье просто бывает. Опять же и огневая точка хорошая, особенно если на колокольне пулемет поставить, а то и два. Тут тебе и обзор, и обстрел, полком такую не враз возьмешь. Хорошо, когда она у тебя, а как у противника? Нет, для партизан такая штука шибко вредная...

Из церкви, сияя парадной ризой и большим крестом на груди, вышел пожилой осанистый священник.

– Не дело вы задумали, православные, – взволнованно сказал он, подходя к партизанам. – Это ведь памятник царю-освободителю, который крестьянам волю от крепостного права дал. Негоже так, не по-людски это.

– Оставь свою проповедь, поп, – оборвал его на полуслове Григорий, побледнев от волнения и злобы. – Свобода и воля ваши нам известные. Навидался сам еще в пятом году, когда с японской ехал, как народ в ярмо винтовками загоняли. Не лезь, долгогривый, не в свое дело, а лучше помалкивай от худа. До офицерья с купчишками добрались, и вас, захребетников, черед подходит. Туман народу пускаете, Колчаку кровопийце в своих церквах

многая лета поете. А ну, пошел отсюда! – сатанея, бросил он. – Заступник хренов. И не пялься, меня твоим дурманом не проймешь. Пошел, ну! – правая ладонь Рогова мазнула по кобуре револьвера.

– Смарать его, батька Гришан? – возник рядом, поигрывая своей «железкой», Тим-Фрол.

– Пусть живет пока, – снял руку с кобуры Григорий. – Народ их, долгогривых, по глупости своей жалеет, не будем его забижать.

– Не шалите, ребята, – встал рядом со священником пожилой местный мужик, подошли еще десятка два салаирцев, загудели недобро. – Это ж Александр-освободитель, верно батюшка говорит. Царь не царь – дело другое, а волю народу дал, этого не отнимешь. И батюшку нашего не забижайте, ни к чему это.

– Вот как, – покачал головой Григорий, – а знаете вы, что месяц тому назад в Мироновке, верст полсотни от вашего Салаира, такой же вот святоша, – Рогов резко ткнул рукой в сторону священника, – местный поп Донорский сначала список подозрительных составил, а потом чехов позвал с колчаками? Больше сотни народу они до полусмерти перепороли, и баб тоже, а восемь мужиков расстреляли. Жен мужей лишили, детишек – отцов. Брата моего родного, Федора, – глухо добавил он, – тогда же убили. Это вот воля ваша? – в упор взглянул он на побелевшего больше, чем сам Рогов, священника. – Да вы хуже тех извергов будете, церковью закрываетесь, «не убий» поете, а убийц на их дело благословляете. Эх вы, – повернулся он к салаирским мужикам. – За кого вступаетесь? Он в своем храме Колчаку-кровопийце многая лета поет, а вы вступаетесь. Пчел не подавив, мед есть хотите. Не бывает так-то. Эх вы... – досадливо повторил он с обидой, махнув рукой. – Воюй еще за вас, праведников. Ну пусть по-вашему. Бросьте веревки, мужики! – крикнул он партизанам. – Пускай стоит истукан этот, раз народ по темноте своей требует.

– Ладно, – согласился Мосолов, выпуская из рук веревку, – только мы ему «орден» на шею на память навесим, а то у него маловато. Фрол, помоги, – повернулся он к напарнику.

Кряхтя от натуги, они выломали из кованой оградки памятника узорчатые воротца. Елизар ловко взобрался на постамент памятника и, приняв снизу тяжелые воротца, нацепил их на шею российскому самодержцу.

– Так он еще красивше будет! – крикнул он сверху в толпившийся у памятника народ. Одни засмеялись, другие стояли молча, вовсе не радуясь содеянному. Затем стали расходиться в разные стороны.

– Погодите, товарищи! – поднял руку Анатолий. – Давайте все на митинг!

* * *

После митинга, где выступили Рогов и Анатолий, и сытного обеда, которым изголодавшихся партизан накормили восхищенные и перепуганные их налетом салаирцы – открытые друзья и тайные недруги, – стали собираться домой в Жуланиху.

Роговцы ушли, а селяне остались ждать новых неминуемых гостей, в этот раз колчаковцев. С первыми их «ласточками», появившимся со стороны городка Гурьевска конным разъездом партизаны повстречались уже на выходе из Салаира. Однако теперь шедшие уже не через тайгу, а прямо по тракту партизаны и не подумали прятаться в черни. С двумя пулеметами, шестьюдесятью винтовками, с изрядным запасом патронов они ощущали себя в этих краях силой и эту силу сразу же почувствовали колчаковцы конного разъезда. После первых же выстрелов роговцев они повернули коней вспять. Партизаны устремились в погоню, но легконогие кони унесли их противников от безжалостной расправы.

Пока роговцы добрались до лежавшей на пути в Жуланиху Боровлянки, они еще два раза попадали под обстрел. У села Бирюли одетых в английские мундиры передовых всадников отряда вполне закономерно приняли за колчаковцев и обстреляли местные повстанцы. Наповал был убит барнаулец по прозвищу Рубахо. Молчаливый простой парень, настоящего имени которого не зна-

ли даже те, вместе с кем он пришел из города в тайгу. Еще один партизан, Степанов, получил пулю в руку.

В горячке роговцы бросились ловить напавших на них стрелков, а изловив, устроили над ними настоящий суд. Поначалу решили за пролитую кровь своих товарищей пойманных мужиков расстрелять, но потом, поверив их клятвам смыть позор в бою, простили и даже зачислили в отряд.

На привале к по-прежнему жавшимся в кучку молчаливым солдатам подошел молодой мужик в надетом поверх заношенной гимнастерки английском кителе. Нефедов сразу же узнал увиденного им в окне под пулеметным дулом светлородого роговца.

– Слышь, землячок, – обратился он к Егору. – Хочу угостить тебя в благодарность за спасение. Я ведь ближе всех к пулемету оказался, когда дружок твой, дышло ему в печенку, палить в нас собирался. Пойдем, опрокинем по одной по такому случаю.

– Я не против, – охотно согласился ефрейтор, – только без товарища идти неловко как-то.

– Бери с собой своего товарища, – улыбнулся Поташов. – У меня и на троих хватит. Айда, мужики, – приветливо махнул он рукой.

– Я сам из Жуланихи, – сообщил после двух Денис с таким видом, будто назвал по меньшей мере Барнаул или Новониколаевск. – Не слыхали?! Ну-у... – словоохотливый партизан только-только оправился от пережитого страха и теперь пылал желанием выговориться. – Дед мой сюда из Тульской губернии приехал давно уже, когда батя еще совсем сопляком был. Нас так в семье по дедушке и звали – Назаровы. Батя мой семерых детей наплодил, а самый умный, по всему, я получился, Денис Поташов, – гордо ткнул себя пальцем в грудь Поташов. – Один из всех сельскую школу окончил, да еще с похвальным листом. Только жаль, дальше учиться не пришлось. Другим в тягость это дело было, а мне нравилось.

Он разлил по прихваченным в салаирской казарме солдатским кружкам салаирский же самогон-первач,

чокнулся с новыми знакомыми и одним махом отправил крепчайшее зелье по назначению. Помахал ладонью у широко открытого рта, словно пытаясь загасить занявшийся внутри пожар, потянулся за табаком.

– Время терпит, – продолжил он, – а меня чего-то на разговор тянет. Так что обскажу о себе. Надо ж вам знать, с кем об руку воевать будете. Потом вас послушаю, – Денис побрякал самодельным огнивом, прикурил и, блаженно привалившись спиной к березовому стволу, продолжил: – Дальше мне учиться не пришлось. Обычное дело – сестры старшие замуж повыходили, мать наша заболела шибко, и нам с братьями, хоть все трое и малые были еще, пришлось самим в жизни пробиваться. Старший Алеха плотницкому делу обучаться стал, Вася при отце в хозяйстве работать, а я до самой солдатской службы в чужих людях жил. Вначале в работниках, потом, уже в 13-м году поступил на службу к купцу Чухрову. Там я и в поле было работал, а больше на маслозаводе. Через год перешел на другой маслозавод к купцу Ломатину. Это у нас же, в Жуланихе. Сначала молоко по дворам собирал, а когда мастера на войну мобилизовали, сам мастером стал. Хозяйство батино к тому времени поправилось, да только не надолго. Осенью в 14-м Алексея в солдаты забрили, через год Василия, следом и меня. Мы тогда уже все трое женатые были, детей имели. Без мужиков дело, понятно, опять под гору покатилось. Да не у нас одних – у всех, кто большого достатка не имел. Служил в 12-й сибирской дивизии, в 48-м стрелковом полку. Довелось на фронте умных людей повидать, самому у них побольше ума-разума набраться. Был у нас Дранишников такой, из ссылки прибыл. Когда германцы на Украину поперли, а мы там стояли, хохлы нас разоружить пробовали, так он всех призывал оружие не сдавать, чтоб нас без соли не съели, с винтовками в руках домой пробираться. Так и вышло. Аккурат в апреле 18-го вернулся я домой в Жуланиху.

– Погоди, Денис, – остановил его Нефедов, – отдохни маленько. Скажи вот, а мужик этот крепкий такой, в шляпе, он что, командир ваш? Тоже из Жуланихи?

– Григорий Федорович наш, жуланихинский, – охотно подтвердил Денис. – Рогов его фамилия. Он-то постарше меня годов на пятнадцать, но знаю его хорошо, и семью его тоже. У них изба на краю деревни стояла. Хозяйство вроде нашего – две лошади, две коровы, плуг один, жена Александра Сергеевна в его годах, Сергея Артемьевича Соколова дочь, тоже нашего жуланихинского, детишки...

– Сильный мужик, – перебил Дениса Нефедов. – Видно по нему. Вроде и злой, а вроде и нет. Сразу не поймешь.

– Бывает и злой, – помедлив сказал Поташов. – Сильный да ловкий он смолоду был, это я от многих слышал, а злым уже нынешняя жизнь да люди злые, видать, сделали. Я когда с фронта пришел, его в деревне не было, он тогда в Барнауле в земельной управе работал. Потом чех поднялся, ему и другим, с новой властью несогласным, прятаться в черни пришлось.

– Где?

– В черни. Так в наших краях тайгу называют. Их там несколько человек укрывались на старой пасеке. Лиха хлебнули, конечно. Зима, мороз, вши, а главное – голодуха. Часами напролет у лунок сидели, чтоб хоть пару рыбешек выудить да кипяток маленько замутить – вроде как ухи похлебать. Бывало, пойдет кто в чернь из родственников или дружков их будто на охоту или на рыбалку, так сразу колчакам доложат, а те уж могут остановить, посмотреть, не много ль жратвы тот несет. Если многовато для одного, могли и плетей всыпать, а то и в тюрьму отправить. Мужики в тайге, когда дошли совсем, животы к хребту подвело, послали троих в село за провиантом – Никиту Соколова, Федота Шмакова, Конунникова, его у нас все Бобиком звали. Взяли их в деревне по неосторожности, мучали всяко, а потом расстреляли. Но они так и не показали, где их товарищи скрываются. Те, своих не дождавшись, еще двоих послали – Николая Печенкина и Ефима Самошкина. И им конец пришел, – грустно махнул рукой Денис и потянулся за второй бутылкой. – Вот с тех пор Григорий Федорович и на лицо темный стал, душа у него выстудилась...

И правильно он мужикам в Салаире сказал, – после недолгого молчания продолжил партизан, – пчел не подавив, за медом тянетесь. Пусть другие грех на душу берут, руки в чужой крови пачкают, а они потом свободой, чужими грехами добытой, пользоваться будут да еще нас судить. Душегубы, мол. А как надо? – с неожиданным жаром спросил вдруг Денис, ни к кому не обращаясь. – Как? Войны без мертвых не бывает. А-а... – досадливо потянул он себя за куцую бороду. – Давай лучше тяпнем, что ли.

Выпив, он поставил на траву пустую кружку, подоткнул кулаком бороду.

– Душегубы-то разные бывают, – было видно, что говорит Поташов о давно уже наболевшем, часто мучавшем его бесхитростную крестьянскую душу. – Одни через себя переступают, коль по-другому никак, а потом сами себе душу рвут. Самогон глушат, ночью криком кричат. А другие, вон как Тимка, Тим-Фрол, сами до такого дела охочи. Как дите злое, какому котенка или птенца там придавить в радость. Сколь поймает, столь и придавит...

– Ты говоришь, изба командира вашего на краю деревни стояла. Куда ж она делась, улетела, что ли? – перебил Поташова изрядно захмелевший Васька.

– Нет, не улетела, – неодобрительно посмотрел на него Денис. – Ее колчаковские каратели по бревнышку раскатали, а бревнышки мужиков заставили на дрова попилить.

– Не мешай, Васька, – шумнул на товарища Егор. – Дай послушать. Не гляди на него, Денис, малец неразумный, чего с него возьмешь.

«Малец», угрюмо насупившись, замолчал, а довольный Поташов продолжил свое повествование:

– Когда колчаковцы в село только пришли, хотели они мужиков наших в черни накрыть. Был у них такой поручик Мальцев, молодой совсем, так он специальный план для этого дела составил. Приказал всем хозяевам, у кого собаки-лайки есть, привести к нему, чтоб они помогли смутьянов отыскать. Только хозяева своих Жучек в чернь завели и отпустили, так все они домой и припустили. Ну,

а войско собачье с поручиком вместе постояло немного – и тоже назад не солоно хлебавши. Считай, вся Жуланиха, кроме сволоты всякой, тогда смеялась, хоть и не до веселья шибко было. А когда зима кончаться стала, беляки из села ушли, и мужики из тайги выбираться стали. Ходили по селу вполне спокойно, решили даже милицию колчаковскую пощупать. Вот рыбу на живца ловят, а они милиционеров на бабу попробовали.

Мария Чекрыжова, баба видная, ничего не скажешь, устроила по их указке гулянку, позвала милиционеров. Ну выпили, конечно, они как следует. Один давай за ней виться. Она его выманила во двор, а там его уже ждали. Удавили на месте, бросили на телегу и за деревню вывезли. Мария эта опять в дом, давай другому куры строить. Хотели они таким манером всю милицию в Жуланихе известить, да не вышло. Те хоть и пьяные, заподозрили что-то. Давай у нее допытываться, где, мол, наш товарищ. Она говорит – к девке знакомой пошел. К какой? Не знаю. Ну так от нее ничего и не добились.

– Да-а, – вздохнул Егор, – вредный народ бабы для нашего брата.

– Это точно, – охотно подтвердил Денис.

– А ты-то где в это время был? – вновь не утерпел неугомонный Митрохин. – С ними прятался или как?

– Прятался, только не с ними, – зевнул Денис. От усталости, пережитого напряжения и выпивки его все сильнее клонило в сон. Помотал головой, прогоняя тягучую хмарь, принялся вертеть новую сигарку. – В мае объявили призыв в колчаковскую армию, попал и наш год. Я и другие, кто был на империалистической, решили идти. Думали получить оружие и смотаться из этой армии, да вышло не по-нашему. В армию нас взяли, а оружия не дали, назначили в маршевую часть, что на фронт готовили. Такое дело нам совсем не понравилось и уже из Барнаула бежали мы. Четырнадцать человек набралось. Я, Прокудин, Чекрыжов, Морозов, другой Морозов, брат его. Ну и еще ребята. Добрались, хоть и по-всякому было, до дома, стали в тайге прятаться. Мы вдвоем с Морозовым были. Своим

дали знать, и они нас, бывало, в село завозили из степи или черни, чтоб помыться, горячего поесть. Завалят травой да вениками в телеге, а сверху еще человека два-три сядут. Лежишь, молчишь и думаешь: скоро ли будет конец? Лишь бы колчакам не попасть в лапы. А они по всем деревням, поселкам да заимкам рыскали – дезертиров искали. Пару раз я за малым не пропал. Однажды заглянул тихонько в село, говорят: солдаты ушли, а куда и когда вернуться, никто не знает. Так мне в бане помыться хотелось, спасу нет. А, думаю, пронесет небось. Затопили мне баню и тут – ждали их, собак – колчаки из тайги возвращаются.

Штаб их был как раз напротив нас. Два солдата заставили хозяйку баню топить, а та не знала, что я пришел, и показывает им, идите, мол к Поташовым, у них как раз баня топится. Хорошо я их раньше увидел. Думаю: капут. У них винтовки, а у меня один кипяток. Но хорошо, успел незаметно из бани выскользнуть, в огороде спрятаться. Хотел винтовки у них стащить. Не вышло, осторожные оказались, с собой их занесли.

Ну, не помылся, ладно, можно и грязным какое-то время, да зато живым побыть. Так из села-то надо выбираться. А как? – вопросительно посмотрел он на Нефедова с Васькой. Те недоуменно пожали плечами. – Во-о-т! – поднял вверх указательный палец Поташов, – соображать надо. Пока они мылись, брат мой старший, Алеха, запряг лошадь в телегу. Я лег в нее лицом вниз. Сверху набросали тряпок, положили две бороны и две девчонки маленькие сели. По улицам солдаты бродят, у ворот часовые. Хорошо, девочки попросили, так они детишкам ворота открыли. Благодаря им и спасся. Правда, спина потом от тех борон болела, будто черти на ней горох молотили. Но ничего, перетерпел, – рассмеялся он, – чего у мужика спина ни сдюжит.

Так-то вот мы прятались, прятались, – опять зевнул Поташов, – а потом, месяца два назад пришел в Жуланиху, колчаковцев не было как раз, отряд партизан кольчугинских из тайги, там и шахтеры, и мужики были. Большой отряд, человек сто. Мы их сначала за белых приняли, ду-

мали, они специально переоделись, чтобы нас подманить. Но потом разобрались, видим – свои. Говорили, что анархисты, и больше не воевать, а купцов пощупать были настроены. Экспроприацию в Жуланыхе устроить. Командир у них невысокого роста, рыженький и на язык острый, по фамилии Новоселов. Говорили, он ветеринарный врач, а сам из Щеглова, но точно не знаю, врать не буду. В Жуланыхе они себя сразу показали – стали громить святой ключ, где у монахов поселок был, требовать у крестьян золото. Панов Василий Максимович, родителей какого тоже ограбить хотели, пошел к Новоселову в штаб. Там и Рогов был, он первым к кольчугинцам в отряд вступил и стал командиром разведки. Он за Пановых вступился, спор вышел, и Новоселов хотел его даже смарать, да не решился.

Мы с товарищами тоже к ним присоединились, думали, покажем белякам, какая мы сила, да только наоборот вышло. Прошли маршем несколько деревень героями, а в Таловке перепились чуть не все, тут белые нам и дали. Один взвод, что на окраине села поголовно пьяными спал, тепленькими взяли, потом уже бой начался. В общем, разбежались мы кто куда, чего греха таить. А мужиков тех, что в плен попали, колчаковцы потом в Тогале казнили. Рассказывали, на крюк за ребро подвешивали...

Он поболтал перед глазами бутылку, разлил по кружкам остатки самогона. Молча выпили.

– Новоселов со своими назад в мариинскую тайгу ушел, а мы в своей остались. Решили отряд создать. Ну, создали вот. Это уж вы на себе поняли небось.

– А эти мужики, что нас обстреляли, они откуда? – спросил Нефедов. – Еще один отряд, значит?

– Я смотрю, большинство из кольчугинских, какие с Новоселовым не ушли, а здесь остались, – Денис приложил руку козырьком ко лбу, взгляделся в сидевших отдельной кучкой у небольшого костерка напавших на роговцев партизан. – Вон видишь, один прохаживается. Это Гришка Мишулин по прозвищу Орел. Парень крепкий и смелый до чертиков, медведю в ухо залезет.

– Он из флотских, что ли? – присмотрелся к ходившему вперевалочку возле костерка парню и Егор.

– Точно. Матрос он, балтиец. Сам говорил, – удивленно подтвердил Поташов. – А ты как понял?

– У меня товарищ был из таковских, – вздохнул Нефедов. – Где он теперь, живой ли, кто знает...

* * *

Поход на Салаир заканчивался, но сопровождавшая ему смерть еще не кончила собирать свою жатву, теперь уже среди самих партизан. На подходе к Жуланихе, в Боровлянке, где роговцев ждали сытный обед и отдых, мужики и барнаульцы едва не схватились между собой. Еще в пути наблюдательный Нефедов заметил среди городских чудаковатого сиплоголосого парня, судя по всему, большого бахвала и хвастуна. Товарищи называли его Ожерельевым. Он что-то шумно доказывал им, а затем неожиданно взял одну из сваленных в кучу в двуколке новеньких трофейных винтовок и прицелился в своего земляка. Тот невольно отшатнулся, крикнул:

– Брось! Не балуй с оружием.

Услышавший это Рогов быстро повернулся к ним и повелительно крикнул:

– А ну положи ружье! Кому говорю!?

Ожерельев быстро повернулся и прицелился уже в Григория:

– Что, спужался? – насмешливо крикнул он. – Спужался? Пух!

Парень сделал вид, что нажимает на курок и опять рассмеялся.

Как Рогов выхватил наган, не заметил, наверное, никто из стоящих поблизости партизан. Слово хлопком в ладоши ударил одиночный выстрел. Ожерельев, всплеснув руками, выронил винтовку и повалился навзничь. Пуля попала ему прямо в середину лба, оставив на входе маленькую аккуратную дырочку, из которой на лицо убитого медленно потекла тонкая струйка крови. На мгновение все замерло, а затем общая масса партизан стремительно разделилась на две группы. Ощетинившись ружейными стволами, застыли в напряженном молчании. Минуту-

та сочилась как год и чем бы закончилась – неясно, когда от толпы барнаульцев и солдат-железнодорожников отделились две фигуры – Анатолий и его земляк, тоже бежавший из Томска в Барнаул, а затем вместе с ним ушедший в тайгу Александр Крылов, крепкий и решительный рабочий парень.

Они молча склонились над погибшим, поодиночке стали подходить к телу Ожерельева и другие – как мужики, так и городские. Вскоре сколотили из первых попавшихся под руку досок нехитрый гроб, быстро вырыли могилу на сельском кладбище, а когда на месте ямы образовался небольшой могильный холмик, так же молча разошлись в разные стороны.

Ночевали мужики и городские в разных концах деревни. Да что там ночевали. Дремал каждый вполглаза, чутко прислушиваясь к ночной тишине за окном, поглаживая для успокоения под боком согретый теплом тела винтовочный затвор.

– Что стряслось-то? – перед тем как укладываться на отдых, спросил Егор быстро протрезвевшего и куда менее разговорчивого, чем час назад, Дениса.

– Под себя нас городские, похоже, хотят подгрести, порядки свои установить, – мрачно ответил тот. – А при Рогове у них это шиш получится. Вот и решили, видать, его смарать, да так, чтоб случай вроде вышел, а не по злу. Ожерельева этого, видать, насуропил кто-то, может, и Анатолий тот же, только Григорий Федорович ловчее оказался.

– А может, не так это? – с сомнением спросил Егор. – Может, просто чумовой парень, помутилось в голове, и на тебе.

– Может, и так, – задумчиво ответил Поташов, – кто теперь разберет. И давай-ка лучше спать.

Поутру плохо выспавшиеся, хмурые партизаны собрались в центре села. Как и накануне, стояли двумя группами, перешедшие на их сторону колчаковские солдаты, поголовно недавние крестьяне, жались к мужикам. Крутили сигарки, вяло перекидывались пустыми словами, когда в центр поскотины в перетянутой новым офицерским

ремнем кожаной куртке, но все в той же, видать, дорогой ему старенькой шляпе вышел не спеша Григорий Рогов.

– Ну что, ребята, – просто сказал он, – парня вашего жаль, но балаган из отряда я никому делать не дам. Теперь зло друг на друга из души выбросить надо, иначе своих больше чем врагов бояться будем. А нам ведь с вами, всем, у кого руки в мозолях, еще колчаковскую гадину надо раздавить. Верно, товарищ Анатолий? – повернулся он к внимательно слушавшему его Матвеем Ворожцову. Тот молча кивнул головой. – Ну, а раз верно, давайте выступать. Надо сегодня в Жуланихе быть. Посмотреть, как там дела без нас идут.

Дела в Жуланихе во время похода костяка партизанского отряда на Салаир шли неважно. Партизан Антошкин из поселка Агафьинского, не набравшись смелости идти против колчаковцев с пулеметами, пустился в другие «подвиги», менее опасные и более приятные. Нацепил трофейный офицерский мундир и вместе с дружкой заявился к одной вдове-солдатке. Приятели потребовали самогону, а потом уже изрядно пьяный «офицер» потащил хозяйку на сеновал...

Когда Рогов вернулся из Салаира, заплаканная вдова прибежала к нему жаловаться. Анатолий и другие члены недавно избранного в отряде военного комитета, в основном рабочие, настаивали на расстреле, и Григорий не стал возражать. Однако считал, что под пулю должен пойти только насильник. Второму хватит и полсотни плетей. Коли б каждого мужика за глупость, по молодости сотворенную, жизни лишали, уже б и землю пахать некому было. Большой подлости он не совершил, придет время, сам еще себя корить за сделанное будет. После разбирательства, изрядно помрачневший Рогов вышел на крыльцо и обратился с короткой речью к толпившимся у дома партизанам и жителям села, сказав, что насильники и грабители – такие же враги трудового народа, как и буржуазные гады, а потому пощады им не будет.

Когда люди разошлись, он спустился с крыльца, уселся на завалинку и, низко опустив голову, принялся

ся отламывать кусочки от подобранныго на земле сухого прутика.

Подошел Анатолий, молча встал напротив.

– Что молчишь? – не поднимая головы и все так же терзая прутик, спросил Рогов. – Коль сказать чего хочешь, так говори. Нам между собой таиться нечего.

– Не надо было другого жалеть, – твердо заявил Ворожцов. – С корнем эту заразу рвать надо, чтобы дальше не плодилась. Всю сволочь к стенке – и так только. Советская власть – это порядок, все как в Красной армии должно быть.

– Ну, мы пока не в твоей Красной армии, – поднял на него глаза Рогов. – Насильников в расход – дело понятное, а с остальным поглядим. Власть, она любая на хребет мужику норовит залезть. Дай бог, без нее обойдемся.

– Анархию проповедуешь, – скривил щеку Анатолий, – а заодно и слюняйство разводишь. Да ты...

– Попридержи язык, – тихо, но с большой силой сказал Григорий. – Смотрю, вам мужицкая кровь и вправду что водица, полушки не стоит.

– Кому вам? – напрягшись всем телом, с вызовом заинтересовался Ворожцов. – Большевиков имеешь ввиду?

– Вам, умникам городским. Большевикам или еще там каким, без разницы.

– А сам ты... – задохнулся словами Матвей, – ты-то сам Ожерельева...

Кровь хлынула ему в лицо. Он поднял руку, намереваясь еще что-то сказать, но в последнее мгновение сумел удержать эти слова в себе. Сжал пальцы в кулак, резко повернулся и все убыстряя шаг пошел прочь по деревенской улице. Шептал что-то неразборчиво и горячо, рубил ладонью воздух, будто шашкой кого полосовал.

Глава шестая

24 января 1919 года председатель Совета обороны Советской России Ленин отправил телеграмму председателю Реввоенсовета республики Троцкому, находившемуся в то время на Южном фронте:

«Вильсон предлагает перемирие и вызывает на совещание все правительства России. (Речь шла о предполагавшемся созыве мирной конференции на Принцевых островах с участием советского правительства, правительств Антанты и антибольшевистских правительств, созданных к тому времени на территории России. Проект обращения к участникам конференции был составлен президентом Северо-американских Соединенных Штатов – ныне США – Вурдо Вильсоном.) Боюсь, что он хочет закрепить за собой Сибирь и часть юга, не надеясь удерживать почти ничего. Это обстоятельство в связи со взятием Оренбурга, Луганска и Черткова заставляет нас, по-моему, напрячь все силы, чтобы в месяц взять и Ростов, и Челябинск, и Омск...».

7 марта 1919 года войска 5-й армии Восточного фронта красных, действуя согласно директиве главного командования, намеревались занять Аша-Балашовские проходы в Уральских горах, а затем двинуться в белую Сибирь. Судьба распорядилась иначе. Предвосхищая их удар, 4 марта в наступление перешла армия Колчака. Оно развивалось стремительно. 12 марта штаб 5-й армии во главе с Блюмбергом бросил Уфу и бежал, отдав войскам приказ отступить. Через два дня белые без боя вступили в город. В начале апреля ими были взяты Белебей, затем Бугульма. 10 апреля наступила очередь Сарапула, 13-го – Ижевска. Отступление красных войск приняло беспорядочный характер.

В довершение ко всему в тылу у большевиков вспыхнуло Сызрано-Сенгелевское крестьянское восстание, проходившее под лозунгом «Да здравствуют большевики, долой коммунистов!». Оно вылилось в формы вооруженной борьбы в тылах 5-й армии. Объектами нападений являлись главным образом железнодорожные сообщения, линии телеграфа, мосты и другие важные сооружения.

Парижские газеты бурно комментировали эти события, предрекая, что через две недели Колчак вступит в Москву. В это же время войска генерала Деникина отбили наступление красных и готовились перейти в наступление.

В Прибалтике войска генерала фон дер Гольца очистили от большевиков западную Латвию.

Однако дела советской власти в России были не так уж плохи, как могло показаться на первый взгляд. В день начала наступления Колчака, 4 марта 1919 года, британский Кабинет министров принял решение вывести войска с севера России и из Закаспия. Кроме того, на Украине крестьянские партизанские отряды атамана Григорьева, объявившего себя союзником большевиков, 10 марта выбили французов из Херсона, 12 марта – из Николаева.

21 марта 1919 года правительство Кароли в Венгрии вышло в отставку, и его место занял Революционный совет Венгерской советской Республики.

Первой мерой Советского правительства Венгрии было вооружение пролетариата. На добровольческих началах создавались Красная армия для борьбы с контрреволюцией, красная охрана (милиция). На смену старым судам пришли революционные трибуналы.

Позже (3 апреля 1919 года) советское правительство Венгрии приняло декрет о национализации помещичьей земли.

10 апреля Ленин публикует «Письмо петроградским рабочим о помощи Восточному фронту»:

«Товарищи! Положение на Восточном фронте крайне ухудшилось. Сегодня взят Колчаком Воткинский завод, гибнет Бугульма; видимо, Колчак еще продвинется вперед. Опасность грозная.

Мы просим питерских рабочих поставить на ноги все, мобилизовать все силы на помощь Восточному фронту. Там солдаты-рабочие подкормятся сами и продовольственными посылками помогут своим семьям. А главное – там решается судьба революции. Победив там, мы кончаем войну, ибо из-за границы помощи белым больше не будет...».

Это утверждение не было бесосновательным. За несколько дней до того, 29 марта 1919 года, маршал Фош объявил во французском парламенте, что «с сего дня ни один французский солдат больше не будет отправлен в Россию, а те, кто сейчас служат там, будут возвращаться».

В то же время на Западе, по крайней мере в правящих кругах Британии, стал подниматься вопрос о признании правительства Колчака. Так, 5 апреля британский уполномоченный в Сибири сэр Чарльз Элиот рекомендовал Лондону признать Временное правительство в Сибири, однако прежде выдвинуть Колчаку ряд условий. Военный министр Уинстон Черчилль разослал 15 апреля членам кабинета меморандум, где обосновывал необходимость признания правительства Колчака.

Уже 9 мая 1919 года в Париже Ллойд Джордж поднял вопрос о Колчаке в беседе с главами великих держав. Президент Вильсон заявил, что не испытывает доверия к Колчаку.

«Мы можем выдвинуть ему условия, но будет ли он их выполнять?» – спросил Вильсон и вновь выразил свое видение правильной политики в отношении России: «Союзным странам следует уйти из России, и пусть русские разбираются между собой».

* * *

Как ни спешили Киржаев с Евстафьевым догнать стремительно продвигающуюся вперед 1-ю Ижевскую бригаду, начальником которой был назначен полковник Молчанов, это им никак не удавалось. Узнав о том, что Викторин Михайлович получил новое назначение, Евстафьев поначалу огорчился, затем призадумался, куда же ему теперь – в свой родной Прикамский полк или за любимым командиром к ижевцам. Потом по привычке махнул рукой:

– Сманил я тебя к Молчанову, значит, к нему и поедем, – заявил он Михаилу. – Без дела не останемся.

Уговорив одного из офицеров штаба Западной армии генерала Ханжина дать им лошадей, они присоединились к казачьему разъезду, высланному вслед бригаде с приказом из штаба армии командиру ижевцев. По дороге к ним пристал задержавшийся в тылу по каким-то интендантским делам командир запасного батальона Ижевской бригады поручик Смолин, в прошлом гвардейский

фельдфебель. Лет сорока, большой, грузноватый, но не утративший полученной за годы службы гвардейской выправки, поручик каждую свободную минуту подкручивал свои пышные усы, по сути своей так и оставшись фельдфебелем. Но уж фельдфебелем настоящим. Таким, про кого без всякой шутливости говорят «слуга царю, отец солдатам». Пересыпая свою речь разнообразными поговорками: «на то и солдат, чтоб ружьем трещать», «война не жена, со двора не сгонишь», Иван Никодимович никому и никогда не давал впасть в уныние, а за своего подчиненного, хоть офицера, хоть солдата вступился бы при необходимости и перед самим Колчаком. Коренной ижевец, рабочий высшего класса, волею судеб ставший офицером, он хорошо знал цену и труду, и уму, потому больше всего уважал на свете людей знающих и мастеровитых, каким бы делом они ни занимались.

Впервые увидев его, молодые офицеры, конечно же, ничего этого не знали, но не проникнуться к Ивану Никодимовичу хотя бы интересом даже с первой встречи было невозможно. Сузив в хитроватом прищуре свои без того небольшие серые глаза, поручик внимательно оглядел своих случайных попугчиков, затем протянул руку штабс-капитану, и через мгновение здоровяку Киржаеву показалось, будто его ладонь попала под многопудовый заводской пресс. Решив не уступать, он изо всей силы сжал руку ижевца, но Смолин этого подвига, похоже, и не заметил – протянул свою лапу Евстафьеву. Тот, не удержавшись, сдавленно охнул.

– Прошу простить, – смущенно прогудел поручик, – я без умысла.

– Да ладно, – восхищенно улыбнулся Евстафьев, как и всякий юноша, относящийся с немалым уважением к людям, одаренным природой большой физической силой. – Хотя вы в другой раз полегче все-таки орудуйте. Мне сразу назад в госпиталь, как-то не с руки.

– Это просто Геркулес какой-то, – горячо сказал он Михаилу, когда Смолин по какой-то надобности вышел за дверь. – Его колом моченым не убьешь, да и человек,

похоже, ничего. Что там нового? – желая продолжить разговор, деловито обратился он к вернувшемуся с улицы Смолину.

– Да ничего особенного, – также деловито ответил ему поручик и принялся сбивать с валенок налипший на них снег. – В соседней избе печка в трубу улетела, а более ничего.

– Как это печка в трубу? – искренне удивился Сергей.

– А я почему знаю как? – пожал плечами Смолин. – Может, у нее крылья выросли. Иначе-то не получится.

– Да ну вас, – поняв, что его попросту разыгрывают, махнул рукой Евстафьев. – Солидный человек, а всякие глупости выдумываете.

Поручик басовито захохотал, разулыбался и обычно хмурый Киржаев, но громче всех смеялся сам «виновник торжества» и, утирая слезы с розовых мальчишеских щек, говорил:

– Как это вы меня ловко, Иван Никодимович. С вами, смотрю, надо ухо остро держать.

На первой же случившейся в пути остановке, в уюте хорошо натопленной избы небольшой башкирской деревни, молодые офицеры узнали от Смолина о том, как появилась на свет Первая Ижевская бригада и почему она воюет с большевиками под красным знаменем. За крохотным окошечком монотонно пела о своем колючая вьюга, потрескивали дрова в печи, времени до рассвета было много. Поручик начал издалека:

– Завод наш оружейный, находится в Сарапульском уезде, что в Вятской губернии. Ему уже полтора года. Мастер Дерябин на Иже его построил. Как говорят, сначала небольшой был заводик, а уж потом из него наш красавец получился. Емелька Пугачев его, было дело, порушил, но потом восстановили, еще лучше стал. Перед германской мы по сто пятьдесят тысяч винтовок в год выделывали, да и другой военной продукции немало изготавливали. Жили хорошо, грех жаловаться, – вздохнул поручик. – У всех, считай, дома хорошие, садочки при них, огородики.

У меня, само собой, тоже. Школы всякие – и для детей, и для специалистов завода. Церкви, собор Михайловский, сами рабочие на его постройку деньги собирали. В большой праздник в царских кафтанах, у кого были, ходили.

– Это что еще за царские кафтаны? – живо поинтересовался любознательный Евстафьев.

– Такие хорошим мастерам по царскому указу за отличную работу да другие какие особые заслуги давали, – пояснил Смолин и, взглянув на Сергея, с добродушной усмешкой добавил: – И попрошу старшего по чину не перебивать. Так вот. Народ у нас там живет, поискать такого. Работы никакой не боится, спокойный. А вот на обиду вспыльчивый, никому не даст себя подмять. Люди семейные, к хозяйству да заводу нашему словно сердцем приросли. Да война не жена, со двора не сгонишь, – опять вздохнул Смолин и потянул из кармана массивный серебряный портсигар. – Пришла германская, пошли мы в окопы... А когда вернулись, – поручик крепко затянулся папироской, прищурился от табачного дыма, – видим наши места на заводе разный пришлый люд занял. Кто ничего, а большинство рвань, что от фронта пряталась да на митингах горлопанила. Правит большевистский комитет, сплошь весь из пришлых. На нас глядят как на недорезанных буржуев, собственников и вообще сволочь.

Избрали мы свой совет рабочих, они его разогнали. И во второй раз то же самое. Ладно, думаем. Создали свой «Союз фронтовиков» – интересы рабочих защищать, что с германской вернулись. Они тогда ввели карточки на продукты, комиссарам – от пуза, рабочему – крохи. Потом решили нас вовсе под лавку загнать, чтоб как собачки их слушались. Частную торговлю хлебом запретили, чтоб, значит, только они его могли давать. Кто послушный – на, кто нет – с голоду подыхай. У крестьян в губернии хлеба в скирдах на несколько лет, а рабочим нету. И вот в прошлом году в начале августа схлестнулись мы с ними, правда, поначалу на кулаках. Но тут главным образом бабы местные героями были.

– Это как? – опять не удержался от вопроса Евстафьев.

– Да вот так. Они милицию послали конную на базар хлебных торговек разгонять, а те милиционеров этих с коней постаскивали да давай безменами охаживать, – расправил усы над улыбкой поручик. – Ну и рабочие, что на рынке были, им помогли.

– И что ж, большевики вам это спустили? – вмешался в разговор Киржаев.

– Понятное дело, нет. Стали купцов сначала арестовывать, потом и до мастеровых добрались. Был у нас такой токарь Суслин, крыл большевиков на собраниях почему зря, так они, сволочи, его из-за угла застрелили, когда домой шел. Некоторые, расправы не дожидаясь, в окрестных деревнях стали укрываться, а большинство прятаться не хотели. Пусть они сами, гады, по норам сидят.

Седьмого августа Каппель взял Казань, и они тут же в штаны наложили. Приехал один из вожаков их из Питера, Калинин. Заплясал перед нами, как дождь на болоте. «Товарищи, я сам рабочий. Наша власть народная...». Знаем мы, какая ваша власть, не дали ему говорить, послали по матушке да с трибуны согнали.

Собрали они новый митинг, давай о защите завоеваний революции орать, на фронт звать, а потом и требовать, чтоб шли. Пугать нас взялись. Мы им свои требования – призвать всех от 18 до 40 лет, вооружить и обмундировать на заводе и отправить всех вместе. Они сразу почувяли, чем это пахнет – фронтовиков вооружить. Нет, говорят, так не пойдет – призвать можем только молодых, да и оружия, считай, нету, получают на фронте.

«Коли так – не пойдем! – кричим. – Долой Советы!». И конец тому митингу. А вечером уже слух пошел, что ребят из нашего союза фронтовиков начали арестовывать. Тут все вошки и сдохли, пришел конец терпению. Ну, собаки! – стукнул кулаком по столу Смолин, – держитесь. Наутро по заводскому гудку, а его на сорок верст слышно, поднялся весь завод. Разоружили австрийцев пленных, каким комиссары винтовки против нас дали, захватили патроны – штук по десять, не больше, на каждого пришлось.

Красных в городе было человек восемьсот, нас, вооруженных, куда меньше, а главное – патроны на счет. Дра-

лись до полуночи по всему городу. Мы злые, как черти, и они тоже, понимали ведь, что сдадутся – пощады не будет. Но побили их все-таки. Одних положили, другие разбежались кто куда.

Наутро стали оборону налаживать, большевиков ждать. Понятно ж было, что «рабоче-крестьянская» власть нас в покое не оставит. Считай, сразу начались бои. Ходили они на нас не раз и все несолоно хлебавши. Получали и в хвост, и в гриву. Вооружали себя сами, вместо шестисот винтовок в сутки, как при большевиках, по две с половиной тысячи делали, бабы и парнишки окопы копали, еду носили. В общем, всем народом стали против комиссаро-державцев. Кто в какую партию когда вступал – и думать забыли. Даже те, кто в большевики записался по глупости, и те с нами пошли, стали себя называть большевикимстители.

Три месяца воевали, а потом подперли красные, навезли на наш Северный фронт, как мы свою оборону обозначили, латышей, китайцев да коммунистов из Питера, стало нам туго. Видим, в корыте озера не переплыть, не справиться нам с ними. Стали отходить по наплавному мосту за Каму. Нас было тысяч пятнадцать да баб с ребятишками, наверное, столько же, мои, правда, в Ижевске остались. Уперлась глупая баба, разворуют, говорит, хозяйство, к чему вертаться будем? Как будто те тряпки жизни дороже. И вот поди ж ты, здоровый я вроде мужик, никому не спущу в случае чего, а с ней совладать всю жизнь не мог. Бить не бил никогда, жалко было. Как-то они теперь там... – Поручик надолго замолчал, потом прикурил от свечки очередную папиросу и так же молча принялся пускать дым в потолок.

– А дальше-то? – не утерпел неугомонный подпоручик Евстафьев.

– Дальше просто. За рекой отдохнули, организовались в бригаду из двух полков, дивизиона артиллерии, да конного дивизиона. Инженерную роту сформировали и запасной батальон. Вот им-то я и должен сейчас командовать, а сам тут вот вместе с вами застрял. Ладно, хватит

на первый раз. Повидаемся еще, доскажу про дела наши славные, а сейчас давайте спать, господа офицеры, завтра я казачкам житья не дам, подниму с утра пораньше, и вас, само собой, тоже, надо быстрее своих догонять.

* * *

Ижевская бригада тем временем уходила все дальше и дальше на еще недавно занятую советскими войсками территорию. С первых дней наступления Колчака попутчиком рабочих мятежного города было военное счастье.

13 марта 1919 года в боях под Уфой у села Подымалово 1-й Ижевский полк стремительным ударом смял 229-й Новгородский полк красных, захватив в плен 1280 красноармейцев, несколько командиров и комиссаров, а также 16 пулеметов и весь полковой обоз новгородцев. Командир ижевцев громко приказал своим бойцам даже пальцем не прикасаться к пленным, в ответ они стали бросать в воздух фуражки и кричать «ура!». Потери в 1-м полку Ижевской бригады были минимальными.

В конце марта отведенную в резерв бригаду в спешном порядке бросили против пытающихся вернуть себе Уфу красных частей. Генерал Ханжин обратился к Молчанову и с приказом, и с просьбой одновременно: «Спасите Уфу». Молчанов обещал. Завязались сильные бои за находящиеся на подступах к городу деревни Ново-Киевка и Романовка.

Ижевцам пришлось наступать по глубокому снегу под плотным огнем неприятеля. Третий батальон первого полка бригады под командованием прапорщика Ложкина атаковал засевших в Романовке красных, забросив винтовки за спину, с ножами в руках. Это произвело большое впечатление на противника, и деревня белыми была занята. «Психическая» атака обошлась ложкинцам в сто человек убитых и раненых. Позже, отбивая уже непрятельские атаки, они израсходовали все патроны, и Романовка вновь перешла к большевикам. Упорный прапорщик опять скомандовал атаку, и в час дня деревня в очередной раз сменила хозяев.

На другом участке ижевцы шли в бой с гармошками в цепях, под песни и частушки. Когда батальон залег под сильным огнем противника, в цепи появилась медсестра, недавняя гимназистка Лида Попова.

– Есть раненые?! – крикнула она.

– Нет!

Девушка перебежала дальше:

– Есть раненые?!

– Нет!

– Так чего ж вы лежите?! За мной! – Попова вскочила на ноги и в полный рост побежала к деревне, занятой противником. За ней поднялся весь батальон. Деревня была занята, Лида ранена в ногу.

31 марта у села Старый Адзит, когда в ходе боя чаши на весах заколебались то в одну, то в другую сторону, полковник Молчанов сам повел в атаку замешкавшийся кавалерийский эскадрон, врубился в цепи красных, затем проскочил дальше в деревню, где захватил две пушки в полной упряжке и десять пулеметов, из которых его кавалеристы тут же открыли огонь. Начавшие беспорядочное отступление большевики оставили своим противникам весь обоз и двенадцать орудий.

Через несколько дней в полную силу вступила весенняя распутица, недавние морозы и метели сменились обильным таянием снега, которого в башкирских степях в тот год выпало немало. Половодье прервало возможность каких бы то ни было военных действий по меньшей мере на неделю. Воды в оврагах было столько, что в них несколько раз тонули вместе с лошадьми посылаемые с донесениями ординарцы. Вид солдат и офицеров был угнетающим. Начав наступление в полушубках и валенках, они оказались в весеннюю распутицу вдалеке от железной дороги без сапог и шинелей. Сапоги, впрочем, прислать обещали, но поскольку давних русских традиций никто не отменял даже по случаю гражданской войны, обещанного пришлось ждать долго.

Крестьяне поначалу встретили белых хорошо, как освободителей, но очень скоро начались жалобы на

самовольство, неправильную разверстку, сравнения с красными, которые «тоже требовали».

В несколько переходов, по забитым мокрой снежной кашей, а затем грязью дорогам бригада вышла к середине апреля в назначенный ей район – к Бугульме. С начала наступления 6 марта до середины апреля потери в стрелковых полках убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили 37 офицеров и 746 стрелков – примерно 12% всего личного состава. Однако вскоре произошло событие, едва не уничтожившее всю бригаду полностью, хотя и было оно для бойцов бригады по-настоящему радостным: 13 апреля войска Колчака вступили в Ижевский завод.

Еще до наступления колчаковцев генерал Ханжин издал приказ, в котором указывал, что сразу по освобождению Ижевска бойцы бригады будут немедленно отпущены домой, и теперь они ждали его выполнения. Тем более что слухи о расправе красных над семьями ушедших к Колчаку рабочих доходили к ним все чаще. Вместо этого, «забыв» о своем обещании, Ханжин собрался отправить ижевцев для нового удара по красным на южном участке фронта, еще дальше от их родных мест. В бригаде началось брожение, большинство ее солдат решили идти домой, несмотря на угрозы штаба армии встретить ушедших сформированными в Сибири войсками и не пустить в Ижевск.

– Ну сколько могут выставить против нас? Положим, одну дивизию, – говорили на это ижевцы. – Это нам на два часа боя...

Наконец, потеряв всякую надежду получить разрешение на отправку в родной город, бойцы бригады начали самовольный, но хорошо организованный уход. Рота за ротой, в полном порядке, под командой фельдфебелей и унтер-офицеров шли к начальнику бригады, прощались с ним и отправлялись в поход. Полковник уговорил их не брать оружия, и оно было сдано.

Сам Молчанов, узнав о том, что за Уфу он произведен в генерал-майоры, попросил отрешить его от командования и отправить в строй рядовым офицером, поскольку

ку в обычных условиях за случившееся в бригаде он подлежал преданию суду. Однако никто никакой вины за ним не признал, потому ни суда, ни отрешения от должности не последовало. В один из этих тяжелейших для него дней в бригаду для дальнейшего прохождения службы прибыли подпоручик Евстафьев и штабс-капитан Киржаев.

Штаб переименованной в дивизию бригады располагался в Бугульме, где ижевцы первым делом снесли памятник Ленину, который там уже успела поставить революционная власть.

Когда Смолин привел своих спутников к начальнику дивизии, Киржаев узнал этого человека сразу, хотя и видел его совсем недолго, да и времени с тех пор прошло немало, почти четыре года. И каких...

Та же суховатая энергичная фигура, только в этот раз не обтертая о стены траншей шинель, а генеральский мундир и штаны с лампасами – как потом узнал Михаил, отысканные и подаренные Викторину Михайловичу его солдатами, большой открытый лоб, фельдфебельские усы и черные, слегка навькате, словно сверлящие человека глаза.

– Поручик Смолин прибыл, ваше пресс-во! – bravo бросил руку к папахе поручик.

– Рад вашему прибытию. – Молчанов протянул ему руку, которую Смолин пожал куда как мягче, чем Евстафьеву: – Кто с вами?

– Неужели не признали, господин генерал? – выступил вперед Евстафьев, голос его предательски дрогнул от мальчишеской обиды.

– Как же не признал. Признал, – успокоил его Молчанов. – Очень рад, что в трудную минуту вновь принимаю под свое подчинение сослуживца по Камскому полку, настоящего боевого офицера.

Генерал сделал шаг вперед и дружески приобнял Евстафьева за плечи:

– Будем опять воевать вместе.

– Штабс-капитан Киржаев, прервав лечение, вызвался ехать со мной – служить под вашим началом, –

качнул подбородком в сторону Михаила порозовевший от генеральских слов подпоручик. – Он тоже ваш знакомый, только еще по германской войне.

Молчанов внимательно всмотрелся в лицо Киржаева и покачал головой:

– Прошу простить, господин штабс-капитан, но вас я не припоминаю. Где мы с вами встречались?

– В пятнадцатом году на реке Бзур, господин генерал. Во время газовой атаки германцев. Я тогда со своей полуротой прибыл к вам для подкрепления.

– Да-а, – после паузы вновь качнул головой генерал. – Сколько после того свершилось всякого, а Бзур не забудешь. А вас я, пожалуй, из-за шрама не сразу признал, хотя память на лица у меня вообще-то хорошая. У вас ведь отметины этой тогда не было?

– Так точно. Ни одной на то время еще не было, – вздохнул штабс-капитан. – Это мне позже «подарили». Одну чужие, другую свои, соплеменники.

– Со-пле-менники, – раздумчиво сказал Молчанов и приглашающе махнул рукой: – Пойдемте, господа, пить чай. Почаевничаем да побеседуем по русскому обычаю, пока обстановка позволяет. И пока мы вне строя, можете называть меня Викторин Михайлович.

– Да-а, – в который уже раз покачал он головой, когда офицеры удобно устроились за круглым столом с добродушно пыхтящим самоварчиком, чайными стаканами, чашкой с колотым сахаром и тарелкой с сушками. – На Бзуре дело было страшное и, грех сказать, немного комическое.

– Расскажите, господин генерал, – попросил разливающий чай как младший по возрасту и чину Евстафьев, – интересно же, чего при газовой атаке комического может случиться.

– Да не во время самой атаки, а чуть позже, – улыбнулся генерал. – А дело, коль хотите знать, было так.

Командую я саперной ротой, ведем мы работу на участке 53-го Сибирского стрелкового полка, я находился как раз в четвертом взводе, остальные три были на

фронте, все они погибли... Ну так вот. Я сижу в палатке в двухстах шагах от передовых линий и читаю полученную из Варшавы газетку. Читаю, что неделю тому назад на Западном фронте немцы пустили газы. И спасение от них – это простая тряпка, смоченная водой и приложенная ко рту. Прочел и тут слышу около палатки какая-то беготня. Вбегает денщик и кричит мне: «Газы!».

Никто не знал ничего, нас не предупреждали. Ни масок противогазных, ничего нет. Говорю: «Бери все тряпичное, рви на части, раздавай всем». Было это примерно в четыре часа утра. Выбежал: по земле стелется зеленый туман. Люди бегут, падают и все задыхаются, на коленях стоят, руками упираются и ищут воздуха – как раз они весь этот газ и получают.

Беру свой взвод, они уже с повязками все были. У меня тоже она была, но как приказания давать – пришлось ее отрывать. Винтовки не работают – приказываю чистить. Немцы в масках поднимаются и идут. Начинаем стрелять – скрываются. Никакое подкрепление к нам подойти не может, ни одного офицера нет, кроме меня. Принял командование на себя и вот тут как раз комическое и случилось. Вылезает из землянки пьяный стрелок. Я говорю:

– Ты откуда?

– Так что спал.

– Пулемет знаешь?

– Так точно, знаю, я пулеметчик.

– Бери, разбирай пулемет и чисти.

Он говорит:

– Приятеля надо разбудить, он мне поможет.

Два пьяницы спасли положение. Почистили пулемет, и как только немцы покажутся, он начинает работать, они боятся идти. Потом пленные говорили: они думали, что газы не действовали, что у нас хорошие маски, раз стреляют пулеметы и винтовки.

– Вас не наградили за это дело? – поинтересовался Киржаев и осторожно взял с уже ополовиненной Евстафьевым тарелки небольшую сушку.

– Там тоже комично было. Вызвал меня командир корпуса, генерал от инфантерии Васильев, старик совсем, и спрашивает:

– Почему вы оставили позиции?

Я говорю:

– Какие, ваше высокопревосходительство, позиции я оставил?

– Да как же, вы ушли.

– Разрешите, ваше высокопревосходительство, вам не отвечать, пусть это мой начальник сделает.

Представили меня к Георгиевскому кресту, а он не пропустил. Не пропустил, и больше ничего! Другие награды не могли дать, поскольку все, какие я мог получить, уже были. Так и остался без Георгия. У меня потом еще французский Круа де Легер и сербский Белого орла были. Из армии сообщили, что награжден еще английским орденом Виктории, но его не прислали. Но это не так жаль, а вот Георгия...

– Едрикенштейн, – почесал затылок Смолин, – обидно так-то.

– Вы из семьи потомственных военных, Викторин Михайлович? – спросил Киржаев.

– Какое там, – улыбнулся в ответ Молчанов. – Отец – начальник почтового отделения, дед – священник. Меня или брата старшего отец в духовную семинарию хотел отдать. Там, к тому же, обучение было бесплатное, а для нашей семьи это важно было. В деньгах мы нуждались.

Потому по окончании начальной школы отправили нас с братом в реальное училище в Елабугу, она неподалеку от нашего Чистополя находится. Оба мы его, я и Александр, окончили в девятьсот четвертом году. Положение нашего отца было таково, что он ни при каких условиях не смог бы оплачивать высшее образование для нас обоих. Поэтому я решил: раз Саша старший – передо мной должен иметь преимущество. Он поехал поступать в Томский университет, а я – в Москву, просто посмотреть, какие там для меня возможности могут быть. Сдал экзамены сразу в инженерный и технический институты. Баллы получил

хорошие, а вот денег на вступительный взнос не нашел, – вновь улыбнулся генерал. – Вот и пошел тогда в Московское военное училище, оно через два года Алексеевским стало называться. Там обучение было бесплатное. Недалеко от нас находилось высшее техническое училище, так мы с его студентами часто встречались, чай вместе пили, разговаривали. Многие из них считали себя революционерами, хотя ими не были, конечно. Так просто себя называли, чтоб темными не прослыть. Мы обычно над ними смеялись, говорили, что вы, мол, сюда не учиться приехали, а беспорядки организовывать. Они тоже смеялись. А теперь вот смех этот слезами обернулся... – Викторин Михайлович задумался и, взяв со стола трубку, принялся набивать ее табаком из кисета.

– Трудно вам было к службе привыкать? – спросил, шумно прихлебывая чай, не обученный этикету бывший мастерской Смолин. – Я ж фельдфебель в прошлом, вы знаете. Через меня сотни юнцов прошли, видал, как многим армейская амуничка в тягость, особенно поначалу.

– Нет, не трудно. Я военное дело и армейскую службу полюбил с первых дней в училище. Другое дело, что на жалованье младшего офицера прожить тогда было трудновато. Как сейчас помню, на Кавказе нам платили жалованье двенадцатого числа каждого месяца, и мы обычно сразу брали еще и аванс. Многие офицеры квартиры вместе снимали, одному дорого было.

– А как же за барышнями ухаживать, презенты дарить, цветочки? – удивился Смолин. – Так ведь и не жениться можно было.

– Хотите верьте, хотите нет, поручик, но о женитьбе я тогда и не думал. Можно, конечно, было пойти в офицерское собрание и там познакомиться с какой-нибудь барышней, или в доме у друзей познакомиться могли б, но я тогда был увлечен только одной «дамой» – военной службой. И увлечен, можно сказать, до самозабвения. Всего себя ей отдавал...

Вот за это увлечение солдатика в феврале 17-го меня из армии в шею и спровадили, – продолжил он после

паузы. – Подпоручик, будьте добры, налейте мне еще стаканчик. Спасибо. И это при том, что ни к каким сатрапам я себя тогда не относил и сейчас не отношу. Никогда не крал у своей роты и не пользовался никакими привилегиями, из-за чего, я думаю, некоторые офицеры и пострадали.

Вспомнив свою историю той страшной и бесполовой, словно пьяной, весны, Киржаев кивнул головой. Было что вспомнить о том времени и Евстафьеву, и Смолину.

– За всю службу, – продолжал свой рассказ Молчанов, – никого из солдат не ударил и не кричал на них практически ни разу, хотя порой и очень хотелось. Такие дубы попадались, не приведи господи. Написали они обо мне два больших листа, какой я хороший, как о них заботился и кормил, но пришла революция, и он, то есть я, – несовременный офицер. Получил новое назначение – штаб-офицера, заведовавшего всеми инженерными делами корпуса. Это было веселое время, – усмехнулся генерал. – На должность командира корпуса выбрали не одного, а троих: прапорщика, фельдшера и фельдфебеля, который вам, Иван Никодимович, – повернулся он к Смолину, – и в подметки не годился. Вот обо всех инженерных делах этой «тройке» я и должен был докладывать.

В феврале немцы вдруг начали наступать. Я был на железнодорожной станции Венден, пытался отыскать хоть какой-нибудь поезд для отправки в корпус перевозочных средств. Тут – они. Отстреливался из окна, бросили гранату. Убили у меня за пазухой собачку, которая меня сопровождала с 14-го года, и мне ноги осколками посеколо. Взяли в плен, поместили в госпиталь. Лежал там довольно долго, раны оказались серьезными, никак заживать не хотели. У них даже бинтов и йода не было. Кормили ужасно – у немцев с продовольствием было очень плохо, они сами голодали. Самое лучшее, что могли дать, – жареная селедка. Но к апрелю я все же поправился и при первой возможности от них сбежал, да еще пропуск благодаря одному немецкому лейтенанту выправил. Но это отдельная история.

Добрался до первой русской заставы, объяснил, что документов у меня никаких нет, потому как бежал из

плена. Получил без долгих разговоров пропуск до Ярославля в штаб армии, которая там расформировывалась, и поехал дальше.

– Солдаты по дороге не трогали?

– Нет. Шинелка потертая, погонов нет. Я их снял после того, как большевики пришли к власти и выпустили приказ об этом. Сам снял – не хотел, чтобы другие это сделали. Добрался до Ярославля, получил свое выходное пособие, а вскоре уволили меня со службы и выдали документы, чтобы я мог вернуться в Елабугу. Там жили моя мать и брат, он был волостным мировым судьей. Выдавал документы очень дружелюбный латыш, коммунист, который заведовал увольнением офицеров. Он даже мне на дорогу две бутылки водки дал.

– Возьмем – помилуем, – пробасил Смолин.

– Да-а, – неопределенно протянул генерал. – В Елабуге тогда ужасные вещи происходили. Банды, которые бродили по окрестностям, были не красные, а просто бандиты. Красные командиры не имели над ними власти. Эти банды убивали всех интеллигентов и офицеров, каких только могли поймать. В самом городе было не лучше. Вся интеллигенция Елабуги была уничтожена. Там еще до моего приезда побывал отряд, но не из регулярных частей Красной армии. Они убили священника, потому что оба его сына были офицерами. Была в городе состоятельная семья купцов Стахеевых – всех убили. Но самое страшное из того, что я узнал, было вот что. Там был писчебумажный магазин Кибардина, я его знал. Славный был старичок, всегда нам, реалистам помогал. Когда что-нибудь у него купить нужно, а денег нет, он откладывал – когда сможешь, заплатишь. Конечно, многие и не платили.

Так его внучка выдала им своего отца, подвела его под расстрел, свою мать и дедушку, Кибардина этого. Когда Красная гвардия пришла, она к ним – вот такие-то монархисты, они гнули народ. Кого Кибардин мог гнуть? У него даже рабочих не было.

Потом, когда я после свержения большевиков в Елабуге военную власть организовывал, пришла ко мне

делегация от общественности с требованием казнить пятерых, кто в городе при красных зверствовал, среди них эта девушка. Мужчин, говорят, нужно расстрелять, а ее повесить вверх ногами на площади. Я отвечаю, что не сделаю этого никогда. Ни к чему такие представления устраивать – расстрелять всех и больше ничего.

Когда с ней разговаривать начал, она в ответ давай меня ругать, ни на какие вопросы не отвечает. Спрашиваю, знает ли она, что я могу смягчить ей наказание, а в ответ: «Плевала я на ваше смягчение». Расстреляли всех этих. Я если б и захотел отменить, не смог бы. Интеллигенция, что осталась, была за то, чтобы их расстрелять, уничтожить.

Я тогда из деревень каждый день донесения получал, что пришли такие-то, старика убили и сказали, что всех убьют, если не отдадут денег столько-то. А оказывается, это не Красная армия, а какие-то красные банды и одиночные чеки. Разбойников набирали, они и грабили народ. Если попадались мне – я их всех расстреливал, без всякого суда.

Впрочем, это я уже вперед заглянул, а когда приехал только туда, эта «гвардия» из города уже ушла. Явился в военно-революционный комитет, в котором были одни бывшие офицеры. Они и посоветовали мне скрыться. «Все равно, – говорят, – они вас военным инженером к себе возьмут». К ним я не хотел, стал скрываться по разным окрестным деревням. Ну а потом допекли они мужика так, что он на восстание поднялся. Позвали меня в вожаки.

– Я штабс-капитану рассказывал, – не удержался Евстафьев.

– Вот и хорошо, Смолин об этой эпопее тоже знает. Не буду, господа, вашего внимания занимать, и так уже, наверное, своим рассказом утомил. Что молчите-то, штабс-капитан, устали с дороги?

– Слушаю я ваш рассказ, господин генерал, и хоть понимаю, что это правда, но все равно не верится, что вот так-то могло быть, – вздохнув сказал Киржаев. – В Сибири мы от большевиков такого не видели, по крайней мере,

за Алтайскую губернию уверенно могу сказать. Имущий класс они обложили налогом огромным, само имущество у многих забрали, по-ихнему – национализировали, но чтобы людей мирных как мух бить, такого нет, не было. Уж потом кровь пролилась, когда мы мобилизацию объявили. Тогда мужик поднялся, не захотел в армию идти.

– Потому и не захотел, что не отведал их власти досьта, – отодвинул в сторону пустой стакан Молчанов. – А отведал бы хорошенько, сам побежал бы в армию записываться, как у нас во время восстания получилось, от добровольцев отбоя не было. А сибиряки, которых к нам насильно загнали, и сейчас в сторону красных кто одним, а кто и обоими глазами поглядывают. Случая только ждут, чтобы на ту сторону переметнуться. Пока наступаем, они к большевикам не побегут, это уж совсем глупо было бы с их стороны, а вот случись, начнем отходить, надежды на них никакой не будет. Они, вахлаки, думают ведь, что если к красным перебегут, те их под ружье не поставят, а на все четыре стороны отпустят. Кричали же большевики в войну: «Брат, не убивай брата. Ехай домой – землю отбирай у мироеда и паши в свое удовольствие». Ну и теперь, мол, так же будет. А то, что Ленину с Троцким на свои слова плевать, коль в них больше нужды нет, у них и мысли не появится.

– Как цыган на базаре, – хохотнул Смолин. – Сколь ждешь, столь и посулит, а потом облапошит так, что без штанов останешься и не заметишь того сразу.

– И все же не понимаю, – тихо сказал Михаил. – С бандитами-то все ясно, дорвались до вольницы, и пока в гроб их не загонишь, не остановятся. Но идейные-то, чего они добиваются, для чего свой народ на такие страдания обрекают? Всеобщего равенства? Так его быть не может никак. Ведь Господь от рождения создает людей неравными по возможностям. Один умнее, другой глупее, этот сильный, тот нет. Даже если формально будет создано общество всеобщего равенства, в нем через определенное время неминуемо появится своя аристократия.

– Вот они и хотят ею стать, – Молчанов вынул из кармана портсигар, принялся медленно разминать

папиросу: – Мой брат Александр в юности был членом марксистского кружка, потом, по счастью, этой заразой «переболел». Так вот он рассказывал, что рабочие шли к ним самотеком, искать не приходилось. Каждый приводил приятеля, некоторые приходили с женами, пожилые – с сыновьями. И что самое интересное: преобладали среди них рабочие высокой квалификации, совсем недурно зарабатывавшие, к тому же, на судостроительном заводе, откуда они были, уже тогда существовал восьмичасовой рабочий день. То есть в экономическом плане жизнь у них была не такой уж плохой. Так чего же они, как вы, штабс-капитан, спрашиваете, хотели? По словам брата, они искали правды социальных отношений. Вот и нашли, – генерал досадливо бросил на блюдце искрошенную пальцами папиросу, – питерцы одну, ижевцы – другую.

Он вновь открыл портсигар и, прикурив от зажженной Евстафьевым спички, продолжил:

– Я думаю, что было бы невозможно жить без революций. Русскому человеку всегда нужно на что-то жаловаться. И все, что при этом нужно сделать, – сказать ему что-то, подсказать виноватого, подкузьмить – и он пойдет. Наши архиереи считают русского крестьянина чуть ли не святым, а я видел, как русские мужики могут вести себя словно звери. У нас в Елабужском уезде был помещик Алдашев, которого крестьяне сами выбрали в первую Государственную думу. Когда началась революция, те же самые мужики пришли к нему и сказали: «Поскольку произошла революция, мы должны перерезать вам горло. Вы – хороший человек, но поскольку революция, ничего не поделаешь». И они это сделали.

Когда в 18-м я был начальником военного гарнизона в Елабуге, мне привезли девять гробов из той деревни, где это произошло. Люди прикончили убийц Алдашева и привезли их мне, чтобы я похоронил. Я догнал их и заставил заняться похоронами самих. И эти же самые мстители позже организовали роту в Камском полку. Так-то вот. – Генерал вынул из кармана мундира часы, отщелкнул крышку:

– И вот, что господа, хочу вам еще сказать в завершение нашего разговора. Я теперь генерал, а в прошлом офицер-окопник. Вы офицеры. А по сути-то мы – собратья по несчастью. Дисциплина и чинопочитание само собой, но доверие, спайка, твердость – на нынешнее время вещи не менее обязательные. Как там у Дюма в его мушкетерах – «один за всех и все за одного!». У ижевцев, по крайней мере, так. Вы-то, Смолин, знаете, а вот господа нет – у нас в одном полку воюют отец и сын. Ему шестьдесят четыре года, парнишке шестнадцать. И таких случаев немало. «Мы, – говорят, – большевики по Евангелию: «Возлюби Господа Бога своего и своего соседа». Замечательно стойкие в бою солдаты, жаль – повыбило многих... На замену намеренно прибыло пополнение, но какое... – Молчанов болезненно сморщился. – Молоденькие башкиры лет шестнадцати-семнадцати. Крестьянские ребята без малейшего представления о военном деле, да к тому же в большинстве своем ничего не понимающие и не говорящие по-русски. Посылать их в бой просто нельзя, преступление. Придется, господа, потрудиться, чтобы получить из них хоть какое-то подобие солдат. Главная задача в этом ложится на вас, Смолин, штабс-капитан Киржаев как опытный офицер будет под вашим началом, поможет.

– А я? – звонко поинтересовался Евстафьев.

– Вы, подпоручик, по старой памяти боевую роту примете. – Генерал встал из-за стола, вслед за ним разом поднялись офицеры. – Поговорю с командиром полка, чтобы он представил вас солдатам, как вы того заслуживаете. Их мнение для нас весомо. Такой порядок в дивизии. Все, господа, я вас не задерживаю.

* * *

Киржаев получил под свое командование сотню молодых башкир и сразу же понял, что преподать этим деревенским ребятам в короткий срок даже азы армейской науки и выработать у них привычку к дисциплине – дело невероятно сложное и скорее всего попросту невозможное. Однако, верный накрепко привитому ему чувству долга, принялся за дело с немалым усердием.

– Ну что непонятного, Ахкамов? – с истинно китайским терпением интересовался он. – Я же тебе десять раз объяснял – не под мышку приклад нужно совать, а к плечу прижимать покрепче. Мушка должна быть совмещена с прорезью прицела... Понятно или опять нет?

– Сензге минардан нэрсе кирэк («Я не понимаю, чего вы хотите от меня»), – испуганно глядя на мощную фигуру штабс-капитана, страшный лиловый шрам на его раскрасневшемся от гнева и бессилия лице, отвечал маленький и щуплый Хасан Ахкамов, и слезы выступали на его по-собачьи печальных глазах. – Жибирегез мине, чирлим мин («Отпустите меня, мне плохо»).

– Я тебе дам чирлим, – строжился уже научившийся понимать отдельные башкирские слова Киржаев. – Давай показывай прием по новой. На изготовку!

– Беззэн нэрсе кирэк? Хыйтлап бетерзе беде, эт. («Что ему нужно от нас? Совсем замучил, собака»), – слышалось за его спиной, и штабс-капитан резко поворачивался на голос. – Кто это сказал? В карцере сгною за такое обращение к офицеру!

Ни в какой карцер никого он не сажал хотя бы потому, что такового попросту не имелось. А бить новобранцев ни разу не поднявший руки на провинившегося солдата-окопника Киржаев уж тем более не мог. Ведь перед ним, по сути, были дети. Михаил это прекрасно понимал, потому и злился на свое «войско», и жалел его одновременно.

– Беззен ойге кайтасыбыз килэ. («Мы хотим домой»), – звучало в его ушах уже который день. – Без солдат тугел, без сугышыга телэмибез. («Мы не солдаты, мы не хотим воевать»).

«Конечно, не солдаты, – думал, обессиленно усаживаясь на поваленное дерево и вынимая из портсигара бессчетную папироску, Михаил. – Перебьют вас вместе со мной в первом же бою, если до того не разбежитесь. Что ж делать-то? Ведь не будет из моих трудов никакого толку, один конфуз. Тут и к гадалке ходить не надо».

Вдобавок ко всему его не оставляли тревожные мысли о Кате. Где же она? Что могло с ней случиться? По-

чему его письма в Славгород вернулись назад? Как-то, совсем замучив себя этими вопросами и самыми страшными предположениями о судьбе дорогого ему человека, он пошел поговорить по душам к Смолину. К нему, несмотря на короткое время общения, Михаил уже успел проникнуться немалым уважением.

Поручик сидел за столом, уронив голову на руки, и когда поднял лицо, Киржаев ужаснулся. Ни следа не осталось от не счесть сколько раз видевшего смерть в глаза, но никогда не унывающего человека.словно размазанное чьей-то безжалостной рукой, лицо Смолина потеряло свои волевые очертания, исчезла привычная для него смешинка в глазах. На обвисших серых щеках тяжелыми каплями застыли слезы...

– А-а, Миша, – Смолин хлопнул ладонью по столу. – Видишь, какой я? Вот оно как. Литр выпил, а все горит в груди, не потушишь. Садись.

Киржаев молча стоял у порога, с жалостью и страхом смотрел на своего товарища.

– Ребята наши, что уходили, вернулись из Ижевска. Опять воевать хотят. Рассказали... Сына моего Володьку, пятнадцать годков пареньку, краснюки убили. Повели его, жена моя вслед кинулась. Кричит: «Куда сына забираете?». Они говорят: «Иди и ты, узнаешь». Ну, и ее тоже. В овраг...

Поручик вытер тяжелой ладонью слезы с лица, высморкался в носовой платок.

– Хотел ведь он со мной идти, да я окоротил. «Кто, – говорю, – с матерью останется? Вдвоем-то получше будет». Вот теперь получше. – Поручик помотал, словно жеребец от овода, головой, глухо замычал. Киржаев все так же неподвижно стоял у двери.

– Ребята сказывают, – после долгой паузы вновь заговорил Смолин, – такое горе, как у меня, по всему Ижевску. Родным тех, кто за Каму ушел, мстили они беспощадно. На них отыгрывались. Не разбирали, баба там или парнишка еще сопливый, вот как с моими. Пулю в затылок – и в овраг. Переписчики по дворам ходили, считали всех, кого эти нелюди загубили. Знаешь, сколько насчитали?

Киржаев молчал.

– Семь тысяч девятьсот восемьдесят три души, – шепотом вымолвил поручик и закрыл глаза ладонью. Сидел так с минуту, потом отнял руку от лица и своим обычным, лишь немного подрагивающим голосом сказал:

– Давай, Миша, выпьем. – Он пошарил рукой под кроватью, поставил на стол зеленую толстостенную бутылку. – Помянем моих, царство им небесное.

Штабс-капитан снял фуражку и все так же, не говоря ни слова, сел к столу.

* * *

После ухода домой большинства рабочих ижевская дивизия вновь стала бригадой и под таким наименованием была брошена в бой 7 мая 1919 года. На вновь сформированный батальон, в котором Киржаев командовал полуротой, наскочили красные казаки Каширина. Танцуя в атаке на своих лошадях, они произвели большую панику среди молодых башкир, которые бросились на землю и уткнули лица в грязь. Офицеры и пулеметчики были перерублены.

Полурота Киржаева подошла к месту боя чуть позже, и тут же на нее налетели полтора десятка красных конников, по давней казачьей привычке рыскавших в округе в поисках легкой наживы. Услышав их молодецкий посвист и улюлюканье, увидев зловеще чиркающие по воздуху блестящие полоски шашек, подчиненные штабс-капитана замерли словно в оцепенении. Некоторые уже бросали винтовки, опускаясь на колени, шептали слова предсмертной молитвы.

Михаил вырвал у ближайшего солдатика трехлинейку, упал на колени и с изумившим его самого хладнокровием, словно на занятиях по стрельбе, выпустил по всадникам всю обойму. Рядом с ним зачастила еще одна винтовка, потом другая. Не желая испытывать судьбу, каширинцы повернули коней вспять. Главное они уже сделали.

Киржаев опустил винтовку, медленно вытер со лба холодный пот, повернулся к своим бойцам:

– Кто стрелял?

– Моя стреляла, – обнаружив неожиданное знание основ русского языка, ответил ему прямой как стрела, высокий худощавый парень.

– Молодец, Гареев! – от души хлопнул его по плечу штабс-капитан. – Молодец. Из тебя еще настоящий батыр получится. Ты сейчас главного врага, себя самого победил.

Парень наверняка не понял ничего из сказанного, кроме «молодец» и «батыр», но и этого хватило. Ширококостное лицо расплылось в довольной мальчишеской улыбке.

– Еще кто? Неужто ты, Ахкамов? Ну молодец! Спасибо, братцы! – рывкнул Михаил и гораздо тише добавил: – Вы ведь и меня сейчас спасли...

Однако этот малозначительный эпизод не изменил общей картины, и генерал Молчанов донес в штаб о небоеспособности бригады. Получив разрешение увести ее в глубокий тыл, он сделал переход в сотню верст. Утомленные таким маршем молодые солдаты провалились в беспробудный сон, отдыхая от потрясений.

Некогда элитная ударная часть таковой больше не являлась, но справлять панихиду по ней было еще рано. Вскоре в свои полки стало возвращаться все больше и больше ушедших домой рабочих, и словно выздоравливающий после тяжелой болезни человек, часть стала крепнуть, что со временем, не сразу, ощутил на себе так же окрепший противник. Красное командование наконец убедилось, что быть сильными всюду нельзя. После мартовского разгрома на Восточном фронте Москва стала сосредотачивать здесь большие силы, а затем пошла в решительное наступление.

Завязались тяжелые бои, в которых стороны зачастую не уступали друг другу. Долгие дни отступлений, наступлений, а затем уже одного последнего отступления слились для Михаила Киржаева в одну непрерывную цепь событий.

Звонко лопались белыми облачками шрапнели. С рвущим душу визгом летели и рвались гранаты. Фонтан земли в сорока шагах. Оседающий, медленно отползающий в сторону гнойного цвета дым. Едкий тротильный запах, от которого резко щекочет в носу. Комья глины бьют по спине. Когда же это кончится?..

Солдат слева свернулся в комок, заткнул уши, что-то торопливо шепчет, наверное, читает «Отче наш». Справа положил ладонь под голову, чтобы не испачкаться, смотрит, как ползет по травинке большой рыжий муравей. И опять разрыв, разрыв, разрыв...

– Встать!

Сам ротный в помятой фуражке, в сбитых сапогах, заросший давно не стриженной, клочковатой бородой и не ложился.

– Готовься к атаке!

...Сфотографируйте человека, когда он бежит мокрый от пота, выставив штык навстречу таким же людям, с такими же штыками на винтовках и, увидев потом этот снимок, он наверняка не враз поверит, что искаженная страхом, злобой и яростью физиономия и есть его лицо.

Еще после первой такой атаки на германской войне Киржаев навсегда запомнил, как плакали, смеялись, заливали окопы мочой и остатками пищи из раздираемых спазмами желудков его солдаты. Многие из них позже не могли вспомнить ничего с той минуты, как выскочили из сырой траншеи по его призыву и приходили в себя лишь спустя долгое время после возвращения из боя.

После той круговерти штыковой схватки, что случилась с ним еще весной 15-го, Михаил и не пытался больше никогда руководить своими подчиненными в таком деле. Знал, что это не имеет никакого смысла. Его бы попросту никто не услышал – так были заняты люди наиважнейшим в их жизни делом: отнимали чужие жизни, движимые в тот момент одной главной целью – сберечь свою.

По счастью, таких передраг в жизни Киржаева было немного, да много их, наверное, никто бы и не перенес. Даже если и сумел бы выжить, сохранить нормальный рассудок – вряд ли. За всю его личную гражданскую войну такого еще не было, но случилось все же 29 августа 1919 года во время последнего, поначалу удачного, а потом все же провалившегося наступления колчаковской армии на реке Тобол.

Происходящее было сродни повествованию из былинного эпоса. Рассвет еще не успел набрать полной силы, как на позиции первого полка ижевцев вышли из густого тумана плотные цепи противника, и красноармейцы с криком «ура!» бросились в штыки. Навстречу им, недавним рабочим и крестьянам, с точно таким же яростным криком выскакивали из окопов рабочие-ижевцы. Начался бой, отличающийся редким ожесточением. Забыв про винтовки, противники катались в обнимку по земле, грызли и душили друг друга.

Словно на экране синематографа много раз прокручивалась потом в голове Киржаева одна и та же «лента».

...Здоровенный фельдфебель из соседней роты зажимает под мышками винтовки двух пытавшихся его приколоть красноармейцев, не дает им их вырвать, а те в бессильном исступлении подступив к нему вплотную грызут бывалого вояку за щеки, брызжет на траву кровь из полуоторванного уха. Фельдфебель рычит, потом срывается на крик:

– Выручай, ребята!

Штык набежавшего ижевца мягко входит в бок одного из красноармейцев, и тот, выпустив, наконец, винтовку, валится навзничь, рядом падает другой... Поле перед окопами испятнано бугорками трупов. Каких больше – красных, белых – и не поймешь. Все свои...

Через несколько дней погиб командир седьмой роты подпоручик Евстафьев.

Накануне Михаил случайно повстречал его в штабе полка. Киржаев, не сдержавшись, порывисто обнял приятеля, а отстранившись, с удивлением и тревогой не увидел

на его лице обычного мальчишеского задора. Оно было непривычно сосредоточенным, словно сжатым изнутри невидимыми стальными скобами в неподвижную маску. Вяло отвечая на жадные вопросы Михаила, он два раза как-то нервно поежился, и тот, не удержавшись, спросил:

– Ты что, простыл никак?

– Нет, – коротко ответил подпоручик и неожиданно привычно широко улыбнулся: – Все рядом со смертью ходишь, а от нее холодом тянет. Вот и застудился видать.

– Ты ее, старуху, не поминай лишний раз, – при этих словах штабс-капитан даже снял фуражку и перекрестился. – Ни к чему кликать. Время наступит – сама придет, ждать не заставит.

– Это точно, – кивнул Евстафьев. – У меня в роте солдат был, вроде бы из раскольников, так он все, бывало, песенку одну напевал. Я ее записал даже, а потом и запомнил. Вот слушай:

– Смерть, а смерть, это ты?

– Это я, это я.

– А откуда ты пришла?

Где была, где была.

– А пришла ты не за мной?

– За тобой, за тобой.

– А уйдем мы далеко?

– Далеко, далеко!

– Не больно веселая песня.

– Ага, – вновь согласился подпоручик. – Скажи, ты, когда в бой идти, крестишься? «Отче наш» про себя читаешь?

– Да. Когда на германскую попал, поначалу бравировал этим, как и многие офицеры, особенно кто из студентов да гимназистов. Они это отсталостью считали. Но после одного случая... А ты?

– А я нет. Чего я себе должен милости просить, чтоб он спас и сохранил, по какому праву? Столько чужих жизней отнял, а за свою дорогую просить начну. Нет.

– Я крещусь. Я ж не лиходея, не кат. Он знает. Не я же все это придумал, людей друг на друга натравил. С тех спросится, а я что... Ладно, – махнул рукой Киржаев. – Говорят, ты с ножом в руке, как абрек с кинжалом, впереди своих солдат в атаку ходишь. К чему это, приколет какой-нибудь якобинец и вся недолга.

– Это еще приколоть надо суметь, – на лице Евстафьева на секунду мелькнула и тут же исчезла знакомая Михаилу горделивая мальчишеская улыбка. – А с ножом в атаку ходить я не сам придумал, у своих бойцов-пролетариев научился. Раз пошли на красных, малость постреляли, патронов нет. Так мои винтовки за спину, подоставали из-за голенищ здоровенные тесаки, какими у себя на заводе кожу резали, и вперед. Большевики тут же и драпанули. Потом комиссары писали в своих газетках, «психическая», мол. Сами они психи. Адики, как теперь говорят, – разговорившийся было подпоручик внезапно замолчал, снял зачем-то с головы фуражку и, повертев ее в руках, нацепил обратно так, как любил носить – козырьком на правую бровь. – А приколоть могут, конечно, это да. Впрочем, я такой же фаталист, как и поручик Лермонтов, хоть и не дотягиваю до него даже по чину. Верю в судьбу, в предопределение. Как там у него в «Герое нашего времени»? «Вы сегодня умрете». – «Может быть, да, а может быть, и нет». Чего это, кстати, меня в лирику потянуло, не знаешь?

– Нет, – невольно улыбнулся Киржаев.

– И я не знаю. Ладно, Мишель, прощай, что ли. Еще увидимся.

Однако увидеть Евстафьева Михаилу Киржаеву довелось в последний раз только мертвым. И вновь это произошло случайно. После очередной штыковой стычки он пошел разыскивать командира своего батальона, оказавшегося на другом участке, и по дороге наткнулся на кучку солдат, в мрачном молчании стоявших у лежавшего вниз лицом убитого офицера.

Еще не увидав лица погибшего, Михаил почувствовал сильную головную боль и тут же по светло-русым

волосам на плохо стриженном затылке узнал своего товарища. Сбился с быстрого уверенного шага на медленный и неровный, подошел вплотную, опустил на колени рядом с ним. Какое-то время ждал, пока хоть немного утихнет колотящий в виски молоток, затем, пачкая ладони и рукава о пропитанную кровью гимнастерку Евстафьева, перевернул его на спину. Ему помог ветеран-ижевец.

Один из штыковых ударов пришелся Сергею в лицо, распластал надвое щеку, обнажил в кровавом оскале ряд по-детски белых, не прокуренных зубов. Казалось, покойник смеется и над своей смертью, и над теми, кто пока еще остался жить. Михаил даже вздрогнул от прокатившегося волной по его спине ледяного озноба, но, взглянув в застывшие серо-голубые глаза подпоручика, успокоился и даже сквозь спазмы в горле улыбнулся. Это был все тот же Сережа Евстафьев – по сути своей не воинственный и не злобный парень, научившийся по воле судьбы недорого ценить и чужие, и свою собственную жизни. Такой же, как всегда, только мертвый...

– Семнадцать штыковых ран, – дрогнувшим голосом сказал немолодой уже рабочий с тронутым оспой худым лицом и, опустив на лоб подпоручика широкую тяжелую ладонь, закрыл ему глаза. Медленно снял с головы грязную засаленную кепку и, неожиданно всхлипнув, торопливо вытер ею хлынувшие из его глаз не по-мужски обильные слезы. – Они вот, они, сволочи, убили, – ткнул он кепкой в сторону застывших в немом страхе фигур пленных. – Мы их за Сережу нашего всех порешим.

– Скажете потом, где его похоронили, – попросил солдата Киржаев. Рывком поднялся на ноги и быстро пошел по полю, подталкиваемый в спину предсмертными криками пленных красноармейцев...

* * *

9 сентября 1919 года, когда измотанную боями и потерями дивизию ненадолго отвели во второй эшелон, к ижевцам прибыл адмирал Колчак. Это было уже второе посещение Верховным правителем России своей рабочей

гвардии. Впервые это произошло в 60 верстах от Кургана, в районе села Айрагульское. Тогда вместе с машиной адмирала пришло и несколько грузовых автомобилей с подарками для бойцов и офицеров отличившейся в боях части – папирасы, консервы, варенье, какао...

Ижевцы прошли церемониальным маршем, а затем Верховный сказал речь. Стоявший в первой шеренге во главе своей полуроты Киржаев хорошо запомнил сухое волевое лицо этого человека и то, как в одно мгновение из властного и уверенного взгляд его стал едва ли не заискивающим, как смутился и смешался адмирал, когда попробовал было заговорить о «рабочем вопросе».

Несколько затянувшуюся паузу нарушил зычный голос поручика Смолина:

– Не надо говорить, мы вам верим.

– До конца пойдем, – прогудели вслед ему сразу несколько голосов ветеранов-ижевцев.

В нынешний приезд адмирала вновь состоялся смотр, и вновь Колчак благодарил бойцов своей ударной части за новые успехи в последних боях, отметив, что дивизия при наступлении всегда шла впереди всех, а отступала последней и никогда не имела поражений. Генерал Молчанов был награжден орденом святого Георгия четвертой степени, получили награды и многие солдаты и офицеры. Сама же дивизия была удостоена Георгиевского знамени, которого ижевцы, правда, не увидели, поскольку оно, хоть и было заказано заранее, к торжественному моменту оказалось не готово.

– Намозолило Александру Васильевичу глаза, да, видать, и не ему одному наше знамя красное, – посмеивался потом в разговоре с Михаилом поручик Смолин. – Решил на Георгиевское заменить. Что ж, я лично не против, Георгиевское тоже хорошо.

– Я тоже, – кивнул Киржаев. – Согласись, по меньшей мере, неуместно ходить против красных под красным же знаменем.

– Мы так все решили, когда с большевиками-узурпаторами пошли биться, – уже без улыбки заговорил поручик. – Мы что ж, против революции и свободы поднялись? Шалишь, брат, это наше. Только нам такая свобода, какую Ленин с Троцким для настоящего трудящегося человека придумали, поперек горла. Это не свобода, а петля, какой нас и при татарах не душили, как знаю. Хуже, чем при этих, ни при какой другой власти не будет, потому против этой заразы и воюю. Да и другие тоже. Мы уж их свободы хлебнули во, – Смолин провел ребром ладони по лбу, словно стирая с него густо-коричневую полосу степного загара.

– Да... – вновь кивнул головой Киржаев, мазнув задумчивым взглядом по сереющей вокруг них сумрачной предвечерней степи. – Что там дальше будет – один бог ведает. Сладим с ними, разберемся как-нибудь. Ну, а не сладим...

– Слушай, Миша, – опустил на плечо штабс-капитана свою медвежью лапу Смолин. – Я не так много книжек читал, как надо бы, но одну, какую еще солдатом срочной службы читывал, хорошо помню. «Наука побеждать» называется, генералиссимуса Суворова. Так вот там Александр Васильевич знаешь что пишет?

– Там он много толкового пишет, – пожал плечами Михаил. – Ты что именно ввиду имеешь?

– А пишет он там про между прочего, – значительно поднял вверх похожий на снарядик от малокалиберной пушки-«макленки» указательный палец поручик, – вот что. «Только тот бьет, кто до смерти бьется». – Он опустил руку на колено и заговорил уже тише, словно потускневшим после сообщения о смерти жены и сына голосом: – Ты же знаешь, что, считай, у каждого нашего рабочего, хоть офицера, хоть солдата, всегда при себе револьвер имеется, чтоб если до края дойдет, пулю себе в лоб, но не к ним на терзание. Да что я тебе как новобранцу устав в уши дую, – махнул рукой Смолин, – сам все знаешь не хуже меня. Ладно. – Он поднялся на ноги, с хрустом в суставах потянулся. – Пойду вздремну в запас. Не верю я что-то, что нам долго тут отдыхать придется.

Как это обычно и бывало, многоопытный поручик оказался прав. Уже в ночь дивизия была брошена на помощь частям Уральской группы генерала Сахарова. 11 сентября утром ижевцы вошли в село Курейнское, занятое накануне 11-й Уральской дивизией. Казалось, что здесь вопреки всем законам природы по воле какого-то чудака-волшебника внезапно наступила зима. Словно первый невесомый снег устилал улицы пух из разорванных подушек, там и сям валялись горшки, ухваты, какое-то тряпье, прочая домашняя утварь. На месте многих домов курились последним дымком черные груды сторевших бревен да словно стволы зенитных орудий целились в неласковое небо печные трубы. Ночью спрятавшиеся при отступлении в селе красноармейцы и местные большевики порубили топорами шестьдесят уральцев.

– Представляете, руководил этой бандой местный священник, – говорил Киржаеву знакомый штабной офицер. – Подговорил, мерзавец, нападавших не выпустить из села начальника дивизии генерала Круглевского, да тому, слава богу, удалось уйти. А вот подлеца этого, святошу, мы захватили, – злорадно улыбнулся он. – Не успел-таки скрыться.

– И что с ним сделали?

– Как что? – вновь изумился офицер. – Расстреляли, конечно. Его и других разбойников, кого захватить удалось. Дома их сожгли, чтоб другим неповадно было.

– И все же как-то не верится... – задумчиво протянул Киржаев.

– Во что же вам, штабс-капитан, не верится?

– В то, что священник мог пойти на такое злодейство, да еще подтолкнуть к этому других.

– Э-э, батенька, – усмехнулся его собеседник. – Я вот лично этому уже не удивляюсь. Наши пастыри духовные и не на такое способны. Да вот вам случай. Комендант города Канска, это в Красноярском уезде, где от бунтовщиков никому покоя нет, капитан Мартын, мой приятель

еще по германской, письмо не так давно прислал. Так кроме прочего пишет, что у них как самый главный большевистский агитатор отмечен некто Орлов, священник довольно крупного прихода. Приятель пишет, что это артист, какого на столичных сценах поискать. На его проповедях люди слезами обливаются, клянутся, коль потребуется, за Совдепию погибнуть. А его последователь, тоже поп, Вашкорин, крестьян в красную гвардию записал, мало того, сам в нее первым записался. А вы говорите «не верится». Или вот еще, – офицер вытащил из кармана шинели сложенный вчетверо листок газеты. – Это мне уже после письма Мартына в руки попало, в одном сельском ревкоме нашел, да так с собой и таскаю, чтобы при случае кому показать. Большевистская газетка «Известия ВЦИК», правда, старенькая, еще за октябрь прошлого года, но тем не менее весьма интересная.

Подпоручик не спеша развернул газетный лист, привычно быстро отыскал нужную ему статью и принялся читать:

– «Письмо священника-коммуниста Алексея Горохова. Елецкий уезд, село Хмельница...». Насколько знаю, это верст пятьдесят с лишком от Вятки, – ненадолго прервав чтение, выдал справку офицер, после чего продолжил:

«Отцы, братья! Призываю вас немедленно признать Советскую власть, вступить в партию коммунистов, перестать мучить народ панихидами и молебнами. Забудьте корыстолюбие, оставьте сребролюбие. Идите помогать трудящимся и угнетенным, а не молиться за богачей. Великое светлое будущее несут трудящемуся народу коммунисты. Да здравствует Советская власть. Да здравствуют коммунисты. Прочь власть черных воронов, долой иезуита епископа Серафима».

– Крепко, видать, насолил ему этот Серафим, – покрутил головой Киржаев.

– Похоже, что так, – охотно согласился штабной. – А засим позвольте откланяться. Дела, знаете, личного присутствия требуют.

«Болтун, – лениво подумал Михаил, когда офицер, путаясь в полах длинной добротной шинели, торопливо ушел по своему делу. – Выспался, небось, хорошенько, в отличие от нас, так чего б и не поболтать. А про попов действительно чудно. Кто б подумал, что такие вот служители божьи объявиться могут. Чудно».

Но когда Михаил рассказал Смолину о том, кто руководил нападшими на уральцев большевиками, тот ничуть не удивился и, протяжно зевая – сказывались две практически бессонные ночи, – сказал:

– Сейчас все с ума посходили. Чем попы других лучше, тем, что рясы носят? У нас недалеко в Сарапуле тоже поп был Дронов, большевикам аллилуйю пел, пока восстание не началось.

Смолин потер кулаком красные глаза, полез за папиросами.

– А потом что было? – поинтересовался Киржаев.

– А что потом. Шлепнули его, да и вся недолга. Цацкаться, что ли, с ним, – вновь протяжно зевнул поручик и, мелко перекрестив рот, озабоченно добавил: – Нет, надо все-таки вздремнуть хоть немного, совсем с ног валюсь. Все ж не такой молодой, как ты, понимать надо.

– Практичный ты, Никодимыч, человек. Реалист до мозга костей, – со скрытым в усмешке уважением заявил Киржаев, – ничто тебя поколебать не может.

– Ошибаешься, Миша, – грустно посмотрел на него Смолин, – это привычка, просто ее, видать, не вытравишь. А так-то от меня, как узнал о Серегиной смерти, да еще о том, что Глашу мою вместе с сынком убили, одна оболочка осталась. Съело меня горе изнутри. Да только по нынешнему времени оно для многих дело обычное, и к нему люди притерпелись, живут, хоть и без радости.

Он немного помолчал, потом добавил:

– Ты бы, Миша, поберег себя. Хотя как тут побережешься, – обрывая сам себя, махнул рукой Смолин. – Это я так, от бессонницы размяк да расчувствовался. Паренька своего вспомнил да Сережу Евстафьева. Все на том. Пойду спать, и тебе б тоже не мешало.

Сентябрь прошел для ижевцев в почти непрерывных боях. Ценой больших потерь колчаковцам удалось еще раз принудить противника к отступлению, хотя и далеко не такому масштабному, как весной. Тем не менее, нанеся значительный урон противнику, 1 октября белые вышли к реке Тобол. Штаб ижевской дивизии разместился в деревне Гляденка, ее части – в деревнях по соседству. Батальону, где командовал полуротой штабс-капитан Киржаев, досталось Колесово. Наступило двухнедельное затишье.

Живущие в немалом недостатке жители приняли ижевцев радушно. Гостеприимные хозяйки, случалось, угощали их шанежками, да и сами солдаты находили приварок к казенному пайку – ловили раков, каких в многочисленных рукавах Тобола водилось великое множество.

Впрочем, только раками некоторые из солдат не довольствовались. К тому времени огонь гражданской войны изрядно выкосил когда-то сплошь рабочие ряды легендарной части, и теперь в ней все чаще встречались люди из другого «теста». Были среди них и те, для кого по большому счету было безразлично, на какой стороне воевать, была бы только возможность безнаказанно грабить, насиловать и убивать. Пока побеждают эти – держаться за них, начнут те переваживать – переметнутся к ним, да и вся недолга. Это было их время. Они его долго ждали и теперь желали насладиться им вдосталь, пока не вернется крепкая власть.

Имелись такие и в полуроте Михаила, и самым приметным из них по нахальству и жестокости был ефрейтор Горохов. Двадцатилетний парень, очень похожий на рисунки гориллы из книги Брэма «Жизнь животных», которой Миша Киржаев зачитывался во время учебы в реальном училище, причем некоторые страницы из нее отпечатались в его памяти с фотографической точностью, в том числе и этот, с обезьяной. Маленькие глазки под низким лбом, тупо и лениво обзирающие окружающую действи-

тельность, сутулая спина, свисающие чуть ли не до колен сильные лапы-руки, злобный и мстительный нрав – целый сонм внешне отгалкивающих черт и отвратных качеств в одном человеке, Павле Горохове. Такой человек неприятен и страшен и в обычной-то жизни, а уж на гражданской войне... Не зря ж расстреливать пленных комиссаров и коммунистов ефрейтор всегда вызывался первым...

Еще на подходе к Тоболу, когда батальон проходил через небольшое село, Горохов подошел к Михаилу:

– Господин штабс-капитан, разрешите воды напиться.

– Нет, не разрешаю. Незачем тебе по селу бродить. Встань в строй.

Когда миновали село и остановились на короткий отдых, Горохова среди своих солдат Киржаев не обнаружил. Как он сумел улизнуть – для Михаила так и осталось тайной, так же как и то, как он вновь появился. Сидел под кустами вместе с другими солдатами, покуривал трубочку.

– Ты где был? – офицеру очень хотелось смазать по розовой физиономии ефрейтора так, чтоб брызнули слезы из поросячьих глазок, но он сдержался.

– Так я, господин штабс-капитан, все время тут находился. Уж не знаю, как вы меня не приметили.

«Ладно, дружок, – усмехнулся про себя Михаил, чувствуя, что на смену раздражению и нервозности приходит спокойное, расчетливое желание сломать чужую злую волю, противопоставив ей свою. – Я тебя загоню под лавку».

Михаил посмотрел по сторонам и возле составленных в «костер» винтовок обнаружил объемистый, туго набитый мешок, в каких крестьяне хранят зерно.

– Чей? – ткнув пальцем в находку, спросил он у ефрейтора.

– А я почему знаю? Положил кто-то.

– Не твой часом?

– Нет.

– Хорошо, – улыбнулся в ответ Киржаев и, обращаясь к сидевшим вокруг солдатам, сказал: – Ну что,

братцы, посмотрите-ка, что в том приبلудном мешке, а коль что хорошее, поделите между собой. Только без Горохова, поскольку он мой запрет нарушил, из строя ушел.

– Да я... – физиономия ефрейтора перекрасилась из розовой в багровую. – Я...

– Все, – оборвал его Киржаев. – Приказы командира не обсуждаются.

После чего повернулся к ефрейтору спиной и, нахвистывая привычное «Как ныне собирается вещей Олег...», не спеша пошел дальше, довольно усмехаясь в усы.

Позже он еще не раз думал о том, что же делать с «предприимчивым» ефрейтором, наверняка способным в одном из будущих боев пустить пулю в спину своему командиру. То есть ему, Мише Киржаеву. Однако очень скоро все эти размышления из его головы вновь вытеснила одна-единственная, не дающая ему покоя ни днем ни ночью, мысль. О Кате.

В боевой обстановке такого с ним не случалось. Если и приходили в голову какие-либо не связанные с войной мечтательные мысли, то они, как правило, были лишь о том, что неплохо было бы сейчас поспать часиков десять-двенадцать, а еще лучше сутки. А потом водочки грамм сто пятьдесят, гречневой каши со свининой, да еще... Эх, гулять так гулять! Крепкого чаю с сахаром и лимончиком. Желательно стакана три-четыре.

Теперь же, когда удалось и выспаться сполна, и чайку напиток, мысли о далекой, но по-прежнему желанной Кате Олизко терзали его ум так безжалостно и неотрывно, как голодные собаки телячью кость.

Мучаясь по ночам от тисками сдавливающей виски жестокой боли, он не раз представлял, как некто в белом мундире, с моноклем в похабном глазу, целует ей запястье голый по локоть руки и, грассируя, мурлычет: «Догогая Катгин, как вы пгекгасны», а потом, прижав девушку к стене, тискает ее груди, скользит быстрыми руками по Катиным бедрам, поднимая подол ее платья... Путешествуя между сном и явью, Михаил мычал сквозь зубы, бил себя ладонями по вискам, не раз, усевшись на кровати, глядя в

темноту ночной комнаты, крутил мягко стрекочущий барабан револьвера.

Утром, когда штабс-капитан пил в одиночестве чай, в дом, где он квартировал, заглянул один из солдат его полуроты по прозвищу Колокольчик. Называли его так за бабье желание рассказывать все увиденное и услышанное всем, кто повстречается. Не ленился он и сам по знакомым пробежаться, поделиться новостью. Бывал бит за это лицами, в распространении кой-каких новостей незаинтересованными, но привычки своей не бросил. Не мог просто, природа не позволяла.

– Там, ваше благородие, господин штабс-капитан, – вполголоса зачастил он, – Горохов-то...

– Говори внятно, – оборвал его Киржаев. – Что там Горохов?

– Так он опять мешок с добром принес и хвалился, что там еще есть. В третью хату от вашей пошел. Там баба одна живет, вдова-солдатка. Хорошая баба, полна пазуха... Горохов-то говорит, грех такой не попользоваться. Он-то по этому делу мастак, не одну под себя подмял. Вы только не скажите где, что это я вам, а то...

Дальше Киржаев не слушал. Подпоясался ремнем с револьверной кобурой, крепко надвинул на лоб козырек фуражки и пошел в «третью хату».

– Не ломайся, красуля, – услышал Михаил, едва открыв дверь. – Не ломайся, а то шею сломаю. Давай добром, ты баба без мужика, сама потом спасибо скажешь. И не шуми, коль на всю деревню прославиться не хочешь.

Хозяйка дома жалась в углу комнаты. Прикрывая скрещенными руками грудь, тряслась в беззвучном плаче. Напротив ее, спиной к Киржаеву, по-хозяйски уперев руки в бока, стоял Горохов.

Михаил шагнул вперед, схватил ефрейтора за плечо, едва не оторвав ему рукав гимнастерки, и одним рывком отбросил Горохова на середину комнаты. Тот с трудом удержался на ногах, но тут же выпрямился, твердо уперся сапогами в пол. Киржаев взглянул ему в глаза и увидел, что ефрейтор ничуть не испуган и даже не удивлен.

Смотрел на офицера своим обычным ленивым взглядом, почти не пряча усмешки, словно хотел спросить: «Ну, что скажешь-то?».

– Так ты, значит, грабить любишь? Баб насиловать? – ласковым голосом поинтересовался Михаил. – Так тебе не к нам, а в банду какую надо было идти. А мы б тебя поймали да вздернули на суку. Давай тащи сюда ее барахло, что забрал. Ну!

– Не нукай, ваше благородие, – процедил через вздернутую вверх толстую гусеницу губы ефрейтор, – не запряг еще. – Он бросил взгляд в сторону хозяйки, нахально подмигнул Михаилу: – Поделится? – и смачно плюнул на пол.

Ох, как ненавидел еще с марта 17-го Киржаев таких как этот, потому и ударил, не сдерживая себя, вложив в короткий тычок всю свою силу и злость.

Горохов стукнулся затылком о стену, обрывая оконную занавеску, кулем повалился на пол. Штабс-капитан ухватил его за воротник гимнастерки, легко, словно детскую игрушку, вытащил волоком из дому и пустил с крыльца.

– Сбегай за нашими, – приказал стоящему с раскрытым ртом у калитки Колокольчику. Любопытство оказалось сильнее страха, и словно магнит железку властно притянуло того к месту событий. – Скажи, Горохов пьяным напился да с крыльца упал. Надобно прибрать.

– Ох и спасибо же вам, господин хороший. Ох, спасибо, – принялась благодарить его вышедшая на крыльцо хозяйка, пряча под платок выбившуюся из-под него рыжеватую прядь, и Киржаев невольно отметил, что она и впрямь недурна собой. Лет тридцати пяти, бесхитростный взгляд серых неярких глаз, крепкие плечи и бедра, мягко очерченная просторным сарафаном пышная, как взбитая пуховая подушка, грудь.

Михаил закашлялся и стал спускаться с крыльца, попутно пробормотав:

– Ладно, чего там. Пустое.

– Как же это пустое, – всплеснула руками женщи-

на. – Вы ж меня от этого аспида спасли. Нет, я вас так не отпущу. Пойдемте, хоть чаем напою с пирогами. У меня знаете, какие пироги, вы таких в вашем городе и не видали. Все бабы в деревне моим пирогам завидуют. – Она вытерла концом платка мокрое от слез лицо и неожиданно улыбнулась. Жалобно и призывно...

Михаила словно после парной из ушата ледяной водой окатили. Пробежали волной мурашки по телу, потянуло сладко в паху, подумалось: «Не надо, откажись». Но он уже сидел за столом и никак не мог понять, о чем спрашивает его заботливая хозяйка.

– Говорю, может казенки выпьете? У меня с давних пор для дорогих гостей припрятана, – подойдя к нему сбоку, заглядывала в глаза женщина.

Киржаев посмотрел на державшую бутылку водки полную загорелую руку, оценил такую же загорелую гладкую шею и, словно из окопа поднимался, махнул рукой:

– А, давайте. Скажите только, как вас зовут?

– По отчеству Глафира Филипповна, а лучше Глаша.

Михаил выпил стопку водки, потом еще одну, потом резким движением встал из-за стола и подошел к сидевшей напротив него хозяйке. Та встала ему навстречу, пытливо, словно бесстрашная пичуга на дороге, вглядываясь в глаза. Михаил крепко обнял ее за талию, притянул к себе, чувствуя, как сминается о гимнастерку укрытая сарафаном мягкая женская грудь. Запрокинул ей голову, лихо радочно и жадно целовал губы, щеки, шею...

– Подожди, – тихо попросила она. – Дай хоть дверь затворю.

Дальше все пошло по-военному быстро. Торопливо расстегнутые пуговицы на ширинке галифе, отброшенный в сторону ремень с наганом, вздернутый вверх подол сарафана, скрипучая кровать, несколько быстрых, резких толчков плоти в плоть, надрывный мужской стон и тишина.

– Бедненький ты мой, – наконец сказала она, – давай выпей еще. Что ж ты несчастный такой?

– Откуда ты знаешь, несчастный я или нет? – хрипло спросил Киржаев и, поднявшись с кровати, принялся

застегивать пуговицы на ширинке. Затем опоясался ремнем, привычно согнал складки гимнастерки за спину. – Откуда?

– А чего тут знать, – она встала рядом, погладила его шершавой ладонью по щеке: – это у тебя на лице написано.

– Ты меня прости, – попросил Михаил. – Этого прогнал, а сам...

– Не за что прощать. Ты ж меня не насильничал, я согласная была. Как ты его с крыльца пустил, так сразу меня к тебе и потянуло. Я ж не гулящая, а столько без мужика...

– Ладно, пойду я.

– Придешь-то еще?

– Приду, коль война позволит.

– Ох уж война эта, – вздохнула Глаша и потерлась щекой о гимнастерку на груди офицера: – И на кой она вам? Смотри, как тебя-то износила...

– Не я ее придумал, – Михаил подобрал оказавшуюся на полу фуражку, надел ее, привычно выправив ребром ладони козырек. – Все. Пошел. Провожать не надо.

* * *

– Ефрейтора этого кончить надо, – деловито сказал Смолин, выслушав рассказ Михаила о Горохове. – И никакого греха на душу тут не будет. От такой сволочи белый свет избавить – божеское дело.

Киржаев пришел к поручику после того, как притихший внешне Горохов, встретившись с ним один на один, ровным, бесцветным голосом сказал:

– Я тебя не боюсь. К начальству не пойдешь, у самого рыльце в пушку. Убью тебя, знай.

Насчет начальства ефрейтор был прав. Скрыть каждодневные, а точнее еженочные, посещения Глафиры Киржаеву от солдат не удалось. Прекрасно осведомлен об этом был и Горохов. Получалось, что штабс-капитан отбил у солдата бабу, а потом попользовался ею сам. Поступок с офицерской честью несовместимый, это ясно, а уж в тонкостях дела, душевном состоянии того офицера и прочей лирике и разбираться никто не будет. Отдадут

под суд, да и вся недолга. Писать же рапорт с просьбой перевести ефрейтора в другую часть Михаил считал слабостью. Да и причин к тому особых не было. Служил Горохов ревностно, в боях за чужие спины не прятался, а что сволочь, так это по случаю гражданской войны дело обычное. Из кого природное дерьмо вылезло, кого война оскотинила. Не повод, в общем, чтобы рапорты писать.

Однако получить пулю в спину в одном из ближайших боев штабс-капитану тоже не улыбалось. Так и не решив, как же ему поступить, выбрав время, пошел посоветоваться к многоопытному Смолину, которому, несмотря на недолгое их знакомство, доверял абсолютно.

Запасливый поручик выставил на стол бутылку самогона, радушная хозяйка дома, где он квартировал, – сытную закуску. Выпили, повторили и заговорили все о том же: о войне, своих и большевиках, но главным образом о союзниках, к которым Смолин относился с немалым презрением. И небезосновательно.

– Скопидомы, жулье! – ругался подвыпивший поручик. – Что они нам за российское золото, что в Каппель в Казани захватил, поставляют, а? Наши шинели, что еще с германской войны, кой-кому по пятому году уже служат, а новые японские через три недели носки расползаются. И американские такие же, потому как из всякой дряни да гнили сделаны.

Так и тех нет. Части, что в Сибири комплектовали, обмундировали хорошо, слов нет. Все английское, с иглолочки. Только боюсь, они в этом английском прямком к красным дунут, как бывало уже. А нам, кто себя не жалея сражается, чего? Шинелей и тех не хватает. Хорошо хоть у комиссаров немного добыли, когда к Тоболу шли, а то б и вовсе раздетыми осень, а там и зиму встречали. Да это что! Я тут поездил по разным частям, поменять одно на другое. Так мы благодаря большевикам, что с нами «делятся», еще терпимо, если с другими сравнивать, живем. В одной части видел, вообще ни у кого шинелей нет, вместо них одеяла выдали. В другой у нескольких стрелков вместо сношенных штанов попросту мешки, ровно юбки у баб, надеты.

Это как?! В 41-м уральском горных стрелков полку половина людей без сапог. По очереди в одних на двор ходят.

Смолин помотал возмущенно головой, плюнул на пол и потянулся за бутылкой, но, так и не взяв ее, вновь грохнул кулаком по столу:

– А ботинки английские? Это ж, это ж... – поручик даже задохнулся от возмущения.

– Это ж я знаю. – Киржаев взял со стола бутылку, наполнил стопки. – То привезут все на левую ногу, а коль на обе, так не намного лучше. Так ноги натирают, что люди во время перехода идти дальше отказываются, и упрекнуть их в этом трудно. Приходилось телеги у мужиков мобилизовывать, чтоб солдат по дороге не растерять. Давай выпьем.

Выпили. Смолин захрустел было соленым огурцом, но тут же, обрызгавшись рассолом, бросил его обратно на тарелку:

– А оружие? Это же вообще скотство. Присылают либо вовсе неисправное, либо изношенное совсем. Попросту от того хлама, что им непотребен, избавляются, да еще наши золотые за это берут. Вместо ручных «льюисов» прислали траншейные «Сент-Этьен»! На кой они нам при такой маневренной войне. Это ж не годами в окопах, как на германской сидеть. Потаскай-ка этих «слонов». Вот и бросают их попросту многие красным на подарки. Трехлинейки наши родные, мосинки, американцы по нашему заказу и в ту войну дерьмо делали – ты уж поверь, в этом я до тонкостей разбираюсь, а теперь и того хуже стали. В руках такую винтовку противно держать. Коли б ее на нашем заводе кто изготовил, его прилюдно б крапивой порол да с работы выгнали, а с этих как с гуся вода. Стрельнул разок с примкнутым штыком и тот тут же в сторону отлетает... – Поручик вновь ухватил с тарелки недоеденный огурец, не спеша его съел, а затем внимательным, абсолютно трезвым взглядом посмотрел на Киржаева:

– А теперь говори, Миша, зачем пришел. Не мои же речи о падлюках союзниках послушать, сто штыков им в печенку.

– ...Ты сам его не трогай, – напутствовал он через время Михаила, – найдется кому это сделать, чтоб и концов не нашли. Сбежал, да и все, война надоела. А вот баба та...

– А что баба?

– Вдруг докажет на тебя, что снасильничал ее, без суда не обойдется. У нас с этим строго.

– Не докажет, – убежденно сказал Киржаев, – она меня жалеет.

– Жалеет – это хорошо. Для бабы жалость что любовь, штука сладкая. – Поручик неожиданно замолчал, потом глубоко вздохнул, провел ладонью по фельдфебельским усам. – Хорошо, когда есть кому тебя пожалеть. Значит, нужен ты тому человеку, твоя печаль его становится.

– Ты чего это, Никодимыч? – удивленно посмотрел на него штабс-капитан. – Не замечал раньше за тобой таких сентиментальностей.

– И не заметишь больше, – пообещал ему Смолин и опустил Михаилу на плечо свою тяжелую руку. – Недолго мы знакомы, словно вчера с тобой да покойным уже Сережей повстречался, а все ж привязаться успел.

Он достал из кармана носовой платок, вытер повлажневшие глаза:

– Точно, слюнявиться стал, – сказал, словно оправдываясь. – У меня ж теперь, считай, нет никого. Понимать надо...

Убивать Горохова не пришлось, судьба все решила иначе. 14 октября 1919 года части Красной армии, обеспечив себе более чем двукратное преимущество в силах, перешли в наступление на реке Тобол. На участке Ижевской дивизии, где противник наносил свой главный удар, особенно горячие бои разгорелись за речную переправу в районе села Ялымское. Неожиданным ударом красные сбили с позиции защищавший переправу третий полк. Требовалось выправлять ситуацию. Часть Киржаева подняли в срочном порядке, так что Михаил не успел даже забежать попрощаться с Глафирой. «Жаль, – досадливо подумал он в суматохе сборов, – нехорошо так-то». Но мысль эта была мимолетной и больше к нему не приходила, было не до того.

На подходе к месту сражения батальон попал под артиллерийский огонь. Стреляли красные плохо, и лежавшие в цепи солдаты только посмеивались над ними. Глядя на вздымающиеся далеко за ними разрывы, даже шутили:

– Это не наши, это генеральские.

Один из последних орудийных выстрелов дал недолет, в середине цепи ижевцев с грохотом вздыбилась земля, а затем Киржаев увидел, как побрела из нее обратно в тыл одинокая, очень знакомая ему фигура.

– Стой! – заорал штабс-капитан и побежал догонять Горохова. – Стой, сволочь, застрелю!

Ефрейтор послушно остановился и, повернувшись лицом к подбежавшему офицеру, отвернул левой рукой полу шинели, правую он держал между ног. Низ его гимнастерки и брюки под ремнем набухали густыми пятнами крови.

– Вот, – плачущим голосом, сказал он. – Вот, ранило меня. Хозяйство осколком отшибло. На кой теперь... А-а-а! – протяжно завыл ефрейтор. – Сука ты, сука такая...

Глядя на залитую слезами, некогда розово-наглую, а теперь обмякшую словно перезрелый помидор физиономию Горохова, Михаил подумал: «А дураки считают, Бога нет. Есть. Всем по делам воздастся. И не только там, а еще тут, как вот этому». – «А тебе?» – спросил он у себя, но задумываться над ответом не стал, времени не было. Батарея красных укладывала снаряды все чаще и ближе к цепи ижевцев, немалый опыт подсказывал – противник готовится к атаке. Опять нужно было воевать. Штабс-капитан резко повернулся и, пригибаясь при недалеких разрывах, побежал к своим.

* * *

В тяжелых боях на Тоболе колчаковцы понесли большие потери, пополнить обескровленные части и соединения, в отличие от противника, было уже нечем – резервы и пополнения отсутствовали. Начался отход за реку Ишим.

Спустя несколько лет бывший царский полковник, вступивший в феврале 1920 года в Красную армию и сделавший в ней неплохую карьеру, закончившуюся смертью в тюрьме, Николай Какурин напишет: «Конец тобольской операции знаменовал собою конец организованного сопротивления противника. Его войска потеряли уже всякую боеспособность, и в дальнейшем армиям Восточного фронта предстояло преодолевать не сопротивление противника, а пространство».

Это было не совсем так. При том, что большая часть колчаковской армии отходила в беспорядке, ее отдельные полки и дивизии, в том числе и Ижевская, оказывали противнику организованное, а порой и ожесточенное сопротивление. Так продолжалось вплоть до выхода армии к Иртышу, последней водной преграде, прикрывающей столицу «Колчаки» – Омск. 14 ноября 1919 по едва ставшему льду ижевцы переправились через Иртыш в 60 верстах к югу от Омска. В тот же день город был сдан без боя.

17 ноября в штабе дивизии собрались командиры и старшие офицеры. Молчанова не было, уехал в штаб армии. Совещались о том, что делать дальше, если правительство падет и армия разложится. Доносились слухи, что в некоторых частях идет брожение, солдаты расходятся по домам, сдаются красным, что власть собирается захватить атаман Семенов, к которому присоединился находящийся во Владивостоке Керенский... Разошлись, договорившись крепко держаться друг друга, поддерживать порядок, дисциплину и доверие к своим начальникам. Наступала сибирская зима.

* * *

20 октября, перед самым отходом ижевцев за Ишим, Киржаев был ранен в левую руку осколком снаряда. Рана оказалась неопасной, но болезненной. Вдобавок он все чаще страдал от головных болей. Встретивший его как-то Смолин молча и сострадательно посмотрел на серое, искаженное болью лицо товарища и твердо сказал:

– Давай-ка, Миша, кончай воевать. Забираю тебя на время к себе в запасной полк, отдохнешь малость, поправишься. Командир твой – мой старый знакомец, противиться не будет.

В начале ноября ижевцам с трудом удалось выйти из замыкавшегося вокруг них кольца красных частей. Отбиваясь от наседавшего с трех сторон противника, они уходили все дальше на восток России, продвигаясь к Новониколаевску.

Ижевцы привыкли действовать дружно во всех случаях: в боях и походе. Поэтому и тыловые части дивизии шли сомкнуто, не разбиваясь и не перемешиваясь с другими. А вокруг царил хаос.

Полки и дивизии белых постепенно превращались в обозы. Сократившиеся иногда до 150 штыков полки пересаживались на сани – для быстрого отступления. Вместе с частями следовали семьи добровольцев и офицеров, беженцы – все, не желавшие остаться у красных. Больные тифом и раненые не покидали свои части и оставались в обозе, так как понимали, что их единственная возможность выжить – остаться среди своих. Бытовавшую среди красноармейцев поговорку «солдаты – по домам, офицеры и добровольцы – по гробам», здесь знали все.

С падением Омска прекратилось организованное снабжение армии Колчака. Не поставлялись боеприпасы, продукты питания, фураж. Все это без особых церемоний «добывалось» у местного населения. У крестьян отбирали лошадей и сани, зимнюю одежду и валенки, продовольствие и фураж. Тяжелей всего было частям, отступающим вдоль железнодорожной магистрали; тем, кто пробирался по боковым, удаленным дорогам через не до конца еще разграбленные села, приходилось полегче. Но ни тех, ни других не щадил тиф. Уже в октябре стали появляться первые больные. К концу ноября они составляли до пятидесяти процентов всего состава армии.

Участники событий со стороны красных рассказывали потом, что после Омска их части «вступили в сплош-

ную полосу тифа». Комиссар 27-й дивизии А.П. Кучкин вспоминал: «Начиная от станции Каргат до Новониколаевска, на протяжении 140 километров, обе железнодорожные линии были забиты вагонами с колчаковским имуществом... Многие поезда были заняты под полевые госпитали, санитарные летучки. Все они были завалены больными тифом и трупами... Трупы валялись повсюду: на каждой железнодорожной станции, в каждой деревне. Горы, штабеля трупов...».

Большинство сформированных в Сибири колчаковских частей охватило повальное дезертирство. Люди попросту не желали отступать вместе с армией в неизвестность, предпочитая остаться дома. Да и воевать, по большому счету, всем уже надоело.

И все же они еще сопротивлялись. 9 декабря командующий 2-й армией белых генерал Войцеховский попытался организовать контратаку, чтобы выбить красных со станции Чулым, расположенной в 150 километрах от Новониколаевска, и дать время застрявшим эшелонам продолжить эвакуацию. Ижевцы вместе с остатками 13-й Сибирской дивизии контратаковали передовую бригаду 27-й дивизии красных, однако под угрозой окружения поспешно отошли. Времена лихих ударов ушли в прошлое...

* * *

Перестав принимать участие в боях и отвечать за кого-либо, кроме самого себя, Михаил Киржаев словно потерял опору, заставлявшую его все время держаться прямо, быть всегда собранным и волевым. Еще недавно бравый штабс-капитан зарос черной, с заметной проседью бородой, поменял офицерскую шинель на заплатанный полушубок-барнаулку, стал еще больше молчалив и неулыбчив. Благодаря стараниям тоже осунувшегося, но не утратившего хозяйственной жилки Смолина, Михаил мог наконец-то отдохнуть. Рука заживала медленно, плохо еще работала кисть, однако дело явно шло на поправку. Беда была в другом.

Сносная пища, возможность вдоволь выспаться, пусть и в трясущейся телеге, а затем под скрип полозьев, укрепили его тело. И тогда мучения от саднящей раны, головных болей, голодных спазмов, натертых в многоверстных переходах ног, режущего глаза «песка» бессонных ночей сменились сначала полным равнодушием ко всему окружающему штабс-капитана миру, а затем тягучей удушливой тоской.

Почти в каждом селе, где они останавливались на ночлег, Смолин разживался самогоном. Сидели друг напротив друга, молча пили, механически пережевывали немудреную закуску, до горечи во рту курили. А потом, прикрывшись тулупчиком на каком-нибудь топчане, а то и просто на полу, Киржаев пытался складывать в затуманенном, болезненно отзывающемся на каждую осознанную мысль мозгу, письма Кате:

«Прости... Будь только жива... Не получилось... Не увидимся... За что нам это все... Господи, не оставь нас милостью своей. Не дай в трату...».

Как-то раз в полузабытье увидел вдруг сидевшую на краю топчана Глафиру Филипповну, Глашу. Простоволосую, в белой ночной рубашке. Гладила его своей шершавой крестьянской ладошкой по раненой руке и шептала:

– Бедненький ты мой, бедненький...

Киржаев вскинулся на постели, пошарил рукой в темноте. Никого. Отер ладонью соленую влагу со щек, подумал: «Во, дошел-то», шмыгнул по-мальчишески носом и вскоре уснул.

Ночное происшествие словно отрезвило Михаила. На следующей же остановке на ночлег он сбрил бороду, почистил давно не вынимавшийся им из кобуры револьвер и винтовку, которую по его просьбе принес из обоза Смолин.

– Зачем тебе она? – поинтересовался он у Киржаева.

– Чую я, Никодимыч, скоро нам с тобой воевать придется.

– С чего вдруг, красных впереди нет.

– Будут. Ты уж мне поверь...

Обходя занятый 14 декабря пятой Красной армией Новониколаевск, ижевцы вышли на Маслянино, а затем на большое горнозаводское село Егорьевское. Там к двигавшемуся в авангарде запасному полку и обозам присоединились стрелковые части и штаб дивизии во главе с генералом Молчановым. Вечером к нему неожиданно вызвали Киржаева.

– В октябре первую Сибирскую армию вместе с моим третьим Барнаульским полком сменили другие части, а нас отвели с Ишима на переформировку и пополнение. Полк отправил в Барнаул, а сам я получил распоряжение остаться в Омске по поручению начдива первой Сибирской дивизии генерала Мальчевского. Это было уже в последние дни перед сдачей города красным. Беспорядок и суeta везде и всюду. Станция забита поездами, город – обозами, частями с фронта и вновь формируемыми, – услышал, входя в комнату, Михаил. За небольшим столом с самоваром сидели двое – по одну сторону командир ижевцев, по другую щеголеватый, подтянутый полковник с фигурой гимнаста. На скуластом, гладко выбритом лице глубоко посаженные, умные глаза.

– Штабс-капитан Киржаев по вашему приказанию... – бросил руку к шапке-сибирке Михаил.

– Присаживайтесь, Михаил Петрович, – показал рукой на свободный стул генерал. – Вот представилась возможность познакомиться вас с вашим земляком, решил не упустить, сделать вам приятное. Почаевничайте с нами. Мы тут с Александром Иннокентьевичем невозвратное боевое прошлое наших славных сибирских частей, зиму 15-го года в Польше вспоминаем. Страшные были тогда бои с немцами у знаменитой Воли Шидловской и в Болимовском лесу.

– Командир третьего стрелкового Барнаульского полка полковник Камбалин, – встав из-за стола, протянул руку гость генерала.

– Бывший начальник Славгородского гарнизона штабс-капитан Киржаев. – Михаил пожал протянутую ему

ладонь, отметив, что по крепости она мало уступает его собственной.

– Так вот вы откуда, коллега, – улыбнулся полковник. – Я тоже теперь уже бывший городской воинский начальник. Отвечал в последнее время в Барнауле, как говорится, за все.

– Как Славгород, не знаете?

– Он у красных. Взяли еще второго декабря. Ваш город?

– Мой. Отец там, невеста... Была.

– Понятно.

– К столу, к столу, господа! За чаем поговорите. А хотите, и покрепче чего найдется, – махнул рукой Молчанов.

Киржаев снял шапку, уселся за стол, с наслаждением обхватил ладонями стакан с горячим чаем, сделал несколько глотков и блаженно откинулся на спинку стула.

– А все ж хоть и была в техническом отношении тогда война кровавее и беспощаднее, чем нынешняя наша усобица, но враг был достойный и благородный, такой ненависти и злобы к нему, издевательств и пыток не было. Сейчас же человек человеку воистину волк, – задумчиво и печально сказал Камбалин. – Сама атмосфера, кажется, душит.

– Расскажите, как там в наших краях, господин полковник, – движимый как любопытством, так и просто желанием побыть в тепле, попросил Михаил. – Больше года там не был, а это ведь моя родина.

– Получил распоряжение вернуться к полку, – продолжил рассказ Камбалин, – прибыл в Барнаул. Обнаружил, что власть кончается на окраине города, дальше ее нет, одни разбойничьи банды, именующие себя партизанами. Особенно сильная и активная некоего товарища Рогова. Бывший фельдфебель, и, видать, неплохой, отлично знает местность, огромная популярность среди крестьян. Благодаря всему этому уже с весны терроризировал целый ряд районов в предгорьях, а к осени добрался и до пригородов – стал совершать налеты на окрестные деревни, оставляя барнаульские базары без продуктов.

Был случай, когда команда нестроевой роты моего полка, посланная за сеном в деревню Затон на правый берег Оби, вернулась без подвод – отобрали партизаны, да при этом избили солдатиков так, что они едва в город удрали.

Кстати сказать, не лучше роговцев показали себя и некоторые наши вояки, особенно из тыловиков, участвовавших в карательных экспедициях против крестьян. Свои поборы и грабежи они именовали «реквизициями». Развращенные безнаказанностью, попустительством властей – палачи, а не солдаты. По мне, они те же большевики, только с погонами. Все эти отряды особого назначения, «голубые уланы» ... – полковник брезгливо поморщился, махнул рукой. – Да что тут говорить. Следствием «плодотворной» работы этих господ стало окончательное озлобление мужика против власти.

Железнодорожное сообщение с Новониколаевском прерывалось по несколько раз в неделю. Партизаны крушили все – мосты, разъезды, телеграф. Слухи ходили один глупее другого. Ну, скажем, рассказывает баба: «Пропустили они всех большевиков в Сибирь, а сами в Совдепию уехали. Соглашение между ними состоялось, чтобы поменяться местами. И большевики теперь уже за Новониколаевск проехали, а Рогова президентом Алтайской республики назначили. Сама от офицера слышала. Он сегодня со своей частью тоже уезжает». Но слухи слухами, – лицо Камбалина вновь стало серьезным и жестким, – а действительность-то была совсем не веселой. Убийства из-за угла, грабежи по ночам, стрельба на окраинах. Те, кто позажиточней, стали припрятывать ценности, одеваться в отрепья – а ля пролетарии. Другие, кто покрепче духом, – вступать добровольцами в наш полк и в уланы.

На меня возложили временное командование частями войск Барнаульского и Бийского гарнизонов с задачей во что бы то ни стало обеспечить владение этим районом, важным как в стратегическом, так и в экономическом отношениях, ибо край этот всегда изобиловал запасами хлеба, мяса и других продуктов. Надо только сказать, господа,

что во время мировой войны одна только станция Барнаул ежедневно грузила и отправляла на фронт до десяти вагонов мяса из запасов огромных, прекрасно оборудованных холодильников Военно-промышленного комитета.

– Богато жили, что и говорить, – вздохнул Киржаев. – Как-то теперь новые хозяева с нажитым обойдутся?

– Вопрос риторический, – усмехнулся Камбалин. – Так же, как и везде. Взять и поделить поровну. А поскольку ровнять можно только от большого к малому, а алтайский хлебороб российского куда зажиточнее, то у большевистских комиссаров в Барнауле скоро забот побольше моих былых станет. Впрочем, это уже дело политическое, а я солдат и от этого грязного занятия всегда старался держаться в стороне. Но не зря говорят на Востоке – если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе.

Вскоре по приезду в Барнаул приходит ко мне председатель уездной земской управы господин Каллистратов, типичный интеллигент-народник. Разговариваем один на один, и начинает он вести такие речи. Омское правительство-де оказалось несостоятельным вывести страну из создавшегося тяжелого положения, власть скоро перейдет в руки представителей земства и общественности, война должна быть закончена миром с большевиками, которые-де теперь уже не те, многому научились и сумеют восстановить порядок и хозяйство. Довольно крови, мы – братья. Достаточно вашего слова – и Барнаул будет спасен от разрушения и жертв. Всем господам офицерам прощение и сохранение занимаемых положений, вы будете назначены командующим Барнаульским округом, и прочее. Долго и сладко поет эту большевистскую песенку, а я терпеливо слушаю. Дослушал и говорю, что принял и выслушал его как частное лицо, а не как представитель военной власти, иначе дело это могло принять для него дурной оборот.

– Отпустили вы этого гуся? – поинтересовался Молчанов.

– Отпустил.

– Зря. Ведь это, по сути, большевистский агент был. По нему веревка плачет.

– Она для него и у красных найдется. Думает, дурак, своим им будет. Нужны им такие, хлеб казенный переводить. – Михаил встал из-за стола и потянулся со стаканом в руке к самовару. – Простите за бесцеремонность, господин генерал, очень уж чаю горячего хочется.

– Да уж стакан-то чаю вы точно заслужили, штабс-капитан, – улыбнулся Молчанов. – Наливайте смело, не тушуйтесь.

– Налейте и мне, будьте добры, – подвинул свой стакан Камбалин, – погорячее.

– Вскоре нам действительно стало куда горячее, – отхлебнув глоток чая, продолжил он. – Несколько дней назад, третьего или четвертого числа, докладывают, что меня желает видеть полковник Бранденбург, а может быть, Бранденбургер – точно не помню. Входит изможденный, одетый в штатские отрепья пожилой человек и сообщает ужасную вещь. Он, начальник отряда, действовавшего на Семипалатинском направлении, только что пешком с семьей и несколькими офицерами добрался до Барнаула со станции Алейская, что в восьмидесяти верстах от города. Там три дня тому назад вспыхнуло восстание на одном из бронепоездов.

Восставшие артиллерийским огнем расстреляли другой бронепоезд, разгромили штаб отряда и подняли восстание в 45-м и 46-м Сибирских стрелковых полках. Перебили почти всех офицеров и передались красным. Он с семьей чудом уцелел и спасся бегством в степь. Все это значило, что для города обозначилась уже непосредственная угроза, тем более что он был наводнен тайными агентами красных, которые при содействии местных большевиков – рабочих пимокатных, канатных и других заводов, а также железнодорожных мастерских – вели просто бешеную пропаганду, сея смуту и панику в населении и деморализуя части войск. Ловили мы не раз в казармах полка агитаторов и расправлялись с ними без жалости, но появлялись новые, и результаты их работы были весьма «плодотворными». Ушел к красным караул железнодорожного моста, и пришлось, дабы не было больших

неприятностей, разоружить две ненадежные роты из железнодорожного охранного батальона. Да и свой третий батальон, пополненный из прифронтового полка, я тоже до поры полностью вооружать не стал. В пополнении-то сплошь мужички-бородачи, фронтовики бывшие. Народ ненадежный, а впереди-то явно бои.

И вот началось. Первые атаки партизан на город отбили мы с большим для них уроном. Узнали от оставленных ими раненых, что это армия товарища Мамонтова, а с ней и наши бунтовщики из 45-го и 46-го полков. После этого красные прислали через какого-то общественного деятеля Плотникова предложение сдать им Барнаул без боя, обещая всякие гарантии, амнистии и прочие блага, но мы с ними, понятное дело, даже в переговоры вступать не стали.

С утра девятого числа пошли они в наступление по всему фронту, причем при поддержке бронепоезда, что бунтовщики захватили, но мы опять их отбили. Но чувствую, что люди устали и резервов никаких, а главная беда – полная невозможность наладить связь со штабом фронта. Где регулярные части красных, как далеко они уже продвинулись, не окажемся ли мы в итоге, сражаясь за город, в их кольце? Попытка связаться с Новониколаевском снова не привела ни к чему: где-то в районе станции Черепаново партизаны перерезали пути и провода. В общем, 10 декабря Барнаул был оставлен... – вздохнул Камбалин. – На пути к Новониколаевску начались бои с партизанами, особенно жаркий – в селе Тальменка. От захваченных пленных выяснилось, что мы имели дело уже с регулярными частями Красной армии. Сомнений больше не стало – Новониколаевск оставлен. Если бы мы задержались в Барнауле на день-два дольше, единственным выходом, и то гадательным и чреватым неблагоприятными последствиями, было бы отступление на Алтай и Монголию.

На совещании решили двигаться на восток в Кузнецкий уезд до установления связи с частями отходящей армии. Я приказал начальникам частей разгрузить парки и обозы от излишнего груза, орудия поставить на платформы или разобрать и везти на санях; всех солдат и офицеров

вооружить винтовками и всех лишних нестроевых чинов поставить в строй. Бронепоезд разоружить и подорвать, пулеметы с него передать в строевые части.

Пришлось бросить около тысячи пудов овса, вывезенного из хлебного Барнаула. Все выездные городские шикарные экипажи и сани попали в руки новых владельцев в лице мужичков Тальменки и Наумовой, – невесело усмехнулся полковник. – Лошади необходимы были для орудий и снарядов. Повезло с погодой. Дни стояли тихие, ясные, морозы для сибиряков не особенно крепкие. Питались хорошо, настроение у людей было бодрое, но приходилось все время быть настороже – край вокруг просто кишел партизанами и бандитами. Неподалеку отсюда, в деревне Маслянино, устроили мы им небольшой машкерад.

– Это как? – улыбнулся Молчанов и крепко потер ладонью слипающиеся глаза.

– А вот как. Наш конный авангард, не доходя до села, известил местный совдеп, что идет Красная армия, встречайте, и совдепщики действительно устроили им триумфальную встречу с красными флагами, плакатами и торжественными речами да целой толпой зевак. Полковник Андрушкевич, как хороший актер, изображал красного командира. Выспросил об имеющихся запасах фуража, продовольствия и численности местных партизан, а потом скинул с плеч бурку. Можете себе представить, как вытянулись рожи у совдепщиков, когда они увидели на его плечах золотые погоны. Словно воробы по деревне прыснули. Из Маслянино двинулись на Егорьевское, а тут и вы. Думали, плохи наши дела, а они оказываются и того хуже. Армия под командованием уже Каппеля отходит в полном беспорядке.

– Не вся армия, – отметил Молчанов, – ваш полк, насколько мне известно, сохранен как боевая единица, да и наша дивизия, от которой сейчас и полка по штатам мирного времени не осталась, сохраняется в полном порядке. Нам у большевиков не оставаться, биться с ними будем до конца. – Он легонько прихлопнул ладонью по столу, взглянул на Киржаева:

– Вас, господин штабс-капитан, я более не задерживаю. Передайте Смолину, пусть готовится к выступлению. Запасной полк как обычно выступит первым и будет идти впереди дивизии в одном-двух переходах. Будем двигаться на Щегловск, там наши. Далее через тайгу на Мариинск.

– Пройдем ли тайгу – то? – вздохнул Киржаев.

– Отставить панику, – Молчанов кинул в его сторону мгновенный, обжигающий взгляд и тут же смягчился: – Вам ли малодушничать, Киржаев, такое повидали. Пройдем. До океана дойдем, если потребуется. А вот уж там ничего больше не останется, только нырять. Все, свободны.

– Пойду и я, – поднялся вслед за Киржаевым и Камбалин. – Вопросы расквартирования частей на ночлег, господин генерал, мы обсудили, маршрут движения – тоже. Нужно немного отдохнуть для пользы дела.

– Подождите, полковник, – Викторин Михайлович встал из-за стола, протянул руку Камбалину. – Желаю удачи... Всем нам, в нашей России.

Командир Барнаульского полка молча пожал его ладонь, затем попрощался за руку и с Киржаевым. Задержавшись в дверях, бросил прощальный взгляд на товарищей по оружию, четко, словно на строевом смотре, кинул сжатую ладонь к папахе

– Честь имею, господа.

Глава седьмая

В Москву Владимир Мишуков и Ольга Линник прибыли в первых числах апреля. Трамваи по городу уже не ходили, и к сестре Ольгиного мужа Софье они добирались пешком. Попробовали было нанять извозчика, но, услышав названную им плату за проезд, к другим и подходить не стали. У них и всей оставшейся после долгой дороги наличности – пачки потертых керенок да нескольких еще царской печати рублей на пяток таких поездок не набралось бы, а деньги требовалось экономить.

Жителей столицы на улицах было довольно много, и все, как один, с озабоченными лицами, пустыми, устрем-

ленными в неизвестное приезжим далёко глазами. Замотанные в самые разнообразные хламиды, заиндевевшие, часто с обмороженными щеками и носами, они двигались цепочками по протоптаным между почерневшими сугробами тропинкам. Шлепали подошвами сбитых сапог и ботинок по талому снегу и лужам, тащили за собой салазки с дровами, щепой, мешками, в которых угадывалась мерзлая картошка. Те, у кого саночек не было, несли мешки на плечах. За запыленными витринами магазинов, под вывесками «Братья Бландовы», «Магазин Елисеева» было пусто. У других, небрежно намалеванных бледными красками «Военная комендатура», «Призывной стол», переминались с ноги на ногу небольшие кучки мужчин, чаще в военной форме.

Окна облезлых домов щетинились прожорливыми «стволами» труб печек-буржук, на пищу которым, похоже, пошли все московские заборы и телеграфные столбы, поскольку на улицах они не встречались вовсе. Зато имелись целые оравы бойких мальчишек-торгашей, дергающих за полы многочисленных прохожих и заунывно курлычащих: «Папирос, папирос, и ирисок, и сахара». Пожилые, почтенного вида дамы предлагали пирожки, булочки и пончики. Володя поинтересовался ценой, и так же, как в случае с извозчиком, молча пошел дальше, увлекая за собой решившую поторговаться Ольгу.

– Далеко нам еще? – спросил он немного погодя.

– Не очень. Главное, чтобы Соня или Петр дома были. Соня – старшая сестра моего погибшего мужа. Мы с ней и виделись-то всего два раза, но друг другу приглянулись. Так что там нас приютят на первое время, а потом найдем где жить, что делать.

Они прошли через небольшой переулок, где несколько москвичей, вооруженных железными крюками, рылись в руинах полустгоревшего дома, выживая из завалов обвалившейся штукатурки и разбитых кирпичей обломки досок. Безобразие картины усиливала торчащая ввысь обугленная печная труба. При виде незнакомых людей они ненадолго прервали свое занятие, настороженно

вглядываясь в их лица, а затем, решив, очевидно, что эта парочка никакой опасности не представляет, вновь рьяно взялись за дело.

Дверь с медной табличкой «Присяжный поверенный В.В. Портнов» («Везет же мне на них», – усмехнулся по себе Володя) открылась не сразу.

– Ну и что будем делать? – поинтересовался у своей спутницы Володя.

– Прежде всего не паниковать, – твердо ответила та и с удвоенной энергией принялась крутить ручку звонка.

– Кто там? – откликнулся наконец слабый женский голос.

– Это вы, Соня? Это я, Ольга, жена вашего брата, из Сибири приехала. Откройте.

В дверном проеме появилась худенькая фигурка в длинном халате и наброшенном поверх него зимнем пальто.

– Заходите. Я вас помню. Я Наташа, дочь Софьи Наумовны, – сказала черноглазая девушка лет девятнадцати и жестом пригласила гостей в квартиру. – Вы к нам приезжали вместе с дядей Самуилом. Почему вы не с ним и кто это?

– Это мой товарищ. Его зовут Владимир. А дядя Самуил... Его больше нет. Убили еще в прошлом году, когда чехи мятеж устроили.

– Понятно, – просто и обыденно сказала девушка. – Дядя ведь комиссар был?

– Комиссар, – осматриваясь по сторонам, подтвердила Ольга. – А где Софья Наумовна?

– Она умерла в прошлом году, – так же просто ответила девушка, – испанка. Есть такая болезнь. Разновидность гриппа – несколько дней и все. В газетах пишут, от нее во всем мире уже миллионы людей умерли. Даже большевистский премьер-министр Яков Свердлов говорят не уберется. Десять дней проболел и представился. Да вы проходите, не раздевайтесь только особо, у нас холодина страшная. Сейчас у всех в Москве так.

– У нас хлеб есть, воблы немного и даже чаю осьмушка, – решил вступить разговор Володя. – Можем чайничек сообразить?

– Можно...

– А папа ваш на службе? – обжигая губы краем жестяной кружки с чаем, поинтересовалась Ольга у Наташи несколько минут спустя. – Мы хотели спросить, нет ли у вас возможности приютить нас ненадолго, всего на несколько дней. Может быть, даже на два-три.

– Какая там служба, – невесело улыбнулась девушка, – знания и опыт Владимира Власовича Портнова нынешней властью пока не оценены и не востребованы. Специалисты в области знания законов бывшей Российской империи ныне не в цене. Вот когда им свои законы потребуются, тогда, может быть, и вспомнят. Так что папа мой поехал в крестьянскую массу менять последние более-менее ценные вещи на сало и муку. Когда вернется, не знаю.

– Вы меня простите, Наташа, – мягко сказала Ольга, – мне кажется, что к советской власти вы относитесь с каким-то пренебрежением. Почему? Трудности быта? Но они неизбежны при социальных потрясениях. Нужно только подождать, и жизнь станет более лучшей, а главное – более справедливой. Разве ради этого не стоит немного потерпеть?

– По-тер-пе-еть? – вразяжку переспросила девушка и, усмехнувшись, отставила в сторону кружку с чаем. – Вы знаете, какой раньше прекрасной была Москва? Я ее в особенности зимой любила. Белая пелена снега, все будто в сказке. Снег скрипит под полозьями саней и под ногами. У всех приветливые и улыбчивые лица, не то, что сейчас.

Магазины были полны товарами. Если зайдешь в булочную, то не знаешь, что и купить. На витринах разложено так много всевозможных свежих, белых и румяных, как спелое яблочко, пирожков и пышек. Мясные были полны хорошим мясом. А как хороша Москва была вечером... Со всех сторон сияют фонари. Снег на крышах и под ногами блестел различными огоньками, отчего она мне казалось еще величественнее... – Наташа встала со стула, согревая дыханием озябшие пальцы, прошлась по давно требовавшей уборки комнате. Остановилась напротив Мишукова.

– Мы переживаем революцию, где человек, как говорят, должен чувствовать себя равноправным гражданином, свободным и так далее, где жизнь должна развернуться шире, чем прежде, культура должна бы подняться на высокий уровень. Что же мы видим в этот желанный для всех момент? Начнем прямо с дома: квартиру уплотнили, и в соседство к вам без вашего позволения посадили людей, совершенно вам не знакомых, чуждых для тебя и не совсем приятных. Квартира холодная потому, что нет отопления и нет дров.

Многие поставили железные печи, провели трубы, но вместо тепла у них в квартире стоит вечный дым, а когда трубы остывают, из них течет, от чего настроение падает. Утром встаешь, и первый вопрос, который тебя сейчас же осаждает, «а что я буду сегодня есть?». Дети, не успев проснуться, из-под одеял и шуб, которые были на них набросаны, высовывают только один нос и кричат: «Мама, я хочу есть, дай хоть маленький кусочек хлебца!». Мать сердится и кричит, что хлеб стоит двести рублей фунт и что нужно есть меньше. Наконец ребенок не выдерживает этого и решает быть самостоятельным. Он отправляется в «Судпродком», то есть на Сухаревку, и начинает свою работу сначала помаленьку, а через некоторое время из него выходит маленький спекулянтчик. Тут он уже смело выходит на базар с мешком на спине, бойкий, нахальный, и кричит: «Мыло, спички, табак, махорку и десертинные спички покупаю!». Оглянешься на этого ребенка, покачаешь головой и проходишь, как будто это так и должно быть и что учиться не время.

– Так работайте! – раздражаясь, бросил Володя. – Кто вам мешает?

– Да-а-а... – саркастически улыбнулась девушка, – работать, значит, надо. А вы знаете, что такое классовый паек? Не знаете. Так я вам сейчас покажу.

Она подошла к этажерке у окна, принялась рыться в ворохе бумаг.

– Я, кстати сказать, работаю машинисткой в центральном доме профсоюзов и при том, знаете, не очень рос-

кошно живу. А вот она, – Наташа нашла нужную ей бумажку и, вернувшись к столу, протянула ее Мишукову. – Специально копию сделала для себя, поскольку документ очень уж жизненно важный. Вы, прошу простить, читать-то умеете? – поинтересовалась она все с той же саркастической улыбкой.

– Умею, – коротко ответил Мишуков, подумав при этом, что, похоже, пришло время для того, чтобы просто встать и уйти. Неужто в Москве кроме этой буржуйской квартирки приюта для них не найдется? Все поправила Ольга, которая, как уже давно заметил Володя, умела быть как бескомпромиссным бойцом, так и искусным дипломатом – в зависимости от обстоятельств.

– Он такие книги читает, про какие мы с тобой, Наташа, и не слышали, – рассмеялась она. – Большую тягу человек к знаниям имеет. Это плохо?

– Это очень хорошо, – девушка присела к столу. – Ему хорошо. Тягу имеет и возможность учиться тоже, поскольку гегемон, как я вижу. А я? – с обидой спросила она и, отвернувшись в сторону, потянула из кармана носовой платок. – А я? Я сторонник жестокой сознательной и упорной борьбы со старым миром, но кроме борьбы я непременно культуру, искусство, прогресс ставлю на первый план. Надо открыть двери для всех желающих на рабочие факультеты, а не только тем, у кого какие-то мандаты, рекомендации, да коммунистам. Почему я это говорю? Потому что меня больше всех волнует этот вопрос. Я два месяца не могу добиться туда направления, несмотря ни на какие старания с моей стороны, а значит не смогу и поступить в университет. Вы меня извините, – повернулась она к Володе, пряча в карман платок, – вырвалось. А бумажку, что я вам дала, почитайте.

Мишуков расправил листок и, пробежав глазами по машинописным строчкам, узнал, что все население столицы разделено на четыре категории. К первой отнесены все рабочие, работающие в особо тяжелых условиях труда, а также матери, кормящие грудью детей до годовалого возраста, и беременные женщины с пятого месяца. Ко

второй категории: все рабочие, занятые тяжелым физическим трудом, но «работающие в нормальной атмосфере и условиях, не связанных с потреблением кислот и вредных газов или не требующих крайнего физического истощения, женщины-хозяйки (без прислуги) с семьей не менее четырех человек, нетрудоспособные, находящиеся на иждивении своей семьи. К третьей: все рабочие, квалифицированные и неквалифицированные, занятые легким физическим трудом, женщины-хозяйки с семьей до 3 человек (без прислуги), дети до трех лет и подростки от 14 до 17 лет, все учащиеся различных учебных заведений (старше 14 лет), безработные всех категорий, состоящие на учете биржи труда и, кроме того, пенсионеры, увечные воины, инвалиды и прочие нетрудоспособные 1-й и 2-й категории, состоящие на иждивении своей семьи. В четвертую попали «все лица мужского и женского пола и семьи, живущие доходами с капиталов, домов и предприятий или эксплуатацией наемного чужого труда; лица свободных профессий и их семьи, не состоящие на общественной службе; лица без определенных занятий и все прочее нетрудовое население». Количество продуктов, выдаваемых по карточкам указанных четырех категорий, соотносилось между собой как 4:3:2:1. Была установлена и очередность в выдаче продуктов: в первую очередь владельцам карточек первой и второй категорий, во вторую очередь – третьей категории, а затем – четвертой.

– Ну и как вам?– поинтересовалась Наташа, когда Володя отложил листок в сторону и принялся чистить воблу. – Надеюсь, заметили, что по первой категории продуктов полагается в четыре раза больше, чем по четвертой, по второй – в три, по третьей – в два. Выдают их в первую очередь первой и второй категориям, потом третьей, а четвертой – если останется. Только вот что-то почти ничего не остается. Классовый принцип прослеживается четко – буржуям ничего, пустьдохнут.

Папа мой относится как раз к последней категории. У меня четверых детей, как вы, наверное, догадались, нет, а чтобы получить беременность на пятом месяце, в любом случае требуется время и источник этой самой беременности.

– Ну зачем вы так? – мягко сказала Ольга и неожиданно для Мишукова погладила Наташу по плечу. – Вы же культурная, воспитанная девушка и так говорите. Зачем?

– Зачем? – девушка сняла чужую руку с плеча. – Затем, что жить так невозможно. Несколько дней назад повесился хороший папин знакомый профессор Хвостов. Другой принял цианистый калий. В последние недели и он, и его жена тяжело болели. Не имея возможности достать ни еды, ни лекарств, ни даже позвать на помощь, они покончили жизнь самоубийством. Профессор Розенблат тоже совершил самоубийство.

Но не думайте, что это так легко: умер, зарыли и все. Нет, нужно иметь разрешение, иначе вас не будут хоронить. Но на кладбище вы имеете очередь, которую предварительно раньше нужно занять, ибо иначе можно простоять целый день. Уж поверьте, я знаю, – вздохнула Наташа. – Мы с папой стояли... И странно, что все как бы надели маски и играют какую-то роль один перед другим, – продолжила она после паузы. – Каждый замкнулся в себя и боится высказаться, потому что правду сказать нельзя, а нужно играть всегда какую-то роль, тем паче не подходящую к твоим взглядам и стремлениям. Нынешняя Москва мне представляется каким-то муравейником, который кто-то взял и пошевелил невидимой палочкой. Муравки-люди забегали, засуетились от неожиданности, и каждый думает только о том, как бы получше устроить свою жизнь, как бы достать где дрова, чтобы жить вновь так, как жил до невидимой палочки, где бы найти себе пропитание. При всех этих заботах разве есть место для душевных переживаний?..

Конечно, которым хорошо живется в настоящее время, безусловно, стоят за советскую власть, а те, которые голодные и переживают всякие невзгоды, говорят: «Хоть бы черт царствовал, а нам дай хлебушка!».

– Так что же думаете, Колчак даст? Его ждете? – жестко спросил Мишуков. – Не дождетесь вашего Колчака.

– Он такой же мой, как и ваш, – вспыхнула девушка, резким движением поднялась со стула. – Нашелся

тоже Александр четвертый. Только как я говорю, все думают. Думаете, мужик в деревне по-другому рассуждает? Да уверена, что точно так же. А мужик – это и есть Россия. У нас их восемь из десяти жителей. Я вот тоже, наверное, скоро в крестьянки запишусь, буду капусту и картошку выращивать.

– Это как же? – опять улыбнулась Ольга.

– У нас в учреждении организуют общественную запашку. Возьмем бесхозную землю, ее сейчас много, будем сами обрабатывать, а урожай между работниками делить. 15 февраля декрет вышел, по которому местные Советы обязаны выделять землю и необходимый инвентарь отдельным предприятиям и кооперативам. Попробуем заняться крестьянским трудом. Ладно. Накинулась я тут на вас, наговорила всякого, а вы с дороги, уставшие. Располагайтесь, живите сколько надо. Нас, правда, тоже уплотнили, но жильцы новые в отъезде. Его на Колчака по партийной мобилизации послали, а жена с детьми в деревню к своим уехала. Хорошая женщина, хоть и неразвитая совсем. Не дай бог узнают, что они съехали, да за взятку торговку какую поселят. Пропала тогда квартира...

Наташа вышла в коридор, предложив Ольге с Володей следовать за ней:

– Вот их комната. Они ее не закрывали даже, поскольку беречь нечего. Вещей у них почти никаких не было, а мебель наша. Была наша... Папа к ним в деревню и поехал за продуктами. Всего-то полторы сотни верст, а его уж третью неделю нет. Страшно мне что-то...

* * *

Выбираться утром из-под одеял и курток в ледяной холод нетопленной комнаты было непросто, но пришлось. На завтрак попили чаю с хлебом и остатками воблы, на обед Наташей был обещан тушеный картофель. Полмешка драгоценных клубней Портновым щедро оставила перед отъездом в деревню жена мобилизованного на фронт коммуниста.

– Как возвращаться будете, посмотрите по дворам на развалинах, в домах заброшенных, может, найдете какую щепу или доски, – попросила Володю Наташа. – А то у меня печку «кормить» уже совсем нечем.

Мишуков пообещал, надел подаренное адвокатом Сухотским пальто и отправился по указанному девушкой адресу в Совнарком. Надеялся попасть на прием к наркому продовольствия Цюрупе в надежде, что тот вспомнит матроса, посланного год назад за хлебом на Алтай, поможет устроиться в Москве и приобщиться к серьезному делу.

В бюро пропусков с Володей поначалу и разговаривать не захотели, пояснив, что таких тут сотни ходят и всем чего-то надо. Ишь ты, к самому наркому с улицы захотел. Но Мишуков, когда требовалось, был человеком упрямым. Вынул сбереженные в скитаниях партбилет и мандат Цюрупы, пустил в ход флотские выражения и пропуск к одному из не последних работников наркомата все же получил. И тут опять повезло. Еще с порога углядел Володя пороховой якорек татуировки на кисти ответственного товарища, крепко пожал ему руку и с ходу спросил:

– Флотский, братишка? Балтика?

– Точно. А ты из наших?

– Владимир Мишуков, крейсер «Баян».

– Андрей Семенов, линкор «Гангут». Здорово, браток. Откуда ты к нам?

– Из Сибири.

– Откуда?! Там же Колчак.

– Так вышло. Поехал с продотрядом в Алтайскую губернию за хлебом, с мандатом от товарища Цюрупы, а тут чех поднялся. Так вот там и застрял. С повстанцами был в Славгороде, в Барнауле немного в подполье. Долгая история...

Через час Мишуков сидел в небольшой приемной наркома продовольствия РСФСР. Ждал.

– Почитай вот пока газету, – протянул ему свежий номер вышедший из кабинета Цюрупы Семенов. – Свежая. Александр Дмитриевич, как только освободится, тебя примет.

Володя развернул газету. Это была «Правда» от 12 апреля 1919 года.

«Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта», – быстро пробежал он глазами по заголовку и дальше уже стал читать очень внимательно:

«...Победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвычайно грозную опасность для Советской республики. Необходимо самое крайнее напряжение сил, чтобы разбить Колчака.

Центральный Комитет предлагает поэтому всем партийным организациям в первую очередь направить все усилия на проведение следующих мер, которые должны быть осуществляемы как организациями партии, так и в особенности профессиональными союзами для привлечения более широких слоев рабочего класса к активному участию в обороне страны.

...Всесторонняя поддержка объявленной 11 апреля 1919 г. мобилизации.

Все силы партии и профессиональных союзов должны быть мобилизованы немедленно, чтобы именно в ближайшие дни, без малейшего промедления мобилизации, декретированной Совнаркомом 10 апреля 1919 г., была оказана самая энергичная помощь.

Надо в особенности добиться уяснения всяким и каждым мобилизуемым, что немедленная отправка его на фронт обеспечит ему продовольственное улучшение, во-первых, в силу лучшего продовольствия солдат в хлебной прифронтовой полосе; во-вторых, вследствие распределения привозимого в голодные губернии хлеба между меньшим количеством едоков; в-третьих, вследствие широкой организации продовольственных посылок из прифронтовых мест на родину семьям красноармейцев.

...Профессиональные союзы должны всюду, своими силами и средствами, произвести проверочную регистрацию своих членов для отправки всех, не безусловно необходимых на родине, для борьбы за Волгу и за Уральский край.

Заменить всех мужчин-служащих женщинами. Провести для этого новую перерегистрацию как партийную, так и профессиональную. Ввести особые карточки для всех членов профессиональных союзов и всех служащих с пометкой о личном участии в деле помощи Красной армии.

...По отношению к меньшевикам и эсерам линия партии, при теперешнем положении, такова: в тюрьму тех, кто помогает Колчаку сознательно или бессознательно. Мы не потерпим в своей республике трудящихся людей, не помогающих нам делом в борьбе с Колчаком.

Мы можем победить Колчака. Мы можем победить быстро и окончательно, ибо наши победы на юге и ежедневно улучшающееся, изменяющееся в нашу пользу международное положение гарантируют нам окончательное торжество.

Надо напрячь все силы, развернуть революционную энергию, и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал, Сибирь могут и должны быть защищены и отвоеваны».

«Крепко, – подумал Мишуков, – так вот и надо. Глядишь, дело пойдет. Сила у нас есть, вожди, товарищи Ленин и Троцкий, есть, значит бороться можно. А там поглядим, чья переважит».

– Товарищ Мишуков? – тронул за плечо призадумавшегося Володю секретарь.

– Так точно, – быстро поднялся со стула матрос.

– Входите. Товарищ Цюрупа вас ждет.

У наркома были те же зачесанные назад, только отмеченные недавней проседью волосы, то же приветливое, только больше прежнего осунувшееся лицо, да вместо гимнастерки пиджак и поношенная, но свежевывестиранная сорочка с галстуком.

Цюрупа внимательно прочел выписанный им же мандат, раскрыл сложенную вдвое картонку партбилета.

– А знакомого вашего, Александр Дмитриевич, адвоката Сухотского, я в Барнауле повидал, – решился нарушить тишину Володя. – И даже жил у него какое-то время. Слова ваши ему передал.

– Вот теперь я вас вспомнил, – поднял на него глаза хозяин кабинета. – Отряд ваш как отправляли, сразу припомнил, а вас вот сейчас. Да-а, помотало вас.

– Это точно, – улынулся Мишуков, – будто в кругосветку ходил.

– И как там мой давний знакомый?

– Сказать честно, обычный приспособленец. Но человек хороший, он меня крепко выручил.

– И то хорошо, – Цюрупа протянул ему через стол документы. – Ну как вам Москва, товарищ Мишуков?

– Голодно тут. Да и холодно тоже.

– В Сибири что ж, теплее? – едва заметно усмехнулся нарком.

– Там в домах топят, дров не жалеют и насчет хлеба тоже не сравнить. Про другие места не скажу, а на Алтае...

– Есть хлеб?

– Есть, товарищ нарком. Не одну Москву накормить хватит.

– Значит, пойдём за хлебом.

– Через Колчака?

– Через него. Поймите вот что, товарищ военмор. Если говорить не по-митинговому, то, по сути, вся гражданская война, по крайней мере, сегодня, это борьба за хлеб. В своем роде война города и деревни, кто в ней победит, тот и будет у власти в России. Спасем от голодной смерти пролетария – спасем все наши завоевания. И тут пострашнее Колчака с Деникиным будет еще деревенский мужик. Наш «попутчик», который хлеб этот отдавать не захочет и уже, как правило, без сопротивления не отдает. Но пойти ему здесь на уступку – значит потерять все. И мы на нее не пойдём, чего бы это ни стоило. Ильич сказал, что революцию в белых перчатках сделать нельзя, и это факт. И еще Ленин считает, что если мы до зимы не возьмем Урал – гибель революции неизбежна. Помните об этом. А на этом пути главное – Уфа. Важнейший город, ключ к Сибири, а для меня лично и просто памятный. Я оттуда еще в 17-м эшелоны с хлебом в голодный Питер отправлял, а с одним и сам приехал.

– Так адмирал-то наступает...

– Пока наступает. Идет-то он вперед, а вот что у него сзади, в тылах? Война ведь, дорогой мой, не только в окопах, она и в тылу решается, в том числе и у тех, кто наступает. Как, по-вашему, крепкий у Колчака тыл? Мужик сибирский охотно на него работает, служить к нему в армию идет?

– Не похоже, – отрицательно покачал головой Мишуков. – Не хочет он за этого сибирского царька воевать, да и хлеб ему давать. Советская-то власть мужику тамошнему кроме хорошего ничего плохого не сделала, а вот колчаки... Знающие люди, и не из наших, а буржуйского сословия, думают, что летом неприятности в Сибири у Колчака начнутся. Много он там кому уже насолить успел...

– Ну вот видите. Будем и мы наступать, и думаю, скоро. Верите?

– Верю.

– Вот и хорошо, – встал из-за стола Цюрупа. – Поговорил бы с вами еще, да возможности не имею. В сутках двадцать четыре часа, а и тех на все не хватает. Просьбы есть ко мне какие-нибудь?

– Мне нужно в разведотдел в Реввоенсовете бумаги кое-какие сдать, товарищи из Барнаула передали. Да еще...

– Ну-ну, без экивоков. Вы же моряк, а не красна девица.

– Жить надо где-то в Москве, хотя бы временно, пока от тифа маленько отойду. Да и к делу какому прислонишься, балластом быть непривычно.

– Хорошо. Зайдете сейчас к товарищу Семенову, он вам во всем этом поможет. Я смотрю, у флотских спайка крепкая.

– Так точно, – встал во фронт Мишуков, автоматически бросил ладонь к несуществующей бескозырке. – Разрешите идти? – Поняв, что опростоволосился, смутился и покраснел.

– Идите, товарищ военмор, – улыбнулся Цюрупа, – удачи вам.

– Назад через фронт с нашим заданием пойдете? – спросил Мишукова в одном из маленьких прокуренных кабинетов Реввоенсовета усталый невзрачный человек с быстрыми и цепкими глазами. Около двух часов выпытывал он у Мишукова всю его подноготную, а затем еще столько же времени расспрашивал о ситуации в Барнауле, силах, возможностях и намерениях местного антиколчаковского подполья и наконец-то задал этот вопрос. Его Володя ждал и ответ подготовил заранее:

– По своей воле нет. Не по мне это. Там другие люди нужны, выдержанные. А я горячий больно, сорваться могу. Я и в Барнауле Терещенко то же говорил. Он меня, похоже, понял. Отойду немного от тифа – и на колчаковский фронт. Таким путем буду в Сибирь добираться.

– Что ж, – согласно кивнул головой быстроглазый, – по принудке не пошлем. На фронт так на фронт. Хотя, конечно, выдержка – и там дело не последнее. Вы уж это для себя запомните, а я вас больше не задерживаю.

Стараниями Семенова, познакомившего Володю с председателем Замоскворецкого райсовета Иосифом Косиором, он был зачислен сменным дежурным по военкомату. Это означало: красноармейский паек и койку в доме Бахрушиной, у Павелецкого вокзала. Пока Ольга через своих знакомых в столице добивалась выделения им комнаты, решили, чтобы не стеснять Наташу, пожить по отдельности.

Работа в военкомате оказалась необременительной, и главной заботой для Мишукова стала не она, а практически не отпускающее его чувство голода. Восстанавливающийся после болезни молодой организм требовал все больше и больше питания, и даже хороший по сравнению с другими красноармейский паек удовлетворить его потребности хотя бы наполовину был не в состоянии.

В рассуждении «чего бы покушать» Володя ухитрялся в длинный обеденный перерыв с часу дня до четырех сбежать с Волхонки на Сухаревку, дабы успеть отобедать сразу в двух столовых, где можно было почти задарма, а точнее – за пять рублей, утолить голод. Как правило, получал он там два блюда без хлеба. Разносолов не было – щи, винегрет из кормовой свеклы, капуста, тушеный картофель да все та же вобла. Если повезет, можно было отведать и конины. Случалось «протыриться» и в привилегированную столовую, какие существовали при всех пяти Домах советов.

Впрочем, привилегированными они были не по содержанию еды, а по возможности доступа туда ответственным государственным и партийным служащим, что гарантировало быстрое, без очередей, получение пищи. Благодаря таким путешествиям Мишуков день ото дня чувствовал, как понемногу возвращаются к нему былая сила и уверенность в себе. Чувствовала это и Ольга, и во время встреч, в его комнатке или в квартире Петровых в отсутствие Наташи и Владимира Власовича, который, к огромной радости дочери вернулся наконец из своей длительной и опасной «командировки», пряча довольную улыбку, говорила: «Ну что ты, право, Володя, ненасытный такой. Будто на всю оставшуюся жизнь вперед хочешь супружеские обязанности выполнить?».

Жить в Москве в те времена было очень опасно. По словам Семенова, в столице орудовали не менее тридцати хорошо организованных и отлично вооруженных банд, не считая мелких бандочек и небольших групп грабителей, налетчиков и убийц. Поступив на службу в военкомат, Мишуков, получил военную форму – сапоги, брюки-галифе, гимнастерку, шинель, папаху и фуражку. Сам он бы предпочел, конечно, привычный бушлат да брюки клеш, но выбирать не приходилось. Хорошо хоть Семенов подарил ему из своих запасов новенький тельник, который Володя надел на себя с большим удовольствием и носил полосатую матросскую рубашку под гимнастеркой почти не снимая.

– Без оружия на улицу не выходи, – посоветовал ему потерявший в оренбургских степях руку хмурый военком. – Есть наган?

– Нету.

– На. Партбилет имеешь?

– А то.

– Другого документа не требуется. Чека остановит вдруг, покажешь и все.

Вскоре револьвер появился и у Ольги, а кроме того кожаная куртка и такой же кожаный картуз, высокие, до колен, шнурованные ботинки, какие носили тогда и мужчины, и женщины. Кому они доставались, конечно. Она стала работать следователем в той самой чека.

– Нужно, Володя, – объяснила она свое решение, – да, трудно, да, грязь. Но я справлюсь, характер у меня твердый, на всех врагов революции хватит.

– Много их еще?

– Хватает. – Они шли по улице, и женщина ткнула пальцем в кучку людей, медленно передвигающих ноги под конвоем трех красноармейцев с винтовками. Большинство были в когда-то хороших пальто, в очках или пенсне, прятали под мышками белые ненамозоленные руки. Картина для Москвы тех дней более чем обыденная. – Вот они, интеллигенция гнилая. Сами палки в колеса ставят, а чаще по природной трусости офицерью недобитому помогают. Таким, какие моего мужа убили. Я бы их всех перестреляла.

– Пробовала уже? – поинтересовался Володя.

– Нет еще. Но если потребуется, смогу, ты не сомневайся.

– Я и не сомневаюсь. Только не простое это дело – человека жизни лишить...

– А ты, можно подумать, не лишал?

– Два раза точно было. Но так это в бою, не ты его – он тебя. Там дело простое.

– И тут простое, – с неожиданным для Володи раздражением и даже злобой сказала она. – Враг, в расход – и никаких сложностей.

– А вдруг ошибка, вдруг случайно либо по недомыслию человек к вам попал?

– Разберемся. А если кто и случайно под расстрел попадет, то, как русские говорят, лес рубят – щепки летят. Раз революция – мямлить, жалеть нечего. Ни чужую жизнь, ни свою. Другие будут без ошибок жить, а нам эта жизнь досталась.

– Ну ладно, ладно, – легонько приобнял ее за плечи Мишуков. – И мы еще успеем счастливо пожить. Отмоемся от всего этого дерьма и проживем, какие наши годы.

Но не зря, наверное, не любит загадывать на будущее русский человек, да и радоваться-смеяться громко особо не любит, а точнее – боится. Что это, мол, я, как бы чего не вышло. Заезжий иностранец дикарской наивностью такое посчитает, а мы-то знаем, срабатывает часто. В смутное время – особенно...

Первое мая был нерабочим днем, и с утра пораньше Володя с Ольгой отправились побродить по Москве. Неподалеку от дома встретила им стайка оживленно переговаривающихся мальчишек лет двенадцати.

– Сегодня праздник большевистский, – сообщал один. – У нас на воротах флаг красный вывесили.

– Не большевистский, а советский, – с укором поправлял другой. – Мой папа говорил.

– Да какая разница, – махнул рукой третий, – главное – в школу не надо. Пойдем на Красную площадь, там сегодня памятник Степану Разину открывать будут. Поглядим.

– Вот видишь, сознание масс растет, – улыбнулась женщина и кошачьим движением потерлась плечом о шинель Мишукова. – Пойдем и мы поглядим.

– Далеко, однако, – засомневался матрос, – может, на извозчике?

– Смотри ты, какой буржуй нашелся, извозчика ему подавай. Пойдем пешком, не рассыплемся, – вновь улыбнулась Ольга.

– Чего ты все сегодня улыбаешься? – подивился Володя. – Ты же чекистка. Ты строгой и суровой должна быть.

– Я, товарищ Мишуков, кроме того еще и женщина, и странно, что вы этого не замечаете. К тому же женщина влюбленная.

– Ах, вот что, – в свою очередь улыбнулся матрос. – Ну, тогда другое дело. Тогда ложимся на курс и набираем крейсерскую скорость...

Вечером они пошли на концерт Пролеткульта в Новом театре. Зал был полон публики. В первом отделении выступал хор учеников Пролеткульта, исполнявший «Интернационал», «Марсельезу» и другие революционные песни. Пели они с чувством, как говорится, от души. Потом играл оркестр, который тоже очень понравился Володе, а вот два молоденьких чтеца-декламатора с кружевными бантами на курточках и заунывно дрожащими головами вызвали у него немалое раздражение.

– И как только таких слов на сцену пускают? – буркнул он в ухо сидевшей рядом Ольге.

– Сиди тихо, – строго ответила та, – не мешай смотреть.

Мишуков повиновался и уже через несколько минут забыл обо всем, очутившись на улицах восставшего Парижа. На сцене сражались за свободу французские коммунары и, увлеченный отличной игрой актеров, Володя все время порывался вскочить со своего места, чтобы крикнуть: «Держись, ребята!», а опомнившись, бросал взгляд в сторону своей спутницы. Не заметила ли она его мальчишеских порывов, повлажневших от нахлынувших слез глаз? Но не сентиментальная обычно, Ольга была взволнована не меньше его и непростительной для матроса чувствительности не замечала.

– Здорово, верно? – спросила она Мишукова, когда они вышли из помещения театра в прохладные майские сумерки.

– Ага, – согласно кивнул он.

Среди первых звезд время от времени ярко лопались праздничные ракеты. В кучках проходивших мимо людей был слышен оживленный говор и смех. Здание губернского Совдепа на Садово-Триумфальной улице, мимо

которого они проходили, было разукрашено флагами. На белом фоне стены, устроенные из цветных лампочек, красиво выделялись большие буквы – РСФСР.

– Ну вот, – прижалась к Володиному плечу Ольга, – а ты еще ехать не хотел. Вот она, настоящая жизнь. Начинается только.

Утром следующего дня Ольге Линник неожиданно стало плохо. Володя дежурил в военкомате, когда к нему прибежала взволнованная и испуганная Наташа.

– Ольга заболела, – срываясь с шепота на крик, – говорила она. – Кашель страшный, хрипит, кровью харкает. Это испанка, я знаю, с мамой точно так же было. Ее срочно в больницу надо, дома нельзя оставлять, всех может заразить. А там, может, и спасут, бывало такое... Ну что вы молчите?!

Мишуков действительно на несколько мгновений словно онемел, обессиленный и раздавленный таким сообщением. Потом снял трубку с телефонного аппарата и попросил соединить его с наркоматом продовольствия, спросить Семенова.

Все происходило будто в вязком и тяжелом, бесконечно затянувшемся сне. Ровный голос Андрея Семенова, твердо приказавший отставить панику, тряская езда в «кашляющем» стареньком обшарпанном «фордике», вторящий звукам мотора страшный кашель откинувшейся на подушки заднего сиденья женщины, деловитая суета одетых в застиранные серо-белые халаты людей.

– Никак понять не могу, почему он все время молодых выбирает, – сказал, протирая очки, похожий на страуса длинношей носатый врач. – Сколько случаев, и в большинстве от двадцати до тридцати пяти лет.

– Кто он?

– Как кто? Испанский грипп. Поначалу мы его за крупозную пневмонию принимали, а потом узнали, что это такое на самом деле. Страшная вещь.

– Она выживет, доктор?

– Другому бы соврал, обнадежил, а вы, я вижу, человек крепкий, потому скажу прямо: вряд ли. Неизвестно

почему, но в таком возрасте как у нее, смертность почему-то бывает особенно высокой. Сделаем что сможем. А там божья воля.

– Да причем тут бог, – махнул рукой Володя. – Может, лекарства какие нужны, я б попробовал, помогли б найти.

– А какие тут лекарства? Специфического лечения этой болезни на сегодняшний день не существует. Надеялись на хинин и салициловые препараты, но это оправдалось слабо. Даем отхаркивающее, камфору, кофеин, но все это малоэффективно. Остается только надеяться, что организм справится сам. Здесь все решается в несколько дней. Будем ждать.

– Она сильно мучается, доктор?

Носатый вернул на нос очки, внимательно посмотрел на Мишукова, просто и обыденно сказал:

– Да.

– А как это... Как бывает?

– Резкое падение кровяного давления, помрачение сознания, бред, летальный исход...

* * *

– Я как умру, Володя, ты на меня не смотри... Я не красивая буду. Не хочу, чтобы ты меня видел некрасивую. – Она замолчала, переводя дыхание, и вновь забилась в долгом, мучительном кашле. Отвернувшись, чтобы он не видел, выплюнула в тряпочку напльвшую из носа и рта кровавую пену.

– Я и сейчас, видать, нехороша... Кожа на руках посинела. Боюсь зеркальце попросить, лицо поглядеть. Может, и оно синее... Я когда болела раньше, – на ее действительно посиневшем, высохшем в три дня лице тенью мелькнула слабая улыбка, – никогда до поправки в зеркало не глядела. Не люблю себя некрасивую.

– Не бойся, я тебя люблю люблю, – слотнул комок в горле Мишуков. – И век любить буду. Мы с тобой долго будем жить. Вот увидишь. Детей заведем...

Она с трудом оторвала от одеяла руку, коснулась ладонью его щеки.

– Увидишь... Увидишь. Иди, Володя. Я отдохнуть хочу. Голова болит ужасно. Хорошо?

– Хорошо, – он нагнулся к кровати, чтобы поцеловать ее, но Ольга отвернула лицо в сторону.

– Не надо. Еще ты заразишься. Ты слабый сейчас. Иди... Иди.

Мишуков задержался в дверях, переступил виновато с ноги на ногу:

– Я завтра не смогу прийти. Железнодорожники субботники проводят, ну и мы помочь решили. После работы тоже. Дело, конечно, добровольное, но не пойти... Был бы еще беспартийный...

– Иди, Володя. Иди... Стой!

Мишуков вздрогнул от неожиданности, сделал шаг вперед.

– Что ты? Что?

– Видишь, ромашки на стене красивые какие. Скворцы. А вон зайчик побежал, ушастый такой.

– Где? – чувствуя, как у него начинают леденеть руки, спросил Володя.

– Да вон, вон там. Не догнать его теперь. Жалко...

Она вновь забилась в кашле, закрыла глаза, зашептала так, что он еле расслышал:

– Вас ир гегесн майн брот, Голда? Их вил нихт гебн ир ди лялька. Ду брудик. Мамми, мамми.... (Ты зачем съела мой хлеб, Голда? Я не дам тебе куклу. Ты противная. Мама, мама...).

Мишуков, пятясь, вышел в коридор. Беззвучно закрыл за собой дверь в палату.

* * *

...Он долго смотрел на пустую койку, мял пальцами околыш фуражки, молчал. Боли в груди не было, была пустота, словно в брошенном доме, куда хозяйева уже никогда не вернуться.

– Она умерла, – сказала из-за его спины сестра милосердия. – Вчера еще. Ее уже на погост свезли. У нас не

положено долго держать. Там в одно место всех. На всех одна могилка. Слышите меня?

– Да, – выдохнул Володя. – Я пойду. Что теперь...

* * *

Военком сидел за столом, читал газету, прихлебывал из стакана остывший морковный чай.

– Разрешите, товарищ...

– Валяй, заходи Мишуков. И давай без этой, субординации, мать ее, – не вставая из-за стола, протянул уцелевшую руку Володе. – Садись. Ты погляди, что пишут-то. Сообщение из Парижа с мирной конференции Антанты с Германией. Вот послушай только:

«Разногласия вызвал и вопрос о запрещении применять отравляющие газы. Германия обязалась сообщить союзникам способ изготовления газов. Но требование организовать надзор над ее химической промышленностью было снято под тем предлогом, что производство газов тесно связано со всей химической промышленностью, следовательно, раскрытие военных тайн невысказано без оглашения технических и коммерческих тайн. Таким образом, остановившись перед неприкосновенностью частной собственности германских владельцев химической промышленности, в которой были заинтересованы и некоторые представители Северо-Американских соединенных штатов, мирная конференция оставила в руках немецких капиталистов сильнейшее и опаснейшее оружие войны».

– Ты понял, да?! – от избытка чувств стукнул кулаком по столу военком. – Я ж сам газами травленный, легкие пожгло, а они говорят – «частная собственность». Совсем буржуазия мировая совесть и ум потеряла. Что творят-то, а?.. – Он бросил на стол газету и наконец-то взглянул на Мишукова повнимательней. Садись ты, чего стоишь. Э-э-э. Да ты, браток, вроде малость не в себе. Говори, с чем пришел?

– На фронт мне надо, – хмуро сказал Володя. – Без задержки чтоб.

– Хм. Дело-то нехитрое. В таких просьбах еще никому отказа не было. А чего случилось-то, что так враз? Не

хочешь говорить – дело твое. Помочь – помогу. Да садись ты, наконец, давай закурим.

– На Колчака собрался? – попыхивая самокруткой, спросил немного погодя военком.

Мишуков молча кивнул.

– Тут вот пишут, – хозяин кабинета вновь взял со стола газету, не разворачивая похлопал ею задумчиво по колену. – Там наша Южная группа вперед пошла. 25-я стрелковая дивизия здорово орудует, крушит беяков почему зря. Чапаев у них там какой-то командиром, видать, лихой вояка. Может, туда тебе?

– Хорошо бы.

– Ладно. Поговорю с политкомом, дадим тебе направление в эту дивизию политбойцом. Сумеешь добратся? А то, может, эшелона подождешь?

– Нет, – оставаться в Москве Володе было невозможно, потому о трудностях на пути к фронту он даже не задумывался. Это теперь не имело значения. – Нет, – еще раз сказал он. – Сам доберусь, ждать не буду.

– Тогда удачи тебе. Бей Колчака, а коль получится, попробуй живым остаться. Силен он, вражина...

* * *

На станциях по пути к фронту с воинских эшелонов соскакивали целые толпы красноармейцев. Мчались шумной оравой к торговкам, торопливо пили тут же молоко из кринок, покупали не торгуясь все, что попадало под руку – спички, табак, воблу и, конечно же, хлеб...

Другие, бренча котелками, толпились в очередях за кипятком, трети, приплясывая под гармошку, горланили заливчатские частушки:

*Две кукушки куковали
На одном на кольшике,
Колчак с Гайдой удирали
По одной дорожке...*

*Эх ты, цветик мой,
Цветик маковый,
Ты скорей, адмирал,
Отколचाкивай.*

А потом все вместе мчались, сбивая встречных-поперечных, за уходящим поездом. Отставшие ждали нового попутного состава, случалось, по нескольку дней. В посадке на него порой не обходилось без драк, а то и перестрелок. Новый состав ничем не отличался от предыдущего. Те же грязные и сальные, залитые чаем и щами голые доски нар, донельзя загаженный, щедро усыпанный махорочными окурками пол и холодные майские ночи, в которые лучше спать, не снимая шинели. Особенно если она у тебя добротная. Накинешь на себя или оставишь ненадолго без присмотра – сопрут обязательно.

У Мишукова шинель была хорошая, офицерская, хоть и со штопаной дыркой на левой стороне груди: военком расстарался, решил уважить.

Серые офицерские шинели были данью моде. Такой же, как матросские клеши «сорок второго калибра» с клапанами, за которые засовывали бескобурно наганы. А еще пулеметные ленты на матросских бушлатах, крестнакрест. Лежит такой бравый альбатрос в цепи, комроты орет: «По наступающей цепи белых... Часто! Начинать!». Но какая может быть речь о «частом» огне, когда приходится и со спины и из подмышек выковыривать патроны, а они в гнездах пулеметной ленты сидят крепко!.. Вот и вертись, пока не догадаешься все это боевое украшательство перехватить финкой...

Куда лучше были кожаные подсумки, каждый на тридцать патронов, заключенных в обойму. Вставил ее в винтовку, нажал большим пальцем – патроны сами скачут в магазин. Так нет, подсумки отдавали «гражданским» на подметки да набойки, а на себя – пулеметную ленту.

И с шинелями получалось странное дело: сам адмирал надел на себя вместо черной с красными отворотами драповой флотской шинели грубошерстную солдат-

скую на крючках, а его противники уважали старорежимные офицерские. Мода, что тут еще скажешь.

Володя в те дни о моде этой не думал, и какая на нем шинель ему было все равно. Но спал, тем не менее, сторожко и, понятное дело, не выспался. Как-то в очереди за кипятком на одной из станций разомлел совсем под нежным майским солнышком, уселся прямо на первую травку в загаженном не меньше красноармейских теплушек, побитом привокзальном скверике. Привалился спиной к стволу дерева, прижал покрепче к груди чайник и уснул. Слаб был к тому же еще после тифа, быстро и сон одолевал...

Повезло, только чайник сперли. Уже на другой день измотанный непрерывными просьбами и требованиями, приказами и угрозами комендант станции посоветовал ему попробовать сесть на шедший к фронту эшелон сводных отрядов интернационального батальона. Тот вот-вот должен был уйти с дальнего пути. Мишуков не мешкая помчался по указанному адресу.

В раскрытой настежь двери теплушки начальника эшелона колыхалось красное знамя. У вагона в шуме разноязычного говора толпились военные в разномастных шинелях. Володя поискал глазами командира и тут же едва не раскрыл рот от удивления. В дверях теплушки появился высокий широкоплечий мужчина в широкополой ковбойской шляпе. Шелковая куртка в клетку, бриджи и желтые краги, на поясе парабеллум. Выразительно жестикулируя, коверкая русские слова, он спорил с кем-то невидимым в глубине вагона, затем мягко спрыгнул на землю.

В уверенности, с какой он держался, легко угадывался командир, и Володя подошел к «ковбою»:

– Вы начальник эшелона?

Тот молча кивнул.

– Еду на фронт политбойцом, можете взять в свой вагон? – Володя вынул документы.

Высокий повертел их в руках, передал стоящему рядом сухощавому подтянутому военному:

– Читай, Курт.

Курт внимательно прочел бумагу, протянул ее Мишукову:

– Папире в порядке. Можете располагаться в нашем штабном вагоне. Места хватит.

– Данке, – поблагодарил Володя и стал забираться в вагон.

– Шпрехен зи дойч? – спросил вслед ему удивленный немец. – Вы говорите по-немецки?

– Найн, – махнул рукой Мишуков. – Так себе. Зер шлехт.

Половину штабной теплушки занимала рыжая лошадь английской породы, на другой были нары, заваленные вещевыми мешками, шинелями, винтовками. Паровоз дал гудок, лязгнули буфера, эшелон тронулся. Почти тут же хмурое небо прочертили молнии, по крыше вагона забарабанил град.

– Спаси и помилуй, святая дева, от града и воды, – быстро крестясь, забормотал рядом с Мишуковым худощавый нескладный парень. На горбатом носу очки в железной оправе, на рукаве длинной, мешковато сидевшей на нем шинели белая повязка с красным крестом.

– Что ж вы на войну едете, если града боитесь? – с улыбкой посмотрел на него Володя.

– В угоду своей совести и деде Марии помогать увечным еду на фронт, – ответил тот и юркнул в угол вагона.

– Познакомились с нашим лекарем? – усаживаясь на тюк прессованного сена, спросил у Мишукова Курт. – Вам хорошо познакомиться и с нашим командиром. Он американец и любит разговаривать с русскими.

– Американец?

– Да. Его зовут Эвинсон-Грей, но мы его зовем Горличко. Такое русское имя дал ему его друг, журналист Джон Рид.

Немец вынул из бокового кармана сложенную вчетверо газету, развернул ее, надел очки, побежал глазами по строчкам и вдруг с неожиданным пафосом произнес:

– О революция и победоносный труд! Тебя ждут Урал, гросс пещера – уголь, руда, металл. Богатая Сибирь, чьи богатства расхищал капитал! Чудо русской природы – тайга!

– Вы были в Сибири?

– Я хорошо говорю по-русски? – ответил Курт вопросом на вопрос.

– Ну уж куда лучше, чем я по-немецки, – с улыбкой ответил Володя, не замечая, что встреча с этими людьми если не растопила, то заставила подтаивать вмерзший в его грудь кусок льда.

– Вот. Учил в Сибири. Три года и потом тоже.

– Где?

– С августа 15-го в лагере для германских и австро-венгерских военнопленных в Сретенске. Там плохо было. Голод, холод, потом тиф. Потом Нерчинская тюрьма – большая камера, много русских, хорошая возможность учить язык.

– Как вы туда попали?

– Приехала в лагерь комиссия Красного Креста. Венгерская графиня Хусси, русский князь Ливен. Ждали одежду, еду, лекарство, а получили добрые пожелания от кайзера Вильгельма и императора Франца-Иосифа. Остальное офицерам. Бунт. Комиссию выгнали из лагеря, нас «пересортировали». Меня, Колфоха, еще троих – в Нерчинск, а потом Красноярск, в штрафной лагерь. Об этом русских офицеров попросил немецкий офицер, майор Эрнст.

– Что такое штрафной лагерь? – вновь спросил Мишуков.

Немец снял очки, аккуратно убрал их в нагрудный карман, помолчал немного, словно что-то припоминая.

– Четыре землянки. Немцы, венгры, австрийцы, турки. Все, как по русски, бунтовщики, – усмехнулся он. – Один потребовал хлеба больше, другой офицеру честь не отдал. Такие вот. Потом февральская революция – свобода. Работали бесплатно на русских офицеров из лагерной охраны, стали на своих, из таких же военнопленных. Появились предприятия, где, как это, совместный капитал, акционерные общества. Наши офицеры, австрийские, русские – делят доход, немецкие, австрийские, венгерские солдаты – делают работу. Потом большевики, Ленин. Управлять лагерем стали солдаты. Наши офицеры

огорчились, русские тоже. Я, Курт Шеен, вступил в союз коммунистов-интернационалистов, потом пошел в интернациональный отряд. Делать революцию в России, потом дома в Германии. Так я помогу вам, вы мне. О, немцы практический народ! Так?

– Так, – охотно согласился Володя.

– Вот-вот и за океаном вспыхнет революция, – подсел к ним Эвинсон-Грей. – Успею ли я доскакать до своей Калифорнии?

– Революция в Америке? – сорвалось у Мишукова. – Соединенные Штаты пухнут от золота, полученного на мировой войне, – там не до революции...

– А рабочий класс? – не сдавался американец.

– Рабочему классу тоже кое-что перепадает...

– Ни американские рабочие, ни фермеры не будут умирать за капиталистов, – возмутился Горличко.

– Дорогой камерад, – похлопал его по плечу Шеен. – Рабочему и крестьянину всех стран не нужна война. Но убивали же они друг друга целых четыре года...

Так в разговорах о мировой революции и ее преобразующей силе, воспоминаниях о том страшном и смешном, что случалось с ними во время службы и войны – несмотря на разные армии, истории эти часто бывали очень похожими, – прошло трое суток пути. На четвертый эшелон прибыл в недавно отбитый у белых Белебей. Дальше их дороги расходились.

* * *

Штаб дивизии Мишуков отыскал без особого труда. Отмечал, куда скачут наметом отдельные кавалеристы – судя по всему, посыльные, идут связисты, разматывая с катушки тонкую змейку провода, громыхает по булыжнику мостовой в упряжке коней тупоногая мрачная трехдюймовка – и шел следом. Так в скором времени добрался до небольшой площади, на подходе к которой стояли десятки подвод с ранеными. Одни из красноармейцев протяжно стонали, другие приветливо махали руками проходившим мимо бойцам, третьи, уткнувшись восковыми лицами

в тележные доски, лежали тихо и во врачебной помощи, судя по всему, уже не нуждались...

«Недешево нам этот Белебей дался, – подумал Володя. – А сколько их еще впереди. Под каким и меня так-то вот? Да что теперь, – резко сплюнул он в пыль. – Какую кашу судьба сварит, такую и съем».

На самой площади теснились одна к другой крестьянские повозки, сталкивались густо заполнявшие воздух русские и башкирские слова. На высоком крыльце увенчанного полинявшим кумачовым полотнищем добротного дома стоял среднего роста сухощавый человек с чисто выбритым лицом, вздернутыми кверху стрелками пышных фельдфебельских усов, смелым взглядом зеленовато-голубых глаз. Ремни на плечах защитного френча, темно-синие галифе, сапоги со шпорами, шашка в серебряных ножнах, а главное – уверенность в каждом взгляде и движении выдавали в нем командира. Причем привыкшего побеждать.

– От самой Самары со своим тяглом за вами катимся, огневые припасы да харчи возим, – жаловался ему из толпы бородатых деревенских мужиков такой же бородач в таких же, как и его товарищи, свитке и онучах. – Сколько можно-то так? Дома хозяйство, весной день год кормит, а мы тут. Пора бы уж другим-то, а нас домой.

– Потерпите до Уфы, мужики. Возьмем ее, и по домам тронетесь.

– Легкое дело – до Уфы, – зашумели в толпе.

– Нелегкое, верно, – соглашался командир. – Только вот с Колчаком-то как, добить его надо или нет? Не добьем – он ведь на Волгу-то обязательно воротится. А с ним и ваш барин. Уж он-то и земельку у вас назад заберет, и вас шомполами уважит. Так, что ли?

– Вестимо, так. Уважит на славу.

– А коли так, имейте революционную сознательность. Мое слово твердое, после Уфы отпущу.

Сквозь русских мужиков, бормоча что-то себе под нос, протиснулся к нему старик-башкир, сунул в руки какую-то бумажку. Володя подошел поближе.

– Расписка, – медленно прочел усатый. – «Взял овса и два барана в счет Чингисхана». – Щеки его порозовели, он повернулся к стоявшему рядом военному: – Твои озоруют. Отыщи, накажи крепко. И чтоб за все взятое рассчитались.

– Ты их не очень привечай, Василий Иванович, – ответил тот. («Точно. Это Чапаев и есть! – мелькнуло в голове у Мишукова. – Вот он какой, значит».) Они сами хороши – сена у них не возьми, подводу не возьми. У себя – бай, у нас – сразу бедняк.

– Делай как сказано, – твердо сказал Чапаев, – повторять не буду. Не сделаешь – с тебя взыщу. – Он возвысил голос, обращаясь и к крестьянам, и к толпившимся тут же красноармейцам.

– Ты вот тащишь из чужого дома, а оно и без того все твое... Раз окончится война – куда же оно все пойдет, как не тебе? Все тебе. Отняли у буржуя сто коров – сотне крестьян отдадим по корове. Отняли одежду – и одежду разделим поровну... Верно ли говорю?!

– Верно... верно... верно...

– Не тащи!.. – выкрикнул он, резко взмахнув левой рукой. – Не тащи, говорю, а собери в кучу и отдай своему командиру, все отдай, что у буржуя взял... Командир продаст, а деньги положит в полковую кассу... Ранят тебя – вот получи из этой кассы сотню рублей... Убили тебя – раз тебе на всю семью по сотне! Верно говорю али нет? Чапаев шутить не любит: пока будете слушать – я товарищ, а нет дисциплины – на меня не обижайся!

Мишуков решил уже подойти к начальнику дивизии сам, невзирая на субординацию, как к крыльцу дома подкатила подвода. Поверх соломы – мотоцикл. С телеги соскочил бравый парень в кожаной куртке и тоже кожаном ушастом шлеме, четко откозырял:

– Товарищ начдив, ваше приказание выполнено!

– А на телеге чего путешествуешь? – нахмурился Василий Иванович. – Военное имущество испортил?

– Никак нет, товарищ начдив. Замешкался малость в штабе бригады, а кто-то весь спирт из бака слил. Бензина ж нету, на спирту ездим. Ну и вот...

– Замешкался, значит? – усмехнулся Чапаев. – Ну ладно, ступай в обоз, будешь кашу варить. Такое тебе, разине, наказание – две недели варить кашу. Ясно?

– Ясно, товарищ начдив...

Тот повернулся, чтобы уйти в дом, матрос двинулся следом, но в этот момент на улице появился запыленный кавалерист, резко осадил коня у крыльца, крикнул отрывисто:

– Комроты Репьева в поле нашли. Сюда везут. Без причинного места остался парень... Колчаки постарались. Вот бумага при нем была.

У Чапаева затвердело лицо, схватил быстрым волчьим движением протянутый ему листок, прочел:

«Всех вас ждет такая участь. Да не будет продолжения мерзкому вашему отродью...».

В повисшей над площадью тишине к дому подкатила упряжка, на соломе метался и бредил молодой мужик в сбитых сапогах и потрепанной солдатской одежке. Низ живота, гимнастерка и брюки густо пропитаны кровью.

– На перевязочный пункт его, – взглянув на увечного, приказал Чапаев и тихо, но так, что услышали все, добавил: – И за это, сволочи, с вами посчитаемся...

Повернулся и ушел в дом. Идти следом Володя не решился. Отправился разыскивать оказавшийся неподалеку политотдел, где ему вновь повезло. Только-только увидел командира дивизии, а спустя какой-то час удалось познакомиться и даже поговорить с ее комиссаром.

Инструктор политотдела еще не успел прочесть мишуковский документ, как в комнату без стука вошел одетый в солдатские брюки и гимнастерку с револьверной кобурой на ремне молодой человек. По тому, как политработник торопливо встал за столом, Мишуков понял – это кто-то из его начальства. Вошедшему было на вид лет тридцать. Среднего роста, на неприкрытой фуражкой голове курчавые светлые волосы. Ниже большой открытый лоб, великорусский утиный нос, широко посаженные глаза, тонкогубый рот. С первого взгляда он произвел на

Володю какое-то двойное впечатление. Казалось, что человек этот и задумчив, и предельно собран одновременно.

– Где Кузмичев? – деловито спросил он политотдельца.

– Не знаю, товарищ комиссар.

– Ладно. А это кто? – кивнул он в сторону Мишукова.

– Товарищ из Москвы. По собственной просьбе отправлен к нам политбойцом.

– Из Москвы? – удивился вошедший. – Таких еще не было. С какого времени в партии? – повернулся он к Володе.

– С марта 17-го.

– Солидно. У нас во всей дивизии с дооктябрьским стажем в партии несколько человек наберется. Ну пойдемте, расскажете, как там Москва. Нечасто к нам такие гости приезжают.

– Я не в гости, – хмуро сказал Мишуков, – я воевать.

– Это хорошо. И пойдемте, пойдемте. Я полчаса свободного времени имею, хотелось бы побеседовать.

– А я в партию год назад вступил, летом 18-го, – сообщил он Мишукову, когда они остались вдвоем в одном из свободных помещений. – Скрывать пред товарищем нечего – и к эсерам приглядывался, и к анархистам, но потом понял – несерьезно это все. Чтобы мир перевернуть, новую жизнь наладить, покрепче люди нужны. Стал большевиком и навсегда теперь. Брат мой тоже в Красной армии, сестра Софья. А ты откуда из Москвы? Я там три года в университете учился, так что ее знаю.

– Я вообще питерский, в Москве немного совсем был. Работал в военкомате, потом вот к вам попросился.

– А чего в столице, надоело, что ли?

– Решил и поехал.

– Ладно. Ты для нас человек ценный, так что постараемся тебя на всю катушку использовать. Пойдешь пока в дивизионную газету, там редактором у нас тоже парень питерский, Борис Ренц. Знаком с этим делом хоть немного?

– До службы в типографии работал.

– А еще чем занимался?

– В продотряде был, в подполье немного. Немецкий язык даже пробовал изучать.

– И много выучил? – улыбнулся комиссар. – Форвертс, камераден! Вперед, товарищи!

– Нет. Их либе дих.

– Было кому сказать?

– Было.

– А теперь?

– Теперь нет.

– Война разлучила?

– Испанка.

– Да, – помолчав, сказал Фурманов. – Теперь у нас одна любовь на всех, главная – революция. И давай обращайся ко мне на ты. Мы с тобой товарищи, да и по возрасту недалеко друг от друга ушли.

...Спустя несколько минут Мишуков прихлебывал из жестяной кружки чай и говорил, словно ему нарыв в горле вскрыли или спирту стакан разом выпил, горячо и несвязно:

– Тут главное поверить до конца, что можно нам такое дело сделать. Люди ж почему не делают, почему мало нас таких, как ты да я? Мужика на войну с его врагами вековыми силком пихать приходится. Живет с опухолью-заразой на теле, а сорвать ее боится. А ну как кровью изойду. А надо рвануть! Ножом надо! Пусть кровь, пусть больно будет. Зато потом дышать станешь полной грудью. Жизни по-настоящему радоваться. Главное – поверить, что можно... Ну и пострадать, конечно.

Вот бабка у меня была страсть верующая. Весь угол в иконах, лампадка и прочая шелуха. Так я точно знаю – резали бы ее, она и тогда бы от своего дурмана, от деревяшки раскрашенной не отреклась. Потому – верил человек. А ведь тут не деревяшка – тут целый мир новый. Подумать только – ты маленький такой, вошь просто, а целый мир создаешь для добра и радости. Тут и пострадать можно, и погибнуть даже не страшно будет.

Я много над этим думал, – продолжал Мишуков, сжимая пальцами ручку опустевшей кружки. – Люди

ведь и раньше были, что хотели другим жизнь настоящую открыть, – Спартак там, Разин. Но они пути толком не знали, программы у них не было, одна злость. На ней далеко не уедешь. А у Ленина она есть, и я за ним до конца пойду. Он для меня как бог для моей бабки. Только тот мертвый, деревянный, чужой, а Ленин живой и свой, будто брат родной. Хоть я его никогда и не видел. Была один раз возможность, да не получилось. Обидно было, слов нет.

Почитал его и понял, поверил – можно. Умники разные пишут – эволюция мол, только такой путь человека поднимет. А я думаю, обман это, специально придумано, чтобы буржуйам без хлопот жить-поживать. Захочет человек жизнь свою и других разом изменить, справедливости на земле добиться, а они ему – шалишь, разом ничего не выйдет. Сиди тихо под лавкой, жри свои объедки – это и будет тебе эволюционный путь. А я так не хочу! Не хочу!

– Ладно. Не кипятись так. Я пока в университете учился, тоже все про это самое эволюционное развитие думал, пока в 15-м году в санитарный поезд братом милосердия не пошел и не увидел, к чему это приводит... А ведь хотел всю жизнь литературе посвятить, помню, в реальном еще писал. – Фурманов встал из-за стола, театральным жестом бросил в сторону руку:

*Решали с пылом юных душ;
И в вихре слов не замечали,
Что из себя изображали
Бесплодно просидевших клуш.
Мы жарко, много говорили,
Мы повернули все вверх дном.
Мы много нового родили,
Мы грязь умом озолотили,
Но не решили ни на чем.
Да, пусть, жалки эти годы...*

– Зато теперь вот не пусты и не жалки... – Фурманов поправил ремень на гимнастерке и вновь присел

к столу. – Ладно, давай к делу. Будешь пока с Ренцем газету делать, заметки собирать – писать, да не в тылах, у нас этого не любят. Чапаев сам в цепи ходит, когда надобность такая есть. Не тушуйся. Здесь народ никому в зубы не смотрит и к новичкам с большой подковыркой относится. Новичкам партийцам, особенно городским, приходится туговато. Любят наши испытывать незнакомого человека. А если уж узнают, что из Москвы... Вопросами каверзными замучают. Они про политику мастера ехидные вопросы задавать. Повторяют то, чему у казаков наслушались. Зададут такой вопрос и смотрят, как он: растеряется или нет. Другой сразу в панику, пишет – кругом, мол, контрреволюция. Бывало такое, читал.

Вообще они политиков недолюбливают, но если человек грамотный, умеет свое донести, такого признают. Может, и не всегда слушать будут, но уважать – точно. Они мастера испытания устраивать – на выдержку, на храбрость. Скажут новичку, что его в опасную разведку должны послать или еще что-нибудь в этом роде, и смотрят, как он себя поведет. Если стушуется, струсит – все, для них он не человек больше, пусть у него пять партбилетов будет. А коль выдержит испытание – значит, свой. Ты в боях бывал?

– Приходилось.

– Серьезных?

– Да как сказать. Стреляли.

– Теперь узнаешь, как всерьез стреляют. У меня, врать не буду, поначалу крепкий мандраж по этому поводу случался. Потом ничего, попривык. Так и то, почти год на фронте. Прибыл сюда с рабочим отрядом из Иваново-Вознесенска. Столько уже моих земляков положили, а сам вот пока ничего. Ты-то не испугаешься, а? – испытующе взглянул он на Мишукова.

– Я флотский. У нас не принято.

– Хорошо, коли так. За вашими робости, действительно, не замечалось. Шустрые только больно, а как бойцы – поискать. Ладно. Давай к Ренцу, он тебя подробнее просветит.

Редактор дивизионной газеты Борис Ренц оказался двадцатилетним белобрысым немчиком, каких Володя в своем родном Питере перевидел немало. Аккуратный, очень серьезный и сдержанный. Однако за сдержанностью этой, как скоро убедился Мишуков, скрывалась немалая горячность в речах и суждениях. Впрочем, несмотря на молодость Ренца, практически всегда обоснованных. «Сочетал в себе хладность ума и пылкость речи», – припомнил – Володя в первые же часы общения со своим новым начальником встреченное им в какой-то книжке описание одного из литературных героев.

– Так ты питерский! – непритворно обрадовался Борис. – Откуда?

– С Выборгской стороны. А ты василеостровский?

– Точно! Откуда знаешь.

– Да догадаться-то не трудно.

– Ну да, конечно. Меня, как германская началась, даже чуть не побили разок. Один какой-то вроде вот тебя, вступился, выручил. Ну что, давай введу тебя в курс дела да поесть что-нибудь соображу.

По словам Бориса выходило, что часть, в которую попал Мишуков, действительно боевая, пожалуй, одна из лучших на всем колчаковском фронте, но...

– Тут о большой идейности и преданности большевистскому делу пока говорить особо не приходится, – медленно, словно оценивая и взвешивая каждое свое слово, говорил Ренц. – Полки в основном не из мобилизованных, они сами собой в 18-м образовались, когда оренбургские казаки против Советов поднялись. Казаков, рассуждая диалектически, понять нетрудно, вот воевать с ними... Часть из них, правда, за нами пошла к Каширину, но немного совсем, может, один-два на десяток, да и те своих замашек не оставили.

Ну, это к слову. А по делу вот что. Казак на своем никогда не усидит, если рядом есть что прихватить. Он ведь не только контрреволюционер, он ведь и бандит

просто, разбойник, причем потомственный. У него в любой войне главное дело – добыча.

Стали они ревкомы в мужицких волостях по соседству громить, ну и грабить само собой. А мужик не тот, что раньше оказался, когда и пороть, и шашками себя полосовать позволял. Фронтовики поднялись, целые полки организовались. Причем не только из бедноты, и середняк, а то и зажиточный мужик туда пошел. У них-то больше было чего грабить, чем у малоимущих или батраков. Все свои, по нескольку человек родни вступало, спайка сильнейшая, и воевать они с казарой стали самым жестоким образом. По их же методам, ну и грабить тоже при случае. Пример-то имелся.

Так что там наши разинцы да пугачевцы воевали – себя не щадили, а вот когда в октябре их послали на Бузулук наступать, а Чапаева оставили под Уральском, Николаевской дивизией командовать, они бучу подняли. Замитинговали, заявили, что на Бузулук не пойдут, пусть их на помощь к Чапаеву в свои края отправляют, для защиты семей. Комбрига своего Кутякова арестовали и комполка Плясункова, расстрелять собирались. С трудом их тогда разоружили, зачинщиков под суд ревтребунала отдали. А потом... Вернули им оружие. Воевать-то без бойцов еще никто не научился.

Так что с ними ухо остро нужно держать. Пока наступаем, побеждаем, а случись по-другому...

Интернационалисты – вот сила надежная, хоть и не так много их – один полк в дивизии. Они и сознательные, рабочих среди них много, и, честно говоря, им с нашей дорожки ходу нет, это не мужик, у которого сегодня шинелка без погон, а завтра, чтоб себя уберечь, и с погонами наденет.

– Наши, значит, малосознательные, а те, получается, все как один революционеры, идейные борцы за свободу мирового пролетариата? – спросил с недоверием Володя. – Может, не то говорю, но вопрос этот уже давно у меня имеется. Слышал, когда беляки Казань брали, целый батальон сербов, что в интернационалисты пошли, к ним переметнулся да и помог еще город захватить?

– Не знаю, – задумчиво ответил Ренц. – Я и сам об этом думал. В душу-то каждому не залезешь. И в Казани, как ты говоришь, вроде было такое. Наверное, кто из них и без идеи пошел, просто чтоб в лагере с голоду не пухнуть. Только теперь и тем, и другим кроме как с нами дорожки нет. Их беляки в плен не берут, на месте кончают, да не сразу еще, а с изуверствами всякими. Не зря же, считай, у каждого мадьяра кроме винтовки наган имеется, чтоб при крайнем случае в себя пулю пустить, офицерам, а того хуже казакам в руки живым не попасться.

Вот они, да еще 220-й Иваново-Вознесенский полк, что сплошь из рабочих ткачей, и есть наша самая надежная и верная сила. Ну и Чапаев, конечно. Одно его имя трех полков стоит. Его в больших штабах генералы бывшие за Еруслана-богатыря считают. Этакого ухаля, бесшабашного, да глуповатого. Да и он их не жалует, считает, что от таковских больше вреда, чем пользы. А он умный, расчетливый и, как мне кажется, с хитрецей, что под простотой прячет. В военном деле до тонкостей разбирается, военная удача его любит. Вот, – на одном дыхании закончил свою речь Борис и, посчитав, наверное, что для первого раза был чересчур разговорчивым, замолчал, пристроив на мальчишеское лицо солидную мину. – На вот посмотри, какие материалы из политотдела фронта получили. Как для газеты можно использовать. Разберешься?

– Разберусь, – Мишуков принял от Ренца небольшую стопочку бумаг и тут же отложил ее в сторону. – Ты уж потрать еще на меня свое время дорогое. Расскажи, что о Чапаеве знаешь. Очень уж интересно знать, что это за человек, почему за советскую власть воюет?

– Человек необычный, это точно, – начальственно-озабоченное выражение на лице Ренца сменилось восторженной детской улыбкой, которую он тут же спрятал обратно. – А почему за советскую власть воюет, так тут проще простого дело. Тут логика, товарищ. Брата его в пятом году царские сатрапы повесили за подстрекательство против царя, отца в каталажку тогда за сына посадили. Сестра Чапаева вступилась, когда пришли отца забирать,

так ее один так двинул, что до смерти убил. В прошлом году другого его брата кулачье на штыки подняло. Отец опять в каталажке под расстрелом сидел. Отбил его Василий Иванович и с кулачем, конечно, посчитался. Так что ему прямая дорожка со старым миром воевать. Он от него побольше многих других натерпелся.

Ну, все, что знал, рассказал, сейчас принесу тебе пожевать, что найду, отдохнешь, считаешь, что нам из политотдела фронта прислали, и давай в полки – информацию для газеты собирать. Скоро, похоже, опять крепко воевать начнем. Врать не буду, знобит, когда про то подумаю. Я, знаешь, от шашки почему-то больше всего умереть боюсь, штык или пуля как-то меньше пугают. Или шрапнель там. Хотя все, конечно, одна гибель. Знаешь, как говорят: «Штык для тела, шрапнель для души». Почему так? – задумчиво спросил сам себя Борис и махнул рукой. – А, что суждено, то и выйдет, штык, пуля... Лучше про то не думать совсем.

Вскоре Борис принес кусок плохо пропеченного казенного хлеба и довольно крупную, хорошо знакомую Володе и всей центральной России в последние годы вяленую рыбину – воблу. «Сколько ж ее у нас, – улыбнувшись, подумал Мишуков. – Едим-едим – никак не съедим. Это хорошо». Он принялся привычно обдирать рыбку чешую, быстро скользил взглядом по бегущим на серых листках бумаги черным смазанным строчкам:

«...Передай из рук в руки! Грамотный неграмотному разъясняй! Колчак приказывает расстреливать красноармейцев – пленных и перебежчиков. Нами захвачен в штабе уничтоженной красными войсками 3-й Оренбургской казачьей бригады следующий приказ:

«Весьма секретно.

В случае отхода наших частей из района, где находятся заводы и фабрики, приводить последние в состояние неработоспособности... Установить строгое наблюдение за артельщиками и каптенармусами, которые за неимением у крестьян сдачи с крупных денег за продукты выдают подложные расписки... Прекратить расстрелы

в полосе, прилегающей непосредственно к линии фронта, тех красноармейцев и лиц, кои расстрелу подлежат. Расстрелы производить в тылу, не давая таким образом наглядного подтверждения слухам, распускаемым большевистскими комиссарами, о расстреле красноармейцев, переходящих на нашу сторону или сдающихся в плен».

Володя криво усмехнулся, отхлебнул глоток пусто-го чаю, стал читать дальше:

«...Наше наступление вперед на Урал, в Сибирь скоро вырвет у сибирского царька возможность издавать приказы. За проливаемую кровь сынов рабоче-крестьянской России, за разорение крестьянства, за разрушение наших фабрик и заводов, за все преступления мы воздадим ему сторицею... Изд. политич. отдела Южгруппы Востфронта».

Мишуков отложил листок в сторону, придвинул поближе другой:

«Восстание в Сибири... В пятнадцати волостях Енисейской губернии с декабря месяца утверждена и держится до сих пор власть восставших – власть трудящихся. Армия в восемнадцать тысяч человек при орудиях в течение пяти месяцев защищает от адмиральских банд пятнадцать красных волостей в самом центре черно-белой, царской Сибири... В Омске два часа держалась Советская власть, в Благовещенске-на-Амуре и Красноярске – восстание за Советскую власть... Скоро мы их погоним назад; погоним к пылающему в огне восстаний собственному тылу... И меж этих двух огней – неумолимой, не знающей пощады к врагам народа Красной армией и восставшим сибирским пролетариатом – найдет Колчак себе могилу. Все силы на Восток! Во прах колчаковскую свору!».

Потом третий:

«...В Баварии и Венгрии, в России и на Украине, в Литве и Туркестане стекается под ружье красная рать, стекается великая освободительница бедняков. В жестокой схватке с властью насилия рождается новое царство – царство свободного труда.

...Не мы одни воюем. Рабочие Германии уже три месяца ведут геройскую борьбу со своим правительством за власть Советов. Настал последний бой...».

Словно куском раскаленного железа ткнули в грудь Мишукову. Мелькнуло пред глазами строгое женское лицо и тут же заполнилось улыбкой. Тонкие пальцы откинули со смуглого лба черную прядь волос... Володя глухо застонал, спрятал лицо в скрещенные на столе руки...

* * *

28 мая 1919 года адмирал Колчак обратился к командирам и бойцам Красной армии с воззванием, в котором призывал переходить их на сторону белых, обещая каждому добровольно сдавшемуся в плен полную амнистию. «Не наказание ждет его говорилось в этом обращении, а братское объятие и привет... Все добровольно перешедшие офицеры и солдаты будут восстановлены в своих правах и не будут подвергаться никаким взысканиям, а наоборот, им будет оказана всяческая помощь».

В эти же дни командующий Южной группой войск Восточного фронта красных Михаил Фрунзе отдал приказ о наступлении. Его целью было отрезать сосредоточившегося противника южнее станции Чишма, прижать его к реке Белой и разгромить. Однако в районе Чишмы колчаковцы сосредоточили большие силы, подтянули бронепоезда и бронемашинны и намерены были этот рубеж удержать.

На трудный участок красным командованием была направлена испытанная во многих боях 25-я стрелковая дивизия под командованием Василия Чапаева. 26 мая он отдал приказ по дивизии: «...Для задержки нашего движения противник ухватился за узел Бугурусланской и Бугульминской железной дороги в Чишме. Но мы будем бить противника не так, как он хочет, а так, как мы хотим... Столкнем белогвардейцев с железной дороги для большего удобства топить последних в реке Белой и тем самым очистим себе путь к Уфе и дальше». С утра 28 мая все части дивизии пошли в наступление...

* * *

Хоть и обещал Мишуков твердо Фурманову, что в ближайших боях ничего пугаться не будет, страху он под

Чишмой натерпелся, и страху немало. Стояла прекрасная солнечная погода. Казалось, природа от души радовалась уверенно входящему в свои права лету. Жаль было только, что яркие сочно-зеленые пятна полей и перелесков испортили-исчертили вдоль и поперек черно-серые борозды траншей и окопов, расползлись по пашням витки поржавевшей колючей проволоки, на холмах вздыбились земельные брустверы орудийных гнезд. Не только Михаил, но и многие бывалые чапаевцы не видели еще у противника столь крепкой, хорошо подготовленной обороны. Но видеть было мало, ее требовалось прорвать.

Обычно Чапаев не любил ходить в бой с интернационалистами, вот в цепях разинцев или пугачевцев его можно было встретить куда чаще. На вопрос: «Почему так?» отшучивался – языков, мол, не знаю. Может быть, никак не мог привыкнуть к тому, что приходится сражаться в одном строю с теми, кого видел в прорези прицела на мировой войне, может быть, еще почему-то. Но только не ходил и все. В этот раз пошел. Там и увидел его во второй раз Владимир Мишуков.

Володя прибыл к интернационалистам за день до наступления и успел за это время познакомиться с новым, лишь за две недели до того назначенным командиром полка бывшим фельдфебелем Сергеем Мальцевым, щеголявшими армейской выправкой комбатами Андреем Косенко и Людвигом Неметом.

– О, для газеты есть интересный момент – братство народов, пять наций в один расчет! – узнав, что Володя прибыл собирать материалы для дивизионки, раз-улыбался Людвиг. – Идти за мной, я показывать. Это очень интересно.

Немет привел Володю в пулеметный взвод своего батальона, командиром которого оказался смуглый коренастый мадьяр с бритым черепом и короткими жесткими усами. Вынесенная столетия назад с востока монгольская кровь делала его похожим на живущих в этих краях башкир, которых Володя уже успел увидеть немало. К красным они в большинстве своем относились благожелатель-

но, чего нельзя было сказать о татарах. Даже самые бедные из них зачастую считали большевиков ищадыями ада и порой встречали в родных улусах не хлебом, а огнем...

Среди номеров пулеметного взвода были степенный белокурый австриец, атлетического телосложения голубоглазый чех, худощавый светловолосый русин и высокий узкоглазый широкоскулый китаец.

Последний сидел на земле, подобрав под себя ноги в донельзя потрепанных, зашитых-перезашитых башмаках с толстой в три пальца подошвой, покачиваясь взад-вперед, тянул что-то заунывное.

– Чего это у него подошвы такие на башмаках? – не удержавшись спросил Володя Людвиг.

– Это есть такой обычай. В них насыпана земля из Китая, чтобы никогда с нее не сходить.

– А-а, – уважительно протянул Володя, – интересный народ.

– Да, – согласился Немет, – они все едят без соли. Очень обижаются, если им ее предложить. – Хайло, соли надо? – «невинно» поинтересовался он у китайца.

– Чон чу, – не открывая глаз, резко бросил тот.

– Что он говорит?

– Ругается. Свиньей меня, командира своего, обозвал.

– А ты его зачем хайлом честишь? – нахмурился Мишуков. – Разве это по-товарищески?

– Так его так и зовут, Хай-Ло. – вновь разулыбался смешливый комбат. – Есть еще Хо-Мя-Хо. Его русские, и мы тоже, Хомяк зовут.

– Ну-ну. – Володя невольно подумал, что человек этот хоть и командир интернационального батальона, к китайцам и, наверное, к корейцам тоже, относится если не с некоторым пренебрежением, то уж свысока точно, не то что к мадьярам, немцам или австрийцам. Подумал, но напрямую Людвиг решил об этом не спрашивать. По крайней мере пока. Впереди был бой, и начался он гораздо раньше, чем того ожидал матрос.

– Что видно на холмах, товарищ? – деловито спросил он командира пулеметчиков.

– Казак собирайт, будет атак, – сухо ответил тот, подкручивая словно обожженными пальцами окуляр бинокля.

– Товарищ рабочий? Вена, Будапешт?

– Пешт, Пешт, – не отрывая глаз от бинокля, так же отрывисто ответил тот. – Завод. Металл, рабочи. Русски плен Львов. Два года Тоцки лагерь.

Володя хотел спросить его еще о чем-то, но мадьяр, наконец-то оторвав от глаз бинокль, что-то резко крикнул, и тут же раздался звонкий голос мгновенно потерявшего веселое настроение Немета:

– К бою!

На цепи интернационалистов в блеске шашек и приглушенном вое неслась с холма казацкая лава...

Услышав недобро знакомый топот копыт, Мишуков даже не испугался, для него попросту исчезли все звуки, а люди вокруг стали двигаться куда медленнее обычного. Так же медленно накатывалась на него серо-черная кавалерийская масса. Володя почувствовал, как кто-то невидимый властно подталкивает его навстречу ей, в жернова огромной мельницы, перетирающей не зерно, но человеческие кости и мясо. По счастью, забытье это длилось лишь несколько мгновений и осталось ни кем незамеченным.

– По кавалерии, залпом!.. – пронзительно «запел» высокий голос Людвиг Немета, и Мишуков тут же пришел в себя. Сорвал с плеча подаренный Ренцем карабин, упал на землю. Руки налились свинцовой тяжестью, но делали свое дело как положено. Выбрасывал стрелянную гильзу затвор и тут же посылал в ствол винтовки новый патрон, трепещущая мушка ловила лошадиные морды, прыгающие в седлах фигурки всадников.

Они все ближе, ближе, ближе... Всадники почти лежат на шеях лошадей, режут воздух черточками наклоненных пик и серебряными серпами шашек.

«Теперь точно конец!» – молнией шаркнуло в голове. Но... Уже несутся назад, закусив удила, кони, сбрасывая наземь своих седоков. Лава рассыпалась так же быстро, как и вынеслась в атаку, откатилась назад, оставив

на высушенной еще прошедшей осенью траве сбитых ружейным и пулеметным огнем людей и лошадей.

Разноязыко, наперебой заговорили бойцы в цепи, вытирая с лиц обильный пот, смахивали вместе с ним напряжение и страх только что пережитого.

Некоторые из них уже бежали вперед по полю на вылазку. Хлопали отдельные выстрелы, обрывающие жизни раненых казаков. Иных по-восточному хладнокровные китайцы докалывали штыками. Бойцы тут же снимали с убитых противников одежду. Отбрасывая в сторону свое тряпье, примеряли казачьи мундиры и штаны с лампасами. Вместо лаптей и онучей обували трофейные сапоги...

* * *

Будто после тяжелой работы спал Володя ночью беспробудно и никаких кошмаров не видел, как, впрочем, и вообще никаких снов. Только закрыл глаза, и вот уже перед ними вязкая предутренняя мгла. Встал с земли, судорожно зевая, похлопал себя ладонями по бокам, чтобы быстрее согреться, и тут же подумал: «Сегодня опять бой». Подумал и решил разжечь по новой костер, попробовать вскипятить чай. Чайник обнаружился рядом с головой лежавшего на спине, безмятежно похрапывающего Немета. Мишуков хотел пощекотать у него в носу травинкой, но раздумал. Прошептал только на ухо: «Подъем».

222-й Самарский интернациональный полк 25-й стрелковой дивизии пошел в атаку на колчаковские позиции вместе с рассветом. Когда над горизонтом стало шириться светлое пятно, а вместе с появившимся над землей краем солнца пополз с реки туман, покатила вдоль цепи приглушенная команда: «Изготовиться». Протарахтела сбоку выдвигаемая на прямую наводку артиллерия. Володя повернулся, любопытствуя, и увидел невдалеке от себя присевших на корточки Немета, комполка Мальцева и Чапаева. Тот что-то сказал Мальцеву и легонько подтолкнул его в плечо. Сергей поднялся на ноги, отрывисто крикнул:
– Перебежка!

«Опять начинается», – только и подумал Мишуков.

Словно на пахоте, неспеша отрывались от земли рослые, сосредоточенно-невозмутимые латыши. Почти не пригибаясь, бежали вперед стройные, порывистые мадьяры, маленькие, по-мальчишески проворные корейцы. В середине их взвода плеснул черным разрывом оружейный снаряд, послышались тонкие крики раненых. Уцелевшие, со столь же пронзительными криками обгоняя идущих впереди, устремились в атаку. За ними поднялись остальные взводы и роты. В гуще атакующих мелькнул на коне Чапаев...

Вместе с интернационалистами в атаку на селение Новая Каргала, прикрывающее путь к Чишме, двинулись Иваново-Вознесенский и Сызранский полки 74-й бригады чапаевцев.

Бойцы уже рвали проволочные заграждения, перепрыгивали через рукава колчаковских окопов, когда им навстречу вышли броневики белых. Рыча моторами, брызгая свинцовыми веерами пулеметов, медленно и властно, словно доисторические мастодонты, ползли они вперед. С железнодорожной ветки по наступающим частям красных поливали пулеметным свинцом и шрапнелью три бронепоезда, но опьяненные боем красноармейцы шли вперед, будто не замечая губительного огня, десятками укладывающего их на влажную майскую землю. Яростные крики атакующих мешались со стонами отрезвленных жгучей болью раненых.

– Васька! Васька-а-а! – пробивался сквозь тяжкий грохот плачущий мальчишеский голос, но Васька был уже где-то впереди...

Лишь медсестры перебежали от одного подстреленного к другому, спотыкаясь под пулями. Ранило идущую в одной цепи со своим братом Лиду Челнокову. В очередной перебежке пульей наповал сразило недавнюю учительницу медсестру Ключкову.

...С искаженным до неузнаваемости лицом упал рядом с укрывшимся за телом убитого бойца Володей Людвигом Немет, одну за другой метнул под накатывающийся

на них броневики две бутылочные гранаты. Вновь бросился вперед, в несколько прыжков достигнув завалившейся на бок машины. Забарабанил по ее броне третьей бомбой. Кричал безумно что-то непонятное по-венгерски вперемишку с русским: «Открывай, собаки!».

«Ох, рванет сейчас!» – мелькнуло в голове у Мишукова, уже прослышавшего о граничащей с безумием храбрости этого мадьяра, за недавние бои на реке Кинель награжденного орденом Красного Знамени. – Ох, рванет...». Не рвануло.

Когда все стихло, Мишуков с тупым удивлением обнаружил, что руки у него покрыты коркой засохшей крови. Сам он ранен не был, а чья это кровь, воспроизвести в своей памяти так и не смог. Долго искал воду, чтобы отмыть ладони и рукава гимнастерки, долго отмывал и так же долго казалось ему, что кожу рук по-прежнему вяжет засохшая на них чужая кровь.

...К девяти часам вечера 28 мая 1919 года белогвардейцы оставили станцию Чишма. От орудийного огня начались пожары, и свет их далеко освещал окрестности. Ночью было почти так же светло, как и днем. Чапаевцы из бригады Кутякова вошли на станцию утром 29-го и оказались после этого в крайне невыгодном положении: в их тылу еще находились подразделения каппелевцев, упустивших, однако, удачный момент для контрудара по завравшемуся противнику.

Командование колчаковцев оказалось неготовым к тому, что красные, часто не считаясь с потерями (после взятия Чишмы в отдельных чапаевских ротах осталось по 30–40 бойцов из 120–150), бросали в бой все новые и новые подразделения. Воспользовавшись сильно растянутым фронтом белых, красное командование применило тактику наступления особыми ударными группами, нанося ими удары в стыки белогвардейских частей и обходя их с флангов. Этой тактике командование Западной армии во главе с Ханжиным ничего противопоставить не могло, и белогвардейские подразделения немедленно откатывались на участке прорыва, увлекая за собой и другие части,

которые были вынуждены отступать из-за угрозы окружения. Так было и в случае с корпусом Капеля, который был вынужден отходить за реку Белая из-за неудач у соседей.

* * *

В ночь на 8 июня чапаевцы под прикрытием темноты, а затем массированного обстрела 48 орудий смогли переправиться через реку Белую севернее Уфы и захватить плацдарм. Разыгрались жесточайшие двухдневные бои за этот клочок земли. Уже с четырех часов утра части 4-й стрелковой Уфимской им. генерала Корнилова дивизии белых пытались сбросить красных в реку, но это им не удавалось. Штаб Западной армии Колчака направил им на помощь авиаотряд, 8-ю Камскую стрелковую и Сибирскую казачью дивизию. Камцы и сибирцы подошли к 16 часам. Новая атака белых сначала развивалась успешно. Красные дрогнули и побежали к переправе. Командарм Фрунзе получил контузию, а начальник дивизии Чапаев, руководивший переправой войск через реку, во время авианалета был ранен пулей в голову. По воспоминаниям очевидцев, пулю вынимали там же, у реки, и сделать это удалось не сразу. Начальник 25-й вытерпел немалую боль и после перевязки не оставил позиций...

Белые чуть не сбросили большевиков в реку, но тех спасла мощная артподдержка с другого берега и перевезенные через Белую броневые автомобили. Под прикрытием артиллерийского и пулеметного огня красные пришли в себя и, организовавшись, отбили колчаковцев от переправы. К исходу дня на плацдарм переправились еще два их полка.

Ночью стороны готовились к решающей схватке. 9 июня белые крупными силами вновь пошли в решительную атаку на плацдарм. Красные, занявшие превосходную позицию на возвышенности, отбили первую и все последующие атаки колчаковцев сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем. Большую роль сыграли и их броневики. Белые дрались с упорством и храбростью, но против численного, а главное – технического превосходства противника, его прекрасной артиллерии сделать

ничего не смогли. Участь Уфы была решена, в тот же день город пал.

Эта операция красного командования стала переломной в ходе всех боевых действий на Восточном фронте. С потерей Уфы белые лишились заготовленных ими в этом районе огромных продовольственных запасов – двух миллионов пудов зерна и 200 тысяч пудов гречневой крупы. Весьма реальной для них стала утрата уральских заводов с размещенными в них заказами колчаковских органов снабжения. После разгрома корпуса Каппеля адмирал Колчак располагал в своем тылу лишь тремя вновь формируемыми в Омске и Томске дивизиями, которые еще совершенно не были готовы к бою.

Слабое умение красного командования к маневрированию своими частями привело к тому, что основная тяжесть сражения за Уфу легла на 25-ю стрелковую дивизию, которая тем не менее сумела добиться успеха. Однако дался он ее бойцам и командирам непросто. Почти половина из них – две тысячи из четырех – остались на поле боя.

Ставший начальником гарнизона Уфы Чапаев 22 июня 1919 года издал приказ № 8, в котором, в частности, говорилось:

«п. 1. До моего сведения доходят слухи, что в городе Уфе скрываются бывшие офицеры, чиновники, полицейские и др. Приказываю всем означенным лицам, кто сознательно отстал от колчаковской армии и искренне перешел на сторону советской власти, в трехдневный срок зарегистрироваться в комендантском управлении, после чего виновные в неисполнении настоящего распоряжения будут расстреливаться, а равно будут расстреливаться и те хозяева, которые их укрывают.

п. 3. Мною замечено, что улицы и тротуары во многих частях города не подметаются, а дворы находятся в крайне антисанитарном состоянии. Приказываю

квартильным комитетам, домовладельцам и жильцам домов принять решительные меры по уборке улиц и дворов...

Начальник гарнизона Чапаев
Военком Фурманов».

Еще через три дня части чапаевской дивизии стали перебрасывать в оренбургские степи на борьбу с белоказаками, серьезно потрепавшими там красных.

* * *

Ударная группа красных под командованием Василия Чапаева шла на выручку осажденному казаками Уральску. На пути к городу особых боев не было, но вот «щипали» казаки своего противника порой довольно сильно. Неожиданными налетами они уничтожали до роты, а то и больше. Не помогало и то, что еще до выступления в поход Чапаев и Фурманов издали приказ по ударной группе, в котором говорилось: «...Командирам частей, имея ввиду свойственный казакам способ ведения войны (партизанский), уметь этому способу противопоставлять способ, равносильный ему... Всегда быть готовым справа и слева, с тыла и с фронта принять неожиданный удар противника. Предупреждаю, что при обнаружении каких-либо погрешностей в этом деле, особенно когда результатом явится неудача, повинность повлечет за собой суровые кары, начиная с расстрела командиров и комиссаров.

Комбату связи поручить охрану проводов местного населения под гарантию, что в случае порчи связи ответственность вплоть до расстрела ложится на население. С жителями, уличенными в явной контрреволюции и содействии неприятелю, бороться самым решительным образом, расстреливая на месте преступления».

Поход продолжался. Стараниями энергичного редактора дивизионки у Мишукова появился довольно флегматичный, немолодой уже по лошадиным меркам жеребец по кличке Башлык. К езде верхом Володя поначалу отнесся с явно выраженным флотским пренебрежением

и тщательно скрываемым страхом. Но Борис был неумолим. Газете требовалась оперативная информация, а значит: «На коня, военмор Мишуков!».

После первой же поездки у Володи до сдерживаемого крика болели ноги, жутко ломило спину, и такой способ передвижения он попросту возненавидел. Казалось, что на уходящей из-под ног штормовой палубе и то веселее было. Однако уже через несколько дней, как и предсказывали ему бывалые наездники из числа новых знакомых, он стал испытывать от своих поездок немалое удовольствие. Пускать коня в галоп он, правда, еще побаивался, несмотря на природное мальчишеское любопытство, но рысью трусил уже довольно уверенно и за россинантом своим ухаживать понемногу научился. Скрести, чистить, кормить, поить. В общем, все, что полагается. Особенно нравилось Володе оглядывать с седельной высоты широкую, чем-то похожую на море степь. Мотались под ветром белые, словно пенистые верхушки волн, пучки ковыля, и даже запах от степи шел, как казалось, солоноватый, словно от финского залива в родном Питере...

Имелось одно «но»... Ездить в одиночку было делом далеко не безопасным. Попадешься шныряющему между походными колоннами и стоянками красных казачьему разъезду, говори спасибо, если сразу убьют. Для «согрева души» Ренц по просьбе Мишукова добыл ему две страшной разрывной силы английские гранаты «милс», которые матрос постоянно возил с собой. Спасти его при встрече с казаками они бы, вероятно, не смогли, но «надругаться им уже будет, считай, не над чем, да и мало кому», мрачно шутил Мишуков.

Сам же Ренц о возможности скорой смерти, похоже, не задумывался вообще, и не по причине особенной храбрости – таковую, по его словам, Борис за собой не замечал, а по немудреной и даже наивной «философии», смешившей и раздражавшей Володю одновременно.

– Меня не убьют, – заявил он как-то матросу. – Не могут меня убить.

– Это почему еще? – изумился Мишуков. – Меня, значит, могут, любого другого могут, а тебя нет. Чем ты такой особенный? Шалишь, браток, так же могут хлопнуть, как и любого другого.

– А за что меня убивать? – с невинной улыбкой поинтересовался Ренц. – Я никому ничего плохого не сделал.

– Враг ты им, вот и все, – начиная раздражаться, жестко сказал Володя. – Мало тебе?

– Какой же я им враг, я им добра хочу. Вот кончится все это, попрошусь в здешние края учительствовать.

– Да ну тебя, – так и не поняв, шутит Борис или говорит серьезно, махнул рукой Мишуков. – Я ж не против, чтоб тебя не убивало, да и себе того же желаю. Если б вот только от нас с тобой тут все зависело. А так... Пуле-то иль шашке все равно – добрый ты или злой, сделал кому плохо иль без того жить умудрялся.

– Буду казачат алгебре учить, – будто и не слыша матроса, гнул свое Ренц.

– Чему?

– Алгебре. Та же математика, только посложнее. Точные науки развивают ясность мышления, а оно им очень даже понадобится.

– Да ты сам неуч, даже одного курса университета не закончил, а других ясности мышления учить собираешься, – рассмеялся Володя, уже успевший привыкнуть и привязаться к своему новому начальнику, ставшему для него настоящим товарищем.

– Ничего. Выучусь сам, а потом их буду учить. Я молодой, времени у меня много.

– Смотри, как бы они твое время шашкой не отрубили, – встал со стула Володя. – Давай командуй лучше, куда мне теперь собираться.

В этот раз редактор послал Мишукова в деревню Малая Глиница, занятую незадолго до того полком имени Ленина.

– Этот полк – недавний белый курень Тараса Шевченко, – пояснил он при этом Мишукову.

– Какой еще курень?

– Беляки в Сибири из украинских переселенцев сформировали, а они, как только на фронт прибыли, сразу офицеров перебили и в полном составе к нам перешли. Хороший подарок советской власти на 1 мая сделали, да еще и из других белых полков солдат с собой сманили. Говорят, всего около трех тысяч перешло. Здоровенную дыру в белых позициях сделали, нашим потом это очень помогло.

В занятой без боя Белой Глинице Мишукову крепко повезло. Бойцы захватили там кроме прочего казачьего добра кухню с еще варившимся обедом, а также испеченный местными жителями по казачьему заказу и из их же муки хлеб. Переговорив с командиром полка, недавним бунчужным, а до того сельским учителем Степаном Пацекком, сыгравшем одну из главных ролей в переходе куреня к красным, Володя получил по его указанию два каравай хлеба, да кроме того до отвала наелся. Уложил караваи в седельную сумку, отломил кусочек и Башлыку и, любовно поглаживая его по холке, подумал: «Теперь и немчура хлебушка поест, давненько мы его не видели».

– Товарищ командир, це ж вы! – раздался сзади громкий юношеский басок. Мишуков обернулся и увидел стоящего от него в двух шагах высокого плечистого парня в поношенном, но еще крепком солдатском обмундировании со следами погон на плечах и бурой меховой папахе, какие носили все бойцы недавнего куреня, а ныне полка имени Ленина. На плече его висела винтовка, на ремне подсумки с патронами и бутылочная граната.

– А я все дивлюсь, вы тай не вы? А теперь точно бачу, вы.

– Что-то я тебя не помню, парень... – внимательно всмотрелся в загорелое лицо красноармейца Мишуков.

– Во це дило! – звонко хлопнул себя ладонями по ляжкам тот. – Мы ж з вами у Славгороде, як восстанье було у прошлом годе, побачились. Ще самогонки выпили тай салом закусили. Прокоп я, Снисаренко. З вами командир ще наш був, Егор. Швыдкий такой мужик. Вин гранатой двух охвицеров вбив, а другую мэни подарив.

– Точно, – Мишуков с трудом узнал в этом сильном и уверенном в себе парне робкого хлопчика, встреченного им во взятом восставшими крестьянами степном алтайском городке Славгороде, а узнав, расплылся в улыбке. – Точно. Мы еще там с одним мужиком по политическим вопросам разошлись, да едва на кулаки не схватились. Как ты тут-то оказался?

– Казаки пришли. Кого порубали, кого выпороли, кто спрятався, тай все одно нашли тай мобилизовали. В вагонах с решетками, да ще пид охраной до Челябинска везли, а там у курень Тараса Шевченки определили. Фронтовики, що с германской, яки там булы, кажут: «На що нам цей курень. Трэба ийти до красных. Розумеете?». Ну мы и зрозумели. Як пришли на фронт, так зараз и до вас.

– И ты теперь боец Красной армии. Что ж, будем опять вместе за советскую власть воевать? – крепко тряхнул Прокопа за плечо матрос. – Так?

– Ну, а що робить? Як ще до ридной хаты добраться? З вами тильки, бивш ни як. Пидем з вами, небось выйдет.

– Не небось, а обязательно выйдет, – рассмеялся Володя. – Будет нашей Сибирь и Алтай тоже. Точно говорю. Только вот раньше с казаками надо управиться.

– Це трэба, – согласно кивнул Снисаренко, – вони мужику вороги лютые. Видав я, що вони в нас робили, сволота. Вложим им, що б надолго запомнили, яки живы останутся. А ще б краше усих пид корень извести.

– Ничего, придет время, прозреют и они, еще и народу послужат.

– Николи вони мужику служить не будут, – с тяжелой злостью сказал Покоп. – Кажу, пид корень трэба. Як и усих, хто мужику враг.

– Безыдейно мыслишь. Личная обида в тебе говорит, – осуждающе заявил Мишуков. – Надо в корень смотреть, а ты поверху скребешь.

– Тай идеи це у вас, у городских, а мужику вони не потребны, у його земля е, – неожиданно жестко, как об давно обдуманном и решенном, сказал Прокоп и добавил уже чисто по-русски: – Ей идеи ни к чему, ей зерно нужно. Пойду я, товарищ командир, а то ротный ругаться будет.

– Ну давай, – согласился, несколько ошарашенный таким поворотом разговора Мишуков, – иди, конечно.

Он долго смотрел вслед уходящему парню, потом покрутил головой и довольно неуклюже стал забираться в седло. Всю дорогу до места он думал о недавнем разговоре и, прибыв в штаб, тут же решил поделиться своими мыслями с Борисом.

– Представляешь, встретил сейчас парня одного хохла в этом курене бывшем. Я его с восстания на Алтае помню, я там с продотрядом оказался да и застрял на целый год, – едва ли не с порога принялся рассказывать Володя. Он плюхнулся на стул напротив листавшего какие-то документы Ренца и хлопнул рукой по столешнице. – Погоди ты со своими бумажками. Послушай лучше.

Борис аккуратно сложил бумаги в стопочку, сдвинул на край стола и выжидающе посмотрел на Володю.

– Говорю ему: «За идею разве не стоит сражаться?», а он мне: «Идеи у вас. У городских. Вам время есть разными пустяками заниматься, а у мужика земля. Ей зерно трэба, а не идею». Как тебе? – приукрашивая от возбуждения разговор с Прокопом, энергично потряс сразу обеими руками Мишуков. – Ты понял, а? Вот чудила-то. Как крепко в каждом из них эта мелкобуржуазная закваска сидит. За своим рядом света не видят. Идеи, значит, городским. А им земля. Надо же додуматься, а!

– Если рассуждать с его позиции, такое заявление не лишено смысла, – деловито заметил Борис

– Да-а... – удивленно протянул Володя. – А ты-то сам с какой позиции сейчас рассуждаешь? Скажи, пожалуйста, товарищ Ренц, как тебя, такого рассудительного, в революцию занесло, учитель ты наш будущий?

– Потому и занесло, что рассудительный, – словно не замечая холодка в голосе матроса, спокойно ответил редактор. – Появилась возможность поучаствовать в переустройстве общества на новый лад, и я решил ее не упустить. Мне еще мальчишкой хотелось чего-то нового. Новые страны, новые открытия, в каких мои соотечественники преуспели – Беллинсгаузен, Крузенштерн и тому

подобное. Решил не отставать. Посмотрел внимательно и записался в РКП. Тут порядка больше, чем у других, и главное есть точное понимание цели и способов ее достижения. А тяга к порядку и точности у меня, как ты понимаешь, природная.

Сомнений нет – за большевизмом будущее. Его, а значит и мое, поскольку я человек совсем еще молодой. Фатер мой любил говорить, что молодость – это всего лишь средство для того, чтобы обеспечить себе старость. И вот я здесь, в оренбургских степях, вместе с тобой. Доходчиво объяснил? – улыбнулся Ренц.

– Почти наполовину, – рассмеялся вновь не понявший, шутит его редактор или говорит серьезно, Володя. – Рассудительный человек твой папа, ничего не скажешь. Теперь понятно, в кого ты пошел.

– Вот и хорошо. У меня вобла есть и даже немного сахарину, а кипятку давай уж ты сообрази. Хорошо бы еще хлебushка, конечно, да где его взять? Что-то совсем плохо его подвозить стали.

– Что касается хлеба, то у такого рассудительного и хозяйственного человека, как военмор Владимир Мишуков, он есть, – гордо заявил Володя. – Мне в курене, в полку то есть, целых два каравая отвалили.

– Да ты что?! – по-мальчишески обрадовался Борис. – Да это же просто царская жизнь! Будем думать, что и дальше так же хорошо пойдет.

– Ага, – усмехнулся Мишуков, – куда уж лучше...

* * *

По пути от Уральска на Лбищенск, за деревней Большая Глушица, чапаевские полки перешли «казацью грань» – границу области Уральского казачьего войска. Первые же встретившиеся на их пути поселки и станции были полностью оставлены населением. Ни старого, ни малого, хоть шаром покати. Часто надворные постройки были сожжены или разломаны, хлеб в амбарах перемешан с песком и землей, залит водой, превратившей все это месиво в грязную жижу. Многие колодцы были засыпа-

ны, другие отравлены, не оставлено было ни одной бадьи. В отдельных домах даже были вынуты и увезены покинувшими свой кров хозяевами оконные рамы.

Красноармейцы топтали пшеничные поля, находили в станицах целые горы не обмолоченного зерна, но хлеба у них не было неделями и они попросту голодали. Правда, каптенармусы отпускали ротам вволю мяса, которое бойцы варили в ведрах и котелках, жарили на углях. Кушанье получалось не ахти, тем более что без соли. Ее тоже не было. Исхудавшие бойцы почти поголовно маялись животами. Проезжая мимо колонн, Володя часто видел, как выскакивают из них красноармейцы и тут же присаживаются на корточки, а на их место из степи возвращаются другие. И люди, и лошади падали от изнеможения. Не было дегтя, часто загорались не смазанные оси телег. Под страшный, до ощутимой боли режущий виски бойцов, скрип тянулись от колес струйки дыма, и тогда в ход шли земля, песок, влажная трава и вода, с которой у чапаевцев тоже было плохо и становилось все хуже. Специальные команды водовозов, часто с боем, добывали живительную влагу, но на чудовищной жаре этого было мало. Очень мало...

Уральские казаки, как и свойственно природным, потомственным воинам, сражались на своей земле с угроенной силой, – отчаянно, а главное – умело, часто нанося красным большие потери. Гибли те и не только от казачьих пуль и шашек. В станицах, где все же осталась часть населения, чапаевцев встречали как злейших врагов, лютых иноземных захватчиков. Одна из казачек, наверняка понимая, что идет на верную смерть, накормила красноармейцев блинами с ядом... Уничтожение живой неприятельской силы как непримиримых врагов – вот задача, которую Чапаев поставил тогда перед собой. У казаков она была аналогичной...

– Кажется, будто они навсегда отсюда уходят, – сказал как-то Ренц Володе, – даже жутко становится. Они ведь собственники каких поискать и надо же: свое кровное, годами наработанное жгут, ломают, уничтожают. Решили,

значит, для себя – все, черта. Как таких победить? Убить можно, а победить...

– Да пошел ты со своей гнилой психологией! – рассердился матрос. – Говоришь так, будто ты не коммунист, а адвокат какой-то вроде того, у какого я в Барнауле жил. Тоже любитель разглагольствовать, пыль словами пускать. Убить надо – значит убьем. Не становись поперек дороги революции, не заслоняй народу светлого будущего. Ты ведь за ним сюда пришел? Вот и сражайся за него без всяких соплей.

– Так я ж не против, – примиряюще вздохнул Борис. – Только вот знобит даже, когда на все это смотрю. У тебя такого не бывает?

– Нервишки интеллигентские, вот и знобит, – повел плечами Мишуков. – Это ничего. Главное, чтоб от тифка не зазнобило. Он у нас уже всюю ходит, а я его больше пули боюсь. Я уж с ним знакомый, второй раз не вытяну. Будешь тогда мне письма в Могилевскую губернию писать... Ничего, Чапай с нами. Выдержим.

Володя не знал и не мог знать, что в эти дни командир идущей на Лбищенск ударной группы красных отправил в штаб 4-й армии докладную записку, в которой говорилось:

«...Я нахожусь в совершенном неведении, что за задачи 25-й дивизии. Боевой задачи нет никакой. Отдыху тоже нет, и распылили всю дивизию мелкими частями, командному составу не в силах следить за порядками в частях и отдавать срочные распоряжения. Таким образом дивизия доводится до разложения... Требую дать известную задачу 25-й дивизии. Все войска 25-й дивизии на протяжении 250 верст лежат в цепи под палящим солнцем и более двух месяцев не мыты в бане. Некоторых паразиты заели. Если не будет дано никакого распоряжения, я слагаю с себя обязанности начдива, мотивируя нераспорядительностью высшего командного состава...».

Реввоенсовету 4-й армии и самому Фрунзе писал и Фурманов:

«Объезжая цепи в течение последних дней, вижу невероятно трудное положение красноармейцев. Нет белья, лежат в окопах нагие, сжигаемые солнцем, разъедаемые вшами. Молча идут в бой, умирают как герои, даже некого выделить для наград. Все одинаково честны и беззаветно храбры. Нет обуви, ноги в крови, но молчат. Нет табаку, курят сушеный навоз и траву. Молчат. Но даже молчанию героев может наступить конец. О благороднейших героях мы заботимся не по-геройски. Мы, несомненно, не правы перед ними. Сердце рвется, глядя на их молчаливое терпение. Не допустим же до разложения одну из самых крепких твердынь Революции. Разуйте и разденьте кого хотите. Пришлите материал, мы сошьем сами, только дайте теперь что-нибудь. Мобилизуйте обувь и белье у населения».

Вскоре после этого письма Дмитрий Фурманов был отозван из 25-й дивизии и направлен на новую работу – начальником политотдела Туркфронта.

– Фурманов уезжает, – сказал Мишукову побывавший на дивизионной партконференции Ренц.

– Чего так? – удивился тот.

– Считается, что на повышение, а на самом деле... – Борис замолчал.

– Ну чего темнишь-то, говори, что знаешь, – нетерпеливо оборвал паузу Мишуков.

– Да чего я знаю... Ну, знаю, что приезжал в дивизию член Реввоенсовета Южной группы войск Валериан Куйбышев, разбирая распрю, что между Чапаевым и Фурмановым вышла. А уж какие он выводы сделал – почему мне знать, знаю только, что Фурманова от нас убирают.

– Что за распря-то?

– Я слышал, что из-за фурмановской жены, что у нас театром заведует. Чапаев ведь баб вообще недолюбливает, у него из-за них жизнь, можно сказать, наперекосяк пошла. Первая жена, пока на мировой войне был, любовь с другим закрутила, он как вернулся, в жены вдову погибшего товарища по обещанию взял да еще с детьми. Он им с той войны даже деньги посылал на содержание. Своих

детей в старой семье забрал после – стало у него всего их пятеро, да еще эта Пелагея. Присосалась баба к Василию Ивановичу как пиявка. Я ее видел два раза. Как в народе говорят – ни рожи, ни кожи. А поди ж ты, закрутила, мерзавка, любовь с начальником артсклада Живоложиновым. Он по этому делу, говорят, большой специалист, да и сами женщины на него как на мед липнут. Вот и эта приклеилась. Такому человеку стервы в душу наплевали! – неприлично для Мишукова горько выругался Ренц.

– А Чапаев что? – мрачно спросил Володя.

– Что, что... Ребята хотели этого Живоложинова прихлопнуть на месте, так не дал. Вспыльчивый, как порох, от малой искры полыхнет – матюжком пошлет, а то и за наган схватится, а тут не дал. Сказал: «Сучка не всохнет, кобель не вскочит» – и все. Пелагею эту наказал к нему не пускать и из дивизии выпроводить. Так она не послушалась, с младшим сыном его Аркашей в штаб заявила, разжалобить, видать, Чапая хотела. Он приказал не пускать, так она рассердилась и злая очень уехала. Это плохо. Как бы зло какое ему не надумала сделать, такая может. Арестовать бы ее, да вроде не за что. За душу подлюку как бы и непозволительно под арест брать. Да и он не даст.

– Пристукнуть ее потихоньку, чтоб он и не знал, вот что правильно было бы... – мрачно сказал Мишуков.

– А детишки?

– Так вот же... Ну, а Фурманов-то тут при чем? – немного помолчав, вернулся он к началу разговора.

– Тут вот что. Василий Иванович даже командирам полков и бригад запретил с собой жен на фронт брать, а Фурманов свою Анну Никитичну в дивизию привез. Цельный скандал, говорят, был. Чапаев спрашивает: «А это кто?». Фурманов: «Это Анна Никитична, моя жена».

Чапаев: «Отправить обратно». Тот ему: «Она не просто жена, она культработник, будет спектакли устраивать в затишье». Чапаев свое: «Отправь в соседнюю дивизию, пусть там устраивает. Но не у нас».

В общем, нашла коса на камень. Фурманов уперся и ни в какую, не отправил жену назад и все. А вслед за ним –

комиссару, значит, можно, а нам нельзя? – и другие стали так же делать. Сам ведь видишь. Комбриги своих жен вызвали, командиры полков своих, к батальонным и ротным и то ко многим их бабы приехали. Мужьям ихним воевать надо, а они между собой ругаются чей лучше, храбрее да умнее, кого комдив больше уважает, лбами мужиков сталкивают. Чапай разозлился и приказал в двадцать четыре часа всех их без разбору из дивизии выгнать. Фурманов телеграмму в Москву – работать с ним не могу, уберите его или меня. Чапаев – такую же. Ну вот Куйбышев приехал, посмотрел и свою телеграмму в Москву послал. Результат я тебе сообщил. Говорят... – Ренц замялся, потом продолжил: – Говорят, Фурманов и раньше на Чапая жаловался, даже в политотдел фронта писал, что считает его опасным карьеристом, способным на авантюру. Но тут точно сказать не могу, письма того не видел.

– Огорчен, что Фурманов уезжает? – поинтересовался Володя. – Скажи честно.

– Если честно, и да, и нет. Как политработник огорчен. Фурманов человек для нашего дела очень полезный. Но только такие у партии еще найдутся, пришлют. А вот Чапаева кем заменишь, он один такой. Одно имя «Чапай» может целого полка стоит. То ли сам не знаешь. Вспылчивый, конечно, горячий, так и отходчив опять же. Ну а про бой что говорить – чутье, как у гончей, отвага, а главное удача его никогда не покидает, словно приклеилась она к нему.

– Это точно, – согласно кивнул головой Мишуков, – народу у нас боевого хватает, а таких, как Василий Иванович, и вправду поискать. Ладно, – он хлопнул себя ладонями по просвечивающим сквозь изношенные галифе коленям и рывком поднялся со стула. Привычным движением поправил ремень на такой же обветшавшей гимнастерке. – С Фурмановым, без Фурманова нам дорога одна – на Лбищенск и Сахарную. Там, может, и хлеб наконец подвезут, патроны, отдых дадут какой-никакой.

– Это хорошо было бы, – мечтательно сказал Ренц и после паузы повторил: – Это было бы хорошо...

Писарь одного из чапаевских полков отметил в боевом журнале: «Город Лбищенск – это не город, а простое село. Все постройки, как и на хуторах, низенькие, слеplенные из глины, побеленные известью. Крыши у домов плоские. На стены положен плетень, насыпана земля, а сверху залита глиной. Дома обнесены плетнями. Нет ни садиков, ни одного деревца. Мужчин совсем нет. В пустых домах и дворах валяется рухлядь – поломанная мебель, худые кадки, разные ящики, старые сани. От движения частей неимоверная пыль, в тридцати шагах ничего не видно и дышать нечем».

Красные заняли городок девятого августа 1919 года после сильного боя. Дальнейшее их продвижение вперед было встречено еще большим, ожесточенным сопротивлением казаков. Силы же чапаевцев были истощены. После взятия хорошо укрепленного форпоста Мергеневский и станицы Сахарная в отдельных ротах дивизии осталось по десятку бойцов. В тылу красных орудовали не признающие никакой власти зеленые, и начдив 25-й серьезно опасался возможного перехода части его войск на их сторону...

В начале сентября фронт от Лбищенска проходил в 80 километрах. Серьезных сил противника в этом районе обнаружено не было, и основные части 25-й дивизии находились от городка на значительном расстоянии. В самом городке разместились лишь чапаевский штаб и политотдел дивизии, недавно организованная школа красных инструкторов численностью в 600 человек, трибунал, ревком, отдел снабжения да огромный обоз – около двух тысяч подвод мобилизованных крестьян Самарской губернии. Только с одной маневренной группой Кутякова штаб дивизии имел телеграфную связь, с остальными лишь конную...

Володя и Ренц находились в частях, часто в роли политбойцов, то есть шли в цепях с винтовками в руках. В конце августа по вызову политотдела они прибыли в Лбищенск и нашли себе пристанище в обветшалой мазан-

ке, где жил одинокий старый казак, имя которого им удалось выведать не сразу. На деловито-добродушный вопрос Бориса: «А скажите, дедушка, как вас звать-величать?» заросший давно не стриженной косматой бородой, худой, но, похоже, все еще крепкий старик не ответил ничего. Повернулся спиной и вышел во двор.

Друзья сложили свои немудреные пожитки в одной из двух крохотных комнаток нового жилья и стали рассматривать висевшие на давно не беленой стене фотографии. Их тоже было две. На одной присутствовал бравый, немолодой уже казачина в парадном кителе с медалями и Георгиевским крестом. Высокая папаха, суровый взгляд, внизу витиеватая надпись «Оренбург. 1896 год». На другом снимке были два казака помоложе, по всему видать, сыновья старика. Такие же brave и воинственные, только глаза малость потеплее. Правда, рассмотреть их толком Володе с Борисом не удалось. Вернулся дед и, так же молча сняв со стены оба снимка, унес их в другую комнатку.

Не привыкший к такому обращению Ренц не оставил попыток сблизиться со старым казаком и взялся за это дело с присущей ему основательностью. Для начала он «подкупил» его с помощью невесть какими путями раздобытого десятка папирос. Соблазн был попросту огромным, и старик не устоял. В ответ на любезное предложение Бориса: «Закуривайте, дедушка», сначала замялся, но потом папироску все же взял и тут же ее закурил.

– Берите еще, – предложил Борис, – мне они особо ни к чему. Я ведь не курю почти. Так, когда-никогда.

Казак решительно выгреб с его ладони все до единой папироски и ушел. А через какое-то время принес разваленного надвое, сочившегося жирком вяленого судака. Буркнул:

– Поликарп Матвеевич.

– Что? – удивленно спросил Борис.

– Зовут меня так. Ты надясь спрашивал, так я тебе говорю, – так же хмуро бросил хозяин их пристанища.

Несколько дней их не было в Лбищенске, вернулись, когда уже вступил в свои права сентябрь, и Володя

неволью припомнил, как в один из таких же дней год назад крестьяне-повстанцы освободили его из славгородской тюрьмы, где он дожидался безвременной гибели. Как он познакомился с одним из них, таким же хорошим парнем, как Борис Ренц, – Егором Нефедовым. Совсем другим, но таким же хорошим и надежным. Как воевал в точно такой же степи, с такими же, как и эти, казаками. Разгром, бегство, Барнаул, тиф, Москва, смерть Ольги – и все это только в один год. В другое время одному человеку на целую жизнь бы таких событий хватило...

Вечером Ренц принес в жилище старого казака вещь не менее ценную, чем папиросы, а может быть, и превосходящую их по значимости, – осьмушку чаю, который был немедленно заварен. После недолгих уговоров пришел почаевничать и Поликарп Матвеевич. Мало-помалу завязался разговор.

Мишуков всегда поражался умению Бориса располагать к себе самых разных людей даже из тех, кто считал его своим врагом. Ренц умел слушать, сопереживая услышанному, и собеседник его постепенно начинал говорить о том, что поначалу высказывать и не думал или опасался. Глядя, как работает его редактор, Володя не раз прятал восхищенную улыбку. В Барнауле у Сухотского он как-то от скуки перелистывал большую, едва не с поднос размером книгу сказок и почему-то хорошо запомнил одну картинку из нее. Розовощекий, хорошенький, словно девочка, пастушок не в нашем одеянии, чулках, здоровенных деревянных башмаках и шляпе с пером играет на дудочке. Как-то он подумал: покормить хорошо Ренца с недельку, дать ему отоспаться пару дней да поменять ветхую пропотевшую гимнастерку и рыжие солдатские сапоги на такое одеяние – и будет вылитый тот парнишка. Хотел сказать об этом Борису, но, встретившись взглядом с глазами до предела уставшего, находящегося на самой грани нервного срыва человека, передумал.

Борис беседовал с хозяином о турецкой войне.

– Откуда вы так все знаете? – раз за разом изумлялся старик. – Никак тоже там были?

– Годами не вышел, – улыбался в ответ довольный Ренц. – Просто про то в книгах разных много написано, а я некоторые читал.

– Смотри ты, и про наши дела давние, значит, книжки писаны. Да... Хороший ты, как я гляжу, парнишка, хоть и большевик. Много знаешь, не то, что мы – серость. Так и когда учиться было? С мальства работа да служба, война одна да другая, годами дома не бывал. Глядь, и на печку пора, – вздохнул дед.

– А что, большевики не люди, что ли? – поднял брови Борис. – Вот я стану учителем, приеду сюда, буду вашей малышне рассказывать, как казаки своему Отечеству служили, вместе с мужиками за него, бывало, жизни не жалели. Не все ж они свободы душители, не вечно же мы друг друга убивать будем? Русские же мы. На одной земле живем, на одном языке говорим. Неужто не сговоримся?

– Да вроде и так, и не так, – задумчиво сказал казак. – Вера одна и язык тож. Только у нас в войске и татары, и башкиры, и других народов люди есть. Ярма мы как мужики никогда не носили, в ножки не кланялись, а что жили и живем ихнего получше, так за то кровью плачено. Я сам в турецкую Карс и Эрзерум брал, на Коканд совсем молодым еще ходил со вторым Уральским полком. У Икана нашу сотню тыщи кокандцев окружили, три дня от них отбивались. Половину наших побило, другую поранило. Как патроны вышли да воды не стало, шашками пробились, кто жив остался, да ушли все ж от нехристей. Георгия тогда выслужил, серебряную ленту на шапку, а сотня наша с тех пор Иканской стала называться. На Хиву ходил с самим генералом Скобелевым. Так-то вот, паренек, а ты говоришь казаки. Один сын мой в японскую голову положил, другой в германскую без весточки сгинул. Старуха слезами себя в могилу свела. Казаки Отечеству – первые слуги, а што до свободы, воли то есть, так мы за ней, когда мужик под лавкой прятался, с царем-батюшкой Емельяном Ивановичем Пугачевым ходили. За простой народ против немки-царицы да слуг ее.

– Какой Пугачев царь – известно давно: простой казак. Он и сам на допросах это признал, и записи о том есть.

– А я тебе говорю царь, самый что ни на есть настоящий, – вскипел дед, – Петр третий. А что до допросов, так чего на дыбе да под огнем не скажешь. И то, может, бумаги те вранье, сами писаря потом понаписали.

– Хорошо, хорошо, царь так царь, – не стал спорить Борис. – А чего еще про Пугачева знаете, интересно бы послушать, большой ведь был человек.

– Понятное дело большой, коль самого нет, а имечко-то живое и еще поживет, – согласился дед. – Ну, коль хочешь знать, расскажу я тебе одну бывальщину, какую сам от старых казаков, какие еще до Парижа хаживали, молодым слышал.

Есть на Урале одна пещера, «Пугачевкой» зовут. Бежал будто ерой из Троицка на Чебаркуль, а тут войско царское. Туды-суды. Укрыться негде. Ан нет. Ушел Пугач в пещеру, а слышал о ней от староверов. Они с ним вроде в отряде были и будто молельню там, под землей устраивали. Ушел, словом, Емельян Иванович. Ушел. И слушай...

Володя тронул Ренца за рукав:

– Борис, дело есть.

– погоди маленько, дай дослушать, интересно же, – не поворачивая головы к Мишукову, попросил тот.

– Ладно, слушай, а я в штаб пойду, там заночую. Милана Кельячки из 222-го интернационального видел возле него, видать, их роту или взвод для караула здесь оставили. Милан мужик грамотный, хоть и из крестьян. Побеседую с ним на международные темы... А ты слушай, слушай казачьи байки, – усмехнулся Володя. – У них их много, главное – пусть про пятый год рассказать не забудет, как они на русских рабочих в походы ходили да какие подвиги тогда совершали.

Казак запнулся на полуслове, острым, совсем не старческим взглядом взглянул на матроса, но тот этого не заметил, поскольку уже повернулся к хозяину спиной, хлопнул за собой дверью.

В боях на родной земле казакам приходилось не менее тяжело, чем красным, а может быть, и более того. День ото дня положение их становилось попросту критическим, но об окончании борьбы почти никто из них тогда не помышлял. Теснимая частями ударной группы Чапаева их Уральская армия отходила все дальше к Каспию. Настоящим бедствием для нее стали идущие вместе с войсками беженцы. Стоило частям армии остановиться, как останавливались и они, не слушая ничьих приказаний об отходе в глубокий тыл. Сотни тысяч голов скота, гонимого беженцами, уничтожали на своем пути запасы сена и траву, словно ненавистная казакам саранча. В южных станицах не было хлеба, и районы, где проходило отступление, представляли из себя голую степь, даже ветки на деревьях были съедены. Свирепствовала эпидемия тифа, ежедневно вырывающая из казачьих рядов десятки испытанных бойцов. Из-за отсутствия фуража конский состав начал ухудшаться. Еще немного, и казаки лишились бы кавалерии – своей главной силы...

Чтобы попытаться найти выход из положения, атаман уральцев генерал-лейтенант Толстов созвал круг офицеров – от сотенных до корпусных командиров. На нем старые командиры во главе с генералом Титруевым выступили за проведение обычной наступательной операции, предложив объединить конные части уральцев и атаковать хорошо укрепленную станицу Сахарную. Подобная атака через ровную, как стол, степь была бы явным самоубийством, и этот план отвергли. Приняли другой, по которому из состава Уральской отдельной белой армии выделялся небольшой по численности, но хорошо вооруженный отряд из лучших бойцов на самых выносливых конях. Он должен был тайно пройти расположение красных войск, не вступая с ними в бой, и проникнуть глубоко в тыл. Скрытно подойти к Лбищенску, внезапным ударом взять его и отсечь красные войска от баз, вынудив их к отходу. В это время казачьи разъезды поймали двух

вестовых красных с секретными документами, из которых стало ясно, что в Лбищенске находится штаб всей группы Чапаева, склады оружия, боеприпасов, амуниции на две стрелковые дивизии, была определена численность красных сил. Во главе казачьего отряда общим числом 1192 человека при девяти пулеметах и двух орудиях был поставлен боевой генерал Бородин. Среди казаков было немало уроженцев Лбищенска, очень хорошо знавших свой родной городок.

При обсуждении плана Чапаева решено было взять живым, для чего был выделен специальный взвод подхорунжего Белоножкина. Этому взводу ставилась сложная и опасная задача: идти в атаку на город в первой цепи, при занятии его окраины, не обращая ни на что внимания, броситься на квартиру Чапаева и схватить красного комдива.

31 августа с наступлением темноты спецотряд вышел из поселка Каленого в степь. Во время всего рейда как казакам, так и офицерам запрещалось шуметь, громко разговаривать, курить. Требовалось забыть на несколько дней о горячей еде. Первого сентября отряд простоял весь день в степи на жаре, находясь в болотистой низине, выход откуда не мог остаться незамеченным врагом. При этом его расположение едва не было замечено красными летчиками – они пролетели совсем рядом. Когда в небе появились аэропланы, генерал Бородин приказал казакам отогнать лошадей в камыши, тачанки и пушки забросать ветками и охапками травы, а самим лечь рядом. На третий день пути отряд приблизился к Лбищенску на 12 верст.

Разъезд прапорщика Портнова напал на хлебный обоз красных, частично захватив его. Пленных обозников доставили в отряд, где их допросили и выяснили, что Чапаев находится в Лбищенске. При этом один красноармеец добровольно вызвался указать его квартиру.

* * *

В одну из небольших полутемных комнат занятого под чапевский штаб дома набилось человек пятнадцать бойцов. Магьяры, сербы, австрийцы, русские – все из

интернационального полка. Запах передаваемых по кругу скупых махорочных сигарок мешался с «ароматами» развешанных для просушки портянок, сапог, кожаной амуниции и солдатского пота. Кто-то уже спал, свернувшись в калачик или распластавшись навзничь на брошенной прямо на пол шинели, другие лениво переговаривались сразу на нескольких языках, самые хозяйственные занимались чисткой оружия, латанием давно изношенной одежды.

Милан Кельячки устроился по-царски, на топчане, и был занят важным делом. Со свечой в одной руке и сапогом в другой охотился на оккупировавшие помещение чудовищные полчища клопов. Хлопая подметкой по стенам, приговаривал по-русски: «Сто тридцать перфый, сто тридцать фторой. Потыхай, сфолочь».

Рядом с ним так же увлеченно чистил ручной пулемет «лююис» чернявый горбоносый боец лет тридцати. По неспешным, размеренным движениям и степенности в нем, как и в Милоше, угадывался потомственный крестьянин.

Прервав свое увлекательное занятие, Кельячки повернулся к открывшейся двери и довольно улыбнулся:

– А, товарищ Володя. Как это по-русски, – дорогой гость, просим в нашу хату.

– Переночевать пустите? – улыбнулся в ответ Мишуков. – Много места не займу.

– А много тут и не будет. Садись рядом. Подвинься, Веселин, дай товарищу место.

Володя устроился рядом с пулеметчиком, протянул ему руку.

– Владимир Мишуков. А как вас звать – уже знаю. Хорошее имя, веселое.

– Он и сам человек веселый, шутка любит, только говорить не любит. Еще мальчишкой такой был. Я знаю. Очень кароший пулеметчик, – поднял вверх указательный палец Кельячки.

– Хороший у вас пулемет, товарищ? – желая завязать общий разговор, поинтересовался Володя у Веселина. Тот поднял голову от оружия, скупо улыбнулся, крепко хлопнул ладонью по «самоварному» кожуху «лююиса»:

– Луизка – карош девка. Без отказ. Но без муж, – развел руками пулеметчик. – Кому даст – больше не приходить.

Залпом плеснулся смех, разбудил кое-кого из спавших на полу красноармейцев. Покрутили недоуменно головами по сторонам и вновь потянули на себя полы шинелей.

– Закурить не будет, товарищ Володя? – осторожно, словно боясь спугнуть удачу, поинтересовался Кельячки.

Мишуков извлек из нагрудного кармана пару полученных от Ренца папирос, и тут расплылся в широкой улыбке даже сдержанный Веселин. Взяв протянутую ему папиросу, молча кивнул в знак благодарности.

– Эзерйо! Очень карашо! – с видимым удовольствием пыхнул дымком Милош. – Мы с товарищем Марковым из одного села. Есть такое в Венгрии, Мало-Москва называется.

– Чудно, – усмехнулся Володя. – Я сюда из Москвы прибыл и вы тоже, только маленькой.

– Село наше не есть большое, это да, но красивое ошень. Люди хорошие. Я мадьяр, Веселин серб, живем соседи, он мне, я ему плохого не делали. Один полк, вместе плен, на Урале железную дорогу строили. Хлеб нет, одежда нет, потом тиф. Помогать один другому. Какая тут разный кровь? Забастовка была, казак пришел. Их прогнали, солдаты пришли. Одних убили, других ранили. Кто смотрел, где какая кровь? Мужики разниц нет, какой у соседа кровь. Какой хозяин – это фажно. Какой бог у кого, какая кровь, то попам с панамы надо, чтоб мужиков разделить, чтоб друг друга травили, а на них сил не хватало. Пока травят, пан ярмо для них ще покрепче изладит.

– Тебе политграмоту бойцам можно читать, – восхитился Володя. – По всему видать, хорошо тебя научили природу капитализма понимать.

– Чего учить? – Милош с сожалением посмотрел на искуренную до мундштука папиросу, протяжно вздохнул. – Свой ум есть. Это не политграмота – жизнь. Я ее разную знать. Тут вот теперь. Новой хочу.

– А в полку тоже люди хорошие?

– Так.

– И мужиков, таких вот, как вы, никто за мошну не берет, барахлишком чужим не интересуется?

– Были новые, мы пресекли, – сухо сказал Милош. – Мы с начала год в Красная армия. Я, Веселин, Янош, Гельмут – вон спит. Полк Самарский коммунар клятва давал. Бежать из боя – расстрел, пьянство – расстрел, воровство также. Мирровая революция – какие водка, воровство? Пуля за это. Понял? – строго посмотрел он на Володю.

– Ладно, Милош, не обижайся, – попросил Мишуков. – Это я не подумав. А вот скажи...

За стеной в коридоре часто затопали сапоги, в комнату заглянул красноармеец, сказал, как выдохнул: «Чапаев приехал».

Оборвав разговор, Мишуков быстро поднялся, решительно двинулся к двери. Очень уж ему хотелось встретиться поближе с этим человеком и если не поговорить, то хотя бы рассмотреть получше. Он шагнул в коридор и сразу остановился, услышав за его поворотом негромкий разговор.

– По данным авиаразведки, а также по донесениям конных разведчиков, ничего подозрительного в степи в эти дни не обнаружено, – ровно звучал отработанный в докладах и командах голос. – Отдельные группы конных летчики замечали, совсем недавно поступили сведения, что в тылу дивизии в двадцати верстах западнее Лбищенска казачий разъезд напал на наш обоз. Однако о серьезной угрозе городу в связи с этим говорить пока не приходится.

– Раз у нас в тылу казачьи разъезды орудуют, не мешало бы все-таки караулы удвоить, – рассудительно заметил голос помягче. – Как считаешь, Василий Иванович?

– Верно, – согласился уже знакомый Мишукову высокий тенорок. – Это лишним не будет. А с утра опять разведку в степь, аэропланы в воздух. Все обшарить, каждую лисью нору. Казара прятаться ох как умеет, я уж ее знаю.

– Ну что, в баню теперь, а? – с надеждой спросил хозяин мягкого голоса, и Мишуков понял, что он

принадлежит новому комиссару дивизии Павлу Батурину, которого он уже не раз встречал в политотделе. – На мне пыли пуда три, да и на тебе не меньше. Хорошо бы в баню, как считаешь, комдив? Доложили – скоро истопится.

– В баню – это дело, – согласился тенорок. – Вы идите, а я позже малость буду. Зайду в караулку, гляну как там, с ребятами поздороваюсь. Наверняка знакомые есть.

Мишуков сделал шаг назад, но не успел еще вернуться в комнату, как из-за поворота коридора вынырнула ловкая фигура Чапаева.

– Кто такой? – быстро спросил он у Володи. – Почему не знаю?

– Краснофлотец Мишуков! – Володя четко бросил ладонь к козырьку фуражки. – В политотделе, в газете дивизионной работаю.

– Да вижу, что матрос. Выправка знакомая, повидал ваших. Что в коридоре-то стоишь?

– Да вот, – нерешительно начал Володя, – на вас хотел посмотреть...

– Так я ж не картина, чтоб на меня пялиться, – усмехнулся комдив. – И давай, раз не в строю, не выкай и не козырьай. Пошли, с бойцами побыть охота, пока время есть.

... Чапаева уже два раза приходили звать в баню, но он только отмахивался. Речь, как это часто бывало, зашла о войне и судьбе солдата на ней.

– Бойся не бойся, хоть какой ты шустрый да умелый будь, а пулю не обманешь, – говорил знающий и германскую, и гражданскую Николай Кузнецов. – Раз судьба выпала – каюк, так и будет. И человек про то знает. Сколь раз видел, как люди маялись, чуяли, что рядом она. Такого сразу видно – не жилец.

– А ты, Василий Иванович, смерти не боишься? – с интересом спросил преодолевший первую робость перед уже легендарным командиром Мишуков.

– Ее только дурак не боится, – усмехнулся Чапаев. – Только мне тут полегче, чем другим. Я ведь сызмальства везучий. Бывали случаи – другому точно не жить, а мне что

с гуся вода. Вот помню, совсем еще малой был... Да, на что оно вам, – Прерывая сам себя, махнул он рукой. – Давно было и быльем поросло.

– Расскажи, Василий Иванович, – зашумели просительно бойцы. – Не томи. Охота ж узнать, как оно было.

– Хорошо, коли так, – легко согласился Чапаев, судя по всему, уже настроившийся на рассказ. – Значит, совсем еще сопляком я был, учился в церковно-приходской школе. Отцу моему очень уж хотелось хоть одного грамотея на всю семью иметь. Учился я ничего, только школу не закончил. На третьем году провинился малость и посадил меня за это поп Василий в карцер. На самый верх пожарной каланчи. Она старая, аж ветром качает, щелястая вся. А на дворе зима, мороз лютый. На мне из одежды одно исподнее белье и обувки тоже нету. Все сняли божьи люди... – Чапаев откашлялся, прищурил глаза. – Время прошло, стало клонить меня в сон. Малый был, да понял: поддамся ему – какую. Выбил плечом окошко, поранился крепко, кровь течет, а боли нету, не чувствую. Ну и...

Чапаев сделал паузу.

– Что «и», говори давай, – не выдержал один из бойцов и, смутившись от собственной фамильярности, замолчал.

– Вот тебе «и», – хитро взглянул на него комдив. – Прыгнул. Куда деваться-то было. Ударился о землю, будто весь дух из меня выбило. Ну, полежал маленько, поднялся. Считаю через все село до дома сам дошел. На том моя учеба и кончилась, пошел к отцу в подручные. Артелью плотницкой по деревням дома, амбары, а то и церкви ставили. И тут тоже случай вышел, правда, уж годов несколько прошло, я постарше был. В шестом году, как помню, было. В Клиновке, недалеко от Николаевска, что теперь Пугачев, поставили церковь, и я сам вызвался крест на купол поднять. Мужики согласились, парнишка полегче да и половчее, ему сподручнее будет. Забрался на самую верхотуру и крест заволок, поставил, укрепил как надо. Стою, смотрю окрест – какая благодать!

И тут будто поманил меня кто: шагни, Васька, вперед и полетишь как птица. Вот крест, по сей день сам для себя не знаю, оступись тогда или сам шагнул. В себя на земле уже пришел. Люди потом говорили, летел вниз легко, словно листок с дерева, будто поддерживал кто, не давал вниз камнем пойти. С тех пор ко мне прозвище прилепилось – Ермак.

А уж на германской и в эту войну сколько случаев было... – опять махнул рукой он. – Вот один только. У Сновидова, в Прикарпатье, в 15-м году сбили австрийцы разом нашу роту с позиций. Кого побили, кто драла успел задать. Меня в голову ковырнуло малость, не успел. Ткнулся мордой в бруствер, решил мертвяком прикинуться. До ночи пролежал. Австрияки назад в свои траншеи ушли, только пост оставили и как раз рядом со мной. Сколько раз через меня переступали, один даже сапогом потыкал – не живой ли. Лежу. Слышу по разговору, вроде трое их. Загалдели потом, зашумели – думаю, выпивают. Это хорошо. Лежу, лежу, чувствую вроде солнышко понимается. Решил воскреснуть... И воскрес.

– А потом, Василий Иванович?

– Что потом? Они спят все без задних ног. Винтовочки собрал. Одного, самого шепутного, кончил, двоих к своим привел. Георгия тогда третьей степени мне пожаловали, а всего-то их у меня полный бант. Хоть и старого времени награды, а все ж приятно.

Биться надо, ребята, держаться, пока хоть капля силы есть, не отступать до последней возможности – вот что есть главная военная наука. Будешь ей следовать – глядишь, живой останешься. Нет – слопают как кошка цыпленка. Я да вы казаре пленные не нужны, чего задарма на нас хлеб переводить. Его у них не гуще нашего сейчас. Мы им мертвые пригляднее. Так что в карауле не спать. Знаю, что ребята вы надежные, а все ж говорю.

В двери комнаты вновь заглянул красноармеец.

– Василий Иванович, там Батурин все вас зовет. Идите, помойтесь в баньке, простынет ведь...

– Ладно, – поднялся с лавки Чапаев. – Пора в самом деле. Бывайте, ребята, поговорим еще – случай выпадет...

Ночную тишину Лбищенска рвала сухая трескотня выстрелов. Часть метавшихся в панике красноармейцев была перебита быстро и почти без потерь для казаков, но с теми, кто успел справиться с первым, лишаящим сознания и способности к сопротивлению – страхом, им пришлось повоевать серьезно.

Володя помнил только ножевым ударом ворвавшийся в сон крик: «Казачи!». Затем разбитое окно, сваленный плетень, вспышки выстрелов со всех сторон, упавший перед ним навзничь человек в нижней рубаше и кальсонах, безумный бег по, казалось, закольцованным улочкам, потом какая-то яма, падение, резкий удар о землю. В липком поту, трясущийся от лишаящего всяких сил нервного озноба, почти в беспамятстве он все же пытался подняться. Но всякий раз его всегда сильные, послушные руки не подчинялись воле хозяина, подламывались, как сухие былинки, и Мишуков вновь тыкался лицом в сухую землю. Предательски заманчиво плавала в голове мысль: «Все, хватит. Не встану. Хоть немного, да поживу еще. А потом? Потом... А сейчас поживу...».

Сквозь вату в ушах тупо пробивались звуки беспорядочной стрельбы, вдавливали в землю тело тонкие крики умирающих где-то неподалеку людей. Пробку из ушей вышибла простучавшая в соседнем проулке пулеметная очередь. Затем высокий знакомый тенорок скомандовал: «По кавалерии, пли!». Четко и слаженно защелкали винтовки, и Володя понял – там уже нет смирившихся с судьбой беззащитных людей, там бой, а значит, пусть и крохотная, надежда на спасение.

Он встал и, увидев в своих руках карабин, уже осознанно пожалел, что не прихватил подсумок с патронами. Механическим движением проверил, есть ли в стволе патрон, и пошел на звуки все разгоравшейся перестрелки. К своим...

Раненный в руку, с трудом вырвавшийся из кольца врагов начдив 25-й оставался все тем же Чапаевым,

за головой которого пришли в Лбищенск казаки. Он быстро привел в чувство попадавшихся ему навстречу красноармейцев, отбил у обманутого легкостью первой победы противника два пулемета и, обрастая по дороге новыми бойцами, повел их в атаку.

Бой шел весь остаток ночи и еще несколько утренних часов. Помощи не было. Казаки вновь выбили красных из отвоеванного ими штаба, сломили упорное сопротивление защитников политотдела дивизии. Оставшиеся в живых чапаевцы пробивались к реке, но дойти до Урала суждено было немногим...

Раненного уже не только в руку, но и в живот Чапаева, сбивая на пути заслоны и вновь теряя людей, несли на руках. Уже у обрыва несколько человек молча легли в цепь. Уходящие бросали рядом с ними последние патроны – два, три, обойму. Больше ни у кого не было. Ни о чем уже не думая, с пустым, словно выскобленным изнутри сердцем, лег в эту редкую цепь и Володя.

– Куда? – схватил его за плечо Милош Кельячки. – Матрос. На реке нужней нужен. Тафай скоро!

Кельячки, Веселин Марков и двое русских красноармейцев-интернационалистов опустили на воду сорванную у крайнего к реке дома створку ворот, на нее – потерявшего сознание комдива. Володя сбросил сапоги, путаясь в рукавах, снял-сорвал гимнастерку и, не размотав портянок, бросился в воду.

До спасительного берега оставалось не так уж далеко, когда всплеснулись рядом несколько фонтанчиков, ушла под воду голова плывущего впереди, в метре от Володи, красноармейца. «На прицел взяли», – успел подумать он, и тут же по руке, которой он подталкивал вперед плотик с Чапаевым, точно палкой с размаху хватили. Мишуков охнул, разжал пальцы и остался один. Створку ворот, бойцов и Чапаева отнесло в сторону, а он, уже не думая ни о них, ни о комдиве, а только лишь о том, хватит ли теперь у него сил добраться до берега, греб и греб безостановочно, не жалея пока еще слушающейся его раненой руки. Он так боялся обессилеть и пойти ко дну, что даже не испугал-

ся, когда над его головой с шепелявым посвистом, словно стая чирков на закате, прошла пулеметная очередь.

Он доплыл. Чавкнули в прибрежном иле еще несколько адресованных ему пуль, но Мишуков не обратил на это никакого внимания. Безжалостными острыми крючьями рвало изнутри грудь, а вздохнуть глубоко, прогнать боль сил уже не было. Выкашливая на ходу речную воду, матрос заставил себя сделать несколько шагов и упал уже в камышах, возле оставленной хозяевами старой ондатровой хатки. Нагреб, насыпал на себя – на грудь, ноги, лицо какой-то трухи пополам с травой и камышом, а потом потерял сознание.

Очнулся Володя уже в темноте и долго не мог понять, где он и что с ним произошло. Ему казалось, что они на постое в какой-то избе и где-то рядом, наверное, должен спать Ренц. Мишуков пошарил справа – там почему-то была какая-то грязь и вода. Попробовал узнать, что слева, и тут же вспышкой озарила память острая боль в руке. Поняв, где он и что с ним случилось, Володя беззвучно заплакал.

Ему повезло, казаки его не нашли. Ни сразу, когда их группы переправились через Урал вслед за сумевшими его переплыть чапаевцами, ни позже, во время более обстоятельных поисков. Время от времени Мишуков вновь терял сознание, происходило это всякий раз неожиданно, будто на свечку кто-то дунул. Потом так же, словно и секунды не прошло, вспыхивал свет. Раненая рука превратилась в большое толстое полено и зажила самостоятельной жизнью, вовсе перестав слушаться Мишукова. Стоило ею пошевелить, и она тут же мстила за беспокойство острой, туманящей сознание болью...

– Товарищи, есть кто живой?! – раздалось неподалеку от Володи то ли через час, то ли через день. – Мы свои, чапаевцы.

«А хоть бы и не чапаевцы, – тускло подумал Мишуков. – Мне уже все одно. И сам не знаю чего лучше – так жить или помереть».

– Сюда, – захрипел он, – здесь я!

– Ты смотри, и правда живой, – перед глазами Мишукова появились два мутных круга – головы. Одна, похоже, в папаче, на другой – шишकाстый шлем-богатырка. – Это вроде морячок из политотдела. Был у нас как-то. Ничего парень, боевой. Эй, братишка, где Чапай? Говори, коли можешь.

– На плотике... Магьяры... Унесло... – только и смог сказать Володя, и вновь кто-то невидимый «задул свечу». В этот раз надолго.

* * *

Сознание вернулось под стук вагонных колес. Мишуков открыл глаза и увидел в метре от себя пожелтевшее и осунувшееся лицо Бориса Ренца.

– Где мы? – просто спросил уже привыкший к неожиданностям Володя.

– В санитарном поезде, – так же обыденно ответил Борис.

– Как?

– Обычным образом. Хотя и не совсем. Врач в Уральске, куда нас с тобой доставили – меня в памяти, а тебя без, – посчитал, что дальнейшее наше с тобой лечение должно проходить в московском госпитале. Он сначала сомневался, а потом, когда узнал, что я тоже питерский немец и тоже с Выборгской стороны, да еще и учился в школе имени Карла Мая, сомнения у него отпали. Он, видишь ли, тоже в этом заведении обучался, и этот факт для постановки точного диагноза и нашего отправления в Москву оказался немаловажным. Я же человек практический, помнишь, тебе говорил. Я ... – голос Бориса дрогнул, он шмыгнул носом и полез за носовым платком. – Ты не слушай, что я тут болтаю. Просто я очень рад, что ты жив, и за себя тоже, конечно. Мы ведь совсем близко от того самого оказались. А вот пронесло... По дороге-то к Уральску чего только не было. Под Янайским форпостом едва всю дивизию не положили. Уснули так же все от усталости, а потом едва отбились. Мальцев свой 222-й в штыковую поднял, они кольцо и прорвали. Батарейцы казаков на картечь взяли. В общем, спаслись.

Потом еще не легче. Два полка в наступление отказались идти. Бойцы говорят: «Мы разуты и раздеты, хлеба нет, патронов нет – сами так воюйте». Хорошо снабженец дивизионный Сидор Ковпак сумел кое-что найти, так людей помалу успокоили, в себя привели. Страшные бои были. К Уральску только через месяц дошли. А война там и сейчас идет, казаки не поддаются.

– Ничего не помню, – сморщился Володя. – Вроде в себя приходил, но что было, как... Стрельба вроде, люди бегают, и все. Ты-то как в Лбищенске спасся?

– Хозяин наш, Поликарп Матвеевич, выручил. Без него бы точно – капут. Когда заваруха началась, я выскочил на улицу в одном белье с наганом. Честно сказать, ошалел с перепугу. Пальнул куда-то в темноту пару раз, и мне тут же в ответ в бок прилетело, свалился под плетень, думаю – все, будущее отменяется. И тут Матвеевич точно тень из-за плетня выскользнул, подхватил меня – и в дом. Старик, а такой ловкий да сильный оказался, – очевидно, не в первый уже раз восхитился Ренц. – Рану обмыл, холстиной перевязал и в подпол меня спустил. Все быстро, без одного слова. Вот там, в подполе этом, я до прихода наших и пролежал...

Потом узнал, что других чапаевцев казаки выдавали, показывали, где прячутся, а то и сами помогали убивать, а со мной видишь, как вышло. Живой остался. Они там, знаешь, сколько наших побили... – Борис опять шмыгнул носом, стал искать платок. – Никогда того деда-казака не забуду. И поблагодарить-то его толком не успел. Он, когда наши пришли, все просил, чтоб меня от него по-тихому как-нибудь забрали, чтоб из соседей кто не увидел, что он красного прятал. Вернутся, мол, казаки, за такое голову враз без лишних разговоров срубят.

– Это точно, – подтвердил Володя. – Он же, считай, против своих пошел. Такое нынче не прощают. Видать, крепко ты ему приглянулся.

– Видать, так, – охотно согласился Ренц, – повезло.

– Повезло, – согласился Мишуков. Захотел приподняться, чтобы взглянуть в окно. Оперся было на руки

и со стоном рухнул обратно на постель. Левой руки у него больше не было. Вместо нее остался короткий, выше локтя обрубок, плотно перемотанный бинтами, тягучая боль в давно уже отнятой врачом кисти и огромная обида на судьбу, войну, на весь белый свет.

– Володя, Володя, ты что? – с испугом глядя в помертвевшее лицо товарища, зачистил Ренц. – Живут же так люди и ничего. Спасибо скажи – живой остался, а это...

Мишуков молча повернулся лицом к вагонной перегородке и глухо зарыдал...

* * *

Бессонными ночами на койке московского госпиталя он думал о родительском доме, где так давно не был, вспоминал погибшего брата Дмитрия, искалеченных злой жизнью отца и Сережку, оставшуюся теперь совсем без опоры маму, но чаще всего Ольгу. В его прошлой чапаевской жизни мыслям о ней места почти не находилось. Ее заполняли каждодневные заботы, беды и невзгоды, страх смерти и тягучая тоска раздумий о том, удастся ли все-таки сделать то, чему он однажды решил посвятить свою жизнь.

Теперь же в темноте холодной госпитальной палаты эта женщина грезилась ему каждую ночь. Любила ли она его?.. Тогда весной в Москве он был уверен, что знает ответ на этот вопрос. Теперь же ему порой казалось, что любовь у Ольги Линник, любовь всепоглощающая, до безумия, была одна – революция. А он, Мишуков был только приятным для женского самолюбия приложением к ней, ее собственностью, которую всегда жалко терять, особенно женщине. Потребовалось бы – и она пожертвовала бы им ради этой любви, не задумавшись и на секунду. Сказали бы: «Надо» – и застрелила его собственной рукой.

Мысли об этом вызывали у Мишукова и страх, и восхищение. И спроси его, чего больше, матрос бы, пожалуй, и не ответил.

Но ведь спасла же она его в Казани, мечущегося в тифозном бреду. Осталась рядом, держала часами за руку,

ухаживала, не убоявшись смертельной заразы. Не уехала в свою Москву одна, хотя вполне могла это сделать. Это как? Почему? И на эти вопросы Володя тоже не мог ответить. Не мог и сказать сам себе, любил ли он Ольгу Линник и любит ли ее сейчас. Знал только, что без нее ему очень плохо.

«За что мне так? – безмолвно спрашивал у ночной тишины Мишуков. – В тюрьме мордовали, скитался-прятался, от тифа едва концы не отдал, теперь вот вовсе калекой сделался. Любовь была, так и ее лишили. Дай господь, чтобы хоть мама была жива, – вспомнил он вдруг о зачеркнутом с юношеских лет Боге и шепотом, часто сбиваясь, торопя в воспоминаниях заброшенные в дальний угол слова, стал повторять и повторять одно и то же: «Не дай меня в трату, господи... Не оставь милостью твоей... Спаси и сохрани мою маму...».

Позже, когда Мишуков пойдет на поправку и решит, что жить на белом свете и бороться с контрой можно и с одной рукой, ему не раз будет стыдно за эти минуты. «Вот же угораздило меня, – будет сетовать он в душе, – видать, совсем уж прижало». Но тогда, в момент крайнего душевного и физического бессилия, ему очень была нужна помощь. А попросить ее было больше не у кого...

* * *

Уже в ноябре, когда Мишукову сделали еще одну, по уверению доктора, последнюю операцию и рука стала еще на вершок короче, его зашел проведать выписывавшийся из госпиталя Ренц.

– Ну как ты? – спросил его Володя.

– Поправился вроде бы. Поеду обратно на фронт, буду проситься в нашу дивизию.

– Где-то она теперь?..

– Узнавал, – с вернувшейся к нему деловитостью ответил Борис. – Говорят, там же. Опять наши за Лбищенск бьются, проклятое это место.

– А Чапаев? Не слышал о нем ничего? Я ведь тебе говорил раньше, он живой был, когда на плотик клали, потом снесло. Вдруг да...

– Нет, – твердо сказал Ренц, – нет Василия Ивановича. Был бы жив, давно бы про то знали. Такой человек не иголка – не спрячешь.

– Ладно, – только и вымолвил Мишуков, – счастливо тебе.

– Не грусти, – положив руку на кровать матроса, попросил Борис. – Вот поправишься как следует, найдется и тебе дело. Без головы, случается, люди живут, да еще и другими командуют, а ты только руку потерял. Это ничего.

– Шутник ты, Боря, – невесело улыбнулся Володя. – Я тебя вот о чем попросить хотел. Ты уж расстарайся, отыщи мне до своего отъезда самоучитель по немецкому языку. Я тут узнавал, говорят, хорошая штука. Самому можно язык выучить, тем более я, вроде, к такому делу способный. Надо мне чем-то полезным заняться, а то как бы умом не тронулся. Все думаю, какое я теперь барахло, никому не нужное. Балласт одним словом, как у нас во флоте говорят.

– Сделаю, – твердо пообещал Ренц.

* * *

Ближе к концу декабря Владимира Мишукова выписали из госпиталя. Кроме справки о прохождении лечения имелся у него в кармане истертой об окопную глину, сеченной шрапнельным градом шинели потрепанный самоучитель немецкого языка с газетной закладкой на 37-й странице. На том перечень личных вещей бывшего военмора Мишукова заканчивался. Володя шел по пустынной, почти такой же, как в мартовские дни, московской улице в сторону военкомата, где работал до отбытия на фронт, в надежде встретить там помощь и поддержку. Ледяной ветер шутя пронизывал давно отслужившее свой срок шинельное сукно, наливал пунцовой краской выглядывающие из-под старой солдатской папахи уши. Холодно было и на душе.

«Нынешний год в Барнауле с Ольгой встречали, – вспоминал Володя. – Вино, салат чудной. Не с кем теперь ту «шубу» есть, да и где ее возьмешь».

Он остановился. Запахнуть шинель поплотнее одной рукой было непросто, но с помощью забористых флотских ругательств Володя справился. Надвинул поглубже папаху, постоял немного в раздумье и быстро пошел дальше. Иначе можно было совсем замерзнуть.

Глава восьмая

В конце ноября 1918 года отец Кати Олизко перенес апоплексический удар.

Ушли в прошлое страшные сентябрьские события – захват города повстанцами, убийства и погромы, приход анненковцев, убийства и опять убийства, новые трупы на улицах Славгорода... Мертвецов вскоре убрали, жизнь, как казалось, вновь потекла ровно и размеренно. Пережитое напоминало о себе уже не столь резко, как в первое время, воспоминания становились более расплывчатыми, но вытравить их из сердца вовсе было невозможно.

Огромное нервное напряжение тех всего нескольких дней не прошло бесследно для Степана Ильича. В доме стал все чаще витать, а потом и вовсе «прописался» резкий запах сердечных капель. Катя не раз замечала, как отец крепко прижимает ладонь к левой стороне груди, словно пытаясь выдавить укоренившуюся там боль. На тревожный вопрос дочери «Опять болит?» – он лишь виновато улыбался, торопливо отвечал: «Нет, нет, что ты, это я так. Мнительность просто. Пойду, дело не ждет».

Вот за делом-то его и прихватило. Распекал нерадивого приемщика зерна и вдруг почувствовал внезапное головокружение. Задышал жадно широко раскрытым ртом, но воздуху все равно не хватало. Побрел домой, часто останавливаясь, чтобы передохнуть. Стала неметь левая щека, затем рука, а потом и нога почти перестала слушаться. Степан Ильич все же добрел до своих дверей и в ответ на испуганный крик Кати «Папа, папа! Что с тобой?!» несвязно пробормотал: «Ка-та... Док-тэр. Про... Во...», – посунулся по стене, уронив столик в прихожей, упал навзничь.

Вся в слезах, девушка с большим трудом втащила отяжелевшее тело отца в комнату, но вот поднять его на кровать сил у нее уже не хватило. Сунула Степану Ильичу подушку под голову, побежала за доктором, который обычно приходил лечить их от простуды да других незамысловатых недугов.

– Нагрейте мне стакан воды, – прослушав пульс на руке Олизко и взглянув ему в зрачки, потребовал тот и принялся возиться в своем саквояже, извлекая из него шприц и ампулы с густой, туго переливающейся жидкостью.

– Что это? – поинтересовалась Катя. – Ему поможет? Что с ним?

– Это камфорное масло, и его нужно подогреть, – терпеливо пояснил ей такой же пожилой и степенный, как и его пациент, врач. – А у батюшки вашего, похоже, апоплексический удар, по-новому – инсульт. Так что давайте двигайтесь попроворнее.

– Камфора разжижает кровь, – пояснил он Кате, сделав укол Степану Ильичу. – В результате кровотока по пораженным сосудам улучшается. Должно помочь, – добавил он, сочувственно посмотрев на почти обеспамятевшую Екатерину. – Будем надеяться. Бог милостив.

Неизвестно, что помогло больше – камфора или отчаянно сопротивлявшийся болезни организм Степана Ильича, но уже на другой день к нему вернулось сознание, понемногу стала возвращаться и становиться более внятной речь. Но вот левая рука и нога по-прежнему были ему едва послушны, что для привыкшего к активному образу жизни Степана Ильича было попросту нетерпимо.

– Послушайте, – сказал Кате врач, получая от нее плату за очередной визит, – надо срочно что-то предпринимать. Я ведь не большой специалист в таких болезнях, так, эскулап волостного масштаба. Ну посоветовал вам, чтобы он спички собирал левой рукой, узелки завязывал-развязывал, на больной ноге пробовал стоять сколько сможет, но этого мало, мизерно мало. Необходима помощь настоящего квалифицированного специалиста, которого в наших палестинах и их окрестностях, увы, нет. Луч-

ше б всего, конечно, в Москву или Петроград, но теперь-то туда... Да еще в таком состоянии Степана Ильича...

– Омск подойдет? – как уже о давно обдуманном спросила Катя. – У нас там дядя, двоюродный брат бабушки, Николай Иванович, он доктор. Книжки даже по медицине пишет. Светило, в общем.

– Светило – это хорошо, – потер нос-картошку врач. – Даже если он специалист в иной области, помочь вам сможет наверняка больше, чем я. Так что не мешкайте.

– Поедем в Омск, – твердо сказала Катя.

* * *

Первые месяцы по приезду в столицу Верховного правителя России Катю не занимало, что происходит за окнами квартиры – трещит ли мороз или наступила оттепель, сыплет густо снег или теребит голые ветви деревьев сырой ветер – первый предвестник весны. Из дома она выходила только за продуктами в лавку да когда требовалось помочь отцу добраться в американский госпиталь, где служил врачом ее дядя Николай Иванович Светличный.

На своего двоюродного брата он не походил вовсе. Степан Ильич – осанистый, степенный, размеренный и в движениях, и в делах, и в мыслях, Николай Иванович – быстрый, порывистый, перескакивающий в разговоре с одного на другое, часто перебивая собеседника. Он всегда был занят сразу несколькими делами, ухитряясь хорошо справляться с каждым из них. Большинство подопечных узнавали о его приходе еще до того, как Николай Иванович открывал дверь палаты. Достаточно было услышать в коридоре характерный, чечеточно-быстрый перестук каблучков.

– Доктор идет, – уважительно говорил кто-нибудь из них, другие в знак согласия кивали головами: – Наш. Иваныч.

Быстро ощупывали захворавшую плоть цепкие щупальца тонких сильных пальцев, хитровато шурились под очками острые, как у птицы, глаза, задумчиво оттопыривалась нижняя губа, и можно быть уверенным –

если есть хоть какая-то возможность помочь, этот ее не проглядит.

Наверно, этим-то и были по большому счету они похожи, Степан Ильич и Николай Иванович. Коль была возможность сделать дело хоть большое, хоть маленькое – занимались им основательно. А к тому же и тот, и другой были людьми порядочными. Качество, в условиях гражданской войны сохранившееся далеко не у всех, поскольку теперь оно могло причинить не только мелкие неудобства, но и крупные неприятности.

– Молодец, что поехала сразу, – сказал дядя Кате, как только осмотрел Степана Ильича. – Тут надо спешить. Понимаешь, после инсульта значительного улучшения в движениях парализованных конечностей можно достичь в ближайшие три-четыре месяца, потом любая самая интенсивная терапия, массажи и так далее, как правило, бывают малопродуктивны. Попросту говоря, толку уже не добьешься. – Николай Иванович снял очки, провел рукой по глазам. – Так вот, пишем друг другу раз в полгода, видимся того реже, хоть и живем не так далеко, а потом... – он махнул рукой, отправил очки обратно на переносицу и уже прежним, четким и размеренным голосом принялся инструктировать племянницу: – Основа реабилитации – длительность и методичность, тут все будет зависеть исключительно от тебя: гимнастика, массаж, лекарственное лечение следует не прекращать месяцы и даже годы до достижения максимального результата восстановления.

Завтра сделаем у нас в госпитале прозериную пробу, чтобы определить, насколько после инъекции усилится мышечная сила и подвижность. В общем, как я уже сказал, все теперь на тебе, в том числе и заботы по дому, поскольку, как ты, наверное, успела заметить, я нынче холостяк. Наталья Максимовна с детьми в Ревеле, у своей матушки. Уехали еще при Керенском погостить, а потом... Удалось отправить с хорошим знакомым письмо, чтобы назад не торопились, пока у нас более-менее основательно все не уляжется.

– А вы почему не уехали, дядя? – поинтересовалась Катя. – Вы же такой... Вас везде примут и...

– Так дом мой здесь, – усмехнулся, по всему видать – знакомому для него вопросу Николай Иванович. – И маленький – Омск, и большой – Россия. Чего ж мне из собственного дома-то уходить, в чужом приживалой уютиться. Ничего, перемелется – мука будет, – как о давно обдуманном и решенном сказал он. – Власть, Катя, – это внешняя оболочка, обертка на конфетке, на жизни нашей то есть. Главное не в ней, не в ее форме и даже не в наших с ней отношениях.

– Так в чем же тогда?

– До конца сам для себя не знаю, но, наверное, говоря банально, в душе. Как ей живется, где ей тепло. Не зря, наверное, мужики говорят: веселье – так чужое, горе – да свое. Ладно, – доктор знакомо махнул рукой, – ближе к делу. Завтра вместе отправимся в госпиталь, необходимо провести кое-какие исследования. Условия у нас для этого по нынешним временам, слава богу, отличные, да и с медикаментами проблем нет – американцы хорошо обеспечивают.

– Какие американцы? – удивилась девушка.

– Так я работаю сейчас вместе с ними в американском госпитале Красного Креста. Филиал Армии спасения. Недавно совсем такой в Омске открыли, для чего, правда, студентов сельхозучилища из их главного корпуса выселили. Омск – город большой, но хороших домов в нем не так много, а поскольку мы теперь, можно сказать – столица свободной России, мест для ее слуг не хватает. Министерства да ведомства по несколько штук на здание. Сам Колчак по приезду в Омск первое время жил в вагоне, затем уже в особняк купца Волкова переехал.

Вообще жить у нас сейчас не так просто, продукты дешевые, в ресторане можно за шесть-семь рублей достаточно хорошо отобедать, но вот все остальное... С углем плохо, с керосином – тоже, свет гаснет то и дело. Водопровод только в центре города хорошо работает, а канализация и вовсе никудышная. Так что почувствуете вдруг специфический запах, не удивляйтесь. Домашней прислуги

не найти, та, что есть, требует за свой труд чудовищные деньги. Так что управляться придется самим.

– Ничего, – кивнула головой Катя, – управимся.

Николай Иванович с интересом посмотрел на племянницу и продолжил рассказ об омском житье-бытье:

– Служилого народа, офицеров да чиновников в городе столько, что еще одну армию можно было бы сформировать. Да только они на линию сражений не торопятся. Труднее всего беженцам, что из России прибыли. Живут за городом в землянках, условия антисанитарные, а отсюда и эпидемии, понятное дело. Хорошо – тот же Красный Крест, американцы выручают – снабжают их одеждой, бельем, обувью, медикаментами.

– А куда студентов сельхозучилища выселили? – поинтересовалась Катя. – И сами вы как к американцам этим попали?

– Отвечаю на оба вопроса сразу, – улыбнулся доктор, который, судя по всему, соскучился по общению с близкими людьми и, несмотря на занятость, был рад беседе с племянницей. – Студентов отправили учиться в бывшие винные склады, а в госпиталь этот меня пригласил американский врач, знакомый по публикациям с моими работами. Персонал – английские, американские и канадские врачи, медсестры и санитары и ваш покорный слуга. Каким образом я там оформлен, и сам не знаю, да меня это не особенно интересует. Раненых-то я лечу русских, а это главное. Кстати сказать, одна из медсестер в госпитале – Анна Тимирева, можно сказать, гражданская жена нашего Верховного правителя. Законная – то, по слухам, за границу уехала.

– Какая она? – не смогла удержаться любопытства Катя.

– Кто? Законная жена Колчака? Не видел никогда, потому не знаю.

– Да нет же, Тимирева!

– Видная дамочка, надо полагать, с амбициями, у меня с ней общих дел нет. И оставим ее. Вам сейчас о вашем папеньке думать надо.

– Я о нем и так все время думаю, – вздохнула девушка, – жалко папу. Он же у меня ртуть просто, на месте усидеть не мог, все в делах. А теперь... Трудно ему. Вам его разве не жалко?

– Жалко, – кивнул головой Иван Николаевич, отметив про себя, что в отношении своих пациентов, а брат для него теперь в первую очередь был одним из них, он такими понятиями пользоваться уже давно перестал. Кольнуло в груди в тот момент, когда Екатерина помогла переступить через порог его квартиры отцу, и почти сразу же привычно замелькало в голове: «Вот что значит... Давно?.. В какой степени?.. Надо сразу же... Доудсон должен согласиться...». Ситуация была ясна, требовалось работать.

Он обнял Катю за плечи, провел рукой по ее волосам.

– Конечно, жалко, Катенька. Только жалостью делато не поправишь. Ты послушай-ка, что я тебе еще скажу...

– Подождите, – неожиданно перебила его девушка. – Дядюшка, а к вам раненый штабс-капитан Михаил Киржаев не поступал в госпиталь? Крепкий такой, чернявый, у него еще шрам на шее, осколком его...

– А кто он тебе?

– Он мне... Мой... Да скажите, наконец, поступал или нет?

– Я такого точно не врачевал, а у других узнаю, и в других госпиталях и лазаретах тоже можно справки навести. Ты не отчаивайся. Раз точно не известно, что человек умер, значит, он в живых для тебя должен числиться...

– Он и числится, – шмыгнула носом Катя. – Только где вот он теперь...

* * *

Уезжая из Славгорода, она так была занята сборами, мыслями о том, как выдержит отец предстоящую трудную дорогу, что забыла оставить кому-нибудь из соседей свой адрес в Омске. Попросить – вдруг да придет все-таки весточка от Михаила – переправить ее по месту назначения. Позже она до слез жалела об этом, написала два

письма знакомым отца с просьбой справиться на почтамте, не было ли писем Екатерине Олизко от штабс-капитана Киржаева. Ответа не было. Может быть, письма ее не дошли, а может, люди, их получившие, были слишком уж озабочены собственными бедами и заботами, чтобы обращать внимание еще и на чужие.

Едва тронулся поезд в Омск, она от усталости и нервного напряжения впала на несколько минут в полубытье. Сквозь рваные хлопья мыслей пробивался извне тоненький мальчишеский голосок:

*Вот вспыхнуло утро и выстрел раздался,
Послышался грохот глухих канонад.
Над нашим окопом снаряд разорвался,
Тут слышались стоны и вопли солдат...*

– Подайте Христа ради кто чего может. Не дайте сироте с голоду помереть, – услышала Катя уже совсем явственно и, открыв глаза, увидела чумазого паренька лет десяти в ободранной шубейке и таком же треухе с холщовой сумкой через плечо.

– Подайте, тетенька, – еще раз жалобно попросил он, – третий день не емши.

Она торопливо достала из дорожной сумки сверток с испеченными на дорогу пирогами, стала его разворачивать, а потом сунула весь в раскрытую котомку мальчишки.

– Батька на германской сгинул, – не дожидаясь расспросов, вытер слезу паренек. – Спасибо, добрая вы. Другие-то бывает... Мамка померла, пошли с сестрами кто куда. Гриньку, младшего, чужие люди в дети взяли, а меня не берут. Так вот хожу, пою... Не привыкли мы даром хлеб-то брать, – по-крестьянски степенно добавил он.

– А тебя почему не берут? – Катя поправила торбу на его плече, застегнула солдатскую пуговицу на шубейке.

– Боятся, что как вырасту, буду от хозяйства долю оттягивать, – привычно-деловито пояснил мальчишка. И отодвинулся в сторону: – Вы меня не трогайте, а то еще

вошек себе наберете. У меня их богато. Пойду. Храни вас Господь. Жениха вам хорошего, коль вы барышня.

– Барышня, – кивнула головой девушка.

– Пускай, значит, работающий будет и вас жалеет.

Бабе без жалости жить трудно, – со знанием дела подытожил короткий разговор паренек и двинулся по вагонному проходу. Понес песню дальше:

*А прапорщик юный со взводом пехоты
Старается знамя полка отстоять.
Один он остался от всей полуроты.
Но нет, он не будет назад отступить.*

*Вот вспыхнуло утро, заря заалела,
Врага мы угнали далёко к реке.
И только наутро нашли его тело,
И знамя держал он в застывшей руке...*

У Кати перехватило дыхание, разом подступили к глазам слезы. Она долго плакала, не забывая поглядывать на спящего отца, потом под убаюкивающий стук вагонных колес задремала сама. И тогда, как еще не раз потом, пришел к ней Миша Киржаев.

Был он в полинялом от бесчисленных стирок больничном халате, грустный, задумчивый. Сидел молча в уголке, смотрел на нее, виновато улыбаясь.

– Миша, ну скажи, где ты, что с тобой, живой ли хоть? – попросила она, но Киржаев молчал. Катя потянулась рукой к не знакомому ей лиловому шраму на его лице, хотела погладить, приласкать. Михаил сморщился жалко, приоткрыл рот, словно собираясь что-то сказать, и исчез... Она проснулась.

* * *

Жизнь шла своим чередом. Стараниями Николая Ивановича и Кати Степан Ильич постепенно стал чувствовать себя лучше. Он уже довольно уверенно передвигался без костылей, хоть и заметно волочил при ходьбе левую

ногу; изнывая от собственной немощи, старался помогать Кате в домашних делах, бурчал обиженно, когда она подерживала его под локоть, чтобы подняться на крыльцо госпиталя.

Стал он вдруг непривычно разговорчивым, часто рассуждал по разным поводам вслух, словно ребенок, но всегда связно и логично. Смеялся над самыми «бородатыми» анекдотами, которых раньше вовсе не любил ни слушать, ни рассказывать, однако мог и до слез обидеться, если ему, например, забыли положить сметану в борщ.

– Так часто бывает после инсульта, – пояснил Екатерине дядя. – Ухудшаются функции торможения, большой менее сдерживает свои эмоции, становится более открытым. Это не он изменился, это стали более явными проявления его внутреннего мира.

– Ну и пусть, – сказала на это Катя, – мне это жить не мешает. Интересно даже. А вам?

– А я и вовсе человек к таким делам привычный. Все-таки уж почти тридцать лет как врачеванием стал заниматься, – ответил Николай Иванович.

Настоящей страстью Степана Ильича стало чтение газет. Ежеутренне он посылал дочь покупать их у разносчиков – все какие имеются – и сильно расстраивался, если она при этом заходила еще за чем-нибудь в лавку и хоть ненадолго задерживалась. Поначалу Екатерине было не просто выслушивать подробные комментарии отца о прочитанном им в газетах, но потом она к этому даже приохотилась. И, суммируя услышанное от него и увиденное уже ею самой на улицах Омска, стала совсем неплохо разбираться в происходящих вокруг событиях.

– Да-а-а... – говорил обычно Степан Ильич, – складывая вчетверо прочитанный им очередной номер газеты. – Чем больше читаю, тем меньше могу понять, что же мне делать – смеяться или плакать. Действия нового правительства часто более чем смехотворны, и тем большими слезками они нам обернутся. Похоже, господа, схватившись за власть, попросту ошалели и думают наивно, что старое вернулось обратно, и можно управлять как было. Наша

беда в том, что мы стараемся не быть, но казаться. Верховный правитель России, по сути, правит самой неразвитой и отсталой ее частью и тем не менее в Омске, который вовсе не Петербург, чиновников сейчас едва ли меньше. Деньги новые выпустили, так и те на ломбардные квитанции больше похожи, длинные, зелено-розовые, да еще с куцым орлом, про которого один господин в госпитале мне тихонько сказал: «Вместо скипетра-короны две клееные вороны». Штаты, табели о рангах, чины – куча дармоедов, которую могла позволить себе императорская Россия, но никак не мы. Той-то армии и полиции у них нет, да и народ совсем другой, чем еще три – четыре года назад. Население после революции убедилось, что начальству можно и под зад поддать. Мы-то с тобой это видели...

Катя молча кивала.

– И винить того же Колчака за узость государственного мышления нельзя, он не политик – военный. А вот где, интересно было бы знать, главные деятели февраля 17-го? Все эти Родзянки, Гучковы, Милюковы, что так страстно работали над уничтожением старого мира? Вот они-то, казалось бы, просто обязаны принять участие в уничтожении большевизма и исправлении ими же наделанных ошибок. Так нет, умыли руки и умотали за границу. И что теперь?.. А вот что, – неожиданно зарычал он и, скомкав в руках газету, потряс ею перед собой: – Какая глупость, какая недалководидность, фанфаронство!

– Папа, успокойся, – испугалась Катя, – тебе нельзя волноваться.

– Как же тут успокоиться, Катюша, – заговорил уже тише Степан Ильич. – Вот посуди сама. Не так давно, в конце января, в газетах писали, что по поручению совета десяти ведущих стран мира президент Североамериканских Соединенных штатов Вильсон обратился ко всем воюющим в России группам с приглашением прибыть на совещание по вопросу о восстановлении у нас мира.

– И что ж тут плохого?

– А то, что «непримиримые большевики», как их во всех газетах называли, тут же за эту ниточку – как нетрудно

было предположить – ухватились. Как я понял, подслушав разговор двух американских врачей, – а для того, чтоб понять суть, моего знания английского хватило, – Ленин с Троцким передали на весь мир по радио, что они для того, чтобы для русского народа наступил мир, готовы пойти на самые большие жертвы. Признать долги старого правительства, предоставлять концессии другим государствам и частным лицам, пойти даже на территориальные уступки. Большой вопрос: стали бы они это делать в действительности или нет, но они это открытым текстом продекларировали, как и свое согласие отправить делегацию на эти самые Принцевы острова, где намечалось проведение такой конференции. А что сделали мы? – с вернувшейся к нему яростью поинтересовался Олизко у почтительно слушавшей его дочери.

– Право слово, не знаю, папа, – смиренно ответила она и улыбнулась.

– Тебе бы все смешки, коза-егоза, – улыбнулся и сам Степан Ильич. – Жаль, что у нас не смешно, а грустно, а точнее – глупо, очень глупо вышло. Вот послушай. – Он покопался в ворохе газет на маленьком столике у кресла, отыскал нужную. – Я даже карандашом отчеркнул, как высказался наш Верховный правитель о самой возможности таких переговоров: «С убийцами и мошенниками, для которых ни закон, ни договор не писан, разговаривать не приходится». Да, они убийцы, да, мошенники, но непримиримые, не желающие мира своему же народу для всех-то теперь не они, а мы! И вот еще более пространное и еще более возвышенное. Это уже официальное заявление нашего правительства от 20 февраля нынешнего года, совсем недавнее. Слушай:

«...Для большевизма, как в его учении, так и в его практике, нет родины, нет патриотизма, нет нации, а есть только интернациональная арена... Когда момент показался им подходящим, они провозгласили ничтожными все наши международные и финансовые обязательства. Когда им нужно было резкой демагогической мерой найти себе поддержку у истомленной солдатской массы,

они перед лицом вооруженного и хищного врага объявили полную демобилизацию армии... Когда для продления своей власти им понадобилась помощь Германии, они пошли на такой унижительный договор, какого не знала наша Родина со времен татарского завоевания.

...Теперь большевики предлагают победителям Германии вторую, еще более хитрую распродажу и хотя бы этой ценой купить у самых вольных демократий мира поддержку самому тираническому режиму... Они сегодня согласны на все, и это не потому, что они поменяли свою природу, а лишь с одной целью – продлить дни своего господства».

Красиво и глупо, наивный дилетантизм. А вот господин Ленин, хоть до нынешнего времени политикой и не занимался, обскакивает наших по всем статьям. Сколько ж его клеймили за «похабный» Брестский мир, а ему как настоящему политику на слова эти попросту было плевать. Он, как опытный игрок в преферанс, просчитал все на много ходов вперед, поменял пространство на время и выиграл! Беспринципно? Не гуманно? Цинично? Конечно, так. Но политические отношения не имеют ничего общего с обычными человеческими. Наверное, это выглядит цинично, но тогда в цинизме вообще всю природу можно обвинить. Слабый – укройся. Убеги, обмани, уступи свой ареал обитания. Станешь сильным – вернись и съешь того, кто не съел тебя вовремя. Упустил нужный момент.

– Просто страшно слушать тебя, пап, – поежилась Екатерина. – Никогда ты такого раньше не говорил.

– А разве много мы с тобой вообще раньше разговаривали, Катюша? – Олизко приподнялся в кресле, мягко погладил дочь ладонью по плечу. – Я все в делах-заботах, ты своим занята. Болезнь моя только и свела нас поближе. Нет худа без добра. Не зря, видать, говорят. И потом я ведь – купец как-никак, человек деловой, обязан все дела наперед по многу раз обдумывать да просчитывать. Политики-то если и потеряют, так чужое, а я свое. Потому думать должен до того, как делать. И чтобы своей выгоды не упустить, и чтобы работники мои дальше свои семьи

кормить могли. Думаешь, не приходилось через себя переступить для пользы дела? Э-эх...

Степан Ильич замолчал, задумчиво взял со столика свежую газету.

– Но ведь французы и англичане – наши союзники, почему они не могут вместо этой конференции просто прислать свои войска да и покончить с большевиками? – после долгой паузы спросила Катя.

Олизко усмехнулся:

– Смотри ты, как бывает. Как раз про то же только что прочел. Наша омская «Заря» недоумевает: «Становится все более туманной и непонятной линия поведения союзников.

Каких-нибудь полтора иностранных корпуса в связи с частями нашей молодой армии могли бы решить в несколько приемов судьбу советских фронтов».

– Ну вот, правильно.

– Это как посмотреть, – Степан Ильич приподнялся в кресле, стараясь устроиться поудобнее, твердо отвел руки тут же поспешившей ему на помощь Кати. – Не надо, я сам. Так вот, – провел он ладонью по значительно поседевшим в последние месяцы волосам, явно настраиваясь на пространный монолог. – Так вот. Вводить войска, чтобы разбить большевиков и помочь встать России на ноги, хотя у них далеко не все. Одним из них мы нужны сильные, как, скажем, Франции для противовеса Германии. Немцы ведь – ужасно упорный народ и со временем наверняка вновь окрепнут, и оставаться с ними в Европе один на один без России, ее сильной армии, ее «пушечного мяса» лягушатникам совсем ни к чему. Они ведь и в этой войне мировой только нашей кровушкой и спаслись, а не будь нас когда-нибудь потом, когда немец опять окрепнет и за свое возьмется... Чем и кем они тогда спастись будут, где еще таких благородных дураков найдут?

Другое дело англичане. Они за своим проливом отсиделись и дальше надеются. Им великое Российское государство ни к чему. Как колония – другое дело. Сколько лет с нами за Кавказ да восточные ханства тягались, а теперь

их запросто от России можно оторвать, и Ленин им тут первый помощник. Ему с Троцким наших земель не жалко, лишь бы на чужом троне усидеть. Так что серьезное войско против большевиков они вряд ли пошлют.

Олизко взял со стола стакан с водой, сделал пару глотков. Откашлялся в кулак и продолжил:

– Опять же парламенты их. Для господ, которые там заседают, большевики ведь не бандиты с большой дороги, а их собратья-социалисты, те, кто свергал душителя демократии Николашку кровавого. А Колчак – диктатор, в возможной перспективе новый царь или президент, король – в нашей стране это сути дела не меняет. Его сейчас уже Александром четвертым величают. В шутку, правда, но у англичан от таких шуток во рту кисло становится. Им лучше уж большевики, чем опять монархия в России. Чехи, как говорят, спасители наши, и те, как у нас диктатура стала, воевать с большевиками за нее отказались, хоть их союзники и уговаривали. Наши дела им больше ни к чему, и на фронт их не выгонишь, им домой надо живыми вернуться.

А потом большевизм ведь – штука еще и заразная. Пошли они сюда солдат, а те, когда вернуться, начнут у себя революции делать, своих кайзеров свергать, стрельбу устраивать, как немцы у себя прошлой осенью. Еле-еле ведь они тогда своих красных задавили. Да и задавили ли совсем, тоже вопрос. Войны нет – значит, военных заказов нет, плюс массовая демобилизация. Что из этого следует, а? – поинтересовался он у дочери.

– Не знаю, – простодушно пожала плечами та. – А что из этого следует?

– Прежде всего массовая безработица, – поднял вверх указательный палец Олизко и, не удовлетворившись этим, энергично им потряс. – Безработица плюс страшная усталость от войны и миллионы людей, привычных к смерти и убийствам. И их послать в Россию на учебу к нашим большевикам... – Степан Ильич махнул рукой, потянулся опять за стаканом с водой.

– Господи, – тихо сказала Катя, – отчего все это нам? Жили перед войной вроде бы ничего, все довольны были. Голодных я у нас в Славгороде и не припомню.

– Все? – рассмеялся Олизко. – Ох, Катя, Катя... Чтоб все довольны были, доченька моя, никогда не было и не будет. А уж в России тем более. Сам Господь людям по-разному отмерил – ума, силы, здоровья, трудолюбия. Одним меньше, другим больше, третьим и вовсе с гулькин нос. Потому один всегда будет богаче, а другой беднее. И тот, что бедный, таких, как мы с тобой, хоть мы ангелами стань – всегда будет ненавидеть за одну обиду, что ему Всевышний учинил. До него-то он не дотянется, а вот до нас... Особенно если у него ружье в руках появиться, как вот сейчас. Будет хлопать пауков-кровососов ровно мух. Так вот! – Степан Ильич крепко хлопнул ладонью по спинке кресла.

– И что же делать? – спросила изрядно загрустившая от отцовского рассказа Екатерина.

– Откупаться, – просто сказал Олизко. – И грамотные люди там это уже поняли. Мы научили, показали, как бывает, когда делиться не хотят, гребут до посинения, на таком горе, как война, капиталы наживают. Не дожидаться, пока рабочий на улицу выйдет, а потом в него стрелять, а торговаться с ним, обоюдный интерес искать. Так только. Хотя я до конца не уверен, что и это поможет избежать социальных потрясений. Таких, как у нас сейчас. Думаю, и тогда, при малейшей возможности люмпен пойдет грабить богатого, а за ним побежит и не такой уж бедный. Тот, кто всю жизнь как-то концы с концами сводит, откладывает денежку, чтобы еще одну корову купить, приданое дочери справить, молотилку или там жатку завести. Такой еще больше пьяницы-оборванца тащить будет. Поскольку цену копеечке знает. Он за нее годами спину гнет, а тут зараз не одним рублем можно разжиться. Трудно при таком раскладе русскому мужику устоять... Так-то. Что смотришь на меня так внимательно?

– Смотрю, ты опять воротничок рубашки маслом испачкал, надо все ж аккуратнее. И обедать пора, заболтались мы с тобой. А потом опять будешь у меня спички левой рукой собирать и ногу разминать. И не кривись, Николай Иванович сказал, это нужно несколько раз в день делать.

– Ну вот, – рассмеялся Олизко, – я ей о государственной политике, о продуманном да наболевшем, а она мне о масле да спичках. Ладно. Как скажешь, так и сделаю, ты у нас теперь главная.

* * *

В один из весенних дней 1919 года, когда на ветвях деревьев уже набухли почки и проклюнулись из них самые первые и смелые зеленые язычки листьев, когда, несмотря на все беды и горести, так хотелось жить и радоваться жизни, в судьбе Кати Олизко появился поручик Шнайдер. Вошел он в нее просто.

Учреждения колчаковской столицы были буквально набиты служивым народом так, что некоторым его представителям приходилось жить в собственных кабинетах, а потому квартиры многих состоятельных жителей Омска подвергались уплотнениям. Под одно из них попало и жилье врача американского госпиталя Николая Светличного, куда в один из мартовских дней пришел с предписанием на заселение вежливый офицер в чине поручика. Было ему лет около тридцати, и с первых же сказанных мягким глуховатым голосом фраз стало ясно, что офицером этого человека сделала война. Четкость формулировок, явная начитанность выдавали в нем либо студента в прошлом, либо выпускника университета. Так оно в действительности и было.

Горный институт в Петербурге он окончил в самый канун мировой войны и, узнав о ее объявлении, к мыслям о карьере инженера больше не возвращался – пошел прапорщиком в окопы. Личной жизни по случаю войны для него временно не стало, и думать о ней не имело смысла. Она была до того, при удачном раскладе могла продолжиться после того и никак иначе. Теперь требовалось сражаться, не загадывая наперед, как долго придется это делать, и хватит ли сил выдержать тяжкие испытания, выполнить дело, которое Владимир Егорович Шнайдер для себя считал личным – победить врага.

Немец по происхождению, он принадлежал к той породе давно обосновавшихся в России выходцев из иных

земель, про которых Петр Великий сказал как-то: «Любит Россию, служит ей – значит русский». Володя любил землю, на которой родился и, как его прадед, дед и отец, служил ей честно.

Так делали далеко не все, с кем он учился до войны, да и на ней людей, озабоченных только личным благополучием, тоже хватало, однако их отношение к жизни Владимира Шнайдера не интересовало. У него было свое, и менять его он не собирался.

Вопрос, является ли для него Россия родиной, Володя считал бы для себя попросту оскорбительным. Другой для него не было. Ни мальчишкой, когда он, сын серьезного промышленника, ловил рыбу с деревенскими пацанами, а случалось, и дрался с кем-нибудь из самых задиристых, ни в юношеском возрасте, слушая речи товарищей о прогнившем режиме, рабской стране, не способной воссиять под лучезарными лучами просвещенного Запада, а потому не достойной никакого уважения. И уж тем более, когда святыни его страны хрустнули под коваными сапогами дезертировавших с фронта солдат.

Скажи ему в те страшные дни: «Вот вам билет до Лейпцига. Езжайте, батюшка, на вашу настоящую родину, где прадедушка с прабабушкой родились. Там всегда будет тепло и сытно, не то что здесь», – он бы посмотрел на этого человека поначалу недоуменно, а потом и брезгливо. А то по не изжитой до конца мальчишеской привычке еще и по физиономии бы такому мерзавцу заехал.

В августе 1918 года на Волге он добровольно вступил в белогвардейский отряд полковника Каппеля. Участвовал во взятии Казани, сначала рядовым бойцом, а потом взводным и ротным командиром, воевал под Симбирском и Свияжском, отступал со своей частью к Уралу, где был ранен и тяжело контужен снарядом с вражеской бронеплощадки.

Госпиталь в Омске, медицинское заключение «годен к нестроевой», сделанное, с учетом его инженерного образования, предложение стать офицером для поручений у начальника снабжения Сибирской армии баро-

на Будберга, принятое без долгих раздумий, и, наконец, квартира врача Светличного – встреча с Екатериной Олизко... И почти сразу же после этого острое ощущение того, что жизнь, похоже, переходит в новую фазу – пугающую, непредсказуемую, волнующую... и прекрасную.

Нечто подобное произошло и с Катей. Перебросившись парой фраз с незнакомым ей круглолицым офицером в английском мундире с золотыми погонами, взглянув в его внимательные серые глаза, она с испугом поняла, что этот человек ей уже нравится. И как мужчина тоже... Это с первого-то знакомства, точно так же, как с Михаилом, а что же потом? Что может быть потом?..

«Ничего, – пересилив первое волнение, строго сказала она себе. – Ничего не может тут быть. Вы, Екатерина Степановна, приличная барышня, а не, извините, гулящая баба. Вот и ведите себя соответственно. У вас жених есть». – «Есть ли? – вздохнул внутренний голос. – А и есть, так где его искать?» – «Есть, – твердо поставила его на место Катерина, – отыщется. И слушать тебя больше не желаю. Все, все. Молчать, тебе сказала».

Голос обиженно замолчал, а поручик Шнайдер удивленно посмотрел на неожиданно окаменевшее лицо девушки и осторожно поинтересовался – не обидел ли он ее чем ненароком?

– Нет, – сухо отрезала Катя. – Попросту я очень занята и не имею более времени для разговора с вами.

– На нет и суда нет, – улыбнулся поручик. – Появится у вас свободное время, буду рад, если позволите его с вами разделить.

Отработав четко движением бросил сжатую ладонь к козырьку английской фуражки и ушел.

«Ну вот, обидела человека, – нарушая хозяйкин приказ молчать резюмировал внутренний голос и язвительно поинтересовался: – Чего добила-то? Будешь теперь опять одна куковать».

Однако долго «куковать» одной Екатерине не пришлось. Уже на следующий день за завтраком, оставив в сторону чашку с недопитым чаем, столующийся вместе

с хозяевами квартиры поручик вежливо поинтересовался, не располагает ли Екатерина Степановна в настоящий момент свободным временем.

– Зачем вам это знать? – настороженно спросила девушка. – Я с папой. Мне...

– Просто я сегодня относительно свободен и хочу пригласить вас на прогулку по весеннему Омску. Если вы, конечно, не против...

– Я? Да. Вообще-то... То есть не против, – смущенная и испуганно-обрадованная таким предложением, несколько несвязно ответила Катя.

Хорошо воспитанный Шнайдер смущения этого не заметил и на порозовевших щеках девушки взгляда не задержал. Кивнул головой и, встав из-за стола, взял с вешалки фуражку:

– В таком случае я жду вас на свежем воздухе.

Все время пребывания в Омске Екатерина Олизо ни разу не гуляла по его улицам просто так, без ясно обозначенной цели – сопровождения отца в госпиталь и обратно, похода в продуктовую лавку, аптеку или на почту. Вот и теперь она шла, опустив голову, почти не глядя по сторонам, все время сбиваясь с прогулочного шага на торопливо-деловой. Однако постепенно шаг ее сделался тише, она стала смотреть по сторонам внимательнее и даже с несколько ленивой усмешкой, как и полагается идущей под руку с кавалером барышне из приличной семьи.

По Любинскому проспекту проезжали блестящие лаком автомобили, мчались извозчики-лихачи. По тротуарам с деловитой важностью шагали офицеры и солдаты в нерусских мундирах. Среди прочих выделялись бравой военной выправкой англичане и одетые в диковинные халаты и остроконечные шапки канадцы. Хватало и гражданской публики в дорогих пальто и шубах. Мужчин в фуражках самых разных ведомств, часто с министерскими портфелями, и нарядно одетых дам. Особенно смелые дамы – из тех, для кого шик дороже здоровья – уже сменили зимние платки и шапочки на изящные шляпки, у устроившихся на углах улиц цветочниц можно было купить тро-

гательные букетики первых сахарно-белых, бледно-сиреневых и солнечно-желтых подснежников.

Поручик приобрел один из них и церемонно протянул его Кате:

– Поздравляю вас с наступлением весны, Екатерина Степановна. Мне один знакомый охотник говорил, что медведи от этого цветка хмелеют.

Катя неожиданно для себя сделала шуточный книксен и улыбнулась:

– Надеюсь, господин поручик вы не считаете меня похожей на медведицу?

– Что вы, – настала очередь смутиться Шнайдеру. – Я просто... Вы очень красивая барышня и, на мой взгляд, если взять в пример братьев наших меньших, более напоминаете газель – такая же изящная и утонченная.

– Спасибо за цветы и комплимент, – Катя с удовольствием поднесла к лицу букет, вдохнула нежный, еле различимый запах полевых цветов. – Как я посмотрю, вы большой умелец их говорить.

– Не сказал бы, – усмехнулся поручик. – Зато знаю, что если в ночь полнолуния такой вот букетик положить под подушку и во сне явится девушка или юноша – быть счастливому году. А если что-то неприятное – не миновать горя.

– Не буду я его под подушку класть, – вздохнула девушка. – Явится действительно что-нибудь неприятное, а у нас и свое горе складывать уже некуда.

Помолчали немного, затем Шнайдер достал из кармана форменных брюк портсигар:

– Позвольте, я закурю?

– Пожалуйста. – Катя подошла ближе к стене двухэтажного дома, сначала без интереса, а потом все внимательнее стала читать наклеенную на ней листовку:

«Что большевики обещали и что дали:

Мир – такую войну, какая никому и не снилась.

Хлеб – картофельную шелуху, гнилую овсянку, мякину, конину, собачину, говядину с сапом да пулеметный горох.

Волю – тюрьму, виселицу, расстрелы без всякого суда, повсеместный грабеж и мордобойство.

Крестьянам – землю, по 3 аршина на человека в вечное владение, ложись на нее и владей.

Рабочим – фабрики и заводы. Безработицу, голод, холод, комиссарский кулак под нос да пару мадьяр или китайцев по бокам.

Как видите, большевики дали много, гораздо больше, чем обещали. Кланяйся им, народ русский, поблагодари за угощение да хорошенько пулеметного гороха им в спину».

– А вот еще, – Берг ткнул пальцем в притулившийся по соседству листок поменьше. – По-моему, тоже неплохо.

«Приказ коменданта Омска от 17 февраля 1919 года, – прочла Катя. – Агитаторов и подстрекателей, появляющихся на местах расквартирования войск, расстреливать на месте».

– Да ну вас, – нахмурилась девушка.

– Эта прокламация, поверьте мне на слово, редкое исключение. – Ткнул пальцем в большой листок поручик. – Обычно мы в этом плане работаем куда хуже и топорнее. В приказе по одному из корпусов Сибирской армии говорится о том, что все декреты советской власти нужно считать недействительными, все, что сделано с землей при большевиках, совершенно отменяется. А армия-то у нас как раз из мужиков и состоит, вот им прямо говорят, что землю, которую им советы дали, теперь отберут...

Прочел недавно в одной газете обращение к крестьянам-повстанцам. Если бы вы, мол, жили спокойно, не слушаясь большевиков, то победа была бы за нами. Ведь на вас брошено три батальона отборных войск, а эти войска нужны на фронте. Что это, ежели не идиотизм?

Офицер смял в кулаке потухшую папиросу

– Представители левых партий Веденяпин, Вольский, да и другие недавние члены Учредительного собрания, которое большевики хамским образом прихлопнули, теперь пишут о Колчаке и колчаковцах, что они наемники

мировой буржуазии, золотопогонники и так далее. В Чите, где правит попросту бандит атаман Семенов, вышла брошюра, которую мне недавно удалось лицезреть. Одна ее часть так и называется: «Что делать с Колчаком?» – и далее о том, что не таким грязным и больным людям, как он, быть нашим правителем, не уйдет сам, нужно его убрать, и даже полный бред о том, что именно с появлением адмирала большевизм стал поднимать голову.

Мерзавцы, одно слово. К тому же абсолютно безумные мерзавцы, словно не понимающие, что упадет Колчак – и тут же покатаются они, как яблоки гнилые. У наших пропагандистов вместо разъяснений о том, кто мы такие и за что ведем борьбу, одна ругань в адрес жидов и комиссаров. А народ издавна привык – кого ругают огульно, того и послушать не мешает. И слушают.

Нам у большевиков, как царь Петр у шведов, учиться надо, как с народом разговаривать, они-то как раз это хорошо умеют делать, словеса красиво-туманные в кружева не плетут.

Вот частушка, какую от рабочего до генерала каждый мальчишка в Омске знает:

*Мундир английский, погон российский,
Табак японский, правитель омский.*

До примитивизма просто и так же убойно. Говорят с малограмотным, а чаще вовсе неграмотным, на его же рубленом языке, и он их прекрасно понимает, а нас нет. А еще хлеще любых самых сильных большевистских прокламаций агитируют за советскую власть наши мальчишки, молодое офицерство, – набухал злобой голос поручика. – Половина его развращена до предела. Так, что исправить их уже практически невозможно. Некоторые вообще готовые преступники, опасные для любого общества и государства. За деньги кого угодно могут убить. Для них понятие «свой-чужие» – вещь сугубо относительная и временная. В их пьяных башках даже не шевельнется мысль о том, какую мерзость они делают против своей родины, которую в кабаках и борделях хвастаются защищать.

И как же они это делают? В Новониколаевске пьяный офицер застрелил рабочего. В Барнауле на вокзале кто-то заговорил с сочувствием о большевиках. Офицер его задержал, тот стал убегать, хотел скрыться в зале ожидания первого класса. Офицер его догнал и там же, прямо на людях, убил. Застрелил в упор...

Шнайдер замолчал и вновь полез в карман за папиросами. Молчала и Катя.

– Они думают, – ломая спички, продолжил Владимир, – что если замучили несколько сотен большевиков, то сделали этим великое дело, нанесли Совдепии решительный удар, не понимая того, что если они без удержу и разбора убивают, грабят, насилуют, то этим вызывают такую ненависть к власти, что хамодержцы могут только радоваться их деятельности. Я бы на месте Ленина и Троцкого самым выдающимся из них ордена Красного Знамени давал бы. За выдающееся отличие по подрыву власти Верховного правителя.

– Несмешная шутка, – с укором посмотрела на него девушка.

– Да уж, несмешная, – согласился поручик. – Грустно от всего этого. У меня, знаете ли, родители в Царицыне проживают, то есть в Совдепии, и для меня совсем не все равно, удастся ли нам его взять или нет. Отец мой, к несчастью, имел неосторожность стать перед семнадцатым годом членом Русского акционерного общества артиллерийских заводов в Царицыне, одним из технических руководителей британской фирмы «Виккерс» на наших артиллерийских предприятиях. Британцы владеют крупным пакетом акций на них. Или владели, как сейчас правильно сказать, и не знаю. Так что по комиссарским понятиям – классовый враг, да еще и международного масштаба. Со всеми вытекающими...

– Уехать не смогли? – тихо спросила Катя.

– Мама у нас болеет, – после паузы ответил поручик. – Сестру с братишкой, ему десять всего, успели отправить к дальним родственникам в Лейпциг, а маме никак нельзя было ехать, врачи запретили. Да и не думали

ведь, что до такого дойдет, так народ оскотинится. Кто это представить-то мог... Пускай что хотят тащат, дом запакостят или сожгут, как уж им заблагорассудится. В нашей семье работать умеют, еще наживем. Только бы... – Он отвернулся к стене дома, около минуты внимательно изучал только что прочитанную прокламацию, затем с виноватой улыбкой взглянул на девушку:

– Извините, Екатерина Степановна. Мы с вами едва знакомы, а я к вам сразу со своей болью, будто вам вашей недостает. Я ведь об этом и не рассказывал никому, даже на позициях. А тут вот не знаю как и вышло. Простите...

Катя молча взяла его под руку:

– Пойдемте еще прогуляемся, покажете мне что-нибудь интересное, например, дом, где адмирал Колчак живет. Знаете, где он?

– Где находится резиденция Верховного правителя? – уже с обычной деликатно-обаятельной улыбкой поинтересовался поручик. – Да вы попросту шпионские вопросы задаете, Екатерина Степановна. Ну что с вами делать, покажу, тем более что военной тайной сия информация не является. Хорошо, я...

Прервав поручика, за домами басовито громыхнула пушка. Катя съезжилась от испуга, на мгновение прижалась к своему спутнику и, отстранившись от него со смущенной улыбкой, как ни в чем не бывало спросила:

– Что это? Учения?

– Нет, – усмехнулся Шнайдер. – Это еще один показатель нашей мании величия. Колчак ввел в Омске обычай, аналогичный Петербургскому. Как там со времен Петра Великого и до наших дней ежедневно ровно в полдень с Петропавловской крепости стреляет пушка, так и у нас в сибирской столице теперь тоже такой порядок. У нас вообще во всем стараются походить на тот, бывший Петербург. Даже в канцеляриях то же чванство и недоступность, начало работы в десять утра, словно в мирное время, в двенадцать перерыв на завтрак, в четыре часа по домам.

Мне начальник организационного отдела полковник Обертюхин показывал проект о подготовке офицеров

и унтер-офицеров, составленный вначале не только жизненно, но даже талантливо. Три месяца этот проект ходил от стола к столу, пока не превратился в весьма объемистый том. На первом проекте была резолюция военного министра «Доложить и пересоставить». На втором, пересоставленном, стояло указание согласовать с такими-то статьями такой-то книги прежних законоположений. Затем шли третий, четвертый, пятый, шестой варианты доклада и объяснительные записки с объемистыми резолюциями, наконец, на последнем красовалась надпись начальника главного штаба: «Повременить!» Так-то. Ну что, пойдете смотреть царские палаты? Впрочем, я вам сначала еще кое-что интересное покажу, а потом уж их. Устать не боитесь?

Катя энергично помотала головой:

– Не боюсь. Пойдемте.

На Любинском проспекте продолжала кипеть жизнь. Выделяясь дорогими шубами и степенной уверенностью, шли по делам состоятельные сибиряки, в заношенных пальто и ватных куртках мелькали торопливо редкие здесь фигуры рабочих. На другой стороне улицы остановился у входа в ресторан поблескивающий лаком автомобиль, из которого вышли двое офицеров в новеньких английских мундирах с сияющими золотом погонами на плечах. Вальяжно улыбаясь, они помогли выбраться на тротуар двум дамам в меховых мантиях поверх роскошных платьев и маленьких шляпах с перьями на искусно причесанных головах. Катя заметила, что на них поручик посмотрел с такой же неприязнью, как смотрел перед этим на попадающихся им навстречу богатых сибиряков.

– Мне кажется, что вы к моим землякам не очень-то хорошо относитесь, – осторожно поинтересовалась она.

– Это они ко мне и вообще ко всем, кто из России, не очень хорошо относятся, – серьезно сказал поручик. – Точнее сказать, пренебрежительно. Понаехало, мол, тут. А главное в том, что они боятся, страшно боятся, что вслед за нами придут те, от кого мы убежали. Как собаки на наш запах прибегут и погрызут всех без разбору – и нас, и их. Скажи им сейчас большевики – сидите себе за Уралом, не

тронем, только этих отдайте, что из России к вам прибежали. И отдадут... Ладно, не будем об этом. Посмотрите вот лучше на здание, мимо какого мы сейчас проходим, – это главный наш банк, где ныне хранится отбитый у большевиков в Казани российский золотой запас. Знающие люди, само собой, по секрету, – усмехнулся Шнайдер, – говорят, что тут лежит около миллиарда долларов. Чудовищные деньги. А кроме золота и монет – ювелирные изделия. Говорят, в скором времени будет открыта их выставка, посетить какую я вас приглашаю уже сейчас. Хорошо?

Катя согласно кивнула.

– В таком случае пойдете дальше на Гасфортовскую улицу, я вам покажу дом товарищества российско-американской резиновой мануфактуры. Там сейчас находится кооперативное объединение «Центросибирь», которое нам с вами неинтересно.

– А что нам с вами интересно?

– Нам интересна штаб-квартира Союза возрождения России, какую они пустили под свою крышу. Там проходят довольно интересные вечера, где выступают разные знаменитости, бежавшие в Сибирь от большевиков. Есть и литературно-художественный кружок, который посещают местные литераторы. Несмотря на здешнюю глухомань, часто очень интересные люди. Вяткин, Иванов, Сопов и, конечно, местная знаменитость, возмутитель спокойствия Антон Сорокин, автор знаменитой новеллы «Тридцать три скандала Колчаку», опубликованной в журнале «Настоящее». На одном из литературных вечеров объявил себя диктатором над писателями и стал раздавать нарисованные им самим деньги «шестой державы», настолько похожие на настоящие, что их даже извозчики брали. Правда, плевались потом, когда узнали, что их обьегорили. В своих брошюрах предостерегает, что людей с ограниченным умом просят не читать. Говорят, еще до большевистского переворота решил выдвинуть какое-то свое произведение на Нобелевскую премию и разослал его главам нескольких государств с предложением либо поддержать его в этом начинании, либо прислать критический отзыв.

– И прислали? – прыснула в кулачок Катерина.

– Говорят, что ответил только сиамский император Чекрабон, который сожалел в написанном по-английски письме, что из-за отсутствия русского переводчика сия книга не могла быть прочитана.

– И после таких вот шуточек, после «Тридцати трех скандалов Колчаку», он все еще на свободе?

– У нас, Екатерина Степановна, только с военными шутить опасно, и тем более не в столице. Здесь иностранцев, как вы, наверное, заметили, полно, необходимо им нашу приверженность демократическим принципам демонстрировать. А кроме того, у Сорокина, как говорят, охранная грамота от почитателя его художественного таланта господина японского посланника Танаки имеется. А это бумажка очень серьезная...

Продолжая затянувшуюся прогулку, Катя с Владимиром полюбовались блестящими на весеннем солнце куполами Успенского собора, где 25 ноября 1918 года была отслужена литургия и молебен о ниспослании Божией помощи в трудах Верховному правителю, посмотрели на строевые занятия новобранцев на площади у Воскресенского собора, оценили скульптуру «крылатого гения» на крыше Омского городского театра, которая очень понравилась Кате. А вот вид резиденции Колчака на нее особого впечатления не произвел, поскольку, по мнению Екатерины, этот дом не отличали ни красота, ни изящество. Окруженное высоким забором одноэтажное здание с чужеродным для него куполом-башенкой в левом крыле. Высокая лепная арка входных дверей и диссонансом к ней такая же высокая черная дымовая труба на крыше, неподалеку от которой неподвижно стоял солдат-часовой с винтовкой на ремне.

– Говорят, что купец, который продал этот дом правительству, уверял, что расстаться с ним его заставило божественное видение. Вы не замерзли, Катя? – перебил сам себя поручик, доставая из портсигара очередную папиросу. – Будто бы явилась ему во сне Богородица и, благословив его на долгую жизнь, повелела верить, что именно

в его жилье и явится исстрадавшемуся под игом большевиков русскому народу чудо спасения России от безбожной антихристовой власти.

– Вы в это верите?

– Я – нет. А хотелось бы...

– А говорят еще, что в этот дом к адмиралу Колчаку часто его возлюбленная Анна Тимирева приезжает. Такая красивая пара, говорят, глаз не отвести. Смотрят друг на друга, как голубки, – вздохнула Катя. – Вам не завидно, поручик?

– Да какое мне дело до его любви, да еще с чужой женой, – неожиданно жестко сказал Шнайдер. – Разве об этом должен думать Верховный правитель, да еще в такое тяжелейшее время?

– Зря вы так, – с укором посмотрела на него Катя. – Он человек наверняка хороший, раз так любит. И вообще любовь – это главное в жизни, а все остальное...

– Да я разве против любви? – Владимир даже руку к отвороту шинели прижал. – Я сам... Я не ханжа и человек не старый, но, видать, старомодный. По мне, если уж Верховный о приличиях не думает, то другие и вовсе решат, что им все позволено, а мораль – поповское слово. Чем эти люди отличаются от большевиков в плане морали? Ничем. Одни в Москве толпятся на митингах, призывая вырвать глотку своим соотечественникам, другие в Омске у отдела воспитания и образования солдат отбирают помещение для какого-то сто первого ведомства или министерства. Проводят, казалось бы, благородное мероприятие – бал-маскарад для сбора средств семьям погибших воинов и при этом, пардон, конкурс женских ножек, а за право стать членом жюри берут деньги. Читал об этом в нашей омской «Заре» и чуть ли не наизусть запомнил последние слова автора статьи, так они мне были близки. «Мы ничему не научились... У нас нет граждан, а есть только обыватели... Мы стараемся за спиной армии поскорее «опериться», забывая, что если мы не поддержим эту армию, то все старания наши пропадут даром». И как же они «поддерживают»? В той же газете заметка о том, как некий

владелец лесопильного завода, отдавая ненужные ему самому опилки для солдатских казарм, не стеснялся брать за это деньги, подлец.

И куда ни посмотри, везде подобная вакханалия. Вот недавно знакомый офицер дал мне газетку «Наш путь», которую ему из Читы привезли. В ней опубликован приказ нашего уполномоченного по охране государственного порядка и общественного спокойствия на Дальнем Востоке. Газета эта у меня с собой, и если вы еще не очень замерзли, я вам прочту. Много времени это не займет. Он короткий, но очень уж, как бы по точнее сказать... выразительный, что ли. – Поручик вынул из кармана шинели сложенную вчетверо газету, развернул ее, стал торопливо искать нужный ему материал:

– Слушайте, тут, правда, немного. Вот: «К великому позору русской женщины, в последнее время наблюдается все чаще и чаще весьма прискорбное явление: жены тех мужей, которые своей грудью доблестно защищают родину и на поле брани проливают кровь и умирают, жены таких мужей в это время ведут недостойную жизнь: вместо того чтобы своим примерным поведением поддерживать дух защитника родины и в свою очередь защищать и охранять его честь, эти недостойные женщины предаются разврату и ведут разгульную жизнь». «Призванный стоять... На основании...». Ага, вот, основное: «...Приказы-ваю: женщин, уличенных в развратном поведении и разгульной жизни, подвергать взысканию в виде ареста до трех месяцев, причем арест должен отбываться по монастырскому уставу при местном женском монастыре, где с заключенными обязательно должны вестись религиозно-нравственные собеседования и вменяться им в обязанность чтение и полное усвоение Евангелия».

– Так вы что, Тимиреву хотите в монастырь отправить? – рассмеялась Катя. – А сможете?

– Нет, Тимиреву я в монастырь отправлять не собираюсь, – улыбнулся в ответ Шнайдер.

– Да и не смог бы, если б и захотел. Впрочем, я говорил вас совсем, а вы, видать, замерзли. Пойдемте-ка

домой. Меня самого уже холодом пробирает, а о вас, пожалуйста, и говорить не приходится, вы ведь существо нежное.

– А вот и нет, – похлопала ладонями в перчатках Катя. – Это вы из нежных краев, а я сибирячка. У нас в Славгороде знаете, какие морозы бывают, да еще с ветерком из степи? Вот вы не знаете, а я знаю. Но впрочем, – она опять похлопала в ладоши, зябко постучала каблучками по мостовой, – пора, пожалуйста, в тепло, к горячему чаю. Только вот, я хотела у вас спросить... – она замялась, словно подбирая слова.

– Спрашивайте о чем хотите, мне скрывать нечего.

– Скажите, только серьезно и без обид. Вот вы боевой офицер, я знаю, сами почему сейчас здесь, а не на позициях? Простите, что я так дерзко, но все же...

– Все просто, – уже без обычной улыбки ответил Шнайдер. – Я на упоминаемых вами позициях побывал с четырнадцатого года столько, что как минимум на трех столичных хлыщей в погонах хватит. Отработал с запасом. Пусть теперь они, пардон, окопной вони понюхают. А поскольку мое присутствие или отсутствие на полях сражений наверняка кардинально не повлияет на их ход, зачем же мне добровольно подвергать в очередной раз опасности мою молодую и, признаться, дорогую для меня жизнь?

– А серьезно?

– Я и говорил так. Но если хотите, могу еще серьезнее. Я хоть и немец по рождению, приучен жить по старой русской поговорке: «На службу не напрашивайся – от службы не бегай». Где приказали, там и тяну свою лямку. Пошлют в окопы – пойду туда. Без радости, но пойду. А добровольно нет, увольте... – Шнайдер немного помолчал, потом вновь улыбнулся: – Помню, на германской, после февраля уже стояли мы в тылу, я как-то говорю своему вестовому: «Да, Фролов, нам с тобой должно быть известно, что мы отсиживаемся здесь, когда другие в бою...». Так он мне возражает: «А какая польза нам там находиться? И без нас хватит. Чего ради? Что мне за это, земли, что ли, прибавят или новую хату построят? Искалечить или убить могут, это запросто». Ну это я уже в шутку, конечно, говорю, чего ради знаю...

– Скажите, Володя... Можно, я буду вас по имени называть, а вы меня?

– Конечно. Буду очень рад.

– Скажите... Скажи, ты боялся на войне? – тихо спросила она.

– Сначала очень сильно, потом меньше, – чуть помедлив ответил поручик. – Там ведь как-то перестаешь думать о неизбежности смерти, высчитывать, сколько лет ты сможешь еще прожить. Она всегда рядом, в любое время прийти может. На войне ведь и умерших-то нет, одни убитые.

– Какая война страшнее? Та, с немцами, или эта, нынешняя?

– По масштабам и техническим средствам уничтожения та, конечно, куда серьезнее была, – ровно, как о давно обдуманном, сказал Шнайдер. – Но для души эта тяжелее. Никак не приучусь своих соотечественников бить. Другим ничего, а у меня с трудом получается. И знаете что, Катя, давайте мы лучше о чем-нибудь другом, более приятном поговорим. О музыке, скажем, или поэзии.

– А они есть-то еще на белом свете? – вздохнула Катя.

– Есть, – убежденно заявил поручик Шнайдер, – живы и даже здравствуют. Я вот бываю в одном довольно приличном заведении, где и кормят неплохо, и обслуживают аккуратно, а главное – поэты и писатели и прочая богема своим вниманием не обделяют. Можно послушать хорошие стихи, музыку – отдохнуть, как говорится, душой. Пойдемте, я вас приглашаю.

– Да как-то неловко, – смутилась Катя. – Мы с вами мало знакомы, что могут подумать? Да и к богеме я как-то непривычна, мало приходилось с ней общаться. Удобно ли?

– Так я же вас, пардон, не на конкурс женских ножек приглашаю, так что удобно. И насчет того, что мало знакомы, не беспокойтесь. Я тому, кто на вас хотя бы косой взгляд бросит... – зловеще свел брови офицер. – Верите?

– Верю, – улыбнулась она. – Вам верю.

– Тогда пойдете. Хорошо?

– Хорошо, – она взяла его под руку, поправила на голове платок. – А сейчас давайте домой. Теперь я точно замерзла.

* * *

К удивлению Кати, вместо привычной шинели на плечах Шнайдера было распахнутое цивильное пальто, а под ним хорошо пошитый серый костюм и белая сорочка с умело повязанным галстуком.

– Здесь уже пошил, – несколько смутившись под пристальным взглядом девушки, пояснил поручик. – Не имею, знаете ли, привычки увеселительные заведения в мундире посещать. Нет, это вовсе не запрещено, но я как-то не люблю.

– Не оправдывайтесь, Володя, – улыбнулась Екатерина. – Вам идет костюм и, по-моему, не в пример больше, чем мундир.

– Пожалуй, – легко согласился поручик. – Я ведь, по сути, человек штатский, погоны – только дань времени, будь оно таковое неладно. Впрочем, хватит обо мне. Вы-то как выглядите, Екатерина Степановна! Замечательное платье. Мне очень такие нравятся. Просто и красиво. Без всяких там рюшечек и прочих излишних деталей. И черный цвет вам очень к лицу. Просто влюбиться можно в такую девушку.

– А вы попробуйте, – шутливо посоветовала она.

– Не премину воспользоваться вашим советом, – отвесил в ответ шутливый поклон поручик, но если бы Катерина в этот момент взглянула ему в глаза, то даже искорки смеха она бы там не обнаружила. Взгляд поручика был задумчиво-печальным. – Однако соловья баснями не кормят, – продолжил он. – В Совдепии, говорят, такой голод, что наши с вами братья и сестры во Христе кошек и воробьев едят, а здесь, в Омске, всего на несколько рублей можно прекрасно поужинать, и даже вино, пусть и относительно приличное, тоже найдется. Ну что, на штурм земных радостей?

Несмотря на ранний вечер, свободных столиков в выбранном поручиком ресторане уже не было. Впрочем, из-за того, что стоял в углу у небольшой сцены, им уже энергично махал рукой пухлощекий улыбчивый человек в толстых роговых очках на картофельном носу.

– Кто это? – поинтересовалась у поручика Катя. – Такой интересный и смешной.

– Человек этот действительно интересный, но вот в том, что смешной, сильно сомневаюсь, – ответил Владимир и тоже помахал рукой господину за столиком: – Это американец, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Луис Корнфилд. Я с ним знаком, правда, шапочно, по случаю. Настоящая газетная крыса, проехал от Владивостока до Омска, у нас здесь где только ни побывал и с кем только ни беседовал, поскольку, в отличие от других наших гостей-союзников, довольно неплохо говорит по-русски. Ну что, пойдемте, раз приглашают. Тем более что особого-то выбора у нас нет, а с ним в компании, я думаю, скучно не будет.

Шнайдер пропустил девушку вперед, и они стали осторожно пробираться между столиками, за которыми весело пила-гуляла самая разнообразная публика. В густом папиросном дыму тускло поблескивало золото офицерских погон, искрились меха на белоснежных плечах роскошно-ленивых дам, чернели строгие костюмы деловых людей. Под аккомпанемент частых возгласов: «Человек, еще шампанского!» расторопно мелькали сюртуки по-петербургски вышколенных официантов. На сцену вышел молодой человек в белой рубаше с распахнутым воротом, в галифе и зеркально начищенных сапогах. Усевшись на стул, опустил голову и, словно отстранившись от зала, стал медленно перебирать струны гитары.

– Очень рад встрече, – поднялся из-за столика на встречу Кате и Шнайдеру американец. – Прошу вас, господин поручик, представить меня вашей даме.

– Луис Корнфилд, Екатерина Олизко.

– Решили отдохнуть и поразвлечься? – поинтересовался журналист, вновь усаживаясь за столик, и жестом предложил Екатерине с Владимиром последовать его примеру.

– А вы что, здесь с другой целью? – усмехнулся поручик.

– Признаться, да. Сюда, как я слышал, заходит поужинать начальник английского экспедиционного корпуса полковник Урд, к которому обычно не так-то просто подступиться, надеюсь, здесь будет удобно атаковать его, – обнажив широкие лопатки зубов, расхохотался Корнфилд, – и добыть необходимую информацию. Я узнал, что он в прошлом был рабочим, участвовал в деятельности профсоюзов, там их называют тред-юнионами, сам стал профсоюзным боссом и даже членом парламента. Типичный либерал. Хочу расспросить его о встречах с вашим Верховным правителем и поездке по Сибири с целью убедить рабочих, что большевизм – это плохо, а профсоюзы – хорошо.

– А зачем вам это?

– Как зачем? Это есть мой труд, мой маленький бизнес. Готовлю статью для «Нью-Йорк Таймс». Как это... Загостился я в России – пора в Штаты, зарабатывать на хлеб, как у вас говорят. Вы, пожалуйста, не уходите, а я ненадолго отлучусь. И советую вам, друзья мои, заказать красное вино и баранину под винным соусом. Это действительно вкусно.

– Да, интересно будет послушать, что ему скажет этот Урд, если он, конечно, придет сюда и согласится разговаривать с этим писакой, – задумчиво сказал поручик, когда журналист, ловко проскальзывая между шумными столиками, двинулся к выходу из ресторана. – Простите, Катюша, – спохватился он. – Привел вас слушать богему, а вместо этого... К тому же, этот Урд, насколько я знаю, за год пребывания у нас ни одного слова по-русски не удосужился выучить. Так что, не поискать ли нам еще свободный столик?

– Ничего, – улыbnулась Катя, – мне тоже было бы интересно послушать этого важного господина, жаль только, что английский я знаю очень поверхностно. Впрочем, когда отец беседовал при мне раза два с английскими купцами, понимала почти все. А вы этим языком, как я поняла, владеете.

– Видите ли, в нашей семье практически все так или иначе занимаются – точнее, занимались до нынешнего бардака – промышленным производством, а Англия в этом плане страна наиболее передовая. Сейчас, когда Германия, хоть, вероятно, временно, вышла из игры, на передовые позиции в промышленности и экономике выходят и англоязычные Северо-Американские Штаты, потому... Что вы улыбаетесь? – остановился он.

– Просто я вас таким серьезным еще не видела, – уложив подбородок на скрещенные в замок ладони, внимательно посмотрела на поручика Екатерина. – Но вы не смущайтесь. Вам это даже идет.

– Вот и хорошо. Так вот ничего? – шутливо свел брови Шнайдер. – Впечатляет?

– Еще как. Делайте так почаще, и весь прекрасный пол будет от вас без ума. Скажите, а кто такой вообще этот Урд? Что он у нас делает?

– О... Начальник английского экспедиционного отряда, командир Миддлсекского батальона, который, как говорят, на своих плечах вынес чуть ли не всю тяжесть борьбы за Колчака во время различных омских переворотов. Впрочем, об активном участии английской миссии и, в частности, ее главы, генерала Нокса, в перевороте 18 ноября в Омске говорили, да и сейчас еще говорят вполне открыто. Рассказывают, что накануне переворота на собрании офицеров-заговорщиков, арестовавших членов Директории, присутствовал представитель генерала, который благословил их на задуманное ими дело, и что именно Ноксу Колчак обязан своим возведением на трон Верховного правителя...

*Ночь порвет наболевшие нити,
Вряд ли их дотянуть до утра,*

– тихо, словно лишь для себя одного, запел, будто рассказ начал, молодой человек на сцене:

*Я прошу об одном: напишите,
Напишите три строчки, сестра.*

*Вот вам адрес жены моей бедной.
Напишите ей несколько слов,
Что я в руку был ранен безвредно,
Поправляюсь... и буду здоров...*

Екатерина перестала слышать, о чем говорит Шнайдер, чуждо и где-то очень далеко шумел ресторан, звучали лишь простые и грустные слова рожденной мировой войной песни, а перед глазами в пелене набегающих на них слез виделась госпитальная койка, серая подушка, наголо стриженная голова, страшный шрам на высушенном страданиями лице...

*Напишите, что мальчика Вову
Я целую так, сколько могу,
И австрийскую каску из Львова
Я в подарок ему берегу.*

*А отцу напишите отдельно,
Как полег наш прославленный полк,
И как в грудь я был ранен смертельно,
Исполняя свой воинский долг.*

Молодой человек окончил песню и ушел со сцены, официант принес заказанные Шнайдером вино и баранину, но Екатерина к ней и не притронулась. Пила мелкими глотками вино, молчала.

– Что с вами, Катя? – осторожно легла на рукав ее платья ладонь поручика. – Вам нехорошо? Может быть, уйдем отсюда?

– Ничего. Не беспокойтесь. Уже прошло, – заставила себя улыбнуться девушка. – Ничего...

Поручик замолчал, а к их столику уже подходили двое – Корнфилд и пышноусый английский военный в высокой форменной шапке и с большой кольтовской кобурой на ремне. Твердый и властный взгляд боевого офицера, прямой, как по линейке «струганный» нос, чуть выдвинутый вперед крепкий подбородок.

– Позвольте представить вам, полковник, – одной рукой журналист цепко держал своего спутника за рукав френча, другой деловито ткнул в сторону Владимира и Екатерины: – Мисс Катерина, поручик Шнайдер. Как и вы, герой мировой войны, георгиевский кавалер, ваш собрат по оружию. Сделайте нам честь, поужинаем вместе.

– Вы говорите по-английски? – поинтересовался Урд у поручика.

– Да.

– А вы, мисс?

Катя молча кивнула.

– А я вот, к сожалению, так и не освоил русский, не смотря на то, что нахожусь в вашей стране довольно долго. Могу лишь в свое оправдание сослаться на большую занятость.

– Да дел у вас, без сомнения, много, – сочувствующе покивал головой американец. – Давайте немного отдохнем от них. Поужинаем, выпьем вина. Здесь подают неплохую баранину, да и бифштексы хороши. А что для солдата важнее хорошего куска мяса? – захохотал он. – Прошу, полковник, присаживайтесь к нам.

– ...Безошибочно можно сказать, что большевизм появился по милости старого режима. У мужика была земля, но русский рабочий не имел ничего, – наставительно говорил Урд американцу через несколько минут. – Ни один из тысячи человек не мог бы отличить одну букву азбуки от другой. Рабочий был в полном пренебрежении у государства. Это не изменилось и после всех русских переворотов. У них нет никаких рабочих союзов по той простой причине, что между ними нет ни одного достаточно интеллигентного человека, чтобы организовать их и управлять ими. Бедный, невежественный и необразованный русский рабочий – превосходная и хорошо подготовленная почва для большевистской пропаганды. Он делается добычей любого бездельника, умеющего ловко связать дюжину слов.

У себя мы привыкли, что рабочий класс представляет спинной хребет государства, и если труд плохо опла-

чен, то оно начинает страдать. В России нет никаких представлений относительно положения труда. Самодержавие никогда не занималось им. Последней мыслью царя о рабочей реформе было уничтожение доброй водки; после этого он погиб.

В государственных законах России не существует особого рабочего кодекса, и нынешние вожди рабочего класса не собираются бороться за законы, защищающие труд. Они верят, что единственным способом для рабочего получить права является уничтожение всякого закона. Профессиональный русский лидер рабочих – анархист и ничего больше. Я немало повидал таких во время своей недавней поездки по городам Сибири.

– Какова была основная цель поездки? – американец снял с лица свою обычную улыбочку, потянул из внутреннего кармана пиджака пухлый блокнот, следом на ресторанном столике появился небрежно заточенный карандаш. Корнфилд, похоже, совсем забыл о том, где находится, и всецело отдался привычной работе.

– Генерал Нокс попросил меня предпринять мирную пропаганду вдоль железной дороги, чтобы увидеть, возможно ли убедить рабочих стать на работу и дать стране возможность восстановления порядка.

Я побывал в Красноярске, потом мы двинулись к Иркутску, но узнали, что дорога к Канску фактически в руках повстанцев. Удивительно, но это богатые крестьяне, которые владеют таким количеством земли, которое во многих случаях равно пространству, занимаемому, например, Рутландским графством. В 1917 году они захватили хозяйственный инвентарь, имущество и земли крупных землевладельцев, убив их самих и их семьи. Есть у них беглые каторжники старого режима, выпущенные большевиками. Богатые крестьяне незаконным образом кормят и укрывают их из страха и чтобы те убивали чиновников нового правительства, которые заставляют их платить налоги и недоимки. Они хотят не производить каких бы то ни было казенных платежей и в будущем. Пишут в своей прокламации, что поскольку революцию начали городские

жители, несправедливо требовать от крестьян платежей за убытки, причиненные в городах; далее крестьяне утверждают, что как раз городские жители продолжают сражаться друг с другом, и пока они не кончат своих междуусобий, крестьяне не будут платить каких-либо налогов или оказывать содействие правительству.

Народ этот более невежественен, чем самые захудалые сельскохозяйственные рабочие у нас в Англии, – твердо заявил полковник, разрезая на аккуратные кусочки принесенный ему официантом бифштекс. – Уровень их жизни во многих отношениях ниже, чем у нашего безземельного фермерского рабочего. Невежество их колоссально, а их жадность и ловкость составляют предмет зависти армян, которые открыто признаются, что в торговых сделках русский крестьянин превзойдет еврея в обмане.

При этих словах Екатерина изумленно взметнула вверх брови, а Шнайдер незаметным мягким движением коснулся ее локтя, призывая не перебивать английского полковника, так хорошо изучившего жизнь и привычки русских крестьян в купе салон-вагона.

– Желая использовать в своих целях революцию, принципы которой внушают им отвращение, это богатое крестьянство не хочет теперь оказать ни малейшей помощи в деле восстановления порядка, – продолжал тот. – Запишите это, пожалуйста, в свой блокнот, думаю, вам пригодится, – он качнул подбородком в сторону американца.

– Несомненно, – невозмутимо согласился тот. – Но мне бы все же хотелось больше узнать о ваших встречах с рабочими.

– Мой первый митинг состоялся в ремонтной мастерской в Иркутске четвертого марта. Собралась большая толпа рабочих, мужчин и женщин. Все с большим вниманием слушали мою речь о развитии в Англии тредюнионистского движения. Большинство соглашались, что ни один вопрос не может быть решен спорящими путем взаимного истребления. Но там же, – Уорд раздраженно отложил в сторону нож и вилку, вытер салфеткой усы, – присутствовали около полудюжины членов международ-

ного рабочего союза. В широкополых шляпах, не бритые, точь-в-точь вроде тех типов, которых видишь на митингах в Лондоне, Ливерпуле и Глазго. Они не были железнодорожными рабочими: один держал парикмахерскую, другой был учителем, один врачом, один адвокатом. Эти пять или шесть определенных злодеев образовали что-то вроде «Кровавого братства», издают воззвания от имени русских рабочих, а тех, кто с ними не согласен, тайно убивают: состоятельный это человек или простой рабочий – им все равно. Их не интересует положение рабочего класса в Англии или России, их интересует совсем другое.

– Вероятно, они спросили вас, почему мы должны довольствоваться половиной, когда можем уничтожить буржуазию и воспользоваться всем? Или почему мы должны стремиться к восстановлению закона, который всегда позволяет немногим грабить многих? – вступил в разговор внимательно слушавший англичанина Шнайдер.

– Именно так, – с удивлением взглянул на него полковник, – откуда вам это известно?

– Об этом не так трудно догадаться, как кажется, – усмехнулся поручик.

– Дело в том, что русские рабочие не имеют никакого представления об успехах, сделанных нами для улучшения положения рабочих масс вообще. А эти громилы – анархисты – изображают английский тред-юнионизм как буржуазное движение, которым руководят капиталисты. Они удивились, узнав, что мы представляем единственную исключительно рабочую организацию в мире, что мы не позволяем всяким докторам, адвокатам и просто политикам вести наши дела, но настаиваем всегда на том, чтобы иметь тред-юнионы в своих собственных руках.

– Представляю, что он им наговорил, и как перевели, – шепнул Шнайдер Кате. – Торчит у нас почти год и, как говорят, все учит, учит всех. А как же, он ведь миссионер-цивилизатор, обязан папуасов вразумлять, наставлять на путь истинный, единственно верный. У англичан, как я понимаю, на него монополия. Простите меня великодушно, Екатерина Степановна, за такое времяпровождение. Вам

еще не очень надоел этот Цицерон? И главное – как вы себя чувствуете, вам лучше?

– Уже прошло, спасибо, – Катя взяла со стола бокал с вином. – Говорит интересно, хотя я и не все понимаю.

– Будет желание, я вам потом поясню, что не разобрали. – Улыбнулся, немного успокоившись, Шнайдер и вновь с интересом стал слушать разговор иностранцев.

– Я слышал, вам удалось побывать и на территории, недавно освобожденной от большевиков. Может быть, поделитесь своими впечатлениями? – продолжал выкачивать из Уорда необходимую ему информацию упорный журналист.

– В Тюмени седьмого апреля мы устроили митинг для рабочих. Все они видели в правлении большевиков какой-то ужасный кошмар. Настолько ужасен был сон, от которого они проснулись, в сравнении с цветистыми обещаниями, ими полученными, что я готов думать, что даже Ивана Грозного они встретили бы как спасителя. Но как раз это опасное чувство я больше всего старался разбить, так как эксцессы большевистского режима готовят путь – и притом сознательно – для возвращения к абсолютизму.

Большевики вполне честны в преследовании своей цели – перенести власть и собственность из рук буржуазии в руки пролетариата. Если член пролетариата настолько сошел с ума, что отказывается принять участие в осуществлении этой схемы, то те, которые силой событий призваны к диктатуре от его имени, имеют право уничтожить его как несознательного врага себя самого и своего класса. Я был доволен, что они не знают о том, что и у нас имеются безумцы, желающие нанести такие же раны родной стране.

– Вы рассказали обо всем этом адмиралу?

– Да, мне удалось это сделать. 28-го мы прибыли в Омск, и 29-го я сделал длинный доклад адмиралу, который выразил мне свою сердечную признательность и настаивал на необходимости продолжить мою поездку к Уралу. Он получил от заведующих управлениями донесения,

утверждающие, что результатом моей миссии было улучшение общего настроения рабочих.

Какое счастье было для России, что в час ее нужды она призвала такого человека! – с неожиданным восхищением в голосе сказал полковник, и Екатерине показалось, что при этих словах он даже собирался встать, но в последний момент усмирив свои эмоции. – Не известно, каков будет окончательный результат его усилий, успех или поражение, но его сознание и личность дали возможность этому великому народу выйти из пучины, окружавшей его, и повернуть свое лицо к солнцу.

Каким счастьем было, что в этот критический час русской истории Англия была представлена генерал-майором Ноксом! Я никогда не слышал о нем до путешествия в Сибирь, однако в нем мы нашли человека, соединяющего мужество солдата с высокими качествами государственного человека, созданного для руководства специальными делами.

– Его послушать, Колчак без него да Нокса и шагу не ступит... – тихо сказал Шнайдер Кате, а Уорд между тем уже обычным спокойным и размеренным тоном продолжал:

– У меня существует полное доверие к характеру адмирала, но пигмеи, которыми он окружен, то и дело вставляют палки в колеса государства. Тут нет ни одного, которому бы я доверил управление мелочной лавкой, а не только государством. У них нет никакого представления о долге государственного человека. Мелкие кляузы личного соперничества и прибыльных делишек занимают все их время, если только они не заняты свойственным им делом поступать назло Верховному правителю. По русской точке зрения, ни один знающий чиновник никогда не станет вести деловых сделок для государства, если они лично не дают ему никаких выгод. Обычный их аргумент тот, что они не хуже других.

Патриотизм офицеров и солдат на фронте и средневековое рыцарство казаков – единственные вещи, оставшиеся для восстановления России.

И вот я, демократ, верящий в управление народа через народ, начал видеть в диктатуре единственную надежду на спасение остатков русской цивилизации и культуры. Слова и названия никогда не пугали меня. Если сила обстоятельств ставит передо мной проблему для решения, я никогда не позволяю, чтобы предвзятые понятия или идеи, выработанные абстрактно, без проверки на опыте, могли изменить мое суждение в выборе того или иного выхода.

Положение диктатора в высшей степени неопределенно. Он издает приказы, но если начальники армий могут уклониться от их выполнения, они делают это под тем или иным предлогом. Русский характер в этом отношении представляет большие особенности. Он повинует-ся только одной вещи, а именно – силе. Патриотизм и чувство общности, как мы понимаем их, не проявляются в сколько-нибудь крупном размере. Каждый смотрит на всякое распоряжение с личной точки зрения: «Как это коснется меня?» и очень редко: «Как это отразится на моей стране?».

Потому, к сожалению, у адмирала совсем немного друзей. Да и ни один настоящий диктатор не может на них рассчитывать. Никто в России, отодвигающий свои личные интересы на второй план сравнительно с общественным благополучием, не будет иметь друзей. Да, господа, это так. – Полковник отодвинул в сторону тарелку с недоеденным бифштексом, еще раз тщательно отер салфеткой свои фельдфебельские усы, встал из-за стола. – Благодарю за общение, но мне необходимо идти. Дела.

– Смотрите, что не узнал от вас, придумая сам! – крикнул ему вслед довольный, что все прошло по его плану, Корнфилд, а затем, не обращая уже никакого внимания на Катю и Владимира, принялся быстро и безостановочно гонять карандаш по странице своего блокнота. Спустя пару минут Шнайдер деликатно покашлял в кулак:

– Простите, господин журналист, наше присутствие вам не мешает?

– Нет, – не отрывая глаз от своих записей, ответил Корнфилд, затем все же поднял взгляд на Катю и поручи-

ка и без тени смущения заявил: – Простите, поручик, и вы мисс, работа прежде всего, а получается, похоже, совсем неплохо.

– Интересно было бы узнать, что вы там про нас напишите, – усмехнулся поручик.

– А вот, пожалуйста. Несколько абзацев, правда недоработанных, могу прочесть хоть сейчас, – оживился Луис. – Будет интересно узнать ваше мнение.

– Что ж, извольте.

– Так, так... – полистал свой блокнот Корнфилд. – Вот, к примеру:

«Диктатура не сделала ни одного конструктивного или направленного на защиту народа шага, который заставил бы людей возблагодарить Бога за существование омского правительства. До сих пор правительство давало знать о своем существовании беднейшим слоям населения лишь посредством репрессивных мер – мобилизацией и сбором налогов. Забирать в армию людей, которые смертельно устали от войны, и изымать деньги для пополнения правительственной казны у народа, который никогда еще не испытывал такой полной нищеты... Подобные действия не могли вызвать у людей ничего иного, как угрюмость, недружелюбие, готовность принять любые перемены, которые им представит в радужном свете любой заезжий демагог.

Эти настроения свидетельствуют не столько о приверженности большевизму, сколько об отчаянном стремлении рабочих и крестьян найти выход из экономической разрухи, на которую обрекла их революция. Рабочие в больших городах устали от нее и готовы активно или пассивно поддержать любую смену правительства, если только это поможет изменить жизнь к лучшему». – И вот еще, вновь перевернул он несколько страниц в блокноте:

–«Правительству с трудом удается посылать русских на бой с русскими, поскольку солдаты обеих армий имеют намного больше общего между собой, чем с соответствующими властями, заставляющими их сражаться друг с другом. Общеизвестно, что ленинский план военных действий

против Колчака предусматривает не активное наступление, а подрывную работу с помощью внутренней пропаганды. При подобных условиях остается лишь гадать, насколько можно полагаться на армию Колчака. Являются ли ее солдаты большевиками в буквальном смысле слова или нет, армия в основе своей состоит из людей, которые, будь то в деревнях или в городах, уже подцепили вирус большевизма, а от этой инфекции так просто не избавиться...» Как вам?

– На мой взгляд, такая работа особенно должна понравиться большевистским агитаторам, поскольку экономит им массу времени. Им просто нужно будет перепечатать вашу статью и заняться ее распространением в нашем тылу, поскольку это прямая агитация в их пользу, – размеренно-сухо сказал поручик.

– Что ж, может быть, может быть... Каждый волен иметь свой взгляд, а все вместе – свободу слова, – наставительно поднял вверх указательный палец Корнфилд и принялся запихивать в карман пиджака блокнот. – Что ж, спасибо за приятную беседу. Мне пора, – он наконец-то упрятал блокнот и, молча кивнув Кате, быстро направился к дверям ресторана.

– Утомили они вас, Катюша? – повернулся к девушке Шнайдер. – А все я... Обещал развлечь, а видите, как получается. Впрочем, у меня есть один маленький козырь. Здесь по вечерам довольно часто читает стихи одна милая барышня и, я думаю, они вам понравятся. Вы кушайте баранину-то, а то я буду думать, что еще и голодной по моей милости сегодня останетесь. Как это переживу и сам не знаю.

– Хорошо, – улыбнулась девушка и взяла в руки вилку и нож, – кусочек съем, раз так. А то и вправду вдруг вы этого не переживете.

Через минуту на эстраду вышла коротко подстриженная девушка с широко посаженными темными глазами. На черной ткани платья сцепленные в замок тонкие пальцы, обращенный внутрь себя взгляд, повлажневшее от волнения и духоты ресторанного зала смуглое лицо.

Слегка подрагивающим голосом нараспев она начала декламировать:

*Завесу былого откроем
И видим: в горящей стране
Идут рука об руку трое –
Война и разлука, и... смерть!*

*Под залпы, под грохот орудий,
Сквозь черный душливый дым
Проходят, как грозные судьи,
Тоскующих женщин ряды.*

*Не надо свободы и славы –
Мы созданы, чтобы любить...
Верните нам светлое право
Любить и любимыми быть!*

– Еще! – раздался в наступившей тишине чей-то высокий голос из зала. Его поддержали другие: – Еще! Еще!

*Молодежь – беззаботные люди,
Молодому всегда хорошо!
Повстречался под грохот орудий,
А под залпы винтовок ушел...*

*Сколько вас, черноглазых девчонок,
Сколько вас, белокурых принцесс,
Закрутил полюбовный бесенок,
Поцелуев ласковый бес...¹*

* * *

...В вечерней темноте они долго шли молча, думая каждый о своем. Затем поручик неожиданно замедлил шаг, махнул рукой:

– А ведь он прав, как ни обидно, прав, черт его раздери!

¹ Стихи Марианны Колосовой.

– Кто он?

– Да полковник этот английский, кто же еще. Так почти все наши новоявленные спасители Отечества его и спасают. Коли нет личной выгоды, возможности выслужиться – и за дело браться не будут или потихоньку под горку его спустят. И всегда так у нас в России было, Петр с Екатериной только и подтягивали, да и то... А уж в наши времена... Сколько я этого на германской навиделся. В пятнадцатом году русскую кровь попросту на немецкий металл меняли. Снарядов часто вовсе не было, на каждую нашу легкую пушку по десятку немецких тяжелых гаубиц. Окопы наши с землей ровняли, те, кто живой оставался, рассудка лишались. Жить не хотелось...

Приедет какой из штабных генералов за Георгием в петлицу, а то и на шею: «В штывки, орлы-соколы!». И без артподготовки на немецкие позиции. Те до колючей проволоки допустят и порежут всех из пулеметов без всяких для себя потерь. А потом и стрелять не стали. Наши полягут у колючки, а те им машут, давай, мол, в плен. И сдаются. Проход германцы откроют и толпой их к себе в окопы. Мерзавцы? Да нет – тот мерзавец, кто их, считай, безоружными не в бой, а на убой послал, а ему потом такие же написали в реляции «Организовал... Возглавил... Достоин...». Вот с того все и началось. Без этого никто ни о каких большевиках и не слыхал бы ничего.

Поручик опять замолчал. Молчала и Катя.

– А сейчас что? – спустя пару минут вновь заговорил о давно наболевшем поручик. – Не так давно был я в группе офицеров, что Колчака в его поездке на фронт сопровождали. Своими глазами два раза видел, как при обходе войск за его спиной офицеры солдат прямо в строю били за то, что те при проходе адмирала головы, как следует по уставу, не поворачивали...

– Успокойтесь, Володя, – крепче взяла его под руку Катя. – Скажите лучше, вы правда георгиевский кавалер?

– Нет, – так же хмуро ответил поручик. – Это писака заморский для пущего веса присочинил, чтобы англичанина за столик вернее завлечь. Святого Станислава

есть орден третьей степени, Владимира с мечами и бантом, Анны...

– А святой Екатерины есть орден? – живо поинтересовалась Катя.

– Вообще-то есть, – улыбнулся наконец поручик. – Только не у меня. Орден святой великомученицы Екатерины по статуту только женщинам полагается, причем, как правило, знатных фамилий, хотя и исключения бывают. Я читал еще в университете о лейтенанте английского флота, который в России дослужился до адмирала нашего флота. Мне, по понятным причинам, вообще интересны судьбы тех, кто будучи иностранцем по происхождению, сделал на ниве службы своему новому Отечеству – нашей родине часто много больше, чем те, кто выставляет себя истинными русаками. Извините, что я так издалека, но...

– Ничего, ничего, – успокоила его Катя. – Я вас очень внимательно слушаю.

– Ну так вот. Этот Кроун, которого в России стали звать Романом Васильевичем, во время войны со шведами в 1789 году, будучи капитан-лейтенантом повел свой катер «Меркурий» против значительно превосходящего его по мощи вражеского корабля. Завязался жестокий бой, и жена его, Кроуна, которая тоже находилась на «Меркурии», стала под огнем перевязывать раненых, выносить их в безопасное место, в общем, повела себя героически и за свой поступок была пожалована императрицей орденом Святой Екатерины.

– А как ее звали?

– Кого, императрицу?

– Да ну вас, – шутливо толкнула его в бок девушка. – Жену Кроуна, конечно.

– На русский манер вроде бы Марфа Ивановна. Но это не суть важно. Существенно то, что орденом этим награждаются исключительно женщины. Так что я его получить уж никак не мог, о чем и не жалею.

– И правильно делаете, – рассмеялась девушка. – Скажите, вам понравились стихи, которые читала эта барышня в ресторане?

– Да вроде бы ничего. Хотя, на мой взгляд, бывают и получше.

– Может быть, прочтете? – хитро улыбнулась Катя. – Вы вообще много-то стихов знаете, господин поручик? Все небось батальные – «Бородино», «Полтава»?

– Прочту, – словно не услышав каверзного вопроса, просто ответил Шнайдер. – Ну вот, скажем... За абсолютную точность не ручаюсь, но примерно так:

*Помню вечер, как в тягостном гуле
Птицей мчался мой вздыбленный конь.
Где-то тонко плакали пули,
Где-то хрипло кричали: «Огонь»!*

*Набегая, как утлая шлюпка,
На девятый, на гибельный вал,
К голубому слову «голубка»
В черном грохоте рифму искал...*

– Неужто ваше? – непритворно изумилась Катя.

– Да куда мне, – улыбнулся офицер. – Один гусар белгородский, Савин Иван написал. У него это ловко получилось. Где-то он теперь, поэт в погонах?..

Сокращая путь, они свернули под арку, в темный проход между домами, и тут навстречу им вышли двое. Катя невольно обернулась назад. Там маячила еще одна мужская фигура с рукой за пазухой.

– Спокойно, – тихо попросил ее Шнайдер, – главное – не мешайте мне. Все будет хорошо.

– Барышню тревожить не будем, – добродушно оскалился один из встречных и навел на поручика наган. Второй лезвием к себе держал в руке матово поблескивающую в полутьме финку. – По-быстрому скидаем пальтишки, часы-кошельки вынаем и двигай дальше. Будешь дергаться, господин хороший, тебе маслина первая, бабе – вторая.

– Господа, господа, – поднял руки на уровень груди Владимир, – все как скажете. Мы же деловые люди.

Сделка есть сделка. Моя жизнь мне куда дороже пальто и бумажника. Вот, пожалуйста, – трясущимися руками он быстро расстегнул пуговицы на пальто, сунул руку за отворот пиджака. – Вот, пожалуйста.

– Чудак барин, – усмехнулся бандит с наганом и тут же, выронив оружие, опрокинулся навзничь. Хлопнуло еще раз, и второй из нападавших, схватившись за живот, шатнулся в сторону, засеменял, часто перебирая ногами, к выходу из подворотни.

– Не стреляй, барин, – упал на колени под стволом браунинга третий. – Не бери греха на душу.

– Вставай, сволочь, – с брезгливой яростью приказал поручик. – Вставай, говорю!

– Не надо, – тихо попросила Катя. – Не надо. Хватит.

– Оружие где? – резко бросил Шнайдер. – Ну! Убью.

На снег упал нож. Поручик отпихнул его ногой в сторону, качнул стволом браунинга:

– Пшел прочь, скотина.

Когда стихли шаги бросившегося бежать бандита, всегда розоватое лицо поручика покрылось меловой белизной, на лбу выступили крупные капли пота. Он с трудом сделал шаг к стене подворотни, плотно прижался к ней спиной. Ударяясь о нее, запрыгали крупной дрожью ладони, затряслась левая нога, упала на землю шляпа.

– Простите, – прохрипел Владимир, отводя глаза от перепуганной девушки. – К-к-контузия. К-контузия, зараза. Сейчас. Сейчас пройдет. Вы не бойтесь только. Не бойтесь...

Катя схватила его за рукава пальто, крепко прижалась и, сама трясясь словно в ознобе, все гладила и гладила короткий бобрик тронутых ранней сединой рыжеватых волос поручика.

Потом она невольно ответила на его сухой и быстрый поцелуй, но сразу же после этого резко отстранилась.

– Не надо, – попросила она, – вы же знаете. И потом ухажер, Володя, из вас сейчас неважный. Идемте лучше домой, вам прилечь надо.

После похода в ресторан поручик редко бывал свободен. Приходил обычно поздно, с Катей старался даже взглядом не встречаться, однако регулярно приносил ей букеты цветов, чаще полевых, собранных им во время поездок в близкие и дальние деревни по делам своего ведомства.

– Злой мужик, на весь белый свет злой, – сказал он как-то за вечерним чаем уже в разгар лета в ответ на вопрос Степана Ильича о том, каково настроение сельских жителей. – И особенно на нас. Обещали много – дали мало, вот его общее настроение. Прибавьте к этому чудовищный произвол местных властей и военных, в особенности чехов и поляков, и получите его отношение к власти. Если бы продолжались наши успехи на фронте, это, пожалуй, не имело бы большого значения, но теперь... Пошли мы в марте хорошо, как все газеты тогда разливались... Наша омская «Заря», помню, писала: «Крушение звериного социализма и уголовного коммунизма большевиков не за горами». Крестные ходы устраивали, Колчака уже не только «русским Вашингтоном», но и «великим вождем земли Русской» называли, портреты и брошюры с его биографией в магазинах и лавках нарасхват шли. А теперь колени другой...

В общем-то штатский человек, большевистский командарм Фрунзе оказался удачливее и умнее наших новоявленных молодых стратегов, начиная с начальника штаба ставки Лебедева да генерала Сахарова, которого, как говорят, еще в кадетском корпусе прозвали «бетонная голова» из-за неспособности здраво оценивать сложившуюся ситуацию.

В полной тишине поручик налил себе чаю, отстраненно механически бросил в стакан несколько кусочков сахара и, забыв про него, принялся крошить в пальцах сушку. Искрошив одну, взялся за другую. Оценил задумчивым взглядом свою деятельность, печально усмехнувшись, продолжил:

– Да. На наше горе красные оказались умнее нас. Когда поняли, что наш стихийный порыв им не сдержать, отдали Урал, ушли на Волгу. В ставке обязаны были задержать армии на Урале, дать им отдохнуть, обеспечить снабжение, а вместо этого все неслось вперед так, будто никаких красных и вовсе не было. А те, не будь дураками, подтянули резервы, наметили нехитрый, белыми нитками шитый план, и ударили по нашему растянутому фронту. По сути, азбука стратегии.

Вот было «удивление» в штабах, когда выяснилось, что вместо прошлогоднего винегрета из красногвардейской рвани на нас наступает регулярная Красная армия, не желающая – вопреки всем донесениям нашей разведки – разваливаться, напротив того, она гонит нас на восток, а мы потеряли способность сопротивляться.

Да что там, – так и не притронувшийся к стакану с чаем, Шнайдер резко отодвинул его в сторону, плеснув на скатерть и даже не заметив этого. – Не так давно приезжал с фронта полковник Зубковский, так в приватной беседе рассказывал, что во время эвакуации Уфы раненых бросали на красные муки, а штабы тащили с собой мебель, ковры, продавали казенные вагоны местным купцам. Большинство личного состава, в том числе и офицеры, попросту не хочет воевать, рискуя жизнью терпеть невзгоды и лишения. Практически все наши уральские пополнения во время отхода разошлись по домам, прихватив с собой разное военное имущество, а кто и винтовки. В частях остались штабы, офицеры и очень немного солдат из числа старичков-волжан, да тех, кому попросту некуда идти. Они отходят на подводах, практически без всякого сопротивления, а за ними на расстоянии, чтоб не попасть ненароком под случайную пулю, катят тоже на подводах красные.

– Но почему, почему все так плохо... – прижав ладонь к груди, Степан Ильич дышал жадно, но воздуха ему все равно не хватало.

– Папа, тебе плохо? – быстро вошла в комнату Екатерина. – Ты только не волнуйся. Сейчас я тебе дам лекарство. – Что же вы, господин поручик? – метнула она

укоризненный взгляд на растерянного и огорченного Шнайдера. – Разве можно такие вещи больному человеку говорить?

– Да я ведь... Ради бога простите, Екатерина Степановна.

Но девушка лишь махнула на него рукой, быстро исчезла в дверном проеме, вернувшись через несколько мгновений с аптечным пузырьком и пузатой рюмкой. В комнате резко запахло лекарством.

– Я пойду, пожалуй, – просидев в тишине несколько минут, поднялся со стула Шнайдер.

– Да пожалуй, – все еще обиженно-строго отозвалась на его слова Катя.

– Ну уж нет, – твердо заявил несколько оправившийся Степан Ильич. – И ты, Катерина, за меня не решай. Продолжайте, господин Шнайдер, мне очень хочется вас дослушать и получить ответ на свой вопрос – почему? Обещаю вам и тебе, Катя, больше подобных «представлений» не устраивать.

– Ну смотри, папа, – невольно улыбнулась девушка. – Я теперь буду рядом, и если господин поручик в разговоре разгорячится, ему придется остудить свой пыл с помощью свежего воздуха. Согласны, Владимир?

– Так точно!

– Тогда продолжайте.

– Вы спрашиваете почему, Степан Ильич? Поставлюсь ответить вам, насколько это доступно моему пониманию. Виноваты люди, позволившие нашей армии распухнуть до почти восьмисот тысяч ртов, или, как говорят записные остряки, ложек, притом что штыков, то есть действительно солдат, из них было в ней не более семидесяти тысяч, а сейчас осталось еще меньше.

Еще в июне наша Сибирская армия требовала денег и снабжения на триста пятьдесят тысяч человек, а сейчас действительно бойцов в ней осталось не более шести тысяч. Все попытки учесть полученную нами в ходе весеннего наступления военную добычу практически безрезультатны и вызывают самые бурные протесты и

даже вооруженное сопротивление. Чиновников полевого контроля гонят вон, грозят поркой, а то и расстрелом. Командующий Сибирской армией чешский вождь – бывший австрийский фельдшер, полностью сохранивший его кругозор Рудольф Гайда, захватил единственную на всю Сибирь суконную фабрику, обозные мастерские – все то, чего нет в нашей Западной армии, – и не дает ей ни одной шинели, ни одной повозки или походной кухни. В ответ на это Западная армия не дает им фуража и гречневой крупы.

Я говорил уже вам о наших «замечательных» стратегах Лебедеве и Сахарове, таков и Гайда, но ведь на замену им и таким, как они, у нас, по сути, никого нет. Я знаю, что адмирал в беседе с генералом Иностранцевым говорил ему прямо о том, что мы бедны людьми, почему нам и приходится терпеть даже на высоких постах, не исключая и постов министров, людей, далеко не соответствующих занимаемым ими местам. Да и сам Верховный в сухопутной войне, прямо сказать, понимает мало, что в принципе вполне объяснимо – он флотоводец и, как всем известно, флотоводец хороший. Но мы-то не на море воюем...

В нашей армии по сравнению с деникинской вообще мало настоящих кадровых офицеров, а прочие командные кадры состоят по преимуществу из насильно забранных и укрывавшихся от призыва офицеров, а также вновь выпущенных из краткосрочных школ очень невысокого качества. И, как говорят, первыми на фронте при малейшей неустойке, как ни прискорбно, сдают именно офицеры.

Заметив удивленно поднятые вверх брови Кати, поручик пояснил:

– Не верят своим солдатам, а главное – боятся, что те, решив, что офицеры будут мешать им перейти к красным, попросту их перестреляют. Вот и торопятся предвосхитить события. А красные жмут и жмут...

– Да-а... – задумчиво протянул Олизко. – Дела хуже губернаторских. Но ведь нужно признать, что большевики с экономической точки зрения изначально находились в лучшем положении, чем Колчак. У них очень плохо обстоит дело с хлебом и углем, но ведь большая часть современных

заводов, металлообрабатывающей и текстильной промышленности у них. А это, знаете, очень серьезно.

– Конечно, – согласился Шнайдер, – а кроме того у них изготовленные нами и полученные от союзников в шестнадцатом и семнадцатом годах колоссальные запасы оружия, снарядов и патронов. Им не надо, как нам, постоянно кланяться чужому дяде, чтобы все это получить. Да еще втридорога, расплачиваясь за всякое устаревшее барахло полноценным российским золотом. У них все есть для войны, и они все это широко используют. Вклинившись в наиболее доступную часть Уральского хребта под Златоустом, они на сегодняшний день уже вернули себе Пермь, заняли Екатеринбург и, вероятно, вскоре весь Урал перестанет быть нашим. Ворота в Сибирь будут для них открыты...

– Так что ж, вскоре нужно ждать большевиков обратно? – мрачно поинтересовался Олизко.

– Пока говорить об этом рано, поскольку возможности для борьбы еще не исчерпаны. Но вот то, что мы упустили военное счастье, – это факт и, пожалуй, факт самый важный. И мужик ведь это тоже прекрасно понимает. Мы и раньше, как, впрочем, и всегда, были ему чужие еще и потому, что не могли объяснить толком – да и не объясняли по сути, чего мы в конце концов хотим сделать в России, когда разгромим красных. А теперь мы для него и все иностранцы – «кильчаки». А те свои...

– Кто, кто? – переспросила, мягко положив руку на плечо отца, Катя. – Почему кильчаки?

– Да мне вот не так давно довелось мне прочесть изъятое цензурой письмо одного из наших недавних новобранцев. Пишет, что приезжал к ним в часть на фронт английский адмирал Кильчак, видать, из новых орателей, раздавал папиросы. Говорит по-господски, учено, так что ничего и не поймешь, – пояснил поручик. – А вот красные свою брехню вполне доходчиво на понятном мужику рубленом языке излагают, да еще и по сто раз талдычить не устают, так что она каждому в уши залезет и правдой покажется. В Минусинской тайге под Красноярском орудует

хорошо организованная банда под руководством бывшего штабс-капитана Щетинкина. Нашей контрразведке удалось добыть некоторые из его подлинных приказов и воззваний. Это достойно того, чтобы выслушать полностью. Вот, пожалуйста, – поручик опустил руку в боковой карман френча, вынул сложенный вчетверо плотный листок бумаги, – слушайте:

«...Пора покончить с разрушителями России, с Колчаком и Деникиным, продолжающими дело предателя Керенского. Надо нам всем встать на защиту поруганной Святой Руси и русского народа. Во Владивосток приехал уже Великий князь Николай Николаевич, который и взял на себя всю власть над русским народом. Я получил от него приказ, присланный с генералом, чтобы поднять народ против Колчака. Ленин и Троцкий в Москве подчинились Великому князю Николаю Николаевичу и назначены его министрами... Призываю всех православных людей к оружию. За царя и Советскую власть!..».

Смятый в ладони поручика листок упал рядом со стаканом с недопитым чаем.

– И ведь не смешно, а печально, поскольку эта чушь действует. Крестьяне дают этому Щетинкину не только людей, но поставляют хлеб, мясо и одежду. По данным разведки, открыт даже завод для снаряжения ружейных патронов и приготовления пик, сабель и секир. По сути, создано серьезное, хорошо организованное военное формирование. Правительственные отряды и енисейские казаки не в силах подавить восстание и занимают лишь оборонительную линию, чтобы прикрыть с юга Красноярск и железную дорогу – единственную коммуникацию армии, связывающую нас с базами во Владивостоке.

Мужики ведь думают, что комиссары им самим править позволяют, да не понимают, что никакая власть никогда на это не пойдет и большевики тоже. – Владимир достал было из кармана портсигар, но под осуждающим взглядом Екатерины торопливо убрал его обратно. Досадливо вздохнул: – Они мужичкам быстро мозги вправят,

если сюда придут, покажут, какая они им родня по классу, но сейчас большевики для них свои. Да и мы многое делаем для того, чтобы они еще крепче так думали. Вот один только пример. В Семиречье и степном Алтае отряды атамана Анненкова...

– Знакомая фамилия, – хмуро сказал Олизко. Катя молча кивнула в знак согласия и, поежившись, прижалась к плечу отца.

– Они занимаются незаконными реквизициями, по сути – грабежом местного населения. Послали из нашего военного министерства требование – объяснить, почему это происходит? Так этот атаман написал в ответ, что он реквизирует и будет реквизиловать, а кто за это станет платить, его не интересует. Другой атаман, точнее, генерал Розанов, отдает приказ при занятии селений, захваченных ранее красными, требовать выдачи их главарей и вожаков, а если этого не произойдет, расстреливать каждого десятого. Не марсиан, не папуасов, не жидов-комиссаров, а русских мужиков. Без разбору. Так-то вот. И ведь это не только подло, это глупо, преступно глупо, и уж тем более когда это делают не Розановы, а нами же сформированные, но в глаза не видевшие фронта части польских легионеров. Скотство просто! – опять пристукнул ладонью по столу поручик.

– Владимир Егорович! – голос Кати звучал покомандирски строго и повелительно. – Вы обещали...

– Виноват, Екатерина Степановна, – склонил голову поручик. – Больше не повторится.

Какое-то время в полном молчании пили чай, затем, развеяв тишину, в комнату вошел-вкатился вернувшийся с дежурства в госпитале Николай Иванович. Он с ходу уселся за стол, в несколько секунд быстрыми, но точными движениями налил себе чаю, бросил в стакан пару кусочков колотого сахара, намазал маслом кусок хлеба и так же стремительно, словно волчонок, вцепился в него своими крепкими зубами.

– Почему такая тишина? Разошлись во взглядах на будущее новой России? – в два приема расправившись

с бутербродом, живо поинтересовался он и тут же вновь принялся энергично мазать хлеб маслом.

– Господин поручик рисует в этом плане весьма не радужные перспективы, – шутливо развел руками Степан Ильич. – Жаль, что ты не слышал, Николаша, что он тут говорил до твоего прихода. А впрочем, для тебя это может быть и к лучшему, в противном случае у тебя сейчас такого хорошего аппетита точно бы не было.

– Эта, с позволения сказать, деятельность, Анненковых и Розановых приведет к тому, что у нас в тылу появятся уже не мелкие банды и бандочки, а целые повстанческие армии, подобные щетинкинской, – не принимая шутки, продолжил недосказанное Шнайдер. – И они будут уже не теревить, а попросту крушить наш тыл. А ведь была же совсем недавно такая прекрасная возможность, просто богом данный случай, покончить с большевистским гнездом. Тогда бы и в Сибири их без особого труда придавили бы...

– Это вы о предложении барона Маннергейма Колчаку, как признанному Советом Антанты правителю России, о признании им независимости Финляндии, а в ответ...

– Конечно, – не дал договорить Степану Ильичу Шнайдер. – Финны в ответ на признание их независимости предлагали двинуть на Петроград стотысячный корпус, и нет ни малейшего сомнения в том, что город был бы ими взят, а там и Москва... Как, вероятно, обрадовались Ленин с Троцким, узнав, какой царский подарок сделал им адмирал, отказавшись от этого предложения, заявив, что не поступится никогда и ни за какие минутные выгоды идеей великой неделимой России. И не отказался, как ни уговаривали его умные люди, признать финскую независимость хоть фиктивно. А как же! Мы русской землей не торгуем. А те – ну не хотите, как хотите, – бессильно махнул рукой поручик. – Наши же любимые союзники-благотетели чухонскую независимость тут же и признали. Их «минутные» выгоды вполне устроили. В общем, как сказал в приватной беседе Алексей Павлович... Мой начальник – управляющий

военным министерством барон Будберг, – пояснил он в ответ на вопросительный взгляд доктора. – Он, человек многоопытный и попросту умный, сказал, что это какой-то ужас и идиотизм. И я в этом с ним вполне согласен... А красные прут, – мрачно закончил он после паузы и пристально посмотрел на доктора. – Простите, Николай Иванович, у вас в доме рюмки водки не найдется? Что-то очень уж погано на душе, хочу попробовать ее стародавним русским лекарством полечить.

– Не поможет. Говорю это вам и как врач, и как знающий человек, – заявил Светличный. – Хотя водка найдется, конечно. Катюша, будь добра, принеси господину поручику рюмку водки и что-нибудь закусить. Пусть полегчает. Подожди, – остановил он девушку, когда та уже выходила из комнаты, – принеси и для меня. Не одному же Владимиру Егоровичу выпивать. Так и быть, составлю ему компанию.

Поручик выпил молча, не закусывая. Доктор смачно крякнул и сочно захрустел на зубах крепеньким соленым огурцом.

– А вот у нас в госпитале, – он ухватил с тарелки пирожок, быстро и внимательно его оглядел. – С ливером?

– С капустой, – извиняющимся голосом ответила Катя.

– Жаль. Сделай завтра с ливером, знаешь же, как я их люблю. Так вот, – отправив пирожок обратно на тарелку, продолжил доктор, – у нас в госпитале находится на излечении один офицер, он рассказывал, что большевики наступают так быстро и успешно потому, что ставят сзади своих цепей заградительные отряды с пулеметами и те просто расстреливают тех, кто побежит назад. Такая вот находка. Просто и эффективно, хотя и свинство, конечно.

– Никакой находки тут нет, – парировал его заявление поручик. – Наши доблестные союзники англичане ее еще в англо-бурскую войну применяли. Их главнокомандующий там лорд Китченер своим приказом ввел. Кстати сказать, этот благородный господин там еще тактику «выжженной земли» разработал и в дело пустил, и concentra-

ционные лагеря для бурских женщин и детей организовал. Ну это так, к слову. А у нас в германскую войну генерал Брусилев Алексей Алексеевич в этом деле закоперщиком был. Он еще летом пятнадцатого года по своей восьмой армии приказ издал соответствующий. Я тогда служил именно в ней, а поскольку память у меня, как вы знаете, хорошая, запомнил его едва ли не дословно. Да и трудно было такое не запомнить... Вот послушайте, это того стоит:

«...Сзади надо иметь особо надежных людей и пулеметы, чтобы, если понадобится, заставить идти вперед слабодушных. Не следует задумываться перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или, что еще хуже, сдать противнику. Все, кто видит, что целая часть (рота или больше) сдается, должны открывать огонь по сдающимся и совершенно уничтожать их.

Пора остановиться и посчитаться, наконец, с врагом как следует, совершенно забыв жалкие слова о могуществе неприятельской артиллерии, превосходстве его сил, неутомимости и непобедимости. Для малодушных, сдающихся в плен или оставляющих строй, не должно быть пощады. По сдающимся должен быть направлен и ружейный, и пулеметный, и орудийный огонь... Хотя бы даже с прекращением огня по противнику, на отходящих или бегущих действовать тем же способом, а при нужде не останавливаться также перед поголовным расстрелом...».

И хоть сам, слава богу, не видел и не участвовал, точно знаю: было. Расстреливали. Так что никакой Америки большевики тут не открыли. И в заградотряде, про который вы, уважаемый доктор, упоминали, артиллерию, чтобы при попытке отступления по своим палить, пока еще не ввели. Что, конечно, – саркастически усмехнулся поручик, – явная их недоработка, и они ее, думаю, в дальнейшем исправят.

– Но главное не в этом, – он взял со стола пустую рюмку, с видимым сожалением повертел ее в руке и поставил обратно. – Хоть тогда 8-я армия первой на всем Юго-Западном фронте остановилась и остановила натиск немцев, заградотрядами, даже и с артиллерией, войну не

выигрывают. Если развалится и покатится назад фронт, они его не остановят. А если и попробуют, их попросту сомнут. Не в них дело...

– А в чем же?

– Думаю, что в хорошо отлаженной общей организации и четко обозначенной идее. Хотя террор, о котором мы здесь говорили, в качестве серьезного фактора – вещь тоже действенная. Но, по моему мнению, все же не основная. Ведь мы тоже еще в июне издали приказ, подписанный лично Колчаком, согласно которому все имущество сдавшихся добровольно в плен или перешедших на сторону противника, а также тех, кто добровольно служил на стороне красных, конфискуется в пользу казны. И земля их тоже. А для мужика это едва ли не страшнее пули будет. Приказывается этих предателей и изменников в плен не брать и расстреливать без суда. Говорят, и заградотряды у нас тоже появляться начинают, но ведь отступаем же. И не просто отступаем. Бежим! – обреченно махнул он рукой. – Впрочем, хватит об этом. Ну что, уважаемый доктор, может, еще по дозе русского лекарства, а затем я и откланяюсь? Извините, но мне пора. Как говорят американцы, прежде всего дело.

– Ну что ж, придется поддаться грубой военной силе, – улыбнулся Николай Иванович. – Катюша, будь добра, принеси нам, деточка, еще по рюмке водки.

– Да, вот еще, – поручик задержал движение уже поднесенной ко рту рюмки, вернул ее в первоначальное положение: – Что касается заградительных отрядов и прочих методов большевиков в области войны и управления государством, то здесь лучше всего было бы послушать человека, знающего об этом не понаслышке. И таковой есть. Несколько дней назад под Челябинском вместе с группой принужденных служить красным офицеров перешел на нашу сторону командир второй бригады 35-й дивизии большевиков полковник Котомин Василий Васильевич, кадровый офицер, герой германской войны. Попали они под наш огонь, страху натерпелись, но обошлось. Все остались целы. В ближайшие дни полковник, как я знаю, по

просьбе самого Верховного, который имел с ним беседу, будет читать публичную лекцию в городском театре о положении в Совдепии и вообще о том, как делают свое дело большевики. Уверен, что это будет интересно и познавательно. Вы сможете пойти, Степан Ильич?

– Я бы с большим удовольствием, да боюсь, что и во все там разволнуюсь. А сердечко мое, – Олизко легонько похлопал себя ладонью по левой стороне груди, – как вам известно, этого весьма не любит. Уж простите, не буду его огорчать.

– А я, к сожалению, не располагаю свободным временем, – вступил в разговор доктор. – Потому вам, поручик, можно сказать, повезло – отправитесь на лекцию не в компании двух стариков, но молодой и прекрасной барышни. Как ты, Катюша, не против? – повернулся он в сторону стоящей у отцовского кресла девушки.

– Нет, не против, – просто сказала она и, поймав удивленно-обрадованный взгляд Шнайдера, быстро наклонилась к Степану Ильичу: – Опять ты, папа, воротничок у рубашки запачкал, просто глаз да глаз нужен за тобой.

* * *

На сцене городского театра за небольшой трибуной стоял человек в еще не обмятом толком новеньком английском мундире с полковничьими погонами и несколько виноватой улыбкой на худом, болезненного вида лице. Большинство публики в зале составляли офицеры, смотревшие в сторону трибуны кто насмешливо, кто скептически, а кто и откровенно враждебно. Сочувствующих взглядов почти не было. Несколько дам изучали облик вырвавшегося от большевиков полковника Котомина с помощью лорнетов и даже театральных биноклей, другие, к числу которых относилась и Екатерина Олизко, обходились без оптики.

Шнайдер сидел в кресле, чуть наклонившись вперед, зажав руки между коленями, и в течение всего выступления ни разу не переменял позы, весь превратившись в слух. Таких, как он, на лекции было совсем немного, ничтожная часть общей офицерской массы. Остальные

довольно громко переговаривались между собой, отвешивали поклоны знакомым дамам, демонстративно – шумно сморкались в носовые платки, переходили от одного ряда к другому, отыскивая знакомых.

Внимательному взгляду было хорошо заметно, что такое отношение к его выступлению доставляет человеку на трибуне немалую боль, однако он продолжал говорить, четко, словно патроны в обойму, укладывая слова в фразы. И за каждой такой фразой просто физически чувствовалось, как наливалась неприязнь атмосфера в зале...

– Большевики, господа, сегодня совсем уже не те, какими вы, вероятно, их помните по семнадцатому году, – говорил между тем лектор. – Вся Советская Россия, Совдепия объявлена военным лагерем и скована железной дисциплиной. Идея одна – все для борьбы, для победы над буржуазией. То есть над нами. Они стали, по сути, настоящими государственниками – те, кто еще недавно заявлял, что у пролетария нет отечества. И здесь они очень напоминают немцев, которые говорили: «Все для отечества, все для кайзера!». Коммунисты сами работают, как черти, и заставляют так же работать всех, кто находится в их власти и привык жить раньше с извечной русской ленцой и расхлябанностью, почесывая затылок – стоит браться за дело или не стоит, можно и еще подождать. И чтобы их победить, господа... – Голос полковника, и без того слабый, внезапно осип, оборвался. Он взял с полочки на трибуне стакан с водой и после небольшой паузы продолжил: – Чтобы их победить, мы должны работать так же энергично, как слуги Ленина и Троцкого, и еще больше. А не...

Шум в зале все нарастал, а затем ударил одиночными, четкими, словно револьверные выстрелы, выкриками:

– Как вам не стыдно хвалить их! А еще офицер!

– Довольно!

– Поезжайте обратно к своим большевикам!

И с басовитой ленцой с галерки:

– Продолжайте, товарищ, продолжайте...

– Подлецы, – до боли сжимая в замок пальцы рук, бормотал под полным испуга и жалости взглядом Кати по-

ручик, – безумцы, подлецы... – Он побледнел, на лбу выступили росинки холодного пота. Едва не оторвав пуговицу, рывком расстегнул ворот кителя.

– Володя, успокойтесь, – легла ему на руку Катина ладонь. – Успокойтесь, прошу вас.

– Хорошо, хорошо, – осторожно погладил ее пальцы Шнайдер. – Все, все уже. Спасибо вам, молодец. В который раз меня выручаете.

– Да, еще энергичнее! – внезапно окрепшим командирским голосом кинул в зал со своей трибуны Котомин. – У них работа идет не так, как у вас, там не считают часов, кипит дело, и, если нужно, то все заняты по восемнадцать часов в сутки. Жиды-коммунисты следят не только за совестью и политическими убеждениями, но и за выполнением каждым его обязанностей. Чуть заметна в ком лень или халатность – сейчас на сцену выступает обвинение в политическом саботаже и... расстрел. И знают все, от генерала до машиниста, что шутить не будут. В Красной армии пьяный офицер невозможен, ибо его сейчас же застрелит любой комиссар, или коммунист. У нас же в Петропавловске идет такое пьянство, что совестно за русскую армию.

– А я вот тебе, холуй большевистский, морду сейчас побью за такие слова! – вскочил в середине зала со своего кресла гладко выбритый краснощекий подпоручик с блестящей бриллиантом аккуратной, волосок к волоску, прической. И, цепляясь в проходе за другие кресла, путаясь в своих и чужих ногах, принялся торопливо пробираться к сцене. За ним последовали еще несколько не менее воинственно настроенных слушателей лекции. Они почти добрались до конечной цели своего движения, когда навстречу им шагнул рослый, изрядно облысевший капитан с пышными усами на кирпичного цвета лице. На защитной гимнастерке блеснул Георгиевский крест. Капитан молча загородил путь к трибуне, и почти тут же к нему присоединился Владимир Шнайдер, а вслед за ним двое хмурых, недобро спокойных офицеров.

– Ах ты! – обладатель чудесной прически схватил капитана за ремень португали на гимнастерке, тот быстрым

кошачьим движением перехватил его запястье так, что набриолиненный болезненно охнул и согнулся от боли.

– Господа офицеры! – зычно крикнул лысый капитан. – Па-а-прошу без хамства. Поберегите свою честь, другой не выдадут.

Спутники подпоручика остановились, словно отрезвев. Молча потянулись один за другим к выходу из зала. Вслед за ними стали покидать свои кресла и остальные. Лекция была окончена.

* * *

Шнайдер был молчалив и задумчив, и Катя его не тревожила. Шла молча, катая по-девичоночь носком ботика подвернувшиеся камушки. Они отошли от театра уже квартала на два, когда поручик протяжно вздохнул и раздумчиво вымолвил:

– Да-а... И мало и, вероятно, поздно.

– Что мало и чего поздно, Володя? – живо поинтересовалась Катя.

– Мало делаем и поздно взялись. У них организация, у нас импровизация, и та скорее всего запоздавшая.

– Почему?

– Потому что резервов у нас нет. Те три дивизии, 11-я, 12-я и 13-я, что недавно создали обучены были по старым привычкам нашим в основном не для войны, а для парада, и хоть именовались громко гвардией, в военном отношении были очень слабы. Один лоск. А чего он стоит без артиллерии, пулеметов, средств связи и обозов? Да еще и бросили их в бой после многокилометрового марша, с ходу, пустили на распыл...

Красноармейцам на фронте отдан строжайший приказ не трогать население и за все взятое платить по установленной таксе. Адмирал несколько раз отдавал такие же приказы и распоряжения, но у нас все это остается писаной бумагой, кинвалом бряцающим, а у красных подкрепляется немедленным расстрелом виновных.

Ленин с Троцким поставили на карту все, идут вперед безоглядно и решительно, не жалея ни жизнью челове-

ческих, ни денег. В Совдепии едят кошек и притом назначают в награду за голову Колчака просто чудовищную сумму – семь миллионов. И не наших обесцененных рублей. А полновесных северо–американских долларов. Вот и потягайся с ними...

Он вновь замолчал, а когда вошли в знакомую им обоим подворотню, остановился. Катя тоже остановилась и вопросительно-ласково посмотрела в его печальные глаза. Поручик обнял ее за талию и, прижав девушку к себе, поцеловал ее в губы. Она не сопротивилась, а потом и ответила на поцелуй, обвила руками его шею.

– Я приду к тебе ночью, – переводя дыхание тихо сказал Шнайдер. – Хочешь?

Смуглое лицо Кати порозовело, она опустила глаза вниз, потом так же тихо, как и он, сказала:

– Хочу. – И тут же торопливо добавила: – Но нам не будет хорошо. Я буду с тобой, а думать стану о нем. Думать, что я ему изменяю, предаю его.

– И что же нам делать?

– Не знаю, – грустно ответила Катя. – Что знаю, то сказала.

Поручик погладил ее ладонью по щеке, упрятал на место выбившийся из-под шляпки черный локон густых Катиных волос, потом отстранился от нее, отступил на шаг. Постукал себя указательным пальцем по кончику носа:

– Тэкс... Дилемма...

Затем сдвинул по-солдатски фуражку на затылок, бросил ладонь к козырьку:

– Честь имею, Екатерина Степановна. При необходимости всегда к вашим услугам. А про жениха вашего...

– Он мне...

– Если что смогу – узнаю.

– Спасибо, Володя. До свидания, – Катя отвернулась, пряча слезы. Шнайдер церемонно щелкнул каблукми сапог, ткнулся губами в ее запястье. Она шмыгнула носом и, не оглядываясь, быстро пошла домой.

«Пойти выпить, что ли?» – только и подумал Шнайдер. Махнул рукой и решительно направился к ближайшему из знакомых ему ресторанов.

Вечером того же дня поручик собрал свои немудреные пожитки в походный чемоданчик и не прощаясь, по-английски, съехал с квартиры доктора Светличного. Оставил для Кати короткую записку: «Так будет лучше. Шнайдер». Девушка прочла ее несколько раз, задумчиво смяла в ладони, а потом, аккуратно расправив, спрятала на дно шкатулки. Пошла заниматься домашними делами. Спустя несколько дней на вопрос отца, почему Владимир Егорович так неожиданно и скоропалительно съехал от них и даже не заходит, отвернувшись к окну, ответила коротко: «Не знаю». Степан Ильич незаметно для дочери усмехнулся, но ни о чем спрашивать дальше не стал. Больше они к этому разговору не возвращались.

Прошел август, пополз мучным клейстером сентябрь, сменившийся таким же тягучим октябрём. Жизнь в доме доктора Светличного шла размеренно – сонно и пока еще с удобствами, как и у других жителей города да сохранивших кое-какие сбережения беженцев из большевистской России. Как утверждал доктор, даже в мирное время в Омске не было такого благополучия – бесконечные арбузы, дыни, конфеты, печенье – все можно было купить. Степан Ильич и Николай Иванович в шутку именовали себя комиссарами, то бишь людьми, заинтересованными в сохранении благоприятного для них режима хоть до бесконечности. Или до зимы.

Но хоть и была их жизнь сытной и уютной – особо радостной, а главное предсказуемой хотя бы на ближайшее будущее назвать ее было трудно. Борьба на фронтах гражданской войны шла с переменным успехом и, похоже, достигла своего наивысшего накала. Ответа на вопрос: «Кто кого?» пока еще не было, и вряд ли нашелся бы тогда человек, способный ответить на него однозначно. Колчак отступал, но его армии все же удалось немного оправиться от тяжелых поражений и дать сражение противнику на реке Тобол. Завязались тяжелые бои, исход которых трудно было предугадать. К тому же в это время на юге России в решительное и стремительное наступление общим на-

правлением на Москву пошел генерал Деникин. Сентябрь и первая половина октября 1919 года были временем наибольшего успеха антибольшевистских сил. 31 августа пал Киев, 20 сентября – Курск, 6 октября деникинцы заняли Воронеж, 13 октября – Орел и угрожали Туле. Южный фронт красных рушился. Большевики были близки к катастрофе и готовились к уходу в подполье. Был создан подпольный Московский комитет партии, правительственные учреждения начали эвакуацию в Вологду.

Белый Омск вновь замер в ожидании триумфа. Катя Олизко занялась было изучением английского языка, но получалось у нее это плохо. Чужие слова быстро вытеснялись из памяти мыслями о том, что жизнь ее кажется исчисляется уже не годами и даже не месяцами, а только днями, да и тех остается все меньше и меньше. В квартире было тепло, в достатке имелась пища, не было необходимости изнурять себя тяжелым трудом, и вместе с тем девушка постоянно ощущала сильную, гнетущую душу усталость.

«Вот кончится к зиме эта мерзкая война между собой, и опять все будет хорошо», – часто успокаивала она себя в мыслях.

«Кому? – интересовался выплывающий из сумрака дум Владимир Шнайдер. – Тебе, мне, нам с тобой? Нам всем?»

«Да ну тебя, – отмахивалась от него Катерина, – противный ты, Володя, скептик. Все тебе не так да не эдак.

Поручик четко брал под козырек, таял, растворяясь в глубинах ее сознания. Девушка вздыхала, бесцельно бродила по комнате, а затем, взяв с книжной полки томик поувесистей, устраивалась поудобнее в кресле в компании Антона Чехова или Вальтера Скотта. Но даже они не могли надолго занять ее внимания. Книга выпадала из рук, и тогда Катя шла гулять в разноцветье первых дней октября.

Тихая и теплая осень 1919 года в Омске отличалась от летней поры разве что цветом. Вместо ярко-зеленого входил в моду красно-желто-зеленый, и выглядел он до того умиротворяющим, что один только и мог прогнать,

пусть и ненадолго, Катину тоску-печаль по несбывшемуся и несбывающемуся. Как-то уже в сумерках в березовой роще на берегу Иртыша вышла она к лагерю беженцев. В прохладе воздуха висела особая завораживающая вечерняя тишина, горизонт за рекой опоясывала алая лента заката, выплыла покрасоваться бледная, словно напудренная, луна.

Девушка шла среди беспорядочно разбросанных по косогору повозок со скарбом, лошадей, шалашей, палаток, обходя огни костров и черные человеческие фигуры, навстречу тихому и торжественному пению. Прямо под открытым небом шла всенощная служба.

– Миром Господу помолимся, – голос молодого чернобородого священника с твердым взглядом узких, татарского разреза глаз звучал призывно и, как показалось Кате, сурово. – Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, твоею благодатью...

– Сыне божий, живот дай, – проникновенно пел-слезил глаза хор. – Тем же мир ты славит...

Плакала и нечасто вспоминая до того о боге Екатерина. Шептала торопливо и сбивчиво:

– Спаси и помилуй, Господи, меня грешную, не оставь великой милостью своей. Дай мне счастья. Помогни мне, папе, Мише и Володе. Он хороший. Помогни нам всем. Будь милостив, Боже, ты же все можешь. Услышь меня. На тебя одного уповаю...

Она медленно перекрестилась, постояла еще немного, переводя дыхание, и пошла домой.

* * *

Ближе к концу октября в квартире доктора Светличного задребезжал колокольчик звонка. Катя была дома одна, отец с дядей ушли в госпиталь. Открыв дверь, она увидела облаченного в короткую английскую шинель, тупоносые ботинки с гетрами и большую, обвисшую, словно блин, фуражку круглолицего деревенского мужика с небольшим букетом цветов в руке. Припомнив слова дяди доктора о нарастающей в городе эпидемии тифа, унося-

шей каждый день до сотни человеческих жизней, она невольно сделала шаг назад. Заметив это, солдат понимающе улыбнулся:

– Не бойтесь, барышня, я не заразный.

Он быстро окинул девушку по-хозяйски оценивающим крестьянским глазом, поправил фуражку и глуховатым голосом спросил:

– Вы, барышня, Екатерина Степановна Олизко будете?

– Буду, – недоуменно кивнула головой Катя. – Это я.

– Значит, вам, – протянул ей букет солдат. – Господин поручик Шнайдер велел передать и сказать, что он отписал бумагу в медицинское ведомство, и оттуда прислали ответ, что штабс-капитан Киржаев, какого вы знаете, находился нынешней весной в госпитале новониколаевском на излечении.

– Он жив? – прижала к груди цветы девушка, просящее-пытливо вглядываясь в широкое лицо солдата. – Жив?

– Про то не знаю, – развел руками он, – господин поручик сказывал, что вроде на фронт он из лазарета ушел.

– Опять на фронт, – обессиленно опустила руки Катя, уронив на пол букет. – А что же он... А я... Недалеко ведь, доехала бы... Потом уже... Забыл...

– Право не знаю, барышня, – неловко затоптался на месте солдат. Затем привычным движением поправил ремень на шинели: – Пойду я, служба.

– Нет уж, подождите, – остановила его вернувшая себе самообладание Екатерина. – Пойдемте, я вас чаем напою. Заодно расскажете, как там Владимир Егорович поживает. Вас как звать-величать? – пропуская гостя в квартиру, поинтересовалась она.

– Зовут Ефремом, если по батюшке Спиридоновичем, а фамилия простая – Попов. Сам-то я из Алтайской губернии, Барнаульский уезд Хмелевской, значит, волости, – степенно расположившись за столом, рассказывал он Кате спустя несколько минут, разом перестав торопиться на упомянутую им службу. – Батька мой Спиридон

Карпович помер, когда я совсем малой был, а потом и брата моего скарлатина съела. Жили мы с матушкой не то что бедно, а не понять, как на белом свете держались. Хаты нету, землянка за три рубля отцом купленная, пол земляной, печь из глины сбитая, вместо стекол требушина в окошках. – Попов замолчал, пододвинул поближе к себе блюдечко с вареньем, довольно прищурившись, зачерпнул из него разок-другой и, тщательно облизав ложечку, положил ее рядом с чайным стаканом. – Очень я, Катерина Степановна, земляничное уважаю, так что вы уж извините, если пожадничал.

– Кушайте, кушайте, – отстраненно улыбнулась думающая о своем девушка. – И говорите, я вас слушаю. Как же вы, и правда, жили-то при таких обстоятельствах?

– Да так и жили, – просто, без боли и пафоса сказал солдат, отхлебнул еще чайку и вновь продолжил свое повествование: – В работниках был с детства у чужих людей, потом учиться пошел, мать хотела, да и я сам по себе думал: что ж я, хуже других? Школы у нас в селе, правда, не было, у мужиков в домах по очереди занимались, сегодня в одном, завтра в другом. Потом учитель, он из студентов был, хороший парень, вроде мягкий, восковой, а настырный, как до дела дойдет – дом для школы выхлопотал, я в нее две зимы ходил. Помню, такой вот случай тогда был. Занимаемся мы и видим: подкатывает к школе в кошевке священник в черной рясе, на груди большущий крест у него висит, и идет к нам. Мы, понятно, перепугались, в деревне-то у нас церкви не было, и попа-то все видели в первый раз. Думаем, святой человек, а он спрашивает: «Дети, кто знает фамилию нашего царя-батюшки?». А кто же ее знает, царь он и есть царь, да и все на том. Ну, он больше и спрашивать не стал, видит, учитель – студент, чему такой научит. После уж Николай Сергеевич, учитель наш, сказал нам, что фамилия царя Романов. А с нами парнишка один учился с такой фамилией, так мы ему завидовать стали. Фамилия-то как у самого царя.

Увлеченный собственным рассказом, солдат расстегнул ворот гимнастерки, уже без приглашения долил в

свой стакан кипятку из самовара, вновь потянулся к вазочке с вареньем.

– А еще с нами девка одна училась, дочка купца, у них только одних в нашей деревне дом железом крытый был. – Попов съел одну за другой две ложечки варенья, потянулся было за третьей, но задержал руку на весу, словно прикидывая, достаточно ли уважительно он себя ведет. Потом по-солдатски решительно отправил в рот еще две ложечки земляничного, вновь по-кошачьи прищурился и взялся за чай. – Девку ту звали Дунька кривая. Она старше нас была, ума вовсе не имела, училась плохо. Все задачки за нее мы решали, а она нам за то носила конфеты и пряники. Помню, раз не принесла она нам подарков, и мы ей помогать не стали, учитель ее без обеда оставил. Так она после этого вовсе учиться бросила, замуж вышла за приказчика ихнего. А я ничего учился, старался как мог. Почерк у меня обнаружился хороший очень, каллиграфический, – с довольной улыбкой блеснул мудреным словом Ефрем. – Вот за счет его я и стал заработок кой-какой иметь. Мужикам жалобы писал. Кто пятачок даст, а кто и поболее. Потом в волости помощником писаря был, а там и до полного писаря дошел. Уже и не мужик вроде, а какое-никакое начальство, – рассмеялся он.

Катя, положив по-бабьи щеку на ладонь, слушала его, не перебивая. То сочувственно кивала головой, то сокрушенно охала или понимающе улыбалась. Охватившая ее радость при сообщении о том, что Михаил, вероятно, жив, сменилась противоречивым чувством-вопросом, а действительно ли она так уж, больше жизни, хочет встречи только с ним и именно с ним. А может быть?.. А если?.. Она с испугом ловила себя на мысли, что это сообщение будто бы и не приблизило ее к Киржаеву, а вывело с прямой дороги на перепутье, к тому самому камню, где «Направо пойдешь.. Налево пойдешь...». Она терпеливо ждала, когда солдат закончит свое по-крестьянски неторопливое и обстоятельное повествование, чтобы словно невзначай попробовать расспросить его о том, как живет – поживает сейчас поручик Шнайдер. Весел он или печален, не упоминал ли когда о ней?

Но Попов, видать, был любителем поговорить, тем более в уютной обстановке, да за земляничным вареньем, и ей вольно-невольно приходилось настраиваться на длительное ожидание. Однако оно не стало для нее особенно утомительным, поскольку, чем дальше повествовал солдат о своей немудреной жизни, тем больше становилась она для нее интересней.

– Потом, понятное дело, война, – вздохнул Ефрем. – Мне грех жаловаться, повезло. Попал я в управление воинского начальника в Барнауле, писарем в комиссию по приемке лошадей в армию. Председателем в этой комиссии был исправник Тяжелов – здоровенный барин, пудов на десять весу. Когда сядет, живот у него ноги до колен закрывает. Говорит басом, а коль в кресле сидит, то через минуту уже и засыпает. Разбудят его, он, глаз на лошадь не открывая, рывкнет «брак». Кобылу уводят и выкликают другого мужика, тот подводит свою. Заседали мы в цирке, где переписывали принятых уже лошадей. И вот однажды, когда Тяжелов спал в кресле, зашла одна разодетая дама в шляпке и спрашивает, где найти председателя комиссии? Показали ей. Подошла к креслу, исправник сидит, храпит во сне. Она ему: «Ваше превосходительство...». Не слышит. Она громче – не слышит. Кто-то и посоветовал – потрясите его за плечо. Она стала трясти, Тяжелов проснулся и глаз не открывая, как рывкнет на весь цирк: «Брак!». А потом-то уж увидел кто перед ним, застыдился, видать, и давай кричать на нее, что, мол, вас тут черти носят и всякое такое. Дама заплакала да бежать, он за ней успокаивать.

Катя от души рассмеялась, улыбнулся довольный произведенным его рассказом впечатлением и Попов.

– Да-а... – вздохнул он. – Жили, как сыр в масле катались – в театр миниатюр ходили, в синематограф, чайные... Так ума ж нету по тем годам, решили с товарищем одним добровольцами в окопы отправиться. Надоело в канцелярии сидеть. Попали сначала в учебный полк и горько потом слезами плакали на свою дурь. За какую провинность сразу на два часа под винтовку. «Мосинку» на плечо, а на спину мешок с песком. По два часа с полной

выкладкой не помню, чтоб кто и выстоял. Час, может, проходит, начинает солдатик качаться, как пьяный, и падает. Ведра два на него воды выльют – и опять под ружье. От такого и на войну захочешь, да за тем дело и не стало. Два разочка только в атаку и сходил, то еще ничего, а вот как под «чемоданами» ихними полежал... Того страху, что пережил, на всю жизнь хватит. Все про одно думаешь – то ли сейчас, то ли чуть погодя... Пропади она пропадом, та война... – Попов зло плюнул на пол и тут же густо покраснел, досадливо охнул: – Ох, простите, барышня, не сдержался малость. Я приберу, где у вас...

– Ладно, чего там, – успокоила его Катя, – я вас понимаю. Скажите, а что вы чувствовали, когда первый раз в атаку пошли?

– Да сказать по-честному, ничего, – вновь улыбнулся Ефрем. – Не знаю, как другие, а я ничего. Рот раскрыл, в винтовку обеими руками вцепился, ору чего-то в беспмятстве. В себя пришел, когда уж в ихних траншеях оказались. А там и нет никого. Ушли немцы, нас не дождавшись.

– А потом что?

– Потом революция. Германцы вышли с белым флагом к речке, что нас разделяла, мы со своей стороны подошли. Мы им сахар бросаем, а они нам сигары в коробочках со стеклянной крышкой. На другой день они к нам в гости пришли, потом мы к ним, а потом и вовсе мы домой наладились. Порядка уж не стало никакого, решили: хватит с нас той бойни. Так еще и не уедешь-то враз, – Попов принял из рук Екатерины очередной стакан с горячим чаем. Скосил глаза на блюдечко с вареньем. – В дверях вагонов солдаты стеной стоят, никого не пускают. Стали спрашивать, есть ли кто из Сибири, нашелся такой вагон, втащили нас в него за руки. Куда поезд идет – никто не знает, да и неважно, главное – на восток.

Приехали, стало быть, в Москву, и появилась у нас с товарищем думка ее посмотреть, на денек там задержаться. Зашли в вокзал, набрали в котелок кипятку, сидим попиваем из кружек его с сахарком да сухарики грызем. Тут подходит к нам видная дама в шляпке, девочку

за руку держит, рядом еще одна такая же малая. Говорит: «Дайте, солдатики, моим детям чего-нибудь поесть, голодные они». Дали мы ей сколько-то хлеба да сахару. Не успела она отойти, как еще две дамы и тоже с детьми подходят, опять же хлеба просят. Дали мы и им и прямым ходом оттуда. Думаем, Москву в другой раз посмотрим.

Нашли свой эшелон, не ушел он еще, поехали дальше. Долго до дому добирались, два раза разоружить нас хотели, только мы не дались. Говорим, что до Сибири доберемся, тогда и оружие сдадим. Дорогой еще случай был потешный. Солдатик один прижимистый кроме своего «сидора» вез еще два мешка новых сапог. Каптенармусом был, вот и нахватал себе. Братва договорилась выждать момент, когда он уснет, да и разобрать по паре, у нас-то ботинки изношенные были. Перед Николаевском все это мы без шума проделали. Сапоги новые на ноги, а ботинки наши старые ему в мешки. Он проснулся, давай мешки щупать, раскрыл и в крик, обокрали, мол. Чего, говорим, украли? Сапоги. Так они ж на тебе, каких еще тебе надо? Поглядел он на нас и примолк, не пошел заявлять. Да и кому заявлять-то было? Нужен он больно со своими сапогами, когда революция полным ходом идет, – рассмеялся солдат. – Домой когда вернулся, маманя меня и не признала даже сразу. Да и как было признать: из окопов, с такой дороги – грязный, вшивый, бородой оброс, и та на одну сторону клином скаталась. В окопах у нас вшей столько было, что мы на них и не глядели. Игру даже выдумали – вшанку.

– Это как? – брезгливо поморщилась девушка.

– Да очень просто. Делаешь на бумаге или на чем другом круг, ставишь в середке точку, деньги на кон – и погоняй. Ставим к той точке каждый свою вошь, и какая первой из круга выбежит, тот и выиграл. Завлекательная штука, я вам скажу, барышня, только уж лучше без нее обойтись.

– Что ж потом с вами было, как вы в Омск попали к господину поручику?

– Да упал-то я самым обычным образом, – поморщился Ефрем. – Мобилизовали, едрит их за ногу. Прятался и от этих, и от других, а все ж забрили опять.

– А кто они, другие?

– Роговцы. Есть в наших краях такие ребята удалые, против нынешней власти выступают. Кто и идейный есть, а больше попить-погулять да пограбить, богатею какому горло перерезать, а то священника под шашки пустить. Вот я им, сам того не желая, дорожку раз и перешел. Началось чуть не со смешного даже, а потом под монастырь меня моя же доброта чуть не подвела. Да что то вспоминать, и так уж я вас, барышня, разговорами своими замаял, а у вас, может, дело какое.

– Нет у меня сейчас никакого дела, и вы меня вовсе не замаяли, – улыбнулась Катя. – Давайте рассказывайте. Я ж тут, считай, все время в четырех стенах, что на белом свете делается – только из газет знаю, а в них чего ни понапишут. И потом я сама из Алтайской губернии, только из степи, из Славгорода. Думаете, не интересно из первых рук узнать, что в нашем краю делается? Наливайте себе еще чаю, берите варенье на стеснясь, у нас еще есть, и рассказывайте.

– Раз так, расскажу, – Попов зачем-то пригладил волосы на голове, откашлялся, смахнул со скатерти хлебные крошки. – Это уже в нынешнем году ближе к лету поехал я с хутора в Хмелевку к своей сестре замужней и мать свою туда повез. Матушка любит в церкву там ходить, священник в ней хороший, давний знакомый наш. Был уж теперь... – вздохнул Ефрем. Катя слушала молча, не перебивая. – Вот сидим за столом обедаем, слышим на улице шум-гам. Заходит хозяин квартиры и говорит: роговцы в селе, с меня прямо сейчас у хаты сапоги новые сняли. Думаю, вот те раз, на мне тоже сапоги новые, в церковь только обувал или на праздник. Те самые, что в эшелоне на ботинки окопные «выменял», – пояснил он Кате. – С него сняли и с меня снимут – дело недолгое, а сапог жалко. Где по нынешнему времени новые добудешь? Что ж делать-то, как добро спастись?

– И что же вы сделали? – живо поинтересовалась Катя.

– А вот что. Снял быстренько сапоги, спрятал под какую-то дерюжку за лавкой. Пиджак новый тоже с плеч. –

Увлеченный собственным рассказом, Комиссаров словно окунулся вновь в былые события, принялся размашисто жестикулировать, изображая при этом на лице всю гамму сменявших одно другое чувств. – Бросил его прямо под ноги, будто дерюжку, по полу шарить не будут, на себя обноски какие-то набросил. Только управился – дверь нараспашку, появляется патлатый мужик: борода набок, картуз набекрень, а главное дело – с винтовкой, – значительно поднял вверх указательный палец Ефрем, а Катя понимающе кивнула: знаем, мол, какие они с винтовками бывают. Еще больше воодушевленный таким вниманием, Попов соскочил со стула, мгновенно превратив небольшую Катину комнату в театральную сцену. – Морда красная и самосидкой на всю хату от него разит. Рычит: «Хто такие будете, ксплотаторы-кровососы?!», а по роже видать, сам по себе не шибко злой, и сапоги на нем новые, видать, уже снял с кого, значит, шарить сильно не будет, – с уверенностью отметил Ефрем и тут же, вернувшись на стул, тоненьким дрожащим голосом ответил воображаемому налетчику:

– Не кровососы мы, самые какие ни на есть пролетарии-бедняки.

– Вынай барахло!

– Так все тут – кнут да хомут.

– За кого будете? – опять рычит. – За белых, или за красных?

Говорим смиренно: «За тебя». У него глаза поверх картуза – как за меня? А так. У тебя ведь ружье, значит мы за тебя. Посмеялся он, дверью хлопнул да и пошел себе восвояси. Повезло, человек веселый попался, хоть и разбойник.

– Так и чем вы им тут дорожку перешли? – спросила сквозь смех девушка. – Хорошо ведь все обошлось.

– Так это поначалу только. – Улыбка с лица солдата исчезла, бодро расправленные плечи обмякли, он тяжело положил руки на стол. – Набрался я храбрости, обул онучи старые и пошел к поповскому дому, посмотреть как да что. Знали уже, что роговцы эти шибко священников не

любят, не одного уже жизни лишили – смарали по-ихнему. Прохожу мимо, слышу: в доме все бьют, ломают, кричат. Из волости книги казенные и бумаги тащат, в кучу валят. Свалили – подожгли. Из дома мужика одного зажиточного вытащили скатерть, расстелили на земле и в нее давай добро разное валить – кофты, сапоги, сукна отрезы, наволочки да портки старые – все сгребли. Делят да хвалятся друг перед другом, кто какой подарок бабе своей сделает, кто любушке, а кто чем деток порадует. И ведь видно по всему, что не голь перекатная, справные больше мужики, а поди ж ты... – Ефрем немного помолчал и уже размеренно-деловито продолжил:

– Священника и его жену с двумя детьми я отыскал на сеновале, где они прятались, и отвез к нам на хутор. Жили они с нами дней десять. Сколь раз говорил матери: скажи, мол, чтобы в Барнаул к старшей дочери перебирались, там им поспокойнее будет, а она – не могу, подумают еще, что со двора их гоню. Ну и дождались само собой кипятку за шиворот.

Я на сеновале спал по летнему времени, сестра Ириша прибежала, будит, говорит – роговцы в доме. Я быстро с сеновала, на другую сторону ограды забежал, слышу – в доме выстрел... Потом крик, шум, выводят вскорости священника и моего отчима. Поехали верхами и их с собой погнали. Забежал в дом. На лавке в кухне сидит попадья, головой на косяк навалилась, кровь сквозь волосы сочится – застрелили в упор. Мать плачет, говорит, на коленях просила, раз попадью убили, так хоть батюшку не трогайте. А он ей – не плачь напрасно, мне теперь жить незачем, и к ним – раз жену убили, так и меня убивайте. Те говорят: за этим дело не станет.

Пошел я по дороге, куда они уехали, следов искать. Долго ходил, потом в стороне совсем нашел священника, шашкой зарубленного. Он маленький был, а тут вроде еще меньше стал. Я его как дите взял на руки и принес в дом.

– И что потом? – спросила в наступившей тишине Катя.

– Сделал два гроба. Попадью похоронили на хуторском кладбище, а батюшку, сказали, надо хоронить в церковной ограде. Повез его в деревню, собрался народ, выкопали могилку и только собрались его в нее спускать, кто-то как закричит: «Роговцы!». Все как воробьи разлетелись, один я остался. Вышел за оградку, смотрю – не видать никаких роговцев. Еле-еле собрал опять кой-кого, похоронили священника, обделали могилку как полагается и разошлись. Я на хутор к себе поехал, узнал, что пока меня не было, отчим вернулся, говорит, возили с собой, заставляли им дорогу показывать.

А через несколько дней матери с деревни сообщили, что роговцы меня ищут, хотят за мои дела рядом с попом положить. Ну, думаю, положат, так положат, деваться-то мне все одно некуда – нигде не ждут.

Беда одна не ходит, – вздохнул Ефрем, вытянул из кармана кисет и, покачав его на ладони, убрал обратно. – Вскорости объявили мобилизацию в армию. Приехал из деревни муж сестры, он в милиции служил, говорит, что тебе, Ефрем, того не избежать, но коль не желаешь в армию опять иди к нам, в милицию. Я наотрез – ни в милицию не пойду, ни к Колчаку, ни к черту лысому. Не хочу! Так ведь арестуют, а то и расстреляют. Все одно не хочу! Пошумел так, потом в чернь пошел прятаться, поблукал сколько с такими, как сам, – они к Рогову, а мне туда дорожка заказана. Брюхо уж под конец с голодухи подвело, пошел обратно домой и как раз на солдат вышел. Вот и вся история, – вновь вздохнул он. – Забрили опять, привезли в Омск уж месяц как, обмундировку эту вот выдали, но бог снова ко мне милостив оказался, на фронт не послали, писарское искусство помогло. Опять пером скребу при Владимире Егоровиче да заодно вестовым у него числюсь.

– Ну и как вам служба под его руководством?

– Да кто ж вам, барышня, про своего начальника плохое скажет? Оно себе дорожке окажется, – рассмеялся солдат. – А коль без смеху да по совести, повезло мне в какой уж раз. Господин поручик человек, конечно, въедли-

вый, дотошный, за дело, если что, строго спросит, так оно и правильно. С нашим братом по-другому нельзя, баловаться начинаем. Но человек он хороший, не злой, к каждому – хоть Ивашка-серая сермяжка, хоть барин в котелке – одинаково уважительный.

– А говорят, солдаты офицеров не любят...

– Каких и, верно, не любят. Так и есть за что. Давно бы им уж пора про старую жизнь забыть, а все не уймутся, кто по глупости, кто по важности своей. Да только не зря говорят – кошка скребет на свой хребет. Да вы не пугайтесь, – перехватив тревожный взгляд девушки, успокоил ее Попов, – Владимир Егорыч не из таких, ему солдатской братии бояться нечего.

– А какой он... Ну что он вообще за человек?

– Не знаю, зачем вам это, барышня, ну раз уж спросили, серьезно скажу. Вижу, хоть дело и не мое, неспроста интересуетесь, – Ефрем аккуратно разгладил скатерть перед собой, ненадолго призадумался, заговорил медленно и размеренно, словно карту за картой на стол выкладывал. – Человек он обстоятельный, на слово крепкий, хозяйственный. Пошутить любит, а на дело серьезный. Опять же не то, что другие офицеры, не только войне, путнему делу обучен. Прямо сказать, повезло бы той девочке, какая б за него замуж пошла. За таким, как за стенкой каменной, жить можно. Пойду я, – поднялся он со стула, – а то господин поручик за долгую отлучку точно кипятку мне за шиворот нальет.

– Хорошо, хорошо, – быстро согласилась девушка. – Передайте привет Владимиру Егоровичу и скажите... Скажите: барышня удивлялась, почему он в гости не заходит.

– Да уж скажу, – улыбнулся Попов и снял с вешалки свою короткую шинель. – Не извольте беспокоиться. В точности все передам.

* * *

31 октября 1919 года в омской газете «Наша армия» было опубликовано стихотворение Арсения Несмелова «Родине»:

*Россия! Из грозного бреда
Двухлетней борьбы роковой
Тебя золотая победа
Возводит на трон золотой...*

*Под знаком великой удачи
Проходят последние дни.
И снова былые задачи
Свои засветили огни.*

*Но сила врагов – на закате.
Но мчатся, Святая Земля,
Твои лучезарные рати
К высоким твердыням Кремля!*

Вскоре после этого на железнодорожной станции, стенах домов, везде где только можно появился написанный чуть ли не аршинными буквами приказ нового главнокомандующего генерала Сахарова, гласящий, что Иртыш и Омск будут укреплены в неприступную крепость и что красные войдут в город только по трупам его защитников. Кроме Сахарова приказ был подписан Верховным правителем России адмиралом Колчаком.

Между тем, разгромив потерявшие в боях до половины состава колчаковские армии в междуречье Тобола и Ишима, красные войска быстро продвигались к Омску, преодолевая в сутки до 30 километров. Столь быстрому наступлению способствовали удары сибирских партизан по тылам белогвардейцев, фронт которых безостановочно катился к Иртышу.

В городе началась паника. Спешно эвакуировались правительственные учреждения. Личный состав бесчисленных отделов и подотделов был погружен в специальные эшелоны, отправляющиеся сплошными лентами по двум железнодорожным путям на восток. За ними стоял поезд Верховного правителя, следом за которым должен был уйти эшелон «Литера Д» с российским золотым запасом. Спереди и сзади их находились эшелоны

миссий разных государств при правительстве Колчака. В самом хвосте размещались санитарные поезда с больными и ранеными.

Отступавшие войска вышли к Иртышу в пешем порядке и остановились. По реке густо шла шуга. Переправа была невозможна, лишь по железнодорожному мосту в просветах между бесчисленными поездами изредка проскакивали одиночные повозки. Тысячи их продолжали оставаться на западном берегу реки, к которому неумолимо приближались войска Михаила Тухачевского. Все разговоры плохо одетых, полуголодных людей, расположившихся у бивачных костров рядом со своими повозками, сводились к одному – фронт недалеко, враг насаждает, если Иртыш не замерзнет, наши часы сочтены...

* * *

Поручик Шнайдер сидел в кресле в гостиной квартиры доктора Светличного. Согревая озябшие ладони о стакан с горячим чаем, молчал. Молчали и хозяйева – сам доктор, Степан Ильич и Екатерина. Нацеленные на поручика взгляды мужчин были полны тревоги и ожидания, девушка смотрела на осунувшееся, посеревшее лицо Шнайдера то откровенно жалостливо, то с радостным смущением и пугающей ее самой надеждой. В последнее время она почти постоянно думала о двоих, перевернувших ее жизнь, мужчинах – Киржаеве и Шнайдере. Владимир посещал ее мысли чаще, и каждый раз подумав об этом, она все реже ощущала себя нарушившей клятвенное обещание предательницей. Но ведь и не клялась же она тогда, год с лишним назад, Михаилу в том, что будет его ждать, останется верной. И разговора такого в ту памятную ей до боли ночь не было. А что пообещала это себе самой, так про то не знал и не знает даже отец. Это живет только в ней одной, ее грех. Или не грех? Ответить на этот вопрос она пока так и не сумела.

– Мерзавцы, – тихо сказал поручик и после паузы добавил: – Подлецы.

– Кто? – почти разом спросили три голоса.

– Эти все... – неопределенно махнул рукой в сторону окна Владимир. – Встретил сейчас давнего знакомого, на Волге вместе были. У Каппеля большие потери обмороженными, люди отвратительно, совсем не по-зимнему одеты. Вот друга моего за шинелями и послали. Добрался аж до главного интенданта генерала Беклемишева. Тот его принял радушно и заявил, что и шинели есть, и валенки тоже, только выдать их никак нельзя, поскольку он не знает, к какой именно армии принадлежит их сводный отряд, а потому придется подождать несколько дней, а может быть, и недельку.

– Наверное, – криво усмехнулся поручик, – пока все каппелевцы, лучшие бойцы наши... – голос его дрогнул, – перемерзнут... – Он откашлялся, провел тыльной стороной ладони по глазам. – Вышел офицер этот на улицу и встретил случайно знакомого по волжским боям чеха. Тот его беду выслушал и говорит: помогу, мол, не сомневайтесь. Повел его в чешский штаб, достал там требовательную ведомость на теплые вещи якобы для чешской батареи и через какой-нибудь час все, что требовалось, было получено. Так-то вот.

Выходит, мы в своей стране уже и не хозяева – люди второго сорта, папуасы. Это сейчас. Ну а придут большевики – станем шлаком, накипью, крысами, которых, согласно классовой теории, надо травить до полного истребления. Мы не нужны в России никому, а раз так, значит, и делать нам в ней нечего...

Поручик замолчал, потер пальцами небритый подбородок, спокойно и твердо взглянул на своих собеседников:

– Как вы полагаете, я способен трезво оценивать ситуацию?

Все трое согласно кивнули.

– Так вот. Армии у нас больше нет. Война на востоке России нами проиграна. Нас гонят как собак и вскоре выгонят из Сибири, а там погонят и дальше – до синего моря-окияна. Придется уходить из страны. Нам... По крайней мере – мне с ними на одной земле не жить.

– Как вы можете так легко и рассудительно об этом говорить? – покраснев, бросила ему Катя. – Говорить о том, что нужно бросить свою родину.

– Легко... Рассудительно... – лицо поручика, потеряв привычную округленность, сделалось угловато-жестким. – Я здесь, у них, маму свою, отца своего оставляю, – охрипшим голосом выдавил он. – У этих...

– Прости, Володя, – бросилась к нему девушка, обняла поручика за голову. – Прости ты меня, дуру такую.

– Так, понятно, – ровно сказал Степан Ильич. – Езжайте, раз такое дело.

– Поедем все вместе, – Шнайдер мягким движением освободился от девичьих рук, пристально взглянул на пожилых людей. – Я, шутка ли, впервые в жизни воспользовался служебным положением и получил разрешение на проезд четырех человек в одном из вагонов военного министерства. Поедем. Здесь ведь и обсуждать-то нечего, господа. Екатерина Степановна...

– Поедем, папа?.. – вопросительно-виновато посмотрела на отца Катя. – Нельзя ведь Володю оставить, он болен.

– Я здоров, – неожиданно резко сказал поручик. – Не стоит ради меня идти на жертвы, а связывать со мной из жалости свою жизнь – тем более. Но я хочу вам сказать при всех... – заторопился он, увидев, как окаменело ее лицо и безвольно повисли руки. – Пока Славгород был наш, я не говорил об этом, но сейчас... Даже если вы останетесь здесь, вернетесь в свой город, ему туда дорожка заказана. Каждая собака его знает и кроме большевистской пули ничего не ждет. Ему даже увидеться с вами вряд ли удастся. И потом главное. Если даже он жив, и дай Бог, чтобы это действительно было так, вы, верно, его любите? Ответьте сама себе честно – это дань прошлому, ответственность перед человеком, с которым вы, по сути, и не были близки, или любовь? Я ведь чувствую, знаю, что вы ко мне равнодушны, а я... Я... Но из жалости не надо, – глухо добавил он после паузы. – Не стоит того.

– Езжайте, чего уж там, – махнул рукой Олизко. – И не мучайте друг друга понапрасну. Какая ваша вина,

что жизнь нам такая досталась... Ты вот что, Катерина, принеси-ка мне коробочку, что в шкафчике у моей кровати стоит.

– Вот все, что осталось от нажитого, – пояснил он, когда девушка вернулась с картонной коробкой в руках. Вынул из нее небольшой мешочек и плотный увесистый сверток. – Коль придут товарищи – обязательно заберут, а вам очень даже пригодится.

– Как, вы сами не хотите ехать? Почему? Николай Иванович, скажите ему хоть вы, – бессильно посмотрел на доктора поручик.

– А что я могу сказать? – развел руками тот. – Только то, что я тоже никуда не поеду. Здесь мой дом, мой город, вся моя жизнь в конце концов. У вас она короче, потому впереди ее больше, можно начинать все снова на новом месте. У меня это наверняка не получится.

Американцы госпиталь эвакуировать не собираются и большевиков, похоже, вовсе не боятся. Останусь и я. Думаю, что и у них есть умные головы, понимающие, что без врачей не обойтись ни одной власти, пусть даже, пардон, и самой прогрессивной. Их-то самих должен же кто-то лечить.

– И вы будете это делать?

– Да, – просто ответил доктор. – В конце концов это мой долг. Я, дорогой вы мой поручик, как и вы, клятву давал и, как и вы, нарушать ее не намерен.

– Понятно, – кивнул головой Шнайдер. – Что ж, дело ваше. А вы, Степан Ильич? Вы же не врач, ваши услуги им не понадобятся. Да и, простите бога ради, больны вы. Как жить-то при них будете?

– То-то и оно, что болен, – вздохнул Олизко. – Был бы здоров, и разговор бы у нас, может быть, иной был. А жить... Проживем как-нибудь. Дров на днях купили, рамы вторые вставили, мукой да сахарком запаслись. Переживаем, а там... Там видно будет. И ты, Катюша, не думай со мной спорить, дело решенное. Езжай с богом, у тебя жизнь впереди большая, а обо мне Николай позаботится. Может, и увидимся еще когда...

Вещи были собраны, все слова сказаны, подходила пора прощаться.

– Не беспокойтесь, Степан Ильич, – сказал стоящий у порога уже в шинели и с чемоданами в руках Шнайдер. – Я никогда не обижу и не дам в обиду вашу дочь.

– Может, и обидите когда, – рассудительно ответил Олизко. – В жизни всякое бывает. Но вот что одну беспомощной не оставите и в обиду не дадите, не сомневаюсь. Прощай, доченька, – повернулся он к Кате. – Обними-ка меня еще разок. Дороже тебя у меня в жизни ничего не было...

Глава девятая

В начале сентября 1919 года из Кузнецка на столицу причумьшских партизан Жуланиху двинулась добровольческая рота колчаковцев. Из крупных, в основном старожильческих алтайских сел – Сорокино, Тогула, Дмитро-Титова выступили сильные дружины «Святого креста», созданные из приверженцев нового режима. В качестве главной ударной силы со станции Овчинниково к партизанской «Москве» скрытно двинулся полк голубых улан из частей знаменитого своими карательными акциями атамана Анненкова.

К тому времени в отряд Григория Рогова влились несколько возникших в разных селах партизанских групп, состоящих в основном из недавних фронтовиков германской войны, решивших с оружием в руках противостоять неприемлемой для них колчаковской власти. Было создано четыре партизанских батальона, по сути представляющих из себя роты и по сравнению с наступающим на них противником выглядевшие очень слабо, главным образом – из-за нехватки оружия и боеприпасов.

Однако первые стычки не принесли большого успеха ни одной из противоборствующих сторон. Пытавшиеся заманить колчаковцев в засаду партизаны едва не стали

жертвой такого же тактического приема и стали понемногу отступать к тайге. Вслед за ними шли уланы, а за ними на десятках подвод ехали дружинники из Дмитро-Титово. При их приближении население Жуланихи покинуло родную деревню практически поголовно. По забитым телегами, полным человеческого крика и рева очумевшей от шума и суеты скотины, узким и колдобистым дорогам-тропам жуланы шли сквозь чернь к укрытому в буреломах таежному поселку Агафоново.

Основное сражение развернулось у партизанской «Москвы», где занявшие выгодные позиции на возвышенном месте в березняке роговцы готовились встретить подходившего противника. Привыкшим к лихим конным атакам казакам-анненковцам требовалось наступать по заболоченной местности, а потому пришлось спешиться. Но главным неприятным сюрпризом стали для них два захваченных партизанами в Салаире пулемета, о наличии которых у роговцев противник и не подозревал. Начался упорный бой...

Пока одни перебежали по болотине, а другие хрипло матерясь посылали в них пулю за пулей, вошедшие в Жуланиху и соседнюю с ней Мироновку каратели занялись привычным делом – стали жечь и грабить. Хозяиственные крестьяне-дружинники действовали более обстоятельно и практично: угоняли оставшийся в селе скот, кроме найденного в домах немудреного добра тащили со дворов и огородов плуги и бороны, сеялки, жатки, телеги, вилы, топоры, обрекая в будущем лишенный сельхозинвентаря мятежный край на голодную и холодную смерть... Пылали дома. В одном из них сгорела живо слепая старуха, бабушка партизана Поташова, другую пожилую крестьянку прямо на улице каратели закололи штыками. До такой бессмысленной жестокости у противоборствующих в Причумышье сторон раньше не доходило. Но это было только самое начало ее разгула...

Сгрудившись в небольшом окопчике у «гочкиса», Егор Нефедов и Василий Митрохин в ожидании атаки про-

тивника перекуривали в компании начальника пулеметной команды Ивана Дрожжина.

Тем из партизан, кто видел Ивана впервые, сразу бросалась в глаза его офицерская выправка, привычка высоко держать голову подобно ненавистным для недавних солдат золотопогонникам. Эта привычка порой доставляла Дрожжину определенные неприятности, а вот отряду сослужила немалую пользу, когда во время костюмированного налета на дружину «Святого креста» в Пещерке Дрожжину выпало изображать колчаковского служаку-фельдфебеля. И получилось у него это очень достоверно.

Барнаульский рабочий, солдат мировой войны, красногвардеец, а затем подпольщик Иван Дрожжин стал первым горожанином в мужицком отряде Григория Рогова и, в отличие от многих из тех, кто пришел вслед за ним, почти сразу пришелся там ко двору. Не пер напралом в споре, не талдычил бездумно вычитанные в пропагандистских брошюрках цветистые фразы, больше молчал и слушал, стараясь понять новый для него мир, разобраться в крестьянской психологии и постепенно стал для роговцев не только соратником в общей борьбе, но и товарищем. Одним словом, по-настоящему своим.

На войне родственные души находят друг друга быстро, так получилось и у них с Егором Нефедовым. Оба в прошлом рабочие, недавние фронтовики германской войны, да и просто похожие друг на друга, неунывающие, сильные и смелые, ценившие самые мелкие жизненные радости парни скоро подружились. Помогло этому и то, что Дрожжин сразу разглядел в Нефедове ценившего порядок и дисциплину бойца, а такие для командира своенравной партизанской вольницы были находкой попросту бесценной.

– Грамотно идут, в кучки не сбиваются, цепь не ломают. Видать, вояки бывалые, – похвалил Егор приближавшегося к ним противника. – Интересно бы знать, кто такие?

– Анненковцы вроде, – облизал пересохшие губы Дрожжин. – Голубые уланы какие-то.

– Вот, значит, где свидеться довелось, – не отрывая взгляда от приближающихся врагов, процедил сквозь зубы Нефедов.

– А ты чего, раньше с ними встречался? – пристально взглянул на него Иван. – Где?

– Далеко отсюда, в степи, в прошлом году еще, – нехотя ответил Егор. – И не с ними, а с работой ихней. Не приведи Господи еще разок на такую поглядеть...

– Тогда давай свою работу показывай, – хлопнул его ладонью по плечу Дрожжин и вновь мазнул шершавым языком по губам. Пожаловался: – Беда просто, как близко подходят, пить всегда хочется – спасу нет. Кваску бы сейчас... – И, обрывая собственную речь, резко махнул рукой: – Огонь!

* * *

Бой шел два дня. К середине второго Егор успел расстрелять почти два десятка пулеметных лент и практически оглох от непрерывной работы «гочкиса». Лицо Нефедова покрылось пороховой гарью, сквозь которую поблескивали глаза да зубы, когда он, расплывшись в улыбке, ободряюще похлопывал по плечу такого же чумазого, совсем ошалелого и измученного, но ни на шаг не отходящего от пулемета Ваську. Перебрасывая на угрожающие участки пулеметы, не раз переходя в контратаки, партизаны отбили уже около десятка атак анненковцев, и силы, а страшнее того – патроны были у них на исходе. Противник же, судя по всему, вновь перегруппировывался для очередного удара.

Улегшись спиной прямо на землю, Егор жадно наслаждался обдувающим лицо прохладным ветерком, пробивающимися сквозь прикрытые веки все еще яркими лучами сентябрьского солнца, а главное – столь желанной для него тишиной. Рядом с ним, обхватив руками колени, сидел потерявший где-то свою обычную улыбку, посеревший усталый Дрожжин. Почесывал разлохматившуюся, давно не выдавшую бани голову Васька Митрохин. Покончив с этим занятием, парень мечтательно посмотрел куда-

то вдаль, за партизанские позиции, и вдруг лицо его расплылось в кошачьей улыбке, он резко пихнул Нефедова в плечо:

– Егор, ты глянь только, куда какая!

Иван с Егором дружно повернули головы назад. На взгорке среди молоденьких тонкоствольных березок, словно на лубочной картинке, в ярком ситцевом сарафане, рослая и статная, скрестив по-хозяйски коричневые от густого загара руки под грудью, стояла и улыбалась незнакомая девушка.

Нефедов ошалело помотал головой. Видение не пропало, лишь стало еще ярче и заманчивее, а потом крикнуло звонко и весело:

– Мы тут, хлопцы, вам борща наварили, сиднем не сидите, помогите принести!

– Подожди, Иван, – схватил за рукав бодро вскочившего на ноги Дрожжина пулеметчик. – Не дело командиру пустяками заниматься, он должен зорко наблюдать за действиями противника. Давай лучше я...

– Да я сбегаю, – быстро предложил Васька, – небось пошустрее вас буду.

Нефедов метнул на него огненный взгляд, и Митрохин, прыснув в кулак, продолжать не стал, а Дрожжин тем временем успел сорвать пучок жухлой травы, обмахнул быстренько пыль с сапог, согнал за спину складки гимнастерки, привычно четким движением поправил фуражку.

– Пулеметчик Нефедов, за старшего! – зычно крикнул он, чтобы было слышно у березок. – Продолжайте наблюдать за неприятелем!

Затем ехидно улыбнулся, подмигнул Егору и принялся ловко взбираться на бугор.

* * *

– ...У меня мамка такой варит, – отдуваясь сказал Васька и отодвинул наконец в сторону трижды опустошенную им чашку. – Такой борщ, как у моей мамки, поискать надо. Повезло нам. Теперь бы на боковую, а потом и еще немного повоевать можно. Хотя лучше б, конечно, без этого.

Словно прислушавшись к митрохинскому желанию, уланы перестали атаковать, на виду у партизан заседлали коней и отправились восвояси, очевидно, отложив расправу над роговцами до лучших времен. Оставшиеся в заболоченной низине трупы они выносить не стали, и вскоре их принялись обглаживать оставшиеся без хозяев и разбежавшиеся из деревни голодные жуланихинские свиньи.

* * *

Скоротечные перестрелки и бои посерьезнее, долгие переходы, короткий отдых на ночевках и опять переходы текли нескончаемой лентой и помнились лишь чувствами голода, усталости, пережитого страха, блаженства недолгого покоя, хмельной удали и похмельного недуга. Красоты все больше берущей свое осени, картины деревенского быта и даже образы встреченных на пути привлекательно-соблазнительных девушек и молодых женщин в памяти задерживались ненадолго, быстро размываясь и исчезая из нее вовсе. Как ни странно, это обстоятельство Нефедова особенно не огорчало. Возможность добиться во время ночевки в том или ином селе расположения какой-нибудь сдобной солдатки у него бывала часто, но воспользовался он этим только один раз, и то словно по обязанности – раз мужик, значит должен охочей бабе радость доставить.

«Устал я, видать, крепко от такой жизни, – с удивлением и даже страхом думал он о вовсе несвойственном ему раньше, почти равнодушном отношении к прекрасному полу, лишь изредка, как тогда на бугре, озаряемом вспышками умиления перед женской красотой. – Ничего-то мне не интересно, одна выпивка разве. Как там покойный Филатьев говорил, сохлась душа, кровяной коркой схватилась. Вот и у меня, видать, к тому дело идет... А это я его, я... Не Тим-Фрол, какому это дело в радость, а я... Своего, такого же мужика. А дальше... Брось скулить, – обрывал он сам себя. – Одного мужика убил – десяток спас. Того же Дениса Поташова. Чем менка плохая?»

Частенько донимала его и другая мысль: отчего народ здесь так резко разделился на две половины – одни деревни на восстание пошли, в других за Колчака большинство стоит, в дружины «Святого креста» идет? По какой причине так выходит, что соседи друг друга бьют и грабят почему зря? Жили-жили годами рядом и ничего, а потом хлеще старых врагов друг друга возненавидели, как так?.. Ответ на этот вопрос ему удалось получить довольно скоро.

Это случилось во время одной из ночевок в похожей на другие, лентой протянувшейся между холмов сибирской деревне. Егор и Василий разместились на постой в построенном по-старообрядчески «связью» – в середине сени, а по бокам две комнаты – доме. Уже совсем стемнело, когда в гости к ним пришли Иван Дрожжин, ставший командиром роты в одном из роговских батальонов Денис Поташов и его знакомый партизан Иван Логинов. Сидели за столом в сенях, куда, желая задобрить незваных гостей, молчаливая хозяйка собрала сытный ужин – жаркое из нарубленной крупными кусками баранины в большом, едва ли не ведерном чугуне, пироги с картошкой, грибами и капустой, корчаги с квасом и пивом, свежеиспеченные запашистые калачи. Поташов и Логинов принесли с собой пару бутылок самосидки, сделавшей вскоре утомленных долгим переходом, а потому молчаливых партизан общительней и разговорчивей.

– Мы вот между собой, как соберемся, бывает, все судачим, как дальше жизнь обернется, – говорил не спеша молодой, да не по годам степенный и рассудительный Логинов. – Блохин, скажем, Захар Петрович считает, что раз народ в деревнях распознал, какая у Колчака власть, значит, надо оружие в сторону отставить и идти от деревни к деревне с красными знаменами, собирать народ и дальше на город, и там под таким напором власть сама собой отомрет.

– Во загибает, – усмешливо хмыкнул Дрожжин, заулыбались и остальные, в том числе и сам рассказчик.

– Это точно, загибает. Мы ему говорим: ты зайди без винтовки, с красным флагом в Дмитро-Титово или

наше Сорокино – рта открыть не успеешь, как сам отомрешь, да хорошо еще коль сразу зарубят иль застрелят, а то еще на крюк под ребро сушиться повесят. Без винтовки сейчас уговоры плохие.

– Насчет власти, как Колчака скинем, у него тоже свои думки имеются, – продолжал, переждав смех, Иван. – Все должно решать общество, значит – сельский сход. Что он решит, то и закон, а чего там из города напишут, то мужику не указ. Какие подати платить и сколько – то же самое, на сходе решать. Людей зажиточных их имущества не лишать, только подати им побольше назначить. Так от них толк будет. А забери у них добро, оно без хозяина прахом пойдет.

Егор Сопкин Захару наперекор режет, анархию проповедует. Всякая власть, говорит, есть насилие, а любая собственность тому насилию служит так же, как и религия, попы, значит. Потому они, анархисты против всякой власти. Общество должно делиться на малые, эти... федерации. А они между собой будут вести обмен продуктами своего труда.

У нас мужик один какое-то время на железной дороге стрелочником служил, так он его спрашивает: «Без власти – это без начальников, значит?» и дальше продолжает, что стрелочник, понятно, шишка не велика, но без распоряжения дежурного по станции, начальника, значит, больших бед наделать может. Повернет, скажем, стрелку не туда, столкнет два поезда, народ погубит, паровоз, вагоны и другое там имущество попортит. А не то в тупик поезд загонит, график нарушит. Опять же взять нас. Ведь в отряде тоже командиры есть, без них воевать гибель, каждый, кто с фронта пришел, знает. А они, выходит, опять же начальство. Без него, видать, никак не обойдешься.

– Верное дело, – согласился Нефедов. – А что ваш Сопкин на это?

– А чего Сопкин? Почесал в затылке, вот как я сейчас, да и смолчал. Может, не знает, а может, сама наука ихняя до того еще не дошла.

– А ты чего, Иван, про то думаешь, какой новой власти

быть? Ты ж городской, побольше нашего разуместь должен, – повернулся к Дрожжину непривычно угрюмый Денис.

– Да уж куда побольше, – усмехнулся тот. – Думаю, как до Колчака было, так и делать, само собой власть советская должна быть, только буржуев, купцов, попов, прочих мироедов покрепче, чем тогда, под ногу загнать, чтоб не пакостили. Без государства, понятное дело, не обойдется, и податей, само собой, тоже, только думаю, их куда меньше прежнего потребуется. Буржуев не станет – на дворцы да театры там всякие денег тратить не потребуется, на полицию тоже тратиться не надо будет, самим за порядком можно уследить, коль он свой, народный. Бандитов под пулю без слова, шушеру всякую да лентяев в работу запрячь. Так что, думаю, чтоб голодных накормить, немощных обиходить, на прочие какие расходы и малых денег хватит, а остальные все рабочему да мужику трудяге в достаток.

В начальство лучших да честных выбрать, неужто по России среди всего трудового народа не найдем таких, сколько потребуется? Не вытянут лямку – других поставим, власть-то наша. Так вот, думаю, и будет, особо-то хитрого тут ничего нет. Здравствуйте, дедушка, – повернулся он к тихо вошедшему в сени лохматому седобородому старику в длинной навывпуск белой рубахе и самотканых портах. – Чего не спите-то?

– Вас слушаю, – колюче посмотрел на него тот. – Жду все, может, умное что кто скажет.

– Так сам и скажи, коль от нас не слышишь, иль нечего сказать то? – недобро поинтересовался Поташов.

– Есть чего, – старик оперся рукой о стену, медленно опустился на стоящую в углу сеней лавку. – И скажу, погоди малость.

Он помолчал немного, затем решительно мотнул косматой головой:

– Вот вы тут сидите в чужом доме, незваные, о власти вашей будущей рассуждаете, и какая она у вас выйдет, коль до того дело дойдет, вам и самим толком непонятно. Дом, значит, не знаете, как ставить, а лес уже валите, смуту

завели, да еще какую. Какой мужик свое хозяйство наладить не может, того на должность поставить хотите. Себе не нажил, а вам с чего-то наживет, дескать. И того не думаете, что коль придут московские, еще поглядеть надо будет, чего они решат. Силенок-то у них куда больше вашего, а кто сильнее, тот и указчик.

– Ты чего тут, курва старая, контру разводишь? – лицо Поташова налилось свекольным цветом, голос едва не срывался на крик. – Я тебе...

– Погоди, Денис, дай дослушать, – положив партизану ладонь на мелко подрагивающую руку, мягко попросил Дрожжин. – Давай дальше, дед, складно у тебя выходит.

– Думаете, любят вас все, как деток родных, в ножки благодетелям готовы кланяться? Да вас через дом проклинают, – глядя поверх голов сидящих за столом партизан в угол со старинными образами, тихим бесцветным голосом заговорил старик. – Пока вы смуту свою не затеяли, хоть и хуже прежнего народ жил, да в спокойствии, а теперь ему один разор и гибель. Колчак – тоже не сахар, и он с мужика тащит, так какая власть без того обойтись сможет? Всегда так было и будет, и жизнь себе шла в труде да молитвах. А теперь...

Старик помолчал, откашлялся в кулак, вытер о штаны повлажневшие ладони:

– А бабы ваши, думаете, шибко рады, что вы хозяйство свое бросили, по лесам до полям с ружьями бегаєте, пулю себе отыскиваете. Семейство свое без кормильца надумали оставить? – спросил он, переводя острый взгляд с Поташова на Логинова, безошибочно определив в них своих земляков-крестьян. – Да неужто она, революция эта ваша, того стоит, пропади она пропадом?

Слушали не перебивая, а когда старик умолк, над столом сгустилась напряженная, словно перед выстрелом, тишина. Нарушил ее Иван Логинов:

– С бабами понятно, – как о самом значимом из услышанного, спокойно и рассудительно сказал он. – С бабы чего взять, раз она из мужичьего ребра сделана, только мясо свое нарастила. Моя тоже все – покос, уборка,

литовку отбить и то кому... Так чего, говорю, с нее требовать, если рассуждать по-мужицки обстоятельно, не вразумил ее господь. Дальше носа своего да печки и не видит ничего...

– Значит, во всем мы виноваты? – перебил его Иван Дрожжин. – А, старик? От нас все беды? А почему же тогда мужиков за нами идет все больше и больше, не знаешь? Я тебе скажу. Холопами не хотят быть твоему Колчаку, душу свою не только тем, что в амбаре лежит, меряют. Вот и воюют за свободу до смерти с такими как ты, только помоложе.

– Из-за добра нашего воюют, оно им глаза застит, жить спокойно не дает. С германцем духу воевать не хватило, так сюда винтовки притащили, тех, кто послабже немца бить да грабить. Вот и все тому пояснение, – глухо сказал дед. – С Пещерки да Зырянки жуланы ваши да прочие нехристи возами добро везли. Наше добро, горбом веками нажитое...

– Ваше? Горбом? – тяжело, будто гири пудовые на стол выставлял, спросил с ненавистью Поташов. – Может, раньше и вашим, а уж сколько лет вы больше на нашем ездили. На нас, что с России сюда переселялись, как на рабочую скотину глядели, родниться брезговали. Землю всю добрую под себя подгрести, покосы, пашни, а батю моему да другим нашим тульским в Жуланых тайгу под пашню корчевать пришлось.

– Мы на этой земле двести лет живем, край этот, когда о вас и слуху не было, обихаживали, а теперь виноваты в том, значит? – усмехнулся кержак. – Ловко у тебя, парень, выходит.

– А как ни выходит, только батя мой, я и другие вон, не зря на вас столько лет горбили, придется, господа хорошие, поделиться. К тому и власть советская ведет, которая сейчас в Москве. Верно Иван? – повернулся он за поддержкой к Логинову.

– А то как же, – согласно кивнул головой тот, потянулся было за бутылкой, но остановил руку на полдороге, взял вместо нее толстый ломоть хлеба со стола и, отломив от него маленький кусочек, сунул в бороду.

Медленно разжевав его, так же медленно сказал: – Я в своей Курской губернии, Хвостинского, значит, уезда, с семи лет у помещика Полторацкого скотину пас. У отца одиннадцать человек, куда денешься? Сюда в Сорокино когда в восьмом году переехали, батя нас, и больших, и малых, в работники отдал, а сам с матерью, в годах они уже были, дрова колот таким, как ты, дедушка. Сам я, как обженился, своим хозяйством стал жить, пять лет за лошадь волостному писарю Заводовскому Дмитрию Александровичу отработывал. Так-то... – Он отломил еще кусочек хлеба и, подержав его в руке, аккуратно положил обратно на стол. – А насчет грабить, батя, так поглядеть еще надо, кто первый. Тут ваши навряд уступят. Из мужиков кого тут знаю, многим с ними поделиться пришлось. У Дезадарьева Митрия дмитро-титовские последних двух лошадей угнали, – не спеша пригнул он пальцы к широкой, твердой, как доска, ладони. – У Титова Максима всю скотину и имущество забрали, у Сашки Гуляевского тоже дочиста все выгребли, а что не взяли – в огне пожгли. Тоже, видать, для порядку.

– Видать, – недобро улыбнулся Поташов. Ухватил со стола бутылку, доверху наполнил свой стакан. Выпил разом, не закусывая, мутно посмотрел на старика. – А вот скажи ты мне, для какого порядка вы мою бабушку слепую в Жуланихе заживо в доме сожгли? Говори, сказал! – крикнул он и так хватил стаканом о стену, что тот осколками мелкими посыпался: – Ну!

– Душегубы сожгли, – старик не отвел от него взгляда, побледнел только под стать своей седой бороде. – Их по нынешним временам везде хватает, всем потребны. Бога – и того не боятся, что ж про людей говорить. А меня, парень, ты зря винишь. Таковским, как ты, что у меня, случилось, работали, платил всегда по договоренности, чужого за жизнь на полушку не взял. Грешил, конечно, как без того, но вот этого не было. Жаль мне бабушку твою, царство ей небесное, и тебя жаль. Только коль убьешь ты меня за это или кого другого, легче тебе не будет, точно говорю.

– Не будет, значит? – скрипучим голосом поинте-

ресовался Денис, тяжело поднимаясь из-за стола. – А вот сейчас и поглядим...

– Подожди, Денис, – встал рядом, обхватив товарища за плечи, Егор. – Погоди, прошу. – Он повернулся к старику: – А ты и вправду не боишься, дед, так-то вот с нами разговоры разговаривать? Пристукнем вот разом тебя в твоей же хате, дело-то недолгое. Как про то думаешь?

Старик вновь оперся ладонью о стену, молча, с видимым трудом поднялся с лавки. Выпрямился, словно солдат на строевом смотре, вытер о рубаху ладони.

– Без божьего позволения волос не упадет с головы человеческой, – ровно сказал он. – А коль и вправду решил он меня к себе забрать, значит, срок подошел. Да и то, пожил я дай Бог всякому хорошему человеку. А коль совсем по совести, то имею я надежду, ребята, что вы меня все же не убьете. Не похожи вы на катов, повидал я их на турецкой войне.

– Ладно, старик, – махнул рукой Иван Дрожжин. – Давай иди отсюда, надоел ты уже. И свечку поставь своему богу, что с нами, а не с кем другим повстречался. Да запомни сам и другим таким же скажи – никогда больше вашего порядка не будет. Пусть и не надеются...

* * *

Ночью Егор вышел из дома по нужде. На крыльце красной точкой светился огонек сигарки. Ценивший сон даже больше, чем хорошую жратву, Вася Митрохин не спал. Нефедов присел рядом с ним, потянулся, спросил участливо:

– Чего ты, Васек, случилось чего?

– Думаю вот. – Огонек разгорелся ярче, крепко затянувшись в последний раз, Василий несколько раз плюнул на окурочок, бросил его на землю, растер носком сапога. – Думаю...

– О чем?

– О хозяйстве нашем, как там батя один управляет-ся, о маманьке, сестрах... Прав дед-то этот, жили-то не так плохо, пока это все... Я, знаешь, крестьянствовать

люблю, лошадей, покос, а тут... По мне, пропади б они пропадом все эти колчаки, большевики, эсеры, белые, красные. Домой хочу.

– Так чего ж не сбежишь? – просто спросил Егор. – Я-то тебе вдогонку палить не стану. Мы ж с тобой вроде как братья стали теперь.

– Легко сказать, – тоскливо вздохнул второй номер «гочкиса». – Сбегу – тем и другим врагом стану. Чья переважит, тот и зачнет жилы с меня тянуть. До хозяйства опять же доберется.

Васька неожиданно хмыкнул, и Нефедов даже в темноте увидел, почувствовал, как расплывается в блин в широкой улыбке его мальчишеское конопатое лицо.

– А потом, ты ж один пропадешь. Шебутной, прешь куда ни попадя, ровно оголец. Завсегда тебе укорот нужно делать. А кому еще кроме меня? То-то.

– Ох и дурачина ты, Васька, – ласково сказал Егор. – Думай не думай, все одно от того толку не будет. Как судьба ляжет, так и сложится. Пошли лучше спать.

* * *

Осень в 19-м году выдалась в Причумышье неласковая. Уже в начале октября опали листья с деревьев, по ночам покрывались льдом залитые частыми дождями ложки. В середине месяца на Покров задул холодный, пронзительный ветер и, словно подгоняемые им, двинулись из много раз выручавшей их тайги в степь роговские батальоны. Они шли на Сорокино, один из главных опорных пунктов колчаковцев в мятежном краю.

Взять село неожиданным ударом, как надеялись партизанские командиры, не удалось. Еще на подходе к Сорокино роговцы были обнаружены дозорными колчаковцев, которые, вскочив в бричку, с дикими криками «Бандиты, бандиты идут!» помчались в село, изрядно переполошив его обитателей и защитников.

Первая атака партизан была отбита белыми достаточно легко, и Рогов отдал команду отступить. Перегруппировав свои силы, он вновь бросил их на штурм враже-

ских позиций. В этот раз атака была хорошо организована, и, несмотря на отчаянное сопротивление, колчаковцам пришлось отходить к превращенной в настоящую крепость сельской церкви, где они и укрылись. Ринувшихся на ее приступ роговцев встретил шквальный ружейно-пулеметный огонь. Оставив на подходах к церкви несколько убитых и раненых, партизаны приступили к ее осаде.

Вскоре после того, как стихла трескотня выстрелов, село вернулось к своей обыденной жизни и принялось отмечать праздник Покрова пресвятой Богородицы. Попыхивая смоляным дымком, топились во многих дворах бани, хозяйки выставляли на стол угощение нежданно-негаданно нагрянувшим в село многочисленным гостям, запиликали гармошки, потянулась на вечерки парни с девушками, к компаниям которых прибились немало молодых партизан.

К разместившимся в просторной избе пулеметчикам как обычно зашел на огонек Денис Поташов. На нем была сдвинутая на затылок богатая мерлушковая папаха, из карманов новенькой бекешы торчали горлышки бутылок с самогоном.

– Еще и сало есть, – с довольной улыбкой сообщил он, – и калачи. Будешь, Васька?

Хлебавший густые щи Митрохин не прервал этого занятия, лишь молча вытянул вперед свободную от ложки руку.

– Куда в тебя лезет? – притворно удивился Денис. – Да понятное дело, не свое, чего беречь. – Он сунул руку за пазуху, выложил на Васькину ладонь два еще горячих, аппетитно пахнувших калача: – Хватит с тебя.

Потом повернулся к Нефедову.

– Слушай, Егор, я тут знакомых встретил, с одним служили вместе, на вечерку зовут. Пойдем тоску-печаль прогонять, пока совсем не заела, а?

– Да я и забыл уж, когда на вечерках отплясывал, – усмехнулся пулеметчик. – С меня там мало проку будет. Да и потом война у нас вроде. Или кончилась она, да мне не доложили?

– Плевать на ту войну, – решительно заявил Поташов и в подтверждение своих слов энергично плюнул прямо на пол. – Теперь и не радоваться, что ли? Глядишь, убьют, тогда и належимся. Момент есть, надо погулять. Пошли.

– Новоселов подошел с отрядом из Кузнецкого уезда, помнишь, говорил про него? – спросил Денис, пока пулеметчик одевался. Егор молча кивнул. – Человек двести их, вооружены хорошо, батька Гришан им позицию определил. Веселые ребята, одно слово – анархисты. Может, к ним сходим? Я Новоселова знаю, еще знакомых погляжу, самосидки выпьем, в картишки перекинемся, а?

– Не хочу.

– И то верно, какая гулянка без баб. Давай тогда на вечерку.

– Пошли. – Нефедов туго подпоясал ремнем шинель, сунул в карман кисет с махоркой. – Веди, что ли...

С гулянки возвращались далеко за полночь. На вечерке Егор пил мало, плясал того меньше, почти не балагурил, а за девками и молодыми солдатками и вовсе не ухаживал, хотя по меньшей мере две из них на него точно с интересом поглядывали. В этом был абсолютно уверен Денис Поташов и искренне огорчился нерасторопности своего боевого товарища.

– Такая краля ему куры строила, а он ровно чурбан безглазый, – сокрушался он, дробя коваными каблуками схватившийся поверху луж ледок. – Ты чего ровно студень, а, Егор?

– Не знаю. Куража что-то нету, – вяло, лишь бы отвязаться от назойливого и разговорчивого после основательной дозы самогона товарища отвечал Нефедов. – Хмарь какая-то на душе.

Неподалеку от церкви, где засели колчаковцы, их остановили. Сухо клацнул затвор, и в тон ему из темноты угрожающе поинтересовались:

– Кто такие? Чего орете, по пуле соскучились?

– Да свои, свои, Поташов, – успокоил невидимого стража партизан. – Знаешь такого?

– А, Денис. Здорово, землячок.

– И ты здоров будь. Как там вражины, тихо сидят?

– Покудова тихо, что им, песни петь, что ли?

– Ничего, сейчас мы им покой порушим, – деловито заявил Денис, повернулся лицом к смутно проглядывающей в темноте громадине храма и, приложив ладони раструбом ко рту, заорал:

– Эй, кильчаки-точаки, как дела? Не весь святой храм еще с перепугу загадили?!

Стукнуло дважды, прожужжали в ночном сумраке над головами приятелей свинцовые шмели.

– Что так мало-то? – не унимался Поташов. – Али обнищали? Прибавить бы надо. Да на ладошку пониже возьми, дура. Я б тебе, будь твоим унтером, на три раза зубы за такую стрельбу пересчитал! Пусть патроны пожгут, – улыбаясь, повернулся он к Егору, – все нам польза.

Из церкви полыхнуло уже десятком выстрелов. От бревенчатой стены полетела щепка. Толстая щепка вонзилась в рукав поташовской бекеши.

– Хватит, – потянул за угол дома приятеля не любивший бравировать даже в подпитом виде Нефедов. – Пойдем, а?

– Во-во, валите, – посоветовали из темноты. – А то из-за вас, охламонов, еще зацепит кого ненароком. Чего улей ерошите?

– Пошли, пошли, – уже сильнее дернул за рукав, заупрямившегося было товарища пулеметчик. – Говоришь, жена есть, дите, а сам как пацан беспортошный.

– И жена есть, и дите, – послушно последовал за ним партизан. – А у тебя как с семейством, я чего-то и не спрашивал? Детишками не обзавелся еще?

Егор прошел несколько шагов молча, потом задумчиво сказал:

– Сам не знаю.

– Как же тут можно не знать, – рассмеялся Денис. – Либо есть они, либо нету.

– А у меня тут вроде как середка наполовинку. Таких, чтоб от меня, вроде пока нету, а вот жил в разное

время с двумя бабами, так к их мелкоте успел привязаться. Скучаю, бывает даже, – смущенно улыбнулся он. – Да и по бабам этим тоже, по какой больше и не знаю... Да там и третья еще есть, тоже из сердца не выходит.

– Ну ты даешь, – изумленно протянул Денис, поскользнулся на замерзшей лужице и, едва сохранив равновесие, остановился. Стал крутить сигарку. – Вот ты у нас какой бойкий-то был. А сейчас чего скуксился, Егорка? – От полноты охвативших его дружеских чувств он даже хлопнул Нефедова по плечу. – Давай найдем тебе тут подружку-солдатку, хоть с приплодом, хоть без него. К такому гвардейцу, свистни только, знаешь, сколь набежит?

– Не хочу.

– Ну и зря, – с сожалением сказал Денис.

– Сам знаю, а все одно не хочу... Ты вот помнишь бабу эту, попа жену, который в Дмитро-Титово дружинниками заправлял? – спросил вдруг Нефедов, когда Денис, докурив до самых пальцев самокрутку, бросил в сторону окурочок.

– Лядящая какая-то, у кого и охотка найдется такую обихаживать, – припомнил Поташов. – На кой ты ее вспомнил?

– У попа-то такая охотка нашлась, а она его под пули подвела...

– Классовая сознательность пробудилась, видать, пролетарских кровей баба, – потряс в воздухе указательным пальцем Поташов. – Это тебе не шутка.

– Да брось ты, не на митинге небось, – махнул рукой пулеметчик.

– Сука он тот поп, туда ему и дорога, – ровным и чистым голосом, будто и не пил вовсе, сказал Денис. – Батка Гришан попов не любит, головы им рубит, а Новоселов паче того. Так и есть за что которых. Вот у нас, до тебя еще, в Казанцево колчаки врасплох ребят прихватили. Может, выпивши те были, может, по другой какой причине, не знаю про то. Одного убили, а Михаила Логункова ранили. Он к одному из мужиков местных в погреб забрался, солдаты его и не нашли. А хозяин дома пошел потом в церкву

к батюшке и говорит тому, что у меня, мол, партизан раненый в погребке прячется, что мне делать. Не знаю, что ему тот поп присоветовал, только вскорости колчаковцы Михаила из того погреба вытащили и прямо на улице добились.

– Да я не про то... – досадливо сказал Нефедов, но Поташов не дал ему договорить, цепко ухватил за рукав шинели, повернул к себе лицом.

– Нет, ты погоди, коль сам начал. Тут вот в Сорокино сваященник был, отец Виктор, кол ему в могилу. Так мне один знакомец рассказывал, как поехал поп этот раз в поле, а там мужик с племянником из Камышенки овес на своей полосе косили. Мужику лет тридцать, а парнишке годков двенадцать...

– Ну и что? – опять перебил его Нефедов. – При чем тут мужик, парнишка этот...

– Сейчас узнаешь. – Денис достал из кармана бутылку с остатками самогона, в два глотка выпил содержимое, резко отбросил в сторону пустую посудину. – Подъехал, значит, поп и стал накладывать их овес себе на телегу. Сложил одну кучку, за вторую взялся. Мужик подошел к нему и спрашивает, не много, мол, будет, отец Виктор? Поп рассердился, сбросил весь овес с телеги и покатил назад в Сорокино, а там к поручику Романовскому, какой сейчас в церкви сидит. Рассказал ему этот отец Виктор, что видел в поле красную разведку. Белые на коней – и туда. Забрали и мужика, и парнишку. Мужика расстреляли, а мальчонку повесили в саду у винной лавки. Коль хочешь, я тебе потом покажу где, тут недалеко...

– Денис, – положил руку на плечо товарищу Нефедов. – Ну чего ты, я ж не попов защищать взялся, я про другое совсем. Вот послушай, не злись только.

Поташов согласно кивнул головой.

– Я про бабу эту, Закурдаеву. Тебе бы вот попалась такая...

– Упаси господи, – Поташов даже снял папаху и перекрестился.

– Вот и я про то. Баба она, считай, наша, за народ, а и коснуться ее не хочется, будто рыба какая тухлая.

Денис согласно кивнул.

– А вот помнишь девку, дружинника дочку, какая в Дмитро-Титово из пулемета по нам палила и наши ее на штыки подняли? Я потом у местных спросил, как ее звали – сказали, что Зоя Тугоухова. Так вот ты мне скажи, если б вот тебе выбирать, какую бы взял – попадью или эту Зою?

– Да я уж выбрал, – усмехнулся Денис. – На кой они мне обе?

– Да я так, вообще, – зябко повел плечами Нефедов. – Из интереса просто.

– Ну коль вообще, на кой ты себе всякой мякиной голову забиваешь? – со смешанным чувством удивления и раздражения поинтересовался у приятеля Поташов. – Тут еще войны впереди немерено, живыми бы остаться, а он себе, словно учитель какой или тот же поп, мысли разные сочиняет, одна глупее другой. Ладно, шут с тобой, скажу, – примял он ладонью папаху. – Не взял бы я ни той, ни другой. Одна хоть и за мужицкое дело пошла, пользу ему сделала, сама сучка, конечно. Кто раз предал, тому веры нет. А девка твоя пулеметчица – вражина лютая и дура попросту. Ей бы в закутке каком пересидеть, замуж потом выйти, детей нарожать, как бабе от века положено, а она за батькино добро под пули полезла, жизнь на него променяла. Живоглоты они, куркули, я-то уж их натуру знаю. И хватит на том, пошли спать. У меня из-за твоих разговоров умственных весь хмель из головы вышибло, в разор ты меня ввел.

– Это как? – ошарашенно спросил Егор.

– Да так, что зря я, выходит, за самосидку последние деньги отдал, да еще николаевскими. Это понимать надо. Пошли, что ли, чего ты опять на церковь пялишься? Завтра будем на ней силу пробовать.

Уже на подходе к дому, где они разместились на ночлег, Поташов вдруг опять остановился, вдохнул полной грудью морозный ночной воздух и уже совершенно трезвым голосом сказал:

– Как ни сложишь, с ними по-старому нам никогда больше не жить. Кто-то один обязательно другого под ногу должен загнать. Без того эта заваруха никогда не за-

кончится. Сирот только наплодим – вот и вся тебе социальная революция...

* * *

Шел второй день осады. Упрятав ладони в рукава английских шинелей, Нефедов с Митрохиным зябли в карауле. Из заложённых почти доверху мешками с песком окон церкви изредка постукивали выстрелы. Судя по всему, сдаваться в скором времени колчаковцы не собирались, а идти на них в лобовую атаку было бессмысленно, только людей зазря положить.

– Смотри, Егор, – пихнул в плечо задремавшего после бессонной ночи товарища Василий. – Чего это там, на колокольне, творится?

Нефедов протяжно зевнул, с трудом разлепив веки, поднял глаза на колокольню. Туда же напряженно вглядывались и все окружавшие церковь роговцы. На небольшой колокольной площадке теснилась кучка людей, в одном, большом и грузном, с золотыми погонами на плечах партизаны из местных быстро признали начальника колчаковского гарнизона поручика Романовского.

– Он гад, он, – шипло вымолвил кто-то. – Сколько народу безвинного в петлях подушил, как баранов на крюк подвесил...

– Ох ты, е-е... – с удивлением и страхом протянул Митрохин. – Чего надумали-то...

В вышине, на краю окружавшего колокольню площадку парапета, появилась белая фигура раздетого догола человека, на которой даже издалека можно было заметить пятна крови.

– Эй вы, бандюки красные! – донеслось сверху. – Этот вот к вам собирался, так мы не держим. Забирайте!

Фигура на краю колокольни пошатнулась, всплеснула руками и камнем пошла вниз. В мертво сгустившейся тишине раздался глухой удар. Ахнуло в сотню голосов, с партизанских позиций посыпалась густая ругань вперемешку с быстро стихшими выстрелами.

– Эй, бандюки! – вновь зычно донеслось сверху. – Еще к вам кто соберется, так же отошлем. Не жалко.

– Это кто там горластый такой? – спокойно поинтересовался позади пулеметчиков знакомый голос. Ловко спрыгнув с коня, Рогов упер руки в бока, насмешливо строго обвел взглядом сгрудившихся вокруг него партизан. – Давай-ка за избу, ребятки, от греха.

– Романовский это, сволочь пузатая, – твердо заявил все тот же сиплый голос. – Жаль далеко, не достанешь.

– Попробовать можно, – прикинув расстояние до цели, с сомнением сказал Егор. – Хотя...

– Попробуем, пока не ушел. – Батяка Гришан сдвинул на затылок шапку, сменившую его любимую соломенную шляпу, медленно провел ладонью по обнажившейся лысине. – Когда-то получалось у меня. А ну дай кто винтовку!

Он взял у одного из бойцов трехлинейку, пристроил ее на венец избы на уровне глаз.

– На три пальца пониже и чуток левее бери, Григорий Федорович, – словно боясь спугнуть поручика, шепотом посоветовал ему хозяин оружия.

Рогов не ответил. Прижавшись щекой к прикладу, он чуть присел, прищурился, шмыгнул носом и тут же выстрелил.

Острый глаз Егора заметил, как дернулась и осела грузная фигура на колокольне, тускло блеснув лакированным козырьком, полетела вниз офицерская фуражка.

– А ведь попал, братцы, – довольно сказал партизанский вожак, и тут же с колокольни залился бесконечной очередью пулемет, затрещали, как пожар в лесу, винтовочные выстрелы.

– Точно попал, – улыбнулся Рогов и быстро повернулся к бойцам: – А ну-ка давай на позицию, ребята. Глядишь, они сдуру на вылазку попрут, тут и прищучим.

* * *

Идти на вылазку колчаковцы не решились, лишь постреливали изредка дотемна по мелькавшим среди изб

фигурам партизан и не усидевшим дома местным жителям. Так же прошел и следующий день, а на исходе сменившей его ночи посыпало горохом на позициях отряда Новоселова. В треск винтовочных выстрелов вплелась ровная дробь пулеметов.

Поднятые на ноги стрельбой, Егор с Васькой торопливо курили на уже ставшем по-домашнему привычном крыльце, когда из-за реки послышался глухой удар, а затем раздался хорошо знакомый Нефедову еще с мировой войны шепелявый посвист.

– Не наш, – сказал он испуганно задравшему голову вверх Митрохину, – генеральский.

От громыхнувшего за домами взрыва Васька присел, ошалело посмотрел на товарища:

– Чего?

– Генеральский, говорю, – сунул в карман кисет Нефедов. – На германской так говорили, когда он перелет давал. Ну чего ты буркалы выпучил, гости к нам, и гости богатые. Давай пожитки собирать, нам с таковскими не управиться.

Подбежал запыхавшийся Дрожжин.

– Дайте попить, – хрипло попросил он и, сделав несколько глотков из фляги запасливого Митрохина, сообщил: – Подмога к белякам из Барнаула подошла, сообщили как-то они видать своим. С тыщу, а может, и больше, кто их считал. Пулеметы и при орудиях.

– Да слышим уж, – мрачно кивнул Егор, и словно в унисон его словам вновь бухнуло вдалеке, прошуршал над головами очередной снаряд.

– Новоселова сбили, – озабоченно-быстро поделился тем, что знал, Дрожжин. – То ли заснула анархия – мать порядка, то ли перепилась, мать ее... Патронов кот наплакал, надо отступать, пока можно. Давай пулемет на кошевку. Да быстрее, калины вам в глотку, быстрее давай!..

* * *

В повстанческий край вновь пришли каратели. Под напором прибывшего из Барнаула сильного отряда

капитана Неразика и присоединившихся к нему колчаковцев из сорокинского гарнизона роговцы отходили к тайге, на кромке которой поначалу собирались принять бой, но отказались от этого из-за недостатка патронов. Опять запылала огнем, вздыбилась фонтанами артиллерийских разрывов многострадальная Жуланыха, вновь потянулись по кочкастым таежным дорогам к поселку Агафоново крестьянские повозки. 20 октября колчаковцы выбили роговцев и из Дмитро-Титово, но это была, пожалуй, последняя их победа над батькой Гришаном.

Главной заботой повстанцев было оружие. Добытые в бою винтовки доставались бойцам со стажем, а их берданки переходили в руки пополняющей объединенный отряд крестьянской молодежи. Добровольцев хватало и с каждым удачным для роговцев боем становилось все больше. Значительную часть составляли укрывающиеся от мобилизации в колчаковскую армию деревенские парни.

Пулеметов у повстанцев поначалу почти не было, и тут приходилось обращаться к мужицкой смекалке. Чтобы обмануть противника, партизаны ставили на телеги трехлапые пни, накрывали тряпьем и возили по селам напоказ их жителям. Стоустая молва быстро доносила до колчаковцев слухи о том, что партизаны имеют на вооружении пулеметы. В бою, для введения неприятеля в заблуждение и распространения у него паники, порой пользовались трещотками из металлических шестерен имитировавших дробь очередей.

Быстро промелькнул октябрь. Забелил снежком, прихватил первыми морозами землю ноябрь. Повстанческое движение в Причумышье все больше набирало силу. Партизаны беспокоили колчаковцев уже в предместьях Барнаула, нападая на высылаемых ими в окрестные села фуражиров. Небольшие отряды были созданы совсем неподалеку от губернского города – в Рассказихе, Боровлянке, Васино. Всех их, как и многих других партизан Барнаульского уезда, народная молва часто «зачисляла» в роговцы, хотя почти никто из них батьку Гришана и в глаза никогда не видел.

Но слава народного заступника создавалась совсем не на пустом месте. В то время как выслаемые из Барнаула, Бийска и Кузнецка карательные части без особых трудностей и потерь разгоняли стихийно создающиеся во многих селах отряды и отрядики плохо организованных и вооруженных в основном пиками крестьян-повстанцев, сделать то же с Григорием Роговым и его сподвижниками белым не удавалось. Напротив, перемещаясь поздней осенью и в начале зимы 1919 года по обширной территории, роговцы с почти неизменным успехом громили противостоящих им колчаковцев.

В селе Ново-Копылово они разбили крупный карательный отряд чешского капитана Неразика, которому не помогли и две пушки, спешно отправленные белыми в Барнаул, дабы не достались партизанам. Перебросив свои основные силы к станции Баюново, Рогов и его командиры с ходу атаковали оснащенный орудиями и пулеметами эшелон противника и вынудили колчаковцев спешно отойти к Барнаулу. Партизаны испортили станционное оборудование, прервав железнодорожное сообщение на линии Барнаул–Бийск. Совершив быстрый переход, у села Порошино они наголову разгромили крупный отряд полковника Соколова, остатки которого гнали много верст.

В порошинском бою командир одной из колчаковских рот поручик Шестаков приказал своим подчиненным не стрелять в партизан и вместе со всем своим подразделением сдался им в плен. Командира другой роты, заставлявшего вести огонь по противнику, убили его же солдаты...

На митинге, где были собраны и все пленные колчаковцы, Рогов приказал вернуть Шестакову револьвер и отпустить его на все четыре стороны, а солдатам объявил, что кто из них желает, пусть вступает в партизаны, а остальные могут отправляться по домам.

Среди крестьян все чаще стали ходить слухи о том, что батька Гришан чуть ли не колдун и знает ведомые только ему заветные слова, из-за чего его нельзя ни победить, ни убить.

К концу ноября партизаны очистили от колчаковцев практически весь причернский край, уничтожили все опорные пункты белых. Все, кроме одного, самого сильного, созданного колчаковцами в расположенном на дороге Кузнецк–Бийск–Барнаул большом старообрядческом селе Тогул.

Для последнего удара по врагу Рогов и его командиры направили около четырех тысяч партизан при семи пулеметах. Гарнизон белой крепости насчитывал 800 человек, имел на вооружении пять станковых и несколько ручных пулеметов. Колчаковцы хорошо подготовились к обороне, вырыли три линии окопов, соорудили пулеметные гнезда, а расположенный в селе большой храм и вовсе превратили в настоящую крепость, заложив окна мешками с песком и сделав из них бойницы. На колокольне были установлены простреливающие всю прилегающую к храму местность пулеметы. Взять такой «орешек» даже при подавляющем численном превосходстве, но без артиллерии, было делом совсем не простым, однако партизаны на него решились. Они разгромили выступившие на подмогу гарнизону отряды белых из Кузнецка и Бийска, а затем 28 ноября 1919 года в десять часов утра окружившие село партизанские батальоны пошли на штурм тогульской твердыни...

* * *

Последний крупный бой партизан и белых в Причумышье стал и самым ожесточенным. Первые ощутимые потери роговцы понесли еще на подходе к селу, но по-настоящему кровопролитным бой стал на тогульском кладбище, где у колчаковцев была оборудована крепкая линия обороны. Все больше падало на подходе к ней убитых и раненых повстанцев, все ближе подходили к неприятельским окопам партизаны и, наконец, забросав их гранатами, кинулись в штыки. Началась рукопашная. Колчаковские добровольцы дрались отчаянно, по всему кладбищу слышались взрывы гранат, одиночные выстре-

лы, предсмертные крики, лязг оружия и густая матерная брань, в которой одна сторона не уступала другой.

Отсекая подходивших к месту боя партизан, из замаскированной ячейки застучал ручной пулемет «льюис».

– Давай сюда, Васька! – заорал Нефедов в ухо мокрому от пота напарнику, тащившему кроме своей половины «гочкиса» еще и коробку с патронами. – Вот на бугорок давай. Да быстрее ты, тютя, чего спишь?

– Это ж могила, Егор...

– Ну и хрен с ней, – свирепо взглянул на Митрохина пулеметчик. – Ему все равно. Давай говорю!

Вогнали в мерзлую землю сошки, Нефедов, быстро прицелившись, выпустил по врагу длинную очередь. Почти тут же ударила ответная. «Хороший пулеметчик, – мелькнуло в голове у Нефедова, – ох хороший». Он намертво впечатал пальцы в рукоять пулемета, стараясь как можно быстрее достать неприятеля, сделать так, чтоб смерть коснулась его раньше...

Опоясывая «гочкис» веером, взметнулась мерзлая земля вперемешку со снегом, ударившись о металл, с визгом ушла вверх пуля. Нефедов рывком втянул голову в плечи, но жать на спуск не перестал. Пулемет дожевал ленту и замолчал. За несколько мгновений до этого перестал биться и оранжевый огонек напротив. После заглушающего остальные звуки непрерывного рокота очередей, казалось, наступила полная тишина...

– Угробил я его, Васька! – заорал Егор. – Угробил суку! Видал работу, а?

От пережитого страха и огромного напряжения тряслось в ознобе все тело, а в голове билось словно набат: «Живой. Опять живой».

Он глубоко вдохнул морозный воздух, собрав в горсти комок смешанного с пороховой гарью снега, крепко отер лицо, толкнул в плечо Митрохина:

– Вставай, Василий, хватит бока отлеживать. – Вася был недвижим, и Егор уже знал почему...

– Вот как, – опять вздохнул он и осторожно перевернул паренька на спину. Английское сукно быстро

набухало кровью, а расстегнув шинель, Нефедов разглядел на груди товарища несколько пулевых ран. – Тебе, значит, Васюха, одному вся наша порция досталась. Ты полежи пока, я вернусь в скорости. Не оставлю так-то, найду тебе место на этом погосте.

Пулеметчик встал было в рост, но из церкви, где укрылись остатки обороняющих Тогол колчаковцев, стукнуло несколько выстрелов, прошла над его головой короткая пулеметная очередь. Егор быстро укрылся за бугорком могилы, но от задуманного не отказался. Осторожно подняв голову, прикинул возможные подходы к уничтоженной им пулеметной точке, снял ремень, а затем, перевернувшись на спину, и шинель.

Чему-чему, а ползать по-пластунски он поучил бы многих. Опыт в этом деле имел немалый, потому, наверное, и жив был еще. Плотнo прижимаясь к земле, лишь изредка немного приподнимая голову, чтобы не сбиться с верного пути, он медленно пополз к окопу колчаковцев. В него еще не раз стреляли, но попасть так и не смогли. Дополз.

У валяющегося сверху сошками ручного пулемета лежали двое срезанных точной очередью колчаковцев. Егор присел на корточки между убитыми, потянул с бруска «льюис». Его диск был пуст. Рядом, приготовленный для замены, лежал еще один, судя по весу, непочатый. В вырытой в стенке окопчика нише Нефедов нашел еще два. Он зарядил пулемет, сунул запасные диски в снятую с одного из колчаковцев брезентовую сумку. Покурил, засунул за голенище сапога еще один трофей – саперную лопатку и двинулся в обратный путь.

Он долго бродил среди кладбищенских крестов и выносивших с погоста своих убитых и раненых партизан, пока не нашел наконец подходящего места для последнего пристанища Васе Митрохину. Егор на руках перенес туда тело товарища. От вызывающей тошноту слабости дрожали руки и ноги, и он сел перекурить перед работой. Когда спалил самокрутку до половины, подошел Иван Дрожжин. Присев на корточки, взглянул в успевшее покрыться мертвенной бледностью лицо Василия, спросил коротко:

– Сразу наповал?

Нефедов молча кивнул.

– И то ладно, хоть не мучился перед смертью...

Иван присел рядом с пулеметчиком, потянул из кармана кiset, непослушными пальцами долго ладил сигарку, наконец закурил.

– Знаешь, Иван, – сказал молчавший все это время Нефедов, – ты мне напарника не ищи, дальше я один буду воевать. Вот добыл, – кивнул он на «льюис». – С ним и один управлюсь.

– Хорошая машинка, – со знанием дела согласился Дрожжин. – А только где я на «гочкис» номеров найду?

– Твое дело, – глядя на истоптанный сапогами снег, равнодушно сказал Егор. – Давай Ваську хоронить.

– Больше сотни наших сегодня положили... – вздохнул в ответ на его слова Дрожжин. – Кого по домам повезут, а других здесь, в братской могиле, захороним. Давай и Василия к ним, лучше все ж с товарищами, чем одному. Согласен?

Егор вновь молча кивнул головой.

– Выпить бы сейчас, да жаль нету. У Дениса, может...

– Его, говорят, тиф враз свалил. Ходил не жаловался – и разом. В Жуланиху повезли, дай Бог оклемается, – опять вздохнул Дрожжин. – Да-а... Больше сотни убитых да три сотни раненых, столько еще не теряли. Боюсь, мужики на пленных будут злобу гасить, тех, что в церкви спрятаться не успели. Говорят, из тех, кто попался, и анненковцы есть, с какими по теплу еще воевали.

– Где? – резко подняв голову, отрывисто спросил Егор.

– Да там, у ограды кладбищенской четверо. Сами справные, шинелки ладные, погоны черные с белым просветом и кант тоже белый. Двое-то сорвали, а другие не успели, видать. Я от разведчика нашего Сережи Зворыкина слышал, что такие у голубых улан из барнаульского дивизиона.

– Так. – Нефедов встал, повесил на шею пулемет. – Сошлись дорожки, значит.

– Ты чего? – легонько ухватил его за рукав Дрожжин.
– Обещал, как увижу, так и убью, – не слушая его, бормотал Нефедов. – Людей, суки, мордовать... Ваську...

– Да подожди ты, может, ошибка? – поднялся на ноги Иван, не выпуская рукав нефедовской шинели.

– Пусти, – сипло попросил его пулеметчик. – Отпусти, а то ударю.

– Я тебе запрещаю! – повысил голос Дрожжин, но шинель отпустил. – Приказываю, дура ты малахольная.

– Да хоть стреляй, – ощерился в недоброй улыбке Егор.

– Ну да, только это и осталось, – махнул на него рукой Иван. – Черт с тобой, Делай как знаешь.

Когда пулеметчик торопливо подошел к кладбищенской ограде, стоящие возле нее четверо колчаковцев были уже без шинелей и сапог, заботливо сложенных в кучку неподалеку. Толпящиеся рядом мужики лениво спорили, никак не могли договориться: смарать этих сейчас или подождать, чего скажет Рогов.

Егор подошел к пленным, цепко ухватил за погон крайнего колчаковца.

– Анненковец?! Год назад где был? – задыхаясь от туманящей рассудок ненависти, крикнул он. – Глаза людям колот под Славгородом?! Говори, сука! А Васька, Ваську... Твари...

Колчаковец резко мотнул головой, твердо, будто в прицел взглянул на Нефедова и тут же опустил глаза в снег.

– Так вот ты... – Егор отпустил погон колчаковца, сделал несколько быстрых шагов назад, сорвал с шеи ремень «льюиса». – Тогда так...

Пули секли вздрагивающие на грязном снегу тела, с визгом рикошетили от каменной ограды, заставляя приседать не решающихся приблизиться к пулеметчику роговцев. Замолчал, будто обессилел «льюис», зашипел в снегу раскалившийся ствол. Нефедов сел на землю, обхватил голову руками.

Сидел он так долго, а потом над головой Егора раздался знакомый, до рвоты ненавистный ему голос.

– Ну чего, Еруслан-богатырь, слюни пускаешь? Кончил гадов, молодец. Пошли теперь попам да буржуям башки рубить.

«Что ж тебя, тварь такая, как раз сейчас принесло? Ведь сколько не видел, не слышал. Ну, поговори еще, сука», – со вновь полыхнувшей в нем ненавистью подумал пулеметчик и встал на ноги. Доставая из кармана кисет, посмотрел, прищурившись на стоящего напротив Тим-Фрола. В добротном полушубке, новеньких сапогах-вытяжках и сбитой на затылок богатой енотовой шапке, роговский палач поглаживал ладонью эфес знакомой Нефедову сабли.

– Чего зенки выкатил? – издевательски усмехнулся он. – Соскучился, что ли?

– Уйди, – сдавленно сказал Нефедов.

– Чего это «уйди»? – деланно удивился тот. – Должен я на твою работу поглядеть. А то я не кат, солдат я. А кто ж ты теперь есть-то? – Все так же ухмыляясь, он склонил голову набок, чуть ли не в упор взглянул в глаза Нефедову оловянными пуговицами зрачков. – А?

Егор бросил на землю кисет и схватил врага за горло.

Они катались по земле в кругу молча смотревших на схватку партизан. Нефедов никак не мог справиться с вертким, наполненным нечеловеческой злобой и оттого сильным противником, но не мог совладать с пулеметчиком и тот.

– Прекратить! – властно командовал густой сильный голос. – Прекратить, паршивцы! Встать!

До того не вступавшие в схватку партизаны разом бросились вперед. Совсем обессилевший Егор безвольно обмяк в кольце крепких рук. Тим-Фрол рычал и матерился, пытаясь вырваться из медвежьих объятий партизан и вновь броситься на Нефедова, но занятие это явно было бесперспективным.

– Опять за свое, Тимка? – заложив руки за спину, недобро спросил у него Рогов. – А ну кончай брыкаться, пока совсем меня не разозлил.

– Да он сам, батька! – мгновенно успокоившись, зачастил Тим-Фрол. – Примазался, морда колчаковская, да еще кидается, гад!

– Это он-то? – с улыбкой посмотрел на отряхивающего шинель пулеметчика Григорий Федорович и вновь повернулся к Тим-Фролу. – Да он для нашего дела уже куда больше твоего наработал и еще успеет. Давай топай отсюда и моли бога, чтобы Анатолий до тебя со своим крайсоветом не добрался. Бобко-то пулю уже присудили за ваши подвиги – грабежи да мародерство, и не ему одному.

– С самого начала вместе, батька Гришан... – комкая в руках шапку, тихо сказал Тим-Фрол. – Помнишь?

– Помню, – коротко ответил Рогов. – И иди давай отсюда, пока не забыл.

Тимка обмяк, опустил руки, а затем резко плюнул на снег, рывком нахлобучил на голову шапку и легко, будто пританцовывая, пошел прочь.

Рогов подошел к Егору, внимательно посмотрев на него, стряхнул снег и грязь с шинельного ворота пулеметчика.

– Говорил мне уже Иван про твои подвиги. Молодец, парень. Орденов у меня нету, а наградить тебя бы надо. Пойдем, самосидки стакан налью, хоть сам я и непьющий. А то чаю с калачами попьем. Не зря ж говорят: чай пить – не молотить. Хоть вспотеешь, да не устанешь.

– Я этих без суда, без приказа... Вот, – кивнул Нефедов на распластанные у ограды в подмерзающих уже лужах крови тела колчаковцев. – Виноват я... Разобраться бы...

– Пойдем, пойдем, – махнул рукой партизанский вожак. – Правильно сделал. Сволочь сразу видать, без всякого разбирательства. Они тут такие один на одном, туда им всем и дорога.

– Товарища у меня убили. Мы в Салаире к вам вместе, помните, может... Надо бы к остальным его. Тут он недалеко, я покажу. – Нефедов понемногу приходил в себя, стал говорить осознаннее и четче.

– Мужики помогут. Верно, мужики? – повернулся Рогов к партизанам.

– Само собой, Григорий Федорович. Знамо дело по-моему. Это ж свои, по-людски все надо, – откликнулось сразу несколько голосов.

– Митинг соберем, поклонимся всем, кто сегодня головы за мужицкое дело положил. Попрощаемся с товарищами нашими, помянем их. – Рогов снял шапку, немного помолчал. – И паренька этого тоже, Васю. Помню я его по Салаиру. Не пойду, говорит, домой, лучше с вами. А с нами так вот бывает, и не обойдешь ее, и не объедешь...

* * *

За длинным столом с большим медалистым тульским самоваром пили чай с рыбным пирогом и свежеиспеченными калачами роговские командиры: барнаульский рабочий Крылов: недавний томский студент, а ныне сменивший раненого Григория «Орла» на посту командира партизанской разведки Зворыкин, любовно называемый мужиками Сережей; белокурый, скуластый с большими, словно лопаты, крестьянскими руками подпрапорщик германской войны Ворончихин; не раз выручавший Рогова в минуты смертельной опасности анархист Возилкин по прозвищу Ермак.

У стены по-хозяйски устроился на табурете коренастый мужик с ухоженной окладистой бородой. Добротные сапоги, бекеша, на левом боку казацкая шашка, на тонком ремешке через плечо деревянная кобура маузера. Он быстро мазнул по Нефедову цепким взглядом небольших, хитроватого прищуря глаз и тут же перевел его на стоявшего у окна парня лет тридцати с гордо посаженной головой и скрещенными на груди руками. Это был Матвей Ворожцов, Анатолий, которого Егор и видел до того всего один раз в Салаире, но запомнил хорошо. Да и слышал потом о нем много. Бородатый же, как сразу решил Нефедов, был не кто иной, как знаменитый в таежном краю анархист Иван Новоселов.

– Вот, – обвел взмахом руки своих товарищей Рогов и положил ее на плечо пулеметчику, – вот наша сила. Да мы с тобой в придачу, да те тыщи вооруженного народа, что сегодня до этого змеиного гнезда добрались. Кто совладеет, какая власть? Говорят, странники с России в наши края сотни лет ходили Беловодье искать, землю,

значит, чистую, вольную, от податей и начальства свободную, и не нашли. А мы ее своими руками завоюем. За то и народу столько сегодня полегло...

– Анархизмом попахивает, – поморщился Анатолий.

– А тебе и не в лад? – будто ждал этих слов, тут же ответил ему со своего табурета Новоселов. – Анархисты сегодня головы свои за революцию клали, а по тебе она только ваша, другие – не касайся. Вам все под себя грести надо, ревкомы сажать на мужицкую шею, свое государство сатрапское ставить. Ты не думай, что ты один шибко умный, городские науки превзошел, Карла Маркса читал, а значит, все об обустройстве жизни знаешь, любому сможешь голову задурить.

– Бакунин Михаил, что при царях по тюрьмам в разных странах сидел, революцию там зажигал, писал, что марксизм похуже царского прижима будет, – вступил в разговор внимательно слушавший спор Рогов. – «Кто говорит о государстве – подразумевает угнетение, а тот, кто говорит об угнетении, подразумевает эксплуатацию». Вот его слова.

– Ты ж откуда, Григорий, такие штуки знаешь? – тряхнул светловолосой головой Ворончихин. – Чудно просто.

– Да ничего чудного нету. – Рогов присел к столу, повертел в руках пустой стакан, поставил его на место. – Сидельцем когда был в винной лавке, много времени было. Читал. И такие вот слова узнал тоже.

– Правильные слова, – поднял вверх указательный палец Новоселов. – Уничтожить государство, господство и неравенство – вот наше дело!

– А потом? – насмешливо прищурился Ворожцов. – Добровольное бессистемное сотрудничество рабочих и крестьян, федерации и прочая чушь? Темный ты, и ребятки твои такие же. Азов социализма не знаете, а туда же, о переустройстве общества судить беретесь.

– А ты светлый? – вскочил с табурета Иван Панфилович и, будто опасаясь, что этим свои действия не ограничит, завел руки за спину. – Вы своим светом – дай вам волю – всю крестьянскую породу выжжете. Про общество гово-

ришь... Я за него у колчаков в камере смертников сидел, от казни с поезда под пулями бежал. Мать мою в каталажку заперли, жену, брата Федю замучили. Меня два раза командиром выбирали, и ваши большевики тоже руки тянули, своих-то не нашлось. А вы, светлые, чеху Томск без выстрела отдали, по щелям прятались, а потом вот к Григорию на готовенькое набежали, чтоб как Колчака скovyрнем, под себя все подмять, настоящих бойцов революции огнем выжечь. Не так, что ли?

Анатолий закаменел лицом и тоже заложил руки за спину.

– Лишнее, вредное новой жизни, конечно, выжжем, – не отрывая взгляда от Новоселова, размеренно сказал он. – Кровососов разных, да таких, что палки в колеса уже сейчас суют, бестолковщину и контрреволюцию проповедуют – обязательно.

– Вот это хорошо. – Новоселов неожиданно улыбнулся, подошел к столу, стал цедить кипяток из самовара в пустой стакан, не спеша долил сверху заварки из чайника и, не поворачиваясь к Анатолию, добавил: – Очень хорошо, парень, что ты мне душу свою открыл. Спасибо за науку.

Продолжая улыбаться, он присел на лавку, зачерпнул в тишине ложечку варенья из вазочки и принялся с удовольствием пить горячий чай.

– Ну, что стоишь столбом? – тронул рукой за рукав шинели пулеметчика вошедший комнату Дрожжин. – Пойдем за стол, чаю попьем. Видишь, не ко времени малость пришлось, – тихо добавил он.

– Чего шепчетесь? – повернулся к ним от стола Рогов. – Давайте чаевничать. У нас тут разговоров много разных бывает, не переслушаешь, но от своих тайн нету. Давай, давай, парень, а то потом скажешь, пообещал, мол, батька Гришан чаем напоить, да несолоно хлебавши и отпустил.

Егор словно воду, выпил поднесенный ему Возилкиным стакан самогона. Вяло, не чувствуя никакого вкуса, принялся жевать калач. Словно через ватные пробки доносились до него звучащие в комнате слова, но, несмотря на

охватившую Нефедова вялость и сонливость, мозг его работал словно отдельно, фиксируя почти все услышанное.

Анатолий деловито прошелся по комнате и буднично, словно и не было недавнего жесткого спора, стал говорить, похоже, давно обдуманное:

– Я считаю, стоит организовать роту особого назначения, которой поручить следить за порядком. В ее состав должен войти самый надежный элемент. За все преступления уголовного характера и мародерство применять репрессивные меры.

Нам у себя надо объявить военную диктатуру, без которой не может быть спасения революции и порядка в малосознательных массах. Во имя будущих благ социализма необходимо со всеми нарушающими порядок поступать, как с изменниками.

Неисполнение требований командного состава есть измена социализму, возвращение из боя без винтовки, оставление поста самовольно или сон на посту – то же самое. А за измену, понятно, кара одна – смерть по товарищескому суду. За изнасилование – смерть. За тайное или явное убийство без суда – смерть.

– За выпивку тоже? – поинтересовался с наполненным на треть стаканом в руке Иван Дрожжин.

– По мне, и за выпивку бы тоже, но, думаю, не согласятся со мной, потому за выпивку без разрешения командира такого обезоружить и заставить идти пешему за отрядом 30 верст. С командиров, как они на виду и другим примером должны подавать, спрос особый, вплоть до расстрела.

– Понятно, – сказал Дрожжин. – Тридцать верст – это много. – Он повертел в руке стакан и поставил его обратно на стол. Ворончихин раскатисто захохотал, за ним и другие.

Ворожцов с укором посмотрел на товарища, потом сам еле заметно улыбнулся:

– И еще...

– Не сильно размахался-то, парень? – хмуро поинтересовался Ермолай Возилкин. – Ровно ветряная мельница молотишь, того гляди полетишь.

– Ничего, не сильно, – поддержал Ворожцова Александр Крылов. – Мы – революционная армия, а в армии без порядка и дисциплины никак. А у нас что? Многие под вывеской борьбы с религией открытым грабежом занимаются, разное добро поповское из церквей тащат. У одного из твоих, – посмотрел он на Новоселова, – дароносицу на боку видел. Зачем она ему и сам небось не знает. Этот твой, Оська Косолапый, штаны себе из церковных риз пошил. Думаешь, всем нашим партизанам да крестьянам, за кого воюем, такая одежда понравится?

– Ну ты, Крылов, за попов шибко не вступайся, – стукнул стаканом по столу Рогов. – Они для мужика хуже кадетов да Колчака будут. Кто Гришку Распутина во дворец немке-царице в постельку подсунул, чтоб они потом германцам русских солдат по тридцать серебряников за голову продавали? Они. Я вот тут думал как-то, – неожиданно усмехнулся он, – попы, они же вроде как солдаты у Господа Бога, а он, значит, им генерал. Обязан солдат приказ генерала исполнять? Само-собой, потому как устав велит. А в божьем уставе что сказано? Не укради. А они купцов, буржуев, куркулей, что под себя добро у народа наворованное нагребли, защищают. Всякая власть – от бога, говорят. Раз защищают, значит сами воры. Не убий, а карателей людей бить благословляют, значит, сами убийцы.

Получается, они устав божий по всем статьям нарушают, значит, не только народу – и ему изменники. Чего ж их таковских жалеть?

Новоселов рассмеялся, не сдержал улыбки смешливый Иван Дрожжин, да и другие командиры тоже. Григорию, похоже, давно хотелось поговорить об этом, потому, переждав смех, он продолжил:

– Вот жалуются, кто поповскому дурману подвержен, что я церкви жгу, колокольни рушу. Так колокольня она, пока на ней колокол, а поставь туда «максим» – пулеметное гнездо будет, партизанам смерть. Должен я, поскольку командир, такого дела не допустить? Обязательно. Вот и рушу. Вон там за окнами у нас что, церковь двухпрестольная? Никак нет. Крепость там, с какой не враз

совладаешь, в осаде ее держать придется, опять людей класть. А ты говоришь... – ни к кому не обращаясь, с упреком и горечью сказал Рогов и, мельком взглянув на Нефедова, подвинул к нему тарелку с калачами. – Давай наворачивай по-солдатски, а то клюешь, будто горобец.

– Да-а... – устало потянулся он. – У нас с попами любовь крепкая, не раз они меня на тот свет отправить хотели. Раз Ермак спас, – кивнул он на Возилкина. – Баба мне студня поднесла, а он с волчьим ядом. Хорошо Ермолай ее саму попробовать заставил, а она в слезы. Батюшка надумил антихриста извести. Еле отговорил мужиков, чтоб не смарали ее, дуреху. Другой раз монах какой-то Захарий с топором на меня на сходе кинулся, как и увернулся-то от него, сам не пойму. Ну, того кончили.

Я бы эти церкви, особо колокольни, все поносил, да против общества иной раз идти не хочу. В Ларионово думал церковь сжечь, так мужики упросили оставить, пообещали, что колокола снимут и школу там сделают. Оставили. Другие вот приезжали с тем же, послал записку, чтоб не жгли...

– А Иван Новоселов следом людей отправил, – усмехнулся Крылов. – И пепла, видать, уже от той церкви не осталось, а мужички нам небось большое спасибо сказали.

– Попы и церкви, дурман религиозный – самое большое зло, какое на свете есть. Плохо, коль таких простых штук не понимаешь, – пристально посмотрел на него Новоселов. – Руки мужику вяжут, страшным судом страшат, мол против господина своего выступишь – зло сотворишь, перед Богом отвечать будешь. А я вот читал у одного древнего грека, у Эпикура, ага, – он, с горделивой усмешкой взглянул на Анатолия, – что если Господь может, да не хочет зло искоренить, значит он сам зло. Если не может, что с такого толку. А если и может и хочет, откуда зло тогда, эксплуатация, куркули-живоглоты? Вот и выходит, что нет его. Попы выдумали – утробу набивать да людей дурить в своих церквях. Жечь их, и разговора другого нету.

– Ну, это еще поглядим насчет разговора, – оценивающе посмотрел на него Крылов. – А я вот насчет «не укра-

ди» – такой параграф не только в божеский, и в партизанский устав бы записал, да со строгой карой, а то уж сколько мужиков чужой карман со своим путать стали. И твои тут первые закоперщики!

– За поповское да буржуйское добро беспокоишься? – усмехнулся Новоселов.

– За порядок революционный.

– Это для того порядка крайсовет ваш лучших партизан, что тайгу со мной прошли, под расстрел подвел? – неожиданно побагровев, жестко спросил Рогов. – Жаль, что я его не разогнал к чертям собачьим, на уговоры ваши поддался.

– Насильников да грабителей к расстрелу присудили, чего ж тут неправильного? – словно молодой бычок нагнул голову Анатолий. – Чего сволочь защищать? Всем им по пуле будет, и этому, Тим-Фролу первому. Жаль, что раньше ее не получил. А крайсовет мы вместе создавали, и не тебе одному его разгонять.

– Коль набедокурил кто, его сами партизаны должны судить, и не сейчас, а когда Колчака побьем, – стоял на своем батька Гришан. – Сейчас воевать надо до смерти, а не съезды и судилища устраивать.

– Так ты что ж, Григорий, опять на съезд идти не хочешь? – поднялся из-за стола, упершись в него кулаками, Крылов. – Договорились ведь...

– Про договор помню, – хмуро бросил в ответ Григорий. – Завтра митинг, оставляем на осаде церкви батальон Максима Белокобыльского и выступаем на съезд в Сорokino. Этих, что в церкви, придушить успеем, деться им некуда.

– Пошли, Егор, – положил руку на плечо пулеметчику Дрожжин, – отдохнуть тебе надо, не в себе ты вроде.

– Все колчаки те, анненковцы из головы не идут, – поднял глаза на товарища Нефедов, – пострелял их безоружных, ровно палач какой, а они, может...

– Ладно тебе, пошли. Пошли, я тебе самогону дам, поспишь, завтра мужиков хоронить будем. Страшно смотреть на тебя. И еще чего тебе скажу, чтоб себя зазря не

мучил. Эти вот, каких ты пострелял, тут в Тогуле сотни людей лютой смертью казнили. Мужики местные говорили, на крюк под ребро подвешивали. А в амбаре тут, у купца Макарова, водили сейчас показать, разведчики наши замученные. Один вовсе сквозь руки и ноги гвоздями к стене прибитый, ровно Иисус Христос. Так-то... – Иван надел папаху, поднялся из-за стола. – Потому забудь про свое, в грязи да крови ходить – чистым не останешься. Кончится это все – тогда и отмоемся.

* * *

Открытие третьего съезда восставшего Причернского края Алтайской губернии было намечено поначалу на конец ноября 1919 года, но затем в связи с боевыми действиями по требованию Рогова было перенесено на 5 либо 6 декабря. Два предыдущих съезда повстанцев прошли в Жуланихе. Первый в июле, когда власть Колчака была еще крепка и многим казалась незыблемой, собрал немного делегатов из немногих же волостей. Второй в октябре был уже куда масштабнее – 159 делегатов из 30 селений девяти волостей. Проходил он во время осады партизанами церкви в селе Сорокино. Председательствовал Григорий Рогов, в президиум вошли Ворожцов, Дрожжин и одним из первых пришедший к партизанам из города большевик Новиков, больше известный по прозвищу Скиталец. Работа съезда была прервана подступившим к Жуланихе большим и хорошо вооруженным отрядом капитана Неразика. Он принудил партизан отступить в тайгу и забыть на время о парламентской деятельности, к которой сам батька Гришан всегда относился довольно неприязненно.

Летом 1919 года в повстанческом крае был создан и краевой военно-революционный совет. Григорий Рогов большого значения его деятельности не придавал, сосредоточившись целиком на боевых делах. Под влиянием крайсовета, в котором большой вес имели недавние барнаульские подпольщики во главе с Анатолием, с помощью устной агитации и отпечатанных на захваченном в селе Заречное шрифтографе листовок, а главное – боевых

успехов партизан-роговцев, во многих селах Титовской волости Барнаульского уезда сельские сходы приняли решение о присоединении к восстанию.

В боевые отряды зачислялись добровольцы, имеющие оружие, во главе их ставились выборные командиры. В деревнях избирались сельские штабы, в обязанности которых входило осуществлять конфискацию имущества у зажиточных селян и пособников колчаковского режима, оказывать содействие в уборке семьям партизан, вдовам и сиротам, нуждающимся в помощи. И такая помощь действительно оказывалась.

Урожай 1919 года в Причумышье выдался хороший, и во время массового ухода мужского населения восставших деревень в партизаны во многих из них, таких, как Зубоскалово, были созданы специальные артели. Они убрали весь хлеб подряд без внимания, на чем поле он растет, помещали в общественные амбары.

Открытие третьего съезда восставшего края проходило совсем в других условиях, чем двух предыдущих. Повстанцы уже не поглядывали, как бывало, на пути отхода в сторону родной чернь-тайги, но прочно закрепились на отбитой ими у колчаковцев территории, были значительно лучше прежнего организованы и вооружены и хорошо понимали значимость своей силы.

В первые зимние дни на съезд в Сорокино прибыли без малого шестьсот делегатов из 18 близлежащих волостей, и когда 4 декабря сюда из Тогула подошли многочисленные отряды роговцев, многим из них пришлось размещаться в селах по соседству.

Столько приезжих за свою долгую историю Сорокино не видело никогда. В переполненных народах спали вповалку, ели, выпивали и до хрипоты, а то и до драки, спорили желанные и не особенно желанные гости. Речь шла все о том же: какой быть будущей власти. Не обращая особого внимания на крепкий мороз, закипел тысячный митинг на площади у Народного дома.

– Съезд – это новая власть, а стало быть, новое ярмо на мужицкую шею. Не надо нам, мужики, никакой власти и

никаких съездов! – широко расставив ноги и положив руку на эфес шашки, говорил с превратившихся в трибуну саней Иван Новоселов. – Из-за власти все ваши страдания, из-за нее и война гражданская. Неужто новую себе хотите, когда еще эту не покончили? Верно я говорю? – повернулся он к подошедшему к саням через уважительно расступившуюся перед ним толпу Рогову. – Вот и батька Гришан вам то же скажет. Верно, Григорий Федорыч?

– Медведь жив, как его, не убив, шкуру делить? – спросил, глядя поверх голов митингующих, партизанский вожак. – На кой нам этот съезд, нам мягкие кресла делить ни к чему, своим трудом живем, земля кормит. Нам спешить некуда, без Советов проживем. Меж собой, без заезжих брехунов о чем надо договоримся. Вот и все вам мои слова, а дальше думайте, у вас свои кумекалки есть.

Он спрыгнул с саней и, наклонив вниз голову, пошел не спеша к Народному дому, за ним пошагал и Новоселов.

– Какой власти быть – народу самому решать, – заявил сменивший на ораторском посту Рогова Иван Дрожжин. – Надо сельские сходы провести, и уж какое решение они примут, так и делать.

– Рассудительно говорит, – заметил кто-то стоявший за спиной Нефедова. – Это кто ж такой?

– Начальник пулеметной команды Иван Дрожжин, – мельком глянув на закутанного в безразмерную доху пожилого бородача, ответил Егор и вновь повернулся к саням.

– Пулеметной... – уважительно протянул голос сзади. – Это штука серьезная. Кто ж с ним заспорит, когда у него сила такая. За кого он, тот и правый будет.

Егор насмешливо хмыкнул и тут же подумал, что мужик этот, похоже, прав...

– С Советами пока и помедлить можно, чего их сейчас вприпрыжку создавать, когда врага еще не добились, – продолжал Иван.

– Товарищи, товарищи! – перебил его, торопливо взбираясь на сани, мужчина в городском пальто и цигей-

ковой шапке. – Товарищ Дрожжин тут перегибает явно. Разве не за советскую власть вы сражались? На подходе наши войска из России, там везде живет советская власть. Какая ж вам еще нужна, коль эту вся Россия признала?

– Нам твоя Россия не указ! – всплеснулся над толпой звонкий голос.

– Там мужик к любому ярму привычный, а мы его не нашивали и носить не будем, – поддержал его другой.

– Погодите, товарищи. – Оратор снял шапку, прижал ее к груди. – Погодите. Чего вы так, будто я вам чужой? Зовут меня Лолий Решетников, я к вам от барнаульского подполья послан на съезд, член партии большевиков с марта 17-го. Фронтовик германской войны и с белыми, как и вы, тоже воевать доводилось. Я вот что вам еще сказать хочу. Тут товарищ Рогов говорил, что медведь еще не убит, и это верно, Колчак жив и еще силен. Впереди генеральное сражение, и надо в него вступить организованно. Требуется из ваших отрядов создать дивизии по армейскому примеру...

– Чего?! По какому там примеру? – зашумело зарокотало прибоем вокруг саней. – На старые порядки заворачиваешь! По горло уж находились, пусть другие пляшут! Тебе надо, ты и иди в свое генеральное, а то и куда подальше...

Оттеснив в сторону Решетникова, на «трибуну» взобрался раскрасневшийся от переполнявших его чувств, мороза и самосидки коренастый мужик в распахнутом на груди полушубке, с двумя бутылочными гранатами на поясе.

– Чего нам городских слушать, товарищи вы мои! – заорал он. – Верно сказал батька Гришан, у нас свои кумекалки есть. Им чужого добра не жалко, своего-то не нажили. Им наши слезы, что вода будут. Ишь придумали – идти не знамо куда, смерти искать. А бабам дома как без мужьев? А как Колчак завтра сюда придет, кто его тут встренет, хозяйства наши и семьи от разора оборонит? А?! Ты не мути тут, – свирепо взглянул он на Решетникова. – А то сам пойдешь прямиком к царю Николашке. Хватит с нас указчиков.

– Верно! – заревело вокруг. – А ну бери его за шиворот. Бей таковских!

Толпа грозно надвинулась на сани, но тут, спихнув с них коренастого, в сбитой на затылок папахе встал ей навстречу Иван Дрожжин.

– Тихо! – с набухшими, как веревки, жилами на шее заорал он. – Кончай бузотерить, не то с «максимов» чесану!

Разом притихло, и тут же за спиной Егора раздался знакомый голос:

– Вот она сила и есть. Можно домой итить, ярмарка кончилась.

* * *

Стремительно разворачивающиеся в сотнях верст от шумного Сорокино события коснулись большинства собравшихся в нем в эти дни людей, положив, хоть и на время, конец их непримиримым спорам.

В ночь с 4 на 5 декабря 1919 года военнореволюционный совет повстанческого края обсуждал сразу три неожиданно вставших перед ним вопроса. Первый из них касался доставленного партизанам приказа командования 5-й Красной армии, предписывавший роговцам нанести удары по Барнаулу и Сибирской железнодорожной магистрали на участке Тайга–Мариинск. В приказе, в частности, говорилось: «Необходимо приостановить у него (Колчака. – *Авт.*) железнодорожное движение». Кроме того, обсуждалось обращение рабочих и солдат Кузнецка, восставших, как в нем говорилось, против колчаковцев и интервентов, об оказании помощи в отражении двигавшихся против них карателей, а также просьба восставших на станции Черепаново солдат Литовского батальона о зачислении их в партизанские войска.

Предлагавший отложить выступление до окончания работы съезда Анатолий не был поддержан никем, в том числе и своими товарищами большевиками. Оставшись в одиночестве, он тоже отказался от своего присутствия на съезде, согласившись принять немедленное участие в намечавшихся боевых действиях.

Военный совет принял решение выдвинуть через Кузнецк в полосу железной дороги четыре партизанских батальона. При этом добровольцы под командованием Григория Рогова должны были выступить незамедлительно.

6 декабря в протоколе № 1 первого «заседания краевого съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в с. Сорокино» под пунктом № 2 появилась запись: «Слушали: Приветствие военно-революционному комитету и тов. Рогову. Постановили: Вынесено единогласно следующее приветствие: краевой съезд рабочих и крестьянских депутатов приветствует в лице Военно-революционного комитета и тов. Рогова всех партизан, начавших борьбу и борющихся за освобождение трудящихся от ига белогвардейской власти Колчака, желаем успеха в дальнейшей борьбе против угнетателей. Для выражения приветствия выбраны т. Ленер и Закурдаева».

Григория Рогова в это время в Сорокино уже не было. Во главе двухтысячного отряда партизан верхом на любимом коне Стеньке Разине ехал он по дороге на Кузнецк.

* * *

От Сорокино до Кузнецка роговцам предстояло пройти более двухсот верст, большей частью по безлюдной, насквозь промерзлой заиндевевой тайге. Особенно доставало от холода одетым в тонкие шинели недавним дезертирам из колчаковской армии. Двигались в конном строю, на саях и кошевках. Походных кухонь не было, из-за быстрых сборов партизаны не успели запастись как следует продовольствием и фуражом, потому приходилось недоедать и людям, и лошадям. Однако держались партизаны бодро и даже молодцевато – как молодые парни, так и мужики в возрасте. Шутили, рассказывали друг другу разные побасенки, даже пели, бывало. Ехавший большую часть пути верхом Григорий Рогов ничем не отличался от своих бойцов. Черный полушубок, валенки, шапка-ушанка – обычный мужик. Мерз как все, ел то же, что и другие,

разве что спал куда меньше многих да думал за всех, как командиру и полагается.

В пути, увеличив отряд едва ли не вдвое, к нему прибилося множество «желающих помочь» восставшему Кузнецку крестьян. В основном хозяйственных мужичков на саях, обычно не имевших оружия, зато обладавших немалым запасом просторных мешков под будущие «трохеи». Мороза они не боялись, поскольку были облачены в пимы, меховые шапки, а поверх полушубков еще и в безразмерные холщовые шабуры. За что их бывалые партизаны насмешливо именовали шабурниками.

Прошли не останавливаясь мимо Тогула, где батальон Максима Белокобыльского все еще держал в осаде колчаковский гарнизон, сделали короткий привал в Таловке. В деревне находился винокуренный завод купца Аникина, который, как было известно, за Колчака не стоял и даже принял на работу нескольких укрывающихся от преследования партизан. Потому не тронули ни купца, ни его спирт. Ну разве что так, помаленьку...

Через тайгу отряд вел много партизанивший в этих местах и хорошо их знающий Иван Новоселов. Иван Панфилович торопился и настойчиво торопил других и кроме желания побыстрее добраться до «кровососов», была у него и другая, личная причина спешить. В Щегловске в колчаковской тюрьме ждала появления на свет ребенка его жена, и чем ближе был он к ней, тем больше надеялся, что ее удастся спасти...

Уже на подходе к городу роговцы остановили и, сделав серьезное внушение, отправили обратно направлявшуюся в город большую группу мародеров из окрестных деревень, целый караван саней, предназначенных под погрузку буржуйского добра. Затем Рогов обратился к своим бойцам с короткой речью, предупредив, что за грабеж и насилие виновные будут расстреливаться на месте преступления. Это предложение было передано по цепи до последних рядов, но вразумило, как вскоре выяснилось, далеко не всех.

В марте 1919 года, когда против власти Колчака восстали шахтеры расположенных в сотне верст от Кузнецка Кольчугинских копей, выступить против них добровольцами солдаты местной воинской команды согласились практически единодушно – пусть в каратели, лишь бы не на фронт. В конце мая на усиление гарнизона в Кузнецк был переброшен из Бийска 62-й батальон колчаковцев под командованием капитана Скурата, который разместился в центре города. Вскоре после прибытия этой части всех солдат гарнизона повели в собор на молитву, а затем перед ними выступил герой русско-японской войны генерал Путилов. В 1914 году он вышел в отставку и в возрасте 60 лет перебрался из Петербурга в Кузнецк, очевидно, ожидая получить здесь большой покой. Но отдохнуть ему не пришлось. В августе 1918 года Путилов занял пост начальника войск Кузнецкого гарнизона в составе армии Временного Сибирского правительства; позже, в июле 1919 года, приказом адмирала Колчака Павел Николаевич был назначен уполномоченным войсками Омского военного округа по охране государственного порядка и общественного спокойствия в Кузнецком уезде. Он рассказал о бесчинствующей в соседней Алтайской губернии банде Рогова, которой в скором времени, без всякого сомнения, придет конец.

В канун восстания большая часть входящей в гарнизон города 12-й роты была отправлена под командованием поручика Мальцева в атакованный роговцами Тогул. Эта рота считалась в гарнизоне более благонадежной, так же, как и 11-я. В их составе было много добровольцев, солдаты и офицеры этих подразделений были одеты в хорошее английское обмундирование, имели лучшее оружие. 10-я рота состояла в основном из дезертиров колчаковской армии, а также выздоравливающих солдат германской войны. Они носили старое обмундирование и долгое время вообще не имели никакого оружия, затем им все же выдали старенькие винтовки.

В конце ноября прошел слух, что весь гарнизон города должен будет влиться в отступающие войска

колчаковской армии, что совсем не устраивало большинство его солдат, однако дальше случайных встреч наиболее бойких из них, что проходили время от времени в гарнизонной пекарне, дело не пошло. Все решилось разом, в первый день зимы 1919 года...

Накануне в местную тюрьму были доставлены около двадцати крестьян-бунтовщиков из села Кондалеп, и собравшиеся 1 декабря для обсуждения вопроса отхода из Кузнецка офицеры штаба гарнизона приняли решение «разгрузить» перед этим тюрьму, расстреляв всех политических заключенных, в том числе бунтарей из Кондалепа. Подслушавший этот разговор солдат сообщил о нем в десятую роту.

Новость оказалась более чем серьезной, она была попросту убийственной. Если в марте, когда Колчак наступал, для многих солдат выступить на подавление восстания было хоть и неприятно, но вполне приемлемо, то сейчас обстановка была совсем другой...

Принять теперь участие в расстреле людей, выступивших против колчаковской власти, было бы не просто безнравственно и преступно, но и смертельно опасно. Пока для безудержно продвигающихся в глубь Сибири красных они были одетыми в солдатские шинели братьями по классу, которых те вряд ли станут трогать, но после участия в расстреле рассчитывать на снисхождение красноармейцев, а тем паче партизан, не приходилось. Да и просто, по-человечески, становиться убийцами не хотелось.

Оружие в руках было, были и шансы на победу в восстании. И они восстали. Ночью несколько наиболее решительных солдат ворвались в расположение 10-й роты, убили дежурного прапорщика Ковалевского. Один из инициаторов восстания Суховольский обратился к солдатам с призывом принять участие в выступлении, однако в ответ многие из них попросту разбежались и попрятались кто где смог. Воевать вызвались не более 80 человек, но пути назад уже не было. Из офицеров в роте оставался

один прапорщик Скориков, которому и предложили принять командование. Он категорически отказался, и тогда солдат Губанов заколол его штыком и принял на себя командование ротой. Находившиеся в городе офицеры гарнизона не сумели организовать достойного отпора бунтовщикам, и после короткой перестрелки, унесшей жизни нескольких человек с той и другой стороны, колчаковская власть в Кузнецке прекратила свое существование.

Восставшие арестовали начальника тюрьмы полковника Цвеха и тут же расстреляли его, был убит и командир 11-й роты поручик Миловидов, несколько милиционеров и колчаковских добровольцев, арестованы и отправлены в тюрьму генерал Путилов и начальник уездного воинского управления подполковник Зволинский. Были выпущены из тюрьмы все политические и уголовники, которые, будучи людьми предприимчивыми и решительными, тут же отправились в казармы, где и обзавелись оставшимся бесхозным оружием.

Состоялся митинг, на котором выступил член прокопьевского совдепа Афанасий Иванов с призывом к солдатам объединяться. Он и был избран председателем пока еще не существующего городского ревкома.

Но прошла угарная ночь, и для восставших солдат настало время подумать о ближайшем будущем. Из наиболее боевых и решительных был создан отряд, призванный выступить, встретить на подходе к городу и не пропустить в него отряд поручика Мальцева, если тот станет возвращаться из Тогула. После этого Кузнецк остался без организованной вооруженной силы и, несмотря на наличие ревкома и созданной им по типу ЧК службы охраны порядка, фактически оказался во власти бандитов. Да и сам ревком, реквизирующий ценности – «дабы не растекались», в глазах большинства горожан от уголовников отличался только наличием «вывески».

В Тогул к Рогову была послана делегация с просьбой о помощи, однако самого батьку Гришана она там уже не застала, он в это время был в Сорокино. Командир осаждавшего местную церковь 6-го партизанского

батальона Максим Белокобыльский, решив, что делегаты эти вполне могут быть шпионами, посланными для того, чтобы заманить партизан в засаду, взял их в заложники, после чего отправил в Кузнецк эскадрон Черкасова, а двоих кузнечан послал под присмотром к Рогову, чтобы сообщить ему о восстании.

Незадолго до прибытия в Кузнецк Черкасова в город вошел другой партизанский отряд с Алтая под командованием Толмачева, затем еще один из Ельцовки – Кочина, все на санях и даже подводах. Появились здесь и два небольших отрядика кузбасских партизан Табашникова и Азарова, однако первенство принадлежало Черкасову. Рослый, сильный и решительный, он первым делом отправился в тюрьму, с сожалением узнав, что освободить из нее уже некого. Однако узники в тюрьме все же имелись, и с ними требовалось разобраться. Был ли убит генерал Путилов или умер еще до этого от удара, именуемого ныне инфарктом, сегодня не скажет никто. Зволинский же был не просто убит, но замучен до смерти.

Были случаи, когда под маркой партизан или уголовников горожане грабили и убивали своих соседей, при этом, очевидно, на всякий случай, до последнего человека вырезая семьи жертв. Кто имел силы и возможности, отбивался, иным приходилось худо. От беды спасала порой известная русская изобретательность. Один из недавних солдат кузнецкого гарнизона по фамилии Попугаев каждый день стоял в воротах своего дома с красной повязкой на рукаве и винтовкой за плечом, и никто на его добро и жизнь посягнуть не решился.

А в богатый, все еще не разграбленный до конца купеческий Кузнецк продолжали прибывать идейные и безыдейные борцы с капиталом. Одни за буржуйскими головами, другие за их имуществом. 11 декабря 1919 года к городу подошел и партизанский отряд Григория Рогова.

* * *

В Кузнецк Рогов и Новоселов въехали на большой, с высокой спинкой кошеве под бархатным красным зна-

менем объединенного отряда причумышских партизан. Позади на две версты черная лента всадников, мужицкие сани, кошевки с пулеметами. Встречала их небольшая группа переминавшихся с ноги на ногу, испуганно поглядывающих на партизан горожан пролетарского вида во главе с молодцеватым мужиком в перетянутой ремнем солдатской шинели с револьверной кобурой на боку.

– Военком города Роман Тагаев, – представился он, не особенно решительно подходя к кошеве. – Прибыл сюда с отрядом из Кини, недалеко тут. Вот военком теперь, не думал -не гадал.

– Садись в кошеву, – откинул меховую полость Рогов. – Поедем в ваш ревком, расскажете, как тут и что.

На улицах, разметавшись по снегу окровавленными кровавыми тряпками, валялись убитые, дважды попадались на глаза трупы зарубленных, видать, из пьяного озорства породистых собак. Тяжелыми мрачными глыбами нависали дымящиеся оконными провалами соборы, там и тут чернели остовы сгоревших домов.

– Да, мужики, – глядя по сторонам, усмехнулся батка Гришан. – Добрый порядок вы тут навели.

– Сволочи всякой, бандитов в город понаехало, за всеми не уследишь, – начал торопливо оправдываться Тагаев. – Вас ждали, вашей помощи.

– Раз ждали – поможем, – деловито заверил его Иван Новоселов. – Первым делом надо с вашим имущим классом разобраться – купчишками, буржуазией, офицерем да прочей сволочью.

– Этих мы уже хорошо тут пощипали, – приободрился кузнецкий военком. – Много гадов приголубили. Карателя главного – чеха Скурата кончили, начальника воинского Зволинского, Цвеха – тюремщика, Путилова – генерала...

– Погоди-ка, – перебил его Рогов. – Это какой же Путилов? На японской был такой генерал, у нас про него там все знали. Хоть и холуй царский, а геройский мужик, сам сибирских стрелков в атаки водил. Говоришь, смарали его?

– Да вроде удар его хватил с испугу. Старый уже... – смешался Тагаев, но Григорий перебил его, махнув рукой:

– Шут с ним, с генералом этим, важнее дела есть. Скоро он, твой ревком?

– Да считай, приехали уже, – Роман на ходу ловко выпрыгнул из саней, показал рукой. – Вот в этом здании. Пойдемте за мной.

* * *

Рогов посмотрел на напряженные лица собравшихся в большой комнате людей, прошел за пустующий в глубине комнаты стол, уселся в мягкое кресло, откинулся на спинку, бросил на стол шапку, расстегнул полушубок.

– Хорошо, – усмехнулся он. – Вот они чего, Иван, за них так бьются, – повернулся к усаживающемуся рядом на табурет Новоселову. – Любят в таких-то сидеть. Это чье ж такое место?

– Председателя ревкома Иванова, – ответил одинокий голос.

– А сам он где же? – В этот раз ответом Рогову была тишина. – Ну чего непонятого спрашиваю? – нахмурился батька Гришан. – Говорю, где Иванов?

– Он от Новоселова прячется, – пояснил пожилой мужик в железнодорожной шинели. – Боятся, что тот будет с него шкуру спускать за то, что он будто купцам потворствует. Не распушил их всех еще.

– Вишь, Иван, какой ты страшный, – опять повернулся Рогов к своему товарищу. – Не успел приехать, а уж от тебя сам председатель ревкома прячется. Ладно, – хлопнул он рукой по столу, – без него обойдемся. Я бы в ваш ревком и вовсе не ходил, не по душе они мне, но коль дело такое... Давай спрашивай кто, коль есть о чем.

– Скажи, Григорий Федорович, – встал со скамейки все тот же железнодорожник, – какая у тебя программа, коль таковая имеется?

– Да самая простая, какая мужику и нужна. Рубить беспощадно врагов всех трудящихся, покуда моей жизни достанет. Боролся с властью, и буду бороться, какая она ни

будь, все одно простому человеку притеснение. Всякое ярмо для трудящихся, от какого им никакой пользы не было и не будет. Коль засядут везде комиссары, так через пару годов будет то же, что и сто лет назад при царском прижиме было, а может, и хуже. Сейчас у нас с ними враг один – Колчак, и потому, по указанию из штаба 5-й Красной армии, идем мы резать ему пути отхода, добивать гадину по всем правилам военной науки. Вот такая на сегодня программа. А дальше поглядим, как сложится. Коль кто к нашей воле, кровью завоеванной, руки протянет – без них останется...

– Все? – поднялся за столом Рогов. – Нету больше вопросов? Тогда я спрошу. Ну-ка, Тагаев, говори, кто в городе бандитничает?

– Уголовники, каких солдаты из тюрьмы выпустили, – принялся торопливо докладывать военком. – Да с деревень всякой шкуры понаехало. Набрали оружия в казармах, и не подступишься к ним враз.

– Партизаны другие есть в городе? Безобразят?

– Толмачевцы были, как раз перед вашим приходом ушли, будто напугались чего. Черкасова отряд из Тогула, другие еще, но тех немного. Есть и безобразят. Как вам подойти, много таковских из города убралось.

– Вооруженная сила у ревкома имеется? – О чем спрашивать, судя по всему, Рогов подумал заранее и теперь времени на обдумывание вопросов не тратил. Задавал их быстро и напористо.

– Есть, но немного народу. Самим с безобразиями никак не управиться, сомнут.

– Так, – хлопнул ладонью по столу Григорий Федорович. – Всю эту шушеру будем разоружать, и ваших бойцов тоже. На кой вам винтовки, коль народ защитить не можете. Насильникам, убийцам, мародерам – расстрел на месте.

Роман Тагаев поднял было голову, собираясь что-то сказать, но, столкнувшись с тяжелым взглядом батьки Гришана, промолчал.

– Реквизиции у имущих классов допускаю, но без убийств чтоб и насильничанья, и чтоб никого из простого

народа, что своим трудом кормится, не задеть. За это сразу пуля. Офицеры, милиционеров, купчишек, что за счет мужика жировали, попов и прочую шваль колчаковскую судить будем.

– И безотлагательно, – махнул кулаком Новоселов, – хватит им землю топтать.

– Чего еще? – провел взглядом по лицам ревкомовцев Рогов. – Говори, раз уж собрались.

– Склады винные босота всякая громит, – вновь поднялся со своего места железнодорожник, расправил пальцем черные с проседью усы. – Налют себя спиртом – и в город, людей бить да грабить. Пугнуть бы их. Свобода – она, конечно, свобода, только так-то ни к чему.

– Пугнем, – пообещал батька Гришан. – Так пугнем, что вместо спирта полные портки дерьма оттуда унесут, кто живой останется. Что еще?

В комнате повисла тишина.

– Значит, поговорили. – Рогов взял со стола шапку, устало вздохнув, надел ее на голову: – Пошли, отдохнуть надо малость. И за дело, время не терпит.

– Давай дом на постой, какой побогаче, да побольше, – встал вслед за ним из-за стола Иван Новоселов. – Не все еще такие-то спалили?

* * *

По приказу Рогова были разоружены формирования Кузбасского ревкома, изымалось оружие у бандитов и мародеров, заметно снизивших темпы своей деятельности в городе. Теперь реквизициями занялась значительная часть бойцов из отряда батьки Гришана, причем пальму первенства здесь держали привычные к такому делу новоселовцы. Не отставали от них и въехавшие в город вместе с роговцами шабурники. К складу со спиртом послали самую дисциплинированную часть отряда Рогова – пулеметную команду Ивана Дрожжина. Правда, пулеметчики тоже успели малость хватануть, но поставленную перед ними задачу выполнили с лихвой. Полоснули сразу из нескольких станкачей над головами охочих до спирт-

ного жителей Кузнецка и «гостей» города, и революционный порядок был восстановлен, толпа у склада разбежалась. Однако вскоре, теперь уже без большого шума, бутылки со спиртом продолжили свой путь в городские кварталы и партизанские батальоны.

* * *

В большом, украшенном филигранной резьбой доме кузнецкого купца Акулова столы ломились от разнообразных яств так, что, как говорится, рюмку некуда было поставить. Вольготно разметавшимся в мягких креслах, оседлавшим венские стулья партизанским командирам прислуживали, кроме купеческой челяди, сам хозяин дома и его жена. Они торопливо носили в зал все новые и новые блюда и напитки, словно надеясь откупиться ими от разора и смерти. После долгой дороги, да еще с мороза, роговцы быстро захмелели.

– Поп тонул, а мужик ему: «Руку давай, батюшка!» – увлеченно рассказывал соседу командир батальона Булгаков. – Тот не дает, хоть и на дно уже пошел. Мужик догадался, кричит: «На!». Тут поп сразу ухватился.

– А вот ты слушай, – дергал его за руку сосед, – кум мой перепил, ухватил, как домой шел, девку какую-то в темноте, давай тискать, на солому тащить. Притащил, глядь, а это жена... Вот те шутка.

Рассказчик захохотал первым, махнув неуклюже рукой, сбросил на пол сыпанувшую осколками дорожную вазу. Булгаков посмотрел мутно на его работу, тяжело поднялся из-за стола.

– Умаялся я что-то, – пожаловался он большой тарелке с жареным судаком. – Пойду на боковую.

Он сделал несколько шагов к выходу из комнаты, зацепил по дороге плечом шкаф с посудой, значительно прибавив черепков на полу, и под дружный хохот товарищей рухнул на сваленную в углу груду шуб и шинелей.

Рогов, как обычно, не пил. Тыкал вилкой в стоявшие поблизости тарелки, жевал, похоже, мало замечая, что именно он ест. Все больше и больше мрачнел. Иван

Новоселов выпивал размеренно и понемногу, по-крестьянски неспешно ел, выбирая из огромного, ярко расписанного фарфорового блюда куски свинины покрупнее. Поглядывая время от времени по сторонам, недобро усмехался.

Григорий стукнул вилкой о стол, повернулся к сидевшему наискосок от него Возилкину:

– Чего, Ермак, устал? Ничего, отдохнем еще.

Ермолай взял со стола стакан с самогоном, медленно выпил, ухватил рукой с блюда кусок свинины, сунул его целиком в рот, медленно вытер замасленные пальцы о скатерть.

– Ишь, сколько добра сволочь эта себе завела, – сунувшимися в амбразурные щелки глазами посмотрел он на спящих вокруг стола купца с купчихой. Хозяйка, пряча глаза, с красным от волнения лицом собирала со стола тарелки с объедками, сам купец, стараясь унять дрожь в голосе, то и дело отвешивал поклоны, повторяя одну и ту же фразу:

– Кушайте, гости дорогие. Чем богаты...

– Ничего, это ты пока богатый, – с ненавистью сказал Ермак. – Скоро портки – и те снимем, они тебе в могиле не понадобятся. Не могу я, Гриша, на этих толстопузых спокойно смотреть и отдыхать не хочу, пока под корень их не изведем. Шугнуть их надо отсюда до срока, хоть пожрем по-свойски, без этого дерьма.

– Верно Ермак говорит, Гриша, – поддержал товарища Новоселов. – Не гоже батьке Гришану купеческие тарелки лизать, гостем дорогим у эксплуататора быть. Или как? – ехидно прищурился он.

Рогов метнул на него быстрый колючий взгляд, оттолкнув от себя тарелку, рывком поднялся из-за стола:

– А ну, Ермак, давай отсюда всю эту шушеру купеческую. Сами себя обиходим.

Когда, оставшись в привычной компании, роговцы приступили к застолью уже основательно, посыпались соленые солдатские шуточки, кто-то затянул песню, в комнату вошел подвыпивший, но крепко стоящий на ногах пар-

тизан в полушубке нараспашку. Ковыряя ногтем в зубах, сыто улыбнулся:

– Батька Гришан, там народ во дворе толпится, контру всякую на расправу тащит. Мужички – и те своих буржуев из ближайших деревень навезли. Ну и наши тоже в городе колчаковцев, что драпануть не успели, выловили кой-кого. Народ суда требует.

– Будет им суд, – встал со своего места Новоселов, раскрыл деревянную коробку кобуры, выложил на стол тускло блеснувший в керосиновом свете маузер. – Эй, холуи, кто там, давай все прочь со стола!

* * *

Первыми заводили тех, кто «до вчера» был в карателях, участвовал в походах на мятежные села. Совсем молодые и немногим постарше мужчины, одни еще в зеленых, похожих больше на пальто английских шинелях со следами недавно споротых погон, другие уже в гражданской одежде, зачастую убогой, дабы больше походить на исконных пролетариев. На единственный вопрос: «Был в карателях?» те кто покрепче коротко отвечали «Был» и, выслушав такой же короткий приговор «Смарать!», шли на подгибающихся ногах к двери. Другие, обычно помоложе, отвечали более пространно: «Да я там... Случайно вышло... Считай, и не трогал никого... Заставили», но и тут решение суда было неизменным – в расход. Некоторых, что начинали сопротивляться либо падали на колени, вымаливая прощение, вытаскивали во двор под руки и тут же у крыльца рубили шашками или кололи штыками, по давней привычке берегли патроны.

– Кол им в душу! – довольно шумела толпа. – Кончились господа.

– Лучше б без этого, – слышалось изредка. – Вместе с родней ихней дальше-то жить, как оно выйдет-то...

– И тех кончим! – кричали в ответ с укрепленным сивухой революционным энтузиазмом настоящие борцы за народное счастье. – Долго ли дело!

Последним из карателей завели в комнату мужчину средних лет, без шапки, с заметной сединой в черном проборе прически. Правый рукав его шинели был почти оторван и болтался на нитках, из разбитой губы сочилась кровь – досталось еще во дворе, но смотрел он на своих судей спокойно, а потом внезапно для привычных ко многому партизан усмехнулся:

– Чего лыбишься, сволочь?! – вскинулся со своего места Ермак. – А? Я тебя, контра, здесь прямо кончу, до двора не дойдешь.

Он потянул из кобуры револьвер, но, заметив брошенный на него быстрый взгляд батьки Гришана, остановился.

– Погоди, Ермолай, – попросил его Рогов и перевел взгляд на офицера. – Что скажешь-то, ваше благородие? Может, тоже случайно ты тут, и греха на тебе никакого нет, не губил душ безвинных?

– Недолго вам, господа хорошие, осталось, – медленно и раздельно сказал седой. – Большевикам вашим, коль их власть крепко установится, бандиты тоже не нужны станут. Они никакой власти не нужны. Так что радуйтесь пока, скоро встретимся. – Он прямо взглянул в глаза Рогову и вновь усмехнулся: – В аду.

– Шагай, паскуда, – толкнул его к выходу партизан в расстегнутом полушубке. – Там тебя уж дожидаются.

За карателями пришла очередь кузнецких купцов, на которых у местного крестьянства обид накопилось немало. Вышедший из дома во двор Иван Новоселов распорядился вынести палачам-партизанам по стакану водки для бодрости, работа как-никак была тяжелая, и смертельный конвейер заработал вновь.

– Всех смазать, гадючье племя! – горячо настаивал Новоселов. – Весь народ обмишурили, ограбили, на мужицком горбу хоромы понастроили, вон глянь, чего у них тут, – обвел он рукой убранство залы купца Акулова. – Всех в расход! Без них проживем куда как лучше.

– Без торговли вовсе жить думаешь? – вяло поинтересовался у него Рогов. Он сидел за столом полузакрыв

глаза и, казалось, все больше и больше становился равнодушным к происходящему, слушал и не слышал, смотрел и не видел. – Анархисты ведь не против торговли, только тем, что своими руками сделано.

– Я никого не обмишурировал и не грабил, – выступил вперед из сгрудившейся посреди комнаты купеческой кучки молодой пухлощекий человек в хорошем пальто и заношенных крестьянских пимах. – Я по наследству свое получил. В чем же моя вина?

– По наследству? – рявкнул на него Новоселов. – А предки твои как разбогатели? По пять раз в день за стол садились, сволота, а у мужика краюшки не было. Молчи, выблядок!

– Все, хватит, – махнул рукой батька Гришан. – Так долго не управимся. Давай их всех во двор, народ их знает, пусть сам и решит, кого в какую сторону.

Уцелеть из купцов довелось немногим. Вслед за ними казнили двух священников, благословлявших колчаковские команды в походы на мужиков.

– А этого попишку куда? – Молодой роговец в папахе набекрень вытолкнул в круг пожилого седебородого священника, похоже, успевшего попрощаться со своей земной жизнью и теперь бестрепетно ожидающего, пока она оборвется совсем.

– Отца Николая не трожь! – выступил вперед высокий человек в рабочей тужурке. – Он к господам в лизоблюды не лез. Наш поп, пролетарский.

В поддержку рабочего разом заговорили несколько человек:

– Наш поп, нечего его трогать.

– Иди с Богом, отец Николай, на тебя вины не кладем.

– Пусти его, парень, говорят тебе.

– Да пусть идет, – зевнул роговец. – Мне-то чего, ваш поп, не мой.

После отца Николая вытолкнули в круг красавицу Шуру Вагину.

– Потаскушка офицерская! – завизжал в толпе женский голос. – Смарать сучку!

– Смарать! – поддержали его еще с десяток, в большинстве своем бабьих голосов, в спину Александре ударила пустая самогонная бутылка. Выскочившая из толпы маленькая, но очень быстрая старушка сорвала с головы девушки платок, рассыпались по тулупчику густые, черные как смоль длинные волосы.

– Партизаны ее хахаля убили, так она с другими, подстилка... Смерть ей! – потрясая зажатым в сухой руке платком закричала старушка. – Смерть!

– Погоди, бабушка, чего ж такую красоту без пользы губить, – загоготали в десяток голосов охмелевшие от крови и самосидки роговцы. – Тут спешить не надо, надо все прощупать как следует. Давай ее к бацьке, пусть он решит.

– Ну что, барышня, говорят, ты с контрой лютой любовь крутила, людей под кадетскую пулю подводила. Так оно? – Положив на стол папаху, Новоселов вынул из кармана заношенный носовой платок, вытер вспотевший лоб: – Чего молчишь?

– Чего в оправдание свое сказать-то можешь? – поднял глаза на девушку, словно очнувшийся от глубокого сна Рогов.

Шура посмотрела равнодушно на партизанских командиров, зябко обняла руками округлые плечи, опустила глаза в пол:

– Да нечего ей говорить, – Новоселов высморкался в платок, сунул его обратно в карман. – Смарать сучку колчаковскую, с ней дело ясное.

– Хороша больно, – сказал стоявший в углу молодой черноусый партизан в перетянутой револьверным ремнем ловко подогнанной шинели.

– Все одно вражина, – мазнул по нему недовольным взглядом Иван: – Смарать, говорю.

– Выводи, – согласно кивнул головой Рогов, – красота, да не наша. Смарать.

Вслед за медленно передвигающей ноги девушкой решительно шагнул черноусый :

– Погоди, – остановил он у крыльца уже примерившегося рубануть саблей по белой женской шее, разминающего усталую руку палача-добровольца. – Жаль такую красоту портить.

Взяв Шуру за плечо, он повернул ее лицом к себе и, болезненно сморщившись, дважды выстрелил ей в высокую грудь из нагана.

Девушка охнула и мягко опустилась на снег, покрыв его, словно черной шалью, рассыпавшимися волосами.

Сгустившуюся было тишину разорвали звуки заигравшей неподалеку от акулковского двора гармошки. Там шла гульба.

*Захотелось Колчаку
Взять Москву-столицу,
А пришлось бежать ему
Снова за границу.*

– залихватски затянул женский голос, ему ответил мужской:

*Глупы девки все подряд –
Жить вы не умеете.
Приходите к нам в отряд,
Вы не пожалеете.*

*Ой, залетушка ты мой,
Ты меня не лапай.*

– запели тут же сразу несколько высоких и пьяных бабьих голосов:

*Пусть обнимется со мной
Оська косолапый.*

В разноцветье бабьих платков, в сшитых из ризы штанах неуклюже притопывал-приплясывал в кругу тот самый Оська. Выкатив от усердия и полноты чувств глаза,

радостно гыкал, вертел над головой порыжелую от спекшейся на ней крови трофейную полицейскую шапку.

* * *

Всего народным судом, а точнее – толпой, жадных до кровавых зрелищ зевак, были тогда обречены на смерть 68 человек. Последними роговцы казнили купца Акулова и его жену.

* * *

Когда въехали в Кузнецк, Егор по сторонам особенно не смотрел – зрелище было не из веселых. Дремал, спрятав лицо в поднятом воротнике шинели, слушал, как мягко скрипят по снегу полозья кошевы, мечтал о жарко натопленной печке, тарелке обжигающих щей, горячем чае, стакане самогона-первача – в общем, обо всем, что так или иначе должно было согреть его насквозь промерзшее тело. Порой Нефедову казалось, что даже зрачки его глаз – и те подернулись ледяной коркой, так донимал мороз.

Пулеметчик сидел спиной к своему напарнику, совсем молоденькому парнишке Матвею Пузыреву, на которого он вообще старался смотреть пореже, дабы не вспоминать вновь, как закрывал в Тогуле глаза Васе Митрохину.

Матвейка напомнил о себе сам. Неожиданно резко толкнул пулеметчика в плечо, дрогнувшим голосом спросил:

– Глянь, Егор, чего это они?

Нефедов повернул голову и увидел в открытых воротах какого-то склада четверых раздетых догола мужчин. Все они были постарше Егора, один совсем седой, грузный белотелый, с господским пенсне на крупном породистом носу. Еще один голый человек, пятый, стоял на коленях перед поигрывающим самодельной саблей молодым парнем в распоясанной гимнастерке. Полушубок его лежал на снегу, а возле него деловито покуривали двое с винтовками.

– Здорово, братва! – крикнул один из них, приветливо махнув рукой Егору с Матвеем. – Приехали в помощь,

кадетов в Могилевскую губернию отправлять? Это дело. Зажились тут, курвы...

Стоявший на коленях человек повернул голову в сторону пулеметчиков. Нефедов увидел пустые, безжизненно-страшные глаза и вновь, как в Тогуле после расстрела анненковцев, почувствовал, как охватывает его тело ватная, заставляющая цепенеть мышцы, тошнотворная слабость. Он отвернулся, непослушной рукой потянул на голову ворот шинели...

* * *

Два кузнецких дня и две ночи прошли для Егора в пьяном угаре. Пил вместе со знакомыми новоселовцами в облюбованном ими на постой большом купеческом доме. На его вопрос «Где хозяева?» один из анархистов многозначительно ткнул пальцем вверх и вновь налил всем по полной. Больше Нефедов ничем не интересовался, только пил.

Приходили с туго набитыми мешками, хмельные от самогона, пролитой ими крови и безнаказанности люди, хвастались добычей – шубами, часами, кольцами. Уходили за чужим добром другие – в богатом купеческом городе его все еще оставалось много.

Пулеметчик же из-за стола, считай, и не вставал, разве что по нужде во двор. Пил стаканами слабо разбавленный спирт, занюхивал коркой хлеба, курил, мутно глядя в стену. Захмелев, засыпал, уткнувшись грязной нечесаной головой в запакощенный стол. Проснувшись, снова пил и вновь тыкался лицом в доски столешницы...

– ...Егор, проснись, выступаем! – ворвался в мать хмельного сна жалобный голос Матвея Пузырева. – Да проснись же ты.

Нефедов смахнул с плеча теребившую его мальчишескую руку, с трудом оторвал голову от стола. Поглядев мутно по сторонам, нашарил на столе недопитую бутылку самосидки, болезненно сморщившись, прямо из горлышка выпил остатки крепчайшего пойла. Полез было в шинельный карман за кисетом, но тех – ни кармана, ни кисета – на месте не оказалось.

– Где моя шинель? – сипло спросил он у размазывающего по щекам слезы Матвея. – Шапка где? Ты это, откуда тут?

– Затобой приглядывал, – шмыгнул носом Пузырев. – Чтоб если чего... А шинель с тебя мужики какие-то стащили и шапку забрали тоже. Я им поперек начал говорить, так они: «Молчи, тля, а то зашибем».

– Зашибем, говоришь? – Нефедов тяжело поднялся из-за стола, пошатнулся и, с трудом установив равновесие, двинулся к выходу.

Во дворе несколько хозяйственных мужичков упаковывали в санях в дальнюю дорогу городские трофеи. Не обращая на них внимания, Нефедов подошел к саням, молча выдернул из кучи тряпья почти новую, лишь немного траченную штыковой прорезью да засохшей кровью офицерскую бекешу. Пугаясь в рукавах, натянул ее на себя. Одежка пришлась как раз впору.

– Э, ты, куда на чужое? – попробовал ухватить его за плечо один из мужиков, но Нефедов резким движением отбросил его руку, рванул из кармана шаровар чудовищной взрывной силы английскую гранату «милс».

– Чужое?! – по-собачьи ощерился он. – Мое! В куски порву, суки!

Шабурников словно ураганом разметало по двору. Пулеметчик сунул в карман гранату, подобрал обрonnenную кем-то из них шапку, косо нацепил ее на голову и пошел к воротам, за ним, опасливо оглядываясь, затрусил Матвей.

– Где кошева наша, пулемет? – все еще охрипшим, но уже почти трезвым голосом деловито поинтересовался Егор.

– Здесь недалеко, все уберег, – доложил вернувшегося в строй командиру боец Пузырев.

– Молодец, – коротко похвалил его тот. – Самогон есть?

– Есть маленько, только ты...

– А много и не надо, – оборвал его пулеметчик. – Исключительно в лекарственных целях. – Он поправил на

голове маловатую ему шапку, зачерпнул ладонью комок снега, крепко отер лицо. – Где Иван Дрожжин, не грозился еще меня под трибунал отдать?

– Заболел он, чирьями обметало, считай в кулак каждый. В Жуланиху собрались везти. За него Бугров Иван, – четко выдал всю необходимую информацию Матвей, за что удостоился кривой улыбки командира.

– Ладно, – Нефедов зачерпнул из сугроба еще одну пригоршню снега, отправил ее в рот. – Чего еле ползешь, давай шевели копытами.

Увидев, что Нефедов полностью пришел в себя, Матвейка довольно улыбнулся и уже куда увереннее, чем прежде, зашагал вперед.

* * *

После выхода из Кузнецка отряд Рогова разделился. Наиболее боеспособная его часть двинулась на Кольчугино, остальные повезли по домам захваченные в городе «трохеи».

Перед самым выступлением в новый дальний поход в пулеметную команду приехал на больших с меховой полостью санях старший брат Матвея Пузырева Иван.

Был он навеселе и настроен более чем благодушно.

– Хорошее это дело, паря, война, – заявил он Егору. – И чего ее раньше не начали? Смотри, вот сколько я себе трохеев городе добыл.

Он распахнул богатую купеческую шубу, продемонстрировав пулеметчикам полдюжины цепочек от часов на черном купеческом же сюртуке. Вытащил из одного карманчика большую «луковицу» «Павел Буре», пальцем с массивным перстнем аккуратно отщелкнул крышку. Морозный воздух заполнили серебряные молоточки вальса «На сопках Маньчжурии».

– Видал? – благоговейно сказал Иван и спрятал «луковицу» обратно в карманчик сюртука. – Это что, вон в санях сколько. А ты как тут? – повернулся он к Матвею. – Много прибытка дому сделал?

Парень молчал.

– Да я уж вижу, что никакого. Чего и из дома-то было ехать, лучше б там оставался, бате помогал, ворона ты такая, – махнул рукой Пузырев, косо взглянул на Егора. – Говорят, пулеметчик ты хороший, а хозяин, как я гляжу, никакой. Надо парня у тебя забрать, хорошему не научишь.

– Это точно, – усмехнулся Нефедов. – Что, Матвей, будем расставаться?

– Я не поеду, – тихо сказал парнишка, не поднимая глаз на брата. – Пока тут еще не все уразумел.

– Как это не поедешь? – изумился Иван. – Да я тебе... – Он выдернул из-за голенища валенка кнут, грозно надвинулся на Матвейку.

– Ты что, не слышал, что сказали? – отодвинул в сторону паренька Егор и пристально посмотрел в глаза старшему Пузыреву. – Аль повторить требуется? Захочет парень – сам домой вернется, его воля, а пока ехал бы ты отсюда, добро свое сберегал. А то я ведь живо на него охотников найду, уполовинят и спасибо сказать попросят. Кликнуть кого из новоселовских, а?

Иван недобро посмотрел на пулеметчика, но больше ничего не сказал, молча уселся в сани, вытянул кнутом коня, поворачивая его в обратную дорогу.

– Ничего, Матвей, не журишь, – приобнял за плечо напарника Егор. – Чего не бывает. Знаешь, как батя мой покойный говаривал: «Думаш, думаш – жить нельзя, а передумаш – опять можно».

* * *

Шли трудно. Донимал мороз. Больше припасенного в обозе изрядного запаса спирта из кузнецких складов спасал от него снег, которым партизаны растирали щеки, пальцы, носы – кто что подмораживал. В Гурьевске, как и в Кузнецке, устроили суд над буржуями, в Кольчугино заболевшими тифом, обмороженными чумыщами заполнился весь местный лазарет. Шахтеры встречали партизан с радостью, как освободителей, наперебой зазывали на постой, кормили чем только могли. Говорили, что если б не пришли роговцы, колчаковцы наверняка взорвали бы

шахты. Вновь не обошлось без суда над контрой и, само собой, без новых казней, хоть и не столь многочисленных, как в Кузнецке; казнены были несколько человек. Отсюда роговцы пошли на Щегловск, куда стекались отступающие на восток части колчаковцев.

21 декабря под утро партизаны ворвались в спящий город и выбили из него колчаковский гарнизон. Не ожидавший такого нападения противник понес большие потери, разбегающихся в панике солдат и офицеров партизаны рубили насмерть. В этом бою роговцы захватили много станковых и ручных пулеметов и даже два, правда, неисправных, орудия. Но уже на следующий день к Щегловску стали подходить основные силы колчаковцев. Партизаны оставили город и отошли к станции Топки, где, перерезав железную дорогу, заняли оборону на пути шедших к Иркутску частей генерала Сахарова.

* * *

...Поеживаясь от мороза, готовил к бою пулемет Егор Нефедов.

...Чинила давно отслужившую свой срок шубейку Оксана Прищепа.

...Тянул из саней винтовку Михаил Киржаев.

...Положив голову на колени поручика Шнайдера, тряслась в переполненном беженцами вагоне Екатерина Олизко.

...Брел по заснеженной Москве искалеченный Владимир Мишуков.

...В жарко натопленной хате кормила грудью светловолосого крепыша Варвара Оникко.

Подходил к концу год Колчака. Войска Красной армии, заняв Омск, Новониколаевск и Барнаул, продвигались все дальше на восток, почти не встречая сопротивления. В морозную ночь на 7 февраля 1920 года Верховный правитель России будет расстрелян на льду Ангары. Но Гражданская война в Сибири на этом не закончится...

Барнаул. 2007–2012 гг.

Литература

- А. Геласимова. Записки подпольщицы. Москва. 1967.
- А. Казанцев. От октября до октября. Обнинск. 1998.
- А. Кони. Избранное. Москва. «Советская Россия». 1989.
- Алтай купеческий. Монография. В. Скубневский, А. Старцев, Ю. Гончаров. Барнаул. 2007.
- А. Ремизов. Взвихренная Русь. Москва. «Советская Россия». 1990.
- А. Улам. Большевики. Причины и последствия переворота 1917 года. Москва. Центрополиграф. 2004.
- Барон А. Будберг. Дневник. Москва. «Молодая гвардия». 1990.
- Борьба за власть Советов на Алтае. Исторический очерк. Барнаул. Алтайское книжное издательство. 1967.
- В. Кожин. Россия век XX (1901–1939). Москва. ЭКСМО, «Алгоритм». 2005.
- В. Ленин. Военная переписка (1917–1920). Москва. Военное издательство Министерства обороны СССР. 1956.
- В. Липинская. Русские на Алтае. Старожилы и переселенцы. Русские на Алтае XVIII – начало XIX века. Москва. «Наука». 1996.
- В. Молчанов. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, письма, документы. Москва. Айрис-Пресс. 2009.
- Восточный фронт адмирала Колчака (Г. Клерже. Гражданская война в России. Записки белогвардейца. Ф. Мейбом. Тернистый путь. А. Ефимов. Ижевцы и воткинцы). Москва. Центрополиграф. 2004.
- В. Тимофеев. На незримом посту (записки военного разведчика). Москва. Издательство политической литературы. 1989.
- В. Шамбаров. Белогвардейщина. Москва. Эксмо. 2004.
- В. Швецов, А. Швецов. Горькая новь. Омск. 2006.
- В. Шуклецов. Сибиряки в борьбе за власть Советов.

Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство. 1981.

Гражданская война в России. Борьба за Поволжье. Москва. Издательство АСТ. 2005.

Гражданская война в России. Катастрофа белого движения в Сибири. Москва. Издательство АСТ, Транзит-книга. 2005.

Д. Лебединский. Боевое прошлое. Воспоминания. Куйбышев, 1958.

Д. Фурманов. Чапаев. Барнаул. 1977.

Е. Чапаева. Мой неизвестный Чапаев. Москва. Корвет. 2005.

За власть Советскую. Сборник очерков. Барнаул. Алтайское книжное издательство, 1987.

Забывтый полк: страницы истории 3-го Барнаульского полка белой армии; воспоминания, документы и другие материалы. Сост. А.А. Краснощеков, В.А. Суманосов. Барнаул. Издательский дом «Барнаул». 2009.

И. Недолин. Перевал. Уфа. Башкирское книжное издательство. 1959.

И. Якир. Воспоминания о Гражданской войне. Москва. Военное издательство Министерства обороны Союза ССР. 1957.

Краткая история Гражданской войны в СССР. Москва. Государственное издательство политической литературы. 1960.

Л. Северный. Ледяной смех. Москва. ВЕЧЕ. 2008.

Л. Троицкий. Моя жизнь (опыт автобиографии). Москва. «Панорама». 1991.

Люди большевистского подполья Урала и Сибири 1918–1919. Москва. «Советская Россия». 1988.

М. Колосова. Вспомнить нельзя забыть. (Сост. В. Суманосов. Барнаул, Алтайский дом печати. 2011).

М. Оськин. Неизвестные трагедии Первой мировой (Пленные. Дезертиры. Беженцы). Москва. ВЕЧЕ. 2011.

М. Палеолог. Царская Россия накануне революции. Москва. Издательство «Новости». 1991.

Незабываемое (воспоминания активных участников борьбы за установление и упрочнение Советской

власти на Алтае). Барнаул. Алтайское книжное издательство. 1960.

Н. Какурин. Как сражалась революция. Москва. Издательство политической литературы. 1990.

Н. Реден. Сквозь ад русской революции. Москва. Центрополиграф. 2006.

Н. Хлебников. П. Евлампиев. Я. Володин. Легендарная Чапаевская. Москва. «Знание». 1970.

О Михаиле Фрунзе. Воспоминания, очерки, статьи современников. Москва. Издательство политической литературы. 1985.

Партизанское и повстанческое движение в Причумышье. 1918–1922 гг. Документы и материалы. Барнаул, 1999. Редактор-составитель – Г.Н. Безруков.

Первая мировая. Воспоминания, репортажи, очерки, документы. Москва. «Молодая гвардия», 1989.

П. Костенков. Чернь. Барнаул. Алтайский полиграфический комбинат. 1997.

Пламенное слово. Листовки Гражданской войны (1918–1922 гг.). Москва. Военное издательство Министерства обороны СССР. 1967.

П. Постышев. Гражданская война на востоке Сибири 1917–1922 гг. Воспоминания. Москва. Военное издательство Союза ССР. 1957.

Предания и сказы Западной Сибири. Записи и комментарии А. Мисюрева. Новосибирское книжное издательство. 1954.

Самые знаменитые награды России. Москва. ВЕЧЕ. 2000.

С. Мамонтов. Походы и кони. Москва. ВЕЧЕ. 2007.

С. Сыщенко, В. Сыщенко. Золотые годы сибирской и алтайской кооперации. 1896–1919. Барнаул. Издательство А.Р.Т. 2003.

С. Сыщенко, В. Сыщенко. Хроника и аналитика оказания медицинской помощи населению юга Западной Сибири 1890–1933. Барнаул. ОАО «Алтайский дом печати». 2006.

Томск. Гала Пресс, 2003.

Этих дней не смолкнет слава. Барнаул. Алтайское книжное издательство. 1967.

Этих дней не смолкнет слава (воспоминания участников Гражданской войны). Москва. Государственное издательство политической литературы. 1958.

Ю. Поляков, В. Шелестов. Боевой восемнадцатый год. Москва. Государственное издательство политической литературы. 1958.

Интернет-ресурсы

А. Ильюхов. Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских жителей в годы революции и Гражданской войны. Издательство: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007 г.

Великий Сибирский Ледяной поход. Сайт Военно-исторического фестиваля «ВСПП» и ВИК «Щегловск».

В. Кокоулин. Сибирские партизаны и религия. Сайт «За правду».

«Впечатления о Колчаке и его попутчиках» – статья корреспондента «The New York Times» Луиса Д. Корнфилда, побывавшего в Сибири в 1918–1919 годах. ИноСМИ.Ru. 2008. 4 янв.

В. Хандорин. Адмирал Колчак: правда и мифы (fb2) | Либрусек.

Гибель Чапаева. Версии. Статьи о Чапаеве. Чапаев.ru – биография...

Д. Оськин. Записки прапорщика. Проект «Военная литература»: militera.lib.ru

Е. Колосов. Сибирь при Колчаке: Воспоминания, материалы, документы. – Петроград, издательство «Былое», 1923. Научно-просветительский интернет – журнал «Скепсис».

И. Ладыгин, А. Замира. Новониколаевск в военном мундире 1904–1920 гг. novonikolaevsk.com

М. Лемке. «250 дней в царской ставке». Минск. Харвест. 2003. Сайт «Военная литература».

Н. Устрялов. Белый Омск. Дневник колчаковца. // Альманах «Русское прошлое», 1991, № 2. СПб. Библиотека Гумера – история.

Н. Хлебников «Под грохот батарей» <http://militera.lib.ru>

С. Балмасов. Боевой путь конных подразделений отдельной волжской кавалерийской бригады и отдельного волжского конно-егерского дивизиона корпуса генерала В.О. Каппеля. Воинство.Ru / Книги / Каппель и каппелевцы.

Сочинения учащихся научно-популярного отделения университета им. А.Л. Шанявского/ 1919 год. Хранятся в Государственном Историческом музее* Публикация М. Катагощиной и А. Емельянова <http://www.ogoniok.com/archive/1997/>

1918–1919. Записки начальника английского экспедиционного отряда полковника Джона Уорда. Государственное издательство. Москва. 1923. Эл. Библиотека Либрусек.

<http://www.chtivo.ru/book/>

Архивные документы

Воспоминания бывшего партизана 5-го батальона отряда Г.Ф. Рогова Заречнева Павла Мартемьяновича (записаны 10 мая 1972 года).

Воспоминания о Г.Ф. Рогове «Члена Причернского совета депутатов трудящихся» Шинкарева Павла Федоровича.

Воспоминания о партизанском движении в Барнаульском уезде Алтайской губернии бывшего партизана Голева Василия Михайловича (записаны 16 июня 1957 года).

Воспоминания бывшего красного партизана о партизанском движении в Правобережье р. Обь Паташова Дениса Тимофеевича. Записаны 30 мая 1966 года.

Воспоминания о событиях 1918–1919 гг. жителя с. Сорокино-Слободка, бывшего красного партизана Бирюкова Ивана Трофимовича. Записаны 26 июня 1972 года.

Воспоминания бывшего красного партизана отряда Рогова Дезадарьева Дмитрия Евгеньевича.

Воспоминания бывшего партизана отряда Г.Ф. Рогова Логинова Ивана Лаврентьевича.

«Конодацкий-Усовский бой». Воспоминания партизана отряда Г.Ф. Рогова Кулаева Григория Митрофановича.

(Все перечисленные материалы находятся на хранении в архивных фондах Заринского межпоселенческого краеведческого музея. г. Заринск, Алтайский край.)

Воспоминания Комиссарова Ивана Степановича, солдата Первой мировой войны, в годы Гражданской войны жителя Хмелевской волости Барнаульского уезда (семейный архив, Барнаул).

Воспоминания Потапаева Петра Васильевича – бывшего солдата воинской команды в Кузнецке в 1919 году. Из архива новокузнецкого краеведа Тамары Васильевны Семеновой. Записал 17 апреля 1986 года В. Девятияров.

Мгновения 19-го



Колчаковцы в Барнауле.



«Колчак». 1919 г. (Плакат худ. В. Дени).



Переправа чапаевцев через реку Белая под Уфой.



ЛИХАЯ РАБОТА
КРАСНОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ
АРМИИ ЛЕНИНА И ТРОЦКАГО

Белогвардейский плакат.



Алтайские партизаны.



Сибирячки в поле.



Колчаковцы отступают.



Красные вернулись. Омск. Ноябрь 1919 г.

Об авторе

Сомов Константин Константинович. Родился в 1961 году в г. Славгороде Алтайского края. Был студентом, солдатом, рабочим, мастером-строителем, зав. отделом городской газеты «Яровские новости». С 1995 года – журналист краевой газеты «Алтайская правда». В 90-е годы в журнале «Алтай» были опубликованы его повести «Бесы, черпаки и другие (армейские истории)», «Цирк», «Обещанный обелиск», позднее в журнале «Барнаул» – документальные очерки «Хлеб войны» и «Оружие войны», фрагмент романа «Усобица».

Автор книг «Про гражданскую войну» (Барнаул, 2008) , «Война: ускоренная жизнь» (Барнаул, 2010. Премия Алтайского отделения Демидовского фонда в номинации «Литература»), «Сибирский батальон» (Барнаул, 2011).

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. Черный Дол.....	3
Часть вторая. Год Колчака.....	123
Литература.....	649
Интернет-ресурсы.....	653
Архивные документы.....	650
Мгновения 19-го.....	651

Константин Константинович Сомов

Год Колчака

Под общей редакцией В.А. Синолицы

Редактор и корректор – Л.В. Кайгородова

Компьютерная верстка – О.В. Сомова

Подписано в печать 16.02.2010. Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура UtopiaС. Печать офсетная. Тираж 700. Заказ № 54.

Отпечатано в ОАО «ИПП «Алтай», г. Барнаул, ул. Короленко, 105.